

# ПРОЛОГЪ.

Романъ изъ начала шестидесятыхъ годовъ.

*Посвящается той, въ которой будутъ узнавать Волину.*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

### ПРОЛОГЪ ПРОЛОГА.

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Было начало весны 1857 года. Весь образованный Петербургъ восхищался прекраснымъ началомъ своей весны. Вотъ уже третій день погода стояла не очень холодная, не совсѣмъ пасмурная; иной часъ даже казалось, будто хочеть проясниться. Какъ же не восхищался бы образованный Петербургъ? Онъ былъ правъ, если судить его чувство по петербургскимъ понятіямъ о веснѣ.

Но, восхищаясь весною, онъ продолжалъ жить по зимнему, за двойными рамами. И въ этомъ онъ былъ правъ: ладожскій ледъ еще не прошелъ.

Часу въ двѣнадцатомъ утра по солнечной сторонѣ Владимірской площади, въ направленіи къ Невскому, шли смуглая дама и блѣдноватый мужчина съ плохою рыжею бородою. Они были жена и мужъ. Мужу было лѣтъ двадцать восемь или тридцать. Онъ былъ некрасивъ, неловокъ и казался флегматикомъ. Тускло-сѣрые глаза его, въ золотыхъ очкахъ, смотрѣли съ тихой задумчивостью на жену. Жена весело смотрѣла впередъ, беззаботно опираясь на руку своего спутника, и, повидимому, очень мало думала о немъ. Но замѣтила, что

онъ не спускаетъ съ нея глазъ, улыбнулась, сказала: „въ три года все еще не наглядѣлся“, и опять перестала обращать вниманіе на него.

— Твоя правда, голубочка, — вяло согласился мужъ, подумавши; вздохнулъ, и сказалъ: — А знаешь ли, о чемъ я думалъ, голубочка? — Когда-жъ это будутъ у тебя свои лошади?

— Довольно смѣшно вздыхать, мой другъ. Теперь мы живемъ хорошо; современемъ будешь получать больше. Тогда куплю себѣ и лошадей. А пока, отучайся не спускать съ меня глазъ: это забавно.

— Твоя правда, голубочка, — отвѣчалъ онъ и сталъ разсѣянно глядѣть по сторонамъ. Черезъ минуту сострадательно усмѣхнулся.

На встрѣчу шелъ студентъ съ длинными, гладкими, свѣтло-русыми волосами, — тоже некрасивый и неловкій, какъ и спутникъ смуглой дамы, — тоже нѣсколько сгорбленный, — только въ немъ это было гораздо замѣтнѣе, потому что онъ былъ очень высокаго роста, — тоже блѣдноватый, тоже съ тускло-сѣрыми глазами, тоже въ золотыхъ очкахъ. Онъ пристально смотрѣлъ на смуглую даму и лицо его оставалось спокойно, холодно. Потому-то мужъ смуглой дамы и не могъ удержаться отъ сострадательной усмѣшки: наконецъ-то нашелся человѣкъ еще хуже его самого. Еще юноша, и такая рыба крови! — Мужъ смуглой дамы не зналъ, болѣе ли смѣшонъ, или болѣе жалокъ ему этотъ студентъ.

— Чрезвычайно умное лицо у этого молодого человѣка; — сказала смуглая дама, когда студентъ прошелъ. — Необыкновенно умное лицо.

Мужъ подумалъ. Точно, лицо студента было не только холодно, но и умно.

— Правда твоя, голубочка. Должно быть, умный человѣкъ. Но бездушное существо, хуже меня.

— Почему же? Не влюбился въ меня?

— Не смѣйся, голубочка, — отвѣчалъ мужъ: — это моя правда.

— Ты забавный человѣкъ, мой другъ, — сказала жена, засмѣявшись.

— Вовсе не я, голубочка. Развѣ я самъ думаю? — Вовсе не самъ; ты знаешь, я говорю это больше по слуху, чѣмъ самъ. Всѣ говорятъ мнѣ. Чѣмъ-же я виноватъ? — вяло возразилъ онъ. — Я тутъ посторонній человѣкъ; я говорю по чужимъ словамъ. А чужое мнѣніе въ этомъ надобно считать справедливымъ. Что правда, то правда.

— Перестань, мой другъ, надоѣлъ.

— Ну, хорошо, голубочка, — согласился онъ и замолчалъ. Черезъ минуту началъ мурлыкать на распѣвъ, сначала про себя, потомъ послышнѣе и послышнѣе, — неслыханнымъ и невозможнымъ ни въ какой музыкѣ мотивомъ: „Какъ у нашихъ у воротъ, — ай, люли, у воротъ, — стоялъ дѣвокъ хороводъ, — ай, люли, хороводъ“. Онъ былъ глубоко убѣжденъ, что изумительный мотивъ не былъ его собственнымъ сочиненіемъ.

— Перестань, мой другъ, — замѣтила жена. — Ты, кажется, забылъ, что ты идешь не одинъ.

— А точно, голубочка; — согласился онъ и нѣсколько сконфузился. Зная достоинство своей вокализациі, онъ вообще занимался ею только для собственнаго удовольствія. Кромѣ того, жена убѣждала его, что идти по улицѣ и напѣвать — смѣшно, и онъ постоянно желалъ помнить это.

— Съ тобою стыдъ и смѣхъ, мой другъ.

Ну такъ что же за важность, голубочка;—съ философскимъ спокойствіемъ отвѣчалъ онъ, и сталъ съ усиленнымъ усердіемъ глядѣть по сторонамъ, чтобы опять не замурлыкать по разсѣянности.

— Знаешь ли что, голубочка?—началъ онъ черезъ минуту:—ты отпустила бы меня. Увѣрю, отпустила бы.—ну, что же не отпустить? Прогулялся довольно. А ты сама купишь мнѣ перьевъ. Увѣрю, купишь. А то, въ другой разъ: у меня еще есть нѣсколько.

— Какъ тебѣ не совѣстно? Промель двадцать шаговъ, и увѣряетъ, что довольно!

— Не двадцать, голубочка, а двѣсти, или гораздо больше. Увѣрю.

Жена оставила это увѣреніе безъ всякаго отвѣта.

— Ну, что же, голубочка?—Я только такъ сказалъ, а я иду съ удовольствіемъ. Увѣрю. Какъ же?—Развѣ я не понимаю, что ты принуждаешь меня только для моей же пользы, а не то, что тебѣ самой пріятно, что я иду съ тобою.

— Если понимаешь, то зачѣмъ же сердись?—Съ тобою больше скуки, чѣмъ съ Володею.

— Видишь ли, голубочка: ты дѣлаешь это потому, что думаешь, будто вредно, что я все сижу. Но я не все только сижу, я тоже и лежу. Зачѣмъ же мнѣ ходить?

Разсужденіе не было лишено основательности. Но жена только промолчала на него. Мужъ глубоко вздохнулъ, и опять сталъ глядѣть по сторонамъ, съ апатією, не совершенно соотвѣтствовавшей тяжести страданія, выраженного вздохомъ.

По одну сторону была мелочная лавочка, дальше вывѣска сапожника, — дальше, ничего замѣчательнаго. По другую сторону — тротуарныя тумбы, — голубая извозчичья карета, — опять тумбы, тумбы, тумбы... Дальше, съ этой стороны все то-же: тумбы, тумбы; съ той, — лавочка, лавка, лавочка, — прекрасный подъѣздъ съ рѣзными дубовыми дверьми, съ бронзою.

Шедшій съ удовольствіемъ мужъ внимательно разсматривалъ все это, для разсѣянія своей скорби.

— Эхъ, голубочка, — началъ онъ. — Если бы я былъ хоть немного поумнѣе, то и теперь у тебя уже были бы свои лошади... На эту новую мысль навело его то, что онъ съ женою подходилъ къ каретѣ: — Ты не повѣришь, какъ я глупъ въ своихъ дѣлахъ.

— Замолчи, не серди.

— Ну, хорошо, голубочка, — согласился онъ, и взглянулъ налѣво, — направо, — какъ разъ противъ окна кареты.

Занавѣсъ окна кареты была опущена, только уголь приподнять. Рука, придерживавшая его, торопливо упала. Но мужъ смуглой дамы еще успѣлъ разсмотрѣть лицо, спѣшившее закрыться. Это было очень чисто выбритое лицо мужчины лѣтъ тридцати пяти, не жирное, скорѣе, напротивъ, сухощавое, но свѣжее, здоровое, овальное, съ тонкими чертами, съ красивымъ профилемъ. Темные волосы были коротко острижены; оттого высокій лобъ казался еще выше. Свѣтло-каріе глаза зорко смотрѣли на подъѣздъ съ дубовыми рѣзными дверьми, бывший въ полусотнѣ шаговъ, — карета стояла поодаль отъ него.

— Видѣла, голубочка?—Каковъ бестія?

— Видѣла, и помѣшаю ему. Пойду на этотъ подъѣздъ, найду, гдѣ она. Найду.

— Трудно будетъ найти, голубочка. По этой лѣстницѣ квартирѣ десять, я думаю. Гдѣ она, тамъ прислугѣ велѣно отказывать.

— Не велико затрудненіе.

— Твоя правда, голубочка:—тогда же разсудилъ мужъ.—Подъѣздъ богатый, потому квартиры большія. Спросишь у швейцара обо всѣхъ. Вѣроятно, почти всѣ заняты семейными...

Въ эту минуту дверь подъѣзда отворилась. Вышелъ стройный молодой человѣкъ въ гороховомъ пальто. Изъ-подъ шляпы вились каштановые волосы, слегка кудреватые. Лицо было прекрасно, что рѣдкость въ красивыхъ мужскихъ лицахъ, не женоподобно.—Мужъ смуглой дамы съ любезной улыбкою,—потому что былъ такой же искусный свѣтскій человѣкъ, какъ и пѣвецъ,—хватился за фуражку и поклонился съ граціею, свойственною всѣмъ медвѣдямъ и очень немногимъ людямъ,—но свѣтскость осталась оказана совершенно напрасну: молодой человѣкъ, выходя изъ двери, уже повертывался къ Невскому и не видѣлъ замѣчательной эволюціи любезнаго свѣтскаго человѣка. Любезный свѣтскій человѣкъ надѣлъ фуражку и продолжалъ свое разсужденіе, прерванное для свѣтской эволюціи.

— Почти вездѣ семейные люди, у нихъ нечего искать. Одна, много двѣ квартиры, гдѣ надобно искать. А то, что прислуга говорить: „никакой дамы здѣсь нѣтъ“—что за важность?—По тону будетъ видно, правда ли. Увѣрю, голубочка.

— Хорошо, вѣрю. Но ты знаешь этого молодого человѣка?—Что за прекрасное лицо!—Онъ очень понравился мнѣ. Ты позови его къ намъ.

— Я вижу его, голубочка, когда бываю у Рязанцева. Очень благородный...

— Слышишь?—Да не оглядывайся, мой другъ: если опять взглянешь такъ ловко, этотъ, въ каретѣ, пойметъ, что мы заняты имъ и любовникомъ! Мнѣ будетъ трудно помочь женѣ, или сестрѣ, или кто она ему. А я не хочу бросить этого!

— А!—точно!—слышу, голубочка.

Давъ молодому человѣку отойти подальше, извозчичья карета тронулась. Мужъ смуглой дамы хоть и отличался не столько догадливостью, сколько основательностью, понявъ, что карета слѣдитъ за молодымъ человѣкомъ, съ которымъ онъ неудачно раскланялся.

— Такъ вотъ кого подкарауливалъ этотъ шельма! Видно, жена-то осторожна, не услѣдишь,—такъ онъ за молодыми знакомыми! Видишь, я не даромъ сказалъ: о, бестія! Да что же, голубочка: ты сказала „жена, или сестра, или кто она ему“,—не знаешь, значитъ, что онъ женатый,—видно, не знаешь его?

— Не знаю, мой другъ,—а кто-жъ это?

— Все у того же Рязанцева!—Это, я тебѣ скажу, удивительно, кого не увидишь у этого Рязанцева! Разъ, я сижу у него одинъ,—входитъ эта шельма,—Рязанцевъ рекомендуетъ: Савеловъ!—Я, разумѣется, сейчасъ ушелъ: чортъ съ ними!

— Такъ это мужъ милочки Савеловой?—О, какъ я рада, что я услужу



ей!—Я просто влюбилась въ нее, когда увидѣла въ концертѣ,—мало и слушала, все любовалась!—Но мужа тамъ не было, она была съ кѣмъ-то другимъ, старше его. Ахъ, что это за красавица! Вотъ это, мой другъ, красавица!—Большіе темно-голубые глаза, тихіе, нѣжные, — сама бѣленькая, бѣленькая, нѣженькая, — ахъ, такъ и разцаловала бы ее! Ахъ, какъ я рада услужить такой милочкѣ!

Молодой человѣкъ въ гороховомъ пальто шелъ очень быстро. Карета, слѣдившая за нимъ, опередила смуглую даму и ея мужа.

— Подзови извозчика, мой другъ; — сказала смуглая дама. Мужъ позволялъ. — Садись и ты.

— Точно, голубочка. Со мною лучше. Можетъ быть, и понадобится.

— Нѣтъ, мой другъ; но я хочу, чтобъ ты рассказалъ мнѣ объ этомъ молодомъ человѣкѣ. Вотъ это парочка, мой другъ, онъ и Савелова! Ахъ, какъ я рада, что у нея такой любовникъ! Ахъ, что за прелесть оба! Я разцалую ихъ обоихъ, — и ее, такъ и быть, и ее!

— Ну, голубочка, себя-то она позволить тебѣ цаловать, — а его-то не очень-то.

— Вотъ прекрасно! — Смѣть! — Еслибъ у меня былъ такой любовникъ, — я не позволила бы ей, — а ей, такой милочкѣ, бояться меня!

— Ну, голубочка, знаю я этихъ красавицъ! — основательный мужъ покачалъ головою: — Видывалъ, голубочка. Когда прежде жилъ въ Петербургѣ, бывалъ въ оперѣ, — видѣлъ. Красавицы! Видишь ли, голубочка: по моему, — ну, да вотъ покажи мнѣ свою Савелову, — ну, покажи. Впередъ знаю: ничего особеннаго.

— Ахъ, не люблю, когда ты такъ врешь. Лучше рассказывай о немъ. Вотъ, еслибъ у меня былъ такой мужъ, или хоть любовникъ, — ахъ, какъ бы я любила его!

— Ну, голубочка, это еще неизвѣстно, стоило ли бы любить; — основательно возразилъ мужъ: — Были-жъ у тебя женихи не хуже его, — что же не шла?

— Ахъ, нѣтъ, такого не было! — О немъ ты не смѣй и говорить! Это прелесть, прелесть! — Да чтѣ же ты знаешь о немъ, говори скорѣй! — Ахъ, еслибы можно было отнять его у нея! Ахъ, отняла бы, отняла бы, мой другъ! Ахъ, зачѣмъ она лучше меня! Я отняла-бъ его у нея! Отняла бы, отняла бы, мой другъ! — Нѣтъ, лучше рассказывай о немъ, а то я готова плакать; — ахъ, какая досада!

Мужъ покачалъ головою. Въ самомъ дѣлѣ, странно было то, какъ думала о себѣ смуглая дама. Она никогда, нигдѣ не встрѣчала соперницъ себѣ. Когда она бывала въ театрѣ, и продажныя, и непродажныя аристократки красоты зеленѣли и багровѣли отъ зависти. Она одна не хотѣла замѣчать эффекта, который производить. — Впрочемъ, ея мужъ находилъ это нисколько не удивительнымъ: живость характера не оставляла ей досуга наблюдать, производить ли она эффектъ. На балѣ она была занята баломъ, танцами, разговорами; въ оперѣ — оперою, разговорами съ тѣми, кто сидѣлъ подлѣ нея. А главное, она приходила въ восхищеніе отъ каждой хорошенькой блондинки, она любовалась на блондинокъ до того, что забывала о себѣ, и даже не любила себя: зачѣмъ она не такая бѣленькая, бѣленькая, зачѣмъ у нея не го-

дубые глаза?—Когда ее заставляли замѣчать, какъ отвлекаются ею глаза мужчины отъ всѣхъ, и отъ блондинокъ, и отъ брюнетокъ, она говорила, что мужчины глупы, слѣпы, и черезъ четверть часа забывала о нихъ, чтобы восхищаться какою-нибудь блондинкою.—Такъ, она слишкомъ мало думала о себѣ и послѣ, когда ей много разъ указывали эффектъ, какой она производитъ въ большихъ собраніяхъ. Но теперь она еще только начинала выѣзжать въ общество, и любовникъ Савеловой былъ первый человекъ въ Петербургѣ, лицомъ котораго она увлеклась. Въ первый разъ послѣ дѣвическихъ лѣтъ, о которыхъ теперь она вспоминала какъ о ребяческихъ, она подумала о томъ, хороша ли она собою,—и готова была расплакаться отъ досады, зачѣмъ она не блондинка.

— Другъ мой, скажи мнѣ, что это со мною?—начала она, наполовину смѣясь, наполовину грустно:—Неужели я дѣлаюсь глупою дѣвчонкою въ мои лѣта? Неужели я могу влюбиться?—Это было бы смѣшно, мой другъ.

— Не знаю, какъ тебѣ сказать, голубочка,—отвѣчалъ основательный мужъ.

— Но мнѣ кажется, я въ самомъ дѣлѣ готова была бы полюбить кого-нибудь... Я такъ увлеклась,—не смѣшно ли это?

— Что касается собственно до этого, голубочка,—глубокомысленно отвѣчалъ мужъ:—это, разумеется, еще ничего не значитъ;—стала говорить со мною, заговорила, расфантазировалась. Пустяки.

Она задумалась.—Но, рассказывай, что ты знаешь о немъ;—сказала она, опять смѣясь:—Не могу отнять его у Савеловой, такъ и быть. Но хочется полюбить кого-нибудь,—вотъ, увидишь, найду себѣ любовника.

— Ну, посмотримъ, голубочка,—желаю тебѣ, чтобъ нашла еще лучше этого. А впрочемъ, и этотъ хорошій человекъ, не говоря о томъ, хорошъ ли собою;—флегматически пошутилъ мужъ, и сталъ рассказывать основательно.

Фамилія молодого человека была Нивельзинъ. Мужъ смуглой дамы встрѣчалъ его, когда бывалъ у Рязанцева, тогдашняго авторитета петербургскихъ прогрессистовъ. Молодой человекъ не возвышалъ голоса между знаменитостями петербургскаго либерализма, и мужъ смуглой дамы едва обмѣнивался съ нимъ нѣсколькими словами, но довольно слышалъ о немъ отъ Рязанцева.

Рязанцевъ очень хвалитъ Нивельзина, и, кажется, справедливо; да, справедливо,—подтвердилъ самъ себя основательный рассказчикъ, подумавши:—по крайней мѣрѣ, вѣрно то, что Нивельзинъ очень хорошій человекъ и безусловно честный. Нѣтъ, мало того: и даровитый человекъ, и при этомъ очень скромный; да, очень: говорить о себѣ, что долженъ еще учиться;—больше слушаетъ, нежели говоритъ: какъ же?—тамъ разсуждаютъ такіе мудрецы!—Рязанцевъ и другіе,—такіе ученые, знаменитые, что остается только слушать!—Онъ скромный человекъ, онъ мало говоритъ, а между тѣмъ, когда скажетъ что-нибудь, всегда умно и дѣльно.

Онъ помѣщикъ, довольно богатый. Отецъ его, важный генералъ, отдалъ сына въ Школу Гвардейскихъ Подпрапорщиковъ. Сдѣлавшись офицеромъ, сынъ продолжалъ учиться. Отецъ находилъ это лишнимъ. Были размолвки. Сынъ остался при своемъ, и поступилъ въ Академію Генеральнаго Штаба. Тогда это считалось неприличнымъ аристократу. Отецъ негодовалъ. Но сынъ приобрѣлъ репутацію офицера, подающаго высокія надежды. Отецъ примирился. Сынъ пошелъ по службѣ очень быстро. Но какъ умеръ отецъ, подалъ въ отставку.

Онъ математикъ и астрономъ. Его уважаютъ, какъ ученаго. Его работы печатаются въ Бюллетеняхъ Академіи Наукъ.

Прежде онъ былъ вѣтренникомъ. Да и не могъ не быть: свѣтскія дамы вѣшались ему на шею. И натурально, что вѣшались: надобно признаться — хорошъ собою, и блистательный человѣкъ. Да, вѣтренничаль. Но потомъ почувствовалъ, что увлекаться кокетками пошлость, и сталъ чуждаться большого свѣта. Этой перемены сильно помогло то, что онъ заинтересовался общественными вопросами.

Поѣхалъ въ свое помѣстье. Честно устроилъ свои отношенія съ крестьянами, не жалѣя уменьшить свои доходы, чтобы облегчить совѣсть. Да, онъ одинъ изъ тѣхъ немногихъ богатыхъ людей, у которыхъ честный образъ мыслей примѣняется къ дѣлу.

Между тѣмъ, Нивельзинъ повернулъ на Невскій, перешелъ Аничковъ мостъ. Карета съ Савеловымъ переѣхала Аничковъ мостъ.

Нивельзинъ вошелъ въ богатый модный магазинъ. Карета съ Савеловымъ остановилась, немножко недоѣзжая магазина.

— Къ тротуару, направо, — сказала смуглая дама извозчику. — Теперь можешь ѣхать домой, — замѣтила она мужу: — Радъ?

— Натурально, голубочка; ну, а погляжу, какъ ты пойдешь.

— О, какой ты чудакъ, мой другъ! — Смѣшинъе всякаго жениха!

— Ну, что за важность, что тебѣ смѣшно, голубочка, — совершенно основательно возразилъ онъ.

Она взшла въ магазинъ. Онъ велѣлъ извозчику ѣхать назадъ; извозчикъ сталъ поворачивать лошадь.

— Милостивый государь, позвольте сдѣлать вамъ одинъ вопросъ, — сказала съ тротуара твердый и спокойный голосъ. Мужъ смуглой дамы оглянувшись: подходил тотъ высокій студентъ съ безстрастнымъ лицомъ.

— А, это вы! — Извольте; какой вопросъ? — Мужъ смуглой дамы умѣлъ разговаривать очень замысловато: онъ не показывалъ виду, что понимаетъ, о комъ будетъ вопросъ.

— Кто эта дѣвушка?

— А, такъ и вы не угадали! — Точно, никто не угадываетъ. Она три года замужемъ.

Смуглая женщины вообще кажутся старше своихъ лѣтъ. А ее всѣ принимали за очень молоденькую дѣвушку, хотя она была три года замужемъ, и имѣла двадцать лѣтъ, выходя замужъ. — Когда она говорила, что она замужемъ, ей отвѣчали: „вы смѣтаетесь“; когда она говорила, что она уже давно замужемъ, что у нея уже есть сынъ, — перестали сомнѣваться, что она мистифируетъ; когда она говорила, что ей уже двадцать четвертый годъ, ей отвѣчали тѣмъ, что формально объяснялись въ безграничномъ уваженіи и просили ея руки, потому что на такую неловкую мистификацію нельзя было обращать уже никакого вниманія.

— Да, милостивый государь, она давно повѣнчана; — продолжалъ хитрый человѣкъ, усиливая впечатлѣніе своей замысловатости въ разговорахъ остроумнѣйшими оборотами словъ: — Я могу ручаться вамъ, что она давно замужемъ, потому что самъ былъ на ея свадьбѣ.

По лицу студента пробѣжало что-то похожее на легкую тѣнь, но мгновенно и едва замѣтно.— Она ваша супруга?

— Да. А вы, должно быть, вздумали влюбиться въ нее?— Хитрый человекъ былъ не только чрезвычайный хитрецъ, но и великій мастеръ шутить. Умѣстны ли шутки или неумѣстны, умны или глупы, это выходило какъ случится; его забота была только то, чтобъ выходило, по его мнѣнью, шутливо:— но не огорчайтесь на меня. Я не думалъ, что она повѣщается со мною. Я не былъ влюбленъ въ нее, молодой человекъ. Я былъ тогда благоразумнѣе васъ;— впрочемъ, мнѣ было тогда двадцать пять лѣтъ. Въ ваши лѣта протитительно быть неблагоразумнымъ.

— Вы шутите, но, въ сущности, вы правы, — отвѣчалъ студентъ, уже давно сдѣлавшійся попрежнему безстрастнымъ.— Глупо влюбляться въ такихъ женщинъ, — если есть на свѣтѣ такія женщины. Надобно молиться на нихъ. Я и думалъ, что я не забывалъ этого. Изъ вашихъ словъ я вижу, что кажусь нѣсколько влюбленнымъ. Но если вы и не ошиблись, это чувство совершенно ничтожно: я человекъ апатическій.

— Мнѣ самому такъ показалось; иначе, развѣ сталъ бы я шутить?

— Я не могъ думать, что она уже вышла замужъ, и подходилъ къ вамъ съ тѣмъ, чтобы узнать, какимъ образомъ могъ бы я познакомиться съ ея родными. Теперь прошу позволенія бывать у васъ.

— Признаться вамъ сказать, я очень мало тутъ значу. Заходите ко мнѣ;— если понравится ей, прекрасно; если нѣтъ, то я самъ по себѣ, — извините за откровенность, — не стану приглашать васъ. Я, признаться сказать, не люблю никакихъ знакомствъ. Но полагаю, что она полюбитъ васъ. Вы, должно быть, умный человекъ, — потому что такъ ей показалось.— Вотъ вамъ, — онъ вынулъ свою карточку.— Заходите.

— Вы Алексѣй Ивановичъ Волгинъ?— съ нѣкоторою оживленностью сказалъ студентъ, взглянувъ на карточку.

— Да-съ, — флегматически отвѣчалъ мужъ смуглой дамы, и вслѣдъ за тѣмъ взвизгнувъ пронзительнымъ ультра-сопрано, отъ котораго зазвенѣли стекла въ сосѣднихъ окнахъ:— Ххи-ххи-ххи-хха-хха-хха-ххо-ххо-ххо! — изумительная рулада перелилась черезъ теноровые раздрающіе ухо звуки въ контра-басовый ревъ, отъ котораго, сквозь шумъ экипажей, загудѣла мостовая:— Ххо-ххо-ххо-хха-хха-хха-ххи-ххи-ххи! — поднялась рулада опять до пронзительнаго визга.— Ххи-ххи-ххи!— А вы, я вижу, мой поклонникъ?— Вотъ находка!— Драгоценность!— Въ цѣлой Россіи только два экземпляра: вы, да я самъ.— Ну, прощайте. Заходите. Думаю, что жена полюбитъ васъ. Прощайте.— Нѣтъ, позвольте: въ которомъ курсѣ вы?

— Я студентъ Педагогическаго Института, а не университета. Кончаю курсъ.

— Ну, вотъ видите, я чуть не сдѣлалъ глупости, забывши спросить.— Кончаете курсъ, то прежде кончайте курсъ: экзамены на носу, — или уже начались? Занимайтесь. Кончите, тогда заходите.— Прощайте.— Погодите, опять глупо: не сообразилъ. По окончаніи курса васъ пошлютъ изъ Петербурга чортъ знаетъ куда?— Такъ заходите теперь.

Студентъ подумалъ.— Нѣтъ, я не буду у васъ до окончанія курса. Тогда



я приѣду къ вамъ съ какою-нибудь статьею. Надобно приготовить что-нибудь прежде, чѣмъ идти къ вамъ.

— Хорошо. Но васъ отправятъ чортъ знаетъ куда?

— Нѣтъ. Я останусь въ Петербургѣ.

— Вашъ скотина директоръ любитъ васъ?

— Нѣтъ. Но товарищъ министра знаетъ меня и общалъ.

— Ну, это плохая надежда: тряпка.

— Кромѣ того, я даю уроки у Илатонцева; это вельможа. Онъ хочетъ, чтобы я продолжалъ ихъ.

— А, когда такъ, то другое дѣло. Попросить, и останетесь, правда. Прощайте, наконецъ.—Да, опять забылъ: а фамилія-то ваша какъ же?

— Левицкій.

— Ну, прощайте,—ххи-ххи-ххи—мой поклонникъ—ххо-ххо-ххо-ххи-ххи-ххи... залился онъ пронзительными и ревущими перекатами по всѣмъ возможнымъ и невозможнымъ для обыкновеннаго человѣческаго горла визгамъ, воплямъ и грехотамъ.

Мелодичности своихъ рудадъ онъ нисколько не удивлялся, но рѣшительно не понималъ и самъ, какъ это визгъ и ревъ выходятъ у него такіе оглушительные, когда онъ расхохочется. Обыкновеннымъ голосомъ онъ говорилъ тихо, и пока онъ не начиналъ, по забывчивости, давать волю своей глоткѣ, никто бы не могъ ожидать, что онъ перекричитъ и пѣтуха, и медвѣдя.

— Я пришла къ вамъ не покупать наряды,—сказала Волгина хозяйкѣ магазина въ отвѣтъ на фразу о пріятности новаго знакомства:—мнѣ надобно сказать вамъ нѣсколько словъ.

Любезно-вопросительное выраженіе лица магазинщицы смѣнилось одобрительно-скромнымъ.—Мой магазинъ въ полномъ вашемъ распоряженіи. Смѣю васъ увѣрить, что ваше довѣріе ко мнѣ будетъ оправдано. Прошу васъ,—она отворила дверь въ свою квартиру:—намъ удобнѣе будетъ продолжать разговоръ въ моей гостиной.

— Конечно;—сказала Волгина. Черезъ большой залъ съ великолѣпными зеркалами онѣ прошли въ гостиную, очень роскошную.

— Прошу васъ. Здѣсь мы можемъ говорить совершенно свободно.—Онѣ сѣли.

— Я пришла за тѣмъ, чтобы предупредить молодого человѣка въ гороховомъ пальто, который сейчасъ вошелъ сюда, что за нимъ слѣдить господинъ,—имя котораго онъ, вѣроятно, угадаетъ.—Отъ самой квартиры за Нивельзинимъ ѣхала голубая карета;—онъ не замѣтилъ; скажите ему, что нехорошо быть такимъ неосмотрительнымъ. Карета стоитъ теперь у вашего подъѣзда. Онъ увидитъ ее. Пусть онъ сейчасъ уходитъ отсюда.

— О, Боже!—Какое было-бъ это несчастье! Monsieur Saveloff такъ силенъ! Онъ погубилъ бы меня!—Магазинщица, всплескивая руками, вскочила идти.

— Прошу васъ, дослушайте же.—Отдайте ему эту перчатку,—Волгина сняла перчатку съ правой руки,—и пусть онъ любитъся на нее, идя отсюда.

И выйду через минуту и тоже пойду мимо кареты,—конечно, тотъ господинъ въ каретѣ будетъ ждать даму Нивельзина,—я уроню зонтикъ, буду поправлять шляпку,—словомъ, тотъ господинъ увидитъ, что у меня одна рука въ перчаткѣ, другая безъ перчатки,—онъ увидитъ, что Нивельзинъ любовался на мою перчатку.—Да берите же, несите ему,—берите же.

Хитрое, дурное лицо магазинщицы сдѣлалось честнымъ.

— Нѣтъ, я не возьму вашу перчатку. Я не могу допустить, чтобы вы такъ ужасно компрометировали себя. Онъ уйдетъ, этого будетъ довольно.

— Нѣтъ, этого не будетъ довольно. Карета стала бы ждать, и дождалась бы. Вы сами говорите, что господинъ, который сидитъ въ каретѣ, умѣетъ метить; той, которую онъ подозрѣваетъ, онъ можетъ мстить сильнѣе, нежели вамъ. Она погибла, если войдетъ сюда прежде, нежели убѣдится, что подозрѣвалъ напрасно, что Нивельзинъ былъ здѣсь для меня.—Самого Нивельзина я не хочу видѣть; но ей я оставлю мой адресъ, и мы подумаемъ, что ей дѣлать.

— Вы не знакома съ madame Saveloff? И такъ ужасно компрометируете себя для нея?

— Идете вы, или нѣтъ?

— Вы не знакома съ madame Saveloff?

— Не знакома, или дружна, какъ вамъ угодно, только идите же.

— Если вы не знакома съ нею, почему-жъ вы знаете, что ея еще нѣтъ здѣсь?

— Какъ вы сердите меня!—нетерпѣливо сказала Волгина:—Кто-жъ не знаетъ, что мужчина приходитъ на свиданье первый, пока женщина еще не надоѣла ему. Почему я знаю, что она еще не надоѣла ему?—Можете попытствовать послѣ, а теперь идите.

— Вы не знакома съ нею,—не знакома или во враждѣ съ нимъ, потому что не хотите видѣть его,—и между тѣмъ такъ ужасно компрометируете себя для нея!

— Кажется, вы уже начинаете подозрѣвать, нѣтъ ли у меня злого умысла?—Это лишнее.—Идете вы или нѣтъ?—Я съумѣю обойтись и безъ васъ.—Брови Волгиной сдвинулись:—Идете вы или нѣтъ?

— Иду,—проговорила модистка, торопливо вставая.

— Берите же перчатку,—забыли.

Модистка побѣжала, и черезъ минуту вернулась:

— Онъ умоляетъ васъ сказать ваше имя,—онъ хочетъ знать, кто та, которой онъ обязанъ такъ...

— Умолять не было надобности, услышалъ бы отъ той дамы. Мое имя Волгина. Да пусть же онъ уходитъ поскорѣе.

Модистка убѣжала и возвратилась, запыхавшись:

— Онъ не знаетъ васъ, но знаетъ вашего супруга... Я не могу найти довольно словъ, чтобы достаточно выразить вамъ свою благодарность. Вы спасли репутацію моего магазина,—я такъ дорожу ею!—Повѣрьте, это былъ совершенно исключительный случай, что я согласилась на просьбу madame Saveloff. Я такъ привязана къ этой милой, милой молодой дамѣ, что у меня не достало бы силъ отказать ей ни въ чемъ. Только поэтому, только для нея

нарушила я свое неизмѣнное правило съ негодованіемъ отвергать подобныя просьбы...

Волгина засмѣялась.—Все это прекрасно. Но я сдѣлаю вамъ маленький выговоръ. Съ какой стати заговорили вы о madame Saveloff?—Я не говорила ни о какой madame; я говорила только о monsieur Nivelcine.

— Я согласна, это была ошибка съ моей стороны. Но въ сущности, тутъ не было нескромности. Понятно, вы должны были знать, кто она: вы видѣли, кто слѣдитъ за monsieur Nivelcine.

— Я могла видѣть, что за нимъ слѣдитъ кто-то, и не знать кто.— Но, я думаю, Нивельзинъ уже довольно далеко, и я могу идти.

Слушая разсказъ жены о развязкѣ этого маленькаго приключенія, Волгинъ погружался въ размышленія, потому что былъ человѣкъ искусный въ размышленіяхъ.

— Ну, хорошо, голубочка; только ты скажи мнѣ: по-русски говорила ты съ этою магазинщицею, или, я думаю, по-французски?

— По-французски, мой другъ; думала, совсѣмъ забыла, нѣтъ, еще могу говорить, хоть не очень хорошо.

— Нѣтъ, голубочка, я вотъ о чемъ: какъ же она говорила тебѣ?— „Вы“—по твоимъ словамъ выходить,—„вы“...

— Да, vous,—что-жъ такое?—vous.

— Гм!—то-то же и есть!

— Что же такого особеннаго тутъ?

— Нѣтъ, я такъ, голубочка, ничего.—Онъ размыслилъ, что въ разговорахъ съ незнакомою дамою по-французски обращаются къ ней не словомъ „vous“, а словомъ „madame“. Но еслибъ онъ высказалъ свое соображеніе, что вотъ и магазинщица принимала ее за очень молоденькую дѣвушку,—потому-то и спорила противъ нея,—то жена съ досадою сказала бы:—„И охота тебѣ говорить мнѣ такой вздоръ!“—Потому онъ умолчалъ свое размышленіе о vous и madame, а обратился къ другому размышленію.

— Но вотъ что, голубочка. Ты сказала ей: „Эта дама еще не здѣсь, потому что мужчина приходитъ на свиданье первый, пока женщина не надоѣла ему“; согласенъ, такъ. Но почему-жъ ты могла знать, что Савелова еще не надоѣла ему?—А впрочемъ, это удивительно, какъ я глупъ!—воскликнулъ онъ, не переводя духа, и въ живѣйшемъ восторгѣ отъ своего удивительнаго открытія:—Само собою, это было видно изъ того, какъ онъ шелъ на свиданье!—Не то, чтобы заглядываться на женщину, которыя встрѣчались,—онъ подъ ногами у себя земли не слышалъ. Да, онъ сильно влюбленъ въ нее. Это видно. Увѣряю тебя, голубочка.

— Вѣрю;—сказала она, засмѣявшись.—Но уйду, не буду мѣшать тебѣ работать. И такъ я отняла у тебя много времени этою прогулкою и своею болтовнею. И вотъ, еще заставляю тебя знакомиться съ Нивельзинымъ.

— Да;—воскликнулъ онъ отъ новаго соображенія:—что-жъ это ты, голубочка, не захотѣла видѣть-то его?—Неужели тебѣ пришло въ голову, что лучше и не знакомиться съ нимъ?—Да это пустяки, голубочка!

— Да не сейчас ли я сказала, что мы будем знакомы с нимъ, и что мнѣ жаль, что заставляю тебя тратить время на него?—Ты слишкомъ разсѣянъ, мой другъ.

— Это твоя правда, голубочка, — согласился глубокомысленный мужъ: — но какъ же это, что онъ будетъ отнимать у меня время?—Какимъ же это образомъ?—Твой гость, а не мой.—Я свопхъ гостей не люблю. А твои — что мнѣ? Все они вмѣстѣ, много ли мѣшаютъ мнѣ?—Ну, сама скажи: много ли?

— Онъ, мой другъ, не то, что мои гости. Онъ старше ихъ, и ученый. Съ нимъ ты не будешь безъ церемоніи, какъ съ этими ребятами.

— Правда твоя, голубочка; — согласился онъ: — но не велика важность. — Да, такъ почему-жъ ты не захотѣла видѣть его?

— Я вздумала, что прежде надобно увидѣться съ нею; потому что, мнѣ кажется, тутъ что-нибудь не такъ: едва ли тутъ серьезная любовь съ обѣихъ сторонъ.

— Почему-жъ ты вздумала это, голубочка?—А впрочемъ, естественно, это всего вѣроятнѣе; — тотчасъ же размыслилъ онъ, потому что былъ чрезвычайно быстръ въ соображеніяхъ: — это очень вѣроятно, голубочка; потому что, увѣряю тебя: „люблю“, „люблю“, — думаешь, и точно, серьезно, — а выходитъ, обыкновенно, пустяки слова. Увѣряю тебя, голубочка.

— Вѣрю; — сказала жена, засмѣявшись. — Но работай, не мѣшаю тебѣ.

— Да, это твоя правда, голубочка, — подтвердилъ онъ. — Оно точно, что нынѣшній день мнѣ надобно нѣсколько поработать.

— Да, „нынѣшній день“ и „нѣсколько“. — Она вздохнула. — Другъ мой, ты убиваешь себя.

— Э, пустяки, голубочка, совершенно пустяки, — сказалъ онъ вѣлѣдъ ей.

На слѣдующее утро Волгинъ лежалъ, перебирая пальцами свою рыжеватую жиденскую бороду, чѣмъ занимался только въ затруднительныхъ обстоятельствахъ. Обстоятельства были такъ затруднительны, что онъ не могъ продолжать работу; легъ читать — и то не шло. Четверть часа назадъ жена взошла и спросила, не надобно ли ему ѣхать куда-нибудь: она взяла бы его, ей все равно, она хочетъ прокатиться. — Нѣтъ, ему никуда не нужно. — „Если такъ, мой другъ, то и прекрасно. Быть можетъ, пріѣдетъ Савелова. Ты прійми ее. Я скоро вернусь; только пройду въ Гостинный дворъ.“ — Не предвидѣлъ онъ, что выйдетъ ему такая коммиссія! — Пріѣдетъ, прійми ее! — А впрочемъ, что за важность? — утѣшалъ онъ себя. — Можетъ быть, она и не пріѣдетъ нынѣ. Или, можетъ быть, Лидія Васильевна возвратится раньше того. А если и не такъ, что за важность?

— Алексѣй Иванычъ, — сказала служанка, — пріѣхала Савелова; я попросила ее взойти, какъ велѣла Лидія Васильевна, потомъ сказала, что Лидія Васильевна скоро будетъ, а вы дома. Пожалуйста.

— Ничего. Надобно только умѣть держать себя, то и ничего. — Онъ повязалъ галстухъ, сбросилъ халатъ и надѣлъ пальто, безо всякой трусости.

— Жена извиняется передъ вами — очень развязно началъ онъ, входя въ гостиную и дѣлая усердный поклонъ прежде, нежели успѣлъ разобрать,



въ какой сторонѣ комнаты гостя, и туда ли онъ обращается съ поклономъ, куда слѣдуетъ:—Жена извиняется передъ вами; она не была увѣрена, что вы прїѣдете нынѣ; она скоро... На этомъ пресѣлось объясненіе, и голова развязнаго хозяина, поднимавшаяся изъ глубокаго поклона, заморгала, заморгала: онъ постигъ, что ляпнулъ непростительнѣйшую неловкость: онъ знаетъ, что она должна была прїѣхать къ его женѣ,—стало быть, знаетъ, по какому случаю прїѣхала!—Какъ онъ глупъ!—И что она подумаетъ о Лидіи Васильевнѣ?—Какое право Лидія Васильевна имѣла сообщать ему чужую тайну?—Всѣ эти мысли съ быстротою молніи пронесли въ его умъ, потому что онъ былъ необыкновенно быстръ въ соображеніяхъ; онъ заморгалъ въ отчаяніи; но отчаяніе и дало ему силу: онъ махнулъ рукою, приподнимавшеюся перебирать бороду, и не моргая, прямо смотря въ глаза гостя, быстро заговорилъ:

— Не вините Лидію Васильевну: она умѣла бы молчать и передо мною. Но дѣло вышло такъ, что я былъ свидѣтелемъ. Мы шли вмѣстѣ. Я знаю въ лицо вашего мужа. Я не могъ не понять, что это значить. Да и не опасайтесь меня: я неловокъ; но, повѣрьте, я не совершенно безчестный человѣкъ.

Онъ смотрѣлъ прямо въ глаза Савеловой. Но онъ и вообще не былъ мастеръ наблюдать, а тутъ, вдобавокъ, былъ взволнованъ стыдомъ за свою неловкость, и усердіемъ оправдать жену. Потому онъ рѣшительно не замѣтилъ, какія впечатлѣнія смѣнялись на лицѣ Савеловой. Вѣроятно, она была озадачена. Можетъ быть, испугалась. Но объ этомъ онъ могъ только догадываться: видѣть, онъ ничего не видѣлъ. А впрочемъ, онъ видѣлъ все, какъ слѣдуетъ, и совершенно согласно съ тѣмъ, какъ описывала Лидія Васильевна. Онъ видѣлъ, что Савелова высокая, очень молодая,—года двадцать два,—бѣлая, нѣжная, съ большими темно-голубыми глазами, что она изъ тѣхъ женщинъ, которыя считаются очаровательными красавицами;—ну, и прекрасно, тѣмъ больше, что Лидія Васильевна находитъ ее дивною, прелестною;—пусть такъ и будетъ,—уступчиво рѣшилъ онъ.

— Madame Волгина скоро возвратится, по вашимъ словамъ?—Я подожду ее. А пока поговорю съ вами, monsieur Волгинъ. Сядемъ.

Прекрасно. Теперь ему нѣтъ надобности смотрѣть на нее, пока усядется. Онъ сталъ разсматривать полъ, самъ занимаясь размышленіями, приличными случаю. Онъ не замѣтилъ никакого волненія въ ея голосѣ. Ему показалось, что она такъ спокойна, будто прїѣхала съ визитомъ по какому-нибудь изъ обыкновеннѣйшихъ, ничтожнѣйшихъ поводовъ къ дѣланію новаго знакомства. Не слѣдуетъ ли изъ этого, что слишкомъ усердная свѣтская полировка стерла въ ней все живое и благородное?—Очень вѣроятно.—Но если и такъ, не она виновата; она еще такъ молода, что не успѣла бы сама испортить себя.

А между тѣмъ, онъ не забывалъ обязанности хозяина. Ему было видно ея платье. Онъ наблюдалъ, когда она усядется,—тогда, по его мнѣнію, ему опять надобно будетъ смотрѣть на нее.—Она съѣла, оправила складки платья;—судя по движенію локтей, должно быть, сняла шляпу, оправила волоса.—Хорошо, если она сама придумаетъ разговоръ; а если надобно будетъ ему самому придумать,—что бы такое придумать?—Она опять оправляла складки платья, нѣсколько сдвинувшіяся отъ движенія при снпманіи шляпы... Кончила. О чемъ же выдумать говорить?.. Не выдумывается. Но она сама най-

дочь, она свѣтская, и такъ спокойна. Надобно только опять смотрѣть на нее, она уже сама завяжетъ разговоръ.—Онъ перевелъ глаза съ пола на нее.

Она сидѣла задумчиво и застѣнчиво потупившись. На щекахъ ея горѣлъ румянецъ. Она съ трудомъ переводила духъ.

Онъ мгновенно расчувствовался.

— Вы должны осуждать меня, monsieur Волгинъ,—проговорила она, почти задыхаясь.

— Осуждать?—Помилуйте!—Что вы!—Онъ схватилъ и погладилъ ея руку.—Помилуйте!—Что вы!—Съ чего взяли?

— Я вижу, monsieur Волгинъ, что вы жалѣете меня. Благодарю васъ.

— Вы извините меня, я вовсе не умѣю держать себя;—сказалъ онъ, увидѣвши, что она стала дышать гораздо спокойнѣе, и потому разсудивши, что довольно погладилъ ея руку, и можетъ прибрать свои.—Совѣмъ не умѣю держать себя; Лидія Васильевна всегда смѣется надъ моею свѣтскостью. Ну, да это пустяки, разумѣется. А если вы съ Лидією Васильевною вздумаете что-нибудь, такъ это будетъ прекрасно.

— Да, я не знаю что мнѣ дѣлать; посоветуйте мнѣ, m-г Волгинъ.

— Лучше подождемте Лидію Васильевну,—отвѣчалъ онъ.—Я плохо полагаюсь на свои мнѣнія, даже и по такимъ дѣламъ, которыя кажутся мнѣ очень просты.

И она, должно быть, видѣла, что онъ болѣе способенъ сочувствовать, нежели совѣтывать. Но то, что онъ искренно сочувствуетъ, она видѣла. Она откровенно отвѣчала на его вопросы, полные дружескаго участія; и если она не все договаривала, или даже сама не все понимала, то даже и недогадливому Волгину не трудно было получить довольно точное представленіе и о ея исторіи, и о ея характерѣ.

Ея отецъ—младшій братъ генераль-адъютанта Агаѣонова, который умеръ съ годъ тому назадъ. Волгинъ слышалъ о генераль-адъютантѣ Агаѣоновѣ. Это былъ человѣкъ довольно сильный; старый холостякъ, игрокъ, мотъ. Его обѣды были великолѣпны. Онъ умеръ, оставивши порядочные недочеты въ разныхъ кассахъ, откуда могъ черпать, и, кромѣ того, кучу долговъ.

Но ея отецъ не имѣлъ никакихъ сношеній со старшимъ братомъ. Они разошлись еще въ молодости, когда одинъ былъ столоначальникомъ, другой какимъ-нибудь капитаномъ. Когда старшій братъ сталъ важнымъ генераломъ, онъ и вовсе потерялъ охоту помнить о братѣ, котораго никогда не любилъ. Да и вообще, едва ли онъ когда-нибудь любилъ кого-нибудь, кромѣ самого себя.

Ея отецъ—очень смиренный человѣкъ; и по честности,—какъ она говорила,—вѣроятно, и по робости, по неумѣяю,—какъ дополнялъ Волгинъ въ своихъ мысляхъ,—онъ не могъ едѣлаться взяточникомъ.—Слѣдовательно, не могъ и имѣть хорошей карьеры въ тѣ времена,—дополнилъ Волгинъ вслухъ.—Да. Два года назадъ онъ былъ не больше какъ совѣтникомъ губернскаго правленія.

Савеловъ тогда еще не былъ такимъ сильнымъ человѣкомъ, какъ теперь. Но уже пріобрѣлъ довѣріе новаго министра. Министръ послалъ его ревизовать ту губернію, гдѣ служилъ ея отецъ. Министръ сказалъ Савелову: „Если найдете нужнымъ отставить губернатора, онъ будетъ отставленъ, хоть у него и

важныя связи; съ другими я еще меньше поцеремонюсь.“ — Савеловъ предложилъ губернатору и вице-губернатору подать въ отставку. То же и другимъ, кого не отдалъ подъ судъ. И точно, всё они стоили того: или разбойничали, или прикрывали разбойниковъ. Изъ всего состава губернскаго правленія уцѣлѣлъ только ея отецъ.

Однажды Савеловъ сказалъ ему: „Вы назначенъ вице-губернаторомъ.“ Невозможно описать изумленіе и радость ея отца, всего ихъ семейства. До той поры Савеловъ не бывалъ у нихъ. Она и онъ не знали другъ друга. Онъ едва ли и помнилъ, если случайно слышалъ, что она существуетъ на свѣтѣ. Встрѣчаться имъ было негдѣ. Онъ вовсе не бывалъ на губернскихъ балахъ. Она почти не бывала въ высшемъ губернскомъ кругу: у отца было слишкомъ мало денегъ. Она однажды видѣла Савелова въ соборѣ, въ большой царскій праздникъ. Онъ, разумѣется, не замѣтилъ ее за толпою стоявшихъ ближе къ почетнѣйшимъ мѣстамъ.—Теперь онъ сталъ бывать у нихъ. Она понравилась ему. Онъ ей также, — по крайней мѣрѣ, такъ ей казалось тогда. Ей могло казаться это; она могла сама не понимать себя. Правда, ей было уже двадцать лѣтъ; но она почти вовсе не бывала въ свѣтѣ. Правда и то, ей уже дѣлали предложенія; но какіе люди? — или пожилые, или если молодые, то слишкомъ не блестящіе. У нея не было приданаго. А жили они такъ уединенно, воспитана она была такъ скромно, что романическихъ отношеній она не имѣла. Она не видывала вблизи молодыхъ людей, которыхъ можно было бы сравнивать съ Савеловымъ. Онъ красивый мужчина, съ прекрасными манерами. Говорили, что онъ суровъ; но говорили только взяточники. Всѣ честные люди хвалили его. Въ ихъ городѣ онъ казался полубогомъ по своей силѣ въ Петербургѣ. Ея отецъ и мать, еще и не мечтая о возможности предложенія, такъ много говорили о немъ, о блистательной карьерѣ, какая ждетъ его. Могло ли ей не казаться, что онъ нравится ей? — Могла ли она не почестъ себя счастливой, когда онъ сдѣлалъ предложеніе?

Такъ она говорила. Даже и недогадливому Волгину не трудно было понять изъ этихъ словъ и ея характеръ, и то, съ какими чувствами выходила она замужъ. — Человѣкъ съ поэтическою дурью или съ неумолимыми принципами думалъ бы о ней очень низко. Но Волгинъ, хотя и простякъ, все-таки зналъ, что люди слишкомъ любятъ рисоваться, и цѣнилъ въ ней то, что она не сочинила ни принужденія со стороны отца съ матерью, ни романическаго увлеченія со своей стороны. Пусть она вышла замужъ больше по расчету, нежели по увлеченію сердца, — за что презирать ее, когда у нея не было ни расположенія къ другому, ни отвращенія къ тому, за кого рѣшалась идти? — Она, конечно, думала, что пылкія страсти — выдумка поэтовъ, или сумасбродство. Вѣроятно, она и прожила бы весь свой вѣкъ безъ увлеченій, если бы не пошла въ общество, гдѣ слишкомъ много блеска и пустоты, праздности, скуки, проницательствъ и волокитства. Она казалась Волгину женщиною кроткаго характера и не пылкаго темперамента: быть можетъ, она увлекалась надеждою блистать въ Петербургѣ, желаніемъ стать важною дамою, — но и женихъ не былъ ни старикъ, ни уродъ. Напротивъ, онъ, дѣйствительно, былъ красивый мужчина, очень изящный. Волгинъ не сомнѣвался въ томъ, что, кромѣ расчета, было у нея и влеченіе къ нему. Пусть не очень глубокое или поэти-

ческое, — но она и говорить о своемъ влеченіи безъ пышныхъ фразъ. Простота и честность нравились Волгину, и онъ всегда называлъ хорошимъ человѣкомъ того, въ комъ находилъ ихъ. За нихъ онъ всегда готовъ былъ извинять и довольно большія слабости.

— Вы не были влюблена въ вашего жениха? — спросилъ онъ, чтобы испытать, не слишкомъ ли полагается на простоту и честность ея характера. — Она поняла, что онъ невыгодно думаетъ о томъ, какъ она шла замужъ, и покраснѣла. Ему показалось, что она и колеблется, какъ отвѣчать. Но если она и дѣйствительно колебалась, она вышла изъ борьбы съ честью для себя, по крайней мѣрѣ, въ его глазахъ ея отвѣтъ дѣлалъ честь ей.

— Нѣтъ, — сказала она, потупивши глаза. — Я не была влюблена въ него; и я не была влюблена ни въ кого, до... до... вы знаете... Она не заплакала. Но видно было, что ей легче бы дать волю слезамъ, нежели сдерживать ихъ.

Она и неглупая женщина, — по крайней мѣрѣ, умѣетъ отвѣчать, — подумалъ Волгинъ: — потому что заставила меня опять нѣсколько расчувствоваться.

Она довольно долго молчала. Потомъ стала говорить довольно спокойно. Ея слова были опять такъ просты, что даже и Волгину было не трудно видѣть изъ ея разсказа всю правду. Впрочемъ, и правда эта была очень проста для пониманія.

Она не была влюблена въ Савелова. Но она была хорошо расположена къ нему. Отъ него зависѣло, чтобъ это чувство сохранилось, упрочилось. Но онъ человѣкъ сухого сердца. Она не была требовательна въ этомъ отношеніи: она не сходила съ ума отъ любви къ мужу, и ей вовсе не было надобно, чтобъ онъ былъ безъ ума отъ нея. Но она имѣла расположеніе къ нему, — и она не могла быть счастливою, когда поняла, что онъ совершенно холоденъ къ ней. — „Я говорю о его сердцѣ“, — сказала она. — „Зачѣмъ онъ бралъ жену, если жена — существо такое незанимательное для него? — Удобнѣе, лучше для него было бы нанимать маленькую квартиру для какой-нибудь женщины, взятой съ улицы. Это стоило бы ему дешевле, нежели жена. Онъ неспособенъ понимать, что жениться не значитъ только взять женщину на содержаніе. У него сердце, неспособное къ привязанности.“

— Я увѣренъ, что онъ очень привязанъ къ вамъ, — васъ называютъ красавицею, — сказалъ Волгинъ.

— На улицѣ онъ могъ бы найти любовницу очень красивую, — отвѣчала она. — Для него было бы все равно, та или другая женщина, лишь была бы молода и красива. — Но что я говорю? — Онъ вѣренъ мнѣ, а я... о, до какого униженія довелъ онъ меня! — Я должна сознаваться, что онъ правъ передо мною, а я преступница передъ нимъ!...

Она залилась слезами. Волгинъ разсудилъ, — и совершенно справедливо, — что сдѣлалъ не очень хорошо, заставивши ее плакать.

— На васъ досадно смотрѣть, какими пустяками вы смущаетесь, — извините меня, вы могли уже видѣть, что я не умѣю говорить деликатно. Что вамъ за охота не понимать вашихъ истинныхъ отношеній къ мужу? — Зачѣмъ онъ женился на васъ? — Вы говорите, вы нравились ему. Согласенъ. Но вы сами говорите, всякая красивая женщина съ улицы была бы очень хороша ему,



а стоила бы гораздо дешевле. Значить, жена ему была нужна не для него самого, — для общества. Почему онъ выбралъ васъ? Аристократку, — то-есть, настоящую, важную аристократку, — за него не отдали бы тогда; изъ мелюзги, которая воображаетъ себя аристократією, отдали бы, но какая польза отъ такого родства? — Ему нужно было стать своимъ, въ настоящемъ, сильномъ аристократическомъ обществѣ. Онъ рассчиталъ: „Ея дядя хорошъ въ немъ. Онъ эгоистъ, не хочетъ ничего сдѣлать для родныхъ. Но пусть онъ увидитъ племянницу женою человѣка, который не нуждается въ его протекціи; пусть онъ увидитъ, что она — блестящая молодая женщина. Онъ приметъ ее, какъ самую пріятную находку: пусть она украшаетъ собою его обѣды, вечера.“ — Было это? Хорошо принялъ васъ дядя? Просилъ васъ быть хозяйкою на его обѣдахъ и вечерахъ?

— Да.

— То-то же и есть. И вы вошли въ аристократическое общество?

— Да.

— А вашъ мужъ?

— Конечно, и его не могутъ не принимать хорошо въ тѣхъ домахъ, которые дружны со мною.

— То-то же и есть. Это хорошая вещь подружиться съ аристократами, не переставая быть демократомъ. Какъ ему было втереться самому? Первое, собственно его то и не впустили бы; второе, стараясь втереться, испортилъ бы репутацію демократа. Нынѣ, извѣстно, все реформы; реформировать должны демократы. Надобно было и залѣзть въ высшій кругъ, и сберечь свою славу, что онъ дѣльный реформаторъ. Удалось, какъ видите. И я думаю, онъ говорить друзьямъ-демократамъ въ минуты откровенности: „противъ воли якшаюсь съ аристократами и продолжаю ненавидѣть ихъ.“ — Такъ думаетъ Рязанцевъ, — вѣроятно, не самъ выдумалъ, слышалъ отъ него. — Хорошо. Вы производите эффектъ; за вами ухаживаютъ; а вы неглупая женщина. Что же изъ этого? — Естественно: „прошу тебя, душа моя, будь любезна съ такимъ, онъ мнѣ нуженъ“. — „Душа моя, прошу тебя, будь очаровательно мила съ женою, или съ сестрою, или съ теткою такого-то, онъ мнѣ нуженъ“, — позвольте спросить, такъ ли? — Да и спрашивать нечего. — Въ чемъ же, оказывается, вся сущность дѣла? — „Я беру васъ, mademoiselle, переименоваться въ madame и помогать моимъ дѣламъ“. — Вы помогаете. Чего жъ ему больше? — Больше ничего и не требуется.

Раздался звонокъ. По манерѣ звонить Волгинъ узналъ жену. — Ну, вотъ и Лидія Васильевна. Да-съ, чего же ему больше? Вашего расположенія? — Вотъ, очень нужно оно ему! Еслибъ оно было важною для него, онъ и сохранилъ бы его, вы сами сказали. — Чѣмъ ему огорчаться? — Что онъ, маленькій ребенокъ, что ли? — Не зналъ онъ впередъ, что если женщина обружена поклонниками и потеряла расположеніе къ мужу, то увлечется кѣмъ-нибудь другимъ? — За чѣмъ же онъ не берегъ вашего расположенія? — Значить, самъ рѣшалъ: „Душа моя, конечно, для мужа непріятно, если жена увлекается другимъ, но ты видишь, у меня много интересовъ гораздо поважнѣе этого. Мнѣ съ тобою некогда нянчиться, душа моя. Знаю, ты увлекаешься кѣмъ-нибудь, — но, душа моя, продолжай усердно помогать мнѣ въ дѣлахъ, болѣе важныхъ для меня“. Теперь, вы видите...

Взошла Волгина. Савелова бросилась на шею къ ней. Пока она душила и заливала слезами Лидію Васильевну, онъ перебиралъ пальцами бороду: ловко ли уйти, не договоривши,—и особенно, когда говорилъ съ горячимъ участіемъ?— Неловко.—Но случай уйти, не раскланиваясь, былъ очень хорошъ. Раскланиваться!—Да, если пропустить эту минуту, надобно будетъ раскланиваться.— Онъ пятился къ двери и благополучно исчезъ.

Вчера Савелова съ трепетомъ возвращалась домой. Нивельзинъ оставилъ ей въ магазинѣ записку, наскоро написанную карандашомъ: „Онъ подозрѣвалъ. Но опасность совершенно миновала. Благодарите Волгину“. Магазинщица также успокоивала ее. Но она все-таки боялась. Напрасно. Перчатка Волгиной пмѣла полный успѣхъ. Савеловъ былъ уже дома, когда жена, сдѣлавши нѣсколько визитовъ, чтобы дать себѣ время сколько-нибудь оправиться отъ волненія, вернулась. Мужъ, противъ обыкновенія, встрѣтилъ ее: онъ дожидался!—Это снова испугало ее. Онъ очень ласково обнялъ ее, и, какъ ей показалось, не замѣтилъ ея смущенія. Она ободрилась и успѣла подавить свое замѣшательство. Но все она еще не знала, какъ понимать его ласковость и веселость. Не притворяется ли онъ, чтобы лучше можно было продолжать слѣдить?—Но ушедши въ свою комнату раздѣться, она увидѣла на столикѣ у трюмо новую коробочку. Это былъ дорогой браслетъ, слишкомъ дорогой по доходамъ ея мужа. Такого дорогого подарка онъ не могъ бы сдѣлать для притворства: видно было, что въ самомъ дѣлѣ онъ былъ въ восторгѣ, забылъ расчетъ отъ радости. Теперь она перестала сомнѣваться. Но какъ ей тяжело было идти благодарить за подарокъ! — За подарокъ, который сдѣланъ обманщицѣ обманутымъ мужемъ!..

Она съ неподдѣльнымъ чувствомъ говорила о томъ, какъ мучительно было для нея лицемѣрить передъ мужемъ. Она получила награду за вѣрность! — Мужъ былъ въ этой новой сценѣ совершенно довѣрчивъ; ему было даже какъ будто бы совѣстно за себя передъ женою. Еслибъ она захотѣла, она могла вырвать у него признаніе, что онъ подозрѣвалъ ее, — онъ сталъ бы просить прощенія!—Но ей и безъ того было слишкомъ тяжело: она получила награду за вѣрность!

— Пусть онъ пересталъ подозрѣвать; но надолго ли?—стала говорить Волгина.—Такія опасныя отношенія не могутъ продолжаться.

При первыхъ словахъ ея объ этомъ Савелова заплакала.

— Чего вы требуете отъ меня?—Чтобы я разлюбила Нивельзина? Чтобы я перестала видѣть его?—я не могу.

Волгина была проникнута сожалѣніемъ о бѣдной женщинѣ; но эти слова очень дурно подѣйствовали на нее. Съ чего она вздумала, что отъ нея требуютъ бросить Нивельзина?—Волгина должна была сдѣлать усиліе надъ собою, чтобы не отвѣчать рѣзко. Но не могла принудить себя говорить съ прежнею нѣжностью. Она не могла притворяться; все, что она могла, было только сдерживать себя.

— Я не говорила, чтобы вы бросили Нивельзина, — сказала она. — Я сказала только, что это не можетъ продолжаться такъ; и вы сами должна понимать: не можетъ. Ваше положеніе слишкомъ опасно и тяжело. Какъ вы думаете выйти изъ него?

Савелова не замѣтила переменны въ ней. Плакала, плакала, и опять бросилась на шею къ ней.—Волгина подавила свою досаду.

— Я слышала, что Нивельзинъ очень хорошій человѣкъ; правда это?— Я слышала также, что онъ пересталъ быть вѣтренникомъ, и я расположена думать, что онъ серьезно любитъ васъ.—Такъ и вамъ кажется?—или я ошибаюсь?

Савелова стала съ энтузіазмомъ говорить о Нивельзинѣ.

— Вѣрю всему, что вы говорите о немъ, и объ искренности его любви къ вамъ. Но я жду, на что же вы рѣшитесь.

Савелова плакала.—Помогите мнѣ!

— Вы видѣли, я и безъ вашей просьбы помогала вамъ.

— Посоветуйте мнѣ, что мнѣ дѣлать.

— Послушайте, въ такихъ важныхъ дѣлахъ нельзя поступать по чужому совѣту. Рѣшайтесь сами такъ или иначе.

Савелова плакала.—Я не знаю, на что мнѣ рѣшиться... Давно онъ убѣждаетъ меня бросить мужа... Помогите мнѣ, посоветуйте!..

— Ахъ, вотъ что!—сказала Волгина съ досадою, но опять подавила ее.—Онъ убѣждалъ васъ. Почему же вы не рѣшались?—Вы не были увѣрена въ томъ, что его любовь прочна?

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Я знаю, онъ любитъ меня!..—Она продолжала плакать.—Помогите мнѣ, посоветуйте, что мнѣ дѣлать...

— Совѣтовать вамъ я не могу. Вы не ребенокъ. Помочь?—Извольте. Вы понимаете, что это не можетъ продолжаться такъ. Если вы не рѣшаетесь бросить мужа, я пошлю моего мужа вытребовать отъ Нивельзина, чтобы онъ не видѣлъ васъ больше. Вы говорите, Нивельзинъ благородный человѣкъ, и искренно любитъ васъ,—и я думаю, что это правда; не сомнѣвайтесь же, онъ пойметъ необходимость повиноваться...

Савелова слушала какъ убитая. Встрепенулась и съ энтузіазмомъ воскликнула:—Я рѣшаюсь бросить мужа.

— Я очень рада, если такъ,—сказала Волгина.—Я начинала терпѣніе съ вами.—Она стала ободрять Савелову и сдѣлалась опять ласковою; ободряла, хвалила.—Савелова экзальтировалась и была совершенно счастлива своею рѣшимостью.

— Ну, что, голубочка?—спросилъ Волгинъ, обертываясь отъ письменнаго стола къ женѣ, которая, проводивши Савелову, шла къ нему:—Знаешь, она мнѣ понравилась: въ сущности, хорошая женщина. Хочетъ бросить мужа?

— Да. Нивельзинъ уже предлагалъ ей это. Остается только, чтобы ты отправился къ нему, сказалъ, что она согласна. Ты говорилъ мнѣ, нужно трое сутокъ, чтобы получить заграничный паспортъ.

— Это обыкновеннымъ порядкомъ, голубочка. Если захотѣтъ, можно и скорѣе.

— Помню, ты говорилъ. Но я уже сказала ей, три дня...

— Зачѣмъ же ты сказала, голубочка, „три дня“, когда можно-бы и скорѣе?—не утерпѣлъ не сказать Волгинъ. Если онъ не могъ пояснить, то уже непременно желалъ поясненій.

— Было бы долго говорить, мой другъ: тебѣ надобно поскорѣе идти къ нему. Но, между прочимъ, я сказала такъ и потому, что вовсе нѣтъ надобности подымать шумъ особенными хлопотами.

— Это твоя правда, голубочка, — согласился мужъ.

— У меня была и другая причина; но послѣ, когда будетъ время говорить. Можетъ быть, я и ошибаюсь. Но некогда заводить длинный разговоръ. — Я сказала ей, что она не должна теперь ни видѣться съ нимъ, ни переписываться. Ты...

— Натурально, голубочка, — не преминулъ пояснить мужъ. — Имъ обоимъ надобно теперь держать себя помирнѣе, чтобы не возбудить какъ-нибудь новаго подозрѣнія. Значить, и я долженъ сказать ему: не ищите видѣться и не пишите. — Онъ взялъ фуражку. — Какъ же теперь условіе? — Беретъ паспортъ себѣ и еще какой-нибудь женскій, — не на ея имя, конечно, голубочка? — Натурально, не мудрено: ну, тамъ швея какая-нибудь, французенка, ѣдетъ за границу. Понимаю это. Значить, только время и мѣсто.

— Въ четвергъ, въ одиннадцать часовъ вечера...

— Правда, голубочка; — не могъ не пояснить Волгинъ. — Въ одиннадцать, будетъ уже ночь. Раньше, еще свѣтло.

На каждомъ словѣ задерживаемая его основательными поясненіями, Волгина досказала и остальные подробности.

Въ то время желѣзной дороги изъ Петербурга къ западной границѣ еще не было. Кто не хотѣлъ ждать парохода, ѣхалъ на почтовыхъ. — Нивельзинъ, въ дорожной каретѣ, будетъ ждать у квартиры Савеловыхъ.

— Прекрасно, — заключилъ Волгинъ общимъ поясненіемъ, пояснивъ по одиночкѣ всѣ подробности. — Прекрасно, голубочка. Тѣмъ больше, что она понравилась мнѣ.

— Иди же, будь спокоенъ: вѣрю, что она понравилась тебѣ. Не увѣряй больше.

— Эхъ, ты, голубочка, все смѣешься надо мною; — сказалъ мужъ и залился рюдаю, раскаты которой продолжали долетать до Волгиной и слѣстницы.

Нивельзинъ ходилъ по комнатѣ, служившей ему кабинетомъ. Онъ встрѣтилъ Волгина съ боязнью. Волгинъ захохоталъ во все горло по одной изъ многихъ милыхъ своихъ привычекъ:

— Что, видно боитесь, что я стану читать мораль? Оно и стоило бы за вашу вчерашнюю неосторожность. Должны были знать, съ какимъ человѣкомъ имѣете дѣло. Слѣдовало бы осматриваться повнимательнѣе. Ну, да ужъ такъ и быть. — Сейчасъ, — ахъ, позвольте, какъ ея имя и отчество? — Я сохраняю нравы доброй старины, не могу говорить, не зная имени и отчества: ну, вась-то зовутъ Павелъ Михайлычъ, кажется; такъ? — А ее?

— Антонина Дмитриевна. Но умоляю васъ, говорите скорѣе: зачѣмъ вы? что вы знаете о ней?

— Сейчасъ, погодите, попросите прежде сѣсть, — Волгинъ залился рюдаю отъ восхищенія своимъ остроуміемъ: ха-ха-ха! — Ну-съ, теперь можно. Сейчасъ Антонина Дмитриевна была у насъ, — онъ погрузился въ серьезность, —



и, проводивши ее, Лидія Васильевна прислала меня сказать вамъ, чтобы вы собирались за границу.

— Я зналъ это, — проговорилъ Нивельзинъ, опускаясь, какъ пораженный громомъ.

— Что вы? — Да натурально съ нею! — Она рѣшилась.

— Она рѣшилась! — Она рѣшилась, говорите вы? — Онъ казался помѣшаннымъ отъ радости.

— Само собою, рѣшилась. — Волгинъ погрузился въ размышленіе. — Антонина Дмитріевна очень хорошая женщина, Павелъ Михайлычъ, — произнесъ онъ чрезвычайно поучительнымъ тономъ.

— Какъ поняла она мое чувство къ ней! — съ увлеченіемъ сказалъ Нивельзинъ. — Такое довѣріе ко мнѣ! — какъ она знала, что не обманется во мнѣ!

— Позвольте, Павелъ Михайлычъ, — прервалъ Волгинъ: — о какомъ довѣрїи вы говорите? Зачѣмъ же вы думаете о себѣ такъ низко, будто можно не считать вашихъ словъ серьезными?

— Какихъ моихъ словъ? — Нивельзинъ не понималъ въ свою очередь. Но Волгинъ уже успѣлъ сообразить, и потому отвѣчалъ очень ловко, по крайней мѣрѣ, очень возгордился въ глубинѣ души ловкостью своего отвѣта.

— Оно, разумѣется, Павелъ Михайлычъ: съ одной стороны вы и правъ. Она ввѣряетъ вамъ свое счастье — какъ же не довѣріе?

Нивельзинъ былъ такъ взволнованъ, что не замѣтилъ ловкости, съ какою увернулся Волгинъ. Онъ былъ мало знакомъ съ глубокомысленнымъ дипломатомъ, но достаточно зналъ его за дикаря, который, по разсѣянности и неловкости, очень часто говоритъ вздоръ, ни къ селу, ни къ городу. Вѣроятно, такъ онъ и понялъ замѣчаніе и уступку Волгина; по крайней мѣрѣ, пропустилъ ихъ безъ особеннаго вниманія.

— Она оказываетъ мнѣ великое довѣріе, и какъ возвышаетъ она меня имъ въ моемъ собственномъ мнѣніи! — продолжалъ онъ, и довольно долго, очень горячо толковалъ на эту тему: Савелова оказала ему необыкновенное довѣріе, онъ очень гордится тѣмъ, что она такъ хорошо поняла его чувства.

Волгинъ, какъ человекъ, отличавшійся догадливостью нисколько не меньше, нежели ловкостью, теперь уже совершенно ясно понималъ, въ чемъ дѣло: между Нивельзинымъ и Савеловою никогда не было рѣчи о такой развязкѣ, на какую она рѣшилась. Нивельзинъ никогда не предлагалъ ей бросить мужа. Она могла только вообще видѣть, что онъ готовъ былъ бы и умереть за нее, не только посвятить свою жизнь ея счастью. Но онъ никогда не говорилъ ей ничего, кромѣ страстныхъ фразъ, въ которыхъ не бываетъ никакого опредѣленного смысла, или, вѣрнѣе, ровно никакого смысла.

„Вотъ это штука!“ — размыслилъ онъ. — „И какъ могла выйти такая штука?“ — При своей необычайной сообразительности онъ не затруднился и объяснить себѣ, какъ могла она выйти, и былъ готовъ головою ручаться, что не ошибается въ своемъ предположеніи; но его прежнее мнѣніе о характерѣ Савеловой значительно измѣнилось отъ этого предположенія.

— Да, она очень понравилась мнѣ; — замѣтилъ онъ, считая обязанностью выразить свою симпатію разгоряченному Нивельзину, восторженно твердившему,

что вся жизнь его будет одною непрерывною заботою о счастіи „Нины“, как называлъ онъ Савелову: — Знаете, я не очень то много наблюдательнъ, но тутъ даже и я увидѣлъ съ перваго раза: — кроткая женщина, не рисуется, — очень хорошая женщина.

— Вы не ошиблись, — подхватилъ Нивельзинъ, и совершенно отдался порывамъ своего чувства, увѣренный въ сочувствіи слушателя. Волгинъ, дѣйствительно, восхищался честностью сердца, раскрывшагося передъ нимъ, — расчувствовался; но и глубокомысленно соображалъ: онъ всегда соображалъ, и всегда глубокомысленно.

Кроткая! — надобно слышать, какъ она говорить о своихъ завистницахъ: никогда, ни объ одной изъ нихъ не сказала она злого слова; она умѣетъ мстить имъ только молчаніемъ, если не можетъ мстить услугами. Скромная! — надобно слышать, что говорить о ней ея завистницы: при всемъ ожесточеніи принуждены онѣ сознаваться, что въ ней нѣтъ кокетства. Онѣ только могутъ называть ее холодною, лишенною сердца, бѣснуясь отъ досады, что не могли до сихъ поръ найти ни малѣйшаго предлога для сплетенъ о ней. Какъ стыдится онъ за свое прошлое, сравнивая себя съ нею! — На какія пошлыя увлеченія потратилъ онъ свѣжесть своего сердца!

До недавняго времени онъ былъ пошлымъ человѣкомъ. Единственное хорошее, что было въ немъ — онъ любилъ науку. Но какую? — отвлеченную, которая могла развить умъ, доставить ученую репутацію, — только; она не облагораживала его сердца, и его образъ мыслей оставался мелоченъ, мертвъ, гадокъ. Онъ не думалъ о народѣ, не думалъ о счастіи людей. Отечество было для него — официальный механизмъ, со своею мишурною стройностью, славою. Этому отечеству онъ служилъ, и воображалъ, что исполняетъ весь долгъ гражданина, стараясь помогать увеличенію силъ механизма, который давитъ народъ. Онъ усердно служилъ этому чудовищу своими знаніями — и затѣмъ, считалъ себя въ правѣ не думать ни о чемъ, кромѣ грубыхъ наслажденій. Въ своемъ помѣстьѣ видѣлъ онъ источникъ средствъ для покупки наслажденій, въ женщинахъ — торговокъ, продающихъ наслажденіе собою. — Онъ и былъ правъ, думая такъ о женщинахъ, которыми наслаждался. Пока онъ былъ юношею, не могъ играть роль въ свѣтѣ, онъ кутилъ съ тѣми женщинами, которые продаютъ себя прямо за деньги. Онъ вошелъ въ свѣтъ и увлекся другими, болѣе граціозными: этихъ надо было покупать, затмевая соперниковъ свѣтскимъ блескомъ: точно такъ же, бросая деньги, только не прямо въ руки имъ, а на лошадей, на всяческія безразсудства, для потѣхи имъ; — а прямо имъ самимъ, вмѣсто денегъ, надобно было давать лесть, — и онѣ отдавались такъ же легко и съ такимъ же сердечнымъ влеченіемъ, какъ тѣ обыкновенныя продажныя женщины...

— Ну, позвольте, Павелъ Михайлычъ, это уже слишкомъ мрачно; — возражалъ Волгинъ, съ неизмѣнною своею основательностью, и совершенно справедливо объяснялъ, что и въ самыхъ отъявленныхъ кокеткахъ часто бываетъ нѣкоторая сердечная теплота, потому что и онѣ тоже люди, слѣдовательно, имѣютъ нѣкоторую потребность привязываться; что въ бѣдныхъ женщинахъ, принужденныхъ продавать себя, это человѣческое чувство проявляется еще менѣе рѣдко. И надобно думать, что довольно многія привязывались къ Ни-

вельзину довольно искренно, потому что онъ и самъ по себѣ очень можетъ нравиться, независимо отъ своихъ денегъ или своей лести.

— Конечно, бывало, что и онъ привязывались, и я къ той или другой;—соглашался Нивельзинъ.—Но съ обѣихъ сторонъ человѣческое чувство было такъ слабо, такъ мимолетно, такъ загрязнено пошлостью, и такъ легко исчезало, лишь только разводилъ насъ или случай, или новый капризь.

— И опять же нѣтъ вамъ причины особенно стыдиться за себя,—пояснялъ Волгинъ.—Правда, вы не имѣли порядочнаго образа мыслей, потому провели первые годы молодости въ пошлыхъ кутежахъ и волокитствахъ. Но всѣ молодые люди, имѣвшіе деньги, вели себя тогда не лучше вашего. Время было такое безмысленное.

— Я думаю, что мнѣ это менѣе простительно, нежели другимъ. Другіе были невѣжды.

— Да, ну это вы самъ справедливо замѣтили: тогдашняя наука была безжизненная, потому и не могла облагораживать человѣка. Общество не требовало отъ человѣка ничего, кромѣ пошлости.

— Вотъ это мнѣ горько, что я не могъ очнуться отъ нея самъ,—сказалъ Нивельзинъ.—Я раскрылъ глаза на свою жизнь и сталъ понимать свои обязанности только тогда, когда пробудилось такое же сознание въ цѣломъ обществѣ.

— Объ этомъ уже сказано, Павелъ Михайлычъ:

Пока не требуетъ поэта

Къ священной жертвѣ Аполлонъ...

продекламировалъ Волгинъ и залился руладюю, въ одобреніе остроумной цитатѣ. — Аполлонъ, т.-е. общество; подъ именемъ же поэта разумѣй всякаго человѣка. Одинъ воинъ въ полѣ не рать, говоря проще, Павелъ Михайлычъ: потому и хорошій воинъ отлагаетъ оружіе и предается занятіямъ, несвойственнымъ его мужественной природѣ.—Онъ опять залился хохотомъ, потому что и новая острота была очень недурна, по его мнѣнію, а вслѣдъ затѣмъ предался размышленію и вздохнулъ:

— „Пробудилось сознание въ цѣломъ обществѣ!“ — Ну, хватили, Павелъ Михайлычъ!—Онъ покачалъ головою и опять вздохнулъ.

— По крайней мѣрѣ, стало пробуждаться,—сказалъ Нивельзинъ. Тогда и онъ увидѣлъ передъ собою вопросы, отъ которыхъ затрепало у него въ головѣ. Какъ должны быть рѣшены они? — Онъ созналъ себя невѣждою во всякомъ живомъ знаніи, и ясно было для него только одно: онъ расточалъ на свои пошлости чужія деньги, добываемыя, быть можетъ, не нѣдомъ только, но и кровью; быть можетъ, — потому что онъ не зналъ, какъ живутъ крестьяне его села. Онъ поѣхалъ туда.

— Ну, что же? — и поступили тамъ очень хорошо; Рязанцевъ говорилъ,—одобрилъ Волгинъ.

Правда, Рязанцевъ хвалить. И въ самомъ дѣлѣ, онъ прожилъ около года въ деревнѣ не совсѣмъ безъ пользы и для крестьянъ, и для себя. Если что помогло крестьянамъ, то именно его незнакомство съ ихъ бытомъ и на-

добностями. Оно отнимало у него всякую мечту благодѣтельствовать имъ по своему усмотрѣнію. Онъ могъ только спрашивать ихъ, чего они желали бы. Спросивши, онъ едѣлалъ, какъ они считали хорошимъ. Они, конечно, остались довольны. Но велики ли желанія людей, которые привыкли жить очень бѣдно? Жалкое благосостояніе, благосостояніе по ихъ понятіямъ! — Теперь они даже боятся освобожденія! — Трудно ли удовлетворить желаніямъ людей, которые боятся освобожденія?

— А въ какомъ положеніи были они прежде? Разорены? — спросилъ Волгинъ.

— По ихъ словамъ, и прежде жили хорошо. Хорошо! — Впрочемъ, отвѣтъ ихъ былъ резонный: „Какъ же не хорошо? Гдѣ же въ сосѣдяхъ-то живутъ лучше?“

— Много вамъ стоило поправить это прежнее хорошее? Половины доходовъ?

— Да, около.

— То-есть, больше, нежели половины?

— По двумъ, тремъ годамъ нельзя вывести вѣрнаго расчета, — отвѣчалъ Нивельзинъ. — Но вообще, я стараюсь какъ можно меньше думать о благоденствіи моихъ крестьянъ: и вспоминать о немъ грустно, а смотрѣть было очень непріятно. Поэтому, я не выдержалъ и одного года въ деревнѣ, хоть мнѣ очень хотѣлось бы остаться тамъ подольше: развлеченій не было, я могъ читать и думать вволю. Но невыносимо было видѣть крестьянъ съ ихъ довольствомъ.

Онъ поѣхалъ за границу. Прожилъ съ полгода въ Парижѣ. Тамъ онъ провелъ время недурно. Веселая сторона Парижа осталась неизвѣстна ему: пошлости опротивѣли ему. Но для человѣка, желавшаго учиться, Парижъ былъ хорошъ. Парижскій народъ держитъ въ своихъ рукахъ судьбу Европы. Любопытно было всматриваться, чего можно ждать отъ него. Но упадокъ духа въ парижскихъ работникахъ очень великъ. Это тоже своего рода русскіе крѣпостные крестьяне, по широтѣ размѣра своихъ желаній. Разница только та, что у русскихъ крестьянъ и не было никогда желаній болѣе широкихъ; а тамъ были, но убиты. Это еще грустнѣе. Онъ не выдержалъ въ Парижѣ болѣе полугода и поѣхалъ въ Петербургъ; у насъ все-таки жизнь пробуждается, а не замираетъ; гораздо больше отраднаго.

Но то общество, въ которомъ онъ погубилъ свои прежніе годы, конечно, не могло уже привлекать его. Онъ сталъ сходиться съ передовыми людьми Петербурга. Нѣкоторыхъ онъ нашелъ пустыми фразерами. Другіе внушили ему и любовь, и уваженіе. Въ особенности Рязанцевъ, въ которомъ великій умъ, колоссальная ученость соединены съ энтузіазмомъ къ правдѣ, съ пламенною преданностью народному дѣлу. Онъ былъ такъ счастливъ, что приобрѣлъ расположеніе Рязанцева. У Рязанцева изрѣдка бываетъ Савеловъ. Онъ познакомился тамъ съ этимъ замѣчательнымъ человѣкомъ, которому, къ счастью для русскаго прогресса, открывается такая блистательная карьера.

— Вотъ какъ вы расхваливаете его, — вставилъ Волгинъ: — признаться, я не ждалъ этого.

Нивельзинъ отвѣчалъ, что готовъ, если бы то понадобилось, стрѣляться



на смерть съ Савеловымъ, какъ частный человѣкъ съ частнымъ человѣкомъ, но долженъ признавать его чрезвычайно полезнымъ государственнымъ дѣятелемъ. Какъ реформаторъ, онъ безусловно честенъ. Энергія его непреклонна. Онъ преклоняется передъ благороднымъ двигателемъ освобожденія крестьянъ.

Онъ сталъ бывать у Савелова. Не очень часто, потому что время Савелова дорого. Но не рѣдко, потому что Савеловъ желалъ сблизиться съ нимъ, хотѣлъ сдѣлать его однимъ изъ своихъ помощниковъ. Да, это положительно вѣрно. Уже были намеки, довольно ясны. Савеловъ говорилъ съ нимъ о дѣлахъ; давалъ прочитывать ему разные проекты и просилъ дѣлать замѣчанія о нихъ. Говорилъ, что когда будетъ рѣшено освобожденіе крестьянъ, то Нивельзину будетъ надобно бросить „свое бездѣлье“. — Когда Нивельзинъ пріѣзжалъ къ Савелову, то, обыкновенно, обѣдать. Обѣдъ — почти единственный часъ отдыха и свободы для Савелова. Онъ живетъ очень скромно. У него нѣтъ состоянія, и онъ безкорыстенъ. Министръ предлагалъ увеличить его жалованье, онъ постоянно отказывался. Онъ отказался бы и отъ половины того, что получаетъ, если бы не зналъ, что это показалось бы лицемѣриемъ. — Обыкновенно, они обѣдали втроемъ; изрѣдка, чиновникъ, который заработался до обѣда съ Савеловымъ, и оставленъ былъ продолжать работу послѣ обѣда; еще рѣже, — какой-нибудь офиціальный гость, пожилой, умѣющий говорить только о службѣ. — Иногда Савеловъ оставался съ женою и Нивельзинымъ довольно долго послѣ обѣда: чаще, ему не было времени и Нивельзинъ оставался одинъ съ хозяйкою. Савеловъ былъ чуждъ всякой мысли опасаться Нивельзина; отчасти, быть можетъ, потому, что видѣлъ въ немъ человѣка честнаго, серьезнаго, а главное, человѣка, которому до омерзѣнія надоѣло волокитство; но еще гораздо болѣе потому, что не опасался никого: онъ былъ совершенно увѣренъ въ своей женѣ.

Она вполне заслуживала того. Такой мужъ и не могъ бы вѣрить ей, еслибъ она не заслуживала того вполне. Возвратившись въ Петербургъ, Нивельзинъ почти совершенно пересталъ бывать въ большомъ свѣтѣ. Но у него остались связи съ нимъ. Нивельзинъ зналъ репутацію Савеловой. Станнымъ феноменомъ казалась эта женщина молодымъ людямъ, которые прежде были товарищами Нивельзина по вѣтренности, и изъ которыхъ иные оставались теперь его пріятелями, потому что и сами отчасти подверглись переменѣ къ лучшему. Между множествомъ кокетокъ, довольно большимъ количествомъ искреннихъ вѣтренницъ, въ большомъ свѣтѣ есть, хоть и немногія, молодыя дамы, вѣрныя мужьямъ. Но это или набитыя дуры, у которыхъ недостаетъ ума даже и на то, чтобъ измѣнить, — или женщины, которыхъ никто не желаетъ соблазнять, — такъ ужасно некрасивы онѣ, — или женщины безъ души и сердца, совершенно холодныя эгоистки, расчетливыя лицемѣрки, злыя завистницы, разсудившія, что надобно затмевать другихъ добродѣтелью, потому что не могли-бы затмить ихъ ни красотою, ни граціею. Но такихъ женщинъ, какъ Савелова, пріятели Нивельзина не видѣли въ аристократическомъ кругу. Она была добра и мила; она была умна. По красотѣ мало было соперницъ ей; по граціозности еще меньше. Толпы поклонниковъ тѣнились къ ней; — она позволяла говорить себѣ любезности, пока любезности говорились безъ претензій. Но едва любезность переходила границы ничтожной болтовни, она заставляла замолчать; заставляла безъ жеманства, не разыгрывая оскорбленную, не прикидываясь ни

ангеломъ наивности, ни мегерою добродѣтели. Навязчивыхъ глупцовъ она отдаляла отъ себя. Неглурые люди, отказавшись отъ претензій, могли оставаться хороши съ нею; и когда они послѣ говорили ей, что не могутъ понять ее, она отвѣчала: „Я не такъ глупа, чтобы вѣрить, и не такъ вѣтренна, чтобы увлекаться когда не вѣрю“. — Тѣмъ, которые были особенно хороши съ нею, она прибавляла: „Я должна быть въ обществѣ, и люблю его. Но я ѣзжу въ общество за тѣмъ, чтобы поддерживать отношенія, которыми должна дорожить, и вмѣстѣ съ тѣмъ веселиться. Но вовсе не за тѣмъ, чтобы кокетничать, — это дурно; еще меньше за тѣмъ, чтобы влюбляться; влюбиться — значило бы страдать и подвергнуться униженію; я не хочу ни того, ни другого“. — Сначала нѣкоторые глупцы отваживались повторять какую-нибудь сплетню, сочиненную какою-нибудь подлою завистницею. Но ихъ слова были встрѣчаемы такимъ хохотомъ и такимъ презрѣніемъ менѣе глупыхъ товарищей, что они со стыдомъ прикусывали языки. — Довольно давно уже не было и попытокъ сплетничать о Савеловой: кокетки убѣдились, что она не отниметъ ни у одной изъ нихъ ни одного любовника, добродѣтельныя фурии убѣдились, что никто не повѣритъ бы новымъ клеветамъ.

Нивельзинъ зналъ, что она не позволила бы волочиться за собою; да и не былъ расположенъ волочиться: пора легкомысленныхъ ухаживаній прошла для него. Но Савелова произвела на него очень хорошее впечатлѣніе: кромѣ своей красоты, также и умомъ, добротою. Когда мужъ уходилъ послѣ обѣда работать, ему было пріятно оставаться съ нею. И ей также было пріятно, что онъ остается: прежде ей почти всегда приходилось проводить одной время между обѣдомъ и началомъ аристократическаго вечера. Они продолжали говорить такъ же, о томъ же, какъ и при мужѣ. Иногда они читали. Они стали дружны.

Это могло бы продолжаться много времени, могло бы продолжаться, быть можетъ, до той поры, пока Нивельзинъ не полюбилъ бы другую, — конечно, дѣвушку, — потому что ему казалось, онъ уже не полюбитъ иначе, какъ съ мыслию жениться. Одно обстоятельство дало его чувствамъ направленіе, какого онъ не воображалъ: онъ увидѣлъ, что Савеловъ держитъ себя въ такихъ отношеніяхъ къ женѣ, которыхъ нельзя одобрить. Она была для мужа не больше какъ должностное лицо. Это лицо должно было исполнять свои обязанности. Одна, не очень важная — замѣнять экономку; другая, гораздо интимнѣе, — замѣнять наложницу; но еще гораздо важнѣе была третья: помогать его возвышенію пріобрѣтеніемъ очень сильныхъ или очень знатныхъ друзей, которые легче и прочнѣе привязываются самою ничтожною внимательностью красивой и граціозной молодой дамы, нежели самыми старательными заискиваніями мужчины. Савелова безукоризненно исполняла двѣ первыя обязанности, съ большимъ усиліемъ третью. Поэтому она была въ совершенной милости у мужа. Онъ не дѣлалъ ей выговоры по хозяйству и по обѣду; напротивъ, часто выражалъ свое удовольствіе тѣмъ или другимъ блюдомъ. Онъ не ѣздилъ ни къ какой лореткѣ и, очень лестно для законной своей одалиски, называлъ себя счастливымъ мужемъ. За хорошее выполненіе своихъ инструкцій о томъ, какъ съ кѣмъ должна она держать себя въ обществѣ, онъ очень любезно благодарилъ ее; однажды, — когда она успѣла наконецъ очаровать долго неподдававшуюся чрезвычайно важную и еще болѣе злую старуху, онъ такъ обрадовался, что благосклонно по-

цаловаль руку жены, — но и тѣмъ не ограничилъ своей награды: съ глубокимъ чувствомъ сказалъ: „Ты незамѣнимая жена“. Онъ былъ очень милостивый начальникъ.

Довольно долго Нивельзинъ не видѣлъ, что онъ только начальникъ и содержатель своей жены. Въ свѣтѣ было рѣшено, что она любитъ мужа: иначе, она не могла держать себя такъ безукоризненно. А онъ не имѣлъ любовницы: какъ же не владѣла его сердцемъ жена, при томъ же такая красавица? — Конечно, она и владѣла бы сердцемъ мужа, — если-бъ у мужа было сердце.

Нивельзинъ не могъ предполагать, что Савеловъ неспособенъ любить. Можетъ ли благородный гражданинъ быть бездушнымъ эгоистомъ въ частной жизни? — Нивельзинъ и теперь не понималъ, какимъ образомъ это возможно. Онъ только видѣлъ, что въ Савеловѣ это такъ. Ему трудно было замѣтить это, потому что это было неимовѣрно.

Но убѣдившись, что Савеловъ не имѣетъ ни искры теплаго чувства къ женѣ, онъ не могъ не понять, что эта добрая и нѣжная женщина не совсѣмъ счастлива. Въ ней была потребность любви.

Нивельзинъ замѣтилъ, что слишкомъ живо жалѣеть о ней. Онъ не былъ неопытный юноша, чтобы не разсмотрѣть, какое чувство скрывается подъ симпатією къ женщиной, лицо которой казалось ему очень мило. Онъ не колебался: онъ не могъ сохранить личной привязанности къ человѣку сухой души, но глубоко уважалъ въ Савеловѣ благороднаго государственнаго дѣятеля....

— Эхъ, вы! — перервалъ Волгинъ, покачалъ головою, размыслилъ и повторилъ съ удвоеннымъ чувствомъ: — Эхъ, вы! — Связать бы васъ съ Рязанцевымъ по ногѣ, да пустить по водѣ! — Онъ залился рудавою въ поощреніе остроумію, съ которымъ воспользовался поговоркою.

— Шутки не опроверженія, — сказалъ Нивельзинъ: — факты за насъ съ Рязанцевымъ.

— Хорошо; не спору; факты, — сказалъ Волгинъ, покачалъ головою и опять превратился въ смирнаго слушателя.

Нивельзинъ не колебался. Онъ сказалъ Савелову, что рѣшился не принимать никакого оффиціальнаго мѣста. — „Прежде мнѣ казалось, что вы не прочь служить, лишь бы съ пользою для общества“, сказалъ Савеловъ. — „Желалъ бы; но увидѣлъ, что неспособенъ“. — Савеловъ сталъ говорить, что когда двинется дѣло объ освобожденіи крестьянъ, будутъ устроены консультативныя комиссіи, что ихъ члены будутъ пользоваться полною независимостью. — Нивельзинъ отвѣчалъ, что не приметъ никакого назначенія, и потерялъ интересъ для Савелова.

— Вы не были у насъ цѣлую недѣлю, — сказала ему Савелова.

Онъ пересказалъ ей разговоръ, который имѣлъ съ мужемъ въ прошлый разъ. — „Прежде мы съ нимъ думали, что можемъ пригодиться другъ другу. Теперь я нашель, что не могу ни быть полезенъ ему, ни получить пользы отъ него“.

— Но онъ всегда будетъ дорожить вашею дружбою.

— Да; и я его дружбою. Но это не резонъ, чтобы я по прежнему отнималъ у него время.

— Если не хотите отнимать времени у него, то у меня отнимайте какъ можно больше. У меня его очень много.



Черезъ нѣсколько дней пріѣхаль Савеловъ и увезъ его къ себѣ, говоря что такъ велѣла жена.

Прошло еще нѣсколько дней. Она увидѣла его въ оперѣ, призвала въ ложу, осыпала его упреками за то, что онъ забываетъ ее; а она — она скучаетъ безъ него. — Она все еще думала только, что скучаетъ безъ него. Онъ видѣлъ, что она любитъ его. Онъ могъ бы давно видѣть это, если бы не вообразалъ, что она уже никого не полюбитъ. Она взяла съ него слово, что завтра онъ обѣдаетъ у нихъ.

Въ тотъ вечеръ онъ очень много думалъ. Его голова стала горѣть. Онъ написалъ ей. Онъ говорилъ ей въ этомъ письмѣ, что не долженъ больше видѣть ее, и умолялъ ее написать ему хоть одно слово, въ утѣшеніе. — Поутру, его голова нѣсколько проявилась; но было уже поздно: письмо, отданное слугѣ на развѣтѣ горячечной ночи, было уже отнесено. — Онъ мучился совѣстью за свою слабость, за свой эгоизмъ, — и былъ радъ, что уже не можетъ поправить свое безразсудство.

Она отвѣчала. Она говорила, что его письмо удивило ее; что она не сердится; что она прощается съ нимъ, но не навсегда. Она проситъ его успокоиться. Они были дружны. Его экзальтація пройдетъ, и тогда они опять будутъ дружны.

Онъ отвѣчалъ. Она отвѣчала опять. Они стали переписываться. Если-бъ его письма попали въ руки ея мужа, они были бы лучшимъ оправданіемъ ей. — Онъ умолялъ ее о свиданіи. Она говорила, что это безразсудно. Онъ покорился, и хотѣлъ только хотъ издали видѣть ее: онъ сталъ снова бывать въ обществѣ, гдѣ могъ встрѣтить ее. — Она просила его не дѣлать и этого: они вовсе не должны видѣть другъ друга, даже и въ обществѣ, пока его экзальтація пройдетъ. — Онъ покорился и этому. Она хвалила его послушаніе, благоразуміе, утѣшала тѣмъ, что современемъ они снова будутъ друзьями... Ея письма были иногда залиты слезами; но ея нѣжность всегда была тиха.

Онъ повиновался ея кроткой волѣ. Но силы его разсудка изнемогли. По временамъ, безумные проэекты овладѣвали его мыслями. То ему воображалось, что онъ могъ бы послать вызовъ Савелову, и придумывалъ предлоги для ссоры. То ему мечталось, будто онъ говорить Савелову: — „Вы не можете любить никого; ваше великое сердце холодно ко всему, кромѣ великаго, кромѣ желанія заслужить славу, давъ счастье народу. Я люблю ее. Жду отъ васъ рѣшимости, достойной васъ. Скажите ей, что вы позволяете ей быть счастливою“. — Онъ смѣялся надъ этими фантазіями, но смѣялся съ ужасомъ: онъ чувствовалъ, что начинаетъ терять власть надъ своими мыслями.

Никакія развлеченія не были возможны для него. Онъ старался искать развѣянія въ физической усталости. Онъ бродилъ изъ улицы въ улицу, пока ноги подламывались. Тогда онъ могъ спать.

Онъ услышалъ, что послѣ-завтра будетъ большой балъ во дворцѣ.

„Она будетъ тамъ, — стало думаться ему. — Она не замѣтила бы меня въ толпѣ“.

На другое утро ему думалось: „Я буду тамъ говорить съ нею. И мужъ ея будетъ тамъ. Я подойду къ нему. Я выпрошу у нея позволеніе бывать у нихъ. Ея мужъ скажетъ: „Что-жъ это, вы совсѣмъ забываете насъ? — Завтра мы будемъ ждать васъ“.



Онъ шелъ по Невскому. Далеко впереди, изъ Караванной, показалась ея карета, проѣхала сотню шаговъ и остановилась у моднаго магазина. Она вышла изъ кареты. Она не видѣла его; онъ былъ очень далеко.

Онъ опомнился только уже отъ того, что рука его взялась за холодную бронзовую ручку двери магазина. — „Идти, или нѣтъ? — подумалось ему. — Идти. Все равно, я увидѣлся-бы съ нею такъ или иначе“.

Она испугалась, увидѣвъ его. — „Одну минуту разговора, и я опять буду послушенъ вашей волѣ“, — сказала онъ. — „Безумецъ! — Я думала, что вы уважаете меня“. — „Вы боитесь? — сказалъ онъ съ улыбкою: — Вы боитесь меня? Вы знаете, что вы не должны бояться меня“. — Онъ улыбался, а на глазахъ у него были слезы. — „Я вѣрю вамъ, Нивельзинъ, — сказала она. — Вы не только влюбленъ въ меня, вы другъ мнѣ“. — „Madame угодно будетъ пожаловать въ комнату за магазиномъ, чтобы примѣрять платье?“ — скромно и ничего не понимая, сказала магазинщица.

Свиданіе длилось не одну минуту. Но мать, сестра могли бы быть свидѣтельницами его. Савелова сохраняла власть надъ собою. Нивельзинъ былъ покоренъ ея тихому напоминанію: „Милый Поль, я вѣрила тебѣ, — будь же другомъ, достойнымъ моего довѣрія“.

Онъ умолилъ ее согласиться на второе свиданіе. Она была увѣрена и въ себѣ, и въ немъ. Она пріѣхала на второе свиданіе безъ опасеній. И на этотъ разъ она не обманулась ни въ себѣ, ни въ Нивельзинѣ.

Свиданья продолжались. Конечно, они не могли долго сохранить того совершенно идеальнаго характера, какой имѣли въ началѣ. Она привыкла больше и больше надѣяться на себя и на повиновеніе Нивельзина. Она забывала осторожность. Она видѣла Нивельзина блѣднымъ, и тревожилась за него, и позволяла ему все болѣе жгучія ласки.

„Я не виню тебя, милый Поль, — говорила она, когда, очнувшись отъ забвенія, увидѣла себя его любовницею: — Я не хотѣла дѣлать тебя моимъ любовникомъ. Но ты счастливъ, Поль, и я счастлива, что ты не будешь думать, что я мало люблю тебя. И не напрасно ли я мучила тебя, безразсудная? — Но теперь я погубила себя, если мой мужъ узнаетъ, что мы видѣлись: я погубила себя первымъ же свиданіемъ“.

Прошло уже три дня послѣ того, какъ Волгинъ передалъ Нивельзину рѣшеніе Савеловой. Погода была ясная. Волгина хотѣла воспользоваться ею, чтобы ѣхать искать дачу. Она послала взять карету. — Наташа, очень молоденькая дѣвушка, титуловавшая себя горничною Лидіи Васильевны, отправленная съ этимъ порученіемъ, вернулась и съ гордостью объявила, что наняла карету полтинникомъ дешевле, нежели думала Лидія Васильевна, и карета самая прекрасная, и лошади самыя прекрасныя.

Но Волгиной еще надобно было кончить дѣло, которымъ начала она заниматься, послать за каретою.

Она стояла въ залѣ у двухъ сдвинутыхъ вмѣстѣ и раскрытыхъ ломберныхъ столовъ. На столахъ лежали куски шелковой матеріи. Въ рукахъ у Волгиной были ножницы. Она кроила платье. — Блондинка, одѣтая какъ барышня.

но не барышня по своимъ слишкомъ бойкимъ манерамъ, слѣдила, едва помня себя отъ восторга, за движеніями ножницъ.

— Если бы вы опоздали еще пять минутъ, вы уже не застали бы меня, — стала говорить Волгина, когда выкроила лифъ и рукава, и осталось только отрѣзывать куски для юбки, — работа, не требующая вниманія: — Слышите, карета уже взята. Я не была бы виновата: я говорила Миронову, что буду ждать васъ въ двѣнадцатомъ часу.

— Все выбирала матерію, Лидія Васильевна, — отвѣчала блондинка. — Денегъ-то немного, а хочется, чтобы матерія была получше.

— Сьумѣете ли вы перекроить сама другія платья по этому?

— Не знаю, Лидія Васильевна; можетъ быть, сьумѣю.

— Это значить, не сьумѣете. Но, по крайней мѣрѣ, не полѣнитесь перешить. Судя по тому, въ которомъ вы шли вчера, и по этому, которое теперь на васъ, всѣ надобно перешить. И это сидитъ на васъ мѣшкомъ, какъ-то.

— Не полѣнюсь, Лидія Васильевна; покорно васъ благодарю. — Блондинка съ быстротою молніи нагнулась и чмокнула руку Волгиной.

— Что вы, съ ума сошли, Даша? А если я прибью васъ за такія глупости?

— Какъ же, Лидія Васильевна, когда вы такъ милостивы ко мнѣ. больше обѣщанія вашего Петру Ильичу? — Хотите перекроить всѣ. А у меня ихъ цѣлыхъ семь.

— Хочу? — И цѣлыхъ семь! — Хочу всѣ перекроить! — Однако, вы догадлива, Даша. Не хочу ли я сдѣлать вамъ еще какую-нибудь милость?

— Какъ же, Лидія Васильевна? — Вы прикажете, чтобы я, какъ сошью это, и потомъ, какъ перешью, приходила бы показывать вамъ, хорошо ли сидитъ.

— Извольте, Даша, съ удовольствіемъ буду смотрѣть; и поправлять, если понадобится. Но я увѣрена, что съ перваго раза будетъ хорошо. На такую правильную талію легко кроить. Вы прекрасно сложена, Даша.

Блондинка съ примѣрною застѣнчивостью потупила глаза, и очевидно, желала бы даже покраснѣть. Этого желанія не удалось ей исполнить; но глаза потупились какъ нельзя лучше.

— Будьте же и по поступкамъ такою же прекрасною дѣвушкою, Даша. Будьте разсудительною, не прихотницею, не мотовкою. Я говорила Миронову, чтобы вы принесли мнѣ перекроить платье, въ которомъ шли съ нимъ, — а вы купили матеріи на новое. Помните, Даша, что у Миронова не такъ много денегъ; и если-бъ даже могъ онъ получать больше, у него теперь не такое время, чтобы ему слѣдовало набирать много уроковъ. Помните, что съ каникулъ онъ будетъ послѣдній годъ въ университетѣ; ему надобно какъ можно больше заниматься для окончательнаго экзамена. Это можетъ имѣть вліяніе на всю его жизнь. Не забывайте этого, хорошенькая моя Дашенька.

— Не думайте такъ обо мнѣ, Лидія Васильевна, — отвѣчала блондинка. — Кромѣ вотъ этого браслетика, — она приподняла больше на видъ руку въ браслетѣ, стоимшемъ рублей двадцать, — я ничего не получала отъ Петра Ильича; и то, въ первое время. — Буду ли я требовать отъ него? — Напротивъ. Лидія Васильевна: сама была бы готова помочь ему, если-бъ онъ нуждался.

— Вотъ какъ! — Отъ кого-жъ это новое платье. Даша?

— Ахъ, Боже мой!—А я думала, онъ сказывалъ вамъ!—проговорила блондинка, совершенно растерявшись, и сильно покраснѣла.

— Тѣмъ лучше, Даша, — сказала Волгина, засмѣявшись. — Но когда такъ, вамъ не слѣдовало ходить подъ ручку съ Мироновымъ: сохрани Богъ, увидятъ,—вамъ бѣда; и будете разорять Миронова.

— Ну, пусть увидитъ, толстый дуракъ; не такое сокровище, чтобъ заплакала, если бросить, — отвѣчала блондинка, сначала разсудивши потупить глаза, потомъ нашедши, что это лишнее. — Я ужъ и сама думаю, не бросить ли его. Скрыга-то какой, если-бъ вы знали, Лидія Васильевна. Да что же, вы можете судить, какъ я живу, когда я должна сама себѣ шить платья. А сколько деньжищевъ-то у него!—Ей-Богу, такъ, Лидія Васильевна! Согласитесь сами: надобно подумать о будущемъ. Не вѣкъ буду молода. А что я могу нажить, живучи съ нимъ?—Такъ вотъ, только доброе мое сердце. Но ей-Богу, самой передъ собой совѣстно, что всякій умный человѣкъ назоветъ меня дураю. Одно можно сказать въ похвалу ему: не пьянствуетъ. Потому не имѣешь неприятностей. Господи!—и что это за слабость у мужчинъ: нѣтъ имъ веселья безъ вина! — Но не всё же. — Но ей-Богу: лучше ужъ пойду замужъ, соглашусь, если не дастъ Богъ человѣка получше. Ей-Богу, пойду, и съ волей прощусь, на зло ему, толстому чоргу, скрятъ.

— Замужъ, Даша?—Такъ у васъ и женихъ готовъ?—сказала Волгина, опять засмѣявшись, и продолжала серьезно: — Хорошій человѣкъ, Даша? Не будетъ съ вашей стороны обмана? И не будетъ онъ попрекать васъ послѣ?—Когда все такъ, то лучше, нежели связываться съ дрянью,—потому что всё такіе люди дрянъ, Даша: у нихъ нѣтъ совѣсти; если бы была, не заставляли бы дѣвушекъ стыдиться,—если нравится жить съ дѣвушкою, то и женились бы на ней: не могутъ отговориться тѣмъ, что нѣтъ денегъ, когда находятъ деньги, чтобы содержать ее, не женившись: совѣсти у нихъ нѣтъ, Даша,—лучше же, нежели связываться съ такою дрянью, идти замужъ, хоть бы и не за богатаго человѣка, но который имѣетъ совѣсть и истинное расположение къ вамъ.

— Хорошій человѣкъ, Лидія Васильевна. И обманывать его нечего: знаетъ. Говорить: „Если бы вы пошли за меня, Дарья Ивановна, то никогда бы я не подумалъ на васъ.“ И точно: чего жъ ему тогда думать?—Идешь замужъ, то, когда имѣешь каплю совѣсти, понимаешь: замужняя женщина должна держать себя, какъ слѣдуетъ замужней женщинѣ. Да и до того ли, скажите сами? — Захочешъ дѣтей имѣть; а когда дѣти, то тѣ ли мысли?... Ахъ, Лидія Васильевна, какая у меня къ вамъ просьба...—Бойкая блондинка запнулась и оробѣла.—Лидія Васильевна, Петръ Ильичъ говорилъ мнѣ, что вы оберегаете Наташу. Но клянусь вамъ моимъ богомъ, не услышитъ она отъ меня ничего дурного. Вы уѣдете, а мнѣ позвольте остаться поиграть съ Володенькою: люблю дѣтей, Лидія Васильевна; а Петръ Ильичъ говорилъ про вашего маленькаго, что онъ...

— Не Мироновъ ли это? легкокъ на поминъ,—замѣтила Волгина:—за вами, вѣроятно?—Но нѣтъ, онъ не такъ звонитъ. Это кто-то чужой.

— Петръ Ильичъ и не можетъ быть; онъ будетъ ждать меня. Я сказала, что отъ васъ пройду къ нему.

Наташа отворила дверь.

— А!—тихо проговорила Волгина, и тѣнь пробѣжала по ея лицу. — Играйте съ Володею, Даша: я очень рада. Зачѣмъ вы думаете, что я считаю васъ дурною дѣвушкою?

Вошла Савелова.

Бѣленькое, розовое личико Савеловой было блѣдно, блѣдно, и не розовое, а желтовато-красное. Глаза ввалились. Видно было, что бѣдняжка мало спала въ эту ночь, и много плакала; и краска ея только краска волненія.

Волгина угадывала, о чемъ плакала она, и если-бы она не была жалка, Волгина сказала бы ей: „Можетъ быть вы ошиблись?—Это не квартира Нивельзина. Вѣроятно, вы спѣшили къ нему?—Если да, то прекрасно“. Но жалость взяла верхъ. Если бы могла, Волгина возвратила-бы своему голосу и взгляду ласковость, съ которою проводила Дашу. Но она могла только не быть суровою.

Этого было довольно для Савеловой. Глаза, подернутые слезами, видятъ въ состраданіи сочувствіе. Савелова бросилась на шею Волгиной и заплакала.

— Помогите мнѣ!

— Я обязана. Я вмѣшалась въ ваше дѣло, и должна не отступаться отъ него до конца.—Если бы Волгина могла давать своему голосу тотъ или другой тонъ по произволу, она сказала бы это съ нѣжностью. Но все, что было въ ея власти, было говорить искренно. — Перестаньте плакать. Вы не могли любить вашего мужа, потому что онъ неспособенъ любить никого, кромѣ самого себя. Онъ одинъ виноватъ въ томъ, что вы полюбили другого. Никто изъ умныхъ и честныхъ людей не осудитъ васъ за то, что вы не захотѣли оставаться обманщицею. Онъ самъ покажетъ себя благороднымъ человѣкомъ, когда увидитъ, что не можетъ вредить вамъ. Онъ согласится на разводъ. Нивельзинъ безгранично любить васъ. Мой мужъ очень долго говорилъ съ нимъ и остался въ восторгѣ отъ него. Вся жизнь его будетъ посвящена вашему счастью. О чемъ же вы плачете?—Васъ надобно оправдывать во всемъ; нельзя оправдать только въ томъ, что вы плачете.—Савелова плакала.

— Перестаньте. Подумайте, какое впечатлѣніе произведутъ на Нивельзина ваши раскраснѣвшіеся глаза, ваше желтое лицо, если вы не перестанете плакать.—„Неужели ей такъ трудно было рѣшиться? — подумаетъ онъ: — О чемъ она столько горевала? Неужели она такъ мало любитъ меня?“ — Скажите, вы мало любите его?

— Его?—я, мало люблю?—воскликнула Савелова, и нѣжныя слова съ искреннимъ энтузіазмомъ полились у нея.

Искренность чувства бѣдной женщины опять пробудила въ Волгиной расположеніе къ ней. Волгина получила силу приласкать ее.

— Когда вы такъ любите его, то не плачьте же. Будьте тверда.—Волгина поцаловала ее:—Будьте умница, моя милочка. Вы боитесь, что у васъ не достанетъ рѣшимости. Оставайтесь же здѣсь, у меня.

Савелова бросилась обнимать Волгину.—„Да, я останусь у васъ!“

Волгина продолжала ласкать ее, какъ маленькую дѣвочку, успокаивала, ободряла. Наконецъ, Савелова стала казаться твердою.



— Теперь можете дать мнѣ слово, что не будете плакать?

— Да, теперь я не измѣню себѣ и ему! — съ энтузіазмомъ отвѣчала Савелова.

— И будете счастлива, моя хорошенькая, моя миленькая. До свиданья же. Мнѣ надобно ѣхать. Я собралась нынѣ ѣхать искать дачу. Я объѣду острова; можетъ быть, проѣду въ Лѣсной. Будьте же безъ меня хозяйкою. Если я не вернусь въ четыре часа, прикажите подавать объѣдъ.

— Возьмите меня съ собою, — сказала Савелова съ умоляющимъ взглядомъ.

— Нѣтъ, вы должна хозяйничать безъ меня; — шутя, но рѣшительно отвѣчала Волгина: — умойтесь холодною водою, отдохните. Вы утомлена, и васъ ждетъ дорога. Когда я пріѣду, вы будете опять розовенькая, глазки у васъ будутъ свѣтленькіе, веселье; и — такъ и быть, хоть я не охотница нѣжничать, я опять поцалую васъ; мы сядемъ объѣдать, — я вернусь въ четыре часа, вернусь, пусть и не успѣю объѣхать острова, я вернусь въ четыре часа, увижу васъ такою миленькою, хорошенькою, что можно будетъ показать васъ Нивельзину, — мы сядемъ объѣдать, а сами пошлемъ сказать ему, чтобъ онъ велѣлъ запрягать лошадей, — мы встаемъ изъ-за стола, онъ входитъ, — я посажу васъ въ карету, поцалую еще разъ, поскорѣе, — и до свиданья.

Въ половинѣ пятаго Волгинъ вошелъ къ Нивельзину. — Въ передней лежали два сакъ-вояжа и чемоданъ. Въ кабинетѣ вещи съ письменнаго стола и съ этажерки были убраны. — Нивельзинъ ходилъ по комнатѣ.

— Значить, совсѣмъ собрались въ дорогу, Павелъ Михайлычъ? — вяло сказали Волгинъ, флегматически усаживаясь на диванъ. — Когда все готово, то и прекрасно. И лошади наняты, какъ вы тогда говорили, — съ утра готовы и дорожная карета готова?

— Лошади стоятъ въ конюшнѣ. Карета куплена, привезена. Хотите взглянуть? — Очень покойная и легкая.

— Нечего смотрѣть-то, я думаю, хорошая. Да и увижу, какъ буду провожать васъ. Прикажете запрягать лошадей.

— Еще рано.

— Не рано.

— Она у васъ? ждетъ меня? — Онъ дернулъ сонетку и велѣлъ поскорѣе запрягать лошадей.

— Да, она пріѣхала къ намъ. Да вы садитесь-ко, это лучше. — Онъ притянулъ къ себѣ Нивельзина и заставилъ сѣсть подлѣ. — Самъ не люблю ходить, и другимъ, по моему, лучше сидѣть. — Онъ залился руладою, потому что съострилъ, какъ, по крайней мѣрѣ, самъ былъ убѣжденъ. Потомъ погрузился въ размышленіе. — Это затѣмъ я посадилъ васъ подлѣ, чтобы взять въ руки; и возьму, и не выпущу, пока не провожу. Нельзя иначе, потому что невозможно надѣяться на людей, — надо держать ихъ въ рукахъ. — Эта острота была несколько не хуже первой, и слѣдовало бы Волгину также наградить себя за нее руладою, но онъ оставилъ себя безъ поощренія, и, помолчавши, вздохнулъ, покачалъ головою и началъ: — Да, надобно будетъ взять васъ въ руки. Точно, она пріѣхала къ намъ; это было поутру; была взволно...

— Она у васъ съ утра? — Что-же вы не прислали сказать мнѣ? — Паспорты готовы у меня съ десяти часовъ.

— Недослушавши, да ужъ и сердитесь,—эхъ, вы!—вяло сказалъ Волгинъ:—Вы дослушайте, я вамъ говорю, она была взволнована...

— Савеловъ догадался? Сдѣлалъ сцену? Она больна?

— Да нимало; ничего такого. Здорова, и мужъ ея до сихъ поръ ничего не предполагаетъ. Да вы лучше слушайте, а не перебивайте. Впрочемъ, ничего особеннаго; не пугайтесь. Ровно ничего особеннаго.—Пріѣхала поутру, была взволнована. Лидія Васильевна успокоила ее, — и точно, бояться было печего; ну, да и велѣла мнѣ не уходить изъ дому,—натурально, я сидѣлъ, писалъ,—что мнѣ?—Конечно, былъ увѣренъ, что не пріѣдетъ, да и не подозреваетъ,—ну, если-бъ и пріѣхалъ, не велика трудность: „очень радъ, пожалуйста въ кабинетъ,—очень радъ“, — а между тѣмъ, взялъ за шиворотъ, повалилъ на диванъ, завязалъ ротъ, — ну, и лежи: я ужъ разсудилъ, какъ это сдѣлать; — это-то я еще съ дѣтства выучился ломать, хоть съ виду и плохъ, — знаете, въ дѣтствѣ-то много игралъ, — ну, она-бъ и не услышала. Ну, потому я спокоенъ, тѣмъ больше, что самъ знаю, этого и не будетъ, онъ не пріѣдетъ, не знаетъ, не подозреваетъ. — Ну, и сижу, натурально, пишу. Хорошо. Слышу, вернулась Лидія Васильевна. Идетъ, слышу, къ себѣ; — идетъ, нотою, слышу, ко мнѣ. Ну, натурально, я знаю, зачѣмъ она идетъ: скажетъ: „иди, вели ему,—то-есть, вамъ, — приказать запречь лошадей“, — вотъ, какъ я теперь и сказалъ вамъ,—разумѣется, я жду этого отъ Лидіи Васильевны, а она: „Давно уѣхала Савелова?“ — Уѣхала? Какъ? Я, натурально, ротъ рази... Да будьте же мужественъ! — Волгинъ подхватилъ застонавшаго и покачнувшагося Нивельзина: — Будьте мужественъ, Павелъ Михайлычъ! — Что это вы, помилуйте!—Будто вы самъ не должны были понимать, что это очень возможная вещь—даже слишкомъ возможная. Это только я, дикій человекъ, не понималъ ея характера, сомнѣвался въ опасеніяхъ Лидіи Васильевны за ея характеръ,—а вы самъ должны были имѣть эти опасенія,—иначе, развѣ вы давнымъ давно не предложили бы ей бросить мужа?—Предложили бы съ перваго же свиданія!—Чего, съ перваго свиданія, съ перваго же письма! — Видно, хоть вы и были ослѣплены, я не могли видѣть, а инстинктивно чувствовали, что нельзя предлагать—не бросить мужа;—васъ то, положимъ, любить, но, пока можно, не бросаю мужа, то и любить: мужъ-то гораздо поважнѣе васъ для нея...

Волгинъ могъ очень свободно излагать свои совершенно основательныя соображенія, держа Нивельзина за плечо, чтобы вразумляемый не повалился съ дивана: вразумляемый сидѣлъ очень смиренно подъ поддерживающею рукою основательнаго мыслителя; но основательный мыслитель постигъ, наконецъ, что слушатель не слышитъ, потому, неспособенъ воспользоваться справедливыми его соображеніями.

Совершенно справедливо сообразивши: „Однако же, въ самомъ дѣлѣ, удивительный мастеръ я!—Отлично хватилъ, какъ молоткомъ по лбу пристукнулъ.—Но, разумѣется, опаматуется, и ничего: человекъ молодой, здоровый... —Основательно похваливъ и успокоивъ себя этими очевидно вѣрными соображеніями, Волгинъ прислонилъ Нивельзина спиною въ уголь дивана, вздохнулъ,

покачалъ головою и сталъ закуривать сигару, въ ожиданіи упрямаго сопротивленія отъ Нивельзина, когда Нивельзинъ очнется. Волгинъ былъ глубокій знатокъ человѣческаго сердца, потому былъ увѣренъ, что, какъ опомнится, Нивельзинъ окажется очень упрямымъ, вздумаетъ хвататься за всяческія нелѣпыя мысли съ пустою надеждою. Но факты были слишкомъ ясны; потому Волгинъ, какъ мыслитель очень основательный, нимало не сомнѣвался, что уломаетъ „юношу“, какъ называлъ его въ своемъ сообразительномъ умѣ, таки запрячетъ его въ дорожную карету и благополучно выпроводитъ изъ Петербурга.

— Гдѣ-жъ она?—глухо проговорилъ Нивельзинъ:—зачѣмъ оставляли ее одну?

— Зачѣмъ Лидія Васильевна оставила ее одну?—Затѣмъ, Павелъ Михайлычъ, что можно уговаривать, возбуждать человѣка, но надобно и дать ему время подумать; затѣмъ, Павелъ Михайлычъ, что нельзя приневоливать человѣка быть счастливымъ по нашему, потому что у разныхъ людей разные характеры: для однихъ, на примѣръ, счастье въ любви; для другихъ любовь пріятное чувство, но есть вещи дороже ея; затѣмъ, Павелъ Михайлычъ, что и неопытныхъ дѣвушекъ не велятъ вести подъ вѣнецъ насильно, не велятъ потому, что отъ этого не бываетъ счастья ни имъ, ни ихъ мужьямъ. А она не глупенькая дѣвушка, которая еще можетъ не понимать ни людей, ни саму себя: она вѣрнѣе всѣхъ насъ можетъ знать, въ чемъ для нея счастье. Она показала вамъ, въ чемъ: васъ она любитъ; но съ мужемъ у нея такая блестящая карьера!—Онъ и теперь сильный человѣкъ,—куда ни явится, она окружена почетомъ; а скоро онъ будетъ министромъ,—и какимъ министромъ?—какихъ у насъ еще и не бывало. Это что за министры!—надъ ними дворъ: они мелочь. А онъ возьметъ власть по общественной необходимости, во имя реформъ и государственнаго блага. Да, онъ разсчитываетъ быть не такимъ, какъ эти мелкіе люди,—и кто изъ самыхъ важныхъ аристократовъ не будетъ гнуть спины передъ женою всемогущаго перваго министра?..

Нивельзинъ вскочилъ и быстро подошелъ къ письменному столу, отперъ портфель, лежавшій на немъ, и пододвинулъ кресло. Волгинъ, съ неизмѣнною своею сообразительностью, понялъ, что до сихъ поръ Нивельзинъ былъ все еще оглушенъ ударомъ и плохо понималъ его справедливыя разсужденія, но что вотъ теперь „юноша“ опомнился, начнетъ сумасбродствовать и будетъ очень упрямымъ.

— Что это, вы хотите писать ей, Павелъ Михайлычъ?

Нивельзинъ, не отвѣчая, вынималъ изъ портфеля письменныя принадлежности.

Волгинъ съ быстротою молніи сообразилъ изъ этого молчанія, что не ошибся въ своемъ соображеніи о томъ, что „юноша“ будетъ очень упрямымъ. Но, какъ основательный мыслитель, Волгинъ не поколебался и въ той своей увѣренности, что все-таки упрячетъ его въ дорожную карету: факты слишкомъ ясно показываютъ, что сумасбродство бесполезно,—„юноша“, какъ ни будетъ отбиваться, уломается.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Прошло съ мѣсяцъ, и больше. Волгина давно жила на дачѣ, около Петровскаго дворца. Мѣстность эта недурна, по крайней мѣрѣ, на островахъ нѣтъ мѣстности, менѣе сырой. Если-бы не дѣла мужа, Волгина, конечно, не захотѣла бы искать дачу на островахъ: подальше отъ Петербурга есть мѣстности лучше его ближайшихъ окрестностей. Волгинъ обѣдалъ обыкновенно на дачѣ, но большую часть времени долженъ былъ проводить въ Петербургѣ. Часто, дня по два, по три онъ не показывался на дачу, какъ ни близка была она.

Недѣли двѣ онъ бывалъ на дачѣ только такими урывками, на нѣсколько часовъ около времени обѣда, дня черезъ два, черезъ три. Наконецъ онъ доработался до конца, и теперь, на нѣсколько дней будетъ нѣсколько поспособнѣе.

Онъ возвращался къ обѣду. Обѣдъ ждалъ его.

— Измучился, работавши?—Не спалъ эту ночь?—Не увѣрай, что спалъ, нечего увѣрять. И должно быть, очень измучился, когда, при всемъ своемъ притворствѣ, пріѣхалъ съ такимъ веселымъ лицомъ,—говорила жена, ведя его обѣдать.

— Видишь, голубочка, конечно, я радъ, что управился съ работою, и могу пробыть здѣсь сугокъ двое, не ѣздивши въ городъ,—но не въ этомъ главная штука: выходитъ штука очень хорошая, какой, признаться тебѣ сказать, я уже пересталъ и надѣяться. Вообще, голубочка, могу свалить съ себя часть работы,—и теперь ты уже можешь быть спокойна: не буду не спать по ночамъ,—хоть это и гораздо рѣже бывало, нежели ты думаешь,—но все-таки; а теперь этого уже вовсе не будетъ.

— Нашелъ человѣка, который тоже можетъ писать какъ надобно по твоему?—съ живою радостью сказала Волгина, съ такую радостью, что глаза ея сіяли.

— Нашелся такой человѣкъ,—да, нашелся, голубочка. И вообрази, какъ ты угадала тогда,—помнишь, какъ ты замѣтила Савелова, какъ онъ подстерегалъ?—Ну, а передъ тѣмъ самымъ,—тоже, уже на Владимірской площади, встрѣтился намъ студентъ,—помнишь?—и ты сказала: „чрезвычайно умное лицо; очень рѣдки такія умныя лица“,—помнишь?—Ну, онъ самый и есть. Фамилія его Левицкій. Вчера, вечеромъ, приноситъ статью—небольшую,—читаю: вижу, совсѣмъ не то, какъ у всѣхъ дураковъ,—читаю, думаю: „неужели наконецъ попадаетея человѣкъ со смысломъ въ головѣ“?—Читаю,—такъ, такъ, должно быть, со смысломъ въ головѣ!—Ну, и потомъ сталъ говорить съ нимъ. И вотъ, потому-то собственно пришлось не спать,—нельзя, мой другъ, за это и ты не можешь осудить. Проговорилъ съ нимъ часовъ до трехъ. Это—человѣкъ, голубочка; со смысломъ человѣкъ. Будетъ работать...

— Помню теперь,—замѣтила Волгина, когда мужъ наговорился безъ отдыха о своей радости,—очень высокій, нѣсколько сутуловатый,—русый, некрасивый,—не уродъ, но вовсе не красивый. Помню теперь.—Но это еще



вовсе молодой человекъ, мой другъ,—и уже такъ разсудительно понимаетъ вещи, которыя, по твоему, не понимаетъ никто изъ литераторовъ?

— Да, ему двадцать первый годъ, только еще. Замѣчательная сила ума, голубочка!—Ну, писать превосходно, не то, что я: сжато, легко, блистательно; но это хоть и прекрасно, пустяки, разумѣется,—дѣло не въ томъ, а какъ понимаешь вещи. Понимаетъ. Все понимаетъ, какъ слѣдуетъ. Такая холодность взгляда, такая самобытность мысли въ двадцать одинъ годъ, когда всѣ, поголовно, точно пьяные!—хуже:—пьяный проспится, дуракъ никогда.—Да, о дуракахъ-то, кетати: вчера прїѣзжалъ Рязанцевъ. Вотъ, ты, я думаю, полагала, что я, по своему обыкновенію, забылъ,—оказалось, не забылъ сказать ему, что я интересуюсь Нивельзинымъ, и если онъ что узнаетъ, сказалъ бы. Я и думалъ, что позабылъ,—а видишь, нѣтъ. Нивельзина видѣли въ Римѣ,—здоровъ, разумѣется; этотъ господинъ, который видѣлъ его, говорить, что невозможно хандрить,—но, говорить, ничего. Изъ Рима думаетъ проѣхать въ Парижъ.

— Благодарю тебя, что не забылъ сказать Рязанцеву. И какой милый этотъ Рязанцевъ!—вѣрно, какъ услыхалъ новое о Нивельзинѣ, сейчасъ прїѣхалъ сказать тебѣ.

— Добрякъ, голубочка.

— И любить тебя, мой другъ; это замѣтно, хоть я мало видѣла его. И она, говорятъ, очень хорошая женщина,—и хорошенькая, говорятъ,—очень молода; хоть уже лѣтъ десять замужемъ.—Но, послушай же, мой другъ: если этотъ Левицкій такъ понравился тебѣ, то привези его сюда.

— Хорошо, голубочка,—говоря это, Волгинъ началъ погружаться въ размышленіе, и съ тѣмъ вмѣстѣ улыбаться,—погрузился, сталъ мотать головою, и наконецъ, разразился неистовымъ хохотомъ.—Охъ, голубочка, охъ!—Это я вспоминалъ, какъ я запрятывалъ Нивельзина въ карету!—Ну, точно!—Было хлопотъ!—Молодецъ я, голубочка, увѣряю!—Ха, ха, ха!—Эхъ, голубочка!—Волгинъ вздохнулъ:—Ну, что тутъ было мудренаго, скажи ты сама?—Другой урезонилъ бы его въ полчаса, а я провозился съ нимъ и не знаю сколько времени!—Это удивительно, голубочка, какой я жалкій человекъ!—Онъ мелеть чепуху, а я спорю, когда слѣдовало бы просто взять, повести да посадить,—потому что, скажи ты сама, можно ли переслушать всѣ вздоры, когда человекъ самъ не понимаетъ, что говорить?—А я себѣ слушаю, возражаю!—Это удивительно!

— Ты очень терпѣливъ, мой другъ, и мало бывалъ въ обществѣ, мало знаешь людей, не привыкъ обращаться съ ними.—Но ты и слишкомъ преувеличиваешь, когда воображаешь, будто очень легко было бы другому заставить его уѣхать. Не совѣмъ-то легко, мой другъ. Ты напрасно смѣешься надъ собою.

— Но ты возьми то, голубочка, съ какой же стати мнѣ было не понимать ничего?—То есть, это я уже обо всемъ этомъ дѣлѣ. Напримѣръ. Прїѣзжаетъ Савелова—въ первый-то разъ. „Люблю, люблю“.—Я и развѣсилъ уши. Кажется, ясно: почему жъ вы, милостивая государыня, не разошлись съ вашимъ супругомъ?—Одно изъ двухъ: или вашъ господинъ милый не желаетъ этого,—то есть, вы любите мерзавца, который не любить васъ,—или вы не

желаете этого?—Что-же привязывает васъ къ мужу, позвольте спросить?—Есть привязанности, сильнѣе всякой страсти, — и можно даже быть расположенной къ мужу гораздо сильнѣе, нежели къ любовнику, при самой страстной любви къ любовнику и безо всякаго пылкаго чувства къ мужу, — но вы нисколько не расположена къ мужу, — что же васъ привязываетъ къ нему? — Ясно, кажется. А я сижу, слушаю, какъ она поетъ: „люблю, люблю!“ — удивительно, голубочка! — Это было глупо съ моей стороны, голубочка, увѣрю тебя, непростительно глупо, непростительно. — Онъ съ негодованіемъ замоталъ головою.

— Опять тотъ же отвѣтъ, мой другъ: ты ребенокъ въ жизни; тебѣ надобно больше бывать въ обществѣ.

— Хорошо. Опять: ты, разумѣется, поняла съ перваго взгляда, — но она, по твоему, красавица, да и вообще, тебѣ жаль ее; думаешь: „попробую; можетъ быть, она только робка, — или, можетъ быть, еще не такъ поддавалась пошлости, чтобы нельзя было ей поправиться“; — потомъ говоришь мнѣ: „назначила ей отъѣздъ черезъ три дня, — ступай, скажи Нивельзину“. — Три дня! — когда я говорилъ тебѣ, что въ три дня получается заграничный паспортъ безъ хлопотъ, а похлопотать, можно выѣхать черезъ нѣсколько часовъ — „голубочка, зачѣмъ же три дня?“ — Кажется, можно было понять зачѣмъ. Нѣтъ. Ты говоришь: „пусть она имѣетъ время обдумать, — пусть испытаетъ себя, — я сомнѣваюсь въ ней“. — А я: „голубочка, она хорошая женщина, и любить его“. — Удивительно! — Удивительно! — повторилъ онъ съ удвоенною силою негодованія. — И потомъ, когда пріѣхала къ тебѣ въ другой разъ: „Голубочка, мнѣ жалко ее; зачѣмъ ты уѣзжаешь и не берешь ее съ собою? — Она проситъ, голубочка; она чувствуетъ сама, бѣдненькая, что одной ей плохо оставаться, — голубочка, пожалѣй, возьми ее съ собою“. — Это удивительно! — „Если бы я не считала необходимымъ, чтобы она осталась одна сама съ собою, то и нечего было бы ждать: я давно послала бы тебя къ Нивельзину; я думаю, у него все готово къ отъѣзду“. — А я: „голубочка, жалко. Ну, хоть позволь мнѣ выйти къ ней, — ну, хоть черезъ часъ, — ну, хоть на минуту, — все же, поддержалъ бы ее“. — Удивительно! — Удивительно! — За такую глупость, голубочка, маленькихъ дѣтей надобно сѣчь, — а когда дуракъ въ мои лѣта, что съ нимъ дѣлать? — Да, благодарила бы тебя Савелова, если бы ты послушалась моей жалости! — Я думаю, давно проклинала бы свою судьбу, — да и Нивельзину было бы очень приятно! — Благодарили бы тебя оба! — Нѣтъ, голубочка, ты не оправдывай меня тѣмъ, что я мало бывалъ въ обществѣ: просто, дрянь. Вотъ что я тебѣ скажу, голубочка: самъ не понимаю, какъ это у меня достаетъ глупости быть такою дрянью! — Удивительно! — Волгинъ стиснулъ зубы и устремилъ свирѣпый взглядъ на салфетку. — Вотъ видишь, голубочка, эта тряпка, — онъ взялъ салфетку: — это я и есть.

— Если бы тутъ былъ посторонній человѣкъ, онъ умеръ бы со смѣху, мой другъ. Даже мнѣ смѣшно, мой другъ, какъ ни привыкла я къ твоимъ странностямъ. Можно ли такъ горячиться изъ-за такихъ пустяковъ?

Волгинъ глубоко вздохнулъ. — Эхъ голубочка! Онъ грустно покачалъ головою и продолжалъ уже обыкновеннымъ своимъ вялымъ тономъ: — Возьми ты то, голубочка, что вотъ я хорошъ, а другіе-то еще глупѣе. Что хорошаго можетъ выйти изъ этого?

— Ахъ, ты все печалишься объ обществѣ,—хорошо, ты увидишь у меня, каково забывать мои приказанія!—Говорила я тебѣ, или нѣтъ, чтобы ты думала о женѣ и сынѣ, а не о всякихъ вапихъ глупостяхъ, которыя вы называете общественными вопросами?—Самъ же ты говоришь мнѣ, что это глупости, и думать о нихъ нечего. Зачѣмъ же не слушаешься?—Знаешь ли, что я сдѣлаю съ тобою за это?—Мы съ Володею и съ Наташею поѣдемъ кататься на лодкѣ,—вотъ, я велю тебѣ сѣсть съ нами, и поѣдемъ.

— Ахъ, ты, голубочка, голубочка!—Это, ты думаешь, богъ знаетъ какаа важность для меня?—Да я поѣду съ удовольствіемъ. Увѣрю,—храбро разразилъ Волгинъ.

— Хорошо, вѣрю. Я тебя отучу огорчать меня твоими печалами о будущемъ. — Но, мой другъ, въ самомъ дѣлѣ смѣшно, что ты такъ много думаешь о пустякахъ. Пусть себѣ живутъ, какъ имъ нравится. Пусть прежде поумнѣютъ,—хоть немножко, тогда другое дѣло. А если общество такъ глупо, какъ ты говоришь, стоять ли горячиться?

— Само собою, не стоить, голубочка. — Волгинъ погрузился въ размышленіе.—Разумѣется, не стоить.

— Наташа! — гдѣ вы съ Володею? — Не слышитъ. — Позови ты, мой другъ,—только не такъ громко, чтобы оглушить меня.

Волгинъ закричалъ съ умѣренностью, потомъ вздохнулъ:—Голубочка, ты хочешь послать ихъ, чтобы старикъ шелъ съ веслами въ лодку?—Ты, въ самомъ дѣлѣ, возьми тоже и меня. Этотъ вечеръ я могу ничего не дѣлать.

— Ахъ, мой другъ, если бы я почаще слышала отъ тебя это! — Но теперь и буду слышать чаще, ты общаешь.

— Теперь у меня будетъ много свободного времени, голубочка. — Но ты, пожалуйста, ласкай этого Левицкаго, голубочка.

— Еще бы нѣтъ!—весело сказала Волгина:—Я убѣждена, онъ стоить того, чтобы полюбить его и мнѣ, когда онъ такъ понравился тебѣ.

Прошло съ недѣлю, или больше. У Волгина опять выбралось довольно свободное время. День опять былъ очень хорошій. Подъ вечеръ Волгина пошла гулять по набережной, и взяла съ собою мужа.

Тотъ край Петровскаго острова, хоть и одна изъ самыхъ близкихъ отъ города дачныхъ мѣстностей, хоть и одна изъ самыхъ сухихъ на островахъ, былъ тогда,—вѣроятно, остается и теперь,—очень глухимъ мѣстомъ. Между сотнею скромныхъ, или даже бѣдныхъ дачъ, было тамъ тогда развѣ три-четыре барскихъ, да и то не великолѣпнаго сорта, и сколько помнится, чуть ли не всѣ обвѣтшавшія, полуразвалившіяся. Одна такая, съ обтерхавшимися претензіями на пышность, стояла на берегу Малой Невы, въ сотнѣ саженъ отъ уютнаго дома, который занимали Волгины. Самый домъ стоялъ въ нѣсколькихъ десяткахъ шаговъ отъ набережной; на нее выходилъ садикъ, принадлежавшій къ нему.

— Наташи съ Володею нѣтъ,—сказала Волгина, окинувши взглядомъ свой небольшой садикъ:—Должно быть, она унесла Володю на набережную.— А я не спросила тебя, мой другъ: что жъ ты не привезъ Левицкаго?

— Да и я забылъ сказать тебѣ, голубочка: онъ уѣхалъ къ роднымъ.

— По крайней мѣрѣ, не на долго?

— Не на долго, разумѣется; мѣсяца на полтора, много на два.

— И то непріятно.

— Разумѣется, непріятно, голубочка; но удерживать было нельзя: четыре года не видѣлся съ ними.

— Мнѣ кажется, ты говорилъ, что у него нѣтъ близкихъ родныхъ, кромѣ маленькихъ брата и сестры, или сестеръ,—что они всѣ еще очень маленькіе, что они воспитываются у какой-то двоюродной тетки,—такъ? — И мнѣ кажется, ты не замѣчалъ въ немъ мысли ѣхать къ нимъ въ это лѣто? — По твоимъ словамъ мнѣ казалось, будто онъ не думалъ ѣхать: что-жъ это ему вдругъ вздумалось? — Ты рассчитывалъ, что теперь же передашь ему часть своей работы, съ нынѣшняго же мѣсяца.

— Ну, такъ и быть,—сказалъ Волгинъ:—Все равно.

— Нѣтъ, не все равно, мой другъ: жить побольше на дачѣ, это было бы хорошо для тебя.—Но куда же дѣлась моя Наташа?

Они въ это время вышли на набережную. Набережная, какъ обыкновенно, была почти пуста. Немногіе гуляющіе были всѣ видны наперечетъ, далеко въ обѣ стороны.

— Гдѣ бы ни была, къ чаю сама отыщется,—сказалъ Волгинъ:— А Володя ужасно любитъ ее, должно быть, голубочка?

— „Должно быть!“ —Хорошъ отецъ!—Конечно, больше, нежели тебя.— Впрочемъ, нельзя и давать его тебѣ въ руки: такъ ловокъ! — Волгинъ пользовался случаемъ залиться рюладою, и жена засмѣялась.— Она ласковая, кроткая; я очень довольна ею. И неглупая дѣвочка; знаетъ, что если оставиваютъ ее, то для ея же пользы. Можно будетъ найти ей хорошаго жениха: совершенно скромная дѣвочка. Но — что такое? — Каково? — Волгина сдвинула брови и ускорила шагъ:—Хвалю ее, что слушается,—а она... ахъ ты глупая дѣвчонка!—Я очень строго приказывала ей, чтобы она не смѣла ни слова говорить ни съ кѣмъ на этой гадкой дачѣ,—и вотъ вамъ умная дѣвушка! — уже подружилась съ какою-то фавориткою мерзкаго старичишки!

— Гдѣ же, голубочка, ты видишь ее?—сказалъ Волгинъ, прищуривая глаза, которые и въ очкахъ очень плохо видѣли въ даль:—А, точно!—Вижу. сквозь акаціи,—подъ сводикомъ воротъ: такъ, ея платье, голубое.

— Ея платье!—Да знаешь ли ты хоть ее то саму въ лицо?—Я думаю, еще не успѣлъ замѣтить въ полгода, и воображаетъ, что помнить, въ какомъ платьѣ она!—У нея нѣтъ голубого платья. Вовсе нѣтъ, и не было. Она та, которая въ розовомъ. О, какъ же я побраню ее!—И мало того, что побраню: на цѣлую педѣлю я посажу ее сидѣть дома, — дальше нашего садика ни шагу!

— И это будетъ очень хорошо, голубочка. Ты больше брани ее, голубочка: нельзя, для ея же пользы. Увѣряю тебя.

— Ни она, ни ты не можете пожаловаться, довольно браню васъ обоихъ,—сказала, Волгина засмѣявшись:—Достаточно забочусь о вашей пользѣ.— Но это что-то не такъ, другъ мой, какъ я подумала: это не можетъ быть какая-нибудь фаворитка.

Дѣвушка въ свѣтло-голубомъ платьѣ, говорившая съ Наташею подѣ



оцианномъ садикомъ изъ акацій богатой полубнищавшей дачи, шла на встрѣчу Волгинымъ.

— Кто такая могла бы она быть? — тихо замѣтила Волгина и шепнула мужу: — Какъ подойдешь, ты посмотри на нее хорошенько: привлекательное лицо, мой другъ.

— Ну, въ родѣ твоей Савеловой, — блондинка, должно быть, тоже?

— Савелова очаровательна, потому что красавица. Но это не то, мой другъ: это привлекательное лицо; пожалуй, тоже красавица; но главное, выраженіе лица.

Дѣвушка въ свѣтло-голубомъ платьѣ, легкой, небогатой матеріи, безъ роскошной отдѣлки, очень простого покроя, была блондинка лѣтъ семнадцати-восемнадцати, съ русыми волосами нашего обыкновеннаго русаго оттѣнка, не пепельнаго, не золотистаго, не эффектнаго, но волосами густыми, прекрасными. Локны ихъ падали свободно: дѣвушка несла свою соломенную шляпу въ рукѣ, приподнятой къ Володѣ, на рукахъ у Наташи продолжавшему играть лентами этой простенькой шляпы. — Даже самъ Волгинъ, отличавшійся необычнымъ умѣніемъ наблюдать и соображать, увидѣлъ и понялъ, что простота наряда молоденькой блондинки стоить быть замѣчена: на четверть ниже рукъ Наташи, державшей малютку, колебался очень маленькій кружочекъ, сплошь сверкавшій искрами, — конечно, часы этой дѣвушки, угадалъ Волгинъ, крошечные часы, усыпанные брилліантами; вѣроятно, Володя игралъ этими часами прежде, нежели вздумалъ предпочесть имъ ленты шляпы. Волгинъ, съ неизмѣнною своею основательностью, заключилъ, что дѣвушка изъ богатаго сословія, и одобрилъ ее за скромность. То и другое мнѣніе совершенно подтвердилось, когда она подошла, и близорукой Волгинъ могъ видѣть все въ подробности: точно, часы были крошечные, и очень, очень дорогіе, а на лицѣ дѣвушки не было ничего, подобнаго чванству.

Блондинка подошла къ Волгиной непринужденно, даже смѣло, или, лучше сказать, довѣрчиво, но съ легкимъ румянцемъ маленькаго стыда, и попросила „не бранить Наташу“: Наташа очень испугалась, увидѣвши Лидію Васильевну; — Наташа сказала, что м-те Волгину зовутъ Лидія Васильевна; — Наташа вовсе не хотѣла ослушаться Лидію Васильевну, долго не подходила къ изгороди изъ акацій; но она упросила Наташу перейти въ тѣнь, потому что надобно было снять шляпу для Володи, онъ непременно хотѣлъ теревить ленты, и надобно было уйти съ солнца въ тѣнь, потому что отъ деревцевъ на набережной вовсе иѣтъ тѣни; она сама подошла къ Наташѣ, — Наташа сидѣла вотъ у этого дерева, — Наташа не виновата... Но она видитъ, что Лидія Васильевна не сердится на Наташу. — Она — Илатонцева...

Мгновенно Волгинъ схватился пальцами за свою бороду. Впрочемъ, это было, по всей вѣроятности, необходимо для поддержанія бороды, потому что Волгинъ споткнулся, но очень ловко поправился, кашлянувъ раза два, и опять пошелъ совершенно молодцомъ. — „Въ самомъ дѣлѣ, что за важность? — сообразилъ онъ: — Илатонцева, то Илатонцева; какое мнѣ дѣло? — Я ничего не знаю, да и она, вѣроятно тоже. Онъ уѣхалъ съ ея отцомъ, когда ея не было въ Петербургѣ. Положимъ, очень легко можетъ быть, что она упомянетъ о братѣ, о гувернерѣ; но, я думаю, еще и не знаетъ фамилію гувернера. Но

пусть знаетъ; пусть скажетъ; — что за важность? Фамилія то слишкомъ обыкновенная; Лидія Васильевна и не подумаетъ. Но пусть Лидія Васильевна и спроситъ; могу сказать просто: не знаю; онъ мнѣ сказалъ, что ѣдетъ въ деревню, — ну, я подумалъ: значитъ, къ роднымъ. Только. Что за важность? — При способности Волгина дѣлать соображенія съ быстротою молніи, натурально было ему споткнуться и кашлянуть раза два, и еще натуральнѣе было, что послѣ того онъ почувствовалъ себя, какъ ни въ чемъ не бывало; выводъ былъ очень успокоителенъ, а способность Волгина быть храбрымъ ни мало не уступала его сообразительности.

— Что ты, мой другъ? споткнулся? — Онъ у меня очень ловкій, каждую минуту жду, что сломитъ себѣ руку или ногу, — замѣтила Волгина блондинкѣ, въ объясненіе страннаго обстоятельства, что Волгинъ съумѣлъ заставить вздрогнуть ихъ всѣхъ трехъ, и даже Володю, рѣзко покачнувшись на гладкой дорогѣ, гдѣ никакому другому человѣку не было возможности споткнуться; — Не ушибъ ногу, мой другъ?

— Нѣтъ, голубочка, ничего; — успокоилъ храбрый мужъ.

— Такъ вы Илатонцева, — я слышала вашу фамилію. А зовутъ васъ?

— Надежда Николаевна, — подсказала Наташа.

— И я знаю вашу фамилію; не видѣлъ вашего батюшки, — конечно, я не ошибаюсь, камергеръ Илатонцевъ, который долго жилъ за границею, вашъ батюшка? — сказалъ Волгинъ — сказалъ отчасти потому, что былъ совершенно спокоенъ, отчасти потому, что идти на встрѣчу опасности — самое лучшее дѣло, когда человѣкъ разсудилъ, что большой опасности и быть не можетъ.

— Да, я его дочь, отвѣчала дѣвушка.

— Погодили бы вы отвѣчать, — или, лучше, не спрашивать бы мнѣ, а прямо начать съ того, что я знаю о камергерѣ Илатонцевѣ, — сказалъ Волгинъ; — Теперь поздно говорить это, неловко. Хорошій человѣкъ вашъ батюшка. — Да, хорошій человѣкъ. Нѣтъ нужды, что аристократъ; нѣтъ нужды, что страшный богачъ, — все-таки хорошій человѣкъ. — Это Волгинъ сказалъ уже не по храбрости, а просто.

Дѣвушка опять слегка покраснѣла отъ удовольствія. — Да, я видѣла, что многіе любятъ его, — въ селахъ у насъ, всѣ.

— Какимъ же образомъ вы здѣсь, на этой дачѣ, — и, должно быть, одна? — спросила Волгина. — Здѣсь живетъ старикъ, у котораго не бываетъ никто, кромѣ такихъ же какъ онъ. И я слышала, что онъ совершенно одинокій, что у него нѣтъ родныхъ.

Дѣвушка отвѣчала, что онъ дальній родственникъ ея тетюшки, — ея тетюшка тоже Тенищева; — какъ родственникъ, она не умѣетъ сказать хорошенько. Тетюшка не говорила. Тетюшка хотѣла ѣхать за-городъ, прокатиться. Она поѣхала съ удовольствіемъ. Но вдругъ тетюшкѣ вздумалось захватить на эту дачу: тетюшка вспомнила, что тутъ живетъ ея родственникъ, котораго тетюшка не видала очень давно. Онъ удивился, обрадовался тетюшкѣ. Тетюшка представила ему ее. Онъ обѣдалъ. Послѣ обѣда тетюшка уѣхала: ей надобно было видѣть своихъ знакомыхъ на Крестовскомъ и на Елагинѣ. Потомъ уѣхалъ и Тенищевъ. Она осталась одна въ этомъ большомъ домѣ, такомъ пустомъ, такомъ мрачномъ. Ей было скучно. Нѣтъ, не скучно: если бы только скучно,

то, вѣроятно, было бы можно достать какую-нибудь книгу,—или она пошла бы гулять по саду, хоть и одна, и скука разсѣялась бы. Но она чувствовала какую-то странную боязнь или тоску,—она сама не знаетъ, какъ назвать это чувство. Вѣроятно, это чувство было оттого, что все въ этомъ домѣ такъ странно: оборвано, въ пыли, въ беспорядкѣ; и прислуга такая странная: дѣвушки одѣты нарядно, но неопрятны, и такъ странно пересмѣиваются, и дерзкія, и подобоострастные, все вмѣстѣ; а мужская прислуга,—все какіе-то старики, старые, старые, сморщенные, угрюмые, будто злые, и одѣты бѣдно, съ продранными локтями, съ заплатами... Она ходила по саду, и все-таки ей было грустно. Она такъ обрадовалась, когда увидѣла на берегу молоденькую няньку съ ребенкомъ, ласковую къ нему, веселую. Въ болтовнѣ съ Наташею время пролетѣло у нея незамѣтно...

— Вамъ непріятно, одной, въ пустомъ домѣ; идемъ-же гулять съ нами;—сказала Волгина.

— Но я не знаю...—начала было Илатонцева отговорку, которой, очевидно, не могла желать успѣха.

— Если вы оправдали передо мною Наташу, я тѣмъ больше найду оправданіе вамъ передъ вашею тетушкою.

— Ваша тетушка услышитъ отъ Лидіи Вас...—сообразилъ было пояснить Волгинъ, но разсудилъ, что Лидія Васильевна, если найдетъ умѣстнымъ сообщить Илатонцевой, какую лекцію прочтетъ ея тетушкѣ, то и сама сдумаетъ сообщить.

— Ваша тетушка молодая дама?—спросила Волгина;—очень молодая?

Илатонцева покраснѣла и взглянула на Волгину, какъ будто просила прощенія. — Вы осуждаете тетушку. Но когда вы увидите ее, вы полюбите. Она такая добрая, что я не знаю, способна ли сердиться, или сказать злое слово. Я говорю это не для того, чтобы сказать, что я не жду выговора отъ нея,—боже мой, когда я съ вами!—но если-бъ это были не вы, все равно, я не боялась бы выговора отъ нея. Я могу дѣлать что мнѣ угодно; я совершенно свободна. И это очень естественно, что она слѣшитъ повидаться со своими знакомыми: мы ѣдемъ изъ-за границы, въ деревню...

— Это еще не резонъ, чтобъ она бросала васъ одну, скучать,—основательно возразилъ Волгинъ.

— Ваша правда, это была бы еще не причина, или, если удобно, не извиненіе бросать меня скучать. Но тетушка не думала, что я буду скучать. Она не могла думать этого, она не хотѣла бросать меня одну; но я почти отказывалась дѣлать визиты, ѣздить въ гости къ незнакомымъ людямъ. Въ Петербургѣ я почти никого не знаю: я еще не выѣзжала въ свѣтъ. И я не скучала въ эти дни. Она думала, что мнѣ было бы скучно ѣхать съ нею. Я сама не знала, что эта дача произведетъ во мнѣ такое тяжелое чувство. Мы только что пріѣхали сюда; я не успѣла осмотрѣться, когда тетушка собралась. Если бы я знала, то могла бы ѣхать съ нею.

— Вы не знали,—натурально; но она должна была знать за васъ, что эта дача произведетъ на васъ непріятное впечатлѣніе;—сказала Волгинъ.

— Почему же она должна была предвидѣть это?—Потому, что я привыкла къ роскошнымъ комнатамъ? — Правда, привыкла, но привыкла и къ

очень небогатымъ. Въ Провансѣ мы съ madame Lenoir, съ Луизою и Жо-зефиною жили въ очень небогатомъ домицѣ,—и какъ счастлива была я!

— Вы воспитывались за границею?—и такъ говорите по русски?—Madame Lenoir, это была ваша гувернантка?—спросила Волгина.

— И жили въ Провансѣ?—прибавилъ Волгинъ.

— Почему же не воспитываться въ Провансѣ, если воспитываться во Франціи?—обратилась Волгина къ мужу.—Кажется, въ Провансѣ самый лучшій климатъ во Франціи?

— Но тамъ другой языкъ, не тотъ, которому учатся,—отвѣчала Волгинъ:—главная разница та, что окончанія словъ стерлись въ сѣверномъ французскомъ, да и всѣ слова скомканы выговоромъ; а въ южномъ, какъ въ итальянскомъ и въ испанскомъ, формы словъ остались цѣлы, длинны. Напримѣръ...

— Отъ примѣровъ ты пощадишь; тѣмъ больше, что я вспомнила;—сказала, смѣясь, Волгина.—Видите, Надина, какой онъ у меня ученый. Страшно надоѣдаетъ. Нельзя ни о чемъ спросить его: вмѣсто того, чтобъ отвѣчать въ двухъ словахъ, начнетъ цѣлую диссертацію. Разумѣется, я не дослушиваю. Только тѣмъ и спасаюсь; иначе, меня уже назначили бы профессоромъ въ университетъ.— Но говорите, зачѣмъ и какъ вы жили въ Провансѣ?

Она жила въ Провансѣ, потому что madame Lenoir хотѣла жить въ этой части Франціи. Madame Lenoir была ея гувернанткою, это правда,—но больше, нежели гувернанткою. Ея мать, умирая, просила madame замѣнить ей мать... Madame Lenoir съ самаго замужества ея матери была ихъ другомъ. Дружба эта началась черезъ то, что monsieur Lenoir и ея отецъ были хороши между собою еще прежде. Monsieur Lenoir былъ другъ Базара: ея отецъ въ молодости былъ знакомъ съ Базаромъ...

Свѣдѣнія Волгина объ Илатонцевѣ не простирались до такихъ подробностей.—„Гм!—Съ Базаромъ!—промычалъ онъ.—Вашъ батюшка былъ знакомъ съ Базаромъ!—Гм!“

— Madame Lenoir говорила мнѣ, и я сама читала, что очень многіе дурно говорятъ о Базарѣ,—сказала Надина.—Но я привыкла слышать отъ madame Lenoir, что Базаръ всю свою жизнь посвятилъ пользѣ людей...

— Вы не такъ поняли меня, Надежда Николаевна;—сказала Волгинъ.

Ея отецъ въ молодости былъ довольно хорошъ съ Базаромъ и познакомился у него съ м-г Ленуаромъ. Когда ея отецъ и мать, послѣ свадьбы, переѣхали жить въ Парижъ, м-г Ленуаръ также уже былъ женатъ, и ея мать получила большое уваженіе къ м-ме Ленуаръ. Вскорѣ послѣ того, м-г Ленуаръ былъ убитъ—12 мая, это она знаетъ хорошо, потому что м-ме Ленуаръ всегда очень много плакала въ этотъ день,—но она не умѣетъ сказать м-г Волгину, въ какомъ году это было,—кажется, въ 1840-мъ.

— Въ 1839;—сказалъ Волгинъ.

— Какъ это ты все помнишь,—замѣтила жена.

— Этого нельзя не помнить, голубочка;—отвѣчалъ онъ, не понявши, въ какомъ смыслѣ было сдѣлано замѣчаніе.—Это не мелочь какаѣ-нибудь; это было важное дѣло; великая ошибка, страшный урокъ,—и остался бесполез-



нымъ, натурально. — Видишь, въ первые годы Людовика-Филиппа республиканцы подымали нѣсколько возстаній; неудачно; — разсудили: „подождемъ, пока будетъ сила“; ну, и держались нѣсколько лѣтъ смирно; и набирали силы; но опять не достало разсудка и терпѣнія; подняли возстаніе; — ну и поплатились такъ, что долго не могли оправиться. А чего было и соваться? — если бы было довольно силы, чтобы выиграть, то и сражаться-то было бы нечего: преспокойно получали бы уступки одну за другою, — дошли бы и до власти, съ согласія самихъ противниковъ. Когда видятъ силу, то не будутъ вызывать на бой, — смиряются самымъ любезнымъ манеромъ. Охъ, нетерпѣніе! — Охъ, пльюзіи! — Охъ, экзальтація! — Волгинъ покачалъ головою.

— Madame Ленуаръ говорила также, что ея мужъ не одобрялъ, предсказывалъ погибель.

— Когда ты помнишь это съ такими мыслями, это ничего, мой другъ, — замѣтила Волгина. — Но кстати: кто же былъ Базаръ?

— Главный изъ сен-симонистовъ, голубочка; лучше сказать, самый дѣльный. Анфантенъ взялъ верхъ въ ихъ обществѣ и приобрѣлъ больше извѣстности. Но у Анфантена было много чепухи въ головѣ, и, я думаю, слишкомъ любилъ рисоваться. Но Базаръ былъ не съумасшедшій, и безусловно честный человѣкъ, — благородный, великій человѣкъ. Дѣльный человѣкъ. Ты не подумай, что онъ, или вообще сен-симонисты подняли это возстаніе: онъ умеръ за нѣсколько лѣтъ до того, да и общество сен-симонистовъ распалось гораздо раньше. Ну, довольно, чтобы не надоѣсть тебѣ.

— Благодарю за то, что сумѣлъ самъ удержаться. — Теперь и я вижу, Надина, что вашъ отецъ долженъ быть очень честный и добрый человѣкъ: очень богатъ, а дружилъ съ людьми, которые заботились, какъ бы сдѣлать, чтобъ не было ни бѣдныхъ, ни очень богатыхъ.

— Такъ говоритъ madame Ленуаръ; — сказала Илатонцева, опять слегка покраснѣвъ отъ удовольствія.

По смерти мужа, madame Ленуаръ осталась безъ денегъ. Старшая сестра и зять, — они жили также въ Парижѣ, — звали ее къ себѣ. Она говоритъ, что они были хорошіе люди. Но сами были небогаты. Она говоритъ, что поэтому она была рада предложенію своей богатой знакомой жить у нея.

Умирая, мать Илатонцевой просила m-me Ленуаръ не покидать сироту. Илатонцевой было тогда лѣтъ семь. Поэтому она очень мало помнила мать, и знала ее почти только по разсказамъ отца, и въ особенности m-me Ленуаръ... — Волгина спросила, на кого она больше похожа, на отца, или мать? — Больше на отца.

Илатонцевой говорили, что въ первые годы своего дѣтства она звала madame своею бабушкою, и плакала, когда мать увѣряла, что она почти однихъ лѣтъ съ ея бабушкою: „вы не старуха“. M-me Ленуаръ казалась ей старухою, потому что была сѣда; она посѣдѣла послѣ смерти мужа. Она не носитъ траура, но Илатонцева не помнитъ, чтобы на ней когда-нибудь было платье свѣтлаго цвѣта... Нѣтъ, было: передъ отъѣздомъ Илатонцевыхъ въ Англію m-me Ленуаръ носила свѣтлыя платья. Но въ Англію она опять пріѣхала въ темномъ.

Можно было малюткѣ считать m-me Ленуаръ своею бабушкою не по сѣ-

дымъ волосамъ только, но и потому, какъ обращались съ этою сѣдою женщиной отецъ и мать Илатонцевой. Отецъ говорилъ, что ея мать во всемъ со-вѣтовалась съ m-те Ленуаръ.

Одна m-те Ленуаръ всегда серьезна, — вѣроятно, всегда грустна. Въ обществѣ она никогда не улыбается; и если начинается веселая болтовня, она молчитъ или уходитъ. — Но она любила, чтобы Илатонцева веселилась; — и потомъ, когда стала жить съ племянницами, она умѣла дѣлать, чтобъ всѣмъ тремъ имъ было весело. Если онѣ хотѣли, она играла съ ними.

Послѣ февральской революціи Илатонцевъ съ дочерью и сыномъ, — ея братъ былъ тогда малютка, — уѣхалъ въ Англію. M-те Ленуаръ плакала, провожая ихъ, но рѣшилась остаться въ Парижѣ. Разлука была недолга: мѣсяца черезъ два m-те Ленуаръ пріѣхала къ нимъ въ Лондонъ, — и говорила Илатонцеву: „мы съ вами ошиблись; не будетъ ничего хорошаго; по прежнему, и нетерпѣливы, и нерѣшительны, и легковѣрны“. Отецъ, какъ ни радъ былъ за дочь пріѣзду m-те Ленуаръ, горько жалѣлъ, и девятилѣтняя дѣвочка плакала, сама не понимая, о чемъ.

Нѣсколько времени они жили въ Англіи. Потомъ Илатонцевъ былъ вызванъ въ Петербургъ; скоро вышелъ въ отставку, и они жили попеременно то въ Петербургѣ, то въ Илатонѣ, — это недалеко отъ Волги, между Сызранью и Хвалынскомъ. Ей очень нравилось въ Илатонѣ: тамъ у нихъ такой большой садъ; подлѣ такой прекрасный лѣсъ; и всѣ въ Илатонѣ такъ любили ея отца, и полюбили m-те Ленуаръ, — m-те Ленуаръ въ первое же лѣто выучилась говорить по-русски, — за отца и m-те Ленуаръ всѣ тамъ любили и ее.

Три года назадъ m-те Ленуаръ получила письмо, что ея старшая сестра умерла. У сестры остались двѣ дочери, — одна, ровесница Илатонцевой, другая двумя годами моложе. Онѣ остались круглыми сиротами. Тетка должна была ѣхать, заботиться о нихъ. Илатонцевъ упрашивалъ ее только съѣздить за ними, привезти ихъ. Она не согласилась. Она говорила: „у нихъ нѣтъ состоянія; онѣ должны выйти за людей небогатыхъ; потому, не должны пріучаться къ роскоши, не должны и видѣть ее вблизи“...

— Да, роскошь портитъ людей; вотъ, напримѣръ, васъ какъ испортила, — замѣтилъ Волгинъ и залился руладою въ одобреніе своему остроумію; кончивъ руладу, обратился къ женѣ: — Что, каково, голубочка? — Видишь, свѣтскій человѣкъ! — и повторилъ руладу.

— Спросите свѣтскаго человѣка, Надина, — пріятно ли ему ваше общество, — сказала жена. — О себѣ, я спрашиваю: онъ каждый день увѣряетъ меня, что пріятно.

— Что же, голубочка, ты должна видѣть, нравится ли мнѣ Надежда Николаевна: — отвѣчалъ Волгинъ: — А что же вы смѣтаетъ Надежда Николаевна? — Голубочка, чему-жъ смѣтается Надежда Николаевна?

— Будь увѣрена, что не твоей свѣтскости: можетъ быть, просто по чувству твоей веселости. — Вы любите кататься на лодкѣ, Надина?

— Да, люблю.

— Въ самомъ дѣлѣ, вечеръ прекрасный, погода тихая, — съ большимъ одобреніемъ сказалъ Волгинъ: — Значитъ, послать старика, голубочка?

— Разумѣется, сходишь за нимъ, и принесешь два пальто, миѣ и Надинѣ, — Наташа дастъ тебѣ, — наденешь и самъ пальто.

— Ну-у, голубочка; — уныло затынулъ Волгинъ, и очень убѣдительно прибавилъ. — А я и позаботился-бы, голубочка, чтобы готовъ былъ чай къ тому времени, какъ вы...

— Можете видѣть, Надина, какъ ему пріятно не только ваше, но и мое общество.

— Ахъ, ты, голубочка! — Это значить, ты шепнула Надеждѣ Николаевнѣ, покуда я хохоталъ! — Эхъ, голубочка!

— Вы видите, Надина, что у него надобно учиться не только любезности, но и хитрости: онъ даже и надобность придумалъ, для насъ же, чтобы онъ остался дома. — Ты позаботишься о чаѣ! — Хорошъ будетъ чай! — Но, иди же за старикомъ, не переслушаешь всѣхъ похвалъ себѣ. — Пошли старика на дачу Тенищева сказать, что Надина съ нами.

Волгинъ вздохнулъ, но пустился чуть не бѣгомъ къ избушкѣ подлѣ маленькой пристани. — На пристани была привязана рыбацкая лодка. Изъ избушки вышелъ старикъ-рыбакъ съ довольно большимъ ковромъ, принялся раскладывать и оправлять его по лодкѣ. А Волгинъ между тѣмъ стремглавъ летѣлъ домой, придерживая рукою фуражку, чтобы не сорвалась отъ неуклюжихъ, но очень успѣшныхъ прыжковъ, которыми онъ отмахивалъ чуть не по двѣ сажени.

— Славный коверъ! Мы будемъ сидѣть, какъ на подушкахъ! — сказала Илатонцева, когда подошла съ Волгиною къ лодкѣ: — Рыбная ловля здѣсь выгодна, если рыбакамъ можно покупать такіе ковры.

— Ничего, слава Богу, живемъ, барышня; — отвѣчалъ старикъ. — Но, впрочемъ, коверъ не мой, а Лидіи-Васильевнѣ; онъ такъ ужъ и лежитъ у меня. Гдѣ нашему брату, рыбаку, имѣть такіе.

— Конечно, рыбакъ не захотѣлъ бы купить, но если бы вздумалъ, то могъ бы купить такой коверъ, еслибы не пропилъ на прошлой недѣлѣ тридцать рублей; — серьезно замѣтила Волгина.

— Эхъ, Лидія Васильевна, вотъ за это не люблю васъ: больно вы строга: — отвѣчалъ старикъ будто шуткою, но не успѣвая заглушить въ голосѣ жалобу. — Вотъ, барышня, будьте вы судьей между нами: все лѣто судуга покорный Лидіи Васильевнѣ, а не вижу отъ нея ни гроша, послѣ трехъ рублей. чтѣ получилъ въ задатокъ, — и не увижу, она говорить. „У старухи твоей лучше пойдетъ въ пользу“, говорить. Значить, что-жъ я выхожу послѣ этого? — Батракъ на свою старуху! — Что ты станешь дѣлать? — Такой упрямый чело-вѣкъ она, Лидія-то Васильевна...

Между тѣмъ, примчался галопомъ Волгинъ. — Волгина оправила на Илатонцевой свое лучшее черное бархатное пальто, и лодка поплыла по взморью, по тихой зыби едва замѣтныхъ струекъ.

— Хорошій вечеръ, — сказала Волгина. — А въ Провансѣ, Надина, почти круглый годъ вечера такъ хороши, — и половину года бываютъ лучше? — Правда это?

— Да, — отвѣчала Илатонцева, и стала вспоминать, какъ хорошо въ Провансѣ, и какъ особенно хорошо въ ихъ домикѣ, въ ихъ долинь. Малень-

кій домикъ m-me Ленуаръ стоитъ въ одной изъ долинъ Mont de l'Etoile, немножко въ сторонѣ отъ желѣзной дороги изъ Э въ Марсель...

— Mont de l'Etoile,—замѣтилъ Волгинъ едва ли когда слыханнымъ до него въ мирѣ французскимъ выговоромъ.—Mont de l'Etoile—не помню, да и въ какую сторону Э отъ Марсели, не знаю; но, кажется, читаль, что дорога изъ Э въ Марсель ведетъ черезъ такія очаровательныя долины, какихъ немного и въ самомъ Провансѣ. А что, это высокая гора, Mont de l'Etoile? —и въ какую сторону отъ нея домикъ madame Lenoir?

— Домикъ на югъ отъ горы; она довольно высокая.

— А, ну, это очень хорошо; значить, долина закрыта отъ мистралья.

— Что это мистраль?—спросила Волгина,—сѣверный вѣтеръ?

— Да, голубочка; отъ него въ иной годъ пропадаетъ сборъ оливокъ въ мѣстахъ, открытыхъ на сѣверъ. А ихъ много, въ особенности по Ронѣ, потому что Рона, знаешь, течетъ тамъ прямо съ сѣвера на югъ. Ну, разумѣется, это провансальцы называютъ мистраль морозомъ, а у насъ... Ну, да впрочемъ, ты учишь, голубочка, Надежду Николаевну смѣяться надо мною.

— Да, это очаровательное мѣсто, долина, гдѣ стоитъ домикъ madame Ленуаръ,—продолжала Илатонцева. Ея отецъ ѣздилъ самъ искать, гдѣ купить домъ.—Когда madame Ленуаръ отказалась взять племянницъ въ Россію, онъ попросилъ ее, чтобы она взяла его дочь въ свое новое семейство. Онъ хотѣлъ ѣхать самъ во Францію, и жить подлѣ. Madame Ленуаръ сказала: „Нѣтъ, если Надина будетъ жить съ моими племянницами, вы не должны жить подлѣ насъ. Мои племянницы не должны видѣть никакой роскоши подлѣ себя“.—Ему было очень тяжело это условіе; но онъ принужденъ былъ согласиться, что она говоритъ правду. Онъ сказалъ: „Пусть будетъ по вашему. Но я провожу васъ и найду для васъ жизнь въ деревнѣ; деревенскій воздухъ лучше парижскаго для тихаго воспитанія, а поселиться въ Провансѣ всегда было вашею мечтою“.—Она видѣла, что онъ хочетъ сдѣлать ей подарокъ; но не могла отказаться. Прежде, она не хотѣла брать жалованья, какое слѣдовало бы; у нея не было ничего; тоже и у племянницъ. Она только настояла, чтобъ домъ былъ маленькій, и земли при немъ немного:—Илатонцевъ поѣхалъ изъ Парижа въ Провансъ, возвратился, повезъ ихъ на новоселье, взглянулъ, какъ онѣ тамъ устроились, и уѣхалъ.—Потомъ онъ пріѣзжалъ два раза,—оба раза на нѣсколько дней. Madame Ленуаръ не позволяла ему оставаться дольше. „Я не хочу, чтобы вы избаловали моихъ племянницъ“.

Онѣ жили очень скромно. Земля давала тысячи двѣ франковъ. Онѣ вчетверомъ должны были жить на это, потому что madame Ленуаръ говорила: „Когда вы хотите, чтобы Надина жила со мною, она не должна ничѣмъ отличаться отъ моихъ племянницъ, и ей нѣтъ надобности въ деньгахъ“.—Онѣ должны были сами дѣлать довольно много, потому что у нихъ была только одна служанка, а при домикѣ есть садикъ съ виноградомъ, съ фруктовыми деревьями.—Илатонцева забывалась отъ восторга, вспоминая ту жизнь въ обществѣ двухъ подругъ, добрыхъ, добрыхъ дѣвушекъ... Онѣ всѣ три такъ любили другъ друга и madame Ленуаръ... Заботы о хозяйствѣ, безконечныя игры... Прогулка, иногда втроемъ, или вчетверомъ, съ madame Ленуаръ,—



иногда, съ сосѣдними сельскими дѣвушками и молодыми людьми, иногда и въ обществѣ какихъ-нибудь гостей изъ Марсели...

Илатонцева задумалась.

— Вотъ, вы четыре года,—или три?—прожили въ Провансѣ,—началь Волгинъ.—Положимъ, французскій акцентъ не испортился у васъ отъ этого, потому что вы жили въ семействѣ парижанокъ; кромѣ того, я и не слышалъ, какъ вы говорите по-французски, да и не могъ бы судить, если бы слышалъ. Ну, а вотъ это какъ же, что вы говорите по-русски, будто и не выѣзжали изъ Россіи?

— Когда мы жили въ Парижѣ... въ нашемъ семействѣ говорили по-русски... Отецъ и мать... у меня была русская нянька... Потомъ мы жили... въ Россіи. Я уѣхала съ madame Ленуаръ уже пятнадцати лѣтъ...—Илатонцева довольно на долго остановилась.—Madame Ленуаръ говорила со мною по-русски... у нея дурной акцентъ, но она говоритъ довольно свободно...—Илатонцева опять остановилась.

Волгинъ бросилъ на жену умоляющій взглядъ. Но Волгина промолчала.

— Да-съ, вы говорили, Надежда Николаевна, что madame Ленуаръ заботилась о русскомъ языкѣ.

— Да... заботилась... Она для этого даже согласилась... взять съ собою Мери, мою горничную... внуку моей няньки... Маша такъ любила меня... что рѣшилась прислуживать всѣмъ тремъ намъ...—Илатонцева опять остановилась.

Волгинъ опять бросилъ умоляющій взглядъ на жену. Опять это осталось безуспѣшно. Неужели она не замѣчаетъ?

Лодка давно выѣхала на взморье, и качалась уже довольно сильно.—Пока Илатонцева не замѣчала этого, въ увлеченіи воспоминаніями о madame Ленуаръ и Провансѣ, все было хорошо.—Но когда Волгинъ возобновилъ разговоръ, отрывочность ея словъ показалась ему заслуживающею размышленія, и съ обыкновенною догадливостью, онъ постигъ, что Илатонцева больше думаетъ о волнахъ, нежели о разговорѣ.—Лидія Васильевна не хотѣла замѣчать его взглядовъ; онъ, при своей избобрѣтательности на очень замысловатые обороты, не затруднился придумать, какъ ему надобно говорить:

— Голубочка, знаешь, пожалуйста: лучше поѣдемъ назадъ. Тамъ, впереди, волны еще больше.

— Знаю ли, что ты трусь?—Еще бы не знать!—Я думаю, видить уже и Надина. Посмотри на нее и постыдись, мой другъ, въ ея лицѣ не замѣтно никакой перемѣны. Ты хуже великой дѣвушки,—я думаю, хуже всякой дѣвочки.

— Мы очень часто бывали въ Марсели, и катались въ лодкѣ по морю. Я слишкомъ хорошо знаю, что это волненіе ничтожно, не только безопасно.—Вы просите вернуться потому, что думаете, мнѣ страшно. Но я вижу, что нѣтъ никакой опасности. Можетъ быть, вамъ показалось, что мое лицо нѣсколько блѣдно: это оттого, что мы сидимъ; у меня, вѣроятно, былъ румянецъ отъ прогулки. Теперь онъ сошелъ. Кромѣ того, воздухъ начинаетъ быть прохладенъ. Но въ Провансѣ я привыкла любить прохладный воздухъ. А самой мнѣ тепло въ этомъ пальто. Посмотрите.—Она протянула изъ подъ пальто руку и сняла перчатку.—Рука теплая, не правда ли?

— Рука теплая,—согласился Волгинъ.

— О чемъ мы говорили?—Да, о Машѣ, которую мы теперь зовемъ Мери. Она очень любить меня. Ея отецъ управлялъ нашимъ домомъ въ Петербургѣ, когда мы жили въ Парижѣ. Прежде онъ былъ камердинеромъ у моего отца. Когда мы переѣхали жить въ Россію, она сдѣлалась моею горничною: она четырьмя годами старше меня. Madame Ленуаръ говорила, что она очень умная дѣвушка. Сколько я могу судить, это правда. Когда madame Ленуаръ должна была ѣхать во Францію, и хотѣла взять меня съ собою, то не хотѣла, чтобы у меня была особенная прислуга. Но Мери сказала, что будетъ прислуживать и ся племянницамъ. Тогда madame Ленуаръ согласилась взять ее. Тѣмъ больше, что и сама любила ее, и была рада, что мнѣ будетъ съ кѣмъ говорить по-русски... Она и прожила нѣсколько времени у насъ въ Провансѣ... И всѣ были очень довольны ею... Но потомъ она не жила съ нами... Она жила въ Парижѣ... Вернулась къ намъ только уже не задолго передъ моимъ отъѣздомъ... Она очень любить меня... Но я забываю, что это нисколько не интересно для васъ...

Видно было, что она говорила только для того, чтобы говорить, и перестала говорить также только потому, что опять ей стало трудно удерживать связь мыслей.—Лодку качало сильнѣе и сильнѣе.—Теперь уже и Волгинъ видѣлъ, что Илатонцева блѣдна.

Блѣдна, правда. Но держала себя превосходно.—Волгинъ посмотрѣлъ на жену съ выраженіемъ, говорившимъ:—„Голубочка, похвали ее“.

Волгина засмѣялась.—Взгляните, Надина, какъ сочувствуетъ вамъ свѣтскій человѣкъ.—Но въ самомъ дѣлѣ нельзя не похвалить васъ, Надина. У васъ есть характеръ.

— Мнѣ очень стыдно за себя,—отвѣчала Илатонцева.—Я какъ нельзя лучше вижу, что нѣтъ ни малѣйшей опасности.—Я говорила, кажется, что Мери пріѣхала съ нами въ Провансѣ. Madame Ленуаръ была очень довольна ею. Она нисколько не тяготилась тѣмъ, что должна была и одѣваться, и жить, какъ наша другая служанка, старушка изъ сосѣдней деревни. Но она прожила съ нами не больше полугода. Потомъ уѣхала въ Парижъ. На дорогѣ въ Провансѣ мы пробыли въ Парижѣ недѣли полторы, пока пала купиль и устроилъ домикъ. Вѣроятно, въ это время Мери успѣла пріобрѣсти въ Парижѣ знакомства, которыя пригодились ей: она дѣвушка очень умная. Она уѣхала отъ насъ въ Парижъ потому, что ее пригласили быть конторщицею въ какомъ-то косметическомъ магазинѣ... Madame Ленуаръ не хотѣла отпускать ее... потому что она говорила со мною по-русски... и потому что онѣ всѣ любили ее... и я, конечно...

Илатонцева опять остановилась. Съ минуту лодка продолжала плыть впередъ.—Черезъ край плеснуло нѣсколько капель.

— Повернемъ назадъ,—сказала Волгина старику-лодочнику.—Опасности не было-бы, Надина, хоть-бы мы плыли до Кронштадта и за Кронштадтъ. Но я скупа. Пальто, которое на мнѣ, не боится не только брызгъ, но и проливного дождя. Но было-бы жаль бархатнаго, которое на васъ. Сколько стоитъ такое въ Парижѣ?—Я думаю, рублей пятьдесятъ, или меньше?—А мнѣ оно обошлось въ семьдесятъ, и то лишь потому, что я дружна съ моею модисткою, и ея дочери—миленькія нѣмочки—вѣшаютъ мнѣ на шею.

— Мнѣ смѣшно и стыдно за себя, — сказала Илатонцева. — Я знала, что нѣтъ опасности, и нисколько не боллалась. Но мнѣ было надобно большое усиліе воли, чтобы не дрожать. Мнѣ тѣмъ стыднѣе за свою трусость, что можно было-бъ отстать отъ нея, катаясь по морю.

— Это не трусость, Надежда Николаевна;—возразилъ Волгинъ. — Вы создана для тихой жизни только.—Вы рассказывали о вашей горничной.

— Но, я понимаю, что это вовсе не интересно для васъ.

— Нѣтъ, это интересно. Не правда-ли, голубочка?

Онъ думалъ о томъ, что горничная должна быть дѣвушка опасная.—Ее изъ Прованса рывзвали въ Парижъ быть конторщицею! Въ Парижѣ мало желающихъ быть конторщицамъ!—Очевидно, она уѣзжала туда быть авантюристкою.

— Вы видите, Надина, онъ интересуется всѣмъ, что близко къ вамъ:—сказала Волгина.—Если бы вы знали, какой онъ дикарь, вы удивлялись бы, что онъ разговорился съ вами. Вы видите, я такъ рада этому чуду, что и не мѣшаюся въ вашъ разговоръ: пусть хоть немножко привыкаетъ говорить съ людьми о чемъ-нибудь, кромѣ книгъ и глупостей, которыя называются у нихъ общественными дѣлами.

— Почему-жъ она возвратилась быть вашею горничною?—спросилъ Волгинъ.—Ей не повезло житье въ Парижѣ?

Кажется, напротивъ. Правда, она не хвалилась особеннымъ счастьемъ въ Парижѣ. Но она и не жаловалась на неудачи. Вообще, она мало говорила о своей парижской жизни. Но когда она вернулась оттуда, она привезла порядочный гардеробъ, много дорогихъ вещицъ. Мери вернулась, безъ всякаго сомнѣнія, только потому, что очень любить ее; соскучилась по ней...

Madame Ленуаръ приняла Мери очень сурово. Довольно долго не соглашалась, чтобы она она заняла прежнее мѣсто...

— Madame Ленуаръ должна была полагать, что Мери вернулась къ вамъ не по расположенію къ вамъ, а по корыстолюбивымъ расчетамъ;—замѣтилъ Волгинъ, самъ, при всей своей простотѣ, видя, что не обманулся относительно парижской карьеры Мери. „Очевидно, madame Ленуаръ знала, что Мери была тамъ авантюристкою“. — Madame Ленуаръ была, по моему, права,—продолжалъ онъ.

— Теперь я понимаю, чего опасалась m-me Ленуаръ! — сказала Илатонцева. — Такъ! такъ! она опасалась, что Мери хочетъ обманывать меня, выманывать у меня деньги, подарки, когда мы будемъ жить въ Петербургѣ! — А я рѣшительно не могла объяснить себѣ, почему madame была вооружена противъ Мери! — На мои просьбы за Мери она говорила только, что Мери не нравится ей, — а я думала: что-жъ это?—Неужели madame Ленуаръ можетъ такъ долго сердиться, такъ наказывать Мери за то, что Мери два года назадъ не послушалась ея мнѣнія? Я очень рада, что вы объяснили мнѣ единственный случай, въ которомъ я не умѣла понять, что madame Ленуаръ совершенно права. — Конечно, — о, конечно, madame Ленуаръ должна была опасаться за мои наряды, деньги!—Это подозрѣніе такъ естественно! — Возвращаться изъ конторщицъ въ горничныя — въ самомъ дѣлѣ, трудно повѣрить съ перваго раза, что это дѣлается по расположенію, а не по расчету обирать меня.



Но Мери успѣла разсѣять предубѣжденіе madame Ленуаръ. Мери впередъ сказала ей: „Я снова заслужу ваше расположеніе, каковы бы ни были мои недостатки или ошибки“, и поселилась въ Марсели.—Онѣ часто ѣздили въ Марсель; у нихъ было много знакомыхъ тамъ.—Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ m-me Ленуаръ сказала: „Мери хорошая дѣвушка. Она сдѣлалась даже лучше, нежели была до разлуки съ нами. Тогда она была немножко слишкомъ шаловлива; теперь она совершенно серьезна“.

Была ли madame Ленуаръ обманута? — раздумываль Волгинъ. — Очевидно, эта Мери очень хитрая дѣвушка. Но видно и то, что у нея твердая воля.—Трудно предположить, чтобы умная женщина, хорошо знавшая Мери, могла обмануться притворнымъ раскаяніемъ. Вѣроятнѣе, что Мери дѣйствительно остепенилась. Но это вздоръ; дѣло не въ томъ, будетъ ли шалить Мери или нѣтъ. Дѣло въ томъ, что она хитра и умна. Если она вздумаетъ жертвовать счастьемъ Илатонцевой для своихъ расчетовъ, она можетъ погубить это нѣжное существо, непонимающее ничего злаго.—У Илатонцевой громадное приданое. Какъ она явится въ свѣтъ, сотни мерзавцевъ будутъ лгуть къ нему. Горничная пользуется довѣріемъ Илатонцевой; опытна, ловка; важная союзница. Тотъ изъ мерзавцевъ, который искуснѣе всѣхъ, то-есть, бездушнѣе, подлѣе всѣхъ,—подкупить горничную чтобы она пѣла про него,—и устроится свадьба... Илатонцевъ, положимъ, хорошій человѣкъ. Но отецъ не замѣна матери. Тетка, очевидно, пустѣйшая женщина...

— Ты задумался, мой другъ;—замѣтила Волгина.

— Видишь ли, голубочка, я скажу тебѣ откровенно. Надежда Николаевна очень хорошая дѣвушка, и я полюбилъ ее.

— О чемъ же тутъ горевать?—Договаривай: тебя пугаетъ за нее то, что у нея богатое приданое?

— Разумѣется, голубочка, потому что ты всегда знаешь всѣ мои мысли.

— Чрезвычайно мудрено отгадывать ихъ.—Но прежде, нежели будешь давать свои совѣты Надинѣ, спросишь и меня.—Ты всегда согласенъ со мною, а я съ тобою не всегда.

Волгинъ погрузился въ новое размышленіе: Лидія Васильевна не можетъ не знать, что собирался онъ посовѣтовать Илатонцевой. Натурально, что: „Будьте дружны съ Лидією Васильевною; не теперь, — теперь, не въ чемъ вамъ быть довѣрчивою; но всегда, всегда“.—Неужели же Лидія Васильевна не хочетъ замѣнить старшую сестру для этой прекрасной дѣвушки?

Илатонцева разсказывала между тѣмъ, какъ боролись въ ней чувства, когда отецъ написалъ, что тетка ѣдетъ взять ее домой. Ей и хотѣлось поскорѣе увидѣть отца и брата, жаль было и разставаться съ madame Ленуаръ и ея племянницами. — Тетка выѣхала, онѣ ждали ее, — ждали мѣсяца два: онѣ уже думали, не занемогла ли тетюшка. Но отецъ успокоилъ ихъ: онъ написалъ, что тетюшка живетъ въ Парижѣ и здорова.

Илатонцева сама не знала, чего хотѣлось ей больше: того ли, чтобы тетка скорѣе пріѣхала за нею, или того, чтобы она жила и жила въ Парижѣ.—Наконецъ, она пріѣхала. Тутъ было слезъ! — Madame Ленуаръ говорила, что когда выдастъ племянницъ, пріѣдетъ жить въ Илатонѣ. Она полюбила русскій народъ, и говорила: „у насъ во Франціи мало людей, которые



искренно желаютъ пользы народу; но все-таки находятся они въ каждомъ уголкѣ. А у васъ народу рѣшительно не съ кѣмъ посоветоваться, не отъ кого услышать доброе“. „Но это было прежде, говорила она.—Въ эти три года у васъ очень многое перемѣнилось. Мы видимъ по журналамъ, Надина,—онѣ получали въ Провансѣ русскіе журналы.—Мы видимъ по журналамъ, Надина, что у васъ начинаютъ заботиться о народѣ. Но все еще очень мало людей, и я буду не лишняя“.—Она жалѣла и о томъ, что ея воспитанница не будетъ имѣть подругъ въ деревнѣ. Жаль, что не въ Провансѣ ие у madame Ленуаръ, а уже на дорогѣ, въ Италіи, было получено письмо отъ отца, гдѣ онъ говорилъ о молодомъ человѣкѣ, который согласился ѣхать съ нимъ въ деревню, гувернеромъ Юриньки. Она переписала ту часть письма, гдѣ...

— Вашъ батюшка такъ доволенъ гувернеромъ вашего брата? — замѣтилъ Волгинъ. — Я очень радъ, потому что подружился съ дальнимъ родственникомъ и однофамильцемъ этого молодого человѣка,—тоже молодымъ человѣкомъ. Потому то я и слышалъ о вашемъ батюшкѣ, что родственникъ моего знакомаго, тоже Левицкаго, гувернеръ вашего брата.

Нельзя было иначе, надобно было поступить рѣшительно.—Опасность, о которой давнымъ давно забылъ Волгинъ, вдругъ нависла надъ его головою. Еще два, три слова—и Илатонцева назвала бы фамилію гувернера. Но—что значить храбрость и быстрота! — Теперь опасность была совершенно уничтожена.—Волгинъ гордился собою. — Пусть теперь Илатонцева говорить о гувернерѣ брата, что угодно, сколько угодно,—бѣды не будетъ.—Удивительно было ему только то,—Волгину всегда было что-нибудь удивительно,—удивительно было ему только то, какъ тогда, въ минуту встрѣчи, не пришло ему въ голову такое легкое средство отвратить опасность: тогда не было бы ему надобности пугать жену, сына, Наташу, Илатонцеву своимъ спотыканіемъ и кашлемъ.

Она переписала для madame Ленуаръ ту часть письма, гдѣ отецъ ея говорилъ о гувернерѣ Юриньки. Отецъ убѣжденъ, что она полюбитъ Левицкаго. Онъ описываетъ его такимъ, что и нельзя не полюбить. Madame Ленуаръ будетъ очень рада, что въ ихъ семействѣ живетъ новый человѣкъ, такой умный, прекрасный, благородный. Теперь madame будетъ увѣрена, что ей не будетъ скучно въ деревнѣ.—Впрочемъ, можетъ быть, она найдетъ тамъ и подругъ; madame Ленуаръ говорила: „Въ эти три года настроеніе умовъ у васъ въ Россіи очень перемѣнилось; вѣроятно, многіе изъ вашихъ сосѣдovъ, которые прежде отталкивали отъ себя дикими понятіями, теперь будутъ рады слушать твоего отца“.—Прежде ея отецъ и не могъ и не хотѣлъ сойтись ни съ кѣмъ изъ сосѣдovъ. Онъ слишкомъ расходился съ ними въ образѣ мыслей.—Но если оправдаются надежды madame Ленуаръ, вѣроятно, и отецъ найдетъ себѣ сочувствіе, и она найдетъ себѣ подругъ...

— А, должно быть, вы съ тетущкою долго ѣхали въ Россію, если получали на дорогѣ письма отъ вашего батюшки:—замѣтилъ Волгинъ.

— Да. Тетущка поѣхала изъ Прованса черезъ Италію, довольно долго останавливались во Флоренціи...

Должно быть однако сильная охотница кутить;—разсудилъ Волгинъ.— Парижа ей мало, хотѣлось навѣстить и Флоренцію, по слухамъ, что нигдѣ

нѣтъ такихъ удобствъ для кутежа, какъ во Флоренціи. — То-то и есть, — замѣтилъ онъ вслухъ. — Мой знакомый, Левицкій, говорилъ мнѣ про гувернера Юриньки, что больше мѣсяца онъ со дня на день все уѣзжаетъ изъ Петербурга съ вашимъ батюшкою, — и все не можетъ уѣхать. — Вашъ батюшка ждалъ, ждалъ васъ въ Петербургѣ, — и наконецъ получаетъ письмо, что вы проѣдете въ деревню черезъ Одессу, — онъ въ деревню, думаетъ найти васъ тамъ, — и вотъ, я вижу теперь, только что уѣхалъ онъ изъ Петербурга, по вашему письму, — а вы въ Петербургѣ. — Ну, признаться, тетушка у васъ!

Если М-г Волгинъ познакомится съ ея тетушкою, онъ не будетъ въ силахъ сердиться на тетушку. У тетушки такое доброе сердце. Но правда, тетушка нѣсколько не постоянна въ своихъ мысляхъ. Тетушка велѣла ей написать отцу, что онѣ выѣзжаютъ изъ Флоренціи въ Вѣну и поѣдутъ въ свою деревню черезъ Одессу, а потомъ вздумала видѣть Женевское озеро. Онѣ пробыли нѣсколько дней на берегахъ Женевского озера, потомъ проѣхали по Рейну, черезъ Берлинь, Штеттинъ; правда, ей было очень грустно, что она уже не застала отца и брата въ Петербургѣ. Тѣмъ больше, что отецъ долженъ былъ беспокоиться, не нашедши ихъ въ деревнѣ. Но она уже послала извѣстіе отцу, — и теперь уже все равно: отецъ будетъ спокоенъ. Правда, ей хотѣлось бы поскорѣе ѣхать къ нему и брату, — но что-жъ дѣлать? — тетушкѣ нельзя уѣхать изъ Петербурга, не повидавшись съ знакомыми.

— Голубочка, не правда-ли, хороша тетка у Надежды Николаевны? — замѣтилъ Волгинъ.

— Что, мой другъ? — Тетка Надины? — Что такое?

— Да ты не слухала?

— Я задумалась о Володѣ. Забавно и пріятно было смотрѣть, какая храбрая Надина, и мы заплыли далеко... Спать-ли онъ, мой милый, или нѣтъ? — Ну, что же тетушка Надины?

Волгинъ сталъ пересказывать о томъ, какъ тетушка Надежды Николаевны перепутала все. Илатонцева защищала тетку. Волгина слушала разсѣянно. — Лодка проплыла Крестовскій мостъ. — Волгина смотрѣла на берегъ Петровскаго острова. Волгинъ спорилъ съ Илатонцевой.

— Лидія Васильевна, вы? — закричала издали съ берега Наташа.

— Что Володя? Спать?

— Спать, Лидія Васильевна, а я смотрю васъ, подавать самоваръ. — Наташа побѣжала домой.

Напившись чаю, Илатонцева попросила Волгину дать ей кого-нибудь проводить ее на дачу Тенишева.

— Вы думаете, я отпущу васъ быть одной въ этомъ домѣ, который наводилъ на васъ тоску и днесь? — Когда пріѣдетъ ваша тетушка, можетъ заѣхать сама взять васъ.

— Если еще не позабыла, что завезла племянницу въ чужой пустой домъ и бросила одну, — добавилъ Волгинъ, который никакъ не соглашался простить тетушку: — А я уйду, голубочка, — ты вѣдь непустишь Надежду Николаевну, не надо мнѣ провожать ее?

— Иди себѣ, работай. Но въ два часа долженъ спать, — слышишь?

Волгинъ ушелъ. Волгина продолжала болтать съ Илатонцевой... Пробыло одиннадцать часовъ. Илатонцева опять стала просить Волгину дать ей кого-нибудь, проводить ее на дачу Тенищева.

— Полноте, Надина: видно, что ваша тетушка осталась гдѣ-нибудь на вечерѣ, на балѣ, когда нѣтъ ее до сихъ поръ.

— Да, я сама думаю, что она уже не вернется раньше двухъ, трехъ часовъ... и мы будемъ ночевать на дачѣ этого Тенищева... Но быть можетъ, она прійдетъ раньше...

— И захочетъ вернуться ночевать домой? — Пусть будетъ и такъ. Она заставила васъ дожидаться ея; можетъ и сама подождать, пока мы съ вами напьемся чаю завтра поутру.

— Нѣтъ, отпустите меня, пожалуйста...

— Вы боитесь выговора?

— Нѣтъ, она неспособна дѣлать выговоры. Но мнѣ самой не хотѣлось бы...

Вмѣсто отвѣта Волгина вынула булавку изъ ея волосъ. — „Боже мой!“ — проговорила дѣвушка въ смущеніи, почти въ испугѣ, подхватывая рукою густые локоны. — „Боже мой!“ — повторила Волгина, поддѣлываясь подъ нѣжный soprano дѣвушки, и выдернула другую булавку: — „Ахъ, зачѣмъ у меня не такіе волоса!“ — проговорила она съ досадою.

— Ваши гуще моихъ; — сказала Илатонцева.

— Но они черные! — Зачѣмъ я не блондинка! Такая досада! — А Наташа дивится, что я умѣю причесать себѣ волоса безъ зеркала! — Поневолѣ выучишься! — Такая досада! — Впрочемъ, теперь, конечно, все равно. — Идемъ ко мнѣ въ спальную. Пора спать. Володя мастеръ будить. Голосокъ такой же прекрасный, какъ у отца. — Она почти насильно подняла Илатонцеву со стула и повела, — но сошедши съ мѣста противъ воли, Илатонцева съ восторгомъ заговорила: — О, какъ я рада, что вы не пустили меня! — Мнѣ было бы такъ тяжело, страшно одной въ этомъ сыромъ, гадкомъ домѣ!

— Володя не будетъ мѣшать вамъ: онъ здоровъ и не плачетъ по ночамъ; но часовъ въ восемь разбудить. — Перебѣни простыню на диванѣ, — возьми изъ моихъ, Наташа; и подушку положи изъ моихъ.

— А гдѣ-же спать мнѣ, Лидія Васильевна?

— Ахъ, какая ты глупая дѣвчонка! — Она готова плакать, что у нея отнимають диванъ!

— Нѣтъ, Лидія Васильевна, — убѣдительнымъ голосомъ возразила Наташа: — Я ничего; только я не знаю, гдѣ же вы прикажете мнѣ лечь; здѣсь ли, на полу, принести тюфякъ, или въ кухнѣ?

— Я прикажу тебѣ вовсе не ложиться: иди въ залъ и сиди всю ночь у окна.

— Зачѣмъ же, Лидія Васильевна? — и не спать? — съ отчаяніемъ спросила Наташа.

— И не спать. Сиди и молись, чтобы я сдѣлалась такая же добрая, какъ Надежда Николаевна, которая тебѣ нравится.

— Очень хоро... — начала было Наташа, но не договоривши, переду-мала: — Да вы смѣйтесь, Лидія Васильевна!

— Убирайся въ кухню къ Авдотѣ, — ложись въ залъ, если не боишься одна, — ложись здѣсь, — не все ли равно? — Когда ты перестанешь быть глупою и надоѣдать мнѣ всякими пустяками, все равно, какъ Алексѣй Иванычъ?

— Нѣтъ, Лидія Васильевна, Алексѣй Иванычъ не такой какъ я: Алексѣй Иванычъ самый умный человекъ; это говорить и Мионовъ, и всѣ. Да и что же вы притворяетесь передъ Надеждою Николаевною, будто сами не знаете этого?

Илатонцева не выдержала, засмѣялась. — Ложитесь здѣсь, Наташа, и скажите мнѣ сказку о Марьѣ Маревнѣ, критской королевнѣ.

— Посмотрите, какая бойкая она стала! — Распоряжается въ моемъ домѣ, будто хозяйка!

— Въ самомъ дѣлѣ, съ тѣхъ поръ, какъ я уѣхала отъ madame Ленуаръ, я не чувствовала себя такою довольною и свободною; — сказала Илатонцева, съ оттѣнкомъ грусти.

— У васъ добрый отецъ, Надина; при немъ вы будете опять чувствовать себя свободною и довольною.

— О, да, да! — радостно сказала Илатонцева.

Пришедши поутру пить чай, Волгинъ увидѣлъ въ столовой только жену. — А гдѣ же Илатонцева, голубочка? Неужели тетка успѣла уже прислать за ней? — Еще нѣтъ девяти часовъ! Неужели старая дурища, прорыскавши, чортъ знаетъ гдѣ, до поздней ночи, уже вскочила опять рыскать?

— Илатонцева ушла, какъ встала; не хотѣла даже подождать чаю. Авдотья говоритъ, — Авдотья проводила ее, — что умная тетюшка еще спитъ. Приѣхала часу въ пятомъ.

— Плясала на балѣ, или просто кутила, — основательно замѣтилъ Волгинъ: — А славная дѣвушка эта Илатонцева.

— Очень хорошая. И ты вчера уже вздумалъ было навязывать мнѣ заботу о ней? — Очень достаточно мнѣ и того, что нянчусь съ Володею и съ тобою.

— Я вовсе не думалъ, голубочка, — съ убѣдительною искренностью сказалъ мужъ: — Увѣрю тебя, не думалъ.

— Не думалъ! — Если бы я не замѣтила и не остановила тебя, когда ты печалился ея приданымъ, ты сейчасъ бы началъ внушать ей, чтобы она, когда приѣдетъ изъ деревни, обо всемъ совѣтовалась бы со мною.

— Ну, что же, голубочка? — Разумѣется, всякіе тамъ мерзавцы, — ну, можетъ ли она понимать мерзавцевъ? — Что же, разумѣется, это жалко: одна, некому вразумить. — Волгинъ былъ хорошъ тѣмъ, что ни мало не стѣснялся и объяснять свои мысли, послѣ того, какъ отперся отъ нихъ.

— Совершенная правда, мой другъ; но я не хочу продолжать тѣснаго знакомства съ нею. Такія знакомства не по нашимъ деньгамъ. Да я и не люблю бывать у людей, которые важнѣе насъ съ тобою. Ты долженъ бы помнить это.

— Ну, конечно, это хорошо, голубочка, и все такъ. Но для нея можно бы сдѣлать исключеніе.



— Хорошо; я доставлю тебѣ и случай сдѣлать исключеніе. Я иду гулять,— ты остаешься дома,— такъ?

— Голубочка!—эта дурища, какъ протреть глаза, придетъ благодарить тебя за любезность къ ея племянницѣ!—Тебя не будетъ дома, а я буду дома! — Жена засмѣялась.

— Я пойду гулять по нашему садику. Я не хочу отнять у себя удовольствія прочесть ей лекцію.

— И не вызовешь меня къ ней?

— Нѣтъ, не вызову, другъ мой, не бойся. У меня нѣтъ только охоты, у тебя нѣтъ и времени для лишнихъ знакомствъ.

Черезъ полчаса Волгина вернулась изъ садика въ комнату мужа:

— Давай то, что у тебя приготовлено для типографіи. Я ѣду въ городъ, буду въ той сторонѣ. Эта глупая Наташа вздумала пристать ко мнѣ, чтобы я купила ей золотыя серьги: Илатонцева подарила ей вчера три рубля.

— А какъ же лекція, которую ты хотѣла прочесть этой старой дурищѣ?—Наташа могла бы подождать,—поѣхала бы, голубочка, послѣ обѣда.

— Послѣ обѣда некогда. Вчера Мионовъ не былъ,—значить, пріѣдетъ обѣдать. Будетъ еще кто-нибудь изъ моихъ пріятелей. Возьму коляску, или шарабанъ, если ихъ будетъ много, и поѣду въ Парголово. Я еще не была тамъ.

— Ну, такъ могла бы Наташа подождать до завтра.

— Нельзя ей, потому-то она и пристала: на дачѣ, гдѣ живутъ столяры, нынѣ большой праздникъ, день рожденія жены второго брата,—того, который приходилъ къ намъ поправлять мебель. Наташа непременно хочетъ отличиться тамъ въ золотыхъ сережкахъ.

За обѣдомъ Волгина сказала мужу, что Илатонцева заходила съ теткою къ нимъ, и оставила записку, въ которой говорить, что тетущка и она заѣдутъ послѣ завтра.

Но передъ обѣдомъ на другой день пріѣхалъ слуга Илатонцевыхъ и подалъ новую записку. Дѣвушка извиняла свою тетку и себя въ томъ, что онѣ не будутъ завтра у Лидіи Васильевны; нынѣ поутру тетущкѣ представилась непредвидѣнная надобность спѣшить отъѣздомъ въ деревню. Черезъ четверть часа онѣ должны быть на желѣзной дорогѣ. Тетущка такъ поздно сказала ей: она торопится и стыдится, что такъ дурно пишетъ.—Тетущка поручаетъ сказать, что первый визитъ ея по возвращеніи въ Петербургъ будетъ къ Лидіи Васильевнѣ.

Въ припискѣ изъ десяти словъ тетущка повторяла то же извиненіе и увѣреніе по-французски, выражаясь о себѣ *jaît* и *javait*, по грамматикѣ русскихъ аристократокъ и парижскихъ лоретокъ, — какъ замѣтилъ Волгинъ, съ обыкновеннымъ своимъ остроуміемъ, за которое одобрилъ себя необходимою руладюю.

— Обѣщаніе тетущки не очень страшно: къ тому времени пятьсотъ разъ успѣетъ забыть обо мнѣ.—Илатонцева будетъ иногда заѣзжать, пока не будетъ у нея жениха.

— То-есть, очень недолго; — замѣтилъ Волгинъ съ неизмѣнною своею

основательностью. — А что касается ея тетки, то увѣряю тебя, голубочка, надобность этой дурищѣ спѣшить въ деревню та же самая, какая заставила ее тогда рыскать чортъ знаетъ гдѣ, бросивши племянницу. Просто вѣтеръ ходить у нея въ головѣ: онъ подуетъ, она и несется, — увѣряю.

Прошло еще мѣсяца два или больше. Приближалась осень. Аристократы, вѣроятно, въ своихъ каменныхъ дачахъ, еще не начинали думать о возвращеніи въ городъ; Волгина уже думала. Но послѣ двухъ, трехъ ненастныхъ дней погода поправилась, и Волгина воспользовалась этой отсрочкою, чтобы перебраться обои на своей городской квартирѣ: денежные дѣла мужа быстро улучшались; на прошлой недѣлѣ онъ получилъ за мѣсяць сотнею рублей больше прежняго. Такъ онъ будетъ получать и въ слѣдующіе мѣсяцы, до новаго года. А потомъ счеты будутъ вестись на новыхъ основаніяхъ, уже очень выгодныхъ для него.

— Это прелесть, какою миленькою, веселою станетъ наша квартира! — говорила Волгина мужу, возвратившись изъ города, куда ѣздила выбирать обои. Она стала описывать до мельчайшихъ подробностей, какіе обои взяла для какой комнаты. — Словомъ, ты понимаешь, во всѣхъ комнатахъ будутъ свѣтлые обои; только въ твоемъ кабинетѣ не свѣтлые, синіе: они лучше для глазъ... Ахъ, мой другъ, я боюсь, что ты утомляешь свои глаза!

— Напрасно, голубочка; мои глаза очень близоруки, но зато чрезвычайно здоровы. Сколько лѣтъ я, можно сказать, только тогда и отрывалъ ихъ отъ книги, когда спалъ, — и ни разу не чувствовалъ зрѣнія утомленнымъ. У очень близорукихъ очень часто бываютъ ужасно крѣпкіе глаза.

— Но какіе бы ни были они крѣпкіе, все-таки я опасаясь за нихъ. Готлибъ Карлычъ пилъ кофе, когда я привезла ему то, что ты приготовилъ; сѣла выпить чашку, — славный кофе, — мы разговорились. Онъ сказалъ: „Ни одинъ литераторъ не пишетъ столько. Ни я, никто изъ наборщиковъ не видывали, чтобы кто-нибудь писалъ такъ много“.

— Это ничего не значить, голубочка. Я пишу сплеча, даже не перечитываю. Другіе обдумываютъ, потомъ поправляютъ. Иные сидятъ за письменнымъ столомъ не меньше моего, быть можетъ.

— Все-таки ты долженъ писать меньше. Теперь ты сталъ получать больше, нежели надобно мнѣ.

— Ну, голубочка, еще далеко до того, чтобы получать, сколько надобно. Ты вспомни: тебѣ надобно имѣть экипажъ, пару лошадей, — а когда дойдетъ до такого дохода? — Развѣ года черезъ полтора наберешь денегъ. Но главное, голубочка, вовсе не твои надобности. Прежде, точно, главное было въ нихъ, когда искалъ работы, хотѣлъ зарекомендовать себя, что могу писать быстро. А теперь, голубочка, совсѣмъ другое. Совѣсть, — эго, даже совѣсть припелъ къ такимъ пустякамъ! — само собою вздоръ; но что же ты станешь дѣлать съ этою моею глупостью, когда такъ думаю: если не напишу объ этомъ, то будетъ написана чепуха, — а „объ этомъ“ выходитъ обо всемъ, о чемъ ни бываетъ надобно, — ну, даже и не успѣваю.

— Но что же такъ долго не ѣдетъ твой Левицкій? — Ты говорилъ, онъ

уѣзжалъ тогда мѣсяца на два. Давно пора бы ему прѣхать. Ты написалъ бы ему, поторопилъ бы его.

— Твоя правда, голубочка. Напишу.

— Ты забудешь, я знаю тебя! — Но я сама буду за тебя помнить. Завтра, когда ѣхать въ городъ, спрошу, готово ли письмо, и если не готово, заставлю написать при себѣ. Или, хочешь, я напишу за тебя? — Это я съумѣю. Ты не говори мнѣ, какъ писать. Только скажешь мнѣ адресъ. — Волгина уже сидѣла за письменнымъ столомъ мужа и доставала почтовую бумагу. — Ты не говори мнѣ, что писать. Я сама знаю. Ахъ, какъ хорошо я напишу! Это будетъ прелесть! Я даже не покажу тебѣ, что напишу; — ни за что не покажу.

Теперь уже неотвратимо. Можно только объяснить, почему адресъ будетъ въ деревню Илатонцева. Конечно, Левицкій сказалъ, что ѣдетъ въ глухое село, куда нѣтъ почты, и что если писать ему, то черезъ этого родственника, который гувернеромъ у Илатонцева.

Жена сложила письмо, взяла конвертъ. — Адресъ, мой другъ.

— Адресъ, голубочка: Владиміру Алексѣичу, — ну, Левицкому, это знаешь, — въ Харьковѣ, въ домѣ Левицкихъ, у Троицкой церкви.

Десяти минутъ было достаточно Волгину, чтобы найти способъ отвратить неотвратимое. Въ особенности онъ былъ доволенъ домомъ Левицкихъ у Троицкой церкви. Харьковъ, это еще не важность: и Калуга, и Орель, все годилось бы. Но „въ домѣ Левицкихъ“ — что можетъ быть натуральнѣе, когда онъ уѣхалъ къ роднымъ? — „у Троицкой церкви“ — что можетъ быть короче, проще, несомнѣннѣе?

— Какъ я рада, что хоть немножечко помогла тебѣ! Ахъ, мнѣ хотѣлось бы помогать тебѣ! — Не умѣю, мой другъ; ничему не училась. — А теперь поздно, когда Володя не идетъ изъ ума! — Сяду читать, и вдругъ замѣчаю: ничего не прочла, все думала о Володѣ... Какъ я рада, что вздумала написать за тебя! Хочешь, я стану писать за тебя все письма? Это я съумѣю...

Она такъ радуется, что помогла ему! — Ему стало стыдно за свое двоедушіе передъ нею: она не могла бы сказать: „въ домѣ Левицкихъ, у Троицкой церкви“.

— Милая моя голубочка, ты сядь подлѣ меня и не огорчись тѣмъ, что я скажу. Ты знаешь, у меня характеръ мнительный, робкій. Потому не придавай важности моимъ словамъ: ты знаешь, у насъ все тихо, и я думаю о будущемъ только потому, что я трусь. Воображаю то, чего, можетъ быть, и не будетъ. Ты знаешь, я держу себя осторожно. Если бы я не былъ трусь, то и нечего было бы мнѣ думать ни о тебѣ, ни о Володѣ. Ты знаешь, я не думаю ни о своихъ глазахъ, ни о своемъ здоровьи: за мое здоровье и за глаза ты напрасно опасаясь, повѣрь мнѣ. Одно можетъ повредить тебѣ съ Володею: переменна обстоятельство. Дѣла русскаго народа плохи. Будь что-нибудь теперь, намъ съ тобою еще ничего. Обо мнѣ еще никто не позаботился бы. Но моя репутація увеличивается. Два, три года, — и будутъ считать меня чловѣкомъ со вліяніемъ. Пока все тихо, то ничего. Но, какъ я говорю, и сама ты знаешь, дѣла русскаго народа плохи. Передъ нашею свадьбою я говорилъ тебѣ и самъ думалъ, что говорю пустяки. Но чѣмъ дальше идетъ время, тѣмъ виднѣе, что надобно было тогда предупредить тебя. Я не жду пока ровно ничего непріятнаго тебѣ. Но не могу не видѣть, что черезъ нѣсколько времени...

— Такъ ты вотъ о чемъ!—Она поблѣднѣла.—Молчи, не смѣй говорить!—Она вскочила и зажала ему ротъ.— Не смѣй!—Молчи! Я слышала разъ,—довольно. Не смѣй!—Она убѣжала.

Натурально. Тогда она еще могла слушать, потому что еще и не воображала, что будетъ такъ расположена къ нему. Натурально, теперь ей труднѣе слушать: прожили вмѣстѣ три года; и теперь она понимаетъ, что это и можетъ случиться; тогда и не понимала. Конечно, теперь вовсе не слѣдовало говорить. Или слѣдовало?

Онъ пошелъ за нею.

Она прижимала сына къ груди и рыдала надъ нимъ: „Володя, мы съ тобою будемъ сиротами!“.

— Не время было доканчивать основательное изложеніе мотивовъ, по которымъ онъ дошелъ до изобрѣтенія дома Левицкихъ и Троицкой церкви.— Онъ сталъ говорить, что преувеличивалъ, что ей нечего обращать вниманіе на его слова, потому что она знаетъ, у него мнительный и робкій характеръ.—Когда она совершенно измучилась, она стала успокоиваться.

Потомъ она побранила его: зачѣмъ говорить объ этомъ?—Было сказано разъ. И довольно. Она помнить. Но не хочетъ помнить. Зачѣмъ помнить?—Пусть онъ никогда не смѣетъ не только говорить ей, и самъ пусть не смѣетъ думать. Онъ думаетъ потому, что всегда фантазируетъ. Это вздоръ. Ничего этого не будетъ.

Она довольно спокойно стала играть съ Володею, и къ вечеру стала опять весела.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Не только люди, жившіе на дачахъ, построенныхъ изъ досокъ, по соображенію съ итальянскимъ климатомъ, но и аристократы перебрались въ городъ. Начинались разговоры о будущемъ оперномъ сезонѣ. Наконецъ, явились и афиши о первомъ спектаклѣ.

Волгина была хороша съ Рязанцевой. Видѣлись онѣ не часто. Сборы дамъ другъ къ другу всегда длинны. Но черезъ Миронова онѣ постоянно передавали другъ другу свои новости. Рязанцевъ былъ профессоръ въ университетѣ. Мироновъ былъ однимъ изъ лучшихъ студентовъ. Въ тѣ времена рускіе прогрессисты любили русскую молодежь. И молодежь любила ихъ. Мироновъ пользовался расположеніемъ Рязанцева. Потому и расположеніемъ Рязанцевой. Иначе и быть не могло, потому что она вѣровала въ мужа. Не вѣровать было-бы нельзя: она любила его. И не любить нельзя: онъ стоилъ того.

Рязанцевъ былъ главнымъ мѣстнымъ авторитетомъ прогрессистовъ въ Петербургѣ. Прогрессистовъ въ Петербургѣ было тогда безчисленное множество. Всѣ, кто только могъ, лѣзли къ Рязанцеву. По вторникамъ, квартира Рязанцевыхъ была биткомъ набита прогрессистами. Переполнивши всѣ болѣе или менѣе открытыя для гостей комнаты, они вламывались даже въ дѣтскую. Ря-



занцева только умоляла не кричать тамъ.—Всеѣ, кто могъ, считали за величайшее удовольствіе себѣ оказать услугу madame Рязанцевой. Ежели бы она пожелала бросить букетъ Бозію, ей навезли бы полсотни самыхъ дорогихъ букетовъ. Но она желала только достать билетъ въ 4-й ярусъ. Десять прогрессистовъ заглушали другъ друга предложеніями привезти билетъ во 2-й ярусъ, въ 1-й ярусъ, въ бель-этажъ. Рязанцева едва могла вразумить ихъ, что не хочетъ сорить деньгами. Двадцать прогрессистовъ заспорили о томъ, кому достанется удовольствіе добыть для нея билетъ въ 4-й ярусъ.

Поутру въ день перваго спектакля она прислала Миронова сказать Волгиной, что имѣетъ билетъ. Волгина была очень рада. Она пошла спросить мужа, поѣдетъ ли онъ съ нею. Ему было нельзя: онъ долженъ провести этотъ вечеръ въ типографіи. Она была нѣсколько огорчена этимъ, думала, что онъ, по своему обыкновенію, только отговаривается. Но онъ сказалъ: „говорю правду, голубочка“. По этой формулѣ она уже всегда могла быть увѣрена, что онъ не лжетъ. Она сказала Миронову, что беретъ съ собою его.

Типографія была въ Коломнѣ, недалеко отъ оперы. Поэтому, взяли четверомѣстную карету, чтобы кетати завезти Волгина въ типографію. Волгинъ былъ завезенъ въ типографію, и карета поѣхала къ оперѣ.

Вошедши въ типографію, Волгинъ увидѣлъ, что пріѣхалъ цѣлымъ часомъ раньше, нежели нужно. Правда, можно начать работу хоть сію минуту; но если такъ, черезъ четверть часа опять придется ждать. Куда дѣвать ему время?—Опера въ сотнѣ шаговъ. Не лучше ли всего пройти туда? Это доставитъ удовольствіе женѣ.

Онъ пришелъ, сталъ подыматься по лѣстницѣ. Но куда-жъ идти ему? Въ 4-й ярусъ, положимъ, но въ какой номеръ?—Только тутъ, поднимаясь на лѣстницу, онъ сообразилъ, что не знаетъ номера ложи. Онъ остановился, подумалъ: какъ быть съ этимъ?—Убѣдился, что затрудненіе непреодолимо, пошелъ внизъ. Спускаясь, все соображалъ, и вдругъ, сообразилъ, что если уже такъ, то можно устроить другое дѣло, удовольствіе самому себѣ. Онъ подошелъ къ кассѣ:—„Позвольте два билета въ боковыя мѣста, одно мѣсто съ одной стороны, другое съ другой“.—Кассиръ отвѣчалъ, что нѣтъ ни одного билета въ боковыя мѣста. Видя, что человѣкъ опечалился, а одѣтъ не бѣдно и украшенъ золотыми очками, кассиръ прибавилъ, что самые дешевые билеты, какіе остаются,—въ шестой рядъ кресель.—Волгинъ подумалъ: Дорого, но это бы такъ и быть. А главное, въ креслахъ его увидитъ Лидія Васильевна. Нельзя. Онъ пошелъ отъ кассы, перебирая пальцами свою рыжеватую бороденку. Но сообразительность его была неистощима. Онъ промышчалъ „гм!“—въ одобреніе своему уму, и пошелъ вверхъ. Онъ вспомнилъ средство, которымъ пользовался, при недостаткѣ билетовъ въ боковыя мѣста, въ послѣдній годъ своего студенчества, когда былъ отчасти меломаномъ.

Но теперь желаніе у него было не то, какъ тогда. Не слушать, а произвести осмотръ,—и основательный, полный. Для полноты онъ и спрашивалъ два билета. „Есть у васъ хорошіи бинокль?“—спросилъ онъ, для основательности, у капелдинера боковыхъ мѣстъ.—Старикъ подалъ довольно хорошіи.

— „А лучше пѣтъ?“ — „Это очень хорошій“. — „Мнѣ надо лучше“. — „Если вамъ нужно самый хорошій, дочка у меня сбѣгаетъ внизъ, достанетъ“. — Дѣвочка притащила бинокль, дѣйствительно отличный. „Хорошо“, сказалъ Волгинъ, и сторговался, чтобы пустили его постоять между лавокъ.

Онъ сталъ систематически обозрѣвать, сначала кресла, рядъ за рядомъ: точно ли бинокли изъ кресель повертываются больше все вверху, на одну ложу. Такъ, вертятся по всемъ направлениямъ, а больше все вверху, и на одну ложу. Разумѣтся, онъ и говорилъ, что должно быть такъ. Нельзя иначе. Онъ говорилъ. Потомъ онъ внимательно сталъ осматривать противоположную сторону театра, съ бенуара, черезъ бель-этажъ, первый ярусъ. И тутъ, все такъ: нельзя, онъ зналъ, что должно быть такъ. Отъ усердія разсматривать основательно онъ страшно нахмурилъ брови, но очень самодовольно улыбался: онъ могъ быть доволенъ собою:—онъ разсматривалъ внимательно; разумѣтся, и смотрѣть напрасно; но отчего же и не посмотрѣть, что оно такъ, какъ знаешь.—отчего не посмотрѣть, когда есть свободное время?—Разумѣтся, и смотрѣть нечего. Но отчего не смотрѣть?

Кончивши обзоръ противоположной стороны, онъ вышелъ въ корридоръ, сказалъ капельдинеру, что идетъ на ту сторону, беретъ бинокль съ собою, оставилъ денегъ для вѣрности, что не унесетъ бинокль, и пошелъ на другую сторону боковыхъ мѣстъ. Собразилъ, которая дверь приходится прямо противъ девятой ложи отъ сцены, кушилъ у капельдинера разрѣшеніе войти въ эту дверь, сталъ между скамьями второго ряда, принялся доканчивать свой осмотръ,—разумѣтся, и съ этой стороны все такъ,—кончилъ осмотръ, потомъ сталъ глядѣть на девятую ложу 4-го яруса.—Черезъ нѣсколько времени онъ замѣтилъ, что очки его начинаютъ тускнѣть; потому опустилъ бинокль, сталъ протирать ихъ, а въ это досужее время предался размышленію. Размышленіе состояло въ томъ, что въ сущности, конечно, Лидія Васильевна справедливо разсудила, что не могла бы быть счастлива, еслибы согласилась пойти за кого-нибудь другого; и само собою, невозможно не согласиться, что она тогда дѣлала хорошо, что не слушалась его. И конечно, ея жизнь все-таки лучше, нежели была бы въ другомъ замужествѣ,—это она говоритъ правду. Потому, дѣйствительно, съ его стороны совершенно глупо жалѣть, что она согласилась выйти за него.—Размышленія Волгина всегда были такъ основательны, что онъ постоянно видѣлъ себя принужденнымъ соглашаться съ собою, что разсуждаетъ очень справедливо.—Потому и теперь у него осталось только одно сомнѣніе, умѣлъ ли онъ протереть очки такъ ловко, что никто изъ сосѣдовъ и сосѣдокъ не обратилъ вниманія. Потому что ему никогда не было пріятно, если кто замѣчалъ, когда онъ поступаетъ нѣсколько странновато. Онъ надѣлъ, оправилъ очки и повелъ глазами по сосѣдамъ и сосѣдкамъ: кажется, никто не обращаетъ вниманія на него: ни этотъ молодой человекъ, вѣроятно, чиновникъ,—ни этотъ, вѣроятно, тоже чиновникъ,—ни эта, вѣроятно, сестра этого,—ни эта, должно быть, мать ихъ,—ни этотъ, должно быть, небогатый купецъ,—ни эта, должно быть, его жена,—ни этотъ... Вотъ тебѣ разъ, кто этотъ-то?

— Какъ это вы здѣсь, въ боковыхъ-то мѣстахъ? — вполголоса сказалъ Волгинъ, пригнувшись къ уху „этого-то“ и дотрогиваясь до его плеча. „Этотъ-то“ былъ Нивельзинъ.

Нивельзинъ оглянулся.—Волгинъ! Вы!—Если кому, то мнѣ дивиться, что мы встрѣчаемся здѣсь. Какъ это вы забрались въ боковыя мѣста?—Танечка, вы извините меня. мнѣ надобно поговорить съ г. Волгинымъ,—обратился онъ къ своей сосѣдкѣ, до которой еще не доходило пересчитыванье Волгина.—Я надѣюсь, вы не до такой степени заинтересованы увертюрою, чтобъ отказать мнѣ въ нѣсколькихъ минутахъ разговора. м-г Волгинъ?—Прощайте, Танечка.

— Идите, Богъ съ вами! будто я не понимаю!—сказала дѣвушка больше съ шуткою, нежели съ досадою.—Ступайте въ ложу къ вашимъ друзьямъ.

— Я не пойду въ ложу къ Рязанцевымъ. Вы увидите, что напрасно обижаетесь. Seriously, мнѣ надобно поговорить съ м-г Волгинымъ. Вы увидите, я буду сидѣть въ четвертомъ ряду кресель.

— Посмотримъ. Если не пойдете въ ихъ ложу, то прекрасно. Но въ такомъ случаѣ незачѣмъ было прощаться. Поговорили бы съ м-г Волгинымъ, и пришли бы назадъ.

— Я компрометировалъ бы васъ, Танечка, если бы возвратился сюда: въ антрактъ, въ фойе, знакомые увидятъ меня. Какъ я скрылся бы послѣ того? Они стали бы смотрѣть, куда я пропалъ.

Дѣвушка смѣялась.—Oh, traitre! Oh, monstre!—Почему же вы не сказали мнѣ, что пробудете здѣсь только до перваго антракта?—Oh, monstre! Voyez comme il sait mentir! Mais je vous assure, que vous êtes un monstre!

— Порокъ наказанъ въ моей персонѣ.—сказалъ Нивельзинъ, вышедши съ Волгинымъ въ корридоръ.—Я былъ друженъ съ Танечкою,—она жила съ однимъ изъ моихъ знакомыхъ. Входя въ театръ, встрѣтивъ ее, спросилъ о немъ,—я только вчера прѣхалъ, еще почти ни съ кѣмъ не видѣлся;—пока я путешествовалъ, онъ женился. Вы видите, она мила,—и даже съ нею можно говорить; она читаетъ французскіе романы.

— И вы пошли съ нею въ боковыя мѣста?

— Чего же вы хотите?—Я не былъ влюбленъ ни въ кого, я не думалъ о возможности жениться.

— А теперь думаете?—Волгинъ залился рудою, отъ которой вздрогнула прислуга корридора.—Когда-жъ это успѣли рѣшиться?—Однако, я думаю, мнѣ пора: я пришелъ въ типографію,—здѣсь, подлѣ,—было еще рано,—зашелъ сюда.—Онъ вынулъ часы.—Пора.—А когда вы къ намъ?—Жена будетъ очень рада видѣть васъ.

— На дняхъ!

— Эко, хватили: „на дняхъ!“—Завтра.

— Можетъ быть, завтра.

— Ну, тоже хорошо: „можетъ быть!“—Завтра, да и ковчено. Объяснить.—Вы видите, васъ зовутъ съ искреннимъ расположеніемъ. Чего-жъ тутъ? Много вы насчитаете семействъ, гдѣ искренно расположены къ вамъ?—Рязанцевы, да и обчелся, я думаю. Такъ завтра?

— Я давно уважалъ васъ. Вѣроятно, вы замѣчали, что я всегда хотѣлъ сойтись съ вами, когда мы встрѣчались у Рязанцевыхъ...

— А я пылся?—Натурально, у меня нѣтъ празднаго времени. Но когда зову, то, значить, расположенъ. Чего-жъ тутъ?—Завтра?



— Завтра.— Нивельзинъ долженъ былъ видѣть расположеніе въ нелѣпныхъ фамиллярностяхъ дикаго человѣка.

— Ну, и прекрасно.— Пора въ типографію!— А, да еще нужно будетъ занести бинокль! Совѣтъ было забыть!— Съ этими словами Волгинъ поскокалъ внизъ по лѣстницѣ черезъ двѣ и три ступени.

Пока театръ наполнялся, Волгина смотрѣла на публику. Теперь давно забыла думать о ней.

— Нивельзинъ пріѣхалъ;— сказала Рязанцева мужу.— Сейчасъ вошелъ. Въ четвертомъ ряду.

— А!— Очень радъ!— очень радъ!— Послушаемъ, что привезъ, какія новости!— Рязанцевъ потиралъ руки отъ удовольствія.

— Нивельзинъ, въ четвертомъ ряду кресель?— сказала Волгина и взглянула:— Въ самомъ дѣлѣ!— Она пожала плечами.

— Вы знакомы съ нимъ?— спросила Рязанцева.

— Знаю его въ лицо. Но мы еще не знакомы.

— Я думала, вы уже познакомились передъ его отъѣздомъ, потому что, кажется, онъ очень сошелся въ то время съ вашимъ мужемъ.

Отъ Рязанцевой нельзя было ждать ни колкостей, ни темныхъ намековъ. Если она говорила такъ, она должна была думать, что услышать это очень равнодушно. Что-жъ она говорить? Неужели сдѣлались извѣстными отношенія Нивельзина къ Савеловой?

— Почему вы думаете, что мой мужъ очень сошелся съ Нивельзинымъ передъ его отъѣздомъ?

— Мы тоже знаемъ кое-что;— сказалъ Рязанцевъ такъ быстро, что перебилъ отвѣтъ у жены, и съ такимъ удовольствіемъ, что опять потеръ руки:— Мы знаемъ, что именно Алексѣй Иванычъ и отправилъ его за-границу.

Очевидно, все это говорилось съ полнѣйшимъ незлобіемъ.

— Алексѣй Иванычъ отправилъ его за-границу!— Меня начинаетъ очень интересоваться это.

— Передъ нами нечего скрывать;— сказалъ Рязанцевъ, продолжая потирать руки, понижая голосъ и нагибаясь ближе къ Волгиной:— Нивельзинъ, быть можетъ, и поѣхалъ бы за-границу, — но не такъ поспѣшно. Алексѣй Иванычъ ускорилъ его отъѣздъ, если не послалъ нарочно.— Рязанцевъ совершенно пригнулся къ уху Волгиной и шепнулъ:— Алексѣй Иванычъ посылалъ его съ порученіями въ Лондонъ.

Волгина вздохнула свободно: правды и не подозреваютъ, говорятъ какой-то вздоръ, который, въ чемъ бы ни состоялъ, не можетъ имѣть никакого отношенія къ Савеловой.— Въ Лондонѣ? съ порученіями? Въ Лондонѣ посылаютъ съ порученіями купцы, покупать или продавать на милліоны,— о, я очень рада, если у Алексѣя Иваныча завелись милліоны!— Отниму все у него!

— Тише, могутъ слышать;— шепнулъ Рязанцевъ въ совершенномъ восхищеніи:— Вы отговариваетесь очень мило, но напрасно.

— Ахъ, теперь понимаю, если вы совѣтуете говорить, чтобъ не могли услышать!— Совѣтъ забыла, что въ Лондонѣ живутъ наши!— Но съ чего-же



вы взяли, что Алексѣй Ивановичъ посылалъ Нивельзина съ порученіями къ нимъ?—Алексѣй Ивановичъ не могъ сказать этого. Неужели Нивельзинъ такъ сказалъ вамъ?

— Такія вещи не сказываются, онѣ только угадываются; — съ восхищеніемъ шепталъ Рязанцевъ: — Человѣкъ не думалъ о путешествіи. Вдругъ объявляетъ: послѣ завтра ѣду за-границу; — оказывается, наканунѣ былъ у него Алексѣй Ивановичъ. Человѣкъ ѣдетъ, — и Алексѣй Ивановичъ одинъ знаетъ часъ его отъѣзда, — приходитъ провожать его, — провожаетъ до кареты, обнимаются, оба, кажется, плачутъ, целуются, Алексѣй Ивановичъ усаживаетъ его въ карету, — мы знаемъ только эти факты. Давайте намъ факты, до ихъ значенія мы какъ-нибудь доберемся своимъ умишкомъ, — хе, хе, хе. — Онъ смѣялся отъ глубины души.

Если бы Волгиной привелось услышать такое объясненіе въ тотъ вечеръ, когда была взволнована соображеніями мужа о будущемъ, она приняла бы слова Рязанцева очень горячо. Но она не любила унывать; она не любила заранѣе мучить себя страхами. Мужъ могъ разстроить ее своими предсказаніями, но лишь на нѣсколько часовъ. На другое утро она встала уже съ тѣми же мыслями, какія имѣла до этой тревоги: не все то сбывается, чего боятся мнительные люди, между которыми мужъ ея былъ одинъ изъ самыхъ искусныхъ на придумыванія. Она твердо знала, что кто остороженъ, тотъ почти всегда совершенно безопасенъ. Поэтому слова Рязанцева хоть и были не совсѣмъ пріятны ей, показались больше забавны.

— Что за вздоръ! — сказала она, засмѣявшись: — Вы сами говорили мужу, что онъ проѣхалъ въ Римъ, — какія-жъ это посылки наскоро въ Лондонъ, когда человѣкъ ѣдетъ въ Римъ и живетъ тамъ, потомъ въ Парижъ и живетъ тамъ? — Вы говорили мужу, что онъ хотѣлъ проѣхать въ Англію, только уже на возвратномъ пути въ Россію?

— Те, те, те! — прошепталъ Рязанцевъ, плутовски прищуривая глаза и потирая руки съ ожесточеніемъ восторга: — Те, те, те! — Черезъ двѣ недѣли по выѣздѣ изъ Россіи доѣхавши до Рима, можно было имѣть время вернуться въ Лондонъ! — Алексѣй Ивановичъ ведетъ дѣла похитрѣ насъ грѣшныхъ. Отъ насъ ѣдутъ прямо въ Парижъ, по торной дорогѣ въ Лондонъ, — а у него: поѣхалъ по дорогѣ въ Италію! — Кому интересно слѣдить, который поѣхалъ въ Италію? — Свернулъ съ половины дороги, и опять попалъ на нее — все шито и крыто, иголки не подпустишь! — Да, надо намъ всѣмъ поучиться у Алексѣя Ивановича! — Жаль одного: расходъ слишкомъ тяжелъ! — Такія большія издержки можно дѣлать только въ немногихъ, чрезмѣрно важныхъ случаяхъ.

— Еслибы вы знали, какой вздоръ вы говорите! — И мужъ, и Нивельзинъ расхохотались бы.

— Вы отстаиваете ихъ очень твердо, но скоро мы произведемъ маленькое слѣдствіе, и получимъ улики; — сказалъ Рязанцевъ, лукаво приморгнувъ: — Нивельзинъ, навѣрное, зайдетъ сюда, и мы произведемъ ему допросъ! Небольшой допросецъ!

— Такъ вы еще не знакома съ Нивельзинимъ? — сказала Рязанцева: — А я думала, что и вы хороши съ нимъ. Когда вы взглянули на него, вы пожалы плечами, и онъ вспыхнулъ.

— Вѣроятно, онъ понялъ, почему я пожала плечами. И если онъ придетъ сюда, то убѣдится, что я очень люблю дѣлать выговоры.

— За что-жъ вы сдѣлаете ему выговоръ?

— За то, что онъ перемѣнилъ мѣсто.

— Онъ перемѣнилъ мѣсто? Гдѣ-жъ онъ былъ прежде? За кѣмъ онъ смѣлъ волочиться?

— Какъ вы любопытна!—Какъ вы неосторожна!—Вашъ мужъ слушаетъ насъ, вы забыли это.

— Я слушаю, это правда; но ничего не слышу. Я образцовый мужъ.

— Не очень шутите, мой милый мужъ: я въ самомъ дѣлѣ немножко влюблена въ него, не смотря на мои двадцать восемь лѣтъ. Несчастливая! Онъ ни разу не взглянулъ на меня, съ тѣхъ поръ, какъ мы поклонились!

— Творецъ!—почему влюбляются въ такихъ жестокихъ?—патетически сказалъ Мироновъ:— Почему не влюбляются въ меня?— Онъ сталъ утирать кулакомъ глаза:— Влюбитесь въ меня, я не буду жестокъ! У меня чувствительное сердце!— и продолжалъ хныкать, пока не кончился длинный дуэтъ между пѣвцами, которыхъ никому не было охоты слушать.— Онъ недурно поддѣлывался своимъ хныканьемъ подъ ихъ достойные оплакиванья голоса, и заслужилъ то, что три довольно хорошенькія дамы изъ сосѣдней ложи шептали ему: браво!—Онъ раскланивался имъ, прижимая руку къ сердцу, и стискивая ручку своей студенческой шпаги, бросалъ такіе свирѣпые взгляды на двухъ мужчинъ, бывшихъ въ той ложѣ, что и они расправили свои официальные лица.

— Я устала сидѣть:—сказала Рязанцева, когда кончился первый актъ:— Пойдемъ ходить по корридору.

— Пожалуй,—отвѣчала Волгина.

— Онъ успѣли сдѣлать лишь нѣсколько шаговъ, Нивельзинъ уже взбѣжалъ въ ихъ корридоръ.—Онъ подошелъ къ Рязанцевой, сказалъ, что прѣхалъ только вчера, что множество дѣлъ не позволило ему сдѣлать еще ни одного визита, что поэтому Рязанцева должна извинить его.

Рязанцевъ шелъ позади, съ Мироновымъ. Онъ крикнулъ дѣловымъ образомъ, чтобы заставить его оглянуться и сказалъ:

— А съ Алексѣемъ Ивановичемъ Волгинымъ вы уже видѣлись?

— Да, я видѣлъ его.

— Хе, хе, хе, — вы видѣлись съ нимъ!— Рязанцевъ лукаво приморгнулъ:—Мы не въ претензіи;—продолжалъ онъ серьезно и одобрительно:— Важныя дѣла прежде мелкихъ. Мы понимаемъ, что вы должны были увидѣться съ нимъ первымъ.

Добрый торжествовалъ: онъ сдѣлалъ „маленькій допросецъ“ и „получилъ улику“.—Волгина не могла оставить этого такъ: Нивельзинъ, конечно, относилъ слова Рязанцева къ дѣйствительнымъ причинамъ своего сближенія съ ея мужемъ. Надобно было показать ему, что Рязанцевъ ничего не знаетъ.

— Скажите, Нивельзинъ, гдѣ видѣли вы моего мужа?

Нивельзинъ посмотрѣлъ на нее изумленными глазами.

— Скажите Григорію, гдѣ видѣли вы моего мужа. Онъ воображаетъ,

будто вамъ было поручено видѣть его тотчасъ же по прїѣздѣ въ Петербургъ.

— Я видѣлъ m-г Волгина сейчасъ, здѣсь, въ театрѣ; мы встрѣтились совершенно случайно.

Рязанцевъ былъ сраженъ. Но въ тотъ же мигъ на его лицѣ выразилось пониманіе, довольство и съ тѣмъ вмѣстѣ уваженіе близкое даже къ благоговѣнію.

— Не спрашиваю больше;—сказалъ онъ, таинственно понижая голосъ.— Вы не искали другъ друга. Вамъ не было надобности видѣться. Вы встрѣтились въ оперѣ совершенно случайно. Какія дѣла могутъ быть въ оперѣ? О чемъ можно говорить въ оперѣ? — Чья-бы ни была эта мысль, я выражаю свое уваженіе къ этому человѣку и молчу.

Конечно, онъ понялъ, что Волгинъ ведетъ свои дѣла еще искуснѣе, нежели предположилъ онъ, по отправленію агента въ Лондонъ черезъ Австрію.— Но Волгиной было важно только то, чтобы Нивельзинъ не считалъ нарушенной тайну своихъ отношеній къ Савеловой. Нивельзинъ могъ видѣть, что Рязанцевъ толкуетъ о rendez-vous, нисколько не похожихъ на любовныя. Этого было довольно для Волгиной. Теперь Нивельзинъ самъ постарается заставить Рязанцева высказать ему свое предположеніе и съумѣетъ объяснить ему вздорность этой фантазіи.

— Хе, хе, хе!—Я молчу. Оставимъ это. Не любопытствую, что привезли вы Алексѣю Ивановичу; — продолжалъ Рязанцевъ таинственнымъ шопотомъ.— Но что же вы привезли мнѣ?—Только поклонны? Или и порученія?— Какъ поживаютъ? Скучаютъ по родинѣ?

— Къ вамъ есть письма. Въ нихъ ничего особенно важнаго. Я не зналъ, что найду васъ здѣсь, и ихъ нѣтъ при мнѣ. Привезу завтра поутру. Но мы поговоримъ съ вами, когда взойдемъ въ ложу.— Нивельзинъ бросилъ Рязанцева и подошелъ къ Рязанцевой: — Я имѣю вамъ сказать нѣсколько словъ, Анна Александровна.

— По секрету? Что подумаетъ мой мужъ?—Предупреждаю васъ, Лидія Васильевна: это страшный вѣтренникъ, — по крайней мѣрѣ былъ вѣтренникъ прежде, нежели сдѣлался моимъ постояннымъ поклонникомъ, — и рекомендую: Нивельзинъ.

— Мы немножко знакомы;—сказала Волгина, подавая ему руку: — И когда вы расскажете ваши секреты Аннѣ Александровнѣ, я также по секрету сдѣлаю вамъ выговоръ.

Рязанцева пошла тихе.

— Кто это? — тихо спросилъ Нивельзинъ, когда они отстали на нѣсколько шаговъ.

— Вы могли видѣть изъ разговора кто она: madame Волгина: я назвала вамъ и ея имя: Лидія Васильевна.

— Прежде нежели я подошелъ къ вамъ, я очень хорошо зналъ, что это не можетъ быть madame Волгина; я прошу васъ сказать кто она?

— Вы съума сошли, Нивельзинъ?

— Это очень можетъ быть. Тѣмъ меньше надобности дурачить меня. Ради бога: кто она?

— Васъ дурачать?—рѣшительно вы сошли съума.

Онъ промолчалъ съ терпѣливою досадою челоуѣка, который предоста-  
вляетъ желающимъ мистифировать его убѣдиться, что онъ слишкомъ ясно по-  
нимаетъ мистификацію.

— Да увѣрю же васъ, это madame Волгина.—Вы даже не удостои-  
ваете меня отвѣта?—Если бы вы знали, какъ очевидно, что вы сошли съума!—  
Спросите у нея, если вамъ неужгодно вѣрить мнѣ.—Лидія Васильевна,—ска-  
зала она громче:—угадайте, о чемъ мы говоримъ?

— О чемъ, не знаю; о комъ, это понятно: обо мнѣ.

— Онъ вообразилъ, что вы не можете быть Лидія Васильевна Волгина.

— Почему же не могу?

— Спросите у него сами. Меня онъ даже не удостоиваетъ спора: такъ  
твердъ въ помѣшательствѣ.—Рязанцева, смѣясь, пошла рядомъ съ мужемъ и  
Мионовымъ.

— Вы думаете, Нивельзинъ, что мы сговорились мистифировать васъ?—  
Правда, вы могли видѣть, что мы много смѣялись послѣ того, какъ вы пе-  
решли въ кресла. Вы могли подумать, что они также знаютъ, почему вы  
перешли въ кресла. Но вы ошибаетесь. Вы видите, они вовсе и не вообра-  
жали, что мой мужъ былъ здѣсь. Значитъ, они не смотрѣли въ ту сторону  
и не видѣли васъ тамъ. Они ничего не замѣчали, Нивельзинъ.

— Я вовсе не зналъ, смѣялись ли вы и они, послѣ того, какъ я пе-  
решелъ въ кресла.

— Ваша правда, — вы, поклонившись имъ, держали себя очень умно.  
Зачѣмъ давать людямъ смѣяться надъ собою? — Мнѣ было бы досадно, если  
бы могли смѣяться надъ вами. — А теперь, Нивельзинъ, они смѣются: дер-  
жать себя умно,—и вдругъ начать фантазировать такъ, что они видятъ, вы  
влюблены какъ юноша! — Это совершенно лишнее, Нивельзинъ, чтобы они  
смѣялись надъ вами.

— Могутъ ли они не смѣяться, когда вы согласились участвовать въ  
томъ, чтобы мистифировать меня?

— Вы забываете, Нивельзинъ, что если Рязанцева дружна съ вами, то  
я еще не была знакома. Это было бы слишкомъ много уступать чужому же-  
ланію, если бы я согласилась, чтобъ она пользовалась мною для мистификаціи.  
Да и могла ли я полагать, что вы не знаете меня въ лицо? — Правда, те-  
перь вы заставили меня вспомнить, что вы тогда не замѣтили поклонъ моего  
мужа,—не видѣли ни его, ни меня;—правда, эта гадкая женщина затворила  
гостинную, гдѣ я сидѣла, и вы, проходя черезъ залъ, опять не могли видѣть  
меня;—но не могли же такія мелочи оставаться у меня въ свѣжей памяти  
столько времени,—я совершенно не вспоминала ихъ, и мнѣ думалось, что и  
вы видѣли тогда меня,—потому что я видѣла васъ. — Теперь, надѣюсь, вы  
убѣждены, что дама, пославшая вамъ свою перчатку, была я?

— Я вижу, что вы пользуетесь полною довѣренностью madame Вол-  
гиной. Вы ея сестра, потому что вы знали, что я еще не былъ у нихъ по  
пріѣздѣ, — вы живете вмѣстѣ съ ними. Вы ея сестра, или близкая род-  
ственница.

— О, если бы мой мужъ слышалъ это!—Онъ разогналъ бы весь театръ



своимъ хохотомъ. Но я скажу вамъ, что я прощаю вамъ только потому, что вы мало знаете меня: если бы madame Волгина имѣла сестру, она могла бы рассказывать сестрѣ свои тайны, но не чужія.

— Не смѣйтесь надо мною;—сказалъ онъ печально.

— Вы могли замѣтить, что я сдѣлалась очень серьезна, потому что вы нѣсколько разсердили меня: я могла бы рассказать кому-нибудь чужую тайну! Нѣтъ, я не похожа на вашего Рязанцева, который все знаетъ и все говорить. Я не могу ничего говорить, потому что я ничего не знаю.—Вы поняли, что онъ знаетъ?—Вы были посланы моимъ мужемъ въ Лондонъ съ важными секретными порученіями!—Выбейте у него изъ головы эту глупость, прошу васъ. Я не могла продолжать разговора съ нимъ объ этомъ; я не могла говорить о вашемъ отъѣздѣ: я не могу понимать причинъ вашего отъѣзда, не могу дѣлать никакихъ предположеній. Объясните ему какъ-нибудь вашъ отъѣздъ, и главное, докажите ему, что вы проѣхали прямо въ Италію; отдайте ему отчетъ о каждомъ днѣ, каждомъ часѣ вашего времени на пути отъ Петербурга до Рима, откуда вы писали ему.

— Я сдѣлаю это; но умоляю васъ, скажите ваше имя; скажите, какъ вы родственница madame Волгиной или monsieur Волгину? Кто вы?

— Боже мой, да бросьте же вашу выдумку, будто васъ мистифируютъ. Убѣдитесь хоть тѣмъ, что нашъ разговоръ принялъ такое серьезное направленіе, при которомъ шутка была бы совершенно некстати.

— Вы нарочно дали ему такое направленіе, чтобы я сдѣлался легко-вѣрнѣе. И въ самомъ дѣлѣ, вы сказали мнѣ столько подробностей о дѣлѣ, которое знали только madame Волгина и m-г Волгинъ, вы такъ сильно говорили о томъ, что надобно сдѣлать для безопасности m-г Волгина, что я, конечно, видѣлъ бы въ васъ madame Волгину, если бы не зналъ, что вы не можете быть ею.

— Почему-жъ это я не могу быть сама собою?—Какъ ни была я серьезна, вы начинаете опять заставлять меня смѣяться. Почему же вы знаете, что я не я?

— Я знаю, что m-г Волгинъ женатъ уже три года. Дама, которая три года замужемъ, не можетъ имѣть семнадцати лѣтъ. Раньше шестнадцати не вѣнчаютъ.

— А, это я слышу иногда, что даютъ мнѣ меньше лѣтъ, нежели я имѣю. Меня могли бы повѣнчать семь лѣтъ тому назадъ, если бы я вздумала, потому что, похваюсь вамъ, семь лѣтъ тому назадъ у меня были женихи.

— Вы хотите увѣрить меня, что вамъ двадцать три года!

— Мнѣ такъ неприятны эти слова „двадцать три года“, что я старалась обойти ихъ. Но увы! Это правда, Нивельзинъ. мнѣ уже двадцать три года!

— Вы мало приготовились отвѣчать на вопросы, и стали говорить болѣе невѣроятныя вещи, нежели требовала необходимость. Вы могли бы сказать, что вамъ девятнадцать лѣтъ; тогда, хоть бы съ трудомъ, еще можно было бы вѣрить.

— Желала бы сказать, Нивельзинъ; къ сожалѣнію, не могу. Впрочемъ,

если хотите, думайте, что мнѣ девятнадцать лѣтъ,—это было бы очень пріятно мнѣ;—пожалуй, хоть семнадцать, хоть шестнадцать—тѣмъ лучше.

— Кромѣ того, что вы не имѣете столько лѣтъ, сколько должна имѣть madame Волгина,—она живетъ въ Петербургѣ три года,—я знаю, m-r Волгинъ живетъ здѣсь уже три года;—а вы пріѣхали въ Петербургъ очень недавно. Въ прошлый сезонъ васъ не было въ Петербургѣ.

— Вы раздѣляете мнѣніе моего мужа, что всѣ должны смотрѣть на меня!—Она засмѣялась. — Мнѣ очень нравится это мнѣніе. Но не доводите его до такой крайности, какъ мой мужъ, чтобы не быть смѣшнымъ какъ онъ. — Вы не замѣтили чѣмъ онъ занимался здѣсь?—Разматривалъ всѣхъ дѣвушекъ и молодыхъ дамъ, чтобы сказать мнѣ, что вотъ, онъ пересмотрѣлъ всѣхъ, и что я лучше всѣхъ. О, боже мой, я не видывала такого смѣшнаго мужа!—Она опять засмѣялась.—Почему Петербургъ не могъ прежде исполнять обязанность, которую возлагаетъ на него мой мужъ, объясняется очень легко. Въ первую зиму у насъ съ мужемъ не было денегъ. Я должна была продать даже тѣ пять-шесть шелковыхъ платьевъ, которыя привезла съ собою. Я не охотница входить въ общество, когда у меня нѣтъ денегъ, чтобы быть одѣтой не хуже другихъ. Потому, я не могла бывать ни въ театрѣ, ни на балахъ, потому что сама кормила Володю. Только съ нынѣшней весны...

— У васъ даже есть сынъ?—Нивельзинъ пожалъ плечами.

— Есть.—Она засмѣялась.—Но послушайте, Нивельзинъ, — стала она говорить опять серьезно.—Съ тѣхъ поръ какъ я стала понемножку выѣзжать здѣсь въ общество, я успѣла узнать, что молодые люди въ Петербургѣ такіе же смѣшные, какъ у насъ въ провинціи. Они говорятъ все тоже самое, хоть умѣютъ говорить менѣе избитыми фразами.—Я согласна, что вы умѣете говорить любезности очень ловко,—и вовсе не хочу скрывать, что поэтому мнѣ было пріятно слушать ихъ. Но довольно. Потому что это пріятно лишь на нѣсколько минутъ, для начала знакомства. Дальше это было бы скучно.—Лучше, нежели долго слушать любезности, я люблю дѣлать выговоры,—и умѣю дѣлать ихъ длинные,—о, длинные!—Будьте спокоенъ: придумывать новые обороты любезностей вамъ не понадобится, потому что у васъ не будетъ недостатка въ предметахъ для разговора.—Напримѣръ, скажите, пожалуйста, кто хорошенькая,—очень хорошенькая дѣвушка, подлѣ которой вы сидѣли?—Вы должны знать ее: вы такъ много говорили съ нею. Кто-жъ она?—Вы краснѣете? — Чего вы краснѣете? Того, что вы волочитесь за бѣдною, незнатною? — Или того, что я видѣла, что вы волочились? — О, и въ этомъ случаѣ напрасно. Еслибъ я и не видѣла, я знала бы, что вы волочились за кѣмъ-нибудь, — не нынѣ, то вчера. Я хочу бранить васъ не за то, что вы волочились. Мой мужъ говорить, что волочиться — тяжелое преступленіе. Съ своей точки зрѣнія онъ правъ: онъ ученый, и думаетъ о томъ, какъ надобно было бы перестроить общество, чтобы люди не вредили другъ другу и не унижались въ собственномъ своемъ мнѣніи. Онъ долженъ строго судить обо всемъ, что дурно. Но я не ученая, я не присвоиваю себѣ права быть такою строгою. Впрочемъ, и онъ говоритъ, что нельзя много винить человѣка, который дѣлаетъ только то, что дѣлаютъ всѣ другіе. Я знаю, что всѣ молодые люди, у которыхъ есть деньги, волочатся за красивыми дѣвушками, которыя бѣдны и беззащитны.

Я... — Въ это время грянулъ оркестръ, всѣ пошли въ свои ложи. Она торопливо договорила.—Я не виню васъ. Но я прошу васъ вернуться къ ней. До свиданья. Послѣ я доскажу вамъ.

Она зашелъ за нею въ ложу.

— Вы сошли съума? Вы воображаете, что это капризъ? Что я говорила это, чтобъ уколотъ васъ? — Даже, можетъ быть, по досадѣ, изъ ревности? — Вы могли бы слышать, что я говорю вовсе не такимъ тономъ. Я просто говорю вамъ, что вы должны сдѣлать. Въ слѣдующій антрактъ вы придете. Но если вы смѣете войти въ ложу, я разсержусь. И съумѣю заставить васъ уйти.—Я сказала вамъ: идите къ ней.

Она затворила дверь ложи.

Второй актъ кончился.—Пойду, посмотрю, живъ ли мой Нивельзинъ,—сказала Волгина.

— Чтò значить любить человѣка! Предполагаешь всякія бѣды съ нимъ, если онъ не на глазахъ! — А вотъ я такъ увѣренъ, что онъ не умеръ, потому что слышу, давно кто-то все ходитъ мимо ложи по корридору.

— Позвольте мнѣ съѣздить купить новые сапоги и поднести ихъ ему отъ вашего имени, Лидія Васильевна,—сказалъ Мирновъ.

— Надумались, Нивельзинъ,—поняли, что я вовсе не сердилась на васъ, а просто говорила, какъ вамъ слѣдуетъ сдѣлать? Или еще не поняли? — По крайней мѣрѣ, видите, что теперь я говорю нисколько не сердясь? А теперь было бы гораздо больше поводовъ сердиться. Какъ вы смѣли не послушаться меня? — Предупреждаю васъ, я очень не люблю, когда не слушаются меня. Потому что я не люблю приказывать; и если приказываю, то, значить, считаю необходимымъ приказать.—Гдѣ вы пропадали? Все время сидѣли или бродили по корридору? — Вотъ было бы хорошо! — Надѣюсь, вы не дѣлали изъ себѣ такого посмѣшища для капельдинеровъ и ихъ дѣтей? — Надѣюсь, вы уходили въ фойе?

— Да, я ходилъ курить;—отвѣчалъ Нивельзинъ, все еще совершенно потерявшійся, какъ ребенокъ передъ гувернанткою, читающею ему мораль.

— Кто она? — Я могла видѣть, что она очень небогата, и привыкла къ тому, что не уважаютъ ее. Но я и не спрашиваю о томъ, какъ барышня съ приданымъ, за которою смотрятъ мать и десятокъ сестеръ, кузинъ, тетокъ, за которую вступилось бы все общество, если бы кто вздумалъ топтать ее въ грязь. Я спрашиваю: вы любовникъ ея, или нѣтъ? — Вы пріѣхали вчера; у васъ не было, вѣроятно, времени сдѣлать ее вашею любовницею,—но вы уже дѣлали ей предложенія, или она видѣла, что вы думаете сдѣлать ихъ? — Это почти все равно.—Вы поступили съ нею слишкомъ неделикатно, бросивши ее. Она должна была понимать, почему вы бросили ее. Это обидно, Нивельзинъ. Понимаете ли вы теперь, почему вы должны были возвратиться къ ней? — Исправьте вашу неделикатность. Если вы хотѣли разстаться съ нею, вы должны были сдѣлать это такъ, чтобы у нея осталось пріятное воспоминаніе о васъ. У нея, бѣдной, не очень много будетъ пріятныхъ воспоминаній, когда прійдетъ ей пора раздумья о жизни,—если еще не пришла.

— Я пойду къ ней... Если вы потребуете, я останусь знакомъ съ нею.. Я... я... дурно провелъ мою молодость... Я... я... — Волгина должна была взять его подъ руку, потому что его шаги сдѣлались невѣрны.

— Вамъ надобно успокоиться, Нивельзинъ. Я передамъ васъ Рязанцеву. Онъ горитъ нетерпѣніемъ разспрашивать васъ о своихъ лондонскихъ друзьяхъ. А мы съ вами еще будемъ имѣть время наговориться. Я возьму васъ проводить меня домой. Вы еще юноша, хоть и много повѣсничали. Вы съ перваго взгляда понравились мнѣ. Теперь правитесь еще больше.

Она присоединилась къ Рязанцевой и Миронову. Рязанцевъ овладѣлъ Нивельзинимъ и повелъ съ нимъ тайственный разговоръ.

Антрактъ кончился. Нивельзинъ удержалъ Миронова, шедшаго въ ложу позади другихъ. — Мироновъ вздрогнулъ отъ неожиданнаго прикосновенія: онъ все не рассчитывалъ, что Нивельзинъ схватится за него, чтобы добиться правды.

— Два слова, Мироновъ. Скажите, пожалуйста, кто эта дѣвушка?

Мироновъ сдѣлалъ очень серьезное лицо. — Madame Рязанцева говорила вамъ, кто эта дама, и рассказывала мнѣ, что вы вздумали вообразить, будто мы сговорились мистифицировать васъ. Изумляюсь, какъ пришла вамъ въ голову такая фантазія! — Мироновъ ужаснѣйшимъ образомъ пожалъ плечами.

— Продолжать мистификацію бесполезно. Вы не убѣдите меня въ невозможномъ.

— Почему-жъ невозможно, что она madame Волгина? — спросилъ Мироновъ, еще сильнѣе утрируя серьезность.

— Madame Волгиной должно быть, по крайней мѣрѣ, девятнадцать лѣтъ, а ей не можетъ быть больше семнадцати. И она сама совершенно разстроила мистификацію слишкомъ невѣроятными выдумками. Она вздумала сказать мнѣ, что у нея есть сынъ.

— „Невѣроятно!“ — Мало ли что невѣроятно, и однакоже правда? — „Невозможно!“ — Мало ли что кажется невозможнымъ? — сказалъ Мироновъ съ величайшимъ пренебреженіемъ къ аргументамъ Нивельзина. — Но чѣмъ усерднѣе утрировалъ онъ свою серьезность, тѣмъ очевиднѣе было Нивельзину, что это притворство.

— Вотъ еще фактъ, Мироновъ. Волгинъ былъ въ оперѣ. Я говорилъ съ нимъ.

— Но, конечно, не сказалъ же онъ вамъ, что это не жена его?

— Не сказалъ, потому что я не спрашивалъ. Что же спрашивать человека, не жена ли его сидитъ въ ложѣ, когда въ ложѣ есть свободное мѣсто, а онъ принужденъ покупать у капельдинера позволеніе стоять между лавками?

— Если вы не хотите вѣрить мнѣ, то бесполезно обращаться ко мнѣ съ вопросами. До свиданія. Вы и такъ слишкомъ долго задержали меня. Сейчасъ начинается хоръ, котораго я не хочу пропустить.

— Я не пушчу васъ, пока вы не скажете мнѣ правду. — Онъ схватилъ Миронова за руку.

Мироновъ сдѣлалъ притворную попытку вырвать руку; почувствовалъ, что онъ удерживаетъ ее крѣпко, рассчиталъ, что можно вырваться посильнѣе. сталъ вырваться будто всей силою и притворился побѣжденнымъ, состроивши раздосадованную гримасу.



— Нивельзинъ, вы изломаете мнѣ руку. Пустите же.

Нивельзинъ видѣлъ, что онъ готовъ покориться, и, не отвѣчая, продолжалъ крѣпко держать его руку. — Изнутри театра раздался хоръ. — Мироновъ сдѣлалъ видъ, будто хочетъ вырваться невзначай; но и это не удалось.

— Извольте, я скажу вамъ все, только пустите. Она, дѣйствительно, madame Волгина, но она вдова. Ея мужъ былъ двоюродный дядя Волгина, котораго вы знаете. Онъ былъ старикъ. Онъ былъ очень друженъ съ ея дѣдомъ. Онъ любилъ ее, какъ родную внуку. Она была сирота и бѣдна. У него было небольшое состояніе. Когда онъ почувствовалъ, что близокъ къ смерти, онъ подумалъ: „сдѣлаю доброе дѣло“. — Онъ былъ принесенъ въ церковь на креслахъ. Его водили вокругъ наложь, поддерживая подъ руки, — лучше сказать, носили. — Повидимому, его поступокъ эксцентриченъ. Но его наслѣдники, родные племянники, — богатые люди, алчные скряги, отчаянные кляузники. Они оспаривали бы дѣйствительность завѣщанія, если бы оно было сдѣлано въ пользу посторонней. Ему надобно было, чтобы она была называема въ завѣщаніи его женою. Иначе, я сказалъ вамъ, поднялась бы безконечная тяжба, которая поглотила бы все наслѣдство. — Эта свадьба была нынѣ лѣтомъ. Когда она овдовѣла, она пріѣхала къ старшей сестрѣ, — то-есть, къ женѣ Алексѣя Иванныча Волгина. — Вотъ вамъ вся правда. — Пустите же меня.

— Какъ ея имя?

— Софья Васильевна.

— Благодарю васъ, Мироновъ. — Нивельзинъ, задумавшись, пошелъ вверхъ по лѣстницѣ, въ боковыя мѣста.

Мироновъ имѣлъ сильное влеченіе приставить къ своему носу большой палецъ и растянуть другіе, на проводы ему, но удовлетворился тѣмъ, что немножко высунулъ языкъ, и вошедши въ ложу, ждалъ не дождался, пока начнутъ пищать плохіе пѣвцы.

— Лидія Васильевна, знаете кто вы? — Я сдѣлалъ васъ вдовою, и зовутъ васъ Софья Васильевна. Старикъ, другъ вашего дѣда, когда сталъ умирать, велѣлъ нести себя въ церковь вѣнчаться съ вами, чтобы негодяи, племянники его, не могли отнять у васъ его маленькаго имѣнія.

— Какъ вы могли выдумать такую исторію? — Я очень сердита на васъ.

— Какъ могъ выдумать? — отвѣчалъ онъ, мало пугаясь того, что она сдвинула брови. — Разумѣется, не могъ бы выдумать въ четверть часа цѣлый романъ; только тѣмъ и ограничились мои труды, что немножко прикрасилъ анекдотъ, который слышалъ въ дѣтствѣ отъ родныхъ: они увѣрили, что былъ когда-то въ ихъ городѣ такой случай. — Напрасно сердитесь: добрые люди смѣются, — видите.

Въ самомъ дѣлѣ, Рязанцевъ хихикалъ и Рязанцева смѣялась.

— Онъ былъ дряхль, онъ уже не могъ держаться на ногахъ, и падалъ бы вотъ такъ, — Мироновъ опустился въ глубинѣ ложи на колѣни: — и голосъ у него дрожалъ, — Мироновъ заговорилъ дрожащимъ стариковскимъ голосомъ: „Сонечка, дружочекъ мой, твой дѣдушка былъ мнѣ другъ; я хочу обезпечить тебя, чтобы ты была свободна, независима“...

— Шутъ! разсмѣшилъ меня; не могу сердиться.

— „Сонечка, дружочекъ мой! — будь моею вдовою! — исполни послѣднюю

просьбу умирающаго старца!—Подурачь его!—Не ты, Сонечка, виновата, что ты стала моею вдовою,—онъ самъ сочинилъ твою исторію при помощи шута Миронова. Шутъ Мироновъ не перестанетъ паясничать, пока ты не согласишься на мою послѣднюю просьбу,—и что же будетъ, если ты не поспѣшишь согласиться?—Вотъ, ты уже смѣешься, а Анна Александровна еще громче, а Григорій Сергѣичъ уже хватается за бока; шутъ Мироновъ довелъ васъ до хохота, всѣ услышатъ, всѣ осудятъ васъ, подумаютъ: не хорошо хохотать въ оперѣ, когда чувствительные люди плачутъ, и самъ шутъ Мироновъ расчувствовался до слезъ...“ онъ хныкалъ и строилъ гримасы.—Такъ вы будете мистифировать его, Лидія Васильевна!—весело продолжалъ онъ своимъ настоящимъ голосомъ, уже увѣренный въ ея согласіи...

— Въ самомъ дѣлѣ, это будетъ забавно.— Но зачѣмъ же вы, Мироновъ, сдѣлали меня вдовою?— Я не хочу быть вдовою.— Лучше вы оставили бы меня дѣвушкою, какъ онъ воображалъ.

— Нельзя было, Лидія Васильевна: вы слишкомъ смѣлая. И вдову, и замужнюю женщину не скоро найдешь такую.— Невозможно!— Вы не могли-бъ играть роль дѣвушки.

— Вотъ прекрасно! Когда я была дѣвушкою, я была еще смѣлѣе, нежели теперь, потому что совершенно не понимала, что такое влюбляться,— безпрестанно воображала, что влюблена, и чувствовала, что это вздоръ. Впрочемъ, это почти совершенно правда: самый глупый вздоръ. Ребячество, забавное ребячество.

— Вотъ за это-то и надобно наказать его, что онъ имѣлъ глупость влюбиться въ васъ, Лидія Васильевна,—сказалъ Мироновъ, полу-шутя, полу-серьезно:—Алексѣй Ивановичъ говорить правду, что никто не долженъ влюбляться въ васъ. Я вотъ и моложе Нивельзина, а не влюбляюсь. Ему слѣдовало бы быть умнѣе меня, а не глупѣе. Пожалуйста, проучите его хорошенько. Смѣетъ влюбляться!—Я готовъ поколотить его, ей Богу!

— Это будетъ весело, Мироновъ, но я очень недовольна, что вы хоть въ шутку назвали меня вдовою. Я не хочу быть вдовою. Я буду дѣвушкою.

Она замолчала, и повидимому стала внимательно слушать пѣніе. Но черезъ минуту обернулась къ Миронову и повторила:—Я очень недовольна, Мироновъ, что вы назвали меня вдовою.

Много разъ Мироновъ украдкой заглядывалъ сбоку на ея лицо, продвигаясь къ барьеру ложи, будто бы для того, чтобы лучше видѣть дѣйствіе на сценѣ. Но ни разу не отважился заговорить.

Опера кончилась. Волгина стала надѣвать шляпу и взглянула на Миронова.

— Что вы такой хмурый?—Думаете, я все еще сержусь на васъ?—Но вы ужасно разстроили меня, мой милый Петруша.

У Миронова всегда была охота дурачиться. Тѣмъ больше теперь: ему хотѣлось развлечь Волгину.—Лидія Васильевна, пожалуйста, возьмите его съ собою; я увѣренъ, онъ прилетитъ провожать васъ. Вы добрая, Лидія Васильевна: возьмите его съ собою.

— Я уже сказала ему, что беру.

— Вы возьмете его, а я поѣду къ вамъ, поскорѣе, впередъ, подѣлать Наташу; и Алексѣя Иваныча, если онъ уже дома. Наташа будетъ называть васъ Софьею Васильевною, скажетъ, что ваша сестрица, Лидія Васильевна, уже легла спать...

— Хорошо,—разсѣянно сказала Волгина, разсѣянно простилась съ Рязанцевыми и поклонилась подходившему Нивельзину. Мироновъ убѣжалъ.— Я очень любезна къ новому знакомому,—сказала она, молча прошедши два или три яруса лѣстницы.—Но это и лучше, если вы съ перваго же нашего знакомства будете знать, что иногда вамъ будетъ бывать скучно со мною... Впрочемъ, я не всегда такая. Обыкновенно, я веселая.

— Я исполнилъ ваше приказаніе.

— Видѣла.—Она опять замолчала.

Она молча дожидалась, пока подѣдетъ карета; молча сѣла въ нее.

— О, какая тоска!—проговорила она, когда карета выѣхала изъ хаоса экипажей около театра.—Но я не хочу поддаваться ей, хочу быть веселою. Я не люблю тосковать. Говорите что-нибудь смѣшное, Нивельзинъ; заставьте меня смѣяться... Впрочемъ, что-жъ я говорю, чтобъ вы шутили, рассказывали смѣшныя глупости?—Я думаю, ваши мысли спутаны хуже моихъ... Конечно, такъ; потому что вы объясняете мою молчаливость смущеніемъ, раздумьемъ о себѣ и о васъ. Вы должны такъ думать, потому что должны были замѣтить, что очень понравились мнѣ; да еслибъ не замѣтили сами, я уже говорила вамъ. Но я думала не о себѣ, или о васъ, я думала о моемъ бѣдномъ мужѣ... Ахъ, какая досада!—При васъ, едва знакомомъ, должна утирать слезы!—Какая досада, что въ каретѣ не совершенно темно, чтобы вы не могли видѣть, какъ я смѣшна!—Расплакаться отъ мысли, что я вдова! Это смѣшно! Въ самомъ дѣлѣ, это смѣшно!—Плакать о томъ, что я вдова!—Она за-смѣялась.—Будемъ же говорить что-нибудь веселое, Нивельзинъ; я хочу забыть свои мысли... Что же вы молчите?—Да, я опять забыла, что у васъ не можетъ быть расположенія смѣяться и смѣшить... Да и я не могла бы слушать со вниманіемъ, хоть бы вы стали рассказывать самые смѣшныя анекдоты. Лучше будемъ молчать, пока у меня нѣтъ охоты ни говорить, ни слушать.

Она замолчала.

— Вы человекъ съ тактомъ, Нивельзинъ,—начала она минутъ черезъ десять.—Вы умѣете молчать, когда лучше всего молчать. Вамъ должна была казаться очень странною моя грусть; вѣроятно, даже смѣшною. Ахъ, я сама желала бы смѣяться надъ нею!... И буду смѣяться. Алексѣй Иванычъ увѣряетъ, что я боюсь напрасно. Я не знаю, не понимаю, что такое дѣлается у насъ въ Россіи, что выйдетъ изъ этого. Я должна вѣрить ему. Буду вѣрить.

Она опять замолчала и начала спокойнѣе.

— Но у меня есть и свои опасенія за него. Отъ нихъ онъ не можетъ отговорить меня; потому что это я сама понимаю; это можетъ понимать всякій. Какого здоровья можетъ достать надолго при такой работѣ?—Прийдешь поутру звать его пить чай, онъ сидитъ и пишетъ; увѣряетъ, что недавно проснулся; потомъ пьетъ чай, а у самого слипаются глаза; какъ же повѣрить ему, что онъ спалъ?—Это бываетъ часто, Нивельзинъ; каждый мѣсяцъ. И всегда работаетъ цѣлый день; какъ веталя, такъ и за работу,—и до поздней ночи.

Ни напиться чаю, ни пообѣдать, какъ слѣдуетъ, ему некогда. Схватить стаканъ и уйдетъ за свою проклятую работу; даже тарелку съ послѣднимъ кушаньемъ уносить въ свой проклятый, проклятый кабинетъ. Только и отдыха, если кто прійдетъ къ нему, или ему надобно идти; да и отъ этого иногда только больше горя мнѣ: прошло два, три часа днемъ безъ работы, онъ и сидитъ за нею ночью. Поэтому, даже рѣдко заставляю его идти или ѣхать со мною: думаешь, вмѣсто отдыха сдѣлаешь ему больше изнуренія. Какое здоровье выдержать такую жизнь?— „Ничего, голубочка. Я вовсе не такъ много работаю, какъ ты воображаешь“; —я воображаю!— Другой отвѣтъ: „Голубочка, нельзя иначе; и такъ я не успѣваю сдѣлать всего, что нужно“. Безсовѣстный человѣкъ! ему ничего, что онъ огорчаетъ меня!... И для чего онъ убиваетъ себя такою работою?—для того, чтобъ у меня были лишніе деньги!—Ему самому ничего не нужно. Каждый разъ, когда заказываешь ему новое платье, ссора съ нимъ; заноситъ, заноситъ: „Зачѣмъ, голубочка?“— „Напрасно, голубочка!“—и ноетъ, споритъ, пока не разсердитъ меня. Каждый разъ это кончается тѣмъ, что я должна браниться. И это изъ-за всякой мелочи, изъ-за каждаго галстуха, изъ-за теплой фуражки на зиму!—Каждый разъ получаешь огорченіе. Покупаешь ему, радуешься, —нѣтъ, успѣетъ огорчить. Это ужасный человѣкъ, съ несноснѣйшимъ характеромъ, совершенно безо всякой совѣсти!—Онъ даже не любитъ ничего. У него достаетъ совѣсти отречься ото всего. Онъ не любитъ никакого кушанья;—какъ вамъ нравится это?—И онъ твердъ въ своемъ: нарочно не ѣсть своихъ любимыхъ блюдъ, какъ только замѣтитъ, что готовишь ихъ для него.—Пока не пойметъ, ѣсть; только это одно и миритъ съ нимъ, что не догадливъ, ни на что не обращаетъ вниманія, совершенно слѣпой; пока не замѣтитъ, ѣсть; замѣтилъ, что кушанье готовится для него, кончено:— „Не хочу, голубочка“. — „Почему не хочешь?“ — „Не нравится, голубочка“. — „Какъ же не нравится? Ты любишь это“. — „Никогда не любилъ, голубочка; я не знаю, почему тебѣ такъ показалось“. — И споритъ, споритъ, пока выведетъ изъ терпѣнія. Тогда новая пѣсня: „Ну, что же, твоя правда, голубочка, прежде, нравилось; а теперь не нравится“. — Что прикажете дѣлать?—Какъ ни бранишь его, не помогаетъ: не ѣсть.—Бросаешь, пока забудетъ; забудетъ, опять ѣсть. Только это хорошо въ немъ, что безпамятенъ и ничего не замѣчаетъ. И хоть бы не понималъ, что надобно же готовить что-нибудь; почему-жъ не быть одному блюду и по его вкусу? Больше одного ему не нужно, и тѣмъ больше все равно, что я ѣмъ все. Толкуешь ему это. Понимаетъ. Но уже такой характеръ. Иногда, замѣтно, онъ и самъ не радъ, что все только огорчаетъ меня. Но не можетъ исправиться.—Какъ не можетъ!—Просто, не хочетъ, потому что въ немъ нѣтъ ни искры стыда, а жалости еще меньше. Говоритъ, что любить меня, а хоть бы сколько-нибудь пожалѣлъ! Огорчаетъ меня каждый день, каждую минуту!—Я не видывала такихъ скупыхъ людей!—Ему жаль, когда сдѣлаешь какой-нибудь расходъ для него, хоть самый маленькій: „зачѣмъ, голубочка?“— „Не нужно, голубочка!“—Ему все кажется, что у меня мало удобствъ,—теперь, когда стала выѣзжать,—что у меня мало денегъ на наряды, на развлеченія. Мои платья не нравятся ему!—Мои платья!—Каково?—И хоть бы кто говорилъ, а то онъ, который самъ даже и не отличитъ порядочную матерію отъ самой плохой!— „Голубочка,



ты шила бы себѣ платья получше". — Можно ли имѣть платья лучше моихъ? — Скажите, была ли, напримѣръ, въ оперѣ хоть одна дама или дѣвушка, которая была бы одѣта лучше меня? — Богаче, почти всѣ, и въ 4-мъ ярусѣ; но лучше, ни одной и въ бель-этажѣ. — Нѣтъ, онъ недоволенъ. Чѣмъ? спросите его, — тѣмъ, что я пошла за него! — Какъ вамъ это нравится? — Замѣтили? онъ глядѣлъ, глядѣлъ на меня, и началъ утирать слезы; о чемъ? — объ этомъ! — Необыкновенно уменъ! — Какъ будто есть на свѣтѣ женщина счастливѣе меня! — Могъ бы самъ видѣть, счастлива ли я; — и видѣть. Но совѣсти нѣтъ у человѣка. Несносный характеръ! Я нисколько не ангелъ; но онъ и ангела вывелъ бы изъ терпѣнья! Я не понимаю, что это за глупый человѣкъ!... Потому я вышла за него, что видѣла какой это человѣкъ. Онъ не думалъ объ этомъ; совѣтовалъ мнѣ идти за другого. Ахъ, сколько надоѣдалъ онъ мнѣ этими просьбами: „идите за него, идите за него“, — надоѣлъ, надоѣлъ... „Не пойду“, сказала ему. — Нѣтъ, свое: „идите“. — Тотъ его другъ, мой женихъ, былъ очень похожъ на васъ, Нивельзинъ. Разумѣется, понравился мнѣ. Но я увидѣла, что съ моимъ характеромъ нельзя идти замужъ: всѣ мужчины воображаютъ, Нивельзинъ, что они умнѣе и благоразумнѣе насъ, что они должны управлять нами. Я рѣшилась не идти замужъ ни за кого. Мужчины не умѣютъ только любить, Нивельзинъ. Они хотятъ господствовать. Они слишкомъ глупы, они дикари, Нивельзинъ. Не будьте такимъ, когда женитесь...

Она замолчала.

— Вы не знаете, Нивельзинъ, какой это человѣкъ! — И никто еще не знаетъ! Только я одна знаю это. Я давно узнала это; хоть я и не ученая, и не видывала тогда ученыхъ людей. Я увидѣла это изъ первыхъ же нашихъ разговоровъ, хоть они были пустые, хоть, разумѣется, онъ не могъ говорить со мною ни о чемъ ученомъ: я не поняла бы, какъ и теперь не понимаю; и не слушала бы, какъ и теперь не слушаю. Но это было видно мнѣ. Я узнала, какой это человѣкъ; тогда всѣ думали, что онъ пролежитъ весь свой вѣкъ на диванѣ съ книгою въ рукахъ, вялый, сонный. Но я поняла, какая у него голова, какой у него характеръ! — потому что безъ его характера, даже и при его умѣ, ему нельзя было бы такъ понимать всѣ эти ученые вещи. Я, неученая, увидѣла это изъ первыхъ разговоровъ, пустыхъ, обо мнѣ, о пустякахъ, о моемъ счастье, — я увидѣла, какая разница между нимъ и другими! — И ошиблась ли я? — Вы знаете, какъ теперь начинаютъ думать о немъ. Но его время еще не пришло, они еще не понимаютъ его мыслей; — придетъ его время, тогда заговорятъ о немъ! — И пусть будетъ съ нимъ и со мною, что будетъ! Я хочу, чтобъ о моемъ мужѣ говорили когда-нибудь, что онъ раньше всѣхъ понималъ, что нужно для пользы народа, и не жалѣлъ для пользы народа — не то, что себя — велика важность ему не жалѣть себя! — не жалѣть и меня! — и будутъ говорить это, я знаю! — и пусть мы съ Володею будемъ сиротами, если такъ нужно!

Она замолчала и задумалась.

— О, Боже мой, какъ я разговорилась; — начала она послѣ долгой паузы. — Вамъ должно было быть смѣшно слышать это отъ женщины, отъ женщины неученой, которая не понимаетъ ничего въ ученыхъ вещахъ и не думаетъ о нихъ. Вообще, я и не говорю о нихъ. Но я была взволнована.

Нивельзинъ; а вы такъ понравились мнѣ, да и мой мужъ очень хвалитъ васъ, и видно, что мы будемъ очень дружны; — я чувствовала, что могу говорить какъ-будто не съ чужимъ. — А вы, вѣроятно, ждали не такого разговора? — Думали, что я стану вызывать васъ на любезности? — Конечно, такъ. Потому что вы думали волочиться за мною. Впрочемъ, вы сами не знали; что вы думали: вы такъ влюбились, что не могли думать. Но нечего жалѣть вамъ, что я не была въ настроеніи слушать любезности. Въ нихъ нѣтъ надобности: я уже сказала вамъ, что вы нравитесь мнѣ. Волочиться — совершенно лишнее, когда вы уже слышали, что вы нравитесь.

— Я не думалъ волочиться за вами; — сказалъ Нивельзинъ. — Я не думалъ, что М-г Волгинъ вашъ мужъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, я совершенно забыла, что вы вообразили, будто васъ мистифируютъ, а новѣса Мироновъ воспользовался этимъ и наговорилъ вамъ вздора, чтобы послѣ намъ всеѣмъ вмѣстѣ посмѣяться. Ахъ, какъ жаль, что я забыла! — И все оттого, что Мироновъ разстроилъ меня этимъ гадкимъ словомъ „вдова“. — Какъ жаль, что я забыла! — было бы такъ весело! — и сколько мы съ вами смѣялись бы послѣ! — А пока я не раздумалась, не раздумалась, и не стала со всеѣмъ грустная, я хотѣла продолжать шутку. Разумѣется, я не осталась бы вдовою, была бы дѣвушкою. Стоило только сказать, что моя свадьба съ этимъ старикомъ — невѣрный слухъ; что правда, все было готово къ вѣнчанію, но женихъ мой умеръ, когда его несли въ креслахъ вѣнчаться; что я не имѣю права носить его фамилію; но изъ признательности къ нему, за доброе намѣреніе люблю, чтобы меня называли такъ; потому, знакомые и называютъ Волгиною, хоть настоящая моя фамилія — Платонова; Мироновъ не слышалъ ея, слышалъ, что все зовутъ меня Волгиною, потому и ошибся. И вы опять вѣрили бы всему, и это было бы очень весело! — И вы сдѣлали бы мнѣ предложеніе, — и какъ мы съ вами смѣялись бы!.. Или, можетъ быть, я теперь мистифировала васъ, называя Алексѣя Ивановича моимъ мужемъ? Можетъ быть, я остаюсь вдовою? — Пожалуй, остаюсь: теперь я смѣюсь надъ своимъ страхомъ.

— Мое положеніе чрезвычайно странно, — проговорилъ Нивельзинъ.

— Почему?

Нивельзинъ молчалъ.

— Почему же? — Я не понимаю на что вы сердитесь. Вы могли бы быть разочарованъ, раздосадованъ, если бы вздумали, что не нравитесь мнѣ. Но я сказала и говорю: нравитесь, очень нравитесь.

— Именно потому я и называю свое положеніе чрезвычайно страннымъ.

— Вотъ это мило! — Вамъ непріятно, что вы нравитесь мнѣ?

— Вы любите вашего мужа.

— О, Боже мой! — проговорила Волгина, засмѣявшись. — О, Боже мой! — повторяла она, переводя духъ отъ смѣха. — О, Боже мой! — Я люблю моего мужа! А вамъ хотѣлось бы, чтобы я не любила его? — Посмотрю, посмотрю, какъ это вы сами не будете любить его, когда хорошенько познакомитесь съ нимъ! Но позвольте спросить, съ чего вы взяли, что я люблю его? — Я вовсе не говорила этого. Напротивъ, жаловалась вамъ на него, называла его человекомъ несноснѣйшаго характера, рассказывала, что безпрестанно браню его.

— Вы смѣтаетесь надо мною. Я не привыкъ быть предметомъ насмѣшекъ.

— Я вижу, съ вами надобно говорить, какъ съ наивнѣйшимъ юношею, какъ съ маленькимъ ребенкомъ,—сказала Волгина уже совершенно серьезно.— Я такъ и думала, что вы юноша, несмотря на всѣ ваши волокитства и побѣды. Но не воображала, что вы юноша до такой степени. Вздумайте, кстати, обидѣться также и этимъ. Надъ своею досадою вы сами скоро будете смѣяться. Надъ нею я смѣюсь, но только надъ нею. Это не значить, что я смѣюсь надъ вами. За что же я стала бы смѣяться надъ вами? — За то, что вы влюбились въ меня? — но что же тутъ смѣшного? — ровно ничего. Было бы очень глупо смѣяться надъ вами, если бы вы и не нравились мнѣ. Но вы нравитесь. Поэтому, я нахожу прекраснымъ, что вы влюбились въ меня: вы не будете скучать быть у насъ очень частымъ гостемъ,—скоро и не гостемъ, а своимъ у насъ. А я хочу этого. Видите ли, какъ просто объясняется все? Поняли, что вамъ нечѣмъ было обижаться?

Нивельзинъ молчалъ.

— Неужели надобно толковать вамъ еще подробнѣе?—Очень жаль, что съ нами нѣтъ Алексѣя Ивановича. Я попросила бы его говорить. Онъ охотникъ разсуждать обо всемъ, что должно быть понятно безъ всякихъ разсужденій. А я скучаю такими лекціями. Но для васъ, такъ и быть, стану объяснять, потому что вы очень понравились мнѣ съ перваго же взгляда, а теперь я думаю, что даже серьезно полюблю васъ, потому что вы держали себя какъ умный человѣкъ: не театральничали, не декламировали, хоть вамъ было очень досадно.—Слушайте же.—Что общаго между мною и Алексѣемъ Ивановичемъ? — Только то, что онъ всею душою любитъ меня, а я не могу не чувствовать очень сильнаго расположенія къ нему за это. Но то, что занимаетъ его, непонятно и скучно мнѣ; то, что интересуется его, заставляетъ меня зѣвать. Онъ ученый; я не читала почти ничего серьезнаго; не читаю даже того, что онъ пишетъ: пробовала нѣсколько разъ, потому что люблю его, но всегда бросала на первыхъ страницахъ. Онъ говорить: это потому, что онъ пишетъ дурно, растянуто; можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ онъ пишетъ скучно; но я бросала его статьи просто потому, что предметы ихъ не занимательны для меня. Его жизнь — совершенно кабинетная; о чемъ онъ сталъ бы разсказывать мнѣ? — не о чемъ, кромѣ какъ о томъ, что онъ читаетъ и пишетъ. Это скучно мнѣ.—Я всегда имѣю много разсказывать ему: я не сижу взаперти какъ онъ. Онъ слушаетъ меня и не скучаетъ: но только потому, что ему нравится слушать меня; но слушаетъ, и самъ не слышать, а если и слышитъ, черезъ минуту забываетъ; потому что, какую же занимательность для него имѣютъ мои прогулки и выѣзды, покупки, наряды, танцы, моя болтовня съ молодыми людьми? — Вамъ будетъ смѣшно, пока вы не привыкнете: онъ не знаетъ въ лицо многихъ изъ молодыхъ людей, которые бывають у меня: обѣдаетъ съ ними, пьетъ чай,—и все-таки не знаетъ тѣхъ изъ нихъ, которые не пускаются въ ученые разговоры съ нимъ. Онъ разсѣянь и невнимателенъ.

Карета остановилась.

— А, пріѣхали! — Что же вы думали сдѣлать, Нивельзинъ? Идти къ намъ, или раскланяться у двери подъѣзда и уйти, чтобъ никогда не возвра-

щаться?—Увы, мой милый Нивельзинъ: рѣшеніе не зависитъ отъ вашей воли. Вы должны помочъ мнѣ взойти на лѣстницу. И предупреждаю, это будетъ не очень легко для васъ, потому что, когда иду на лѣстницу, я опираюсь на руку моего кавалера очень солидно. Бѣдныя мои ноги все еще слабы. Въ прошлую зиму, я думаю, я еще не могла бы танцевать. Я была очень больна послѣ того, какъ родился Володя. Хорошо ли онъ спитъ безъ меня, мой милый?—Ахъ, Нивельзинъ, если бы дѣти знали, сколько болѣзней, страданій переносятъ матери!—Ваша мать жива, Нивельзинъ? Вы любите ее?

— Она жива. Я очень люблю ее.

— Почему-жъ вы живете не вмѣстѣ съ нею? Она законѣлая провинціалка и не любитъ Петербурга?

— Да. Въ деревнѣ она окружена родными.

— Вы давно были у нея?

— Два года.

— Два года! — Нехорошо, Нивельзинъ:—Вамъ надобно было бы проѣхать изъ-за границы къ ней.—Устала рука или нѣтъ?—Я думаю!—Бѣдныя мои ноги! Но все-таки я уже танцую почти такъ же легко, какъ прежде. Но бѣгать, прыгать попрежнему я не могла бы; можетъ быть, уже и не хотѣлось бы, если бы могла; не знаю. Когда-то мнѣ можно будетъ опять ѣздить верхомъ?—Этого я не разлюбила. Но въ нынѣшнее лѣто еще не рѣшалась. Посмотримъ, на слѣдующее лѣто, хорошо ли вы ѣздите.—Прошу; будете гость, пока не привыкнете считать себя не чужимъ у насъ.—Она ввела его въ дверь.

— Лидія Васильевна уже легли почивать и просили васъ, Софья Вас... —начала Наташа.

— Уже нечего рассказывать о Лидіи Васильевнѣ; онъ знаетъ, что Лидія Васильевна—я. А гдѣ Мионовъ? Позови его; пусть будетъ вмѣсто хозяина и хозяйки, пока выйду въ гостиную. Терпѣть не могу корсетовъ, Нивельзинъ. Идите прямо, потомъ налѣво.

— Моя или, вѣрнѣе, ваша собственная мистификація уже разрушилась?—Очень жалѣю,—сказалъ Мионовъ, выходя въ гостиную къ Нивельзину.

— Я не понимаю этой женщины, Мионовъ.

— Это просьба, чтобъ я помогъ вамъ понять ее?—Ждите отъ меня помощи, когда я желаю вамъ провалиться сквозь землю!—За что?—За то, что вздумали отправиться нынѣ въ оперу. За слѣдующее нельзя винить васъ. Но почему бы вамъ во французскій театръ, если уже не сидѣлось дома?

— Вы бранитесь, Мионовъ; вы не бранились бы, если бы знали, о чемъ мы говорили,—лучше сказать, она говорила, потому что я только слушала, и чувствовала себя въ отчаянно-глупомъ положеніи.

— Очень любопытно мнѣ знать, что она говорила вамъ!—я думаю только о томъ, что она теперь будетъ говорить "мнѣ чаще прежняго!—Вы чувствовали себя въ глупѣйшемъ положеніи!—Очень нужно мнѣ ваше удостовѣреніе, чтобы знать это! Я полагаю, что лучше всего намъ будетъ заняться исключительно куреньемъ: мнѣ, чтобъ не продолжать браниться; вамъ, чтобъ не смѣшить меня. — Онъ закурилъ и сталъ ходить, заложивъ руки на сиину.



Наташа принесла чай. На подносъ, кромѣ стакановъ для Миронова и Нивельзина, была чашка.

— Лидія Васильевна скоро прійдетъ?—спросилъ Мироновъ.

— Я сказала ей, что несу чай; она сказала „иду“.—Наташа ушла.

— Что же вы не пьете, Нивельзинъ?—сказалъ Мироновъ черезъ минуту.—Я слышалъ, что влюбленные не ѣдятъ; но пить чай, если не ошибаюсь, могутъ.—Или вамъ хотѣлось бы съ ядомъ вмѣсто сливокъ?—На вашей горѣ нѣтъ при мнѣ мышьяку, а то не отказалъ бы.

— Неужели вы самъ не влюбленъ въ нее, Мироновъ?—Влюбленъ въ нее, это видно.

— Такая догадливость дѣлаетъ честь вашему сумасшествію.

Вошла Наташа, взяла чашку и выпитые стаканы; опять принесла чай Миронову и Нивельзину, и опять чашку.

— Что же, Лидія Васильевна скоро прійдетъ?—спросилъ Мироновъ.

— Я сказала ей, что иду перемѣнить стаканы; не перемѣнить ли ей чашку, или подождать, чтобъ и эта не остыла? Она сказала: „Нѣтъ, перемѣни; я сейчасъ иду“.

— Что-жъ не идетъ? что тамъ дѣлаетъ? Готовить закуску?

— Господи!—Я думаю, сама положу сыръ, ветчину, сама знаю какъ открывается коробочка съ сардинками!—Что она?—Извѣстно, подошла да и стоитъ; „иду“, да и стоитъ.

— Подошла къ Володѣ?

— Ахъ ты, Господи!—Точно не по-русски говорю вамъ!—Двое у нея дѣтей, что ли, что спрашиваете?—Извѣстно, къ Володѣ.—Онъ спитъ, она глядитъ.—Наташа ушла.

— Должно быть, Нивельзинъ, что Володя тутъ только предлогъ; а не выходить она потому, что все не можетъ успокоить своего волненія: ужъ очень влюблена въ васъ.

— Послушайте, Мироновъ: она любитъ мужа; какъ же вы ревнуете ее?

— А вотъ какъ: она можетъ имѣть къ своему мужу какія ей угодно чувства, а я чувствую охоту поколотить васъ!—Мироновъ стукнулъ кулакомъ по столу.

— Что вы стучите, повѣса?—Смотрите, разбудите у меня Володю!—Я васъ тогда!..—Волгина вошла въ блузѣ.—Любезная хозяйка, Нивельзинъ, совсѣмъ бросила васъ. Но привыкайте къ моему характеру. Вотъ поэтому не могу сближаться съ дамами, даже съ тѣми, которыя сами по себѣ нравились бы мнѣ, напримѣръ, Рязанцева. Съ ними слишкомъ много церемоній: прійдешь, сядишь на определенное мѣсто, сидишь смирно, говоришь какъ принято; она прійдетъ, какъ бросить ее?—какъ уйдешь въ кухню, въ дѣтскую?

— Дружба между дамами гораздо рѣже, нежели между мужчинами,—замѣтилъ Нивельзинъ.—Насъ связываютъ дѣла, одинаковость образа мыслей. У женщинъ, у каждой, своя отдѣльная жизнь: личная, семейная; общественныя связи не охватываютъ ихъ.—Я почти не знаю примѣровъ дружбы...

— До свиданья, Лидія Васильевна; мнѣ уже давно хотѣлось уйти,—перебилъ Мироновъ.—Только не смѣлъ безъ васъ, чтобы вы не бранились, что бросилъ Нивельзина.

— Вижу, Мионовъ, что вы злитесь на него. Угадываете, что теперь гораздо чаще прежняго буду прогонять васъ заниматься дѣломъ?

Мионовъ поцаловалъ ея руку, пошелъ, но вернулся, подошелъ къ окну, проворчавши: „чуть не забылъ! А Даша прійдетъ завтра поутру!“—и схватилъ съ окна небольшую плоскую картонку. Движеніе было порывистое, крышка приподнялась, выскользнула и сама картонка упала. Цвѣты, ленты разсыпались по полу.—Мионовъ зацѣпилъ, какъ попало, первые, какіе подвернулись, чтобы пихнуть назадъ въ коробку.

— Осторожнѣе, все испортите. Кладите на окно. Въ картонку уложу сама.—Волгина подошла къ окну, стала укладывать.—Идите, спросите у Наташи веревочку, завязать получше. А то, съ вашею досадою, еще разроняете по дорогѣ.—Мионовъ принесъ веревочку. Волгина завязала картонку. Онъ опять поцаловалъ руку и ушелъ.

Нивельзинъ внимательно всматривался въ цвѣты и ленты, которые подбиралъ Мионовъ, и лицо его прояснилось: онъ долженъ былъ замѣтить, что ленты нѣсколько помяты; вѣроятно, онъ убѣдился изъ этого, что Даша никакъ не сестра Миронова: Волгина не могла дарить сестрѣ своего пріятеля уборы, которые бросила и могла бы отдать своей горничной.

— Мнѣ кажется, я начинаю нѣсколько понимать васъ,—сказалъ онъ, проводивъ глазами Миронова.

— Понимать меня вовсе не трудно: надобно только понимать въ самомъ простомъ и прямомъ смыслѣ все, что я говорю.

— Именно поэтому-то и очень трудно понять васъ: вы слишкомъ не похожи по характеру на другихъ женщинъ.

— Мой мужъ говорить: это потому, что всё онѣ такъ или иначе невольницы. Онъ говоритъ, что я никогда не могла бы стать похожа на невольницу. Не знаю; онъ слишкомъ любить меня; поэтому, какъ говорить со мною обо мнѣ, фантазируетъ до смѣшного.

— И вы, я увѣренъ, нѣсколько преувеличиваете, когда говорите о томъ, какъ онъ изнуряетъ себя работою. Я не замѣчалъ, чтобы онъ когда-нибудь былъ похожъ на изнуреннаго. Правда, онъ нѣсколько блѣдноватъ! но всмотрѣвшись, видишь, что это уже природный цвѣтъ, не болѣзненный.—Вы огорчаетесь тѣмъ, что онъ отказываетъ себѣ во всякихъ развлеченияхъ; онъ не отказываетъ себѣ въ нихъ; они, дѣйствительно, скучны ему. Когда втянешься въ работу, которая по сердцу, она становится занимательнѣе всякихъ развлеченій. Иногда и мнѣ случалось испытывать это, хоть, вообще, у меня были слишкомъ дурныя привычки.

— Благодарю васъ, Нивельзинъ, за то, что вы говорите такъ хорошо. Я и сама понимаю, что отчасти я могу преувеличивать. Но въ самомъ дѣлѣ онъ работаетъ слишкомъ много... Знаете ли, что мнѣ вздумалось?—Онъ такъ хвалитъ васъ. Онъ говоритъ, что вы и очень ученый, и что у васъ благородный образъ мыслей. Я знаю, вамъ нѣтъ надобности писать. Но вы сами сказали, что находили удовольствіе въ работѣ даже и тогда, когда вели разсѣянную жизнь. Попробовали бы вы сдѣлаться писателемъ, Нивельзинъ: можетъ быть, вы стали бы писать хорошо.

— Чтобы помогать Алексѣю Ивановичу?—Нѣтъ, Лидія Васильевна: мнѣ

надобно еще слишкомъ много учиться и думать, чтобы моя работа годилась для него. Онъ съ пренебреженіемъ смотритъ на людей, которыхъ я еще уважаю. Онъ высказываетъ мысли, о которыхъ я часто и не знаю, какимъ образомъ можно дойти до нихъ.—Я могу писать только о математикѣ, объ астрономіи; это не нужно ему.—Онъ могъ бы легко найти десятки помощниковъ гораздо лучше меня. Но у него такой образъ мыслей, котораго они не раздѣляютъ; а я еще не умѣю и понимать хорошенько.

— Какъ это жаль, Нивельзинъ!—А я вздумала-было такъ хорошо... Зачѣмъ я сама не училась ничему?.. Правда, мнѣ было не у кого учиться... Но я и сама была такая рѣзвая: все бѣгала, ѣздила, только въ томъ и прошло все дѣтство... И послѣ тоже самое, только прибавились танцы, наряды... А въ двадцать слишкомъ лѣтъ, съ хозяйствомъ, съ ребенкомъ начинать учиться,—поздно... Она замолчала, потомъ засмѣялась.—Видите, какъ мы хорошо говоримъ, Нивельзинъ. Это такъ и будетъ. А вы еще не хотѣли быть друженъ съ нами.

— Для васъ это будетъ такъ, для меня это не могло бы быть такъ. Теперь, я очень хорошо вижу, что вы не думали смѣяться надо мною. Но... Въ эту минуту раздался звонокъ.

— Ахъ, наконецъ-то! Слава Богу!—Я думала, онъ останется тамъ до второго, до третьяго часу!—Говорите, Нивельзинъ: онъ намъ не помѣшаетъ. Поздоровается и поплетется къ себѣ въ кабинетъ, если не велѣтъ ему сидѣть съ нами.

— Но вы не хотите помнить, что я сошелъ съ ума, увидѣвши васъ.—договорилъ Нивельзинъ и замолчалъ.

— Я вовсе не забываю этого, Нивельзинъ; но я не придаю этому важности. Это довольно скоро пройдетъ; кто изъ насъ не ребячился, кромѣ моего Алексѣя Иваныча,—но смотрите, что будетъ,—договорила она тихо:—только сидите смирно, не вставайте, не кланяйтесь.

Она могла бы сказать это и громче; мужъ не услышалъ бы; онъ еще изъ зала началъ свою рѣчь:

— А вообрази, голубочка, что я тоже былъ въ оперѣ!—Пришелъ въ типографію,—рано; вздумалъ пойти къ вамъ въ ложу;—но представъ себѣ: вдругъ, вижу, не знаю нумера!—Что же?—пошелъ, взялъ мѣсто вверху!—Молодецъ!—Ну, и вообрази: кого я тамъ встрѣтилъ въ оперѣ?—Съ этими словами онъ показался въ дверяхъ.—Вообрази, Нивельзина!—Позвалъ его завтра обѣдать. Въ сущности, очень хорошій человѣкъ;—онъ шелъ мимо носа Нивельзина, преспокойно продолжая:—Да, хорошій, въ сущности. Только вчера прѣхалъ.—Здравствуй, здравствуй, моя милая голубочка! Давно не видались!—Онъ сталъ цаловать руку жены.

— Если Нивельзинъ такъ нравится тебѣ, ты поздоровался бы съ нимъ.

— Ну, да въ самомъ дѣлѣ, это вы, Павелъ Михайлычъ!—воскликнулъ Волгинъ, обернувшись.—Въ самомъ дѣлѣ, это вы!—А я и не гляжу; думаю: Мионовъ!—Очень радъ, очень радъ!

— Положимъ, не глядѣлъ, могъ бы не разсмотрѣть лица; но какъ же принять человѣка въ статскомъ платьѣ за человѣка въ мундирѣ?

— Ну, что же тутъ такого, голубочка?—Не обратилъ вниманія: и опять же по разсѣянности.—возразилъ Волгинъ.

— Я видѣла тебя въ оперѣ; и ты огорчилъ меня: зачѣмъ плакалъ? — Стыдись, нехорошо.

— Ну, что же, голубочка; — жалобно затынулъ Волгинъ. — Это я только такъ... Да впрочемъ, это тебѣ только такъ показалось, голубочка, — спохватился онъ. — Увѣряю, голубочка.

— Можете судить, есть ли у него совѣсть, — замѣтила Волгина Нивельзину. — Ты усталъ; ступай себѣ, раздѣнься, — ляжешь спать?

— Что же ложиться-то понапрасну, голубочка? — Раньше часу, все равно, не усну.

— Если не ляжешь, я приплю къ тебѣ Нивельзина.

— Хорошо, голубочка. Приходите, Павелъ Михайлычъ.

— Я даю вамъ порученіе, Нивельзинъ: просидите съ нимъ до часу, пожалуйста. Тогда онъ ляжетъ. А то, пожалуй, усѣлся-бы за работу и заработался-бы долго. — Кто изъ насъ не ребячился, Нивельзинъ? — И я влюблялась, въ старину. Потому и знаю, что это вздоръ, которому не слѣдуетъ придавать важности. — Это хорошо для баловъ, для танцевъ: о чемъ было-бы говорить? — Пока не о чемъ думать, и возвратившись съ балу, можно думать, — и думаешь, бывало, Нивельзинъ: „ахъ, я влюблена въ него!“ — Потомъ, я не спорю, это можетъ иногда обращаться въ серьезную любовь, — вѣнчаются, — или, если женщина уже замужемъ, начинаются измѣны, ссоры, ужасы. Но это, когда женщина и безъ того дурно жила съ мужемъ. А когда вы расположенъ и къ мужу, и къ женѣ, — помилюте, долго ли продержитесь у васъ въ головѣ влюбленность? — Очень скоро вы будете видѣть во мнѣ добрую, простую женщину, которая отъ всей души расположена къ вамъ. — Завтра, въ часъ, въ половинѣ второго, приходите, отправимся гулять. А теперь пора мнѣ спать: Володя умѣетъ будить, — такой же голосъ будетъ, совершенно такой же, какъ у отца. — Я очень рада, что Алексѣй Ивановичъ вернулся не такъ поздно: хотѣла ждать его, а потомъ Володя не далъ бы выспаться. — Пойдемъ, провожу васъ къ Алексѣю Ивановичу, — и пожалуйста, до часу сидите, но дольше половины не засиживайтесь.

— Вы такъ легко смотрите на мое сумасшествіе, — сказалъ онъ: — вы ошибаетесь.

— Полноте, что за вздоръ. — Она взяла его за руку. — Идемъ. — Она повела его.

— Вы ошибаетесь, мое сумасшествіе не такъ легко можетъ пройти; — сказалъ онъ, но съ такимъ усиленіемъ, что слышно было, какъ не хотѣлось бы сказать это. — Я долженъ былъ бы избѣгать васъ, — я долженъ избѣгать васъ.

— Что за вздоръ, нѣтъ никакой надобности: — отвѣчала она весело.

— А если вы ошибаетесь?

— Не будемъ пугаться того, что невѣроятно! — Лучше, помните, что я говорила вамъ: до часу сидѣть, дольше половины второго не смѣть. Онъ будетъ удерживать васъ, — онъ очень деликатенъ, при всей своей неловкости; у него никогда не достаетъ духа показать, что ему некогда, или челоуѣкъ наскучилъ ему, — тѣмъ больше, онъ будетъ внимателенъ и по своему любезенъ съ вами: но вы самъ долженъ помнить время. — Слышишь, мой другъ, что я говорю Нивельзину: чтобъ онъ не слишкомъ полагался на твои любезности, —



да и тебѣ велѣла бы не удерживать его, если бы не знала, что ты уже не можешь обойтись безъ этого.— Чай уже принесли тебѣ?— Хорошо;— закуску я сейчасъ пришлю сюда.

— Ну, хорошо, голубочка;— отвѣчалъ мужъ.— А ты сама-то хочешь спать?

Она зѣвнула.— Мнѣ пора спать. Володя поднялъ нынѣ въ семь часовъ. Такой несносный мальчишка.

— Я не знаю, хорошо ли я дѣлаю, оставаясь у васъ;— сказала Нивельзинъ,— а самъ, между тѣмъ, уже взялъ сигару, которую подаль ему Волгинъ.

— Отчего же?— До часу, все равно, не спалъ бы. Очень радъ посидѣть съ вами, потому что надобно-жъ иногда и отдохнуть. Работаешь, работаешь, да и надоѣдаетъ.— А знаете, я даже и подумалъ тогда, что найду васъ здѣсь; потому что извѣстно, какъ сдерживаются подобныя обѣщанія: „не пойду къ нимъ въ ложу“; а Лидія Васильевна еще тогда,—весною-то,—хотѣла познакомиться съ вами. Ну, конечно, повидавшись съ нею, увидѣла, какой оборотъ приметъ дѣло. Конечно, разсудила, что если такъ, то лучше ей и не видѣться самой съ вами. Та, бѣдная, могла бы, пожалуй, забрать себѣ въ голову, что отбиваютъ у нея. Не будь этого соображенія, Лидія Васильевна, конечно, велѣла бы мнѣ только позвать васъ къ ней, а не стала бы поручать мнѣ самому говорить съ вами: слава Богу, знаетъ, какой мастеръ я говорю.

— Изъ того, что вы бывали у меня, вышелъ слухъ, вѣроятно, очень непріятный для васъ. Рязанцевъ убѣжденъ, что вы посылали меня въ Лондонъ съ какими-то порученіями.

— Э, вздоръ-то!—сказалъ Волгинъ, махнувши рукою.— Ну, пусть думаетъ,— пусть и рассказываетъ: велика важность!

— Я старался разубѣдить его, но, кажется, не могъ.

— И не стоило.

— По-моему, очень стоило; и не отстану, пока не разувѣрю.

— Ну, этого-то, положимъ, вамъ не удастся. Да не стойтъ и думать.

— Тѣмъ больше стойтъ, что онъ не самъ выдумалъ. Это ему объяснилъ Савеловъ.

— Да ну ихъ къ чорту!—Ну, и Савеловъ пусть думаетъ. Велика важность!— Кто не старается заискать въ Лондонъ?— Савеловъ-то самъ старается вилать хвостомъ такъ, чтобы тамъ замѣтили; а вы думаете, нѣтъ?— Волгинъ принялъ глубокомысленный видъ.— Навѣрное, да. И не сомнѣвайтесь.

— Мнѣ нечего сомнѣваться. Откуда же беретъ Рязанцевъ документы, о которыхъ потомъ дивятся, какъ они туда попали?

— Въ самомъ дѣлѣ!— воскликнулъ Волгинъ.— Это удивительно!— Какъ же это никогда не пришло мнѣ въ голову?— То-то-же и есть,— продолжалъ онъ съ прежнимъ глубокомысліемъ.— Потому я и говорилъ вамъ: этотъ слухъ для меня пустяки.— Не стойтъ говорить объ этомъ.— А знаете ли, что я вамъ скажу, Павелъ Михайлычъ: это вы не просто повернули,— я объ одномъ, а вы о другомъ,— будто не успѣли бы сказать послѣ!— Это мнѣ вотъ сейчасъ только пришло въ голову.— И знаете ли, если такъ, то и съ самаго-то начала вы тоже не просто, должно быть, сказали, что не знаете, хорошо ли дѣлаете, оставаясь у меня!— А я, знаете, такъ и понялъ, что вы

боитесь отнять у меня время!—Это удивительно!—Онъ покачалъ головою. — Это удивительно, я васъ увѣряю. какъ я не понялъ! — Натурально, это вы говорили не обо мнѣ,—то-есть, не обо мнѣ одномъ, а вы говорили объ насъ.— Вотъ. тоже, вздоръ-то, Павелъ Михайлычъ! — Онъ покачалъ головою. — И знаете ли, отчего это? Оттого, что вы не понимаете характеръ Лидіи Васильевны. Видите ли...—Онъ погрузился въ размышленіе.—Видите ли, вамъ надобно понять ея характеръ.—Ну, что, какъ вы нашли Парижъ? Поумнѣли тамошніе республиканцы послѣ уроковъ, которые получили въ 1848 году и 2-го Декабря?

Нивельзинъ, въ свою прежнюю поѣздку, когда прожилъ въ Парижѣ довольно долго, сошелся съ нѣкоторыми изъ немногихъ уцѣлѣвшихъ тамъ предводителей рѣшительной демократической партіи. Теперь онъ опять видѣлъ ихъ; видѣлъ и нѣкоторыхъ французскихъ изгнанниковъ въ Англіи. У него было много разказовъ на вопросы Волгина.—Такъ они проговорили о Франціи до часу. Въ часъ Нивельзинъ всталъ и ушелъ, какъ ни упрашивалъ его Волгинъ посидѣть еще.

Проводивъ Нивельзина, Волгинъ тотчасъ легъ спать, зѣвая самымъ многообѣщающимъ для сна образомъ. Но оказалось, что не спится. Пробыло два часа, все еще не дремалось. Онъ всталъ, съ большимъ неодобреніемъ себя покачалъ головою, опять надѣлъ халатъ и сѣлъ писать. Пробыло шесть часовъ. Онъ разсудилъ, что пора снова попробовать, не уснетъ ли, и дѣйствительно, заснулъ довольно скоро.

— Я сердита, — этими словами встрѣтила Волгина Нивельзина, когда онъ на другое утро явился, по уговору, провожать ее на прогулку.—Я очень сердита, отчасти и на мужа, но больше на васъ. Онъ такой человѣкъ, что я ужъ и отступилась отъ него: не можетъ не упрашивать „посидите“,—по его мнѣнію, этого требуетъ деликатность. А на васъ я надѣялась, что вы исполните мою просьбу.—До какихъ поръ вы сидѣли?—Онъ все еще спитъ.

Нивельзинъ оправдался: онъ ушелъ въ часъ, какъ она приказывала ему.

— Значитъ, онъ послѣ васъ таки принялся работать! Это еще хуже. Лучше бы вы были виноваты. Надобно будетъ бранить его. Ахъ, еслибъ это помогало! Давно онъ былъ бы самымъ послушнымъ человѣкомъ! — Ступайте, велите Наташѣ принести шляпу и перчатки. — Да, вы еще не знаете куда идти: налѣво и опять налѣво.

Онъ пошелъ, принесъ перчатки и шляпу.—Она заставила его любоваться на шляпу, которая очень мила. Онъ согласился.

Въ передней стояла Наташа, чтобы подать пальто и запереть дверь.

— Прислушивайся, какъ проснется Алексѣй Иванычъ, и если заставишь его долго ждать чаю, или напоишь холоднымъ, я надеру тебѣ уши такъ, что будутъ горѣть весь день.

— Да отъ кого еще узнаете, если дамъ остыть самовару? — Авдотью попрошу, чтобы не выдала меня.

— А на Алексѣя Иваныча ты ужъ надѣнешься, что онъ не скажетъ?— Видите, Нивельзинъ, какой онъ у меня человѣкъ: Наташа, глупая дѣвчонка,

и та понимаетъ, что нельзя такъ жить на свѣтъ!—Она вздохнула.—Иногда съ нимъ смѣхъ; больше, скука, даже горе.

— Ахъ, Господи, что вы говорите, когда сами знаете, что дай Богъ, чтобы всѣ мужья были такіе!—не могла не вступиться Наташа.

Погода была очень хорошая. Волгина стала говорить, что когда устанетъ, возьметъ коляску, и они поѣдутъ кругомъ города; что послѣ верховой ѣзды самое любимое ея удовольствіе — кататься. Теперь она можетъ всегда доставлять его себѣ: деньги на это есть. Потомъ она спрашивала Нивельзину о его родныхъ, особенно — матери. Потомъ опять говорила о верховой ѣздѣ, восхищалась тѣмъ, что на слѣдующее лѣто опять будетъ ѣздить верхомъ, рассказывала, какія лошади были у нея въ старину, радовалась тому, что года черезъ полтора опять у нея будутъ свои лошади. Потомъ, опять слушала, какая деревня у Нивельзина.—Они много разъ прошли по Невскому.

— Начинаю уставать, — сказала она. — Но заговорившись, ходила дольше, нежели думала. Брать коляску на полтора часа не стоитъ: жаль денегъ. Зайдемъ въ Гостинный Дворъ, тамъ отдохну.

Она зашла въ одну лавку, въ другую, въ третью. Купцы были ея пріятели. Они приносили ей складной стулъ, если въ лавкѣ не было дивана. Они потчивали ее чаемъ, если пили. Она велѣла пить Нивельзину. Она толковала съ купцами о ихъ семейныхъ дѣлахъ. Они показывали ей новые товары, хоть она и говорила, что пришла не покупать, а въ гости къ нимъ.

— Успѣемъ зайти еще въ гости? — сказала она, выходя изъ третьей или четвертой лавки. — О, уже почти четыре часа! Пора домой! Очень скучно было вамъ, Нивельзинъ, въ Гостинномъ Дворѣ? Ахъ, я забыла, что влюбленные не могутъ скучать!

— Я нѣсколько скучалъ, — сказалъ онъ.

— Уже скучали? — Это утѣшительно! — Видите, какъ скоро проходить, — даже скорѣе, чѣмъ я думала; и это немножко обидно мнѣ.

Онъ сталъ серьезно говорить, что теперь его разсудокъ прояснился. Она прояснила его разсудокъ своимъ простымъ, беззаботнымъ разговоромъ и обращеніемъ. Въ самомъ дѣлѣ, не надобно было придавать важности тому, что онъ былъ влюбленъ въ нее. — „Былъ“, — будто это уже прошло! Быть можетъ, еще не совсѣмъ. Но если еще и не совсѣмъ прошло, то онъ видитъ, что довольно скоро пройдетъ совершенно. Ему теперь грустно за себя, что онъ не понималъ ея. Она должна извинить ему это, потому что онъ былъ человѣкъ съ испорченнымъ сердцемъ. Но онъ чувствуетъ теперь, что это не было сродно ему, потому что ему такъ легко было сознать нелѣпость, мелочность, пошлость, варварство понятій, которыя онъ долженъ отбросить. Они были внушены ему обществомъ. Но не проникли до глубины его души: онъ чувствуетъ, что въ его сердцѣ воскресли чувства, достойныя порядочнаго человѣка. У него только не доставало силы самому сбросить съ себя иго азіатской дикости. По дикимъ привычкамъ общества, молодой человѣкъ непременно долженъ волочиться за молодою женщиною, если сближается съ нею; она если не отталкиваетъ его, непременно хочетъ, чтобы онъ волочился за нею. Но это пошлый азіатизмъ, хоть онъ и пришелъ къ намъ изъ Европы; это — продолженіе гаремныхъ нравовъ подъ формами цивилизаціи. Развѣ единственная жизнь женщины — лю-

бовныя интриги?—Такъ, но только въ гаремѣ. И развѣ мужчина—животное, незнающее другихъ радостей, кромѣ тѣхъ, какихъ азіатецъ ищетъ въ гаремѣ?—Такъ, но только пока мужчина—тиранъ, самъ подавленный рукою другого тирана.—Онъ воображалъ себя цивилизованнымъ человѣкомъ, и не понималъ, что молодая женщина можетъ говорить съ молодымъ человѣкомъ просто какъ человѣкъ съ человѣкомъ...

— О, Боже мой! — замѣтила она, засмѣявшись, когда они подходили къ ея квартирѣ.—Отъ Гостиннаго Двора до Владимірской описываете ваше исправленіе, и все еще не кончили! Вы обманывались и обманули меня, сказавши вчера, что не можете писать статьи для Алексѣя Ивановича. Вы напишите все это, и выйдетъ статья длинная, какъ тѣ, которыя пишетъ Алексѣй Ивановичъ.—Не нужно вашей руки,—я еще никогда не ходила столько,—по-смотримъ, трудно ли будетъ взойти одной на лѣстницу.—Нѣтъ, давайте руку, устала. Но все-таки хорошо, что могла сдѣлать такую долгую прогулку, и опять легко дойти отъ Гостиннаго Двора сюда. На слѣдующее лѣто можно будетъ ѣздить верхомъ.—Всталъ Алексѣй Ивановичъ?—Давно?—обратилась она къ Наташѣ.

— Въ третьемъ часу, въ половинѣ. И чай былъ самый горячій, Лидія Васильевна.

— Ахъ, что за глупая дѣвчонка! Она воображала, что я въ самомъ дѣлѣ не надѣюсь на нее!

— Нѣтъ, я понимаю, Лидія Васильевна, что если бы вы не надѣялись на меня, то не ушли бы, а сами бы дождались,—убѣдительнымъ тономъ возразила Наташа.

— А если понимаешь, то чѣмъ же хвалишься?—Вотъ, хоть бы съ нея ты бралъ примѣръ; — обратилась она къ мужу, который шелъ встрѣчать.— Ей что я скажу, она все такъ и дѣлаетъ. А ты? Не совѣстно?

— Ну, что же, голубочка!—жалобно запѣлъ мужъ.

— Стыдись.—Давай скорѣе обѣдать, Наташа. Я проголодалась.—Помнишь ты моего пріятеля, Романа Дементыча?—Да онъ бывалъ и здѣсь,—помнишь, немножко рябой?—Зоветъ меня быть крестною матерью. Обѣщала.

— А, помню!—Знаю твоего Романа Дементыча;—съ неподдѣльнымъ удовольствіемъ сказалъ мужъ; дѣйствительно, онъ могъ обрадоваться Роману Дементычу: значить, выговоръ кончился.

Волгинъ былъ въ отличнѣйшемъ расположеніи духа за обѣдомъ: жена такъ легко простила ему сонъ до третьяго часа дня. Онъ впасть въ остроумнѣйшее настроеніе. Онъ восхищался собою, когда онъ бывалъ остроуменъ, онъ больше всего любилъ восхищаться собою. Эта тема была неистощима. Дѣйствительно, онъ потѣшался надъ собою отъ души, и многіе подвиги его ловкости, сообразительности, находчивости были очень забавны. Нивельзинъ смѣялся.

Но для Волгиной забавные рассказы мужа не были новы. Сначала она слушала, потомъ перестала слушать.

— Голубочка, задумалась? — О чемъ? — сказалъ Волгинъ, замѣтивши, наконецъ, что она не смѣется.



— Думаю о томъ, что въ самомъ дѣлѣ ты не мастеръ устраивать свои дѣла.— Съ каждымъ мѣсяцемъ хуже. Бывало, когда ты побѣдешь просидѣть вечеръ въ типографію, я знаю, что ты кончилъ писать на эту книжку, и можешь отдохнуть. А теперь и въ этомъ ошиблась. Не оправдывайся. Я знаю, ты не забываешь мою просьбу беречь свое здоровье, не сидѣть по ночамъ; и если не всегда соблюдаешь ее, то лишь по невозможности. Но тѣмъ хуже, мой другъ, что это необходимость. И самъ ты виноватъ въ этомъ своимъ неумѣньемъ заботиться о своихъ дѣлахъ. Зачѣмъ ты далъ уѣхать Левницкому? Какъ можно было дать уѣхать ему?

— Да, это, точно, была большая ошибка съ моей стороны, голубочка.— согласился Волгинъ.— Да, Павелъ Михайлычъ,—обратился онъ къ Нивельзину:— вотъ наше съ Лидіею Васильевною горе: у всѣхъ у нашихъ господъ просвѣтателей публики чепуха въ головѣ; пишутъ ахинею, сбиваютъ съ послѣдняго толка русское общество, которое и безъ того уже находится въ полупомѣшательствѣ. Нѣтъ между ними ни одного, котораго бы можно было взять въ товарищи. Поневоля принужденъ одинъ писать всѣ статьи, которыми выражается мнѣніе журнала. И не успѣваю. Нѣтъ человѣка съ свѣтлою головою, да и конечно! Нашелся было одинъ; Лидія Васильевна такъ была рада!— а онъ взялъ да и уѣхалъ,—выпустилъ я его,—ждалъ и не дождался, когда пріѣдетъ.

— Хоть-бы отвѣчалъ, по крайней мѣрѣ, когда пріѣдетъ!— сказала Волгина.— Давно-бы пора быть отвѣту,—что-жъ онъ молчитъ? Я писала ему такъ, что онъ не могъ не отвѣчать мнѣ. Я думаю, мой другъ: дошло ли до него мое письмо? не затерялось ли?

— Очень возможная вещь,—согласился Волгинъ.

— Онъ могъ уѣхать еще куда-нибудь изъ Харькова.— продолжала Волгина.

— Очень можетъ быть, голубочка,—согласился мужъ.

— Надобно написать къ нему опять,—и кромѣ того, спросить у его родственника, который гувернеромъ у Илатонцевыхъ.

Волгинъ сильно раскашлялся.

— Чтѣ съ тобою?—не простудился ли, мой другъ?

— Нѣтъ, не простудился, голубочка; только поперхнулся;—успокоилъ мужъ.

— Нивельзинъ, будьте милъ, съѣздите завтра въ домъ Илатонцева, на Литейной, узнайте, пріѣхали-ль Илатонцевы;—если да, спросите гувернера. Левицкаго, не знаетъ ли онъ, гдѣ теперь его родственникъ, Владиміръ Алексѣичъ?—Но если и не запомните имя, все равно, помните только: молодой человѣкъ, который нынѣшнюю весною кончилъ курсъ въ Педагогическомъ Институтѣ,—гдѣ онъ, чтѣ съ нимъ, куда писать ему: гувернеръ долженъ знать, они хороши между собою, потому что этотъ Владиміръ Алексѣичъ разсказывалъ и о немъ, и объ Илатонцевыхъ;—а если Илатонцевы и гувернеръ ихъ не возвратились, привезите, по крайней мѣрѣ, адресъ, какъ написать этому гувернеру.

— Съ удовольствіемъ,—сказалъ Нивельзинъ.

Волгинъ имѣлъ время обдумать дѣло со всѣхъ сторонъ. потому что былъ

необычайно быстро въ соображеніяхъ. Соображеній было очень много, но выводъ изъ всёхъ одинъ: ни одно никуда не годится. Продолжать обманъ невозможно. Онъ долженъ признаться Лидіи Васильевнѣ, что обманывалъ ее, что самъ удалилъ Левицкаго изъ Петербурга, что адресъ въ Харьковъ былъ фальшивый, что Левицкій, гувернеръ Илатонцевыхъ, именно и есть Владиміръ Алексѣевичъ Левицкій, его Левицкій. — Это неизбѣжно; иначе, все равно, правда откроется черезъ нѣсколько дней. — Одно оставалось не рѣшено: какъ объяснить Лидіи Васильевнѣ мотивы, по которымъ онъ такъ поступалъ. Тогда она была такъ страшно взволнована, едва онъ началъ говорить. Не придумывалось, какъ сказать ей. Но время терпитъ. Илатонцевы еще не вернулись въ Петербургъ. Что-нибудь придумается.

Волгинъ вооружился храбростью и похвалилъ Лидію Васильевну за то, какъ вздумала она сдѣлать; онъ снова сталъ балагурить на прежнюю тему. Конечно, не все его рассказы о своихъ неловкостяхъ и промахахъ были одинаково забавны. Но много было дѣйствительно забавныхъ и во всякомъ случаѣ не уступавшихъ тѣмъ, надъ которыми прежде смѣялся Нивельзинъ. — Теперь Нивельзинъ не смѣялся; лишь иногда улыбаеся будто принужденно, да и не впадѣть. Конечно, Волгинъ нескоро замѣтилъ это, но все-таки, наконецъ, замѣтилъ, при всемъ своемъ неумѣннн наблюдать.

Взглянуть бы на Лидію Васильевну, — но, разумѣется, незачѣмъ и смотрѣть: она, конечно, замѣтила и поняла, если даже и онъ замѣтилъ и понималъ. Какъ ему было поступать? — Онъ былъ неловокъ до смѣшного, но онъ сдѣлалъ, какъ достало у него умѣнья, и надобно сказать, что нельзя было ожидать отъ его обыкновенной ненаходчивости даже и такого оборота.

— Ну-съ, вотъ каковъ я молодецъ, — похвалилъ онъ себя, кончивъ анекдотъ, который рассказывалъ во время этого раздумья. — Ловкій человекъ? Вы думаете, вѣроятно, и нельзя увидѣть такого другого? Но вотъ пріѣдетъ Левицкій, будете видѣть двухъ такихъ. — Помнишь, голубочка, его наружность, или забыла?

— Помню, — сухо отвѣчала жена.

— Но если бы знала какой онъ неловкій! — Даже мнѣ смѣшно, увѣряю. Повѣрь, не лучше меня.

— Бери еще пирожнаго, ты любишь это пирожное, — сказала жена.

— Хорошо, голубочка, — сказалъ Волгинъ, взявъ столько и сталъ ѣсть съ такимъ усердіемъ, которое сдѣлало бы честь очень хорошему обжорѣ.

— Я встрѣчался съ Илатонцевымъ, когда бывалъ въ обществѣ, — сказалъ Нивельзинъ. — Это одинъ изъ немногихъ людей аристократическаго круга, которыхъ я искренно уважаю, и я очень радъ случаю, который, быть можетъ, сблизитъ насъ. — Нивельзинъ былъ онять веселъ и сдѣлался разговорчивъ.

Наташа принесла самоваръ. Наливши мужу и Нивельзину по второму стакану, Волгина встала.

— Если будете пить еще, то наливайте сами. — До свиданья, Нивельзинъ.

— Голубочка, сыиграй что-нибудь, — сказалъ мужъ. — Ты устала, должно быть; но для меня сыиграй что-нибудь, — пожалуйста, голубочка.

— Нѣтъ, я не чувствую усталости; но я не расположена играть. — Она пошла.

— Для меня, голубочка,—пожалуйста. Часто ли я слушаю, когда ты играешь?—Пожалуйста.—Ты сама говоришь, что у меня слишкомъ мало развлеченій,—такъ не откажи въ развлеченіи, когда мнѣ хочется развлечься.

Она пошла въ залъ и сѣла за рояль. Сначала оставалась холодна, потомъ увлеклась. Она не могла быть виртуозкою, потому что не имѣла хорошихъ учителей, да и мало училась. Притомъ, почти три года въ Петербургѣ она не имѣла рояля.—Онъ былъ купленъ еще не очень давно. Но она играла недурно и любила музыку.

Когда она стала играть какой-то романсъ, Нивельзинъ попросилъ у нея позволенія пѣть. — „Пойте“,—сухо отвѣчала она.—Но онъ пѣлъ хорошо, и она стала слушать его съ удовольствіемъ.

Мало-по-малу она сдѣлалась разговорчива, и Волгинъ разсудилъ, что можетъ уйти.

— Будьте снисходительны ко мнѣ, — сказали Нивельзинъ: — мое сумасшествіе проходить, но оно еще не совсѣмъ прошло. Не сердитесь на больного.

— Я еще не такъ сильно расположена къ вамъ, чтобъ могла сильно сердиться,—сказала она.—Но идите къ Алексѣю Иванычу, или уходите. Я сѣла играть только для него. Мнѣ не хотѣлось.—До свиданья.

Она ушла. Нивельзинъ пошелъ проститься съ Волгинымъ.—Волгинъ попросилъ его сѣсть и курить, посадилъ, не слушая его отговорокъ, и началъ:

— Вчера, Павелъ Михайлычъ, я хотѣлъ предупредить васъ, — вѣроятно, вы и замѣтили; но, знаете, разсуждалъ и то, что, можетъ быть, нѣтъ никакой надобности въ этомъ. Остановило меня и то, что, не мастеръ я вести разговоръ, какъ слѣдуетъ, чтобы не выходило неловко. Думалъ: пусть онъ лучше познакомится съ нами; а то, пожалуй, мои слова покажутся ему странны: раньше времени не слѣдуетъ ничего дѣлать. Нельзя и спорить, прекрасное правило: дѣлай все во-время. Однимъ оно дурно: обстоятельства не ждутъ, чтобы намъ пришла пора дѣлать что-нибудь, заставляютъ приниматься за дѣло раньше времени. Оттого-то всегда у всѣхъ народовъ и выходитъ чепуха. Возьмите вы нашъ вчерашній разговоръ о 1848 годѣ. Какъ я бранилъ французскихъ демократовъ за то, что они сочинили Февральскую революцію, когда общество еще не было приготовлено поддерживать ихъ идеи. Такъ-то оно, такъ; разумѣется, вышла мерзость. Но только не они сочинили Февральскую революцію: обстоятельства такъ шли, что заставили ихъ, волею-неволею, участвовать въ сочиненіи глупости...—Волгинъ задумался.—Такъ вотъ оно и у насъ. Толкують: „освободимъ крестьянъ“. Гдѣ силы на такое дѣло? — Еще нѣтъ силъ. Нелѣпо приниматься за дѣло, когда нѣтъ силъ на него. А видите, къ чему идетъ: стануть освобождать. Что выйдетъ?—самъ судите, что выходитъ, когда берешься за дѣло, котораго не можешь сдѣлать. Естественно, что: испортишь дѣло, выйдетъ мерзость... — Волгинъ замолчалъ, нахмурилъ брови и сталъ качать головой.—Эхъ, наши господа эмансипаторы, всѣ эти ваши Рязанцевы съ компанією! — вотъ хвастуны-то; вотъ болтуны-то; вотъ дурачье-то?—Онъ опять замоталъ головою.

Вѣроятно, Нивельзинъ ждалъ не разсужденія о Февральской революціи и отмѣнѣ крѣпостного права, и, вѣроятно, былъ мало расположенъ сосредоточить свое вниманіе на вопросѣ о силахъ и способностяхъ русскихъ эмансипаторовъ. Но слова Волгина звучали такимъ ретроградствомъ, которое было нестерпимо человѣку съ горячими стремленіями къ добру. — Волгинъ выслушалъ его возраженія, помоталъ головою:

— Это и прекрасно, если все такъ. Но само собою, не въ томъ дѣло. Натурально я говорилъ о вашихъ господахъ эмансипаторахъ только для приѣбра, что нельзя бываетъ ждать, пока придетъ пора. А такъ ли оно, или нѣтъ, конечно, можно спорить. Напримѣръ, умно или глупо я сдѣлалъ вчера, что разсудилъ: лучше подожду. Поговори я съ вами вчера, какъ слѣдуетъ, — могло бы не выйти нынѣшней непріятности. Значить, можно сказать: слѣлалъ глупо, что не говорилъ. Но съ другой стороны: вчера вы подумали бы „что такое? съ какой стати?“ — А теперь, поймете, что я говорю дѣло, будете помнить, будете такъ и держать себя. Значить, если хотите, можно и оправдать меня, что не говорилъ, пока не представился хорошій случай. — Онъ встряхнулъ головою и продолжалъ, разгорячаясь собственными словами отъ вялости до того, что подъ конецъ ему стало трудно сдерживать голосъ. — Вотъ что, — началъ онъ вяло. — Что такое значитъ имѣть довѣріе къ человѣку? — То, что вамъ нѣтъ надобности понимать его поступка, чтобы знать: онъ не поступаетъ дурно. Напримѣръ, почему я говорю съ вами? — Не понимаете, навѣрное не понимаете; натурально, вамъ кажется очень странно. Не понимаете, согласенъ. Но знаете, что я не имѣю въ мысляхъ никакого коварства. Такъ или нѣтъ? — Знаете это? — Ну и не ошибаетесь, разумѣется. Потому что я недурной человѣкъ. Можете ли вы забыть это, при какихъ бы то ни было недоразумѣніяхъ съ вашей стороны? — Не можете... По необходимости всегда будетъ вамъ думаться: „Я не понимаю, почему Алексѣй Ивановичъ поступаетъ такъ; но тутъ не должно быть ничего дурного“. Такъ или нѣтъ? — Голосъ Волгина поднимался. — Такъ или нѣтъ? — Ну-съ, такъ помните же, что есть люди лучше меня. Помните это. Больше никогда, ничего не надобно вамъ знать. Знайте это, и довольно. Такъ: знайте это, и довольно. Да. — Онъ остановился, замѣтивъ, что если продолжать, то будетъ слишкомъ громко, вздохнулъ, мотнулъ головою, и этого было довольно, чтобы возвратиться къ обычной вялости. — Да, Павелъ Михайлычъ, — продолжалъ онъ флегматически. — Мало ли бываетъ случаевъ, что мы не можемъ понимать, пока не узнаемъ подробностей? — Тутъ надобно не пускаться въ фантазіи, а когда знаете человѣка за хорошаго человѣка, то просто надобно думать: „не знаю, и знать не хочу, пока не случится узнать“. И узнавать не надобно: нечего узнавать, когда не говорятъ вамъ, — значитъ нѣтъ ничего любопытнаго для васъ. И думать нечего: значитъ дѣло не касается васъ, и не должно касаться, — значитъ и нечего думать. — Онъ погрузился въ размышленіе. — Само собою, мы говоримъ о частной жизни, о личныхъ отношеніяхъ. Общественныя дѣла совершенно другая исторія. Въ нихъ вы гражданинъ: давай отчетъ; не мое дѣло, общественное, подавай отчетъ. Напримѣръ, какъ честный человѣкъ, я говорю вамъ: „одолжите мнѣ десять рублей изъ вашего кармана“ — спросите ли на что? — истребуете ли росписки? — если я захочу дать, не возьмете; на-



пишу и дамъ, изорвете. Но: „дайте мнѣ десять копѣекъ изъ общественной суммы“. — Другая матерія. — „На что тебѣ?“ — „Я хорошій человѣкъ, можете быть увѣрены, употребляю съ пользою для общества“. — „Дудки, братецъ, говори, на что“. — „А безъ росписки можете дать? — я не воръ, не отрекусь“. — „Дудки, милашка! — вижу, что ты не воръ, — проваливай! — Господа, помогите проводить мошенника въ шею!“ — Волгинъ залился руладою въ поощреніе своему остроумію; перевелъ духъ и флегматически сказалъ: — А. ну ихъ къ чорту, и общественныя дѣла. и нашихъ либераловъ! — Все забываю изъ-за нихъ о томъ, что говорю. И васъ-то, я думаю, смѣшу: „Эко, не можетъ видѣть, — вы думаете, — не можетъ видѣть, что я отъ него жду, что это за штука такая на счетъ Левицкаго“.

— Нѣтъ, я не жду этого; я не хочу знать ничего; — съ порывомъ отвѣчалъ Нивельзинъ.

— Ну, да все равно: поѣдете спрашивать въ домъ Илатонцева, тамъ открылось бы: Владиміръ то Алексѣичъ Левицкій, котораго мы не знаемъ гдѣ найти, — онъ-то, именно, и есть, разумѣется, губернеръ, у котораго мы хотимъ спрашивать, не знаетъ ли, куда дѣвался нашъ Левицкій! — Это удивительно! — высказалъ Волгинъ свое мнѣніе о такой штукѣ, и покачалъ головою. — Это удивительно, какую исторію я сочинилъ! — Илатонцевы то еще не вернулись изъ деревни, и его нѣтъ еще въ Петербургѣ, натурально. Но все равно, не могло бы скрыться отъ васъ: какъ спросили бы у швейцара, или у кого тамъ, такъ и сказали бы вамъ: „Владиміръ Алексѣичъ еще не пріѣхалъ“. — Чего-жь тутъ? Не могли бы вы не увидѣть, въ чемъ штука. Да и скрывать-то теперь бесполезно: дольше тянуть нельзя. Скажу Лидіи Васильевнѣ. Натурально, непріятно. Ну, да нельзя теперь.

Нивельзинъ былъ совершенно согласенъ съ мнѣніемъ Волгина, что „это удивительно“. Онъ удалилъ изъ Петербурга человѣка, который былъ незамѣнимъ для него, — обманывалъ жену, которая интересовалась этимъ человѣкомъ только по заботливости о мужѣ, подрывающемъ свое здоровье чрезмѣрною работою, — жену, которую безгранично уважалъ, — отправлялъ письма съ фальшивымъ адресомъ, чтобы продлить обманъ, — что же заставляло его дѣлать такъ?

— Эхъ, Павелъ Михайлычъ! — Волгинъ покачалъ головою: — мало вы знаете человѣческія слабости, — напримѣръ, до чего можетъ доводить человѣка самолюбіе. — Волгинъ вздохнулъ. — Конечно, совѣстно признаваться, — да нечего дѣлать.

— Вы хотите сказать, что удаляли отъ литературы соперника по таланту?

— Видите, вы не совѣмъ удачно выразились. Литературнаго таланта у меня нѣтъ. Я пишу плохо. Длинно, часто безжизненно. Десятки людей у насъ умѣютъ писать гораздо лучше меня. Мое единственное достоинство, — но важное, важнѣе всякаго мастерства писать — состоитъ въ томъ, что я правильнѣе другихъ понимаю вещи. — А у него, кромѣ этого достоинства, есть и талантъ. Огромный.

— Вы увлеклись авторскимъ самолюбіемъ; — какъ вѣрить послѣ того, что вы сейчасъ сказали? — Какое самолюбіе въ васъ?

— Ну, не самолюбіе, то зависть,—какъ тамъ это назвать, все равно: вещь понятная,—съ флегматическимъ цинизмомъ отвѣчалъ Волгинъ. — Впрочемъ, само собою, это только сущность дѣла, а оболочка на немъ, натурально, хорошая: что же я за дуракъ, въ самомъ дѣлѣ, чтобы не найти благовиднаго предлога?—Вы знаете, начинать писать рано — значить, истощать свой талантъ. Опять же: писать и учиться, одно съ другимъ плохо уживается. Готовься, готовься! — Руссо готовился сорокъ лѣтъ, потому и могъ сказать что-нибудь свое, глубоко-обдуманное, дѣльное. — А возьмите вы Дидро, Вольтера; можетъ быть, были и не глупѣе Руссо, но принялись строчить, когда еще борода не росла,—и прекрасно строчили,—только своей мысли ровно ни одной.—Левицкому только 21 годъ.

— Я не такъ хорошо знаю исторію литературы, чтобы спорить съ вами,—сказалъ Нивельзинъ. — Но мнѣ кажется, ваше мнѣніе утрировано. У кого есть охота учиться, не можетъ не продолжать учиться и сдѣлавшись писателемъ. У кого есть самобытный умъ, тотъ не лишится оригинальности только оттого, что не будетъ жечь своихъ бумагъ до сѣдыхъ волосъ.

— Видите, я и не говорю, что мое мнѣніе справедливо: я вотъ говорю только, чѣмъ я могу объяснить то, что удалилъ Левицкаго. И если сказать правду, должно быть, я самъ чувствую, что это вздоръ, когда не говорилъ Лидіи Васильевнѣ. Натурально, какой отвѣтъ?— „Что ты городишь вздоръ?“ — Ну, и промолчалъ, — и дошелъ до того, что сталъ обманывать. Разумѣется, побранить. Скажетъ: „глупо, мой другъ!“ Натурально, глупо. — Ну, да все это не важно, разумѣется.—Волгинъ погрузился въ размышленіе и выразилъ его результатъ:—Разумѣется, не имѣетъ большой важности. Глупо-то глупо, не спорю. Но, только и всего.—Онъ помолчалъ. — А что, скажите, Павелъ Михайлычъ, я думаю, для васъ очень странно, что Лидія Васильевна вышла за меня?—Согласенъ съ вами, это странно, видѣть меня подлѣ ней. И скажу вамъ..

— Не приписывайте мнѣ того, чего я не думаю, — замѣтилъ Нивельзинъ. — Вы некрасивъ и неловокъ; конечно, вы были совершенно бѣденъ. Вы хотите сказать, что она могла бы выбрать между женихами гораздо лучшими, нежели вы? — Но въ комъ бы она нашла такого преданнаго друга? — Я не нахожу ея выбора страннымъ.

— Это правда,—согласился Волгинъ. — Конечно, я осуждаю ее. Но, въ сущности, не могу сказать, что она ошиблась.—Онъ помолчалъ и размыслилъ. — Дѣйствительно, нельзя осуждать ее, потому что, это правда, я не могу сказать, что у меня нѣтъ большого уваженія къ ней.

Нивельзинъ сталъ прощаться, говоря, что былъ до глубины души тронутъ искренностью его расположенія.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Нивельзинъ былъ изъ хорошей фамили. имѣлъ порядочное состояніе. Но онъ не принадлежалъ къ высокой аристократіи, не былъ даже и въ родствѣ ни съ одною изъ вельможескихъ фамилій. Бывая въ свѣтѣ, онъ попалъ въ нѣкоторые изъ первыхъ домовъ Петербурга, но лишь въ нѣкоторые. Въ другихъ онъ не бывалъ, и довольно мало зналъ о нихъ, — если не интересовался спросить; а въ тѣ времена у него былъ одинъ интересъ — волокитство.

Ему не случилось тогда быть близкимъ ни съ кѣмъ изъ близкихъ Илатонцева. Онъ зналъ этого аристократа за честнаго и добраго человѣка. Когда они встрѣчались, они здоровались, иногда обмѣнивались нѣсколькими словами.

Великолѣпный швейцаръ сказалъ ему, что Николай Андреевичъ не думаетъ возвратиться въ Петербургъ раньше новаго года; но что Алина Константиновна въ Петербургѣ, и у себя. Не угодно ли ему пожаловать къ Алинѣ Константиновнѣ, — можетъ быть, отъ нея узнаетъ онъ что-нибудь больше, хотя едва ли. — Кто Алина Константиновна? — Сестра покойной супруги Николая Андрееча, фрейлина Тенищева. — Нивельзинъ вспомнилъ, что, дѣйствительно, есть на свѣтѣ какая-то фрейлина Тенищева; что это за особа, онъ не умѣлъ вспомнить. — Вы говорите, что она едва ли знаетъ больше вашего; да мнѣ и не нужно знать ничего, кромѣ того, что Николай Андреечъ еще долго пробудетъ въ деревнѣ, — да того, гдѣ эта деревня, какъ адресовать письмо къ нему; а это и вы скажете. — „Все равно, не угодно ли пожаловать къ Алинѣ Константиновнѣ? — Онѣ будутъ очень рады, и могутъ знать что-нибудь больше моего“. — Въ самомъ дѣлѣ, быть можетъ.

Въ передней было два лакея, новидимому, даже порядочные люди, какимъ казался и швейцаръ. — „Доложите Алинѣ Константиновнѣ Тенищевой: скажите, что я хочу спросить...“ — „Все равно, скажете ей; пожалуйте“, отвѣчалъ одинъ изъ лакеевъ, а другой уже понесъ карточку Нивельзина. — „Неужели фрейлина Тенищева такъ любитъ гостей?“ — подумалъ Нивельзинъ.

Дверь огромной, роскошной гостиной отворилась; изъ-за стола, нагруженнаго множествомъ серебряной позолоченой посуды, открыла себя, отбросивши большой вѣеръ, полная, очень полная, бѣлая и румяная, очень бѣлая и румяная, женская фигура, въ бальномъ платьѣ, очень, очень открытомъ. — Фигура эта, имѣвшая лѣтъ сорокъ, была очень памятна Нивельзину: на рѣдкомъ изъ аристократическихъ баловъ онъ не видѣлъ ее. Но хоть и видѣлъ десятки разъ, увидѣлъ теперь, что не имѣлъ справедливаго мнѣнія о ея наружности: не считая необходимостью изслѣдовать близко, онъ издали судилъ, что бѣлизна ея плечъ и румянецъ слишкомъ полнаго лица имѣютъ происхождение, обычное на фигурахъ подобныхъ ей; въ чертахъ лица не видѣлъ ничего, кромѣ того, что онѣ расплылись отъ излишней полноты; въ бальномъ платьѣ ничего, кромѣ бальной формы; въ его излишней открытости — обыкновенную претензію молодиться. Но она сидѣла одна, прельщать ей было некого, — она, какъ видно, только-что встала и умылась, — да и умыванья, можетъ быть, еще не сдѣлала: по крайней мѣрѣ, еще не причесала волосъ, кое-

какъ, едва пригладила ихъ, можетъ быть и не гребнемъ, а рукою, и уже была въ бальномъ платьѣ: какія тутъ претензіи, какія тутъ бѣлила и румяна!—Добрая душа сидѣла полуобнаженная для своего собственного удовольствія. И ни на плечахъ, ни на лицѣ, дѣйствительно, не было подлога: Нивельзинъ смотрѣлъ теперь близко, при полномъ полуденномъ свѣтѣ: ослѣпительно бѣлыя плечи и грудь не нуждались ни въ какихъ бѣлилахъ, и еще были бы привлекательны своею свѣжестью, еслибы не были слишкомъ жирны. И румянецъ на лицѣ былъ бы очень хорошаго оттѣнка, еслибы доброй женщиной не было жарко: кожа была чиста и нѣжна. И тонкія черты лица были бы еще очень милы, еслибы не такъ трудно было рассмотреть ихъ въ затопившей ихъ массѣ жира, но жира еще свѣжаго, не брызглаго.

— Нивельзинъ! это вы!—воскликнула добрая полуобнаженная для собственного удовольствія женщина, отбрасывая вѣеръ и сильно колышась ослѣпительной грудью отъ усерднаго крика радости.—Это вы, Нивельзинъ! Я въ восторгѣ! я жду, я заждаюсь васъ! Какъ вамъ не совѣстно было не ѣхать, когда Ченыкаевъ столько разъ обѣщалъ мнѣ привезти васъ.—Какъ вамъ не стыдно было до сихъ поръ не бить у меня, которая такъ дружна съ Ченыкаевымъ?

Нивельзинъ старался вспомнить, кто бы такой могъ быть Ченыкаевъ; но принужденъ былъ успокоиться на предположеніи, что это какой-нибудь ея пріятель, сходный съ нею тѣмъ, что его можно видѣть вездѣ, и нигдѣ никто не любопытствуетъ узнать, кто онъ.

— Садитесь же, садитесь, *mon cher monsieur Nivelsine*, я такъ рада васъ видѣть!—Она хватала гостя за руки, въ совершенномъ восхищеніи.—Хотите мороженого?—И скажите скорѣе, каково поживаетъ Ченыкаевъ?

Нивельзинъ отвѣчалъ, что недавно вернулся въ Петербургъ, и не умѣетъ ничего сказать о Ченыкаевѣ, что пріѣхалъ къ ней не по его приглашенію, а по надобности узнать, долго ли проживетъ въ деревнѣ *monsieur* Илатонцевъ.

— *Mon beau-frère!*—мой милый, несравненный, очаровательный *beau-frère!*—скоро ли пріѣдетъ онъ?—О, скоро, скоро! Я измучилась тоскою въ разлукѣ съ нимъ! Я изнываю, я умираю отъ тоски, ожидая его!—заговорила она съ неудержимымъ восторгомъ, и прежде, нежели Нивельзинъ улучилъ секунду сдѣлать вопросъ о разнорѣчій ея свѣдѣній со словами швейцара, онъ узналъ, что она дѣйствительно не можетъ не умирать тоскою въ разлукѣ съ *beau-frère*’омъ, потому что ея *beau-frère* такъ добръ и уменъ,—она описала его умъ и доброту самыми бурными восхищеніями, и перешла къ тому, что онъ и вообще очарователенъ, и даже очень красивый мужчина, несмотря на свои годы.—Юринька будетъ въ отца: ахъ, еслибъ *monsieur* Нивельзинъ зналъ, какой восхитительный ребенокъ Юринька!—Что за доброта, что за умъ,—она описала доброту и умъ Юриньки съ тѣмъ же восторгомъ и тѣми же чертами, какими были изображены достоинства *beau-frère*’а, и начала описывать красоту Юриньки,—вѣроятно, тѣми же чертами, но принуждена была остановиться, перевести духъ.—Нивельзинъ воспользовался этимъ долго жданымъ мгновеніемъ, чтобы сказать:

— Я хотѣлъ спросить...—Но мгновеніе уже умчалось. Тенищева перевела духъ и барабанила:



— О Надинъ?—О, вы увидите Надину!—И тогда вы скажете, ослѣплена ли я, восхищаясь моею Надиною,—пристрастна ли я къ ней, говоря что...—Послѣдовало изображеніе Надины, совершенно тѣми же красками, какими были надѣлены портреты ея отца и брата,—при этомъ оказалось, что Надина очень похожа на отца и на двухъ княгинь, и пошла рисовка ея отца и обѣихъ княгинь, потомъ родныхъ этихъ княгинь, пока портретистка опять не задохнулась.

Прошелъ битый часъ прежде нежели Нивельзинъ успѣлъ выспросить у нея, почему она скоро ждетъ своихъ родныхъ, между тѣмъ какъ швейцаръ сказалъ противное, и убѣдился, что она не могла знать больше, нежели швейцаръ: она давнымъ давно уѣхала изъ деревни, куда отвозила племянницу, съ тѣхъ поръ не получала изъ деревни ни одного письма, и знаетъ только то, съ чѣмъ вернулась изъ деревни она и ея свита: въ то время Илатонцевъ не думалъ вернуться скоро; дочь говорила, что рада была бы прожить въ деревнѣ всю зиму: beau-frère говорилъ, что когда они соберутся ѣхать, извѣстятъ управляющаго домомъ. А пока добился, что нечего было и спрашивать у нея, Нивельзинъ узналъ множество друзей beau-frère'a и самой Тенищевой: всѣ, безъ различія пола и возраста, были совершенно похожи на beau-frère'a, Надину и Юриньку; и самого Левицкаго, который тоже разъ десять попадалъ на языкъ доброй женщины, невозможно было отличить ни отъ beau-frère'a, ни отъ Надины, ни отъ какого-то загадочнаго адмирала, не уступавшаго ни умомъ, ни добротою, ни даже красотою ни Юринькѣ, ни Надинѣ.

Пріѣхавъ съ этими извѣстіями къ Волгиной, Нивельзинъ нашелъ ее очень серьезною. Онъ спросилъ, не продолжаетъ ли она сердиться на него.—„О, нѣтъ, давно забыла. Вчера была очень сердита, но на полчаса. Потомъ хотѣла даже выйти, заставить васъ пѣть, потому что вы поете недурно, но васъ уже не было. Мужъ разсердилъ меня этою своею глупостью съ Левицкимъ. Не то огорчило меня, что онъ лгалъ,—онъ всегда лжетъ, я не вѣрю ему ни въ одномъ словѣ; правда, это дѣло довольно важное, а онъ лжетъ только въ пустякахъ, и я не могла предполагать, чтобы онъ обманывалъ меня, когда я спрашивала о Левицкомъ. Но я не сержусь на то, что онъ лгалъ; онъ и вчера опять солгалъ, когда сталъ признаваться; не захотѣлъ сказать правду. Но я поняла ее. Я вспомнила наши прежніе разговоры съ нимъ, и это огорчило меня“.

Нивельзинъ былъ еще подъ слишкомъ сильнымъ вліяніемъ вчерашнихъ замѣчаній Волгина;—вѣроятно, такъ; и, вѣроятно, не хотѣлъ думать о томъ, чего не понимаетъ въ ея словахъ. По крайней мѣрѣ, онъ не сдѣлалъ никакого вопроса о прежнихъ разговорахъ ея съ мужемъ, воспоминаніе о которыхъ огорчило ее.

Она поблагодарила его за справку объ Илатонцевыхъ, сказала, что не расположена смѣяться, когда онъ сталъ рассказывать о подробностяхъ своего визита;—что она провела однажды цѣлый вечеръ съ дочерью Илатонцева, должна была даже оставить ночевать на своей дачѣ эту дѣвушку, брошенную теткой, которая умчалась обѣзжать знакомыхъ;—что, поэтому, она имѣла

понятіе о Тенищевой, но вообще ей не хочется теперь ни говорить, ни слушать. Завтра это, вѣроятно, пройдетъ. Завтра она будетъ ждать Нивельзина. Они отправятся гулять, если будетъ хорошая погода; если нѣтъ, она попроситъ его пѣть, потому что онъ поетъ хорошо. Опять онъ будетъ обѣдать у нея. А теперь пусть онъ ѣдетъ домой, или пусть идетъ къ Алексѣю Ивановичу: Алексѣй Ивановичъ кончилъ работу, Нивельзинъ не помѣинаетъ ему. Но она не прійдетъ къ нимъ. Она не сердита на мужа, но ей грустно. Она любить быть одна, когда ей грустно.

Нивельзинъ пошелъ къ Волгину.—Волгинъ хохоталъ, слушая о портретной галлерей Тенищевой. Потомъ, съ неизмѣннымъ своимъ глубокомысліемъ, сталъ объяснять, что хоть эта баба и добрая женщина, но страшная дурица, и доказывалъ это чертами изъ ея поѣздки за племянницею въ Провансъ; какъ она пропадала на дорогѣ туда, и металася изъ угла въ уголь Европы на дорогѣ оттуда.

Пришла Волгина.—А какъ же, голубочка, ты сказала Павлу Михайлычу, что не прійдешь?—замѣтилъ мужъ.

— Было слишкомъ грустно,—сказала она, и ни разу не улыбнулась остроумнымъ соображеніямъ мужа о томъ, какъ, по всей вѣроятности, отплевывала эта дурица въ Парижѣ на загородныхъ балахъ, и какъ надували тамъ ее разные милые господа, умѣющіе обирать подобныхъ госпожъ.—Нивельзинъ сталъ прощаться.

— И умно дѣлаете, Нивельзинъ, что оставляете меня одну,—сказала Волгина.—Зайдите, пожалуйста, въ мою комнату, скажите тамъ Наташѣ, чтобы принесла Володю ко мнѣ.

— Значить, сюда?—замѣтилъ мужъ.—А какъ же ты сказала Павлу Михайлычу, что хочешь быть одна?

— Съ тобой, я все равно, что одна.

— Вотъ, слышите, Павелъ Михайлычъ: меня даже и не считаютъ за челоуѣка,—остроумно замѣтилъ мужъ, но она не улыбнулась и этой остротѣ, по его убѣжденію, очень хорошей.

Прошло недѣли двѣ. Нивельзинъ уже и не говорилъ Волгиной, что его сумасшествіе прошло или проходить.

Было ясное утро. Хорошая погода въ это время года бываетъ не такъ часто. Невскій проспектъ не наполнился гуляющими.

Волгина и Нивельзинъ были въ числѣ ихъ; прошедши до Полицейскаго моста, шли опять къ Аничкову, и приближались къ Пассажу.

— Ужасно!—вдругъ сказалъ Нивельзинъ, прерывая свой рассказъ о римскомъ corso:—Ужасно!—Назадъ, Лидія Васильевна!—Съ драгуномъ, это Тенищева.—Бѣжимъ!

Волгина взглянула по примѣтѣ, сказанной Нивельзинымъ.

На встрѣчу имъ неслась, объ руку съ драгунскимъ офицеромъ, толстая, бѣлая и румяная пріятельница непостижимаго Ченыкаева и загадочнаго адмирала, не уступавшаго красотой никому въ свѣтѣ, даже изъ женскаго пола,—неслась, разряженная въ пухъ и въ прахъ, въ розовомъ платьѣ съ откры-

тымъ лифомъ подь разстегнутою бѣлою атласною собольею шубкою, съ цѣлымъ садомъ алыхъ и бѣлыхъ розъ подь свѣтло-голубою шляпою, неслась быстро, порывисто, бурно до того, что и цвѣты тряслись, и полы шубки болтались: такъ стремительны были толчки, которыми подвигалъ добрую женщину ея размашисто-шагавшій кавалеръ.

Кавалеръ былъ мужчина лѣтъ тридцати, казавшійся приземистымъ, ниже своего настоящаго роста отъ слишкомъ широкихъ плечъ; широколицый, изъ-желто-блѣдный, съ гладкими длинными блѣдно-желтыми волосами, весь почти подь цвѣтъ своему желтому воротнику. Какой бы ни былъ, мундиръ армейскаго драгуна плохо шелъ къ кавалеру такой пышной дамы. А на немъ былъ такой мундиръ, что плохо годился и вообще для прогулки по Невскому: пальто было съ новымъ воротникомъ, но само совершенно ветхое, изъ грубѣйшаго сукна, ставшаго жидкимъ, чуть не тонкимъ—такъ оно обносилось: чуть не дырявымъ рубищемъ обтянулось оно на громадныхъ плечахъ офицера, ввалившись на яминахъ между костями, высовывалось пригорками по буграмъ костей; оно было узковато для этихъ страшныхъ плечъ, расцелилось на впалой груди; изъ-подъ него видѣлся сюртукъ, заштопанный около петель. Не шло это подь пару собольей шубкѣ ея дамы, но шло къ широкому лицу его, мускулистому, выражавшему силу, но изможденному: подь сѣрыми глазами вырылись глубокия впадины, отъ широкихъ ноздрей приплюснутаго носа тянулись морщины до самыхъ угловъ широкаго рта съ темновато-блѣдными губами. блѣдныя щеки глубоко втянулись массивными челюстями и массивно выдающимися скулами. По этимъ разѣхавшимся и высунувшимся скуламъ, по этому низкому, широкому носу нижняя половина лица имѣла бы почти калмыцкій типъ, если-бы не бѣлизна блѣдной, до желтаго блѣдной кожи, если-бы не густые желтые усы, и если-бы не нависъ надъ этимъ слишкомъ плоскимъ лицомъ крутой высокій лобъ, съ цѣлыми щетками бровей. Брови были такъ густы и щетинисты, что дѣлали темную полосу, хоть были бѣловаты: лобъ и брови такъ нависли надъ глазами, что глаза, хоть и большіе, были-бы едва замѣтны подъ ними, если-бы были спокойны. Но хотя и были они полуохоронены подъ своимъ двойнымъ навѣсомъ, они приковывали къ себѣ вниманіе своею неугомонной подвижностью: изъ-подъ нависшаго лба, изъ-подъ надвинутыхъ бровей, эти сѣрые глаза бросали взгляды, полные дикой, пламенной энергіи, взгляды быстрые, какъ молнія, въ одинъ мигъ перебѣгавшіе справа налево, впередъ, опять на право, опять на лѣво. Драгунъ говорилъ съ Тенищевой, и впадался въ нее своими огненными взглядами, но этими мгновенными, мгновенно-повторявшимися взглядами, впадаясь въ глаза ей, онъ въ то же время впадался этими бѣгающими, какъ у дикаго звѣря на поискъ добычи, взглядами во всѣхъ проходящихъ, во всѣхъ, въ cadaго и въ каждую, и на право, и на лѣво. Прицѣпивши къ себѣ за жирную руку Тенищеву своею сухою, но толстою отъ широкихъ костей (рукою), онъ шелъ, шагая, шагая широко, порывисто, съ размашистымъ поворотомъ плечами на каждомъ шагу, и торопливо сѣменившая ногами Тенищева, съ каждымъ его шагомъ дергалась однимъ плечомъ много впередъ другого, тряхаясь и прыгая на его рукѣ, такъ что мотались и бѣлыя атласныя полы собольей шубки, и свѣтло-голубая шляпа со всѣмъ своимъ садомъ бѣлыхъ и алыхъ розъ. Но какъ ни

раскачивались розы, какъ ни повертывался, подпрыгивая и подергиваясь въ бокъ, весь ея корпусъ, глаза ея оставались неподвижно устремлены на впи- вающіеся глаза ея кавалера, и широко раскрыты, такъ что были чуть не со- веѣмъ круглые, и ротъ былъ полу-разинутъ: блѣдно-желтый кавалеръ ея го- ворилъ; она слушала со вниманіемъ и изумленіемъ.

Онъ говорилъ; и хоть они были еще далеко, сквозь шумъ гуляющей толпы, сквозь стукъ несущихся экипажей, до Волгиной и Нивельзина уже до- летали отрывки его рѣчи: „Тѣлесное наказаніе... строгость военной дисцип- лины... военно-уголовные законы въ Англіи... 50 ударовъ палками... фран- цузская дисциплина...“ Подпрыгивая и подергиваясь, Тенищева жадно ловила палочные удары и поглощала военную дисциплину.

— Бѣжимъ, пока еще можемъ спастись!—сказалъ Нивельзинъ, остано- вливаясь и отступая, чтобы повернуться назадъ.

— Бѣжать? —зачѣмъ же?—съ полнѣйшимъ равнодушіемъ отвѣчала Вол- гина, увлекая его впередъ.—Идемъ, Нивельзинъ.

— Бѣжимъ, ради всего святого! — Заклинаю васъ вашею любовью къ малюткѣ, вашему сыну! Бѣжимъ, или я погибъ, и вы со мною!

— Фи, какой трусъ! — Идемъ смѣло на нихъ! Неужели она отниметъ кавалера у дамы, съ которой незнакома?

— Вы смѣтаете, а я предчувствую гибель!—сказалъ Нивельзинъ, по- неволь идя впередъ.—Эта женщина ужасна въ своихъ стремленіяхъ дружитья! — отниметъ ли она меня отъ васъ?—она способна на все! — Она и васъ возь- метъ въ плѣнъ!

— Тише, она можетъ слышать.

— Именемъ моей матери, именемъ вашего сына, заклинаю, бѣжимъ, пока еще возмож...

— Кланяйтесь; она увидѣла васъ и кланяется.

Нивельзинъ почувствовалъ, что рука Волгиной выскользнула изъ-подъ его руки, и услышалъ смѣхъ Волгиной уже позади. А передъ нимъ, уже на самомъ носу у него, кивали бѣлыя и красныя розы.

— Monsieur Nivelcine! Enchantée... Что было дальше, несчастный не слышалъ: умъ его затемнился отъ шлепанья двухъ огромныхъ алыхъ розъ о его подбородокъ; когда онъ опомнился, она добарабанивала „...ensemble, j'en suis sûre“.—Такъ и есть! Она не только въ восторгѣ отъ встрѣчи съ нимъ, она увѣрена, что онъ пойдетъ съ нею!—„Посмотримъ, удастся ли тебѣ,—съ ожесточеніемъ подумалъ онъ: — удастся ли тебѣ забастовать меня!“ — и онъ раскрывалъ ротъ, съ намѣреніемъ объявить, что онъ не гуляетъ, а спѣшитъ домой; дома его ждутъ важныя, безотлагательныя дѣла. Но пока онъ рас- крываетъ ротъ, Тенищева уже кричала по-русски, бросивши французскій:

— Рекомендую, это Нивельзинъ; Нивельзинъ, рекомендую вамъ...

— Соколовскій,—договорилъ, перебивъ ее, драгунъ, опуская свой на- висшій лобъ и поднимая изъ-подъ него и густыхъ блѣдно-желтыхъ бровей взглядъ, впи- вающійся въ душу. — Очень радъ вашему знакомству, Нивель- зинъ,—и въ тотъ же мигъ Нивельзинъ почувствовалъ жгучую боль въ кисти правой руки: кости хрустнули. Такъ усердно было пожатіе новаго знакома. — Я слышалъ вашу фамилію, — продолжалъ онъ, и блѣдное лицо его сіяло ра-



достью.—Я также и читалъ ваши мемуары о теоретической формулѣ преломленія луча въ атмосферѣ и о періодическомъ измѣненіи силы свѣта звѣзды Алголь. Читалъ и записку въ Comptes Rendus Парижскаго Института о вашихъ наблюденіяхъ на римской обсерваторіи. Все это хорошо, прекрасно, Нивельзинъ. Но еще лучше то, что я слышалъ о васъ, какъ о хорошемъ человѣкѣ. — Онъ опять нагнулъ лобъ, и опять впился въ глаза Нивельзину взглядомъ, поднятымъ изъ-подъ нависшихъ бровей, и опять кисть правой руки Нивельзина хрустнула со жгучей болью.

— Нивельзинъ, я не ошибаюсь, конечно: вы шли съ вашею... затараторила Тенищева, пользуясь мигомъ его молчанія.

— Мы очень благодарны вамъ, Алина Константиновна, за то, что познакомились черезъ васъ; — немедленно перебилъ онъ ее тономъ чрезвычайно кроткимъ, симпатичнымъ, ласкающимъ, но такимъ сильнымъ, что поневолѣ приходилось ей успокаиваться, слушать и молчать: ея голосъ не былъ слышенъ за словами Соколовскаго. — И вотъ, мы всѣ трое—друзья,—продолжалъ Соколовскій, и Нивельзинъ почувствовалъ себя охваченнымъ одною рукою новаго своего друга, а другою новый его другъ опять прицѣпилъ къ себѣ Тенищеву. — И вотъ, мы всѣ готовы идти, Алина Константиновна,—съ удвоенною радостью воскликнулъ другъ; — и точно, всѣ они пошли, — всѣ, потому что Нивельзинъ былъ сплетенъ въ одно цѣлое съ Тенищевойю, — въ крѣпкое, неразрывное цѣлое.

— Я очень, очень радъ случаю, который познакомилъ меня съ вами; — продолжалъ новый другъ, сіяя любовью и радостью и ведя въ охапкѣ своихъ друзей. — Радъ этому вообще, какъ знакомству съ хорошимъ человѣкомъ: хорошіе люди должны сближаться между собою, это мое правило. Есть у меня и особенная причина радоваться: вы бывший военный, вы имѣли репутацію одного изъ лучшихъ офицеровъ русской арміи. Ваше мнѣніе по военнымъ вопросамъ можетъ имѣть нѣкоторый вѣсъ у военныхъ властей; и будетъ имѣть: будетъ имѣть даже большой вѣсъ, когда вы будете высказывать его рѣзко и настойчиво. Настойчивость, настойчивость! — съ настойчивостью можно добиться много хорошаго, а я убѣжденъ, у васъ не будетъ недостатка въ ней, потому что дѣло стѣитъ того. Вы будете полезны ему, общаю вамъ, будете полезны. О, какая святая отрада, Нивельзинъ, чувствовать себя преданнымъ работникомъ какого-нибудь гуманнаго дѣла! — Вы будете знать ее, общаю вамъ! — Я расскажу вамъ, зачѣмъ я въ Петербургѣ. Въ молодости, я не зналъ русскихъ и не любилъ ихъ...

— Вы не русскій? — Я принялъ васъ за чистѣйшаго русскаго.

— Я полякъ. Но правда, я хорошо говорю по-русски. Было время выучиться. Было время и узнать русскій народъ, и полюбить его. Это хороший народъ, добрый, справедливый. Въ молодости, Нивельзинъ, я предполагалъ быть ученымъ. Тоже математикомъ, какъ вы. Судьба рѣшила иначе, — и вотъ, въ 30 лѣтъ, я сдѣлался драгунскимъ офицеромъ. Но уже и прежде, уже года 3, у меня было опять время, была и возможность заниматься. Не тѣмъ, чѣмъ я хотѣлъ когда-то. Но все равно. Если нельзя работать надъ тѣмъ, надъ чѣмъ хотѣлъ, надо работать надъ тѣмъ, надъ чѣмъ можно. Я выбралъ себѣ работу. Я военный; — такъ, или иначе, по своей-ли волѣ, или по капризу судьбы, я

военный русской службы, и сжился съ жизнью моихъ сослуживцевъ; и полюбилъ ихъ;— за то, что судьба привела меня полюбить ихъ, я благодарю судьбу. Я обязанъ работать для ихъ пользы, Нивельзинъ; каждый обязанъ работать на томъ поприщѣ, на которое поставила его судьба, горька ли или сладка ему эта обязанность. Мнѣ она сладка, потому что я могъ полюбить тѣхъ, на пользу которыхъ обязанъ работать. Я доволенъ и хочу употребить все мои силы на улучшение участи русскаго солдата. Я думалъ, усердно думалъ о томъ, съ какой стороны приняться за это дѣло, и съ чего начать. Я убѣдился, что первую, настоятельнѣйшею, основною реформою должна считаться отмѣна тѣлеснаго наказанія. При шпичрутеняхъ и розгахъ, солдатъ не можетъ признавать свое достоинство человѣка и гражданина; начальство не можетъ не быть беззаботно, безразсудно, безчувственно, деспотично, расточительно и развратно; солдаты не могутъ не быть каторжными, офицеры—палачами. Прежде всего, надобно добиться отмѣны этого варварства; только тогда будутъ возможны другія серьезнѣйшія улучшения...

Нивельзинъ уже былъ свободенъ: какая-то встрѣчная группа давно заставила Соколовскаго опустить руку съ талии плѣнника. Но освобожденный добровольно оставался въ плѣну: блѣдный драгунъ глубоко заинтересовалъ его.

Это энтузіастъ, конечно, но есть разные энтузіасты. Есть такіе, у которыхъ въ головѣ нѣтъ ничего, кромѣ энтузіазма. Тотъ, кажется, не таковъ. Есть такіе, у которыхъ энтузіазмъ весь тратится на горячія рѣчи, такъ что ровно ничего не остается для дѣла. Тотъ, кажется, не изъ такихъ: онъ думалъ и трудился. Дѣйствительно, чѣмъ больше слушалъ его Нивельзинъ, тѣмъ сильнѣе чувствовалъ, что блѣдный драгунъ не изъ такихъ энтузіастовъ, надъ которыми можно смѣяться. Нивельзинъ чувствовалъ его обаяніе.

Соколовскій говорилъ, и говорилъ пламенно, неудержимо, и впивался въ глаза Нивельзину восторженнымъ взглядомъ, горѣвшимъ святою любовью; онъ говорилъ неудержимо, но пламенно лившаяся рѣчь его, при всей восторженности чувства, была дѣльна, логична, исполнена фактовъ, была рѣчью человѣка съ желѣзною волею, всецѣло посвятившаго себя своему дѣлу.

Три года онъ занимался этимъ вопросомъ въ Оренбургѣ. Онъ заставлялъ выписывать книги. Онъ толковалъ со своими сослуживцами, чтобы узнать, до какой степени русскіе офицеры, отъ высшихъ до низшихъ, способны исполнять реформу, какъ солдаты будутъ держать себя, когда она совершится... Все, что можно было приготовить въ Оренбургѣ, онъ приготовилъ. Теперь, по пріѣздѣ въ Петербургъ, онъ провелъ 5 мѣсяцевъ въ архивахъ, собиралъ матеріалы, которыхъ нельзя было достать изъ книгъ. Его матеріалы еще не полны, потому что ему еще не открыты секретные архивы, самые важные. Будутъ открыты, онъ добьется, и Нивельзинъ поможетъ ему добиться.

— Вы совершенно можете располагать не только моимъ вліяніемъ на другихъ, но и мною самимъ;—сказалъ Нивельзинъ.

— Само собою разумѣется; я и не спрашивалъ, могу-ли: я зналъ, что вы хорошій человѣкъ.

Его матеріалы теперь не полны. Но они такъ многосторонни и обширны, что съ ними можно начинать дѣло. Онъ уже началъ бы его, но былъ нѣсколько задержанъ въ работѣ своими личными хлопотами. Онъ долженъ былъ поступить

въ Академію Генеральнаго Штаба. Безъ того, ему не было-бы ни служебной, ни денежной возможности оставаться въ Петербургѣ. Кромѣ того, для начальства очень важно ученое званіе чловѣка. Онъ долженъ былъ очень много хлопотать, чтобы ему позволили держать экзаменъ въ Академію: Нивельзинъ помнить, по правиламъ, для этого надо пробыть два года офицеромъ, а онъ произведенъ въ офицеры нынѣшнею весною. Чтобы сдѣлали для него исключеніе, ему надобно было найти себѣ какого-нибудь вліятельнаго начальника, который захотѣлъ-бы постараться. И вотъ, онъ нашелъ. Перемѣнилъ пѣхотный мундиръ на драгунскій, чтобы поступить подъ начальство этого чловѣка, былъ допущенъ къ экзамену, благодаря ему;—и какъ-бы думалъ Нивельзинъ, кто этотъ начальникъ, и почему старался такъ усердно, что выхлопоталъ позволеніе, почти невозможное?—Ученый, или добрякъ,—по сочувствію къ прогрессу, или по любви къ порядочнымъ людямъ?—Ни мало; это фрунтовики, грубый, закоснѣлый невѣжда, не имѣющій въ головѣ ничего, кромѣ фрунтовой муштровки. Онъ очаровалъ этого генераль-капрала своимъ мастерствомъ въ дѣланіи на караулъ, маршировкѣ. Тяжела была наука вытягивать носокъ, и казалась глупа: а вотъ, ей онъ обязанъ тѣмъ, что онъ теперь въ Академіи Генеральнаго Штаба,—слѣдовательно, остается въ Петербургѣ, и можетъ приняться вести свое дѣло.

Онъ принялся за него и пишетъ записку; конечно, въ двухъ видахъ: будетъ настоящая записка, подробная, дѣльная. Но она будетъ тяжеловѣсна. У кого изъ важныхъ людей достанетъ терпѣнія прочесть ее?—Потому, будетъ и другая записка, коротенькая. Онъ расскажетъ Нивельзину содержаніе большой записки.—Онъ сталъ рассказывать; у Нивельзина исчезло всякое сомнѣніе въ томъ, заслуживалъ ли энтузіастъ, чтобы сказать ему: „располагайте и моимъ вліяніемъ, и моимъ временемъ“. Содержаніе записки было богатымъ сводомъ безчисленныхъ и глубоко-обдуманыхъ фактовъ, объяснявшихъ вопросъ со всѣхъ сторонъ. Тутъ была исторія дисциплины и боевой годности всѣхъ важнѣйшихъ армій. Исторія каждой арміи доказывала, что тѣлесное наказаніе портитъ войско, ослабляетъ дисциплину, ведетъ къ проигрышу битвъ; что съ отмѣною тѣлеснаго наказанія буйные мародеры обращались въ послушныхъ, вѣрныхъ знаменамъ солдатъ, армія трусовъ обращалась въ армію храбрыхъ. Разсматривался каждый фактъ, который могъ бы казаться противорѣчащимъ этому. выводилось, что онъ не противорѣчитъ, а подтверждаетъ. Приводилось миѣніе десятковъ великихъ полководцевъ, замѣчательныхъ военныхъ администраторовъ, и оказывалось, что всѣ они признавали превосходство арміи безъ розогъ и шпицрутеновъ надъ арміею солдатъ съ избитыми спинами. Подробно разсматривались всѣ нравственныя особенности русскаго войска.

— Больше половины этого у меня написано; когда кончу, мы прочтемъ, Нивельзинъ; вы укажете ошибки, недостатки, сообщите миѣ новыя мысли, новые факты.

Нивельзинъ не видѣлъ ошибокъ въ мысляхъ; думалъ, что и въ обзорѣ фактовъ не будетъ пропусковъ; ему казалось—всѣ возможные доводы, всѣ возраженія предусмотрѣны и опровергнуты.

— Вамъ такъ показалось; я очень радъ. Но вамъ такъ показалось на первый взглядъ. Когда вы прочтете записку не разъ и не два, вы найдете



посоветовать многое. Вамъ надобно будетъ изучить эту записку, не жалѣя труда. Дѣло стоитъ того.

— Я буду дѣлать все, что вы почтете нужнымъ;—отвѣчалъ Нивельзинъ: скромность и дѣльность этого энтузіаста, его сильная, святая преданность дѣлу согрѣвала и Нивельзина.—Располагайте мною исполнѣ.

— Я ждалъ отъ васъ этого, потому что слышалъ о васъ, какъ о хорошемъ человѣкѣ. Вашу руку, Нивельзинъ.

Тенищева воспользовалась мгновеніемъ, на которое умолкъ ея укротитель, чтобы возобновить заглушенный имъ вопросъ:—Съ кѣмъ вы шли Нивельзинъ? это ваша невѣ...

— Да, съ кѣмъ вы шли, Нивельзинъ?—перебилъ Соколовскій.

— Это *madame* Волгина,—отвѣчалъ Нивельзинъ, произнося слово *madame* какъ можно вразумительнѣе для Тенищевой.

— Волгина!—воскликнулъ Соколовскій.—Можетъ быть родственница литератору?

— Онъ ея мужъ.

— Вы знакомъ съ Волгинымъ? Вы двойная находка для меня. Вы должны подружить меня съ нимъ.

По первому его восклицанію Нивельзинъ уже предвидѣлъ это заключеніе. Оно необходимо вытекало изъ принципа: хорошіе люди должны сближаться между собою. Притомъ же, Волгинъ располагалъ журналомъ: какъ могъ Соколовскій не накинуться на такую привлекательную добычу? Но не грѣшно ли будетъ ввести въ кабинетъ Волгина человѣка, заговорившаго саму Тенищеву? Волгинъ смиренъ до беззащитности. Онъ не имѣетъ духа никому дать замѣтить, что ему некогда. А Соколовскій не очень слушался бы, еслибъ ему и прямо говорить: „извините, мнѣ теперь некогда“. Съ нимъ Соколовскій будетъ экспансивнѣе, нежели съ кѣмъ-нибудь: Соколовскій такъ и говоритъ съ перваго слова, что хочетъ „подружиться“ съ нимъ.—Отговариваться бесполезно: Соколовскій не затруднится и самъ забраться къ нему. Было одно средство спасти Волгина отъ безпощаднаго энтузіаста:

— Я позову къ себѣ Волгина, если вы хотите. Когда у васъ будетъ свободный вечеръ?—Для него всѣ вечера равны: всѣ наполнены спѣшною работою. Онъ постоянно заваленъ спѣшною работою, съ утра до ночи. Но такъ и быть, я отниму у него одинъ вечеръ, если это необходимо.—Когда?

— Нынѣ же, о чемъ тутъ спрашивать? Нынѣшнимъ вечеромъ я хотѣлъ быть въ домѣ, гдѣ надѣялся встрѣтить одного изъ членовъ Совѣта Военнаго Министерства. Но для Волгина можно отложить это. Пришло, къ нашему счастью, время, что журналистъ—сила, важнѣе всякихъ министровъ!—Вы позовете его нынѣ вечеромъ.

— Хорошо.

— Благодарю.—Соколовскій схватилъ въ свои ужасные тиски злополучную руку Нивельзина.

— Такъ это *madame* Волгина!—Жадно уловила Тенищева возможность ожить изъ принужденной летаргіи:—*Madame* Волгина! Я увѣрена, что я слышала о ней, что кто-то звалъ меня къ ней! Кто звалъ? Княгиня Масальская, или баронесса Штраль? или скорѣе баронесса Вейсгауптъ?..



„Теперь можешь болтать, нечего бояться“. думаль Нивельзинъ. — Вѣроятно, и Соколовскій разсудилъ, что нечего опасаться, когда сказано, что madame Волгина—madame Волгина, жена человѣка, который такъ живъ и здоровъ, что будетъ нынѣ вечеромъ у Нивельзина.

— Такъ, такъ!—начала успокоиваться отъ своихъ сомнѣній Тенищева, перебравши десятокъ дамъ, каждая изъ которыхъ могла звать ее къ Волгиной.—Такъ, я убѣждена, что это говорила мнѣ графиня Тарновская! Да, да: графиня Тарновская говорила, что очень дружна съ нею, и въ восторгѣ отъ нея!—Милая, эта графиня Тарновская! О, по ея словамъ, я очень хорошо знала madame Волгину. Такъ вотъ она, madame Волгина. А мы съ Соколовскимъ думали, что это ваша невѣста! Ахъ, какъ жаль, Нивельзинъ, что мы ошиблись! Мы были такъ рады за васъ! Мы...

— Алина Константиновна,—началь Соколовскій внушительнымъ тономъ

— До свиданія,—сказаль Нивельзинъ, и пошелъ прочь.

Въ своей, какъ теперь оказалось, ложной безопасности, они оба были застигнуты такъ врасплохъ внезапнымъ возобновленіемъ атаки, что прежде нежели успѣли принять свои мѣры, Тенищева успѣла уже довольно хорошо оправдать мнѣніе Соколовскаго, что настойчивость достигаетъ успѣха.

Тогда, Нивельзинъ утайлъ отъ Волгиной этотъ эпизодъ. Но впоследствии времени могъ и разсказать его, и признаться, что былъ взбѣшенъ.

Было еще рано возвращаться къ Волгинымъ обѣдать. Да онъ и былъ не въ такомъ расположеніи духа, чтобы спѣшить къ нимъ. Онъ пошелъ по Невскому, въ направленіи, противоположномъ тому, въ какомъ бросилъ идти Соколовскаго къ Тенищевой. Но скоро его бѣшенство смѣнилось грустью, тѣмъ болѣе горькою, что онъ и сердился на себя за то, что она овладѣла имъ. Вѣроятно, ему попадались знакомые. Онъ не замѣчалъ...

— Алина Константиновна раздосадовала васъ;—раздалось у его уха.— Это былъ голосъ Соколовскаго. Нивельзинъ оглянулся; такъ: не одинъ Соколовскій тутъ; попржнему виситъ на рукѣ у него Тенищева. Потъ лился съ лица несчастной, лился ручьями; должно быть, скакала галопомъ въ погоню. Сама скакала и мчала Соколовскаго, или онъ гналъ ее?—Но и то хорошо съ его стороны, если только дозволилъ ей, а не самъ погналъ!—„А мнѣ еще показалось, когда онъ останавливалъ ея умный языкъ, что онъ не совершенно отрѣшился отъ понятій: умѣстно и неумѣстно“, подумаль Нивельзинъ, безжалостный въ своемъ ожесточеніи.—Но Соколовскій преспокойно объяснялся съ основательностью, которая сдѣлала бы честь самому Волгину:—Алина Константиновна раздосадовала васъ. Она говоритъ иногда лишнее, Нивельзинъ, говоритъ некстати, неосторожно, и много вредитъ себѣ своимъ простодушіемъ. Но дурные люди не бываютъ простодушны;—вспомните это, Нивельзинъ.

— Помилуйте, Соколовскій, съ чего вы взяли ставить меня въ такое неловкое отношеніе къ Алинѣ Константиновнѣ?—отвѣчалъ Нивельзинъ, по возможности равнодушно:—Я простился съ нею и съ вами единственно потому, что въ ту минуту мимо насъ прошелъ одинъ изъ моихъ друзей, котораго надобно было догнать, чтобы переговорить объ очень важномъ дѣлѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ!—вступила въ свою роль Тенищева, заклипываясь отъ одышки. и тѣмъ торопливѣе работая языкомъ въ интервалы:—Нѣтъ, нѣтъ.

Нивельзинъ, не спорьте! Онъ го-хх-ворилъ мнѣ, что вы будете отрекаться, но я знаю теперь: вы у-хх-шли потому, что разсердились на меня. Я не за-хх-мѣтила, чѣмъ могла огорчить васъ, да и не подумала, что-хх-вы разсердились. Но Соколовскій говоритъ правду. Пусть мы оба дума-хх-ли, что это ваша невѣста. Но не слѣдовало спрашивать: спраши-хх-вать, значитъ навязываться на интимность, а это не-хх-деликатно, говоритъ онъ, и это правда, я понимаю. Онъ два раза и останавливалъ меня, но я не догадалась. Еще непросты-хх-тельнѣе было, что я сказала, когда уже знала, что-хх-мы ошибались. Я понимаю, что это должно было огорчить-хх-васъ. Но не сердитесь, Нивельзинъ: я не нарочно раздоса-хх-довала васъ. У меня нѣтъ этой привычки, говорить что-ни-хх-будь нарочно въ досаду. Я не умѣю этого, Нивельзинъ. я-хх-...

Соколовскій съ одобреніемъ глядѣлъ на нее: прекрасно говоритъ свой урокъ; понятливая ученица.—Нивельзину было уже забавно:—дура,—и чело-вѣкъ очень умный; пустѣйшая,—и чрезвычайно серьезный: но пара достойная другъ друга: оба люди золотого вѣка въ желѣзномъ.

— Смѣю увѣрить васъ, Алина Константиновна, Соколовскій совершенно ошибался и понапрасну разстроилъ васъ. Вы не сказали ничего неловкаго.

— Нѣтъ, нѣтъ! Когда онъ растолко-хх-валъ, не обманете меня. Но я увѣрена и въ томъ, что онъ при-хх-бавилъ: вы полюбите меня, когда больше узнаете. Вы тогда не будете прини-хх-мать въ досаду, если у меня вырвется неосторожное сло-хх-во. А сказала отъ искренней души, какъ же не пожалѣть...

— Бросимъ это, Алина Константиновна;—ласково, но незаглушимо вступился въ дѣло губернерь, видя, что ученица выбивается изъ роли на свою дорогу:—Нивельзину неловко слушать ваши извиненія, а вамъ нѣтъ надобности продолжать ихъ, потому что онъ уже не сердится.—Да, когда вы побольше узнаете Алину Константиновну, Нивельзинъ, вы оцѣните ее доброе, безгранично доброе сердце, безхитростное, благородное. Она изумила меня младенческою чистотою своей души, юношескою пылкостью въ сочувствіи всему честному и полезному. По пріѣздѣ въ Петербургъ я долго пренебрегалъ возможностью познакомиться съ нею. Въ числѣ двухъ, трехъ десятковъ рекомендательныхъ писемъ мнѣ дали одно къ „фрейлинѣ“ Тенищевой. Согласитесь, чего хорошаго искать во фрейлинѣ, жалчайшемъ порожденіи испорченнаго порядка вещей?—Фрейлина, пожалуй, пригодилась бы мнѣ, подумалъ я, если бы могла слышать отъ меня пошлыя нѣжности и найти удовольствіе въ нихъ. Но съ моею ли наружностью очаровывать пустыхъ женщинъ пустыми комплиментами?—Къ чему могла бы служить мнѣ фрейлина?—Я бросилъ письмо къ ней. Но вотъ недѣли двѣ тому назадъ, вытаскивая изъ-подъ матраца грязное бѣлье, отдать прачкѣ...

„Творецъ небесный!—Подкрѣпи меня выслушать, въ какой штукѣ бѣлья найдется письмо!“ подумалъ Нивельзинъ.— Но случай былъ менѣе ужасенъ, нежели могъ бы быть.

Вытаскивая изъ-подъ матраца рубашку,—продолжалъ Соколовскій,—онъ ощущалъ въ ней жесткій листокъ, тряхнулъ ее—выпало письмо. Онъ подумалъ надъ нимъ, и рѣшилъ: не измѣнять своему правилу, что вездѣ, вездѣ надобно искать хорошихъ людей. Поѣхалъ къ Тенищевой, и, наперекоръ вся-

кому вѣроятію, нашелъ въ ней хорошаго человѣка, — и не только хорошаго, чрезвычайно полезнаго. Она тотчасъ же взялась хлопотать за его проектъ...

„Но это, наконецъ, Богъ знаетъ что!“ думалъ Нивельзинъ. „Дѣлать эту, положимъ, добрѣйшую, но пустѣйшую и глупѣйшую женщину двигательницею дѣла, такого серьезнаго, труднаго, важнаго! Разсужденіе о фрейлинѣ при фрейлинѣ и даже исторію грязнаго бѣлья я выдержалъ. Но этого, если это будетъ продолжаться, не выдержу, кажется“. — „Это“ продолжалось: Соколовскій хоть и горячо по своей натурѣ, но съ полнѣйшимъ спокойствіемъ за здравый смыслъ своихъ словъ, радовался и радовался, какую ревностную помощницу нашелъ онъ въ Алинѣ Константиновнѣ, пылко сочувствующей всему гуманному и прогрессивному... Нивельзинъ почувствовалъ наконецъ, что ему не остается выбора: расхохочется, если не остановитъ наивнаго энтузіаста.

— Но, я думаю, военно-уголовные законы были довольно чужды кругу занятій Алины Константиновны, и ваши мысли остаются нѣсколько темны для нея?

— Конечно, прежде она не думала о возможности и важности этой реформы;—отвѣчала Соколовскій, какъ ни въ чемъ не бывало.—Но она отдалась дѣлу всею душою.—Правда и то, что, попросивъ ее разсказать мнѣ, какъ она передаетъ свои убѣжденія другимъ, я замѣтилъ, что она не вполне овладѣла фактами, необходимыми для ея новой дѣятельности, и не совершенно отчетливо представляетъ себѣ связь между ними. Но тутъ нѣтъ ничего, чтобы надобно было отчаяваться; нельзя же упомнить все съ перваго раза. Я повторяю ей существенные доводы, и мы съ нею будемъ говорить снова и снова, пока все станетъ ясно для нея. Терпѣніе;—обратился онъ съ одобреніемъ къ своей ученицѣ: — Нужно только терпѣніе, какъ оно и всегда во всемъ необходимо человѣку, желающему быть полезнымъ.—Я очень доволенъ ея терпѣніемъ и внимательностью;—похвалилъ онъ ее Нивельзину, для лучшаго ея поощренія.

Волгинъ заливался ругадами, украшая множествомъ очень остроумныхъ шутокъ разсказъ Нивельзина о Тенищевой и ея учителѣ. Потомъ сталъ горячо благодарить Нивельзина, когда услышалъ, какъ избавляетъ его Нивельзинъ отъ нашествія Соколовскаго; при этомъ не упустилъ случая помотать головою и повздыхать о своей безхарактерности, по которой не можетъ защищаться отъ скучныхъ посѣтителей, отнимающихъ у него время; не замедлил утѣшиться въ этомъ замысловатую острою, что Павелъ Михайлычъ необыкновенно обидѣлъ его, принявши его за мокрую курицу, которая не могла бы сама отбиться отъ Соколовека, и послѣ того сталъ опять заливаться на все возможные и невозможные для обыкновеннаго человѣческаго горла тоны, съ несравненнымъ и неистощимымъ остроуміемъ поясняя Нивельзину и женѣ, какой смѣшной человѣкъ Соколовскій. Нивельзинъ кончилъ разсказъ, а Волгинъ все еще сыпалъ превосходнѣйшія шутки на эту тему, и награждалъ себя за нихъ самымъ усерднымъ образомъ, пока не заболѣли у него бока отъ хохота.

— Я молчала, мой другъ, потому что радуюсь, когда ты весель; хоть у тебя невыносимый голосъ; все равно, рада, — сказала жена. — Но теперь замѣчу, мой другъ, что вы съ Нивельзинымъ слишкомъ легко судите о наив-



ности Соколовскаго. Онъ увлеченъ своими мыслями, поэтому дѣлаетъ и говорить много забавнаго. Но судя по вашему же разсказу, Нивельзинъ, онъ вовсе не такой простодушный, какимъ вообразили его вы и Алексѣй Ивановичъ. Онъ искрененъ, благороденъ, преданъ своему дѣлу безкорыстно, до самоотверженія,—въ этомъ смыслѣ онъ простодушенъ,—въ хорошемъ смыслѣ слова, но только въ хорошемъ; никакъ не въ смѣшномъ. Онъ умѣетъ вести дѣла, и. по всей вѣроятности, очень умѣетъ понимать людей.

— Въ вашемъ характерѣ нѣтъ насмѣшливости, и вы любите вступаться за тѣхъ, надъ кѣмъ смѣются;—сказалъ Нивельзинъ.—Но...

— Позвольте, Павелъ Михайлычъ;—не замедлилъ перебить его Волгинъ:—Согласенъ, Лидія Васильевна не насмѣшлива, и любить вступаться. согласенъ. Но дѣло не въ этомъ: точно, мы съ вами нѣсколько не доглядѣли. Она говоритъ правду. Соколовскій человѣкъ очень практичный.

— Помилуйте, Алексѣй Ивановичъ...—началъ было Нивельзинъ.

— Нечего миловать, Павелъ Михайлычъ. Лидія Васильевна говоритъ правду. Если судить правильно, по всему видно, что онъ человѣкъ очень практичный. Подумайте-ка вы самъ хоть о томъ, что онъ умѣлъ устроить свое дѣло о поступленіи въ Академію, а вы самъ знаете лучше меня, это было дѣло очень трудное. Все разуудилъ, все обработалъ. Какъ сдѣлать?—Надобно прискаты сильнаго протектора. Что это, наивный или практическій взглядъ на вещи?—И нашеть, и очаровать,—чѣмъ?—Экзальтаціею, благородствомъ, умою?—Нѣтъ-съ, извините: на этомъ, говорить, далеко не уѣдешь съ такими олухами,—покажу я ему, говорить, какъ я марширую и выдѣлываю ружьемъ. Это наивность или практичность?—Да и все разбирайте,—во всякомъ поступкѣ, тоже; и результатъ берите: въ четыре, въ пять мѣсяцевъ, прапорщикъ.—или въ драгунахъ они называются корнетами?—оговорился онъ съ обычной основательностью:—прапорщикъ или корнетъ, безъ гроша денегъ. въ заштопанномъ сюртукѣ,—куда пробрался?—сами сказали: „буду на вечерѣ, гдѣ увижу члена военнаго совѣта“—ого!—какъ вамъ это нравится?—И по Невскому гуляетъ,—съ кѣмъ?—съ фрейлиною, въ собольей шубѣ!—тоже недурно для оборваннаго армейскаго прапорщика, недурно.

— Но, помилуйте же, Алексѣй Ивановичъ; эта самая Тенищева:—въ какомъ свѣтѣ выставляется его практичность? восторгомъ отъ того, что онъ приобрѣлъ себѣ прекраснѣйшую, полезнѣйшую сотрудницу въ Тенищевой!—Пусть еще была-бъ она молода, имѣла бы поклонниковъ,—тогда, пожалуй, можно бы ждать какой-нибудь пользы отъ ея усердія. Но—пожилая женщина, никому неинтересная, всѣмъ надѣвшая пустою, невыносимою болтовнею, справедливо заслужившая у самыхъ глухихъ людей репутацію, что она еще гораздо глупѣе ихъ.—Восхищаться ея усердіемъ, ждать отъ нея пользы.—это имѣетъ смыслъ?

— Для васъ, Павелъ Михайлычъ, это смѣшно. потому что вы не родились агитаторомъ; и для меня это отчасти забавно, потому что я слишкомъ вялый человѣкъ: знаете, я люблю смѣяться надъ тѣмъ, на что не хватаетъ энергіи у меня. Агитаторы мнѣ смѣшны. Но всѣ ваши сомнѣнія и мои насмѣшки ровно ничего не значатъ. Она пуста—такъ что же?—и пустые люди въ искусныхъ рукахъ бывають полезны. лишь были бы усердны. Онъ умѣлъ



заставить ее усердствовать, и будетъ польза, потому что она скачетъ по его командѣ,—по глупости, оступится, кинется въ сторону,—онъ поднялъ, повернулъ на дорогу,—и скачетъ опять, какъ ему надобно.—Нельзя-съ, умныхъ людей не наберешь столько, сколько надобно орудій агитатору; онъ долженъ нянчиться и съ глупыми.—„Но никто не уважаетъ ее“.—Пусть, а ему какая надобность?—Все равно, когда это ей не остановка: лѣзетъ ко всякому и барабанить.—„Но никто не слушаетъ ея“.—Слушай, не слушай, поневоля кое-что услышишь, когда трещить надъ ухомъ.—Помилуйте, умными ли людьми пользуются умные люди, чтобы подымать шумъ? Нѣтъ, умные люди не годятся быть волюнками: взявъ подъ мышку, налегай, волюнка и дудить,—глупые удобнѣе для этой роли. Невозможно вести пропаганду безъ помощи дураковъ и дурь; ими все дѣло красится и цвѣтеть.

— Въ вашихъ словахъ много правды,—согласился Нивельзинъ.

— Нельзя, чтобы не было, Павелъ Михайлычъ; и читаль, и думаль объ этихъ нелѣпостяхъ,—отвѣчалъ Волгинъ, и задумался.

— Прибавь, мой другъ, она живетъ у Илатонцева;—замѣтила жена.

— Это удивительно! — воскликнулъ онъ съ ожесточеніемъ и покачалъ головою.—Всегда самое-то главное и оставляю безъ вниманія! Само собою, Павелъ Михайлычъ, все, что я говорилъ о пользѣ отъ языка самой Тенищевой—мелочь, вздоръ. Естественно, нѣкоторую пользу можетъ принести, но совершенно незначительную. Конечно, у него не тотъ расчетъ. Въ чемъ же?—Очень просто: онъ осѣдлалъ ее, сѣлъ верхомъ и поѣхалъ,—куда же, позвольте спросить, вѣхалъ онъ на ней?—Въ салоны Илатонцева. Она вѣруеть въ него, потому, онъ свой въ домѣ Илатонцева. Приѣдетъ Илатонцевъ, какимъ обществомъ наполнятся салоны? — Члены Государственнаго Совѣта, министры, генераль-адъютанты. А онъ тамъ свой.—Какъ же вы полагаете: есть разница, мелкій офицеръ подаетъ бюрократическимъ порядкомъ докладныя записки въ руки мелюзгѣ,—или свѣтскій знакомый говорить съ знакомыми въ такомъ домѣ, куда они лѣзутъ съ усердіемъ, и гдѣ онъ чуть не хозяинъ?—Какъ находите, Павелъ Михайлычъ: не практиченъ этотъ расчетъ?—А мы съ вами: „Тенищева дура!“—Кто же простякъ, онъ или вы?—О себѣ я не говорю.

— Въ самомъ дѣлѣ, такъ;—сказалъ Нивельзинъ.

— То-то же,—глубокомысленно подтвердилъ Волгинъ. Онъ былъ хорошъ тѣмъ, что если и не замѣчалъ иногда что-нибудь самъ,—это, иногда случалось,—то какъ только покажутъ ему, сейчасъ же замѣчалъ и усердно объяснялъ. Въ объясненіяхъ онъ былъ такъ же силенъ, какъ въ остроуміи.—Да,—продолжалъ онъ, погружаясь въ размышленіе:—не знаю, сознательно ли руководится такимъ расчетомъ Соколовскій, или просто повинуется инстинкту своей агитаторской натуры. Вѣроятнѣе, просто инстинктъ. Претъ его инстинктъ, онъ и лѣзетъ,—какъ лунатикъ,—но только, вы знаете, лунатикъ пробирается такъ ловко и вѣрно, что самый отличный акробатъ не сумѣетъ такъ пройти.—Да, можетъ быть, онъ такъ же непрактиченъ, какъ я, во всемъ, чего не подсказываетъ ему инстинктъ. Но въ немъ есть инстинктъ политическаго дѣятеля,—качество, котораго не найдете вы ни въ одномъ изъ нашихъ либераловъ.

— Думаешь ли ты, мой другъ, что онъ понравится тебѣ?—спросила жена, начинала дѣлать чай. Волгинъ любилъ пить чай послѣ обѣда.

— Это очень можетъ быть, голубочка. Если сказать правду, я почти увѣренъ въ этомъ.

— Если онъ понравится тебѣ, ты не бойся, пригласи его, пусть бываетъ у тебя, и самъ иногда заходи къ нему, чтобы онъ видѣлъ, что его знакомство пріятно тебѣ. Тебѣ нужно развлеченіе, и я была бы очень рада, еслибы ты нашелъ хоть одного человѣка, разговоры съ которымъ доставляли бы тебѣ удовольствіе и отдыхъ, а не скуку и утомленіе, какъ съ другими. Не опасайся, что онъ будетъ когда-нибудь въ тягость тебѣ. Пусть онъ совершенно неспособенъ замѣчать самъ, есть тебѣ время болтать съ нимъ, или нѣтъ; но навѣрно, онъ выше всякой мелочности. Если тебѣ некогда, я буду говорить ему: „уйдите, мужу некогда“, и онъ не будетъ въ претензіи; напротивъ, будетъ любить, что съ нимъ обращаются искренно.

— Твоя правда, голубочка,—сказалъ мужъ, подумавши.—Ну, посмотримъ.—Если понравится, не буду уклоняться отъ него.

Пришелъ Мироновъ, съ двумя или тремя товарищами. Стали сговариваться о томъ, чтобы устроить маленький концертъ.—Мироновъ хорошо игралъ на скрипкѣ. У Нивельзина была скрипка: онъ самъ былъ отчасти и виртуозъ, кромѣ того, что порядочно пѣлъ. Послали за нею.

Волгинъ, напившись чаю, пошелъ въ кабинетъ. Черезъ полчаса вышелъ въ залъ, дождался пока кончилась пьеса, и сказалъ Нивельзину:

— Сейчасъ мнѣ вздумалось, не къ Соколовскому ли относятся рассказы, которые я слышалъ отъ одного старичка-поляка, присланнаго на житье въ городъ, гдѣ я служилъ передъ женитьбою и переселеніемъ въ Петербургъ. Наружность, лѣта, характеръ, ссылка въ оренбургскіе батальоны солдатомъ, все сходится у Соколовскаго съ Болеславомъ, какъ называлъ старичекъ того своего родственника. Мнѣ тогда не пришло въ голову спросить фамилію. Полагалъ, тоже Зелинскій, какъ звали старичка.—Не случилось вамъ узнать, какъ имя Соколовскаго. Болеславъ?—И не рассказывалъ онъ вамъ ничего о дѣлѣ, по которому былъ сосланъ?

Нивельзинъ отвѣчалъ: „нѣтъ“.—Волгинъ сталъ дѣлать другіе вопросы: Не случилось ли Соколовскому упомянуть откуда онъ родомъ?—Не съ Волыни ли?—Былъ ли онъ въ университетѣ? и въ какомъ? не въ петербургскомъ ли?

То и другое такъ,—припомнилъ теперь Нивельзинъ.—Соколовскій упоминалъ, что пріѣхалъ въ Петербургъ позже, нежели мочъ. Когда его выпустили изъ Оренбурга, онъ проѣхалъ на Волынь, и зажилъ тамъ дольше, нежели думалъ. Тамъ у него мать, еще бодрая старушка, и сестра, больная, отъ самаго дѣтства почти не встающая съ постели.—По разговору его видно было, что передъ ссылкой онъ жилъ нѣсколько лѣтъ въ Петербургѣ, а передъ самую ссылкою уѣзжалъ на родину. Онъ выразился, что его провезли мимо дома, гдѣ жила мать и сестра, и не позволили видѣться съ ними.

Все это совершенно такъ. Очевидно было, Соколовскій—тотъ Болеславъ, о которомъ говорилъ Зелинскій.

— Не мѣшай намъ,—сказала Волгина мужу.—Или перестань говорить

съ Нивельзинымъ. и пусть онъ опять поетъ, или уведи его къ себѣ: мы обойдемся и безъ него.

— Я пойду къ Алексѣю Ивановичу,—сказалъ Нивельзинъ.—Мнѣ любопытно все, что относится къ Соколовскому.

Въ 1848 году, студентъ петербургскаго университета, полякъ,—не Зелинскій, какъ прежде предполагалъ Волгинъ по ошибочной, но очень естественной догадкѣ, а Соколовскій, отправился провести каникулы на родинѣ—на Волини. Самъ онъ не имѣлъ ничего; помѣстье его отца было конфисковано послѣ возстанія 1830 года, когда былъ и убитъ отецъ, собравшій партію изъ крестьянъ, своихъ и сосѣднихъ. Но разные родственники его благополучно остались помѣщиками. Ихъ имѣнья лежали вообще недалеко отъ галиційской границы. Соколовскій былъ въ гостяхъ у одного изъ этихъ родныхъ, именно у того самаго Зелинскаго, который впоследствии разсказывалъ все это Волгину. У Зелинскаго былъ вечеръ. Прямо съ вечера Соколовскій поѣхалъ гостить къ другому родственнику; поѣхалъ, по обычаю небогатыхъ людей того края, на телѣгѣ или фурѣ еврея. Другой еврей, бывшій во враждѣ съ этимъ, донесъ на своего недруга, что онъ взялся провести какого-то студента-поляка за границу. Обвиненнаго еврея арестовали на дорогѣ; также и Соколовскаго. Соколовскаго повезли въ Петербургъ и тамъ рѣшили: сослать въ солдаты въ оренбургскіе батальоны, по подозрѣнію въ намѣреніи уѣхать за границу. Буквально такъ было сказано въ рѣшеніи. Зелинскій справлялся и хлопоталъ; онъ имѣлъ тогда и деньги и знакомыхъ, да и самъ онъ пользовался уваженіемъ: его послали на житье въ Россію уже годомъ позже, за то, что онъ помогалъ платемъ и деньгами проводимымъ чрезъ Волинь полякамъ, взятымъ въ плѣнъ въ Венгерскую кампанію. Въ 1848 году на него смотрѣли еще хорошо. Ему не трудно было узнать всю правду о своемъ родственникѣ. Буквально такъ: „по подозрѣнію въ намѣреніи“.

— По подозрѣнію въ намѣреніи—сослать въ солдаты!—повторилъ Нивельзинъ:—Замѣчательный приговоръ.

— Не столько замѣчательный, сколько прискорбный,—флегматически возразилъ Волгинъ.—Не замѣчательнъ, потому что въ немъ нѣтъ ничего особеннаго. Но огорчительно, что наши производители дѣлъ такъ плохо владѣютъ перомъ, по недостатку просвѣщенія. Вудь люди просвѣщенные, конечно, догадались-бы иначе. Напримѣръ: „по соображенію обстоятельствъ, показывающихъ, что его поѣздка была исполненіемъ замысла эмигрировать“, согласитесь, тутъ было бы все, какъ требуетъ доброе приличіе. „По соображенію обстоятельствъ, показывающихъ“—не можете не понимать, что были улики. Правда, ихъ не было. Но въ приговорѣ и не говорилось бы, что онъ были. Истина не была бы нарушена. А все-таки, нельзя было бы не понимать, что улики были. И дальше: „показывающихъ, что его поѣздка была исполненіемъ замысла“—о-го!—Это уже не то, что „намѣреніе“. Намѣреніе, согласенъ, вздоръ, пустая мысль; за мысли нельзя наказывать, наказывать строго—говорятъ одни, вовсе нельзя наказывать—говорятъ другіе.—Но „исполненіе замысла“ это—фактъ; преступленіе уже совершилось.—Да, и все было бы прекрасно: обнаруженъ преступ-



ный фактъ; наказаніе справедливо. А они, какъ люди необразованные, брякнули „по подозрѣнію въ намѣреніи“—то-есть, безъ всякаго основанія. Да, огорчительно: считаемся во всей Европѣ варварами за то, что не умѣемъ владѣть перомъ. Обидно, прискорбно. Но погодите, просвѣтимся; будемъ выражаться благовиднѣе.

Нивельзинъ горько улыбнулся.—Вы умѣете быть золь.

— Я, золь?—Волгинъ покачалъ головою.—Я кажусь вамъ золь потому, что вы видите вокругъ себя все только невинныхъ младенцевъ; да и сами вы, извините, тоже невинный младенецъ. Умно то общество, въ которомъ я кажусь рѣзкимъ и ѣдкимъ! Я, цыпленокъ,—золь!—Хороши птицы, среди которыхъ цыпленокъ—ястребъ! Невинные, невинные.—Онъ опять покачалъ головою:—Ну и что же?—Вы, дѣйствительно, такъ невиненъ Павелъ Михайлычъ, что повѣрили: „по подозрѣнію въ намѣреніи“, могли сослать въ солдаты? Невиннымъ людямъ воображаются вездѣ оборотни, люди-звѣри. Людей-звѣрей нѣтъ. Нѣтъ такихъ жестокихъ людей, которые бы захотѣли дѣлать вредъ, наносить страданіе безъ надобности. Сослать въ солдаты „по подозрѣнію въ намѣреніи“ сдѣлать такой ничтожный и неопасный поступокъ—эмигрировать,—это невозможно,—само собою, это было только предлогомъ, пустымъ предлогомъ. Естественно, должно было быть и резонное основаніе. Оно осталось не высказано въ приговорѣ,—по необразованности, не нашли, какъ выразить его. А оно было резонное, справедливое.

Волгинъ бросилъ шутовство, и сталъ опять рассказывать серьезно.

— Соколовскій былъ арестованъ по подозрѣнію въ замыслѣ, не имѣвшемъ ничего ни опаснаго, ни важнаго. Великъ былъ бы убытокъ, если бы юноша и хотѣлъ и успѣлъ эмигрировать!—Кому страхъ отъ этого? А доносъ былъ голословный. Уликъ не нашлось. Поэтому, люди, рѣшавшіе судьбу Соколовскаго, были расположены очень добродушно принимать его оправданія. Онъ оправдывался умно и успѣлъ убѣдить ихъ, что доносъ былъ вздорною выдумкою. Съ нимъ стали говорить уже не какъ съ подсудимымъ, а просто такъ, для препровожденія времени, потому что кому же не бываетъ пріятно потолковать о всякой всячинѣ съ умнымъ человѣкомъ? Онъ разсуждалъ обо всемъ очень основательно, по мнѣнію своихъ судей; пріобрѣлъ ихъ уваженіе, хоть былъ еще юноша. „Скажите—стали они спрашивать его:—почему не все молодые люди имѣютъ такой умѣренный, прекрасный образъ мыслей, какъ вы?—Скажите, какія бы мѣры могли быть наиболѣе полезны для предотвращенія развитія безразсуднаго образа мыслей въ молодыхъ людяхъ?“ Онъ сталъ объяснять, что существенная причина увлеченій неосновательными мыслями—недостатокъ основательныхъ знаній.—Наука стѣснена, и молодые люди не имѣютъ почти никакой возможности пріобрѣтать здравыя политическія убѣжденія. Надобно освободить мысль—и она сдѣлается спокойною, мирною.—Онъ отвѣчалъ съ такою же искренностью, съ какою спрашивали его, и спрашивавшіе, хоть не были привычны къ подобнымъ взглядамъ, хоть и не были люди образованные, но все же имѣли здравый смыслъ и житейскую опытность. Имъ казалось, что въ его словахъ много справедливаго. Пошли разговоры подобнаго рода,—и кончились тѣмъ, что друзья слушатели Соколовскаго, къ собственному прискорбію, увидѣли себя обязанными отправить его въ Оренбургъ.



— Его обманывали, завлекали,—говорили съ нимъ только для того, чтобы запутать его!—сказалъ Нивельзинъ.—Хотѣли сослать, не имѣли уликъ, и выманили у него какія-нибудь неосторожныя слова.

— Обыкновенная манера нашихъ прогрессистовъ, да и не нашихъ однихъ! и въ Европѣ тоже умны! Бросьте эту манеру, Павелъ Михайлычъ. Консерваторы, даже реакціонеры, вовсе не такіе хитрецы и злодѣи, какими воображаютъ ихъ либералы. Ни у кого не было охоты ссылатъ Соколовскаго. Думали освободить его. Но съ обѣихъ сторонъ поступили неосторожно: заговорились, увлеклись. Ошибка, согласенъ. Но ошибка очень естественная: они, вмѣсто дикаго революціонера, увидѣли человѣка умѣреннаго; онъ, вмѣсто злодѣевъ, увидалъ людей далеко не злыхъ. Пріятная неожиданность съ обѣихъ сторонъ— и поддались впечатлѣнію, вообразили, что могутъ понимать другъ друга. Въ этомъ и вся бѣда. Если бы врагами процесса были только злые люди! если бы въ борьбѣ за него надобно было побуждать только интриги, коварства!—о, тогда было бы такъ же хорошо, какъ если бы противниками консерваторовъ были только наши господа либералы! Все шло бы впередъ и быстро, и спокойно. Консерваторы не затруднялись бы производить улучшенія, —чего же затрудняться; когда нѣтъ въ перспективѣ ничего опаснаго ни для чьей головы, ни для чьего кармана? и жизнь народа облегчалась бы самымъ отраднымъ образомъ.

— По вашему мнѣнію, могло-бы, напимѣръ, не быть убытка для помѣщиковъ отъ освобожденія крестьянъ?

— Ну, когда рѣчь пошла объ освобожденіи крестьянъ, со стыдомъ умолкаю;—остроумно отвѣчалъ Волгинъ, и залился рудою.—Я уже имѣлъ честь докладывать вамъ, Павелъ Михайлычъ, что вся цѣнность всѣхъ помѣщичьихъ имѣній, по свободнымъ рыночнымъ цѣнамъ, не составляетъ полуторы тысячи милліоновъ. Государству, имѣющему 70 милліоновъ жителей, затрудняться платежомъ какихъ-нибудь полторы тысячъ милліоновъ! Но, я докладывалъ вамъ, что помѣщичьи пальчики облизали-бы, залясали бы отъ восторга отъ полученія суммы, несравненно меньшей. Вы знаете...

— Ты увель Нивельзина говорить о дѣлѣ, а вотъ, уже хохочешь;—сказала Волгина, входя въ кабинетъ.—Кончилъ дѣло, и забавляешь Нивельзина сказочками, по своему обыкновенію?—Подавай же намъ его, намъ необходимо первый теноръ.—Идите, Нивельзинъ.

— Правда твоя, голубочка: я начиналъ забавлять себя и Павла Михайлыча сказками,—отвѣчалъ мужъ, и залился рудою въ одобреніе удачной шуткѣ; потому что онъ глубоко былъ убѣжденъ, что съострился очень тонко и удачно.

Нивельзинъ ушелъ домой много раньше времени, которое назначилъ Соколовскому. Онъ полагалъ, что энтузіастъ, при нетерпѣннн подружится съ Волгинымъ, можетъ пріѣхать, пожалуй, и цѣлымъ часомъ прежде, нежели условился. А Волгинъ хоть и общался Нивельзину прійти въ девять часовъ, нѣсколько запоздалъ, и запоздалъ-бы гораздо больше, если-бы жена не помнила времени за него.

Она привыкла къ тому, что мужъ вѣчно забываетъ обо всемъ за работою, и въ девять часовъ пришла сказать ему, что пора идти. Но онъ не работалъ, а лежалъ на своемъ диванѣ; и не читалъ, а думалъ, чѣмъ занимался

очень рѣдко, когда бывалъ одинъ. Онъ былъ любитель и мастеръ погружаться въ глубокия размышленія, но только среди разговоровъ. Когда онъ былъ одинъ, его глубокомысліе вообще не находило себѣ никакой пищи.

— Что-жъ это?—Ты спалъ, мой другъ?

— Неужели девять часовъ? не спалъ, голубочка, а думалъ объ этомъ Соколовскомъ. Онъ долженъ быть очень замѣчательный человѣкъ. Естественно, я не рассказывалъ Нивельзину, почему я такъ думаю. Нивельзину я рассказывалъ только пустяки, которые, конечно, рассказываетъ о себѣ и самъ Соколовскій, то, что можно и должно говорить передо всѣми. Но Зелинскій полагался на меня, и говорилъ больше. Видишь-ли, Соколовскаго судили за намѣреніе эмигрировать, и не уличили въ этомъ. Да и точно, онъ вовсе не хотѣлъ эмигрировать. Напротивъ. Тутъ было совершенно другое намѣреніе. Видишь-ли, голубочка; въ 1848 году...

— Надоѣлъ ты мнѣ, мой другъ, со своимъ 1848 годомъ,—да и некогда мнѣ слушать: играемъ въ лото;—да и тебѣ некогда рассказывать: пора идти. Одѣвайся, и прійди показаться мнѣ, не забылъ-ли повязать галстухъ.

Такъ и осталось неразказаннымъ то, что болѣе всего заинтересовало Волгина въ пользу Соколовскаго.

А дѣйствительно Волгинъ былъ совершенно правъ, что почувствовалъ очень сильное уваженіе къ этому человѣку, когда увидѣлъ, что онъ—тотъ самый Болеславъ, о которомъ говорилъ Зелинскій. Этотъ Болеславъ, въ то время еще юноша, одинъ сохранилъ разсудокъ въ цѣломъ очень большомъ собраніи, среди пожилыхъ людей и стариковъ, у которыхъ у всѣхъ закружились головы;—одинъ, такой пылкій отъ природы, остался хладнокровенъ, когда и флегматики предалися увлеченію.

Галиція волновалась. Въ пограничныхъ польско-русскихъ земляхъ со дня на день ждали оттуда извѣстія, что поднялось возстаніе, и готовились поддержать его. Собирались, организовались, старались запастись оружіемъ, уговаривались о планѣ дѣйствій. Въ томъ краѣ, гдѣ была родина Соколовскаго, мѣстомъ собраній служилъ домъ Зелинскаго. Однажды съѣхались. Собраніе было очень многочисленное. И вдругъ получается извѣстіе: нынѣ Галиція взялась за оружіе. Тотчасъ же было рѣшено: прямо изъ этого собранія каждый ѣдетъ въ свою околицу, поднимаетъ ее, и начинается возстаніе. Всѣ рѣшили единогласно. Одинъ Соколовскій спрашивалъ: да правда-ли, что Галиція поднялась? „Поднялась!“ кричали ему. Но онъ былъ такъ настойчивъ, что, наконецъ, перекричалъ гвалтъ, убѣдилъ не разѣзжаться, не выслушавъ его. Вѣрны-ли извѣстія, что Галиція поднялась? кто привезъ ихъ?—Привезли десятки, сотни людей: на всѣхъ рынкахъ къ вечеру всѣ знали; каждый пріѣзжавшій съ границы подтврждалъ; но кто видѣлъ? Черезъ два или три часа бурнаго сопротивления Соколовскій умолилъ, чтобы дозволили ему съѣздить за границу, взглянуть и привезти положительныя свѣдѣнія.

Онъ не доѣхалъ до границы. Его арестовали по доносу, дѣйствительно не совѣмъ точному: онъ не хотѣлъ эмигрировать, и могъ доказать, что не хотѣлъ; необходимѣйшія вещи оставались у него дома; ясно было, что онъ думалъ возвратиться домой очень скоро. Это не помогло ему; въ немъ увидѣли человѣка, тѣмъ болѣе опаснаго, что онъ очень даровитъ, энергиченъ и, въ

особенности, очень разсудителенъ. Нашли нужнымъ удалить его. Онъ много и долго долженъ былъ страдать,—не за свою поѣздку,—о ней ничего не узнали, и наконецъ нашли, что она могла быть невиннымъ переѣздомъ отъ одного родственника въ гости къ другому,—но зато, что, по поводу его поѣздки, узнали его характеръ и дарованія.

Онъ не могъ исполнить дѣла, которое взялъ на себя. Но отсрочка, которую онъ вымолилъ, вынудилъ, была достаточна, чтобы дѣло разъяснилось уже и безъ его присутствія. Извѣстія о возстаніи въ Галиціи оказались вздорными. Сотни, если не тысячи людей уцѣлѣли отъ напрасной гибели, на которую пошли бы, если бы не его разсудительность,—и весь край избавился отъ напраснаго разоренія.

Каждый, каковъ-бы ни былъ по характеру и принципамъ,—будетъ чувствовать уваженіе, и, если честенъ, влеченіе къ человѣку, который, бывши юношею, имѣлъ разсудокъ спасти пожилыхъ людей и стариковъ отъ опрометчивости. Волгинъ былъ мнительнаго, робкаго характера; принципомъ его было: ждать и ждать, какъ можно дольше, какъ можно тише ждать. Поэтому, онъ цѣнилъ поступокъ Соколовскаго еще гораздо выше, нежели могутъ цѣнить люди отважные.

Дѣйствительно, Соколовскій былъ тотъ Болеславъ, о которомъ разсказывалъ Зелинскій. Сначала поговорили объ этомъ старикѣ, человѣкѣ благородномъ, но не выходившемъ изъ ряда обыкновенныхъ добряковъ, неинтересныхъ ни для кого, кромѣ своихъ родныхъ и друзей. Потомъ Соколовскій говорилъ о своей жизни въ Оренбургѣ. Такъ прошло довольно много времени. Волгину представлялось нужнымъ, чтобы Соколовскій присмотрѣлся къ нему, нѣсколько привыкъ не шокироваться его слишкомъ угловатыми манерами, его привычкою шутить, большею частію не кстати, хохотать, не договаривать фразъ и умолкать, также некстати, смотрѣть въ уголъ и въ полъ,—вообще, держать себя неловко и дико. Разсудивъ, что Соколовскій достаточно приготовленъ не смущаться нелѣпыми формами, въ какихъ онъ обыкновенно выражаетъ свои мысли, и обращать вниманіе только на сущность ихъ, Волгинъ сказалъ, что, конечно, и Зелинскій, и Оренбургъ—предметы для разговора не хуже множества другихъ, но что, конечно, Соколовскій хотѣлъ видѣться съ нимъ вовсе не для того, чтобы толковать о такихъ вещахъ.

— Вы заинтересованы вашимъ проектомъ, Болеславъ Ивановичъ, и, разумѣется, хотѣли, чтобы я помогалъ этому дѣлу, какъ журналистъ.

— Конечно, такъ. Но былъ у меня и другой мотивъ желать сближенія съ вами: сходство нашихъ убѣжденій.

— Само собою. Но объ этомъ мы поговоримъ послѣ, если будетъ надобно. А теперь, на счетъ содѣйствія вашему доброму намѣренію, откровенно скажу: не только самъ не хочу помогать, совѣтовалъ бы, чтобы и вы бросили это дѣло.

Соколовскій вскочилъ, и опять также быстро сѣлъ, подавивши нетерпѣніе воскликнуть что-то,—вѣроятно, что не вѣрить своимъ ушамъ.—Видите-ли—вялю продолжалъ Волгинъ:—изъ вашихъ стараній ничего не выйдетъ. А къ чему ведетъ излишняя охота вразумлять людей, вы уже испытали. Стоптъ-ли губить себя понапрасну?

— Вы кончили?—терпѣливо спросилъ Соколовскій. При всей своей горячности онъ умѣлъ быть терпѣливымъ; при всей экспансивности, дѣлавшей его чрезвычайнымъ охотникомъ говорить, умѣлъ и слушать.—Вы кончили?—спросилъ онъ, видя, что Волгинъ замолчалъ.—Или еще не досказали?

— Пожалуй, хоть и кончилъ, потому что развивать передъ вами мою мысль — совершенно бесполезно. Вы не ребенокъ, и знаете наши обстоятельства. Не нуждается въ томъ, чтобы кто-нибудь указывалъ вамъ факты и объяснялъ ихъ смыслъ. Но я не думаю, чтобы вы были готовы принять мой взглядъ на вещи, и не воображаю, чтобы могъ переубѣдить васъ. Если я сказалъ, какъ думаю, то разумѣется для того, чтобы устранить себя, а не съ намѣреніемъ учить васъ.

— Вы отвергаете возможность этой реформы, въ частности, или вообще возможность реформъ? Высказывайте же и основанія вашего скептицизма.

— Я нисколько не скептикъ. Скептикъ тотъ, кто не умѣетъ сказать: „да“ или „нѣтъ“ согласіе съ правдою. Возможности реформъ я не отвергаю: какъ отвергать возможность того, что происходитъ? Происходятъ реформы въ огромномъ количествѣ; я не могу не знать этого, потому что читаю газеты. И вообще говоря, вы можете думать, если вамъ угодно, что я совершенно согласенъ съ вами. Отъ этого не будетъ убытка ни вамъ, никому, потому что ровно никому не можетъ быть ни вреда, ни пользы отъ того, какъ я думаю. Я только отстраняюсь отъ участія въ вашихъ заботахъ, потому что не имѣю охоты хлопотать.

— Продолжайте,—заманивающимъ тономъ сказалъ Соколовскій.

— Мнѣ нечего продолжать, Болеславъ Ивановичъ. Я сказалъ, что не хочу спорить съ вами.

— Вы не имѣете охоты хлопотать о реформахъ! Какъ же понять это, если вы принуждены соглашаться, что русское общество занято реформами?

— Можете понимать различными манерами; не знаю, какую манеру понимать я могу рекомендовать вамъ. Напримѣръ: быть можетъ, я полагаю, что никто не послушаетъ меня; быть можетъ, я считаю неприличнымъ лѣзть съ моими совѣтами, когда никто не проситъ меня объ этомъ; быть можетъ, я думаю: не нужно бы никакихъ реформъ. Я могу думать и это. Какая мнѣ надобность въ реформахъ? Мнѣ хорошо и безъ нихъ. Если хотите знать мое собственное мнѣніе, я полагаю, что это послѣднее предположеніе ближе всего къ правдѣ. Съ какой стати я имѣлъ бы охоту горячиться? Мои дѣла въ хорошемъ положеніи, постоянно улучшаются. Ни отъ кого я не имѣю никакихъ непріятностей. По природѣ, я человекъ смиренный. Я желаю, чтобы все оставалось, какъ есть, потому что ничего лучшаго для меня не сдѣлаютъ никакія реформы. Соблюдая благопристойность, я не прочь говорить: „люблю реформы“, — согласитесь, неприлично выказывать себя равнодушнымъ къ общей пользѣ — и хотя я не богъ знаетъ какой хитрецъ, но не такъ и глупъ, чтобы возбуждать презрѣніе и ненависть къ себѣ высказываніемъ моихъ задушевныхъ мыслей, которыя, какъ видите, не очень возвышенны и привлекательны. Но здѣсь, при людяхъ, съ которыми могу быть нараспашку, не имѣю охоты шарлатанить.

Соколовскій слушалъ, стиснувъ челюсти, но не прерывалъ.

— Алексѣй Ивановичъ шутитъ, — замѣтилъ Нивельзинъ, — Онъ любитъ шутить.



— Люблю. И если шучу, то шучу. Можетъ быть надобно прибавить: шучу некстати, неумѣстно. И это бываетъ. Но я полагаю, что я нисколько не шучу. А впрочемъ, дѣйствительно лучше, если Болеславъ Иванычъ будетъ думать вмѣстѣ съ вами, Павелъ Михайлычъ, что я шучу.

Почти каждый на мѣстѣ Соколовскаго былъ бы выведенъ изъ терпѣнія, но Соколовскій имѣлъ очень сильный характеръ.

— Если вы такъ апатиченъ къ общей пользѣ, то зачѣмъ же вы пишете? — спокойно сказалъ онъ.

— Это мое ремесло. Человѣку, неимѣющему состоянія, надобно дѣлать что-нибудь, чтобы добывать кусокъ хлѣба. Я пишу—и добываю. И добываю очень хорошій; потому очень доволенъ своимъ ремесломъ.

— Но вы пишете не то, что говорите.

— Я не могу писать того, что говорю: какая-жъ охота публикѣ была бы читать мои разсужденія о моемъ характерѣ? — Онъ занимателенъ только для моихъ друзей или людей, желающихъ личнаго сближенія со мной, какъ вы. Для публики нужны другіе предметы, болѣе занимательные, чѣмъ моя персона. — Но то, что я пишу, не противорѣчитъ тому, что я говорю. Я говорю вамъ, что равнодушенъ къ реформамъ. Я не пишу, что восхищаюсь ими. Я говорю, что не хочу писать о реформахъ. Я и не пишу о нихъ.

— Вы не хотите говорить со мною; — сказалъ Соколовскій, не теряя спокойствія.

— Не совѣмъ правильно выразились, Болеславъ Иванычъ. Вы слышите, я говорю. И буду говорить, сколько вамъ угодно. Но я сказалъ, что не хочу спорить съ вами; и не буду. Когда будетъ время, скажу, почему не хочу, и надѣюсь, вы согласитесь тогда, что, со своей точки зрѣнія, я правъ. О чемъ вамъ угодно, чтобъ я говорилъ? Я готовъ, съ удовольствіемъ, и сколько вамъ угодно.

— Алексѣй Иванычъ, — кротко сказалъ Соколовскій. — Вы согласитесь, другой, на моемъ мѣстѣ, могъ бы принять такое обращеніе за обиду.

— Согласенъ, Болеславъ Иванычъ. Но вы не примете.

Соколовскій стиснулъ челюсти, помолчалъ, и опять, овладѣвъ собою, кротко сказалъ:

— Вы не хотите быть знакомы со мною?

— Я еще нѣ говорилъ этого, Болеславъ Иванычъ. Я говорилъ пока только о томъ, что въ одномъ изъ вашихъ побужденій сближаться со мною вы ошибались. Какъ журналистъ, я бесполезенъ для васъ. У васъ былъ другой мотивъ: одинакость нашихъ убѣжденій. Не знаю, достаточно-ли обнаружилось для васъ, что и въ этомъ вы ошибались. Мой образъ мыслей не сходенъ съ вашимъ.

Соколовскій всталъ и нѣсколько разъ прошелъ по комнатѣ. Съѣлъ и началъ спокойно:

— Вы уклоняетесь отъ спора со мною. Я хочу спорить съ вами. Вы не хотите указывать фактовъ, которыми, по вашему мнѣнію, опровергаются мои надежды. Я напомню вамъ факты, на которыхъ основываются мои ожиданія и которыми, какъ мнѣ кажется, совершенно устраняется возможность оставаться при безусловномъ отрицаніи.

— Я отрицаю? — даже безусловно отрицаю? — Волгинъ покачалъ головой. — Что могу я отрицать? можетъ-ли нѣмой отрицать?

— Я понимаю васъ, — терпѣливо продолжалъ Соколовскій. не давши себѣ воли сбиться въ сторону отъ выходки Волгина. — Я понимаю ваше отрицаніе. Я однихъ лѣтъ съ вами. Мои убѣжденія формировались одновременно съ вашими. И отъ однихъ и тѣхъ же фактовъ, одинаково замирали надежды въ нашихъ сердцахъ. Тогда и я видѣлъ, что реформы невозможны. Но теперь, другое время. — Онъ сталъ перечислять недавнія событія, которыми русскіе были пробуждены отъ долгаго сна и потрясена система, повергавшая ихъ въ этотъ летаргическій сонъ.

Вся жизнь русскаго была приносима въ жертву завоеваній; всѣ силы русскаго народа были истощаемы на служеніе этому духу, весь политическій и общественный бытъ русскаго народа былъ подчиненъ потребностямъ этого духа, скованъ въ организацію, не допускавшую никакихъ другихъ направленій дѣятельности. Болѣе полутора ста лѣтъ владычествовала эта система, и успѣхи ея были блистательны. Русскій народъ привыкъ думать, что его могущество, слава — результаты ея. Онъ ошибался, причиною даже военныхъ успѣховъ его была не эта система, а цивилизація, проникавшая въ Россію наперекоръ ей. Но заблужденіе было извинительно. Оно было слѣдствіемъ того логическаго миража, которыми обманывается не только масса, обманываются, слишкомъ часто обманываются даже и великіе мыслители; это извѣстный фальшивый силлогизмъ: вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣдовательно, потому. Система, сдавливавшая жизнь русскаго народа, говорила ему: видишь, при мнѣ, — слѣдовательно, благодаря мнѣ, изъ слабаго, обижаемаго, презираемаго ты сдѣлался могущественнымъ, безопаснымъ, славнымъ. Онъ видѣлъ: да, сдѣлался; и вѣрилъ: да, благодаря ей.

— Нашимъ историкамъ, да и нашимъ либераламъ далеко до такого пониманія русской исторіи, — замѣтилъ Волгинъ Нивельзину. — Это я называю — правильно понимать вещи. Читали-ль вы до сихъ поръ что-нибудь подобное ясному и твердому очерку дѣла, какой даетъ намъ Болеславъ Ивановичъ?

— У васъ есть писатели, которые судятъ точно такъ же, — сказалъ Соколовскій.

— Есть? — какъ вы скажете, Павелъ Михайлычъ? Вы больше меня читали нашихъ либераловъ и радикаловъ!

— Не говоря о либералахъ, и радикалы не говорятъ такъ безусловно; — сказалъ Нивельзинъ. — И признаюсь, я не приготовленъ вполне согласиться съ Болеславомъ Ивановичемъ. — О времени Петра, о началѣ правленія Екатеры II, о первой половинѣ царствованія Александра Павловича, я когда-нибудь поспорю съ вами, Соколовскій.

Соколовскій спокойно ждалъ, пока возвратятъ ему свободу продолжать, и сталъ говорить попрежнему, съ пылкостью въ манерѣ и съ прежнею ясностью и твердостью логики.

Русскіе привыкли считать свое войско непобѣдимымъ, свое государство могущественнѣйшимъ въ Европѣ. Но вотъ они увидѣли, что враги безнаказанно вторглись въ ихъ страну, одерживаютъ побѣду за побѣдой надъ ихъ войсками, принуждаютъ ихъ государство просить мира; что ихъ государство

принуждено съ покорностью принять всё условія, какія захотѣли продиктовать побѣдоносные непріатели. Такого униженія не могъ равнодушно перенести русскій народъ. Съ энергіею справедливаго гнѣва онъ потребовалъ отчета въ томъ, какъ могло произойти паденіе его могущества. Нельзя было скрывать отъ него истину, потому что онъ чувствовалъ ее; должны были сознаться: причиною всёхъ бѣдъ была прежняя система; должны были согласиться: надобно отвергнуть ее; необходимы радикальныя реформы; весь государственный организмъ былъ фальшивымъ, гнилымъ механизмомъ, неимѣвшимъ въ себѣ ничего дѣйствительно живого, ничего свѣжаго и прочнаго, и всё силы общества были подавляемы гнетомъ этой мертвой машины. Должны были согласиться: необходимо обновить всё части государственнаго устройства, дать просторъ живымъ силамъ общества. Должны были согласиться: система механическаго угнетенія была гибельною ошибкою; необходимо предоставить свободу развитію народа.

— Въ этомъ Павелъ Михайлычъ согласится съ вами;—замѣтилъ Волгинъ.—По его мнѣнію, Крымская война почти тоже для Россіи, что война 1806 года была для Пруссіи. Я полагаю, что союзники взяли Петербургъ и Москву, какъ тогда французы Берлинъ, а во власти русскаго правительства оставалась только Пермь, какъ тогда у Прусскаго—Мемель.

— Сила впечатлѣнія была одинакова,—спокойно отвѣчалъ Соколовскій.

— А, это по новой геометріи: маленькій краешекъ равенъ цѣлому.

— Иногда отломить маленькій краешекъ значить раздробить все тѣло.

— Вы умѣете спорить. Этимъ Болеславъ Иванычъ лучше нашихъ либераловъ: ошибается или нѣтъ, можно судить какъ угодно, но всегда понимаетъ, что говорить;—обратился Волгинъ къ Нивельзину.—Нынѣ все проекты полезныхъ учреждений;—я думаю не подать ли проектъ, чтобы вашего Рязанцева съ компаніею переименовать въ гимназистовъ и велѣтъ имъ ходить на уроки къ Болеславу Иванычу. Авось позаимствовались бы отъ него хоть каплею смысла. Нѣтъ, не позаимствовались бы; некуда помѣститься смыслу въ ихъ головахъ; все биткомъ-набито вздоромъ. Значить нечего и подавать проекта.

— Будьте откровенны, Алексѣй Иванычъ, — сказалъ Нивельзинъ.— Признайтесь, вы свернули на бѣднаго Рязанцева потому, что не нашли ничего возразить Соколовскому.

— Я еще не имѣлъ времени познакомиться съ Рязанцевымъ;—сказалъ Соколовскій.—Но воспользуюсь для этого первымъ досугомъ, потому что надѣюсь научиться у него многому, и убѣжденъ: мы пойдемъ съ нимъ рука въ руку.

— Пойдете, только долго-ли, этого не умѣю сказать;—замѣтилъ Волгинъ.—Но извините, я прервалъ васъ.

— Принуждены были сознаться, что радикальныя реформы необходимы, — продолжалъ Соколовскій изложеніе своего взгляда, во многомъ сходящагося съ понятіями тогдашнихъ нашихъ прогрессистовъ, но имѣвшаго ту разницу отъ ихъ разсужденій, что у Соколовскаго все было логично и однородно, а ихъ разсужденія захватывали что-нибудь похожее на правду лишь по мелочи, и наполнялись больше хвастовствомъ о великости совершенныхъ ими подвиговъ.— Принуждены были обѣщать полное обновленіе народной жизни,—продолжалъ

Соколовскій:—и не только обѣщали, сами прониклись убѣжденіемъ, что безъ этого нельзя обойтись. Съ искреннимъ усердіемъ готовятъ реформы, вызываютъ всѣхъ, могущихъ дать совѣтъ, оказать помощь, вызываютъ, просятъ ихъ: со- вѣтуйте, помогайте.

— Это фактъ, — сказалъ Нивельзинъ, — каково-бы ни было прежнее наше недовѣріе, мы не можемъ не видѣть: это фактъ.

— Когда это фактъ, это недурно, — замѣтилъ Волгинъ.

— Алексѣй Ивановичъ, — началъ опять Соколовскій, — я понимаю васъ, и отчасти сочувствую роли, которая досталась вамъ: никто изъ людей, имѣющихъ политическое образованіе, не можетъ желать, чтобы не существовала оппозиція. Она и возбуждаетъ удвоенную энергію въ трудящихся и контролируетъ, гарантируетъ разумность работы. Я вполне понимаю пользу, приносимую вами. Но...

— Я приношу пользу, — это пріятно слышать; — вяло вставилъ Волгинъ. — Въ Россіи есть оппозиція — это прекрасно; и я одинъ изъ представителей ея, — это очень лестно для меня. Благодарю васъ, Болеславъ Ивановичъ: вы раскрыли мнѣ глаза.

— Вы можете смѣяться надъ собою и быть недоволенъ тѣмъ, что ваша партія менѣ сильна, нежели хотѣлось бы вамъ, — продолжалъ Соколовскій, не смущаясь и не раздражаясь насмѣшками Волгина, которыя обидѣли бы чело- вѣка менѣ сильнаго, твердаго и самоотверженнаго: — я понимаю ваше гра- жданское страданіе.

— Мое гражданское страданіе, — недурно сказано, и слѣдуетъ запеча- тлѣть въ памяти. Самъ я никакъ не могъ бы замѣтить въ себѣ такой уди- вительной вещи.

— И уважаю его, — продолжалъ Соколовскій съ теплымъ чувствомъ, не обращая вниманія на выходку Волгина. — Не скажу, чтобы и самъ я не чув- ствовалъ иногда влеченія негодовать. Дѣло пересозданія ведется слишкомъ медленно; видишь ошибки, иногда довольно важныя. Невольно поддаешься чувству. Но...

— Само собою, это досада нерезонная, — съ неизмѣнимой вялостью пере- билъ Волгинъ, попрежнему нагло злоупотребляя кроткимъ терпѣніемъ Соко- ловскаго. — Зритель чужой работы всегда бываетъ расположенъ слишкомъ строго судить о трудящихся. Это психологическій законъ. Но тѣмъ не менѣ, это — несправедливость и нелѣпость. „Они работаютъ не довольно скоро“. Но вещь извѣстная, человѣческія желанія нетерпѣливы. Когда самъ не занимаешься дѣломъ, не чувствуешь, какъ оно трудно, не умѣешь брать въ расчетъ, какъ много ему препятствій, какъ они сильны. „Работа ведется не безъ ошибокъ“ — да какое же человѣческое дѣло можетъ быть ведено безъ ошибокъ? Люди не боги, чтобы требовать совершенства отъ нихъ или дѣлать. Разумный чело- вѣкъ довольствуется тѣмъ, когда видитъ, что работники усердны, добросовѣстны, прислушиваются къ замѣчаніямъ, пользуются всякимъ совѣтомъ, въ которомъ есть здравый смыслъ. Вы находите, что работа ведется согласно съ этими условіями; чего же большаго можно требовать? Не могу строго осуждать васъ, если вы, по человѣческой слабости, иногда сердитесь на работниковъ, — какъ быть! и вы чело- вѣкъ, надобно снисходить къ вашимъ чело- вѣческимъ слабо-



стямъ; но долженъ сказать: вы были бы несправедливы, еслибы отказывали работникамъ въ сочувствіи, одобреніи, содѣйствіи. Вы и не отказываете. Вы правъ.

— А вы?

— Я? О себѣ я скажу: вы видите, какой жалкій характеръ у меня,— не хотѣлъ спорить съ вами, а началъ. Стало быть, лучше всего для меня будетъ подальше отъ соблазна — за шапку, да и проститься. — Волгинъ всталъ.—Вы не можете не понимать, Болеславъ Ивановичъ, что видѣться съ вами было бы наслажденіемъ для меня, но я разсудилъ, что долженъ отказаться себѣ въ немъ, и пришелъ сюда только за тѣмъ, чтобы сказать это лично, чтобы вы не могли ошибаться въ причинѣ моего отказа, не приняли его за обиду, когда онъ происходитъ отъ моего высокаго мнѣнія о васъ. По разсказамъ Зелинскаго, я очень уважалъ васъ,—больше нежели вы можете полагать, потому что Зелинскій не скрывалъ отъ меня ничего. Ничего.—Волгинъ остановился, чтобы обратить вниманіе Соколовскаго на важность этого слова, и увидѣлъ, что Соколовскій понялъ, о чемъ онъ говорить.—Немногіе способны цѣнить ваше благоразуміе такъ высоко, какъ я. У меня такой характеръ, мнительный, заставляющій меня всегда желать отсрочекъ, ненавидѣть рискъ. Вы одинъ изъ очень рѣдкихъ людей, въ которыхъ энтузіазмъ соединяется со способностью сохранить хладнокровіе въ рѣшительныя минуты, отвага—съ силою не только удерживаться, удерживать и другихъ отъ безразсудствъ. Я глубоко уважалъ васъ, когда шелъ сюда. Увидѣвши, полюбилъ: вы не только силенъ и разсудителенъ, вы кротокъ и чуждъ всякой эгоистической мысли. Вы—святой человекъ. Нельзя не любить васъ. Но тѣмъ тверже мое рѣшеніе: намъ не надобно видѣться. Не для чего, потому что я не хочу помогать вашему проекту. Я не желаю, чтобы дѣлались реформы, когда нѣтъ условій, необходимыхъ для того, чтобы реформы производились удовлетворительнымъ образомъ. Никакое дѣло не требуетъ, чтобы мы съ вами видѣлись. Зачѣмъ-же мы стали-бы видѣться? Чтобы спорить объ отвлеченныхъ вопросахъ, или о пустякахъ, называемыхъ нашими общественными вопросами? Не скажу, что я неохотникъ переливать изъ пустого въ порожнее, и мнѣ было бы пріятнѣе болтать съ вами, нежели съ нашими либералами,—еслибы это было также безопасно. Съ ними я пріятельствую беззаботно, потому что знаю: они всегда останутся прекрасными людьми; пріятельство съ ними никогда не можетъ компрометировать. Вы не то; вы не останетесь прекраснымъ человекомъ. Если-бы вы ограничились хлопотами о вашемъ проектѣ, я не боялся-бы, что вы сдѣлаестесь дурнымъ. Вопросъ спеціальныи и, правду сказать, мелкій. Никто не встревожится изъ-за него. Но вы будете ввязываться во все, — и не съ такою глупостью и трусостью, какъ наши либералы. Поэтому, считаю вреднымъ для себя видѣться съ вами. Прощайте.

Онъ сильно пожалъ руку Соколовскаго и торопливо пошелъ изъ комнаты. Соколовскій оставался огушенъ, потомъ бросился за нимъ.

— Я увѣренъ въ вашей любви ко мнѣ, и не могу обижаться вашимъ рѣшеніемъ. Но оно кажется мнѣ напраснымъ, дурнымъ, и очень печалитъ меня, очень, хоть я и не думаю, что мы расстаемся надолго. Нѣтъ, не надолго: событія идутъ быстро, и скоро сведутъ насъ, такъ или иначе, сведутъ, наперекоръ вашей волѣ. До свиданія.

— Понравился тебѣ Соколовскій? Пригласилъ ты его?—спросила Волгина мужа на другой день, поутру за чаемъ.

— Вчера, голубочка, ты не стала слушать, когда пришла напомнить мнѣ, что пора идти къ Нивельзину. А я хотѣлъ сказать тебѣ, какъ вздумалъ сдѣлать. Не знаю, хорошо ли. Видишь, онъ человекъ энергическій, самоотверженный; я и вздумалъ, что осторожность лучше всего; потому гораздо безопаснѣе не связываться съ нимъ. Такъ и сказалъ ему. Впрочемъ, и не жалѣю много. Потому что, хоть онъ и не похожъ на нашу дрянъ, но въ такомъ же одурѣніи, какъ они. Что за радость?

— Ты самъ виноватъ, что я не стала слушать: зачѣмъ не началъ говорить прямо о дѣлѣ? Я подумала, что ты хотѣлъ, по обыкновенію, рассказывать пустяки! Мнѣ кажется, ты напрасно отказался отъ знакомства съ нимъ. Быть осторожнымъ хорошо; но ты уже слишкомъ боязливъ.

Волгинъ задумался. — Слишкомъ! я и самъ себѣ говорилъ, голубочка, слишкомъ. Ну, да все равно.—Онъ опять задумался.—Но нѣтъ, голубочка: въ сущности, я доволенъ собою. Пока онъ въ одурѣніи, онъ не опасенъ. Но оно пройдетъ; тогда чего хорошаго ждать отъ него?

— Именно то и нехорошо, мой другъ, что ты слишкомъ много думаешь о томъ, чего еще нѣтъ. Ты говоришь, онъ былъ бы опасенъ для тебя; а на самомъ дѣлѣ ты хуже его.

Мужъ опять задумался.—Это у меня очень глупая привычка говорить вздоръ, понапрасну тревожить тебя, голубочка.

— Я не очень тревожусь, мой другъ. На первый разъ твои фантазіи разстроили меня. Теперь я давно разсудила, что не стоитъ много тревожиться тѣмъ, что, быть можетъ, вовсе и не будетъ.

— Положимъ, голубочка; но, все-таки, согласишься, очень глупо съ моей стороны говорить тебѣ вздоръ; тѣмъ больше глупо, что я и самъ думалъ, въ сущности, вовсе не объ этихъ пустякахъ. Скука была бы съ этимъ Соколовскимъ, вотъ главное.хлопотунъ, не можетъ не суетиться изъ-за всякой мелочи, и сталъ бы надоѣдать: что за радость?—Онъ помолчалъ и вдругъ вскрикнулъ:—Удивительно! и покачалъ головою:—Скажи ты, голубочка: какъ же можно было забыть, не попросить его, чтобъ онъ справлялся объ Илатонцевыхъ,—то-есть о Левицкомъ?—Удивительно, голубочка! Пусть бы говорилъ Нивельзину.

— Согласна, мой другъ: еслибы вздумалось тебѣ попросить его, тутъ же было ничего глупаго. Но зачѣмъ же было и просить?—Мы знаемъ все, что намъ нужно, и если бы случилось что-нибудь новое, то Левицкій напишетъ тебѣ.

— Это правда, голубочка,—разсудилъ Волгинъ.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Дѣйствительно, Волгины знали теперь о Левицкомъ все, что имъ было нужно. Они получили отвѣтъ на свое письмо къ нему. Отвѣтъ былъ такой, какого и слѣдовало ждать.

Волгинъ писалъ къ Левицкому, что смѣется надъ вздоромъ, котораго наговорилъ ему, и ругаетъ себя за то, что выпустилъ его изъ Петербурга. Совершенно-ли хороши его отношенія къ Илатонцевымъ? — Если совершенно, то невозможно ни просить, ни даже совѣтовать, чтобъ онъ бросилъ мѣсто, которое и очень выгодно, и необременительно. — Отъ управляющаго петербургскимъ домомъ Илатонцева слышно, что они проживуть въ деревнѣ до новаго года. Такъ-ли? — Если такъ, Волгину очень жаль, но самъ онъ виноватъ: зачѣмъ тогда, весною, не удержалъ Владиміра Алексѣича? — Волгина сдѣлала приписку, въ которой говорила, что много бранила мужа за Левицкаго и желала бы, чтобъ Левицкій поссорился съ Илатонцевыми. Тогда онъ скорѣе пріѣхалъ бы въ Петербургъ снять съ Алексѣя Иваныча часть работы. Но не надѣется, чтобы онъ могъ поссориться съ человѣкомъ, какимъ она считаетъ Илатонцева, по рассказамъ его дочери.

Левицкій отвѣчалъ, что приглашеніе Алексѣя Иваныча привело его въ восторгъ, но что, дѣйствительно, онъ не можетъ бросить Илатонцевыхъ. — Онъ написалъ бы, какъ думаетъ о Николаѣ Петровичѣ, но не можетъ, потому что Надежда Николаевна хочетъ прочесть его письмо. — Онъ въ деревнѣ лѣнится. Впрочемъ, не совѣмъ. У него было написано кое-что. — Онъ посылаетъ. Будетъ присылать каждый мѣсяць, — но, вѣроятно, не по многу. Возвратившись въ Петербургъ, онъ будетъ работать усерднѣе. — Знаетъ ли Лидія Васильевна, что онъ видѣлъ ее? — Быть можетъ, Алексѣй Иванычъ забылъ сказать ей это? — Возвратившись, онъ расскажетъ ей, какое впечатлѣніе на него произвела она. Это не будетъ похоже на то, что слышитъ она ото всѣхъ. — Илатонцева сдѣлала приписку: она больше всѣхъ виновата въ томъ, что они остаются въ деревнѣ до новаго года. Еслибъ ея воля, они остались бы въ деревнѣ и цѣлый годъ, до слѣдующей осени. Она оправдываетъ себя тѣмъ, что причины, по которымъ ея отецъ расположенъ долго оставаться въ деревнѣ, и важны, и хороши. — Она очень часто говоритъ съ Владиміромъ Алексѣевичемъ о Лидіи Васильевнѣ.

Къ письму Левицкаго было приложено двѣ статьи, довольно большія. Волгинъ сказалъ женѣ, что онѣ снимаютъ съ него часть работы на двѣ слѣдующія книжки.

Это было за нѣсколько дней передъ тѣмъ, какъ Волгина предала Нивельзина въ жертву Тенищевой и ея укротителю. — Какая же была надобность просить Соколовскаго, чтобъ онъ слѣдилъ за новостями объ Илатонцевыхъ и о Левицкомъ? — Никакой. Потому Волгинъ и согласился съ женою, что напрасно бранить себя, зачѣмъ забылъ попросить. Иначе, конечно, не уступилъ бы такъ легко: онъ былъ неумолимъ въ порицаніи своихъ ошибокъ и глупостей. Правда, это не мѣшало ему ежеминутно дѣлать ихъ; и вся его строгость къ самому себѣ оставалась совершенно бесполезна. Но онъ не былъ снисходителенъ и къ этому своему недостатку, и съ негодованіемъ удивлялся тому, что какъ ни бранить себя, нисколько не исправляется.

Волгиной было бы пріятно, если бы Левицкій возвратился въ Петербургъ поскорѣе. Но она была уже приготовлена къ тому, какъ онъ отвѣчалъ. Когда Нивельзинъ, ѣздивши къ Тенищевой, узналъ отъ швейцара Илатонцевыхъ, что Николай Петровичъ останется въ деревнѣ до новаго года, Волгина уви-

дѣла, что нечего ждать и Левицкаго раньше. По рассказамъ мужа о дружбѣ, которая была у Левицкаго съ Илатонцевымъ еще до отъѣзда въ деревню, и по впечатлѣнію, которое вынесла сама изъ разговора съ дочерью Илатонцева, Волгина не могла не видѣть, что положеніе Левицкаго въ домѣ Илатонцева не только выгодно въ денежномъ отношеніи, но и, вообще, очень хорошо, совершенно свободно и по всей вѣроятности пріятно.

Въ отвѣтъ Левицкаго, неожиданномъ для нея, было только то очень пріятное прибавленіе, что онъ прислалъ двѣ статьи, и будетъ присылать каждый мѣсяць. Работа Волгина облегчилась черезъ это, и Лидія Васильевна отчасти примирилась съ отсрочкою времени, когда Левицкій пріѣдетъ. Она считала очень возможнымъ, что Илатонцевы,—стало быть, и Левицкій—не пріѣдутъ и къ новому году: Илатонцева писала, что „еслибъ ея воля“, они прожили бы въ деревнѣ всю зиму и лѣто, до слѣдующей осени. Отсрочивши, по ея желанію, отъѣздъ изъ деревни на нѣсколько мѣсяцевъ, отецъ будетъ дѣлать уступку за уступкою. — Пусть; лишь бы Левицкій и изъ деревни помогалъ мужу. А мужъ говорилъ, что онъ будетъ сильно помогать и оттуда: ты не смотри, голубочка, что онъ говоритъ: лѣнюсь, и буду писать мало;—лѣнится онъ такъ же какъ я, и пишетъ тоже съ плеча, какъ я, — даже быстрее. Разница только та, что у меня отъ этого выходитъ вяло и плохо, а у него все-таки такъ хорошо, какъ ни у кого изъ нашихъ самыхъ заботливыхъ писателей. — Будетъ присылать много“.

При всей хитрости Волгина,—такой же замѣчательной какъ его сообразительность, ловкость и многія другія достоинства,—для короткихъ знакомыхъ его было не трудно различить, когда онъ отдѣляется отъ правды своими необыкновенно замысловатыми выдумками, когда говоритъ правду. Тѣмъ легче различала это жена. Если онъ успѣлъ долго обманывать ее, скрывая, что самъ лишился помощи Левицкаго, это лишь потому, что невозможно было предполагать такой продѣлки. И это былъ едва ли не единственный случай, когда Волгина не замѣтила, правду ли говоритъ мужъ, или выдумываетъ. — Теперь она видѣла, что мужъ не выдумываетъ: Левицкій и въ деревнѣ будетъ писать много, будетъ сильно облегчать его работу. Волгина могла довольно терпѣливо ждать возвращенія Левицкаго въ Петербургъ.

Но все-таки она была очень обрадована, когда,—недѣли черезъ полторы или двѣ послѣ перваго письма—Левицкій прислалъ второе, въ которомъ говорилъ, что Илатонцевъ отказался отъ намѣренія оставаться въ деревнѣ до новаго года: черезъ нѣсколько дней они ѣдутъ въ Петербургъ. — Илатонцева опять сдѣлала приписку. Она говорила, что сама не знаетъ, радуется ли она или груститъ, что они покидаютъ деревню: въ деревнѣ она была такъ счастлива. — Ея приписка была длинна, гораздо длиннѣе самого письма. — Впрочемъ, и мудро было бы сдѣлать приписку, которая не была бы длиннѣе этого письма: оно состояло изъ двухъ съ половиною строкъ. А первое письмо Левицкаго заняло бы, на опытный глазомѣръ Волгина, болѣе четырехъ страницъ журнальнаго формата. Для глубокомысленнаго Волгина очевидно было: Левицкій написалъ теперь такъ коротко потому, что опасался проговориться. — При помощи своей сообразительности, отъ которой не могло ускользнуть ничто, Волгинъ сдѣлалъ множество открытій на основаніи двухъ писемъ Левицкаго и



двухъ приписокъ Илатонцевой. — По прекрасному своему правилу онъ не утаилъ этихъ открытій, а сталъ излагать ихъ женѣ, со всею необходимою для основательности подробностью. — Очень логично начиналъ свои соображенія съ несомнѣннаго существованія дружбы между Левицкимъ и Илатонцевою; присоединялъ къ этому замѣчаніе, что изъ дружбы между молодымъ человѣкомъ и дѣвушкою обыкновенно развивается любовь; послѣ того принялъ во вниманіе, что у Илатонцевой ангельскій характеръ, а ея отецъ — превосходный человѣкъ, очень любитъ дочь и чрезвычайно уважаетъ Левицкаго, — на этомъ жена установила его тѣмъ, что зѣвнула и сказала, „пойти посмотрѣть, что-то подѣлываетъ Володя, — спать, или нѣтъ“, — если-бъ не это, Волгинъ, конечно, не затруднился бы предсказать, что когда у приготовляемыхъ имъ къ вѣнчанію родится со временемъ дочь или сынъ, то Лидія Васильевна будетъ приглашена быть крестною матерью малютки.

Это было передъ обѣдомъ. Вечеромъ пришолъ Нивельзинъ и сказалъ, что сейчасъ заѣзжалъ къ нему Соколовскій съ извѣстіемъ: надняхъ Илатонцевы будутъ въ Петербургѣ. Самъ онъ не хотѣлъ быть у Волгина, потому что долженъ уважать чужое желаніе, хоть и не согласенъ съ нимъ; и просить Нивельзина сообщить Волгину новость, интересную для него.

Нивельзинъ разсудилъ также, какъ Лидія Васильевна и въ слѣдъ за нею мужъ: не было никакой надобности поручать Соколовскому слѣдить за новостями объ Илатонцевыхъ и Левицкомъ, когда самъ Левицкій сталъ писать Волгину. Но Соколовскій не дожидался порученій, чтобы помнить о дѣлахъ своихъ друзей, — все равно, хорошо или дурно поступаютъ съ нимъ люди, которыхъ онъ считалъ достойными своей дружбы. Онъ услышалъ отъ Нивельзина, что Волгинъ заинтересованъ пріѣздомъ Левицкаго. Этого было довольно ему. Онъ попросилъ управляющаго домомъ Илатонцева присылать ему всякое новое извѣстіе изъ деревни.

— Совѣстно передъ такимъ человѣкомъ, — справедливо замѣтилъ Нивельзину Волгинъ: — Я держалъ себя съ нимъ очень пошло и глупо. А онъ вотъ какъ поступаетъ со мной. Нехорошо съ моей стороны, увѣряю васъ, Павелъ Михайлычъ.

— Я думаю тоже, — сказалъ Нивельзинъ засмѣявшись: — онъ еще непривыкъ спокойно выдерживать увѣренія Волгина. — И если вы раскаиваетесь, это дѣлаетъ вамъ честь. — Кромѣ шутокъ, заѣзжайте къ Соколовскому, — или, пожалуй, это и не нужно: когда вы соберетесь? — Я позову его къ вамъ.

— Натурально, это не такой человѣкъ, чтобы сталъ считаться визитами, — замѣтилъ Волгинъ: — Но только вы не такъ поняли меня, Павелъ Михайлычъ. Положимъ, я поступилъ относительно его очень дурно. Согласенъ. Но такъ слѣдовало. И пусть останется такъ. И если сказать правду, то даже нисколько не дурно. Напротивъ: очень хорошо.

— И если правду сказать, то вамъ нисколько не совѣстно? — спросилъ Нивельзинъ, смѣясь оригинальному способу разсуждать: „Согласенъ, что такъ, но если правду сказать, не такъ“.

Недѣли черезъ полторы, или меньше, поутру, въ половинѣ перваго, Волгинъ услышалъ звонокъ и пошелъ отворить дверь: Лидія Васильевна, уходя, сказала ему, что онъ остается дома одинъ: она взяла коляску и ѣдетъ кататься съ Володею; беретъ для Володи и Наташу, а Авдотья будетъ, по обыкновенію, уходить между дѣла къ служанкамъ, въ сосѣднія квартиры. — Волгинъ вспомнилъ, что кухарка, точно, имѣетъ эту привычку. То, что кухарку зовутъ Авдотьею, онъ помнилъ.

Вошелъ пожилой мужчина, хорошо одѣтый. Волгинъ попросилъ его въ залъ и пригласилъ сѣсть. Пожилой мужчина пошелъ въ залъ, но не сѣлъ, а сказалъ, что онъ камердинеръ Николая Петровича Илатонцева; Николай Петровичъ сейчасъ пріѣхалъ, приказалъ кланяться и спросить: не у господина-ли Волгина остановился Владиміръ Алексѣевичъ Левицкій.

— Что такое? Да развѣ онъ уже въ Петербургѣ? Развѣ онъ ѣхалъ не вмѣстѣ съ Николаемъ Петровичемъ.

— Точно такъ, не вмѣстѣ. Владиміръ Алексѣичъ выѣхалъ изъ деревни двумя днями раньше Николая Петровича. Николай Петровичъ полагалъ найти его у себя. Но его нѣтъ у нихъ въ домѣ. Николай Петровичъ подумалъ, можетъ быть, онъ не захотѣлъ поселиться тамъ до ихъ пріѣзда и можетъ быть остановился у г. Волгина. — Но какъ Владиміра Алексѣича нѣтъ здѣсь, то, должно быть, онъ еще не пріѣхалъ въ Петербургъ, — прибавилъ свою догадку камердинеръ: — Можетъ быть, не остановился-ли погостить въ Москвѣ, или гдѣ на дорогѣ, у какихъ-нибудь знакомыхъ. — Камердинеръ поклонился и ушелъ.

Его догадка показалась очень правдоподобна Волгину, знавшему, что одинъ изъ двухъ товарищей, съ которыми остался хорошъ Левицкій, занялъ мѣсто учителя гимназіи въ Новгородѣ. Вѣроятно, именно съ тою цѣлью, чтобы погостить у него, Левицкій и уѣхалъ изъ деревни раньше Илатонцевыхъ.

По всей вѣроятности, такъ. Но такъ-ли? — Илатонцевъ думалъ, что онъ уже въ Петербургѣ. Или онъ говорилъ, что прогоститъ лишь одинъ день и зажился у товарища дольше уговора? — или догадка камердинера объ остановкѣ на дорогѣ неудачна? — Волгину пришло въ умъ нѣсколько другихъ догадокъ; но и тѣ не клеились съ фактами. Волгинъ разсудилъ, что бесполезно упражняться въ пустыхъ предположеніяхъ; надобно будетъ пойти къ Нивельзину, — и попросить съѣздить къ Илатонцеву, — Или пусть онъ попроситъ Соколовскаго съѣздить къ Илатонцеву, и спросить въ чемъ дѣло. Илатонцевъ долженъ знать, или, по крайней мѣрѣ, имѣетъ больше данныхъ, чтобы разгадать. — Когда Волгимъ былъ въ своемъ кабинетѣ и одинъ, онъ вообще не былъ лишенъ здраваго смысла.

Дождавшись, когда кухарка пришла взглянуть, чтѣ дѣлается съ кушаньемъ на плитѣ, Волгинъ сказалъ, чтобы она не уходила, потому что онъ уходить, и пошелъ къ Нивельзину. Нивельзинъ жилъ на прежней своей квартирѣ очень близко. Его не было дома. Волгинъ оставилъ записку, что зайдетъ къ нему часовъ въ восемь.

Но раньше того самъ получилъ записку отъ него: „Соколовскій у меня; пріѣхалъ рассказать о Левицкомъ. ѿѣдемъ васъ“.

Тотъ самый камердинеръ, который въ первомъ часу былъ у Волгина, въ четвертомъ прѣхалъ въ каретѣ къ Соколовскому и привезъ приглашеніе отъ Николая Петровича кушать. Илатонцевъ писалъ, что слышалъ отъ управляющаго домою, что Соколовскій очень интересуется Левицкимъ, также какъ Нивельзинъ и Волгинъ.—Съ ними Илатонцевъ еще не знакомъ; но Соколовскому его домъ уже не чужой, и Соколовскій извинить его безцеремонность. Онъ усталъ послѣ дороги, не хочетъ нынѣ выѣзжать изъ дому. Онъ сообщить Соколовскому то, что узналъ о Левицкомъ, поѣхавшемъ въ Петербургъ раньше его,—и скрывшемся изъ виду, по прѣздѣ.

Соколовскій не былъ такъ непрактиченъ какъ Волгинъ. Онъ усадилъ камердинера, сталъ говорить съ нимъ. Одѣвшись ѣхать, посадилъ его съ собою въ карету, и опять говорилъ всю дорогу. Всѣ догадки, приходившія на мысль Волгину, поочередно представлялись и Соколовскому. На всѣ онъ нашелъ отвѣты въ разсказахъ камердинера. Первое, что вздумалось Соколовскому, было: почему Левицкій уѣхалъ изъ деревни одинъ, и не дождавшись Илатонцевыхъ только два дня?—Не были-ли ссоры?—Соколовскій сталъ дѣлать вопросы издалека и очень осторожно. Но камердинеръ былъ человѣкъ неглупый, скоро замѣтилъ, къ чему ведется разговоръ. Не сдѣлалъ намека, что понялъ, но прямо сталъ самъ заговаривать о томъ, до чего еще и не касался Соколовскій,—объ отношеніяхъ между Илатонцевыми и Левицкимъ, объ отъѣздѣ Левицкаго раньше ихъ.—Соколовскому оставалось только направлять его словоохотливость по ходу своихъ предположеній: камердинеръ не боялся говорить ни о чемъ, что любопытно было Соколовскому.

Отношенія между Илатонцевыми и Левицкимъ были дружескія. За нѣсколько часовъ до отъезда Левицкаго они говорили о томъ, какъ они размѣстятся въ экипажахъ. Пятерымъ сидѣть въ одной каретѣ нельзя: они считали пятерыхъ, потому что Надежда Николаевна никакъ не соглашалась, чтобы ея горничная, — она зоветъ ее Мери, — „эта горничная племянница моя“, — замѣтилъ камердинеръ, — чтобы Мери ѣхала въ тарантасѣ съ дядею: въ тарантасѣ будетъ навалено столько вещей, что и одному Ивану Антонычу будетъ неловко. Мери измучилась-бы. Надежда Николаевна очень любитъ Мери. — Было рѣшено: въ одной каретѣ, поѣдутъ она, отецъ, Владиміръ Алексѣичъ; въ другой Мери съ Юринькою, — и пусть Иванъ Антонычъ сядетъ съ ними. Это говорилось во время завтрака. Послѣ Владиміръ Алексѣичъ ушелъ въ свою комнату, и былъ тамъ одинъ, лежалъ и читалъ, — можетъ быть и писалъ: этого Иванъ Антонычъ не знаетъ, писалъ-ли онъ, но что онъ лежалъ и читалъ, это Иванъ Антонычъ видѣлъ, — и совершенно знаетъ, что Владиміръ Алексѣичъ все время отъ завтрака до обѣда былъ одинъ, въ своей комнатѣ, и никто не входилъ къ нему: мимо Ивана Антоныча нельзя было пройти къ нему въ комнату. А Иванъ Антонычъ заглядывалъ въ нее, потому что топилась печь, — въ деревнѣ они жили просто, Иванъ Антонычъ самъ дѣлалъ всѣ прислуги и Николаю Петровичу, и Владиміру Алексѣичу. Оба люди безъ капризовъ, можно было успѣть, и не трудно.—Входя въ комнату Владиміра Алексѣича присмотрѣть за печью, Иванъ Антонычъ видѣлъ, что онъ лежитъ и читаетъ.—Иванъ Антонычъ позвалъ его къ обѣду. За обѣдомъ всѣ говорили какъ обыкновенно, — и Николай Петровичъ, и Надежда Николаевна, и



Владиміръ Алексѣичъ,—все́ были веселы, въ особенности Надежда Николаевна; и Владиміръ Алексѣичъ тоже. Но вотъ, во время обѣда, пріѣхалъ мужикъ, который ѣздилъ въ городъ за почтою,—привезъ газеты, письма. Одно было къ Владиміру Алексѣичу. Онъ тутъ-же распечаталъ, прочелъ, сдѣбался какъ будто и недоволенъ, и доволенъ; все вмѣстѣ, и сказалъ: „Николай Петровичъ, я не буду ждать васъ; уѣду нынѣ-же,—я попрошу васъ приказать приготовить лошадей“.—Какъ? что?—Онъ говоритъ: „по этому письму; нельзя“.—Что въ письмѣ?—Стали говорить о письмѣ. Сколько могъ понять Иванъ Антонычъ, письмо было отъ какого-то ученаго,—тогда онъ не разслушалъ хорошенько фамилію, но теперь, когда его послали къ Волгину, думаетъ: тогда говорили эту самую фамилію. Да вотъ, не знаетъ-ли г. Соколовскій: женатъ онъ? знакома его жена съ Надеждою Николаевною?—Надежда Николаевна, провожая Владиміра Алексѣича, говорила ему кланяться отъ нея его женѣ...

— Такъ,—предупредилъ Волгинъ вопросъ Соколовскаго,—отъ него-ли было это письмо:—Такъ; я имѣлъ неосторожность выразиться, что измученъ работою какъ собака, ну и многое въ этомъ стилѣ. Я краснорѣчивъ.—Такъ вотъ что!—Это письмо и взбаломутило его!—Эхъ, дуракъ я, дуракъ!—Волгинъ покачалъ головою въ порицаніе своему неумѣстному краснорѣчію.

Никакого письма, кромѣ одного, Волгинъ не отправлялъ къ Левицкому. А то было получено Левицкимъ гораздо раньше, и даже отвѣтъ Левицкаго былъ полученъ Волгинымъ раньше того времени, когда могъ быть отъѣздъ Левицкаго изъ деревни.—Для Волгина было слишкомъ ясно, что Левицкій воспользовался своими отношеніями къ нему для замаскированія истинной причины своего отъѣзда. Но онъ видѣлъ, что Соколовскій расположенъ вѣрить, будто его письмо произвело отъѣздъ;—Соколовскій уже видѣлся съ Илатонцевыми, и если вѣрить, то вѣроятно, и они говорили ему тоже, что камердинеръ. Положеніе, въ которое ставился этимъ Волгинъ, обрисовывалось такъ ясно, что при всей своей несообразительности и ненаходчивости, онъ понималъ, какую роль долженъ играть, въ поддержку Левицкаго.—Вотъ дуракъ-то я!—повторилъ онъ:—Эко, надѣлалъ тревоги Левицкому!—И чортъ меня дернулъ пускаться въ краснорѣчіе!—Ну, продолжайте, Болеславъ Иванычъ...

— Николай Петровичъ очень жалѣлъ, что Владиміръ Алексѣичъ не можетъ подождать, чтобы ѣхать вмѣстѣ,—возобновилъ Соколовскій свое пересказываніе разсказа камердинера Илатонцева:—Надежда Николаевна жалѣла еще больше. Не могла не жалѣть: она была очень, очень дружна съ нимъ. Рѣдко даже и можно видѣть такое расположеніе, какое было у нея къ нему. Когда прощалась, то даже заплакала: „Только на нѣсколько дней расстаемся съ Вами, Владиміръ Алексѣичъ,—а такъ жаль мнѣ!“—Отецъ посмѣивался надъ нею,—да и сама она смѣялась надъ своими слезами,—а все-же, не могла удержать ихъ.—И правда, замѣчалъ объ этомъ камердинеръ:—Кто не видѣлъ-бы ихъ дружбы, тотъ могъ-бы осудить эту жалость. Но онъ не можетъ осудить, потому что дѣвушка рѣдко можетъ найти себѣ такого друга.

Письмо отъ ученаго изъ Петербурга достаточно объясняло торопливый отъѣздъ Левицкаго теперь, когда Соколовскій услышалъ отъ самого этого ученаго, какъ сильны были выраженія, которыми петербургскій другъ убѣждалъ Левицкаго спѣшить. Но тогда, при разговоръ съ Иваномъ Антоны-



чемъ, Соколовскій полагалъ, что два дня не составляли такой разницы, чтобы Левицкій не захотѣлъ подождать. Не было-ли письмо только предлогомъ, чтобы уѣхать?—думалось ему.

— Едва-ли, замѣтилъ Волгинъ,—сдѣлалъ видъ, что раздумываетъ, и рѣшительно сказалъ:—Нѣтъ.

Теперь Соколовскій былъ согласенъ, что оно не было только предлогомъ,—разговоръ съ самими Илатонцевыми убѣдилъ его. Рѣшимость не дожидаться ихъ была гораздо естественнѣе, нежели показалось по словамъ камердинера, изъ которыхъ выходило только два дня разницы. Илатонцевъ сказалъ, что хотѣлъ довольно на долго остановиться въ Москвѣ. Естественно, что Левицкій почелъ нужнымъ избѣгать такой неопредѣленной проволочки.

— Естественно,—подтвердилъ Волгинъ.

Такъ; но тогда, разговаривая съ Иваномъ Антонычемъ, Соколовскій еще не думалъ такъ. Ему представлялось: не было-ли письмо только предлогомъ, чтобы удалиться отъ какихъ-нибудь непріятныхъ отношеній. Эта мысль очень сходилась съ тѣмъ, что Левицкій теперь пропалъ изъ виду у Илатонцевыхъ...

— Ну, а съ какой-же стати не показался-бы онъ ко мнѣ?—вставилъ Волгинъ:—Если хотѣлъ скрыться отъ нихъ, то что-же скрываться отъ меня-то?—Дѣло ясное: просто, задержало что-нибудь на дорогѣ.

Такъ думаютъ Илатонцевы; такъ думаетъ теперь и самъ Соколовскій. Но пусть-же Волгинъ не мѣшаетъ ему рассказывать.—Тогда, при разговорѣ съ Иваномъ Антонычемъ, онъ еще держался другаго предположенія: быть можетъ, Левицкій хотѣлъ разорвать свои связи съ домомъ Илатонцевыхъ.—Онъ сталъ подробнѣе разспрашивать, какъ шла жизнь Левицкаго въ деревнѣ, и убѣдился, что Левицкій не могъ ни тяготиться обязанностями гувернерства,—они были очень легки,—ни обременяться своими отношеніями къ самому Илатонцеву,—они были пріятны и свободны;—не могло быть и того, что онъ влюбился въ дочь Илатонцева и хотѣлъ удалиться отъ нея, считая свою любовь безразсудною...

— Само собою, ничего такого не было,—вставилъ Волгинъ:—Во первыхъ, вообще, что за поэтическій взглядъ на жизнь, предполагать такой мотивъ?—А во вторыхъ, будь у него къ ней какія-нибудь не совершенно хладнокровныя чувства, развѣ сталъ-бы камердинеръ такъ расписывать ихъ дружбу?—Человѣкъ неглупый, самъ вы говорите. Если сплетникъ, то сдѣлалъ бы намеки. А онъ не дѣлалъ. Значить, если не боялся говорить о ихъ дружбѣ, то слишкомъ былъ убѣжденъ, не было никакихъ щекотливыхъ отношеній, и надѣялся, вы самъ убѣдитесь въ этомъ, когда посмотрите на Илатонцеву и поговорите съ нею.—Волгинъ не всегда умѣлъ найтись, въ какомъ вкусѣ ему надобно говорить, но попавши въ роль, онъ не затруднялся приискивать аргументы, какіе нужны для нея.

— Совершенная правда,—согласился Соколовскій:—но тогда это очень тонкое и вѣрное соображеніе не пришло въ голову ему. Его догадка была разрушена фактомъ менѣе идеальнымъ, нежели вѣра въ тактъ и въ скромность камердинера. Рассказывая о жизни Левицкаго въ деревнѣ, Иванъ Антонычъ сталъ распространяться о томъ, какъ Левицкій любилъ его, и онъ любилъ Левицкаго, и дошелъ до того, что привелъ въ доказательство своей

привязанности къ Левицкому дѣло, въ которомъ изъ расположенія къ Левицкому принималъ грѣхъ на душу, дѣлался виноватъ передъ самимъ бариномъ, рисковалъ со стыдомъ потерять мѣсто. Иванъ Антонычъ рассказывалъ это такимъ образомъ, непритворно совѣстясь за себя: „Ну, извѣстно, молодой человѣкъ, не праведникъ; не по моимъ-бы лѣтамъ и слушать это, и въ особенности отъ такой, можно сказать, дѣвушки, съ которою и говорить-то мнѣ было-бы не хорошо. Но какъ быть?—Онъ къ ней привязался; съ ея стороны, вижу, такая любовь къ нему, какой отъ нея и ждать нельзя-бы, кажется. Ну, и потворствовалъ ей: въ домъ пускалъ ее. Прошу вашего извиненія, что говорилъ объ этомъ; да и мнѣ самому, въ мои лѣта, неприличенъ такой разговоръ. Но, говорю, значить умѣлъ-же привязать меня къ себѣ Владиміръ Алексѣичъ, когда я бралъ такой стыдъ себѣ на душу и вводилъ себя въ опасность“.—И такъ, Левицкій имѣлъ любовницу,—дружба съ Илатонцевою была просто дружбою.

Волгинъ согласился, что этотъ фактъ еще лучше его соображеній доказываетъ совершенную ничтожность Илатонцевой для Левицкаго.

Такимъ образомъ, еще раньше, нежели пріѣхалъ къ Илатонцевымъ, Соколовскій былъ уже почти убѣжденъ, что у Левицкаго не было никакихъ причинъ расходиться съ ними; что если поспѣшность его отъѣзда и кажется странною, то все-таки не слѣдуетъ искать для нея другихъ мотивовъ, кромѣ слишкомъ горячаго желанія поскорѣе снять съ Волгина часть обременительной работы; что если и остается загадочнымъ, почему Илатонцевы не нашли его въ своемъ домѣ, то нечего много думать объ этомъ: вѣроятнѣе всего, что-нибудь задержало его на дорогѣ.—Пріѣхавши къ Илатонцевымъ, всмотрѣвшись въ Николая Петровича и Надежду Николаевну, поговоривши съ ними, онъ совершенно убѣдился, что не о чемъ думать. Волгинъ знаетъ, какое благородное, кроткое, искреннее существо Надежда Николаевна. Невозможно, чтобы сорока-пяти-лѣтній мужчина имѣлъ простодушіе и чистоту молоденькой дѣвушки. Но, сколько допускается разницею лѣтъ, Илатонцевъ походитъ характеромъ на дочь. Это человѣкъ честный, добрый, деликатный.—Невозможно сомнѣваться въ искренности его разговора о Левицкомъ. А кто сталъ бы сомнѣваться въ искренности его дочери, заслуживалъ-бы презрѣнія. Оба они говорятъ о Левицкомъ съ самымъ теплымъ расположеніемъ. Оба не видятъ ничего особенно тревожнаго въ томъ, что Левицкаго до сихъ поръ нѣтъ; оба увѣрены, что скоро онъ явится къ нимъ, или напишетъ, гдѣ онъ и что его задержало.—Илатонцевъ просилъ передать это Волгину и успокоить его.

— Вы можете сказать имъ, какъ покорно привидилъ я себя въ спокойствіе,—отвѣчалъ Волгинъ, зѣвнувъ:—Слушалъ всѣ ваши безчисленные подробности, хоть мнѣ и не было надобности въ нихъ, чтобы считать Илатонцевыхъ неспособными сдѣлать и малѣйшую неприятность порядочному человѣку. Я и безъ васъ зналъ ихъ обоихъ за людей очень благородныхъ, деликатныхъ, симпатичныхъ.—Понимаю ихъ желаніе уничтожить во мнѣ всякое предположеніе, что Левицкій могъ быть недоволенъ ими. Учивость обязывала меня выслушать все, что вы хотите сказать въ удовлетвореніе вашему естественному желанію разрушить во мнѣ всякія невыгодныя для нихъ мысли. Но повѣрьте, что это было напраснымъ опасеніемъ со стороны Илатонцева, напраснымъ трудомъ съ вашей, напрасною терпѣливостью съ моей.

— Я надѣялся, что вы не будете подозрѣвать никакой непріятности между ними и Левицкимъ,—сказаль Соколовскій.—Но успѣлъ-ли я успокоить и ваши опасенія за Левицкаго?

— Помилуйте, чего-же мнѣ было тревожиться?—И не думаль, могу васъ увѣрить.—Говоря серьезно, могла-бы быть одна тревога: не арестованъ-ли онъ?—Но теперъ времена тихія, не слышно ни о чемъ подобномъ. А главное, Илатонцевъ занимаетъ такое положеніе въ обществѣ, что не могли-бы не увѣдомить его, еслибы арестовали гувернера его сына. Съ Илатонцевымъ никто не можетъ быть забывчивъ.—Надобно признаться, это опасеніе мелькнуло у меня въ головѣ,—но въ ту-же секунду и вылетѣло. Слишкомъ нелѣпо.

Дѣйствительно, тогда были такія времена, что подобныя мысли могли представиться только чрезвычайно трусливому человѣку, каковъ былъ Волгинъ, да и тотъ не могъ ни на минуту продержаться въ головѣ такой вздоръ.

— Вы совершенно спокоенъ?—сказаль Соколовскій.

Волгинъ флегматически повториль, что и не думаль беспокоиться; нѣсколько живѣе прибавиль, что ему, впрочемъ, очень понравилась заботливость Илатонцева разсѣять всѣ недоумѣнія; потомъ совершенно одушевился, начавши благодарить Соколовскаго и бранить себя. Онъ говорилъ, что совѣстится, что просить Соколовскаго забыть его глупый отказъ и быть знакому съ нимъ.— Но Соколовскій понималь его боязнь очень серьезно, и отвѣчалъ, что не находить ее не трусостью, ни капризомъ, какъ увѣряетъ теперъ Волгинъ. Когда потребуеть общая польза, нечего думать о себѣ; но пока обязанность гражданина не велить пренебрегать рискомъ, надобно избѣгать всякаго риска, и самаго ничтожнаго. Волгинъ полагаль, что можетъ быть компрометированъ дружбою съ нимъ; не его дѣло судить, почему такъ полагаль Волгинъ; полагаль,—этого довольно. Безъ надобности онъ не будетъ видѣться съ Волгинымъ.

— Вотъ это я называю: человѣкъ,—сказаль Волгинъ, обращаясь къ Нивельзину, и не продолжалъ настаивать.

— Вы любите смѣяться надо всѣми; я немножко заражаюсь отъ васъ дурными привычками. Оба вы съ Соколовскимъ нѣсколько забавны,—сказаль Нивельзинъ.

— Противъ этого я не спорю,—отвѣчалъ Волгинъ, погружился въ размышленіе, и при своей способности къ быстрымъ соображеніямъ, обдумавши вооросъ со всѣхъ сторонъ въ теченіи нѣсколькихъ секундъ, повториль рѣшительно:—Не спорю, мы съ Волеславомъ Ивановичемъ забавны; почему?—потому что оба ждемъ бури въ болотѣ; болото всегда спокойно; буря можетъ быть повсюду кругомъ, оно всегда спокойно.—Онъ опять погружился въ размышленіе, всталъ, взявъ фуражку, вяло поблагодариль Соколовскаго еще разъ и ушелъ, извинившись тѣмъ, что не имѣетъ времени посидѣть и поболтать, хотя бы это было очень пріятно ему.

— Полноте, бойтесь компрометировать себя политическими разговорами съ такимъ опаснымъ человѣкомъ, какъ Соколовскій; —сказаль, смѣясь, Нивельзинъ.

Но, главши во всемъ, что говорилъ на этомъ свиданіи, Волгинъ не солгалъ, объясняя, почему не остается дольше. Дѣйствительно, онъ спѣшилъ — послать депешу въ Новгородъ.

Онъ могъ успокоиться предположеніемъ о поѣздѣ Левицкаго въ Новгородъ, когда не зналъ, какъ уѣхалъ онъ отъ Илатонцевыхъ. Но теперь было ясно, что Левицкій просто хотѣлъ вырваться отъ Илатонцевыхъ. Волгинъ не сомнѣвался и въ томъ, что Левицкій поѣхалъ прямо въ Петербургъ, безо всякихъ остановокъ. Предлогъ отъѣзда налагалъ на него эту необходимость.

Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, — былъ убѣжденъ Волгинъ: — Почему-же онъ до сихъ поръ не былъ у меня? — Онъ долженъ былъ, какъ пріѣхалъ, спѣшить ко мнѣ. — Волгинъ былъ теперь сильно встревоженъ.

Какъ услышалъ онъ отъ Соколовскаго о своемъ небываломъ второмъ письмѣ съ настоятельнымъ вызовомъ, онъ хотѣлъ уйти, не слушая ничего дальше. Но онъ успѣлъ разсудить, что это значило-бы только обнаружить свое безпокойство и возбудить въ Соколовскомъ подозрѣнія, безо всякой пользы: вечеръ неудобное время для справокъ. — Одно, что возможно до утра: послать депешу въ Новгородъ, — и то, почти только для того, чтобы отнять у себя послѣднюю возможность сомнѣваться, въ Петербургѣ-ли Левицкій.

Возвратившись домой, онъ услышалъ, что жена уѣхала съ Мироновымъ на вечеръ. Онъ сѣлъ работать, но не могъ. Легъ читать. Это помогло. Онъ скоро уснулъ.

— Будешь помнить, и сдумѣешь приготовить хорошо? — говорила Волгина слѣдующимъ утромъ кухаркѣ; выходя въ ея сопровожденіи изъ кухни въ столовую, гдѣ кипѣлъ самоваръ: — Наташа, позови Алексѣя Иваныча; развѣ не видишь, я еще не договорила съ Авдотьей, не пойду звать сама? — Наташа, съ ребяческимъ усердіемъ занимавшаяся осуществленіемъ фантазіи разставить чайныя принадлежности вокругъ самовара правильною звѣздой съ пятью лучами, неохотно оторвалась отъ своей полезной заботы, и пошла самымъ тихимъ шагомъ: такъ велико было ея неудовольствіе. — Волгина продолжала говорить съ кухаркою объ обѣдѣ.

Наташа, вышедшая изъ столовой съ достоинствомъ, какого требовала досада, вбѣжала назадъ, разинувъ ротъ, хлопая глазами и размахивая руками отъ изумленія: — Алексѣя Иваныча нѣтъ, Лидія Васильевна. И сюртука нѣтъ, и въ передней теплаго пальто нѣтъ, и галошъ Алексѣй-Иванычевыхъ нѣтъ!

— Неужто еще не пріѣхалъ? — начала вторить ей кухарка, по первому же ея слову: — Съ восьми то часовъ уже часа полтора будетъ: а сказала „скоро вернусь!“ — А ты не умѣла сказать какъ слѣдуетъ: „видно, ушли куда-нибудь, потому что пальто и галошъ ихъ нѣтъ“, — обратилась она съ назиданіемъ къ Наташѣ: — Такъ надо сказать; а ты: „Алексѣя Иваныча нѣтъ, и сюртука нѣтъ“, — точно, кто укралъ Алексѣя Иваныча вмѣстѣ съ сюртукомъ! Можно-ли такъ говорить? Ты должна слушать и понимать, какъ говорятъ и сама стараться.

— Гдѣ-же Алексѣй Иванычъ? Послѣ доучишь ее, какъ надобно умѣть говорить.

— Ушли, и чаю ждать не захотѣли; я говорила: въ пять минутъ по-



ставлю самоваръ,—не стали ждать.— „Я“, говоритъ, „скоро прїѣду“, — да вотъ тебѣ и скоро!—А я думала, они ужь дома, Наташа впустила.

— Ты тоже умѣешь говорить. Куда онъ уѣхалъ?—Зачѣмъ?— Вѣрно, онъ говорилъ, чтобы ты сказала мнѣ.

— Какъ-же, сказали.— „Справляться“, говоритъ.— А я думала, они уже давно дома.

— Справляться,—только сказалъ онъ? Не сказалъ, о чемъ, о комъ.

— Искать кого-то, сказывали они, да я не умѣю выговорить фамилію-то: не русская какая-то, должно быть. Ну, они говорили того, о которомъ вчера разговаривали съ вами;—лакей-то приходилъ, они сказывали.

— Левицкаго?—Это не русская фамилія.

— Такъ, такъ, Левицкаго! — повторила кухарка въ восхищеніи отъ своей памятности.

— Что-жъ, онъ узналъ о Левицкомъ что-нибудь новое?—Гдѣ искать, почему искать.

— Не знаю, Лидія Васильевна.

— Да какъ-же онъ проснулся такъ рано?—Приходилъ кто нибудь разбудилъ его?

— Приходилъ почтальонъ, только не настоящій почтальонъ, а совсѣмъ особый, и принесъ письмо, только тоже не настоящее, а особое, и велѣлъ разбудить. Я не хотѣла. А онъ: буди. А я: въ первой-ли намъ получать письмо? Никогда не будила; проснется; прочитаетъ.—А онъ: наши письма не такія, по нашимъ письмамъ всѣ велятъ будить себя. Буди.—Да еще что, Лидія Васильевна?—Ругать меня сталъ, дурую назвалъ, ей Богу!—А я ему...

— Алексѣй Иванычъ не говорилъ, съ собою взялъ эту депешу или оставляетъ мнѣ?

— На столѣ на своемъ оставилъ,—скажи, говоритъ, Лидіи Васильевнѣ, что оставляю на столѣ.

— Эхъ, ты!—А еще меня учила говорить!—съ торжествомъ замѣтила Наташа.

Волгина нашла на столѣ мужа телеграмму: „Левицкій не былъ въ Новгородѣ. Уѣзжая изъ деревни, писалъ мнѣ: спѣшить къ Вамъ“.

Волгинъ возвратился домой уже въ третьемъ часу, и еще изъ передней началъ:—Голубочка, гдѣ ты? Будешь бранить меня, голубочка, за то, что я уѣхалъ не напившись чаю: но я увѣрю...

— У Лидіи Васильевны кто-то есть, Алексѣй Иванычъ,—прервала Наташа:—Дама какая-то, бѣлая, молодая,—та самая, можетъ быть, помните, которая была весною и опять прїѣзжала, какъ мы воротились съ дачи.

— Савелова?—Спросилъ Волгинъ, укрощая свое громогласіе.

— Такъ, она:—подтвердила Наташа. Волгинъ пробрался въ кабинетъ потише и поосторожнѣе, чтобы не попасться въ надобность отличатся своими свѣтскими талантами.

Онъ прислушивался, какъ будетъ уходить Савелова, и лишь только Лидія Васильевна проводила ее, онъ всталъ и пошелъ къ женѣ, еще въ кабинетѣ начавши по прежнему:—Голубочка, ты будешь бранить меня; а пожалуйста не брани, потому что, увѣрю тебя, я заѣзжалъ по дорогѣ въ кондитерскую, и напился чаю, и даже закусывалъ, и увѣрю тебя, вовсе не голодень.—Видишь-ли, голубочка: изъ разговора съ Соколовскимъ я увидѣлъ, что Левицкій...

— Знаю, мой другъ. Если ты получилъ отвѣтъ изъ Новгорода, то понятно, ты посылалъ туда депешу,—значить, былъ встревоженъ за Левицкаго. И нельзя было не понять, что ты встревожился тѣмъ, что услышалъ отъ Соколовскаго. Я послала за Нивельзинимъ и знаю все.

— Посылала, голубочка? Значить, теперь и Нивельзинъ понимаетъ, что дѣло было не въ томъ, какъ повѣрили Илатонцевы, да и Соколовскій, да и онъ тоже... Э, что-жъ я!—перебилъ онъ самъ себя съ досадою:—Натурально, важность только въ томъ, что не усомнились Илатонцевы,—а отъ Нивельзина чего тайтъ?—Нечего, разумѣется.

— Конечно, такъ, мой другъ.—Что-же ты узналъ?

— Ничего, разумѣется. Былъ въ адресномъ столѣ; тамъ нѣтъ ничего. И натурально—тутъ-же размыслилъ Волгинъ:—Не стоило и справляться въ адресномъ столѣ: свѣдѣнія не получаютъ тамъ такъ скоро, въ нѣсколько дней,—развѣ черезъ двѣ, три недѣли дойдетъ туда.—Поэтому Волгинъ былъ у оберъ-полицеймистра, былъ у всѣхъ полицеймистровъ,—просилъ всѣхъ приказать справиться поскорѣе;—всѣ они при немъ и отдали приказаніе, потому что всѣ видѣли: дѣйствительно, его предположеніе слишкомъ правдоподобно: Левицкій, вѣроятно, тяжело боленъ, такъ что не могъ и извѣстить Волгина. Ничемъ другимъ нельзя объяснить, что онъ не увѣдомилъ о себѣ человѣка, на вызовъ котораго такъ спѣшили.—Всѣ приняли самое доброе, самое живое участіе.

— И что-же, мой другъ: ты думаешь, это самое лучшее и скорое средство узнать, гдѣ Левицкій, что съ нимъ?

Волгинъ съ ожесточеніемъ мотнулъ головою:—Само собою, нѣтъ, голубочка. Кому-же изъ полицейскихъ будетъ охота слишкомъ усердно хлопотать по обыкновенному приказанію начальства?—Извѣстно, какъ исполняютъ официальные порученія: лишь-бы отдѣлаться, лишь-бы дать какой-нибудь отвѣтъ. Натурально, слѣдовало начать вовсе не съ того, какъ я,—это самое послѣднее. Вотъ, давай-ка поскорѣе объѣхать, да и отпусти меня: поѣду къ мелкимъ чиновникамъ, — общаю сто рублей за извѣстіе. Тогда справятся какъ слѣдуетъ.

— Я очень довольна, мой другъ, что ты такъ думаешь. Значить, Нивельзинъ не ошибся: онъ уѣхалъ съ тѣмъ, чтобъ именно такъ и сдѣлать, какъ ты говоришь. Кромѣ того и самъ будетъ искать.—Мы съ нимъ также подумали, что, вѣроятно, Левицкій пріѣхалъ больной, и не могъ не только ѣхать къ тебѣ, даже и написать.

— Удивительно, голубочка, почему я всегда только уже послѣ увижу, какъ надобно сдѣлать, а начну непременно не такъ!—съ ожесточеніемъ сказалъ Волгинъ:—Это удивительно, голубочка, увѣрю тебя!—Почему-же Нивельзинъ съ перваго раза увидѣлъ какъ слѣдуетъ сдѣлать?

— Мой другъ, я тысячу разъ говорила тебѣ: ты вовсе не живешь съ людьми, — какъ-же тебѣ умѣтъ жить въ свѣтѣ, умѣтъ приниматься за дѣла?

— Нѣтъ, голубочка: это уже врожденная глупость, увѣрю тебя — съ негодованіемъ возразилъ Волгинъ и ужасно мотнулъ головою. — Въ другое время онъ сталь-бы доказывать это очень подробно и основательно, по своему обыкновенію. Но теперь, ему было не до того, чтобы заниматься разъясненіемъ своихъ удивительныхъ врожденныхъ умныхъ свойствъ: онъ былъ слишкомъ серьезно встревоженъ за Левицкаго, — поэтому замолчалъ.

— Я не думала, чтобы ты могъ любить кого-нибудь, — сказала жена.

— И я самъ тоже думалъ, голубочка. — Все дурачье, только смѣхъ и горе съ ними. Все дурачье, — ты не повѣришь, голубочка, что такое всѣ эти умные люди, — о, какіе слѣпые дураки! — Жалкое общество, какіе у него руководители! Бѣдный народъ, чего ждать ему отъ такого общества съ такими руководителями!

Онъ вытащилъ платокъ и началъ съ ожесточеніемъ сморкаться. — Голубочка, пожалуйста, ты не говори Нивельзину, что я хуже всякой бабы, — замѣтилъ онъ, кончивши свое занятіе съ платкомъ, и принужденно захохоталъ; потомъ, покачалъ головою и сказалъ: — Это очень, глупо, голубочка, увѣрю тебя; потому что, согласишься, какая мнѣ надобность? — Никакой. Но вотъ, глупая слабость: расчувствовался какъ самая старая баба, — и всегда такъ расчувствуюсь. Удивительно. — Да, — продолжалъ онъ, углубляясь въ размышленіе: — Въ томъ и штука, что Левицкій незамѣнимый человѣкъ. Полезный человѣкъ.

— Пока, у тебя еще нѣтъ никакой причины слишкомъ тревожиться за него, мой другъ, — замѣтила жена: — То, что онъ боленъ, и довольно серьезно, это очень вѣроятно. Но только. А ты ужъ и оплакалъ его: ты слишкомъ мнительнъ. — Пойдемъ, взгляни на Володю, поиграй съ нимъ: ты огорчаешь меня тѣмъ, что совершенно не занимаешься имъ.

— А, погоди, голубочка: подрастетъ, будешь, пожалуй, говорить, что и слишкомъ много занимаюсь съ нимъ, когда стану набивать ему голову всюю этою чепухою, которую называютъ ученостью; — пойдемъ, пожалуй, посмотрю, какой онъ милый по твоему мнѣнію, — но увѣрю тебя, голубочка, что и теперь можно видѣть, что будетъ тоже молодецъ, въ родѣ меня. Впередъ восхищаюсь его ловкостью.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Послѣ того, какъ ушла тайкомъ изъ квартиры Волгиныхъ, Савелова должна была стыдиться взглянуть на Лидію Васильевну: будучи глубокимъ знатокомъ человѣческаго сердца, Волгинъ не сомнѣвался въ этомъ и, конечно, не могъ оставить жену въ незнаніи насчетъ своего блистательнаго соображенія: „Увѣрю тебя, голубочка, она не покажетъ носу къ тебѣ“, предрекъ онъ женѣ. Предсказаніе, дѣлавшее такую честь его необыкновенной проницательности, оправдывалось. Ни до переѣзда на дачу, ни во все продолженіе дачнаго сезона Савелова не была у Волгиной.

Тѣмъ справедливѣе удивился глубокомысленный прорицатель, векоръ по переселеніи въ городъ услышавъ отъ жены, что нынѣ поутру пріѣзжала къ ней Савелова. По свойственной его уму быстротѣ въ дѣланіи самыхъ труд-

ныхъ соображеній, Волгинъ мгновенно постигъ тайну такого мудренаго случая, и сталъ увѣрять жену, что непременно у Савеловой была какая-нибудь особенная, большая надобность, — безъ того она не поѣхала бы. Жена сказала, что изъ разговора Савеловой не было видно, чтобы она хотѣла посоветоваться или попросить о чемъ-нибудь.

— Ну, а все-таки, по твоему мнѣнью, голубочка? — спросилъ мужъ, любившій глубокія соображенія.

— Какая-же надобность мнѣ имѣть какое-нибудь мнѣніе? — замѣтила жена: — она хотѣла вести пустой разговоръ, я была очень рада, что нѣтъ ни обниманій, ни слезъ.

— Знаешь-ли, голубочка? — Она пріѣзжала поговорить о Нивельзинѣ, — спросить, не имѣешь-ли какихъ-нибудь извѣстій о немъ, — увѣрю тебя, голубочка, потому что, увѣряю тебя, она и теперь сохраняетъ нѣкоторое расположеніе къ нему. Она, бѣдняжка, только не рѣшилась спросить о немъ. А повѣрь, такъ.

Жена сказала, что она сама подумала такъ, и не дожидаясь вопроса, тяжелаго для Савеловой, рассказала все, что знаетъ о Нивельзинѣ, — онъ въ то время еще не возвратился изъ за-границы. Савелова слушала съ интересомъ, и призналась въ этомъ, и благодарила за рассказъ, и потомъ продолжала прежній разговоръ.

Мгновенно углубившись въ небольшое размышленіе, мужъ объявилъ, что когда такъ, то нѣтъ: Савелова пріѣзжала не за этимъ. Еслибъ за этимъ, то послѣ и не было-бы никакого другаго разговора. Видно, она вспоминаетъ о Нивельзинѣ мило и нѣжно; и крестится обѣими руками отъ радости, что не заставили ее уѣхать съ этимъ человѣкомъ, о которомъ такъ пріятно плакать.

Волгина очень желала бы не отдать визита Савеловой. И не отдала бы, если-бъ этимъ нарушились только правила этикета. Но Савелова увидѣла-бы въ этомъ не простое пренебреженіе условныхъ обычаевъ, а презрѣніе къ своему характеру — была бы слишкомъ жестоко поражена. Волгина пожалѣла ее. Сдѣлала принужденіе себѣ и поѣхала отдать ей визитъ. Но съ тѣмъ, чтобы не пришлось повторить его. Этого можно было достигъ, не обижая женщину, болѣе жалкую нежели дурную. Волгина хотѣла мягко, но рѣшительно сказать, что не можетъ наряжаться такъ богато какъ аристократки, съ которыми она встрѣчалась бы у Савеловой, что онѣ стали-бы смотрѣть свысока на нее, что изъ этого происходили-бы непріятныя столкновенія.

Волгина и сказала это. Но чтобы найти минуту сказать, должна была просидѣть у Савеловой гораздо дольше, нежели хотѣла. Она застала Савелову не одну. Довольно пожилой мужчина въ пальто, совершенно по домашнему расположившись въ большихъ и низенькихъ мягкихъ креслахъ, не подходившихъ къ остальной мебели и очевидно принесенныхъ въ гостинную нарочно для него, пилъ кофе, читалъ газеты и курилъ, — все вмѣстѣ. Савелова на диванѣ подлѣ него вышивала уголь полотнянаго платка. Картина походила на семейную и Волгина подумала, что мужчина — какой-нибудь родственникъ хозяйки или хозяина, пріѣхавшій въ Петербургъ погостить. Но Савелова отрекомендовала его какъ



„Петра Степановича, о которомъ она такъ много говорила“; и какъ сѣла, Волгина должна была высказать свое мнѣніе объ узорѣ платка: оказалось, что платокъ вышивается для Петра Степановича. Дѣйствительно, Савелова очень много толковала о Петрѣ Степановичѣ, бывши съ визитомъ у Волгиной, почти все только о немъ и толковала. Кто такой Петръ Степановичъ — Савелова не объяснила: вѣроятно, по ея мнѣнію, всѣ въ Петербургѣ, или въ цѣлой Россіи, должны были знать, кто Петръ Степановичъ; Волгина не знала и не полюбопытствовала спросить; но скоро увидѣла изъ ея словъ, что Петръ Степановичъ — какой-то чрезвычайно высокій сановникъ, по всей вѣроятности — начальникъ Савелова. Дальше, оказывалось, что онъ совершенно одинокій человекъ, старый холостякъ. Савелова не могла до сыта наговориться о своей дружбѣ съ Петромъ Степановичемъ, и прилетала ее ко всему — о чемъ болтала. Она сваливала на Петра Степановича даже то, что не была у Волгиной во время дачнаго сезона: нельзя было вырваться отъ Петра Степановича, чтобъ съѣздить изъ Ораньенбаума въ Петербургъ и заѣхать къ Волгиной на Петровский. Иовѣрять-ли Волгина? Она все лѣто ни разу не была въ Петербургѣ. Они жили въ Ораньенбаумѣ, потому что тамъ жилъ Петръ Степановичъ: ея мужъ долженъ каждый день работать съ Петромъ Степановичемъ; — Она и прежде была очень хороша съ Петромъ Степановичемъ; но въ Ораньенбаумѣ, они подружились такъ, что онъ рѣшительно не могъ жить безъ нея: все вмѣстѣ, — и теперь, онъ безпрестанно у нея; каждый день, сидитъ утро, или сидитъ вечеръ. Это было бы утомительно, если бы Петръ Степановичъ не былъ такой милый человекъ и если-бъ она не любила его. Но она очень любитъ Петра Степановича; потому, несколько не обременяется.

Тутъ было страшно много хвастовства; еще больше аффектаціи. Но Волгиной казалось, что есть и кое-что похожее на искреннее расположеніе къ Петру Степановичу. О томъ, что тутъ нѣтъ ничего похожего на волокитство со стороны Петра Степановича, нечего было и сомнѣваться.

Петръ Степановичъ бросилъ газету и оказался очень разговорчивымъ собесѣдникомъ. Анекдоты его были милы; шутки не пошлы; серьезные слова не глупы. Вся манера его держать себя была совершенно безъ претензій. Лицо его было еще красиво; волоса еще довольно густы и безъ сѣдинъ. Но онъ не забывалъ свои сорокъ слишкомъ — быть можетъ, и пятьдесятъ лѣтъ. Зато совершенно не считалъ нужнымъ помнить, что онъ очень высокій сановникъ. Очевидно, онъ любилъ Савелову какъ родную и вѣрилъ, что она любитъ его совершенно безкорыстно. Эта увѣренность была отчасти слишкомъ наивна. Впрочемъ, ошибка его не была неизвинительна. Если Савелова и начала ухаживать за нимъ исключительно по служебнымъ надобностямъ мужа, то теперь имѣла до нѣкоторой степени и душевную привязанность къ нему. Дѣйствительно, онъ былъ такъ искрененъ съ нею, что нельзя было ей не начать хоть немножко платить ему тѣмъ-же. Вообще онъ очень понравился Волгиной: показался человекомъ добрымъ, честнымъ, не орломъ по уму, но далеко не дуракомъ.

Черезъ полчаса или больше пришелъ въ гостиную Савеловъ съ бумагами въ рукахъ. Какъ видно, онъ не зналъ, что у жены сидитъ Волгина; быть можетъ, не зналъ, что его жена и знакома съ нею. — Волгиной было

довольно забавно подмѣтить, какъ ловко и быстро согналъ со своего лица удивленіе и устроилъ мину, прекрасно показавшую, что онъ не имѣетъ удовольствія знать—кто гостя, но, что видъ неизвѣстной дамы произвелъ на него самое выгодное для нея впечатлѣніе. А когда жена представила его Волгиной, онъ сдѣлался непритворно милъ, и безъ особенныхъ церемоній извинившись передъ Петромъ Степановичемъ, что заставитъ его нѣсколько подождать разговора о дѣлахъ, сѣлъ къ Волгиной и довольно долго говорилъ съ нею, главнымъ образомъ о своемъ уваженіи къ ея супругу. Волгина засмѣялась и благодарила его за любезность. Но онъ очень серьезно отвѣчалъ, что она ошибается: онъ говоритъ о ея супругѣ то, что чувствуетъ. Дороги, по которымъ идутъ онъ и Волгинъ, очень различны, и хоть ведутъ къ одной цѣли, но не представляютъ имъ случаевъ встрѣчаться на пути къ ней. Притомъ-же Волгинъ затворникъ; даже у Рязанцева, единственнаго общаго друга ихъ, бываетъ рѣдко, да и то лишь въ назначенные дни, когда собирается толпа. А онъ по своимъ официальнымъ отношеніямъ избѣгаетъ являться въ эту толпу. Потому онъ не знаетъ, скоро-ли встрѣтится съ Волгинымъ. А нарочно искать сближенія, это было-бы неудобно, при его официальномъ положеніи, при положеніи Волгина въ литературѣ: сплетники сочинили бы что кто-нибудь изъ нихъ ищетъ чего-нибудь въ другомъ. Онъ дорожитъ репутаціею независимости; Волгинъ, конечно, не меньше. Тѣмъ больше онъ радъ, что его жена и Волгина подружились: онъ надѣется, что изъ этого естественно выйдетъ сближеніе между нимъ и Волгинымъ. А пока онъ проситъ ее передать его чувства ея супругу.

Это было еще до пріѣзда Нивельзина изъ-за границы. Волгинъ не хотѣлъ повѣрить женѣ, что въ длинныхъ и горячихъ тирадахъ Савелова объ уваженіи къ нему должно быть что-нибудь серьезное:—Э, голубочка! на что ему заботиться расположить меня въ свою пользу? Просто, онъ хотѣлъ быть любезенъ.—Но когда пріѣхалъ Нивельзинъ, и Рязанцевъ объяснилъ Волгиной, что ея мужъ посылалъ Нивельзина съ важными порученіями въ Лондонъ, Волгинъ понялъ, что дѣйствительно слова Савелова не были пустою любезностью. Въ тѣ времена петербургскіе реформаторы добивались, чтобы въ Лондонѣ были милостивы къ нимъ. Савеловъ вообразилъ, что Волгинъ пользуется тамъ сильнымъ вліяніемъ.

Только дикарю Волгину представлялось, будто-бы Савелова должна была до такой степени совѣститься своего бѣгства, что не пріѣхала-бы къ Волгиной безъ очень серьезной надобности въ совѣтъ или помощи. Когда онъ сообразилъ всѣ обстоятельства, раскрывшіяся для него въ послѣдствіи времени, то увидѣлъ, что предположеніе жены было справедливо: въ этотъ разъ Савелова пріѣзжала просто за тѣмъ, чтобы показать Волгиной,—и окончательно убѣдить саму себя,—что не имѣетъ причинъ стыдиться: ея поступокъ былъ хорошъ, она пожертвовала преступною страстью для священныхъ обязанностей, и достойна не норицанія, какъ, можетъ, представляется Волгиной, а почтенія и похвалы.

Она нылко протестовала противъ рѣшимости Волгиной не входить въ аристократическій кругъ; она съ паѳосомъ говорила, что не хочетъ подчиняться излишней гордости Волгиной, но согласна лишитъ себя ея дружбы. Но

видно было, что въ сущности для нея все равно.—Волгина думала: можетъ быть, увижу ее у себя еще разъ или два,—вѣроятно же, не увижу.

Но сомнѣвалась только до прїѣзда Нивельзина. А подружившись съ нимъ, предполагала, что не увидитъ ее у себя.

Пусть отношенія къ мужу, къ Петру Степанычу, къ цѣлому десятку важныхъ старухъ и цѣлому стаду важныхъ стариковъ были для Савеловой важнѣе любви. Но все-таки она любила Нивельзина со всею силой, какую могло имѣть благородное чувство въ ея сердцѣ, не совершенно дурномъ, хоть и слишкомъ набитомъ пошlostью. Пусть воспоминаніе объ этой любви успѣло очень и очень ослабѣть въ долгіе мѣсяцы, наполненные свѣтскими заботами и полубезкорыстною возней съ дружбою Петра Степаныча. Но все-таки это было единственное поэтическое воспоминаніе,—единственное, которое годилось для минутъ благороднаго настроенія души. Оно не могло не быть мило ей. Въ ней должна была сохраняться нѣжность къ Нивельзину. Ей не могло не быть тяжело смотрѣть на Волгину, когда она стала видѣть Волгину вмѣстѣ съ Нивельзинымъ и на Невскомъ, и въ театрѣ.

И однакоже она прїѣхала къ Волгиной—въ то утро, которое Волгинъ употребилъ на тревожные разѣзды, съ просьбами разыскать, гдѣ Левицкій, что съ нимъ. Она прїѣхала очень бойкая и развязная, но слишкомъ бойкая и развязная, такъ что напомнила Волгиной совершенную непринужденность Алексѣя Иваныча, когда Алексѣй Иванычъ становится въ отчаяніи развязнымъ свѣтскимъ человѣкомъ, чрезвычайно свободно попирающимъ всѣ свои затрудненія. „Бѣдна!—что съ вами? Что грозитъ вамъ?“ едва не воскликнула Волгина при взглядѣ на ея натянудо-беззаботную улыбку, принужденно-веселое лицо. Но она съ неудержимою говорливостію, какою блпстала и Алексѣй Иванычъ, когда бывала также беззаботенъ,—очень скоро успѣла отличиться такъ ловко, что и самъ Алексѣй Иванычъ согласился-бы признать ея превосходство надъ собою.

Она прїѣхала звать Волгину на обѣдъ. Она увѣрена, Волгина сдѣлаетъ ей это удовольствіе. Возраженія Волгиной не примѣняются къ этому случаю: обѣдъ будетъ совершенно запросто, маленькій, скромный,—можно сказать семейный. Будутъ только сослуживцы ея мужа, старики. Не будетъ ни одной дамы. Для такого общества не нужны брилліанты, дорогія кружева. Она сама не будетъ въ бальномъ платьѣ. Этотъ обѣдъ завтра. Это именны ея мужа. Она не сомнѣвается—Волгина прїѣдетъ. Все это говорилось такимъ тономъ, будто въ самомъ дѣлѣ ей только стоило сказать: „прїѣзжайте“, и Волгина съ восторгомъ поѣдетъ,—будто Волгиной должна быть необыкновенно пріятна честь сидѣть за однимъ столомъ съ нею, съ ея мужемъ и его сослуживцами. Вѣроятно, бѣдняжка не воображала давать такой тонъ своимъ словамъ; вѣроятно, она только усердствовала показать, что не затрудняется и не сомнѣвается. Но слишкомъ усердствовала и выходила такой тонъ.

— Зачѣмъ-же я поѣду?—холодно сказала Волгина.

Ей будетъ такъ пріятно, если прїѣдетъ Волгина. Сослуживцы ея мужа—все старики, все скучные. Съ ними такая невыносимая тоска! Она увѣрена,



Волгина не откажется: вдвоемъ имъ будетъ весело. Ей одной—невыносимо скучно. Съ Волгиной она сейчасъ-же послѣ обѣда уйдетъ въ свою комнату; одна—она должна будетъ оставаться съ этими гостями и умереть отъ скуки.

Необычайная ловкость тона продолжалась. Рѣшительно, самъ Алексѣй Ивановичъ не могъ-бы говорить такъ умно и мило.

— Вамъ хочется, чтобы за обѣдомъ была какая-нибудь дама, которая дала бы вамъ предлогъ уйти отъ скучныхъ стариковъ, желаніе очень естественное. Но я полагаю, что у васъ есть сотня пріятельницъ, можете выбрать изъ нихъ люблю.

Но она выбираетъ Лидію Васильевну. Неужели Лидія Васильевна откажетъ ей въ этой маленькой, дружеской услугѣ?

— Если бъ я не видѣла, что вы взволнована, и сказала бы вамъ: „Развѣ ваши обѣды такая честь для меня?—Кажется, я довольно ясно говорила вамъ, что не хочу бывать у васъ ни на обѣдахъ, ни до обѣдовъ, ни послѣ обѣдовъ?—Почему это? Между прочимъ, и потому, что вы слишкомъ заняты важностью вашего мужа. Я сказала-бы это и попросила-бы васъ идти вонъ. Но вы сама не понимаете, что ваши слова были дерзки. Я не должна сердиться. Не должна, и однакоже сержусь. Но удерживаюсь. Вмѣсто того, чтобы попросить васъ уйти, спрашиваю: Зачѣмъ вы пріѣхали? Говорите прямо, если не хотите, чтобъ я потеряла терпѣніе. Зачѣмъ вамъ надобно, чтобъ я пріѣхала завтра на вашъ обѣдъ? Это серьезная надобность?—Если очень-очень серьезная, и если никто не можетъ замѣнить меня, то я подумаю—и могу согласиться.

Савелова вспыхнула и нѣсколько времени сидѣла молча; новидимому она не знала, что ей дѣлать; вѣроятно, первую ея мысль было, что Волгина оскорбила ее, и что она должна встать и уйти, сказавъ, что она не ожидала такой обиды или что-нибудь подобное. Въ самомъ дѣлѣ, слова Волгиной были очень суровы. Но Савелова не хотѣла обращать вниманія на прежнія холодныя замѣчанія Волгиной и упорно оставалась при своемъ легкомъ тонѣ, будто не вѣрила, что женщина, мужъ которой не важный человѣкъ, можетъ не считать за честь себѣ ея приглашенія; будто не вѣрила, что Волгина, бывши у нея, серьезно говорила о своемъ нежеланіи входить въ ея общество. Савеловой трудно было принять подобныя слова за правду, когда сама она жертвовала всѣмъ для своей свѣтской карьеры. Она, по своему характеру, должна была считать ихъ только притворствомъ, которое будетъ отброшено въ сторону при настойчивости съ ея стороны.—Можетъ быть и то, что она въ своей отчаянной бойкости и дѣйствительно не понимала, какъ нагль и раздражителенъ тонъ ея приглашенія.—Теперь она опомнилась, и сидѣла, не зная что ей дѣлать. Вѣроятно, сначала въ ней преобладало то впечатлѣніе, что она обижена, должна встать и уйти. Она будто порывалась встать, но не вставала. Она сидѣла молча. Грудь ея стала дышать тяжело, на глазахъ у нея стали навертываться слезы.

— Я остановила васъ, быть можетъ, слишкомъ рѣзко, но должна была остановить, потому что начинала терять терпѣніе. Я—вспыльчива,—сказала Волгина смягчившись; видѣть огорченіе, страданіе—это обезоруживало ее.—Я очень вспыльчива, но зато моя досада и быстро проходитъ. Не могу не



любить ваше личико. Помиримся. Не плачьте пожалуйста. Для васъ необходимо, чтобы я не оставила васъ быть одну за вашимъ обѣдомъ?

— Боже мой, Боже мой, если-бы я могла обратиться къ кому-нибудь, кромѣ васъ, развѣ я пріѣхала-бы къ вамъ?—простонала Савелова.—Я люблю Нивельзина. Я ревную, я завидую, я люблю его.—Она залилась слезами.— Я люблю его, и все-таки я обращаюсь къ вамъ!—О, поймите-же, какъ велико мое страданье.

Волгина стала ласкать ее, чтобъ успокоить. Сказала, что пріѣдетъ; говорила, что въ чемъ-бы ни состояло горе Савеловой, вѣроятно, онъ слишкомъ робѣетъ; что, вѣроятно, можно будетъ отвратить его.

Савелова рыдала до того, что совершенно разстроила свои нервы, и горячая экзальтація овладѣла бѣдняжкой. Она повисла на шею Волгиной, обливала ее слезами, говорила о томъ, что никогда не забудетъ Нивельзина, что Нивельзинъ не можетъ любить ее, но что она любить его; что любовь къ нему поддерживаетъ ее; что безъ любви къ нему она сдѣлалась бы презрѣнною женщиною, что она благодаритъ Нивельзина за счастье, которое давала ей любовь къ нему; что она не эгоистка, не завистница; что она любить Нивельзина какъ брата; что у нея теперь одно желаніе—то, чтобы онъ былъ счастливъ; что скоро она будетъ имѣть силу сама сказать ему это, что она проситъ Волгину сказать ему, что она любить его какъ брата, убѣдить его, чтобы онъ не презиралъ ее; что она нѣжно желаетъ ему счастья; что она счастлива его счастьемъ.

Конечно, мимолетная экзальтація гораздо больше участвовала въ этихъ нѣжныхъ изліяніяхъ, нежели прочное чувство. Но если бы тутъ былъ Волгинъ, все-таки онъ расчувствовался бы до глубины души, по основательному соображенію, что сердце, способное хоть на минуту возвышаться до такого энтузіазма, не совершенно испорчено.—Такъ онъ и рѣшилъ, когда въ послѣдствіи времени узналъ объ этой сценѣ: сказалъ, что Савелова въ сущности хорошая женщина, размыслилъ и повторилъ: „да, какъ бы то ни было, все-таки, не совсѣмъ дурная женщина“.

Волгина не занималась размышленіями о томъ, хорошая ли женщина Савелова, а уговаривала ее выпить холодной воды,—наконецъ, успѣла заставить выпить стаканъ; послѣ того повела ее къ рукомоинику и велѣла ей умыться, дала выпить еще стаканъ холодной воды, и послѣ того стала говорить о дѣлѣ:

— Я сказала вамъ, что пріѣду на вашъ обѣдъ. Слѣдовательно это вещь рѣшенная. Но я думаю, что для васъ самой было-бы полезно, если-бы вы предупредили меня, какой помощи вы ждете отъ меня?

Только той, чтобъ Волгина не покидала ее послѣ обѣда. — Савелова опять начинала волноваться.

— Только?—Тамъ будетъ Петръ Степановичъ?

— Конечно будетъ.

— Неужели онъ не могъ-бы оказать вамъ этой услуги? Вы понимаете, я не думаю отказываться: дала слово, то уже не стану отговариваться. Но вы такъ дружны съ этимъ добрымъ, честнымъ человѣкомъ. Неужели вы не могли попросить его, чтобы онъ не отходилъ отъ васъ, если вамъ надобно было только, чтобы кто-нибудь былъ подлѣ васъ?

— Я не могла сказать даже и ему... Никто не долженъ знать, даже и онъ... И я не знаю, захотѣлъ-ли бы онъ... Савелова опять начинала трепетать.—Вы одна можете... И передъ вами мнѣ уже все равно стыдиться: вы презираете меня...

Волгиной опять пришлось успокоивать ее. — Въ томъ, что она не рѣшилась бросить мужа, нѣтъ ничего особеннаго; почти все поступили бы точно также, какъ она. Савелова была расположена думать, что не заслуживаетъ порицанія, да и не горевала о Нпвельзинѣ; потому утѣшилась очень легко. Воспоминанія не были особенно важны для нея, какъ убѣдилась Волгина. Она мучилась только опасностью, которая теперь грозитъ. Опасность была и велика, и дурна; это было видно изъ того, что Савелова стыдилась сказать о ней Петру Степановичу и не надѣялась на его желаніе или силу пособить. Но въ чемъ состоитъ эта ужасная и постыдная опасность, Волгина не видѣла; и не стала больше спрашивать, хоть было-бы очень полезно узнать это заранѣе, чтобы обдумать, что и какъ можно сдѣлать. Савеловой слишкомъ тяжело было говорить и Волгина отпустила ее со словами, что она не хочетъ знать ничего,—и не будетъ видѣть ничего, кромѣ того, что надобно будетъ видѣть для ея пользы.

Савеловъ не имѣлъ состоянія и былъ не жаденъ на деньги; дорожилъ своею вполнѣ заслуженною репутаціею безкорыстнаго человѣка и презиралъ выѣшній блескъ. Квартира Савеловыхъ была немногимъ больше квартиры Волгиныхъ, и мѣблирована почти такъ-же скромно.

Но если неподвижная мѣбель не очень большой гостиной была не блистательна, тѣмъ ослѣпительнѣе рѣзалъ глаза эффектъ ходячей мѣблировки, которая вся собралась въ гостинную: въ то время какъ пріѣхала Волгина, въ залѣ устанавливали раздвижной столъ, и все, съѣхавшіеся на обѣдъ, были загнаны этимъ въ одну комнату. Звѣздоносными группами они тихонько толклись вдоль оконъ гостиной. На пятнадцати или шестнадцати фракахъ и военныхъ мундирахъ сіяло чуть-ли не десятка три звѣздъ.

Хозяйка, выѣжавшая въ залъ встрѣчать гостю, провела ее мимо звѣздоносцевъ, не удостоивъ ни одного изъ нихъ словомъ или знакомъ, что онъ можетъ идти за нею и гостьею къ дивану. И ни одинъ звѣздоносецъ не осмѣлился сопутствовать дамамъ безъ приглашенія: все потянулись въ другую половину комнаты, распредѣлились вдоль оконъ, и солидно, тихо передвигались тамъ, переминались, поговаривали, помалчивали, все смиренно и въ совершенномъ удовольствіи.

И не только хозяйка предоставила этимъ смиреннымъ созвѣздьямъ заинтересоваться между собою какъ могутъ,—даже и хозяинъ былъ также безцеремоненъ съ ними. Савелова не было въ гостиной. Тридцать звѣздъ на пятнадцати сановникахъ не смѣли, какъ видно, обижаться: двигались вдоль оконъ, скромно сіяя.

Внезапно они замерцали паническими переливами свѣта, закопошились и обратились на дверь изъ зала. Въ залѣ раздался голосъ хозяина.

— Я замучилъ васъ; но будьте добры: заѣзжайте въ канцелярію и оставайтесь тамъ, пока докладъ будетъ переписанъ; прошу васъ объ этомъ не въ службу, а въ дружбу. Мнѣ хочется, чтобы къ шести часамъ онъ былъ здѣсь.

Мы всё тутъ и подписали-бы его; Петръ Степанычъ также будетъ здѣсь и въ 8 часовъ я повезъ-бы его Чаплину.

— Будьте увѣрены, въ 6 часовъ докладъ будетъ здѣсь, — отвѣчала другой голосъ, — конечно, чиновника, работавшаго съ Савеловымъ и теперь отпускаемаго имъ. — Я надѣюсь, что успѣю и прочесть внимательно, чтобы не было описокъ.

Чиновникъ говорилъ съ Савеловымъ безъ подобострастнаго тона; такъ свободно, что даже не вставилъ „ваше превосходительство“. Въ тонѣ Савелова не было чванства: онъ не былъ гордъ, передъ кѣмъ нечего было важничать.

— Этимъ не обременяйте себя: вы устали; дождитесь только, пока будетъ переписано все и станутъ шивать. Вамъ надобно отдохнуть. Я могу поправить описки самъ: когда буду читать графу, увижу и отмѣчу.

— Очень благодаренъ вамъ, Яковъ Кирилычъ, за такое облегченіе, — сказалъ чиновникъ: — дѣйствительно я усталъ. Но и вы не меньше моего.

— Клааняйтесь Аннѣ Ивановнѣ, поцѣлуйте за меня Митю. Варенька такая большая, что не смѣю посылать ей поцѣлуя.

Конечно, это были жена и дѣти его сотрудника. Онъ былъ внимателенъ и добръ, когда это было возможно. Чиновникъ не боялся его, по всей вѣроятности. А сіяніе звѣздъ было отчасти тревожно.

Хозяинъ показался въ дверяхъ; онъ былъ одѣтъ запросто, въ сѣромъ пальто, нѣсколько потертомъ по рубцамъ обшлаговъ: въ дверяхъ онъ замедлялъ шагъ, расправляясь — „выпрямляясь“ нельзя сказать, потому что онъ не былъ сгорбленъ: вѣроятно, онъ никогда не сгорбливался, — онъ повелъ плечами назадъ, нѣсколько выгибаясь на спину, какъ дѣлаетъ человѣкъ не сгибавшій стана, но уставшій отъ долгой работы: сталъ расправляться перегибаясь на спину, — но увидѣвши Волгину, отказалъ себѣ въ удовольствіи кончить это фамиллярное движеніе: передъ созвѣздіями онъ не считалъ нужнымъ церемониться, но передъ дамой онъ обратился въ свѣтскаго человѣка. Наскоро обошелъ звѣздоносцевъ, подавая обѣ руки, двоимъ въ разъ, мимоходомъ, милостиво надѣляя ихъ небрежными привѣтствіями; поспѣшилъ бросить эти созвѣздія, чтобъ подойти къ дамѣ, и нѣсколько минутъ сидѣлъ подлѣ Волгиной.

Она ждала, что ея присутствіе произведетъ на него очень непріятное впечатлѣніе. Зачѣмъ именно упросила ее пріѣхать Савелова, она еще не знала. Но было несомнѣнно, что тутъ будетъ какая-то борьба противъ него: кого и и чего могла-бы трепетать Савелова, если-бы мужъ не былъ въ союзѣ съ противною стороною? Волгина ждала, что Савеловъ увидитъ въ ней врага какого-нибудь своего плана или требованія. — Нѣтъ, онъ очевидно, не придавалъ никакой особенной важности тому, что она тутъ. Черезъ минуту Волгина даже увидѣла изъ его разговора: онъ зналъ, что жена пригласила ее, жена пригласила ее съ его согласія.

— Что-же значить все это? — тихо спросила Волгина Савелову, когда онъ пошелъ наконецъ удостоивать созвѣздія своего хозяйскаго вниманія. — Я не понимаю, чего вы можете опасаться. Вашъ мужъ не думаетъ, что вы призвали меня на помощь противъ него?

— Петръ Степанычъ просилъ, чтобы мы пригласили васъ.

— Петръ Степанычъ? Вы сдѣлали Петра Степаныча моимъ поклонникомъ?

— Боже мой, Боже мой! Не смѣйтесь надо мною! Я должна была просить Петра Степаныча. Мой мужъ не долженъ знать ничего. Онъ не простилъ бы мнѣ.

Созвѣздія снова закопошились: слуга доложилъ о прїѣздѣ его Высокопревосходительства Петра Степановича.

— Подавать обѣдъ, — громко отвѣчалъ на докладъ хозяинъ, двигаясь встрѣтить Петра Степаныча.

— Что-же это такое? — думала Волгина. — Чего она боялась отъ этого обѣда, когда за обѣдомъ не будетъ никого, кромѣ этихъ стариковъ, которые ничтожны для нея и для ея мужа? Петра Степаныча нечего и считать: онъ свой для нея.

Петръ Степанычъ обошелся съ подчиненными ему звѣздоносцами очень любезно, гораздо внимательнѣе, нежели Савеловъ; потомъ предался своей обязанности заниматься исключительно Волгиною. Онъ помнилъ, что онъ просилъ, чтобы она была приглашена.

Вошелъ слуга и доложилъ хозяйкѣ, что поваръ просить извинить и обождать нѣсколько минутъ: обѣдъ еще немножко не готовъ.

— Обождать, — то обождемъ: — весело и добродушно замѣтилъ Петръ Степанычъ.

Конечно, онъ не могъ понимать, не могъ предполагать, что задержка не въ поварѣ. Волгина взглянула на Савелову. Савелова вспыхнула.

Это было хуже всего, что знала о ней, чего могла ожидать отъ нея Волгина. — Пожертвовать любовникомъ для нелюбимаго мужа — дѣло такое обыкновенное, — гораздо болѣе обыкновенное, нежели пожертвовать своимъ положеніемъ въ свѣтѣ для любви. Но тутъ было что-то менѣе обыкновенное: какая-то продѣлка, при которой долженъ остаться въ дуракахъ Петръ Степанычъ, и Савелова не предупредила человѣка, который такъ честно и сильно расположенъ къ ней. Первымъ порывомъ Волгиной было сказать Савеловой: „Вы ждете еще кого-нибудь?“ Но она удержалась: ей подумалось, что Савелова не могла бы добровольно участвовать въ интригѣ противъ своего честнаго друга; что вѣроятно принужденіе со стороны мужа было слишкомъ грозно; что, вѣроятно, Савелова и сама достаточно чувствуетъ унижительность своей роли передъ Петромъ Степанычемъ. Волгина только взглянула на Савелову и пожалѣла даже о томъ, что взглянула: Савелова совершенно растерялась отъ ея взгляда; такъ: только ея мужа надобно винить за ея пошлую роль. — Волгина продолжала разговоръ съ Петромъ Степанычемъ, чтобы дать ей время оправиться.

Въ дверяхъ опять явился слуга и провозгласилъ.

— Его Свѣтлость, графъ Илларионъ Илларионычъ Чаплинъ.

Созвѣздія вздрогнули и окаменѣли.

— Графъ Чаплинъ! — съ изумленіемъ произнесъ хозяинъ и торопливо пошелъ въ залъ.

— Графъ Чаплинъ! — сказалъ Петръ Степанычъ, наклонившись къ Савеловой. — Вотъ почему обѣдъ не былъ готовъ! — Графъ Чаплинъ; — и вы не предупредили меня! — И вы хотѣли чтобы я былъ въ дуракахъ! — Но нѣтъ, я несправедливъ къ вамъ, добрая, милая моя, Антонина Дмитриевна, — тотчасъ-же прибавилъ онъ. — Вы не могли хотѣть обманывать меня. — О, теперь я



понимаю Якова Кирилыча! Онъ хочетъ сѣсть на мое мѣсто! Я не ожидалъ, что онъ захочетъ поступить со мною такъ! Интрига противъ меня! Но вась я не виню. Вы только боялись сказать мнѣ. Яковъ Кирилычъ интригуетъ противъ меня! Горько мнѣ, горько, Антонина Дмитриевна.

— Петръ Степанычъ!—только и могла проговорить она, и слезы брызнули у бѣдной женщины.

— Довольно—замѣтить,—шепнула Волгина.

Но не было большой опасности, что замѣтитъ кто-нибудь, пока еще не возвратился наблюдать Савеловъ. Если-бы Петръ Степанычъ и Савелова обнялись, можетъ быть, и то прошло бы незамѣчено никѣмъ изъ звѣздоносцевъ: такъ окаменѣли они отъ изумленія и благоговѣнія.—Савелова успѣла отереть слезы, пока способность видѣть и понимать возвратилась къ звѣздоносцамъ. Да и тутъ имъ было не до хозяйки и не до Петра Степаныча: все вниманіе ихъ было поглощено ожиданіемъ неожиданнаго посѣтителя.

Посѣтитель подавалъ о себѣ предвѣстія, изумлявшія Волгину.

Вѣроятно еще изъ передней начали доноситься въ гостиную первыя предвѣстія: посѣтитель ступалъ, производя ногами стукъ, подобнаго которому не могутъ дѣлать сапоги петербургскаго мужика, — они слишкомъ легки; — для такого стука необходимы деревенскіе мужицкіе, двухпудовые. Вѣроятно не въ такихъ-же сапогахъ ходитъ графъ Чаплинъ? Какъ-же онъ умудряется дѣлать такую стукотню? — Потомъ стало слышно сонѣніе,—громче и громче,—съ храпомъ и сопомъ раздалось: „Вотъ я и у васъ—Яковъ Кирилычъ! Поздравляю!“ Стукъ, сопъ и храпъ заглушили любезность, которою отвѣчалъ хозяинъ: слышно было только, что Савеловъ говоритъ; но что такое говорить—нельзя было разобрать. Стукъ, сопъ и храпъ усиливались, отдавались эхомъ по залу, и вотъ отдались еще новымъ эхомъ, уже отъ стѣнъ гостиной: въ двери ввалила низенькая, еще вовсе не пожилая человѣкоподобная масса.

Ввалила, — потому что она не шла, а валила, высоко подымая колѣна и откидывая ихъ вбокъ, хлопотливо работая и руками, оттопырившимися далеко отъ корпуса, будто подъ мышками было положено по арбузу, ворочаясь всѣмъ корпусомъ съ выпятившимся животомъ, ворочаясь и головою съ отвислыми брылами до плечъ, съ полуоткрытымъ, слюнявымъ ртомъ, поочередно суживавшимся и расширявшимся при каждомъ взрывѣ сопа и храпа, съ оловянными, заплывшими саломъ, крошечными глазками. Правда, такому тучному человѣку нельзя имѣть плавную, легкую походку; но другіе, изрѣдка встрѣчающіеся такіе-же толстяки, умѣютъ ходить, хоть и неуклюжимъ образомъ, все-таки по-человѣчески, умѣютъ потому, что помнятъ о своемъ безобразіи, стараются, чтобъ оно не производило слишкомъ отвратительнаго впечатлѣнія. Чаплинъ былъ совершенно безъ церемоній.—Видя его милыя движенія, слыша его храпъ и сопъ, можно было удивляться только тому, что на немъ военный сюртукъ, а не нанковый халатъ: какъ это нарядился военнымъ разжирѣвшимъ мясникъ?

Безъ малѣйшаго сомнѣнія это былъ переодѣтый мясникъ. По лицу нельзя было не угадать. Не то, чтобъ оно имѣло выраженіе кровожадности или хоть жестокости; но оно не имѣло никакого человѣческаго выраженія, — ни даже идіотскаго, потому что и на лицѣ идіота есть какой-нибудь, хоть очень слабый прологъ.

и искаженный остатокъ человѣческаго смысла; а на этомъ лицѣ было полнѣйшее безсмысліе, коровье безсмысліе, нимало не жестокое — ничуть не злое, только совершенно безчувственное. Ни лавочникъ, ни трактирщикъ, ни разбогатѣвшій мужикъ — превращающіеся иногда въ такихъ толстяковъ, не утрачиваютъ смысла до такой степени: они видятъ людей или природу, это поддерживаетъ слѣды смысла на ихъ лицѣ. Только мясникъ, — человѣкъ не смотрѣвшій ни на людей, ни на природу, смотрѣвшій все лишь на скотовъ и на скотовъ, могъ пріобрѣсти такое скотское выраженіе лица.

И такой кровавой цвѣтъ лица! Мясникъ не кровопійца. Нѣтъ, онъ не пьетъ крови. Онъ только дышетъ запахомъ ея, — спокойно, беззлобно, — и съ пользою своему здоровью; дышать запахомъ крови, это очень здорово. Благодаря этому, какъ бы ни заплылъ жиромъ мясникъ, его лицо пышетъ цвѣтущей кровавою свѣжестью. У всякаго другого толстяка, такъ ожирѣвшаго, лицо имѣетъ сальный цвѣтъ, желтовато-тусклый; у этого сало пропитано свѣжей кровью, которою надыхался онъ. Нѣтъ сомнѣнія, это мясникъ.

Раскачивая выпяченнымъ животомъ, раскидывая колѣнами и болтая оттопыренными руками, помагывая брылами, хамкая слюнявыми губами, переодѣтый мясникъ валилъ къ Савеловой. Съ храпомъ и сопомъ мясникъ проговорилъ:

— Я пріѣхалъ на именины Якова Кирилыча. Вотъ сюрпризъ вамъ. Поздравляю.

— Благодарю васъ, графъ; прошу садиться, — сухо отвѣчала Савелова. Съ провозглашенія о пріѣздѣ графа Чаплина Волгина не смотрѣла на Савелову: и безъ того Савеловой должно было быть слишкомъ тяжело. — Теперь, казалось Волгиной, Савелова ждетъ ея взгляда въ награду, въ одобреніе своей рѣшимости быть холодною съ этимъ отвратительнымъ человѣкомъ.

— Это прекрасно, — сказала Волгина, перенося взглядъ черезъ Савелову на Петра Степаныча и будто бы продолжая прежній разговоръ.

— Петръ Степанычъ посмотрѣлъ на Волгину, не понявъ. — Вы сказали?

— А вы не слушали, что я говорила? О, какъ это мило! Въ наказаніе вамъ, не хочу повторять.

— Дѣйствительно, я былъ разсѣянъ въ эту минуту, и не вслушался.

— И нѣтъ особенной потери.

— Вотъ и я здѣсь, Петръ Степанычъ, — проговорилъ мясникъ. — Здравствуйте, очень радъ. — Онъ опустился на диванъ подлѣ Савеловой, и обратился опять къ ней: — Мнѣ такъ пріятно, что я пріѣхалъ къ вамъ.

— Благодарю васъ, графъ, — попрежнему отвѣчала Савелова, и немножко отодвинулась къ Волгиной, потому что онъ усеялся-было локоть къ локтю.

— Однакоже у васъ довольно тепло, или это я такъ вспотѣлъ? — Но мнѣ чрезвычайно пріятно, что я пріѣхалъ къ вамъ, — проговорилъ мясникъ, доставая платокъ, придвинулся опять поближе къ Савеловой и принялся утираться. Помолчалъ, утираясь. — Ужасно вспотѣлъ, — очень. — Онъ сталъ прятать платокъ, при этомъ подвинулъ губы къ плечу Савеловой и потихоньку просопѣлъ въ ухо ей: — А эта ваша знакомая кто? Отъ такого человѣка, было уже чрезвычайною деликатностью, что онъ постарался просопѣть вопросъ потише.

— Лидія Васильевна, рекомендую вамъ: графъ Чаплинъ. — Лидія Васильевна Волгина, графъ.

— Миѣ очень пріятно.—просонѣлъ мясникъ, протягивая руку. Волгина отвѣчала только тѣмъ, что кивнула головою, и, повернувшись къ Петру Степанычу, сказала:—Пойдемъ ходить.

Мясникъ захопалъ глазами, подержалъ руку на воздухѣ, хлопнулъ глазами еще и прибралъ руку.

Отходя отъ дивана, Волгина разслышала, что мясникъ просонѣлъ Савеловой:— „Она, должно быть, очень робкая?“ Если-бъ онъ и не былъ безсмысленъ, все равно, онъ не могъ-бы подумать иначе: конечно, графу Чаплину еще не представлялось случая понять, какое чувство возбуждаетъ его видъ. Ходя по пустому залу, Петръ Степанычъ жаловался Волгиной на коварство и неблагодарность Савелова.— Какъ могли скрыть отъ него, что приглашенъ графъ Чаплинъ?—Савелову онъ не винить: она не скрыла-бы отъ него, если-бы не велѣлъ мужъ. Но сталь-ли бы скрывать Савеловъ, если-бы тутъ не было интриги? Вотъ уже двѣ недѣли или больше Савеловъ не былъ у графа безъ Петра Степаныча, сколько было извѣстно Петру Степанычу. Когда-же онъ пригласилъ Чаплина? Очевидно, онъ бываетъ у Чаплина тайкомъ отъ Петра Степаныча. Почему-же тайкомъ, если бываетъ не за тѣмъ, чтобъ интриговать противъ Петра Степаныча? Потому надобно было скрывать и то, что графъ Чаплинъ приглашенъ.

— Я не хочу защищать Савелова: я не считаю его хорошимъ человѣкомъ. Но я почти увѣрена, что онъ не бывалъ у Чаплина тайкомъ отъ васъ,— сказала Волгина. Она полагала, что приглашеніе было сдѣлано не мужемъ, а женою по приказанію мужа.

— Какъ-же нѣтъ, когда графъ приглашенъ, и Савеловъ скрываетъ отъ меня это? Зачѣмъ было-бы скрывать, и кто могъ-бы пригласить?

— Я не могу ничего отвѣчать на эти вопросы. Но Савеловъ не такъ глупъ, чтобъ ѣздить къ Чаплину тайкомъ отъ васъ: развѣ могъ-бы онъ надѣяться, что подобныя продѣлки останутся секретомъ?—Я думаю, у него сотни враговъ, которые слѣдятъ за каждымъ его шагомъ.

— Это правда,—сказалъ Петръ Степанычъ задумываясь:— Но кто-же могъ приглашать Чаплина? и зачѣмъ было скрывать отъ меня, если тутъ нѣтъ интриги?—Добрый Петръ Степанычъ не могъ и вообразить, что интрига ведется черезъ Савелову: онъ былъ слишкомъ убѣжденъ въ ея дружбѣ. Потому-то Волгина и рассчитывала, что можетъ возразить противъ его неудачной мысли о тайныхъ визитахъ Савелова, не компрометируя Савелову. Волгина надѣялась убѣдить ее, чтобъ она сама открыла все Петру Степанычу, если интрига не разрушится: Петръ Степанычъ такъ любилъ ее, что простилъ-бы ей все, и могъ-бы служить опорой противъ требованій мужа, если бы мужъ не согласился освободить ее отъ слишкомъ тяжелой игры въ кокетство съ человѣкомъ, который созданъ не такъ, чтобы довольствоваться улыбками и тому подобными, такъ называемыми невинными любезностями.

— Я не говорю вамъ, что тутъ не можетъ быть интриги. Не мое дѣло говорить объ этомъ. Но я почти совершенно увѣрена, что Савеловъ не бывалъ тайкомъ отъ васъ у Чаплина. Вы должны тѣмъ больше довѣрять моему миѣнію, что я вовсе не расположена къ Савелову.

— Какъ-же здѣсь Чаплинъ? Яковъ Кирилъчъ не изъ тѣхъ немногихъ,

о которыхъ Чаплинъ помнить самъ. Кто-нибудь долженъ былъ сказать ему, что Яковъ Кирилычъ празднуетъ нынѣ свои именины: кто нибудь долженъ былъ пригласить его сюда.

Петръ Степанычъ былъ такъ увѣренъ въ Савеловой, что скорѣе нежели подумать о ней, готовъ былъ предполагать какое-нибудь постороннее вліяніе на Чаплина.—Волгина должна была молчать, слушая его догадку о томъ, какой-бы изъ его враговъ или соперниковъ могъ войти въ заговоръ съ Савеловымъ.

Въ залъ вошелъ Савеловъ и пошелъ подлѣ Петра Степаныча.— Лицо его было угрюмо—даже больше—печально и съ тѣмъ вмѣстѣ раздражено. Раза два прошли по залу молча.

— Дорого-бы далъ я, чтобы узнать, кто устроилъ эту интригу—и постарался-бы отблагодарить этого человѣка!—проговорилъ Савеловъ сквозь зубы, стискивая кулакъ.—Петръ Степанычъ, если это дѣло не разъяснится, я подамъ въ отставку.

— Что вы сказали, Яковъ Кирилычъ?—Петръ Степанычъ былъ пораженъ изумленіемъ.

— Я спрашивалъ у Чаплина,—Нина спрашивала у него, кто сказалъ ему, что я нынѣ праздную свои именины, что онъ поступить очень мило, если прійдетъ сюрпризомъ.—Онъ говоритъ:—„Никто, я самъ“.—Это невозможно—кто-нибудь подучилъ его—бѣднякъ не можетъ понимать, на что подучили его! Онъ хотѣлъ оказаръ мнѣ честь своимъ пріѣздомъ, невинное существо!—Кто изъ моихъ враговъ подучилъ его?—У кого могло быть столько хитрости, чтобы нанести мнѣ ударъ такой ловкій? Этотъ человѣкъ можетъ достичь своей цѣли. Онъ очень хорошо разсчиталъ мой характеръ. Я долженъ буду подать въ отставку, если это дѣло не разъяснится. Я понимаю, въ какое положеніе передъ вами ставить меня эта интрига, и не соглашусь оставаться въ такомъ положеніи. Выйти въ отставку, значило-бы для меня съ Ниной остаться безъ куска хлѣба, не говоря обо всемъ остальномъ, почему я дорожу службой. Но этотъ человѣкъ зналъ, что для меня есть вещи дороже и куска хлѣба, и всѣхъ разчетовъ, всѣхъ стремленій.

Онъ быстро ушелъ, не дожидаясь отвѣта Петра Степаныча.

— Онъ честолюбецъ, но онъ не могъ-бы такъ низко интриговать противъ меня—сказалъ Петръ Степанычъ:—и вы слышали—онъ хочетъ подать въ отставку, если не обнаружится, что я ошибся?—Онъ не любитъ шутить. Тѣмъ больше такими словами.

Волгина должна была молчать. Только сама Савелова имѣла право сказать—какъ все это произошло.

Да и какое дѣло было Волгиной до того, что Савеловъ хочетъ сеадить Петра Степаныча и самъ сѣсть на его мѣсто? Правда Петръ Степанычъ былъ человѣкъ добрый,—несомнѣнно, съ искреннимъ желаніемъ общей пользы. Но Волгина привыкла слышать отъ мужа:—„Э, голубочка! Все равно—тотъ-ли, другой-ли. Никто изъ нихъ не можетъ ничего сдѣлать, какъ желалъ бы: больше ничего, какъ писари, которые пишутъ, что велятъ имъ писать“. Она слишкомъ хорошо видѣла теперь, что хотъ мужъ ея говоритъ слишкомъ рѣзко и безусловно, но что, въ сущности, почти такъ; что, напиримѣръ, Петръ Степанычъ



ничто передъ Чаплинымъ. — Она не могла также не видѣть, что насколько можетъ Петръ Степанычъ поступать такъ или иначе—онъ поступаетъ во всемъ по мыслямъ Савелова. Какая-же будетъ потеря, если Савеловъ и займетъ его мѣсто?—Волгина не могла компрометировать Савелову, чтобы сберечь должность Петру Степанычу.

Эффектное увѣреніе Савелова, что онъ подаетъ въ отставку, совершенно разбило мысли Петра Степаныча. Чѣмъ больше думалъ этотъ неглупый, но далеко не чрезвычайно умный человѣкъ, тѣмъ больше убѣждался, что Савеловъ не ждалъ пріѣзда Чаплина. Если-бы ждалъ—не остался-бы въ пальто: оставаться въ пальто, когда ждешь графа Чаплина—это слишкомъ фамиллярно. Невозможно. Да и женѣ онъ велѣлъ-бы принарядиться: она даже не въ бальномъ платьѣ.—Да и по этикетамъ на бутылкахъ видно, что не ждали Чаплина: нѣтъ слишкомъ высокихъ сортовъ винъ; да и обѣдъ будетъ посредственный: поваръ у Савеловыхъ очень-очень немудрый; какъ было не позвать аристократичнаго повара, если бы ожидали Чаплина?—А Петръ Степанычъ зналъ, что не приглашали другого повара. Словомъ, всѣ мелочи доказывали, что Савеловы не ждали графа Чаплина. Не могли они рисковать, чтобы онъ остался недоволенъ обѣдомъ и винами. А это можетъ быть: останется недоволенъ.

И вотъ уже четверть часа Чаплинъ здѣсь, а обѣдъ все еще не поданъ. Очевидно, когда послѣ пріѣзда Петра Степаныча было прислано отъ повара сказать, что обѣдъ еще не готовъ, тутъ не было уловки дожидаться Чаплина; дѣйствительно, поваръ не успѣлъ управиться съ обѣдомъ, слишкомъ превосходившимъ обычныя требованія.

Наконецъ явилась прислуга съ чашками супу на подносахъ. Въ гостиной тихо, скромно зашелестѣли десятки сапоговъ,—это звѣздоносцы устранивали изъ себя свиту; паркетъ застоналъ подъ сапогами мясника и графъ Чаплинъ съ храпомъ и сопомъ явился, ведя подъ руку хозяйку къ столу. — Онъ занялъ мѣсто по одну сторону ея. По другую, противъ него, было мѣсто Волгиной; подлѣ Волгиной мѣсто Петра Степаныча.

Предположеніе Петра Степаныча на счетъ обѣда и винъ оправдывалось. Графъ Чаплинъ нѣсколько разъ изволилъ выразиться: — „Не очень-то; да, соусъ-то не очень-то“,—или:—„а поваръ-то, видно, не очень-то“; или: „а вино-то не очень-то“. Графъ Чаплинъ не изволилъ стѣсняться въ выраженіи своихъ мыслей.

Но зато онъ не стѣснялся и въ своей манерѣ кушать. Онъ находилъ, что кушанье „не очень-то“, но благоволилъ кушать. — Волгина жила въ деревнѣ. Часто бывала на праздникахъ у поселянъ: она не видывала, чтобы самый неопрятный изъ мужиковъ держалъ себя за столомъ такъ мило, какъ изволилъ кушать графъ Чаплинъ.—Когда она была ребенкомъ, отецъ бралъ ее съ собою въ свои служебные развѣзды; иногда ему приходилось останавливаться на постоялыхъ дворахъ, и не разъ она видѣла, какъ ѣдятъ извозчики,—люди, знаменитые въ народѣ тѣмъ, что ѣдятъ очень много. Она не помнила ни одного такого прожорливаго, какъ его свѣтлость графъ Чаплинъ. Онъ накидывался на каждое кушанье, будто не ѣлъ трое сутокъ, и жралъ cadaго по двѣ, по три порціи. Соусы текли съ его усомъ по его отвислему подбородку; обсасывая кости, онъ мазалъ себѣ всю нижнюю половину рыла; засаливши

салфетку, утеревъ ею по всему лицу, вымазала соусомъ даже виски; слуга подаль другую салфетку, онъ утеръ соусъ, — и черезъ пять минутъ новыя полосы новаго соуса очутились у него на лбу. Скатерть на полъаршина кругомъ его тарелки была вся сплошь залита. Куски мяса валились у него изо рта въ тарелку ему и кругомъ, и мимо стола, на животъ ему, на полъ. — Волгина отворачивалась, чтобы не видѣть, какъ онъ жретъ; но въ ухахъ ея раздавалось чавканье, чмоканье и фырканье.

Савелова могла-бы не очаровывать его, пока онъ былъ занятъ жраньемъ: пока онъ жралъ, онъ былъ равнодушенъ ко всякому другому очарованію. Въ началѣ стола Савелова и не очаровывала его: наскоро совала ему на тарелку новый кусокъ — черезъ минуту опять: „кушайте, графъ“, — и только, даже не улыбалась. Но вдругъ улыбнулась ему. Волгина взглянула на противоположный конецъ стола, гдѣ сидѣлъ хозяинъ: хозяинъ держалъ противъ глазъ стаканъ съ краснымъ виномъ, всматривался въ него и былъ недоволенъ; такъ онъ и сказалъ сосѣду: „Это вино поддѣльное, не пейте его“ и отдалъ приказаніе слугѣ: „возьми эту бутылку, дай другую“.

Нѣсколько разъ Волгина взглядывала въ его сторону при внезапныхъ усиліяхъ любезности Савеловой къ милому гостю. Но уже не могла поймать Савелова въ томъ, какъ онъ отдаетъ безмолвныя приказанія женѣ. Для него довольно было быть пойманнымъ одинъ разъ. Теперь онъ уже понималъ, что Волгина его врагъ. — Она не могла много мѣшать ему въ отдачѣ приказаній. Ей нельзя было часто и подолгу смотрѣть такъ далеко въ сторону: замѣтили-бы. А онъ съ женой сидѣли лицомъ противъ лица.

Чѣмъ дальше, тѣмъ любезнѣе становилась хозяйка съ милымъ гостемъ. Вотъ, она переложила ему кусокъ со своей тарелки... И этой любезности мало: она сама стала рѣзать ему кушанье, на его тарелкѣ, склоняясь къ нему... Она ѣстъ мороженое съ одной тарелки съ нимъ... Милый гость жралъ очень проворно, но столько, что каждое блюдо доѣдалъ послѣдній. Такъ и при окончаніи обѣда: всѣ должны были ждать, пока графъ накушается фруктовъ. — Ну, не довольно-ли будетъ! — просопѣлъ онъ въ нерѣшительности: — кажется, что довольно. Вотъ, по сихъ мѣстъ, — онъ провелъ рукою по мѣсту, гдѣ у другихъ людей въ военномъ мундирѣ виденъ воротникъ, а у него висѣли брыла подбородка. — Больше не полѣзеть — и сунулъ въ пасть персикъ цѣликомъ, хамкнулъ и выплюнулъ косточку. — Еще одинъ, пополамъ со мною, — сказала хозяйка и разрѣзала новый персикъ. — Не могу; ей Богу, не полѣзеть; развѣ сами положите въ ротъ, ну, тогда полѣзеть, — просопѣлъ милый гость, и половина персика была положена въ пасть ему.

Стулья загремѣли. Милый гость, захрапѣвши отъ вставанья, присовывалъ локоть къ Савеловой. Волгина положила руку на ея талью: — Вы извините, графъ: мнѣ кажется, что Антонинъ Дмитріевичъ надобно отдохнуть. Она повела Савелову. Чаплинъ оставался, хлопая глазами.

— Я уведу васъ и беру на себя объясниться съ вашимъ мужемъ.

— О, нѣтъ, нѣтъ! — Нѣтъ, нѣтъ! — въ ужасѣ прошептала Савелова. — Нѣтъ, я нисколько не устала, — продолжала она громко. — Но я надѣюсь, графъ, вы извините нашъ обѣдъ, мы не знали...

— Нужды нѣтъ, я поѣлъ порядкомъ, не безпокойтесь; даже тяжело. Ну, да вотъ протрясемся съ вами-то и отпустить. Это часто со мной.

Она уѣблась близко, близко къ нему и разговоръ ихъ продолжался въ томъ-же духѣ: графъ говорилъ, что вотъ, когда онъ протрясется съ нею, то и отпустить. Она извиняла своего повара. Онъ повторялъ, что нужды нѣтъ, ему тяжело, но онъ протрясется съ нею и тогда отпустить.

— Хотите, я покажу вамъ всю нашу квартиру, мою комнату, графъ?— сказала Савелова черезъ минуту.

— Пожалуй, промнемся немножко—сказалъ милый гость.

„Не оставляйте меня одну“—говорила вчера Савелова Волгиной. Но теперь она сама обращалась къ нему, не предлагая Петру Степанычу и Волгиной идти съ ними. Она даже бросила на Волгину взглядъ, который нельзя было принять иначе, какъ за просьбу не мѣшать ей и оставаться въ гостиной съ Петромъ Степанычемъ. Она ушла со своимъ милымъ гостемъ.

Черезъ двѣ-три минуты вошелъ слуга и доложилъ Савелову, что его свѣтлость уѣзжаетъ, его свѣтлость уже въ передней. Савеловъ пошелъ проводить гостя.—Вернулся; за нимъ вернулась и Савелова.—Она боязливо поглядывала на мужа. Мужъ не обращалъ вниманія на это.

— Мы уйдемъ отъ васъ, Петръ Степанычъ,—сказала Волгина.—Быть можетъ, мы не увидимся съ вами больше. На всякій случай прощаюсь.

Савеловой, очевидно, не хотѣлось этого. Но Волгина встала, и Савелова должна была идти съ нею.

Савелова краснѣла, блѣднѣла и, введя Волгину въ свою комнату, простонала и бросилась на постель, въ подушки лицомъ.

— Я привела васъ сюда не за тѣмъ, чтобы читать вамъ мораль. Встаньте, будемъ говорить о томъ, какъ вамъ избавиться отъ принужденія со стороны вашего мужа.

Но Савелова не хотѣла слушать, не хотѣла встать; лежала лицомъ въ подушки и рыдала.

Волгина отошла отъ нея, пока она сдѣлается способною думать, и стала, отъ нечего дѣлать, осматривать спальную.

Эта довольно большая комната была убрана гораздо лучше парадныхъ, даже не безъ роскоши, если для жены такого сильнаго человѣка, какъ Савеловъ, можетъ назваться роскошью мебель, обитая атласомъ, и превосходное трюмо. На стѣнкахъ висѣли два пейзажа хорошей кисти. На письменномъ столѣ были фотографическіе портреты, въ дорогихъ рѣзныхъ рамкахъ.

Подошедши къ этому столу, Волгина вздрогнула отъ удивленія; подлѣ портретовъ Савелова и Петра Степаныча тутъ стоялъ портретъ Нивельзина.

„Нѣтъ, не можетъ быть, чтобы она была такъ неосторожна!“ подумала Волгина: „невозможно!“ Какъ-же тутъ объяснить? Неужели Савеловъ способенъ къ такому варварству? И какъ могло открыться, когда у нея послѣ того не было никакихъ сношеній съ Нивельзинымъ, а тогда мужъ отступился отъ прежнихъ подозрѣній?—Какъ-бы то ни было; несомнѣнно то, что она уличена. Такъ, только при этомъ и понятно ея рабское повиновеніе мужу. И иначе, она отказалась бы, возмутилась бы, какъ ни слабъ ея характеръ.

— Вы должны презирать меня!.. Но я еще не сдѣлалась его любовницей!.. О, вы не повѣрите мнѣ, но я еще не сдѣлалась его любовницею!..

— Я не повѣрила-бы, если-бы вы сказали, что вы его любовница. Презирать васъ?—Теперь, когда я увидѣла портретъ Нивельзина у васъ на столѣ, я сужу снисходительнѣе о вашемъ послушаніи мужу. Какъ онъ уличилъ васъ?—Этимъ онъ принуждаетъ васъ?“

Этимъ. Онъ давно потребоваль, чтобъ она кокетничала съ Чаплинымъ. Она рѣшительно отказывалась. Какъ узналъ онъ?—Тогда ему донесла ея горничная. Горничная сама не знала ничего хорошенько; только подозрѣвала. Онъ былъ совершенно убѣжденъ, что горничная оклеветала ее. Но теперь, когда Нивельзинъ возвратился изъ-за границы, когда она стала видѣть его вмѣстѣ съ Волгиною, въ ней пробудилась ревность; она много плакала. Однажды она плакала надъ письмами Нивельзина. Мужа не было дома. Она не слышала, какъ онъ возвратился. Она услышала только, когда уже его шаги приближались. Она успѣла спрятать письма. Она думала, что онъ не замѣтилъ ничего. Но онъ замѣтилъ, какъ она прятала что-то.

Черезъ два дня она была на вечерѣ. Онъ оставался дома. Ей показалося, что онъ посмотрѣлъ на нее съ усмѣшкой, когда она возвратилась. Она притворилась, будто скоро заснула. Онъ уснулъ; она встала и вынула маленькую шкатулку, въ которой берегла письма и волоса Нивельзина. Двухъ изъ писемъ не доставало,—двухъ—болѣе ясныхъ, нежели другія. Конечно, она не могла заснуть до разсвѣта. Когда она проснулась, мужа не было. Онъ вернулся, вошелъ къ ней и подаль ей четырехугольный пакетикъ, обернутый въ бумагу:—„я привезъ подарокъ тебѣ, Нина“... Это былъ портретъ Нивельзина. Она пошатнулась. Онъ поддержаль ее и сказалъ: „я не изъ тѣхъ мужей, которые любятъ ссориться. Не буду упрекать тебя. Тѣмъ меньше надобности ссориться, что я знаю—твои прежнія отношенія не могутъ возобновиться. Онъ увлеченъ другою привязанностью. Ты сохраняешь расположеніе къ нему, но уже только дружеское, невинное. Я не имѣлъ-бы ничего даже и противъ того, чтобъ онъ бываль у насъ. Но я понимаю, что это не было бы пріятно ни тебѣ, ни ему. Пусть-же, по крайней мѣрѣ, его портретъ напоминаетъ тебѣ о немъ“. Онъ поставилъ портретъ Нивельзина на ея столѣ, съ просьбой не снимать. — Съ того утра она знала, что должна рабски повиноваться ему.

— Я думаю—довольно. Я не имѣю надобности знать ничего больше—сказала Волгина и позвонила. Вошла служанка; на вопросъ Волгиной, разѣзжаются-ли гости, отвѣчала, что нѣтъ: сидятъ и курятъ, и, повидимому, не собираются уѣзжать. Волгина попросила вызвать Савелова въ его кабинетъ, который былъ рядомъ со спальною жены, и перешла туда.—Савеловъ пришелъ съ лицомъ очень серьезнымъ, но совершенно любезнымъ.

— Постарайтесь, пожалуйста, чтобъ ваши гости разѣхались поскорѣе, сказала Волгина.—Или лучше мнѣ попросить объ этомъ Петра Степаныча?

— Нѣтъ, я самъ желаю разговора съ вами,—отвѣчалъ онъ:—Я очень хорошо знаю, какую силу вы имѣете надъ мыслями Нины. Для меня важно объяснить вамъ истинное положеніе дѣла. — Они остаются только за тѣмъ, чтобы подписать докладъ, который будетъ привезенъ очень скоро, я надѣюсь. Еслибъ не эта сцена, сдѣланная Ниною, онъ былъ-бы подписанъ здѣсь и Чап-



линымъ.—Теперь Петръ Степанычъ повезетъ его къ Чаплину. Я самъ не могу ѣхать: мой видъ только еще больше раздражилъ бы этого человѣка. Мнѣ страшно за судьбу этого доклада; о, если-бы вы знали, какую великою опасностью грозить,—не намъ съ Петромъ Степанычемъ только, а дѣлу свободы, эта досада Чаплина! О, какъ желалъ-бы я, чтобы вмѣстѣ съ вами былъ здѣсь и вашъ супругъ, судить между мною и Ниною!

— Вы хотите пробудить жалость или стыдъ въ моемъ мужѣ?—сказала Савелова, горько улыбувшись, когда Волгина вернулась къ ней: напрасная надежда!—Слушайте, что было между нимъ и мною, что заставило меня пріѣхать вчера къ вамъ...

— Я понимаю, что вы пріѣхали ко мнѣ только потерявши всякую надежду; зачѣмъ мнѣ знать подробности?—останавливала ее Волгина. Но жалкая женщина хотѣла жаловаться и плакать. Волгина принуждена была слушать.

Давно Савеловъ хотѣлъ, чтобы жена его завлекла Чаплина. Она знала всю важность дружбы этого человѣка и, подавляя отвращеніе, стала кокетничать съ нимъ. Но это не человѣкъ, а животное. Смотрѣть на женщину, говорить съ нею, пожимать ея руку,—въ этомъ нѣтъ никакого удовольствія ему. Вѣроятно, и дѣловать женщину не очень занимательно для него. Онъ не человѣкъ, онъ только животное. Женщина имѣетъ для него только одну интересность—быть его наложницею. Послѣ трехъ, четырехъ разговоровъ, онъ сказалъ ей:—„Видно, вы меня считаете за дурака“, и не хотѣлъ больше слушать ея любезностей. Она сказала мужу, что дѣлала все, что могла, и не можетъ сдѣлать ничего. Мужъ не сталъ спорить.

Но когда завладѣлъ уликами противъ нея, онъ снова сказалъ ей. „Дружба Чаплина чрезвычайно важна для насъ, Нина; прошу тебя, пріобрѣсти ее“. Она должна была пріобрѣтать. При второмъ разговорѣ Чаплинъ сказалъ: „Да что, будто я не понимаю? Вы опять хотите кормить меня пустыми словами“. Она принуждена была подавать ему надежду. Но еще два, три разговора, и онъ уже говорилъ: „Да что же, какія тамъ у васъ помѣхи да задержки? Я вижу, вы, просто, отлыниваете“. Онъ злился. На ея бѣду, онъ почувствовалъ влеченіе къ ней,—и очень сильное. Онъ сталъ-бы мстить ей, вреду мужу. Онъ можетъ обратить ея мужа въ ничто. Какъ она сказала-бы мужу: „Я сдѣлала его врагомъ тебѣ!“ Прощеніе было бы невозможно. Она мучилась и не могла рѣшиться говорить съ мужемъ. И вотъ третьяго дня, вечеромъ, мужъ объявилъ ей, что въ нынѣшнемъ году хочетъ праздновать свои именины параднымъ обѣдомъ, и что графъ Чаплинъ долженъ быть на обѣдѣ: „Нынѣ балъ, на которомъ ты увидишь его; пожалуйста, сдѣлай, чтобы онъ пріѣхалъ“.—Она поѣхала исполнить порученіе.—„Ну, что? опять наплетете какую-нибудь небывальщину? Опять станете отлынивать?“—былъ привѣтъ графа Чаплина.—„Нѣтъ, сказала она—яшла, наконецъ, возможность говорить съ вами наединѣ. Послѣ завтра именины моего мужа. Пріѣзжайте, и мы будемъ говорить наединѣ“.—„Какъ-же это будетъ—по вашему? Съ вами надобно ухо держать востро: больно мастерица отлынивать. Ну, какъ будетъ свиданіе?“—Послѣ обѣда я поведу васъ посмотрѣть наши комнаты.—

и мы останемся въ моей комнатѣ одни“. — „Такъ-то вы не отлыниваете?“ сказалъ онъ: „Нашли дурака! Хорошо будетъ свиданіе! Въ сосѣдней комнатѣ усадите гостей; да еще станеть поминутно соваться горничная. Понимаемъ-съ! — Выйдетъ по усамъ текло да въ ротъ не попало“. Онъ храпѣлъ въ бѣшенствѣ. Она испугалась. — „Чего-же вы требуете? сказала она. — „Вотъ мое условіе, государыня моя: послѣ обѣда поѣдемъ съ вами въ театръ, въ каретѣ. Хотите — то прекрасно; не хотите — узнаете, каково играть со мною точно съ дуракомъ“. Она согласилась.

Мужъ дождался ея возвращенія: сидѣлъ въ халатѣ, у постели и читалъ. — „Исполнила мою просьбу, Нина?“ — „Да, — отвѣчала она и отпустила горничную: — исполнила, Жакъ, но если-бы ты зналъ, чего мнѣ стоило это!“ — „Чѣмъ труднѣе было исполнить, тѣмъ больше я благодаренъ, Нина“ — отвѣчалъ онъ, сбрасывая халатъ, и легъ. — „Выслушай меня, Жакъ!“ — простонала она. — „У меня слипаются глаза, Нина. Оставимъ это“. — Нѣтъ, ты долженъ выслушать меня! — Я принуждена была обѣщать ему, что послѣ обѣда мы съ нимъ поѣдемъ въ театръ, въ каретѣ!“ — „Только-то, Нина? что за пансіонскіе страхи? Не завезетъ-же онъ тебя въ разбойничью пещеру. Поѣдете въ нашей каретѣ, не такъ-ли? — Если-бъ у него на умѣ и была какая-нибудь подлость, то разсуди, что кучеръ и лакей твои, будутъ слушать не его, а тебя. Поѣдете въ театръ, и пріѣдете прямо въ театръ. Въ его ложу, конечно; тамъ его мать, разныя кузины. — Что тутъ ужаснаго?“ — Онъ зѣвнулъ и закрылъ глаза: — „Я очень благодаренъ тебѣ, Нина“. — „Жакъ! ты не умолимъ? Онъ молчалъ. Онъ притворился уснувшимъ. — „Жакъ, я должна предупредить тебя, — сказала она, дотронувшись до его руки: — Я предвидѣла, что не разжалоблю тебя, и приняла хоть ту предосторожность, что велѣла ему говорить, будто онъ пріѣдетъ сюрпризомъ. Я сказала, что мы не можемъ, едѣлать такого обѣда, какой былъ бы необходимъ, если-бы мы говорили, что ждемъ его.“ — „Это для меня все равно. Пожалуй, я не буду говорить, что жду его. Но что тебѣ такъ вздумалось, Нина?“ — „Что сказали бы, если бы узнали, что онъ пріѣхалъ по моему приглашенію? Кто-же не знаетъ, что онъ можетъ выслушивать желанія женщины только тогда, когда она соглашается быть его любовницею?“ — „Въ этомъ есть своя доля правды, и предосторожность твоя очень умна. Мнѣ не пришло въ голову. Хорошо: мы не ждемъ его. Но вотъ что: наша скрытность можетъ возбудить неудовольствіе въ Петръ Степанычѣ. Другимъ — никому; но ему надобно сказать — Нина.“ — „Ему меньше, нежели кому-нибудь, Жакъ: я дорожу его уваженіемъ.“ — „Изволь, Нина: не будемъ говорить ему. Это капризъ твой — не больше; но я такъ благодаренъ тебѣ, что соглашаюсь. Петръ Степанычъ непремѣнно разсердится и придумаетъ, Богъ знаетъ, какія подозрѣнія. Но такъ или иначе, можно будетъ успокоить этого добряка. Да и не очень важно его неудовольствіе, если заберемъ Чаплина въ свои руки. Я чрезвычайно благодаренъ тебѣ, Нина,“ — повторилъ онъ, и въ самомъ дѣлѣ сталъ дремать.

Она видѣла себя обреченною, отданною въ жертву Чаплину. Она не могла спать. Къ разсвѣту у нея стала возрождаться надежда: онъ согласился, что ея предосторожность не напрасна. Ему было-бы непріятно, если-бы всѣ заго-

ворили, что его жена—любовница Чаплина. Она заснула съ рѣшимостью возобновить свои мольбы.

Поутру она пошла въ кабинетъ мужа и сказала: „Жакъ, терзай меня за мое прошлое преступленіе передъ тобою, но терзай самъ, не отдавай меня на поруганіе животному, бездушному, безстыдному, отвратительному.“—„Ты фантазируешь, Нина, — отвѣчалъ онъ: — Терзать тебя?—я не сдѣлалъ тебѣ ни одного упрека за прошлое; я умѣю забывать ошибки, Нина, когда вижу искреннее желаніе заглядить ихъ въ моей памяти; когда вижу, Нина; до сихъ поръ, и видѣлъ; и все, что ты слышала отъ меня, было только: благодарю, цѣню твои услуги.—Ты несправедлива ко мнѣ. Еще страннѣе твои слова о какомъ-то поруганіи. Я согласенъ, что услуга, о которой я прошу тебя, неприятна. Но ты сама знаешь, какъ велика наша общая съ тобою выгода, если мы возьмемъ Чаплина подъ нашу власть. Я понимаю, просидѣть четверть часа въ каретѣ съ такимъ неопрятнымъ и гадкимъ человѣкомъ — довольно мучительно. Но что тутъ особенно ужаснаго?—Я не ребенокъ, Нина; я очень хорошо знаю, что женщина въ подобномъ tête-à-tête не подвергается никакой опасности, если не увлечется сама. Опасность можетъ состоять только въ томъ, если у женщины взволнуется кровь, и она забудетъ осторожность. Съ нимъ ты не можешь испытать этого—онъ гадокъ. Чего-же тебѣ бояться?—Ты разфантажировалась и создала себѣ пустые страхи. Но повторяю: съ тѣмъ, что этотъ tête-à-tête очень неприятенъ, я совершенно согласенъ. Жалѣю объ этой необходимости, Нина, искренно жалѣю. Но ты сама понимаешь, какъ важно для насъ пріобрѣсти поддержку этого человѣка. Пококетничай съ нимъ полгода, — быть можетъ — меньше, — и потомъ ты свободна третировать его, какъ онъ того заслуживаетъ. Я требую отъ тебя немногаго. Но требую твердо. Подобные разговоры неприятны: и для того, чтобы они не могли повторяться, я долженъ поставить вопросъ ясно. Если ты помогаешь моимъ планамъ, ты жена мнѣ; если нѣтъ — то нѣтъ. Не принимай этого за угрозу. Я не хотѣлъ-бы развода. Ты очень полезная помощница мнѣ. Но я былъ принужденъ совершенно прямо высказать тебѣ, въ чемъ состоитъ связь между нами. Если ты порвешь ее, мнѣ будетъ очень жаль; но она будетъ порвана. О, нѣтъ, не блѣднѣй, не трепещи. Нина! Я сказалъ лишнее. Я увѣренъ, между нами не будетъ ссоры. Ты не измѣнишь мнѣ на послѣднихъ шагахъ труднаго пути, который ведетъ къ власти! Ты поможешь мнѣ подняться, — ты взойдешь вмѣстѣ со мной на высоту, гдѣ ни тебѣ, ни мнѣ уже не будетъ надобности интриговать!—И я гордъ, Нина, какъ ты — быть можетъ, гораздо болѣе гордъ, нежели ты; и мнѣ мучительно хитрить, льстить. Но что-же дѣлать? Потерпимъ, потерпимъ эту тяжелую необходимость еще немножко, и скоро не будемъ имѣть нужды ни въ комъ, не будемъ унижаться ни передъ кѣмъ! Я надѣюсь на тебя, Нина, ты не измѣнишь мнѣ!“—Онъ поцѣловалъ ее въ лобъ и ушелъ.

Она не могла удержать его, потому что у нея темнѣло въ глазахъ, она была близка къ обмороку. — Да и какая польза была бы, еслибъ она удержала его и продолжала свои мольбы? Съ нею сдѣлалась истерика. Его уже не было дома, онъ не слышалъ. Да еслибъ и слышалъ, и видѣлъ, какая бы разница? Онъ не повѣрилъ-бы, подумалъ: „играетъ комедію“ — и если-бы повѣрилъ, все равно: развѣ сжалился-бы онъ?



Когда она собралась съ мыслями, она поѣхала къ Волгиной. Она думала сказать Чаплину, что Волгина приглашена Петромъ Степанычемъ и ея мужемъ противъ ея воли; что они нуждаются въ Волгинѣ, завязываютъ сношенія съ Волгинымъ черезъ его жену; что она должна соблюдать величайшія церемоніи съ Волгиною не можетъ уѣхать отъ нея, не можетъ намекнуть ей о надобности уѣхать отъ нея. Она стала говорить ему это, лаская его; пока онъ не понималъ, къ чему ведетъ она, онъ слушалъ и вѣрилъ и былъ нѣженъ; но какъ заикнулась она, что не можетъ уѣхать отъ своей гостыи, онъ захрапѣлъ: — „А, такъ вотъ къ чему вы плели! Отлынивать!—Я вамъ сказалъ по-русски, что эти ваши нѣжности—не очень-то сытны для меня. Поѣдемъ въ театръ—или нѣтъ?“ Она стала больше ласкаться къ нему. Онъ храпѣлъ: „да это мнѣ что! Поѣдемъ-ли мы въ театръ или нѣтъ?—Нѣтъ, видно?—Ну, такъ хорошо-же: я вамъ покажу, каково шутить мною.“ — Въ бѣшенствѣ онъ оттолкнулъ ея руку и ушелъ.

Что будетъ теперь съ нею? Мужъ заставить ея умиловитъ это отвратительное животное... она не хотѣла начинать и говорить объ этомъ съ Волгиною: она знала, что помощь невозможна. Волгина привела ее сюда. Волгина знаетъ теперь ея позоръ; Волгина презираетъ ее...

— Посмотримъ, что можно сдѣлать, — сказала Волгина.

— О, не говорите съ нимъ! Я знаю, какъ вы будете говорить! — Я знаю, потому и не хотѣла идти сюда съ вами, не хотѣла рассказывать вамъ. Вы раздражите его противъ меня! Вы погубите меня! О, умоляю васъ! Она бросилась лицомъ въ подушки и оттуда простонала: — О, умоляю васъ, не губите меня!

Она должна была спрятать лицо въ подушки, чтобы высказать эту позорную просьбу. О чемъ умоляла она? Чтобы не мѣшали ей сдѣлаться любовницей человѣка, на котораго не могла смотрѣть безъ отвращенія.

Состраданіе боролось въ Волгиной съ негодованіемъ. Волгина начинала чувствовать стѣсненіе въ груди, будто не доставало воздуха дышать. У нея было теперь одно желаніе: поскорѣ вырваться изъ этого жилища гнусностей— поскорѣ.

Савелова лежала, спрятавши лицо въ подушки, и рыдала, твердя: — Пощадите меня! Не губите меня! — Нельзя было, чтобы горничная увидѣла ее въ такомъ унизительномъ отчаяніи. Нельзя было позвонить. Волгина пошла сама найти кого-нибудь изъ прислуги, чтобы узнать, разѣхались-ли гости.

По залу ходилъ Савеловъ, сложивши руки на груди, склонивши голову. Но станъ его былъ прямъ, походка ровная, твердая, какъ будто спокойнаго человѣка.

— Они разѣхались, и я ждалъ васъ. Терпѣливо ждалъ, пока Нина выскажетъ вамъ все, въ чемъ винить меня. Я не входилъ и въ кабинетъ, чтобы не мѣшать ей. Надѣюсь, и она не будетъ мѣшать мнѣ,—твердо, будто хладнокровно—сказалъ онъ, идя въ гостиную и придвигая кресло къ дивану, гдѣ садилась Волгина:—Мнѣ хотѣлось-бы говорить спокойно. Не знаю, буду-ли я въ состояніи: меня сильно волнуетъ судьба доклада, который повезъ Петръ Степанычъ къ Чаплину.

— Вы совершенно разсѣяли подозрѣнія Петра Степаныча?



— Совершенно. И долженъ благодарить васъ за то, что вы не отняли у меня возможности разувѣрить его. Вы пріѣхали сюда моимъ врагомъ, и все-таки не захотѣли выдать меня ему. Если-бы вы сказали ему хоть одно слово, онъ потерялъ-бы всякое довѣріе ко мнѣ.

— Мнѣ очень жаль, что я не могла сказать ему этого слова, не компрометируя вашу жену. — Жалѣю и о томъ, что ея волненіе не дало мнѣ теперь возможности посовѣтовать ей, чтобъ она рассказала ему, въ чемъ дѣло. Не думайте, что я ждала бы отъ него какой-нибудь помощи ей. Нѣтъ, я очень вижу, что онъ не способенъ бороться съ вами. Но ей самой тяжело притворяться передъ человѣкомъ, который совершенно вѣритъ въ ея дружбу. Да и мнѣ непріятно было видѣть, что обманываютъ добряка. Я полагаю, и для васъ эта надобность была очень непріятна? — Я думаю, вы не притворялись раздраженнымъ, когда говорили ему, что подадите въ отставку, если не раскроется интрига, устроенная вашимъ врагомъ — я думаю, вы дѣйствительно были раздражены необходимостью прибѣгать къ обману? Вѣроятно, досада, въ которой уѣхалъ Чаплинъ, также помогла вамъ окончательно разсѣять сомнѣнія Петра Степаныча? Конечно, вы должны были предупредить Петра Степаныча, что Чаплинъ можетъ заупрямиться подписать докладъ, и, вѣроятно, вы объяснили досаду Чаплина тѣмъ разговоромъ, который имѣла съ нимъ ваша жена въ своей комнатѣ? — вѣроятно, вы сказали, что она увела его съ цѣлью намекнуть, что его пріѣздъ сюрпризомъ хоть и дѣлаетъ вамъ очень много чести, но подвергалъ васъ непріятностямъ съ Петромъ Степанычемъ — и что Чаплинъ разсердился на этотъ намекъ? — Или я ошибаюсь — вы не догадались растолковать ему такъ? — Monsieur Савеловъ, я вѣрю словамъ, которыя вы сказали вашей женѣ: вамъ тяжело унижаться до интриги — до обмана. У васъ гордый, повелительный характеръ. Вы сказали вашей женѣ, что жалѣете объ униженіи, которому необходимо ей подвергаться. Я скажу вамъ — если-бы у меня было болѣе снисходительности — я жалѣла бы о васъ.

— Я не жду отъ васъ снисходительности. Сначала я былъ обманутъ словами Петра Степаныча, что онъ проситъ пригласить васъ. Но съ той минуты, какъ онъ пріѣхалъ и было сказано, что обѣдъ не готовъ, я понялъ: жена уговорила его обмануть меня; вы пріѣхали быть моимъ врагомъ. Я прочелъ на вашемъ лицѣ: вы не повѣрили, что обѣдъ не готовъ.

— Читать на моемъ лицѣ не трудно: я могу молчать, но выраженіе моего лица не повинуется моей волѣ. — Да, въ эту минуту я узнала, что вы ждете еще кого-то.

— Не въ первый разъ вы разстраиваете мои планы. Тогда вы надолго отняли у меня оружіе. И теперь, если-бы ваше присутствіе не импонировало моей женѣ, она не рѣшилась-бы измѣнить своему условію съ Чаплинымъ. — Но я надѣюсь, хоть вы и врагъ мой, ваше вліяніе на мою жену будетъ, въ результатъ, полезно для меня и теперь, какъ тогда. Это потому, что если вы и не расположены ко мнѣ, вы расположены къ ней, а ея и мои выгоды — однѣ и тѣ-же. Ваши совѣты ей и теперь будутъ въ мою пользу, какъ тогда.

— Какъ тогда? — Вы полагаете, что я совѣтовала ей бросить Нивель-зина? Напрасно. Я почти принуждала ее бросить васъ и уѣхать съ нимъ за границу. Если они остались жить съ вами — это ея собственная — вѣроятно,

заслуга въ вашихъ глазахъ—слабость въ моихъ. Вы видите изъ этого, моя сила надъ ней не такъ велика, какъ вы думали.—Можетъ быть, это уменьшаетъ вашу охоту продолжать нашъ разговоръ?—Я не имѣла-бы ничего противъ вашего желанія прекратить его.— Впрочемъ, вамъ очень можетъ показаться, что я только пугаю васъ этими словами. Вы можете понимать ихъ даже въ смыслѣ, что я совершенно увѣрена въ повиновеніи вашей жены моимъ совѣтамъ.— Нѣтъ—не думайте такъ. Мои слова надобно всегда понимать въ прямомъ ихъ смыслѣ. Я почти увѣрена, что ваша жена и теперь не послушается моихъ совѣтовъ, какъ тогда.—Я еще не давала ихъ ей, потому что она не спрашивала ихъ. Она была такъ разстроена, что не могла спрашивать. Но если вы не будете держать ее подъ замкомъ, то, вѣроятно, спроситъ, потому что ея состояніе чрезвычайно мучительно. Тогда я дамъ ихъ. Въ чемъ они будутъ состоять, я не обязана говорить вамъ. И если-бы хотѣла, то еще не могла-бы сказать: надобно будетъ видѣть, каково будетъ настроеніе ея мыслей, когда она хорошенько обдумаетъ свое положеніе. Кромѣ того, надобно мнѣ знать и ваши мысли. Дѣйствительно-ли вы хотите продать Чаплину вашу жену?—Она увѣрена въ этомъ; но что скажете вы сами?

Савеловъ вскочилъ. Онъ не могъ говорить. Губы его дрожали, онъ весь дрожалъ.

— Если, точно, хотите продать, я посоветывала-бы прежде получить отъ Чаплина все, чѣмъ онъ долженъ вознаградить васъ. Если сначала отдадите жену, потомъ станете просить платы, онъ прогонитъ васъ, посмѣявшись вашей глупости.

— Вы злоупотребляете правомъ женщины оскорблять безнаказанно, — проговорилъ онъ, падая въ кресло: — Я не могу потребовать у васъ отчета за ваши слова!

— Не можете потребовать у меня, отправьтесь къ моему мужу и потребуйте отъ него: онъ дастъ вамъ отчетъ!—Разкажите ему, какъ я оскорбила васъ,—и получите отчетъ!—Да, мои слова недовольно сильны и грубы, я женщина; мужчина долженъ объяснить вамъ, какого имени заслуживаете вы.— Отправьтесь къ моему мужу—онъ удовлетворительное, нежели я, поговоритъ съ вами.— Глупецъ! вы смѣете оскорбляться, когда должны умолять меня, чтобы я молчала даже передъ моимъ мужемъ о томъ, что узнала отъ вашей жены!—Я оскорбила васъ! Прощайте. Мой мужъ пришлетъ вамъ отчетъ,—мой мужъ будетъ обязанъ позаботиться, чтобъ общество узнало, какъ я виновата передъ вами. Я женщина, я не могу говорить о вашихъ дѣлахъ, какъ надобно для васъ. Онъ можетъ. Вы будете довольны.

— Оставайтесь, прошу васъ!—Онъ схватилъ ее за руку:—вы не слышали моего оправданія. Я не имѣлъ той гнусной мысли, которую приписываетъ мнѣ жена.

— Развѣ бы стала я и говорить съ вами, если-бы не была увѣрена, что вы не хотѣли продать ее?—Я только потому и стала говорить, что вы сами не понимаете, что вы дѣлаете. Жалкій человекъ, вы только ослѣплены вашимъ честолюбіемъ,—это ясно, вы злодѣй только потому, что вы слѣпы. Вы говорили мнѣ, что вы и мой мужъ идете по разнымъ дорогамъ. Къ чему приведетъ моего мужа его дорога, все равно: онъ видитъ; и не пожалѣетъ, что

шелъ ею. Къ чему приведетъ васъ ваша дорога, вы не видите; я скажу вамъ: вы погибнете, проклинаемый честными людьми, осмѣянный безчестными. Это потому, что вы хотите быть безчестнымъ только на половину; люди, вполне безчестные, пользуются услугами мелкихъ глупцовъ и потомъ прогоняютъ ихъ съ заслуженнымъ позоромъ. Тоже предсказываетъ о васъ мой мужъ, и я вижу теперь: онъ правъ; вы уже начинаете запутываться въ интригахъ, которыя строите. Но я здѣсь не для того, чтобы убѣждать васъ—стать честнымъ.—Я здѣсь не для васъ. Я увидѣла несчастную женщину, и я здѣсь только по ея просьбѣ, только для нея. Смотрите, какъ вы запутались въ обманѣ, участвовать въ которомъ принуждаете ее. Она говоритъ вамъ, что надобно скрывать ото всѣхъ то, что Чаплинъ согласился прѣхать по ея просьбѣ. Вы думаете: это капризъ—она только хочетъ запугать; онъ можетъ ѣздить и ея репутація не пострадаетъ. Она говоритъ, что ваши требованія принуждаютъ ее сдѣлаться любовницею Чаплина. Вы думаете: вздоръ, она притворяется, запугиваетъ: ей только непріятно кокетничать съ такимъ непривлекательнымъ человѣкомъ. Такъ вы думаете? Въ этомъ ваше оправданіе? О, вы правы—вы жалкій слѣпой интриганъ. И чего-же добиваетесь вы? Вы можете разсудить, если захотите. Вотъ вы уже добились того, что Чаплинъ озлобился. Чѣмъ больше она будетъ завлекать его, тѣмъ сильнѣе будетъ его мщеніе за обманъ. Или вы добьетесь—до того, что обмана не будетъ, что она отдастся ему. Не говорю, что всѣ честные люди будутъ плевать вамъ въ глаза,—пусть это не важность для васъ. Но подумайте о томъ, что вы заставляете ее ненавидѣть васъ. И если она отдастся Чаплину, какое будетъ первое приказаніе отъ нея ему?—Она потребуетъ, чтобъ онъ стеръ васъ съ лица земли.—Можетъ быть, вамъ угодно получить отчетъ въ моихъ словахъ? Отправьтесь къ моему мужу. Онъ дастъ вамъ отчетъ въ нихъ. Я женщина; я не хочу больше говорить о вашихъ гадкихъ дѣлахъ. Одно я говорю вамъ: продолжайте, продолжайте, и она очень скоро увидитъ, что отъ нея зависить: оставаться-ли вашею женой, или сдѣлаться графинею Чаплиною. Какой выборъ сдѣлаетъ она—не знаю; я не посовѣтовала-бы ей ни того, ни другого. Но я уже сказала вамъ, что она не очень слушаетъ моихъ совѣтовъ. Одно я посовѣтую ей—и этимъ совѣтомъ она воспользуется, ручаюсь вамъ: я скажу ей, что она можетъ хохотать надъ вашими угрозами. Правда-ли, можетъ? Вы согласны, ваши угрозы нелѣпы? Вамъ ли теперь пугаться?—Вы могли бы, укравши письма Нивельзина, —если бы не говорили ей о Чаплинѣ. А теперь,—теперь вы должны бояться ее. Почему?—Я женщина и не даю отчета въ моихъ словахъ; —если онъ нуженъ вамъ, мой мужъ дастъ его.—О, жалкій глупецъ! Смотрите, до чего вы уже довели себя. Какимъ тономъ говорю я съ вами, и вы не смѣете слова сказать противъ меня! Вы прекрасно начали вашу мастерскую интригу,—продолжайте, продолжайте, полубезчестный человѣкъ! Я не хотѣла ничего говорить вашей женѣ, не высказавши вамъ этихъ любезностей; не хотѣла сказать ей даже и того, что буду ждать ее къ себѣ завтра поутру. Потрудитесь передать ей это. Если она не прѣдетъ, я буду знать, что мои любезности не были достаточно сильны и что вамъ нуженъ отчетъ въ нихъ. Прощайте.

Она встала. Онъ пошелъ за нею.

— Ваши слова...

— Я не просила васъ отвѣчать. Если не ошибаюсь, я не подала вамъ повода думать, что мнѣ пріятно слушать васъ. Молчать!—Прощайте!

Волгина ушла, не услышавъ отвѣта Савелова, потому что слишкомъ негодовала. Но и возвратившись домой, и сдѣлавшись хладнокровною, она не имѣла причины жалѣть, что не позволила ему отвѣчать. Не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что онъ совершенно отказался отъ желанія, чтобы его жена продолжала завлекать Чаплина. И если Волгина хотѣла видѣть Савелову еще разъ, то вовсе не для того, чтобы удостовѣриться въ покорности Савелова, а только для того, чтобы внушить ей смѣлость на будущее время, на случай другихъ столкновений.

Слѣдующій день былъ—днемъ, въ который петербургскіе либералы собирались у своего предводителя. Нивельзинъ, все еще продолжавшій благоговѣть передъ Рязанцевымъ, не пропускалъ ни одного изъ этихъ еженедѣльныхъ собраний. Поѣхалъ и въ тотъ разъ.

Комнаты были набиты гостями по обыкновенію. Но хозяина не было. Рязанцева объясняла новопривывающимъ, куда и зачѣмъ уѣхалъ ея мужъ.

Вчера были именины Савелова. Рязанцевъ заѣхалъ поутру поздравить его. Савеловъ сказалъ, что крестьянское дѣло двигается наконецъ рѣшительнымъ образомъ и далъ прочесть черновую доклада объ основаніяхъ, на которыхъ будутъ освобождены крестьяне. За обѣдомъ докладъ будетъ подписанъ Петромъ Степанычемъ, вечеромъ будетъ подписанъ Чаплинымъ, и на слѣдующій день, къ вечеру, докладъ будетъ прочитанъ въ собраніи, которое рѣшить, принять или нѣтъ принципы, предлагаемые Чаплинымъ и Петромъ Степанычемъ. На слѣдующій день, т.-е. нынѣ, Рязанцевъ поѣхалъ къ Савелову узнать, чѣмъ рѣшенъ вопросъ.

Гости нетерпѣливо ждали, какое извѣстіе привезетъ Рязанцевъ.

Чаплинъ очень силенъ, это правда; но въ цѣломъ собраніи онъ единственный рѣшительный партизанъ либеральныхъ принциповъ освобожденія, выработанныхъ Савеловымъ и принятыхъ Петромъ Степанычемъ. Голосъ Петра Степаныча не имѣетъ большой силы. Вся надежда на Чаплина. Онъ сильнѣе каждаго изъ остальныхъ членовъ по одиночкѣ. Но ихъ много, онъ одинъ. По одиночкѣ, каждый изъ нихъ побоялся бы вступить въ борьбу съ нимъ. Всѣ вмѣстѣ они могутъ не побояться. Могутъ.—И если отважатся—дѣло погибло.

— Пусть отважатся,—сказалъ Соколовскій; онъ теперь былъ уже друженъ съ Рязанцевыми:—Пусть отважатся. Большинство будетъ противъ доклада. Но дѣло будетъ рѣшено не по мнѣнію большинства, а по мнѣнію Чаплина.

Нивельзинъ и нѣкоторые другіе согласились. Но такихъ было мало. Почти всѣ говорили:— „Нѣтъ, вы слишкомъ увѣрены въ успѣхѣ. Правда, Чаплинъ силенъ—но все-таки побѣда сомнительна“.

Наконецъ возвратился Рязанцевъ. По одному взгляду на его печальное лицо, всѣ увидѣли, что онъ привезъ очень дурныя новости.



Чаплинь измѣнилъ дѣлу свободы. Дѣло свободы погибло.

Прошло нѣсколько времени, прежде нежели Рязанцевъ могъ продолжать: такъ сильно было волненіе, произведенное этими словами. Всѣ кричали, всѣ спрашивали: „Какъ? измѣнилъ? Не можетъ быть! Неужели измѣнилъ?“ — „Все погибло, говорите вы?—нѣтъ надежды?“ и всѣ сами же себѣ отвѣчали, восклицая: — „Этотъ Чаплинь только притворялся! Онъ не могъ сочувствовать свободѣ!“ — „Все погибло“. Одинъ Соколовскій, сложивши руки на груди, сдвинувши брови, сверкая глазами, молчалъ. Давши пройти первому взрыву изумленія и отчаянія, онъ сказалъ громовымъ голосомъ: — „Выслушаемъ подробности и тогда будемъ судить. Господа—хладнокровіе и молчаніе!“

Все погибло. Рязанцевъ видѣлъ у Савелова самого Петра Степаныча.

Вчера Чаплинь пріѣхалъ на обѣдъ къ Савелову. Ни Савеловъ, ни тѣмъ больше Петръ Степановичъ не могли объяснить себѣ, какъ это случилось: какъ узналъ Чаплинь, что Савеловъ имѣнинникъ, что у Савелова обѣдъ; какъ вздумалъ оказать ему такое лестное вниманіе, такую милость? Но они уже догадывались, что тутъ есть какая нибудь интрига. Теперь Петръ Степанычъ прочелъ объясненіе загадки на лицѣ одного изъ мелкихъ членовъ собранія, въ которомъ рѣшалась судьба доклада; этотъ человѣкъ смертельный врагъ Петра Степаныча и заклятый реакціонеръ. Но дѣлецъ и хитрецъ. Онъ подучилъ Чаплина пріѣхать къ Савелову. Петръ Степанычъ убѣжденъ въ этомъ. И Савеловъ согласился,—что, вѣроятно, такъ. Чаплинь пріѣзжалъ, чтобы предложить Савелову—должность Петра Степаныча, если Савеловъ согласится дѣйствовать въ духѣ реакціи. Петръ Степанычъ понялъ это изъ намековъ Чаплина, что Савеловъ могъ бы составить себѣ счастье, еслибы не былъ злодѣй и бунтовщикъ;—Чаплинь формально говорилъ въ собраніи, что докладъ, представленный Петромъ Степанычемъ—дѣло бунтовщика, революціонера, что онъ, Чаплинь, убѣдился вчера, какой злодѣй тотъ человѣкъ, внушеніямъ котораго слѣдуетъ Петръ Степанычъ;—невозможно было не понять, что вчера Савеловъ отвергъ предложенія, съ которыми пріѣзжалъ Чаплинь. Савеловъ сначала молчалъ на эти слова Петра Степаныча—потомъ признался.—что, дѣйствительно, отказался вчера отъ предложеній Чаплина. Пока Петръ Степанычъ самъ не узналъ въ чемъ дѣло—онъ не могъ говорить; но теперь—долженъ сказать: все такъ.

Конечно, Савеловъ не ставитъ себѣ въ заслугу того, что отвергъ предложеніе Чаплина. Какая тутъ заслуга?—Онъ не могъ покрыть позоромъ свое имя. И Рязанцевъ не ставитъ ему этого въ заслугу. Можно ли считать заслугою то, когда честный человѣкъ отказывается стать негодлемъ? Это его обязанность—не больше.

Еще не зная, какой разговоръ былъ между Савеловымъ и Чаплинымъ,—не подозрѣвая, что Чаплинь уѣхалъ съ обѣда раздраженный Савеловымъ, Петръ Степанычъ повезъ къ нему докладъ. Чаплинь высалъ сказать, что не можетъ выйти къ нему и не можетъ подписать доклада. Тутъ Петръ Степанычъ понялъ, что Чаплинь, вѣроятно, раздраженъ чѣмъ нибудь. Возвратившись домой отъ Чаплина, который такъ и не принялъ его, Петръ Степанычъ послалъ за Савеловымъ. Они просидѣли вмѣстѣ до поздней ночи, обдумывая, какъ вести борьбу, когда явился новый врагъ, сильнѣе всѣхъ

прежнихъ, — врагъ, бывший союзникомъ ихъ. У нихъ было теперь мало надежды на успѣхъ; но они хотѣли бороться до послѣднихъ силъ.

Такъ и теперь. Они будутъ бороться, хоть уже вовсе потеряли надежду. Петръ Степанычъ теперь одинъ противу всѣхъ — обвиняемый всѣми въ томъ, что хочетъ сдѣлать освобожденіе крестьянъ средствомъ къ низверженію всего существующаго порядка, всѣхъ учрежденій, произвести революцію, что онъ или орудіе республиканцевъ, или самъ республиканецъ.

Чаплинъ провозгласилъ это обвиненіе. За нимъ стали кричать то же всѣ. Дѣло свободы погибло!

Всѣ видѣли — оно погибло.

Одинъ Соколовскій говорилъ, что оно не можетъ погибнуть. Благородная, но нелѣпая надежда.

Такъ рассказывалъ Нивельзинъ Волгину, пріѣхавши прямо отъ Рязанцева, въ часть ночи, за тѣмъ, чтобы рассказать.

— Очень благодаренъ вамъ, Павелъ Михайлычъ, — сказала Волгинъ: — разумѣется, любопытная штука; и тѣмъ курьезнѣе, что совершенно неожиданная, — Волгина не сказала мужу ни слова о томъ, что слышала и говорила она у Савеловыхъ, ни о томъ, что говорила съ Савеловою поутру. Измѣна Чаплина была такою же новостью для Волгина, какъ для Нивельзина и Рязанцева.

— Да, любопытная штука, — повторилъ онъ, по своему обыкновенію, помолчавши: — И если хотите, согласенъ, что въ ней нѣтъ ничего особенно хорошаго; можно даже сказать, что есть въ вашей новости одна черта очень мерзкая, или, если угодно, печальная: всѣ у Рязанцева повѣсили носы — вы говорите. То-то же и есть, видите, какой народъ эти ваши господа либералы: какъ щелкнули ихъ по носу, они и повѣсили его. Пріятная компанія. Но — опять, и то сказать: это было давно извѣстно — какой они народъ. Стало быть — нѣтъ ничего особеннаго. — Я вамъ говорилъ, что одинъ Соколовскій — какъ слѣдуетъ — человѣкъ; имѣетъ свои странности, можетъ ошибаться, но человѣкъ, а не чортъ знаетъ что. Такъ оно и выходитъ. Горячитесь по пустому, положимъ, но человѣкъ. Поцѣлуйте его отъ меня, когда увидите.

— И привезти? сказалъ Нивельзинъ, уже привыкшій къ разсужденіямъ Волгина о русскомъ либерализмѣ и потому — оставлявшій ихъ безъ возраженій, когда было не время подымать споръ, какъ и теперь, дѣйствительно, было пора думать о снѣ, а не о спорахъ.

— Привезти? — т.-е. Соколовскаго? — размыслилъ Волгинъ: — оно, пожалуй; — отчего же нѣтъ? — А впрочемъ — незначѣмъ. Стало быть, лучше я попрошу васъ: не привозите. Гораздо лучше. Незачѣмъ.

Никогда не теряя свойства быть основательнымъ, Волгинъ недоумѣвалъ, какъ объяснить странный поступокъ громаднаго мужика, по всей вѣроятности дворника, мимо котораго шелъ по улицѣ. Мужикъ стучалъ желѣзнымъ заступомъ по тротуару, въ этомъ не было ничего непонятнаго: онъ очищалъ тротуаръ отъ гололедицы. Волгинъ шелъ себѣ мимо, не обращая вниманія на такое обыкновенное дѣло. Но когда поровнялся съ мужикомъ — этотъ герку-

лесь положилъ ему руку на плечо. Что за чудо? — Геркулесъ былъ совершенно незнакомый, былъ трезвый, смотрѣлъ безобидно; съ какой стати ему вздумалось выкидывать такую штуку съ прохожимъ, да еще и одѣтымъ по благородному? — размышлялъ остановленный наложеніемъ его рюхица Волгинъ; рюхица нѣлегала на плечо все тяжеле и тяжеле, такъ что Волгину стало трудно выдерживать непонятную любезность или шутку, — онъ повернулъ плечо, раскрылъ глаза и увидѣлъ, что передъ нимъ стоитъ Соколовскій. Стуканіе заступа оказалось бряканьемъ сабли Соколовскаго по полу; Волгинъ спалъ крѣпко, и Соколовскій трогалъ его плечо, чтобы добудиться.

— Вы не слышали, что произошло вчера? Чаплинъ перешелъ на сторону крѣпостниковъ; докладъ объ условіяхъ освобожденія крестьянъ, составленный на демократическихъ основаніяхъ...

— Отвергнуть? Знаю, Болеславъ Иванычъ; Нивельзинъ заѣзжалъ ко мнѣ отъ Рязанцева.

— Что вы думаете дѣлать?

— Думаю, что когда уже вы разбудили меня, то сонъ дѣло пропащее; думаю, надо встать. Очень радъ, Болеславъ Иванычъ, очень радъ, сдѣлайте одолженіе, садитесь. — Ну, что, видно, по вашему, надобно дѣлать что-нибудь?

— Вамъ надобно написать адресъ; садитесь, пишите.

— Адресъ? — Волгинъ хотѣлъ залиться руладою, но носовѣстился смѣяться надъ честностью энергическаго человѣка; а главное подумалъ, что Лидія Васильевна, вѣроятно, еще спитъ: — Адресъ? — повторилъ онъ, удержавъ свою остроумную веселость: — Да почему же писать адресъ долженъ я? — Ближе бы Рязанцеву.

— Пишите, пожалуйста; вы понимаете, въ подобныхъ дѣлахъ время дорого.

— Дорого; согласенъ, вы и предложили бы Рязанцеву, вчера же.

— Предложилъ бы, разумѣется. Но видѣлъ, что бесполезно.

Видно было, что Рязанцевъ не рѣшится? — Кто же смѣлъ его? Тамъ были десятки людей, все записные прогрессисты. Почему никто не заговорилъ, что надобно поддержать Петра Степаныча и Савелова? — Видно, всѣ они умѣютъ только вѣшать носы и хныкать. Почему самъ Соколовскій не высказалъ тамъ свою мысль? — Видно чувствовалъ, что не найдетъ сочувствія. Кто же станетъ подписывать адресъ? Дѣлать эту пробу — значитъ только обнаружить реакціонерамъ, что въ либеральной партіи почти вовсе нѣтъ смѣлыхъ людей.

Соколовскій принужденъ былъ замолчать: беспомощное уныніе либераловъ у Рязанцева было фактомъ слишкомъ убѣдительнымъ. Соколовскій еще мало сжилъ съ Петербургскимъ обществомъ, имѣлъ надежду, что есть крути болѣе рѣшительныхъ людей, чѣмъ какой собирается у Рязанцева. Услышавъ, что нѣтъ, сознался въ невозможности адреса.

Тогда Волгинъ пошелъ дальше. Мало того, что адресъ остался бы безъ подписей. Вопросъ не стоитъ того, чтобы хлопотать. Пусть Петръ Степанычъ и Савеловъ будутъ прогнаны; пусть дѣло объ освобожденіи крестьянъ будетъ передано въ руки людямъ помѣщичьей партіи. Разница не велика.

Съ этимъ Соколовскій не могъ согласиться. — Изъ-за чего идетъ борьба между прогрессистами и помѣщичьей партіей? — Изъ-за того, съ землею или безъ земли освободить крестьянъ. Это колоссальная разница.

Нѣтъ, не колоссальная, а ничтожная, находилъ Волгинъ. Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю безъ выкупа. Взять у чело-вѣка вещь, или оставить ее у чело-вѣка,—но взять съ него плату за нее—все равно. Планъ помѣщичьей партіи разнится отъ плана прогрессистовъ только тѣмъ, что проще, короче. Поэтому онъ даже лучше. Меньше проволочекъ, вѣроятно, меньше и обремененія для крестьянъ. У кого изъ крестьянъ есть деньги—тѣ купятъ себѣ землю. У кого нѣтъ—тѣхъ нечего и обязывать покупать ее. Это будетъ только раззорять ихъ. Выкупъ та же покупка. Если сказать правду, лучше, пусть будутъ освобождены безъ земли.

— Я не ждалъ услышать отъ васъ это;—сказалъ Соколовскій:—вы говорите, какъ чело-вѣкъ помѣщичьей партіи.

— Вопросъ поставленъ такъ;—вяло отвѣчалъ Волгинъ:—потому я и не интересуюсь имъ.

— Чего же вы хотѣли бы? Освобожденія съ землею безъ выкупа?—Это невозможно.

— Я и говорю: вопросъ поставленъ такъ, что я не нахожу причинъ горячиться даже изъ за того, будутъ или не будутъ освобождены крестьяне; тѣмъ меньше изъ-за того, кто станетъ освобождать ихъ—либералы или помѣщики. По моему все равно. Или помѣщики даже лучше.

Онъ ожидалъ, что Соколовскій осыплетъ его упреками за непрактичность, за апатію. Но Соколовскій молчалъ, задумавшись.

— Это ваше послѣднее, рѣшительное слово?—сказалъ онъ послѣ долгаго раздумья:—Значитъ: вы не захотѣли бы давать совѣтовъ Савелову?

— Естественно; для меня все равно, прогонять ли его или нѣтъ; даже лучше бы, если бы прогнали.

— Спорить съ вами некогда, время дорого. Не могу послать васъ къ нему, поѣду самъ.—Вчера я остался у Рязанцева, когда другіе разъѣхались, и спросилъ, какъ думаетъ вести борьбу Савеловъ. Онъ думаетъ только о рутинныхъ канцелярскихъ средствахъ; писать новые доклады—канцелярскимъ жаргономъ, вялымъ, непонятнымъ; дѣйствовать, по канцелярскому порядку, черезъ Петра Степаныча. Нужно живое слово, и долженъ говорить онъ самъ. Какой же ораторъ Петръ Степанычъ?—Самъ Савеловъ долженъ просить аудіенцію, и пусть говоритъ на ней честно, всю правду, безъ утайки.—Безъ рекомендаціи онъ могъ бы не принять меня. Дайте мнѣ записку къ нему.

Волгинъ не нашелъ причины отговариваться незнакомствомъ. Савеловъ говорилъ Лидіи Васильевнѣ, что уважаетъ его. Вѣроятно, не захочетъ пренебречь его рекомендаціею. Онъ написалъ, отдалъ записку, въ которой говорилъ, между прочимъ, что Савеловъ не долженъ обращать вниманія на рѣзкость манеръ и пылкость тона Соколовскаго; этотъ чело-вѣкъ только на первый взглядъ кажется экзальтированнымъ, въ сущности онъ очень холодно и здраво смотритъ на вещи.

— Вы понимаете, почему я не могъ просить рекомендаціи у Рязанцева?—сказалъ Соколовскій:—это прекрасный чело-вѣкъ, но слишкомъ наивный; онъ разболталъ бы;—а никто не долженъ знать, что Савеловъ дѣйствовалъ по чужому совѣту; только на этомъ условіи онъ можетъ принять его.

— Инструкція мнѣ, чтобы я не разболталъ?—О, дипломатъ!—сказалъ



Волгинъ и сдѣлалъ небольшую ругаду въ поощреніе своему остроумію, потому что нашелъ свое замѣчаніе остроумнымъ.

Дня три либеральные люди въ Петербургѣ ходили, повѣсивъ носы. На четвертый прочли въ газетахъ, что генералъ-адъютантъ графъ Чаплинъ увольняется въ отпускъ за границу. Не было даже прибавлено смягченія: „по болѣзни“ или „для поправленія здоровья“. Опала была открытая, полная. Либеральные люди протирали глаза и перечитывали: такъ ли прочли. Такъ. Они задрали носы и пошли по Петербургу побѣдителями, завоевателями.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

По порученію Волгиной Нивельзинъ принялъ всѣ возможные мѣры для того, чтобъ официальные розыски о Левицкомъ шли дѣятельно. Но и самъ искалъ его неутомимо. Конечно, главнымъ мотивомъ тутъ было усердіе исполнить желаніе Волгиной. Но и самъ Нивельзинъ глубоко заинтересовался молодымъ человѣкомъ, о которомъ съ безусловнымъ уваженіемъ говорилъ Волгинъ, презрительно отзывавшійся обо всѣхъ знаменитостяхъ домашняго русскаго либерализма.

Къ вечеру перваго дня поисковъ Нивельзина уже не оставалось никакого сомнѣнія въ томъ, что Левицкій пріѣхалъ въ Петербургъ и лежитъ больной. Нивельзинъ отыскалъ людей, которые сидѣли въ одномъ вагонѣ съ нимъ. Онъ былъ блѣденъ—жаловался на жаръ и дрожь во всемъ тѣлѣ, на боль въ головѣ. Его сосѣдъ заботился о немъ. Сосѣдъ былъ старикъ купецъ, говорившій, что пробудеть въ Петербургѣ дня два, много—три.

Онъ взялъ Левицкаго съ собою. Это было назадъ тому пять дней. Вѣроятно, купецъ уже уѣхалъ. Вѣроятно, Левицкій лежитъ, предоставленный на волю судьбы. Тѣмъ больше надобно было заботиться, поскорѣе отыскать его. Нивельзинъ разослалъ нѣсколько человѣкъ объѣзжать всяческія больницы, гостиницы и постоялыя двory; ѣздилъ и самъ.

Въ этихъ поискахъ, остававшихся все еще напрасными, прошло два дня. По утру на третій одинъ изъ агентовъ Нивельзина нашелъ Левицкаго въ маленькой, душной и сырой комнатѣ дряннаго постоялаго двора. Левицкій лежалъ безъ памяти. Никому на постояломъ дворѣ не было охоты особенно заботиться о немъ. Впрочемъ—хозяинъ не сбылъ его въ больницу, потому что у больного было портъ-монэ съ нѣсколькими стами рублей, переданный хозяину купцомъ. Хозяинъ даже призывалъ раза два какого-то фельдшера. Фельдшеръ далъ какую-то микстуру. Микстура стояла на столѣ, полный пuzырекъ, какъ былъ принесенъ: больной лежалъ безъ памяти; какъ давать ему лѣкарство?

Понятно было, почему полиція не получала свѣдѣній о Левицкомъ: хозяинъ опасался, что она отниметъ выгоднаго постояльца въ больницу. Онъ

даже побранилъ служанку, недогадавшуюся или посовѣтившуюся скрыть больного. Хозяинъ былъ человѣкъ опытный и бойкій, онъ не остался бы въ убыткѣ, хоть бы полиція и привязывалась къ нему, въ случаѣ смерти Левицкаго.

Нивельзинъ съѣздилъ за знакомымъ хорошимъ медикомъ и привезъ его къ Левицкому. Погода была ужасная, состояніе больного очень тяжело. Медикъ нашель, что нельзя перевозить его. Но, разумѣется, не оказалось затрудненій устроить тутъ же хорошее помѣщеніе; хозяинъ уступилъ свой залъ.

Услышавъ отъ Соколовскаго эту новость, Илатонцевъ хотѣлъ тотчасъ же ѣхать самъ заботиться о Левицкомъ. Соколовскій справедливо сказалъ, что это лишнее: Нивельзинъ уже распорядился всѣмъ, какъ только можно лучше; и пока Левицкій остается безъ памяти, то нуждается въ визитахъ только медика.

Но Волгинъ каждый день пріѣзжалъ сидѣть въ комнатѣ больного и ждать медика. Онъ считалъ себя виноватымъ въ болѣзни Левицкаго: такъ или иначе, эта болѣзнь связана съ отношеніями Левицкаго къ Илатонцевымъ, связана, если ни чѣмъ другимъ, то уже и тѣмъ самымъ, что Левицкій или занемогъ въ деревнѣ у нихъ, или на дорогѣ оттуда.—Вообще Волгинъ былъ человѣкъ мнительный, и часто выдумывалъ самъ себѣ фантастическіе упреки. Но въ этомъ случаѣ его раскаяніе имѣло больше здраваго смысла, нежели казалось Нивельзину, который говорилъ: „Да развѣ вы послали его на какую-нибудь опасность, уговаривая отправиться прожить въ деревнѣ, отдохнуть?—Если онъ встрѣтилъ тамъ непріятности или бѣды, подготовившія эту болѣзнь, это дѣло случая, котораго вы не могли предвидѣть. Все, повидимому, обѣщало, что жизнь у Илатонцевыхъ будетъ хороша для него и спокойна“. — „Оно, конечно, такъ, — отвѣчалъ Волгинъ: — само собою, я виню себя понапрасну“. — Но онъ отвѣчалъ это лишь потому, что не любилъ говорить о своихъ чувствахъ. — По его мнѣнію, ошибка его состояла въ томъ, что онъ уговорилъ Левицкаго жить безъ дѣла. Ему казалось тогда, что у Левицкаго такой же флегматическій характеръ, какъ у него самого; онъ вспоминалъ, какъ мирно лежалъ онъ, почитывая книги, пока не пришла надобность работать. — Ему казалось, что и Левицкій будетъ также спокойно лежать и зѣвать, или ходить и зѣвать—или слегка дурачиться и зѣвать въ деревнѣ. Теперь ему воображалось, что онъ былъ обманутъ холодною наружностью Левицкаго, что это человѣкъ съ сильными страстями, съ жаждою жизни и дѣятельности; что не давать занятія этому человѣку было подвергать его опасностямъ увлеченій. — Самъ по себѣ Волгинъ, вѣроятно, не замѣтилъ бы своей ошибки относительно характера Левицкаго. Но услышалъ отъ жены, что это долженъ быть человѣкъ съ очень сильною волею и съ привычкою скрывать свои волненія, сохранять спокойный, холодный видъ, что бы ни дѣлалось у него на душѣ. — Какъ услышалъ это Волгинъ, тотчасъ постигъ, что оно и дѣйствительно должно быть такъ: онъ уѣхалъ отъ Илатонцевыхъ по какому-то сильному огорченію или раздраженію, это было несомнѣнно: а между тѣмъ Илатонцевы не замѣтили ничего; ясно, что флегматическій видъ его обманчивъ. Постигнувъ это, Волгинъ по своей необычайной способности къ основательнымъ соображеніямъ, безъ труда размыслилъ, что оставаться безъ дѣла — великая опасность для молодого человѣка съ сильными страстями; и что въ чемъ бы не состояло

огорченіе, результатомъ котораго, такъ или иначе, вышла эта болѣзнь, первую причиною бѣды было то, что Левицкій былъ оставленъ безъ дѣла.

Нѣсколько дней медикъ говорилъ Волгину, что не отвѣчаетъ за жизнь больного. Причиною болѣзни, по словамъ медика, была простуда. Волгину немудрено было понимать, какъ подвергся ей Левицкій въ дорогѣ. Вырвавшись отъ Илатонцевыхъ, одинъ въ экипажѣ или на почтовой телѣгѣ, онъ, вѣроятно, наконецъ далъ волю долго сдерживаемому чувству — отчаянія ли, раздраженія ли, — и забылъ о холодѣ и ненастѣ поздней осени. Потомъ, все въ томъ же забытѣи, пренебрегъ первыми симптомами болѣзни и далъ развиться ей, безостановочно продолжая путь. — А потомъ столько дней пролежалъ безо всякой помощи.

— Но, — говорилъ медикъ, — быть можетъ, то было еще къ лучшему, что корыстолюбивый хозяинъ не извѣстилъ полицію о своемъ выгодномъ постояльцѣ: попади Левицкій въ больницу, навѣрное бы онъ умеръ. Теперь надежда еще не потеряна. — Только; надежда еще не потеряна, — говорилъ медикъ нѣсколько дней. Наконецъ сказалъ: опасность миновала.

Это было сказано поутру, вечеромъ пріѣхалъ Соколовскій, привезъ съ собою мужчину лѣтъ сорока двухъ, трехъ, одѣтаго хорошо, но скромно, рекомендовалъ его Волгину, какъ Виктора Борисыча Илатонцева.

— Знаетъ ли Алексѣй Ивановичъ великую новость? — началъ Илатонцевъ, спросивъ о Левицкомъ, и съ очень теплымъ, совершенно родственнымъ чувствомъ порадовавшись хорошему обороту его болѣзни: — знаетъ ли Алексѣй Ивановичъ великую новость, которая будетъ обнародована завтра?

Волгинъ еще ничего не слышалъ; — вѣроятно, освобожденіе крестьянъ?

— Да, — отвѣчалъ Илатонцевъ. — Соколовскій вынулъ печатный листъ и подалъ Волгину. — Завтра эта бумага будетъ обнародована. — Илатонцевъ попросилъ Волгина прочесть ее. — Волгинъ пробѣжалъ глазами и увидѣлъ, что принципы освобожденія болѣе либеральны, нежели онъ ждалъ. Савеловъ воспользовался своею рѣшительною побѣдою надъ помѣщичьею партіей, — воспользовался мастерски.

— Все зависитъ оттого, въ какомъ духѣ будутъ примѣнены эти принципы, — сказалъ Илатонцевъ: — а характеръ примѣненія очень много будетъ зависѣть отъ того, какъ будетъ держать себя дворянство?

— Правда, — согласился Волгинъ.

— Болеславъ Ивановичъ привезъ мнѣ эту бумагу, даже я еще не зналъ, что она уже печатается, — и справедливо сказалъ, что надобно ковать желѣзо, пока оно горячо; надобно воспользоваться первымъ сильнымъ потрясеніемъ, какое произведетъ она, — воспользоваться первымъ испугомъ моей брата, помѣщиковъ, увлечь и приковать ихъ къ либеральной программѣ, пока они еще не опомнились, не одумались, не успѣли даже поговорить между собою. — Послѣ-завтра у меня обѣдъ, на которомъ я прошу быть и васъ.

Соколовскій молчалъ, давая ему говорить. Онъ говорилъ связно, дѣльно. Конечно, планъ принадлежалъ Соколовскому; Илатонцевъ и не скрывалъ этого, —

но было надобно отдать справедливость и ему какъ человѣку не глупому, способному понять гениальную мысль, — дѣйствительно гениальную: планъ, составленный Соколовскимъ, заслуживалъ такого названія, по мнѣнію Волгина, не слишкомъ щедрого на слово „гениальный“.

Взять штурмомъ слово и подпись самыхъ первыхъ вельможъ было бы невозможно. Они слишкомъ близко знаютъ всѣ закулисныя тайны; да и привыкли держать себя дипломатически, выжидать, лавировать; пожалуй, заупрямились бы и по обиженному тщеславію, если бы посадить ихъ за одинъ столъ со второстепенными аристократами. Этихъ слишкомъ высокихъ магнатовъ надобно оставить въ сторонѣ. И не будетъ большой потери отъ этого. Дѣло будетъ рѣшаться по губерніямъ, провинціальнымъ дворянствомъ. Они держали себя далеко отъ него, — жили почти исключительно въ Петербургѣ или за-границею; когда и случалось инымъ живать иногда въ деревняхъ, почти всѣ они только обижали мѣстное дворянство своимъ высококомѣриемъ. Они не имѣютъ вліянія на него. Вліяніе принадлежитъ второстепенной, провинціальной, а не столичной аристократіи, владѣльцамъ только тысячъ, а не десятковъ тысячъ душъ. Эти люди будутъ ворочать дѣломъ въ губернскихъ собраніяхъ. На нихъ и надобно налечь. Кромѣ нихъ, вниманія заслуживаютъ только образованные, умные и честные помѣщики, — но о нихъ нечего заботиться; они и сами на сторонѣ крестьянъ. Чѣмъ благороднѣе будетъ программа, тѣмъ радостнѣ примутъ они ее, тѣмъ усерднѣе будутъ защищать. Надобно только штурмомъ покорить провинціальныхъ магнатовъ.

Какъ всегда во время зимняго сезона, ихъ много теперь въ Петербургѣ. Въ нынѣшнюю зиму даже больше обыкновеннаго, потому что многіе нарочно пріѣхали слѣдить за ходомъ крестьянскаго дѣла. Надобно созвать ихъ на обѣдъ. Они пріѣдутъ не предугадывая ничего, только всѣ ошеломленные новостью, которая разразится надъ ними завтра. Въ однѣ сутки они еще не успѣютъ ничего сообразить, будутъ все еще только дрожать.

За обѣдомъ хозяинъ скажетъ о томъ, что дворянству надобно согласиться, какъ держать себя въ дѣлѣ, которое провозглашено, и попроситъ Рязанцева изложить свой взглядъ. За рѣчью Рязанцева начинается роль Волгина. Рязанцевъ не врагъ дворянства, только другъ крестьянъ. Волгинъ идетъ гораздо дальше его, не правда ли?

Волгинъ сказалъ, что правда.

Послѣ того, что будетъ говорить Волгинъ, взглядъ Рязанцева будетъ представляться очень умѣреннымъ, не правда ли?

Волгинъ сказалъ, что это совершенная правда и остроумно прибавилъ, что позволительно сомнѣваться въ другихъ его достоинствахъ, но если хотятъ его показать, какъ пугало, ошибки не будетъ: пугало онъ очень хорошее: всѣ побѣгутъ отъ него и упадутъ въ распростертыя объятія Рязанцева.

Послѣ обѣда Рязанцевъ станетъ читать программу. Конечно, Волгинъ будетъ находить почти каждый параграфъ слишкомъ выгоднымъ для помѣщиковъ. Благодаря его возраженіямъ, программа будетъ нравиться, одобряться, будетъ подписана всѣми. Съ подписями вліятельнѣйшихъ помѣщиковъ почти изо всѣхъ губерній она будетъ немедленно разослана повсюду. Повсюду дворянство будетъ нахлопнуто ею врасплохъ; нигдѣ еще ничего не обдумали,



не успѣли даже переговорить между собою—и вдругъ имъ дается въ руки программа, принятая, рекомендуемая предводителями, представителями помѣщиковъ—цѣлаго государства: какое возможно сопротивленіе? Не будетъ и колебанія, повсюду—всѣ примкнутъ къ программѣ, единственной и предлагаемой помѣщикамъ каждаго уѣзда отъ имени всего дворянства. Не правда-ли—успѣхъ и вѣренъ и громаденъ?

Волгинъ сказалъ, что штука придумана ловко. Правда, онъ отъ чистой души будетъ доказывать, что программа слишкомъ выгодна для помѣщиковъ: положимъ, онъ не читалъ проекта, изъ котораго она будетъ извлечена, потому что ему некогда читать всякій вздоръ безъ надобности; но по разговорамъ съ авторомъ имѣетъ достаточное понятіе объ основаніяхъ этой будущей всероссійской программы. Она будетъ очень плоха съ его точки зрѣнія. Но что нечего и толковать: когда нужно согласіе помѣщиковъ, то провести ее было бы величайшимъ успѣхомъ, о какомъ только возможно мечтать. Штука ловкая, повторилъ онъ, и съ неистощимымъ своимъ остроуміемъ замѣтилъ, что дѣло походить на то, какъ поступаютъ калмыки и киргизы, когда хотятъ загнать къ себѣ чужой табунъ: садятся на здоровенныхъ жеребцовъ, хлещутъ ихъ нагайками, мчатся на табунъ, гignentъ, гаркнутъ, промчатся сквозь ошалѣвшихъ животныхъ и скачутъ своей дорогой,—весь табунъ несется вслѣдъ куда угодно; точно онъ слыхивалъ, что эта штука всегда удается—согласился онъ, и наградилъ себя за остроумное сравненіе обычною одобрительною руладою.

Въ тотъ вечеръ Волгинъ былъ такъ добръ отъ радости вѣрной надежды на выздоровленіе Левицкаго, что не могъ бы, кажется, огорчить никого никакимъ противорѣчіемъ: если-бъ его позвали играть на скрипкѣ, онъ и то, кажется, сказалъ бы: „извольте, буду, хоть и никогда не пробовалъ“.

Онъ не умѣетъ сказать навѣрное, принялъ ли бы приглашеніе Илатонцева, если-бы находился въ обыкновенномъ расположеніи духа. Но, вѣроятно, все-таки бы принялъ. Ежеминутно дѣлая глупости, онъ справедливо не считалъ важною разницею сдѣлать одною больше или меньше:—„Э, все равно“,—основательно рѣшалъ онъ, когда кто навязывалъ ему участіе въ такой нелѣпости, какой не вздумалъ бы онъ сочинить самъ по себѣ. Э, все равно, думалъ онъ, и сознательно шель остаться въ дуракахъ вмѣстѣ съ другими. Разумѣется, это представляло и нѣкоторую пріятность, для разнообразія, чтобъ не всегда же быть глупцомъ безъ собственной охоты и въ одиночку.

Такими размышленіями онъ оправдывалъ себя, украшаясь въ давно, давно ненадѣванный фракъ, чтобы ѣхать на обѣдъ къ Илатонцеву.

Слѣдовало-ли бы ему придумывать эти размышленія? Была ли ему надобность оправдывать себя? Должно ли считать глупостью дѣло, затѣянное Соколовскимъ?—Углубляясь въ основательныя соображенія въ безмятежной и твердой позиціи у одного изъ дальнихъ оконъ салона, поглощавшаго десятки гостей и все-таки оставшагося малолюднымъ, Волгинъ находилъ, что излишняя мнительность тоже своего рода глупость; полагалъ также, что умный че-

ловѣкъ на его мѣстѣ едва ли сомнѣвался бы въ успѣхѣхъ благороднаго замысла Соколовскаго.

Волгинъ могъ безмятежно соображать, удобно и твердо прислонившись къ вырѣзкѣ стѣны у дальняго окна: Соколовскій помогаль хозяину принимать и пристраивать гостей; Рязанцевъ очаровываль ихъ, находя сказать каждому изъ нихъ что нибудь милое: Рязанцевъ созданъ былъ—очаровывать невинныхъ; граціозный и важный, живой и солидный, онъ всегда сіяль добродушіемъ и умомъ, любезностью и чувствомъ своего значенія въ двиганіи русскаго прогресса. Онъ толковаль, что онъ самъ помѣщикъ, открываль общихъ друзей у себя съ каждымъ, вклеиваль науку и духъ вѣка, осыпаль длинными мудренными словами, звучавшими какъ-то невинно и пріятно, и оставляль каждого въ восхищеніи отъ того, что такой ученый человѣкъ предположилъ его понимающимъ всѣ эти прекрасныя слова. Нивельзинъ—потому что и Нивельзинъ былъ тутъ же—тоже занимался улавливаніемъ сердець, по инструкціи Соколовскаго, и, повидимому, имѣль въ этомъ еще болѣе успѣха, нежели самъ Рязанцевъ.—Кромѣ Нивельзина, Рязанцева и Соколовскаго съ хозяиномъ, у Волгина не было тутъ никого хоть разъ видѣннаго хоть издали. Никто не могъ подойти къ нему, а самъ онъ былъ избавленъ отъ обязанности очаровывать, отчасти изъ уваженія къ его непригодности на уловленіе сердець, отчасти потому, что и будущая роль его была не привлекать ихъ, а поражать трепетомъ.

Онъ совершенно удовлетворяль требованіямъ своей будущей роли, нелюбимо и неподвижно занимая неприступную позицію въ дальнемъ углу, и, вѣроятно, даже превзошелъ надежды Соколовскаго своею угрюмостью: не одинъ изъ гостей, разговаривая съ Соколовскимъ, искоса посматриваль на неуклюжую статую у дальняго окна: вѣроятно, Соколовскій объясняль, что эта статуя—представитель ужасныхъ мнѣній, къ которымъ очень легко можетъ склониться правительство,—мнѣній ужасныхъ, но врожденныхъ русскому народу, народу мужиковъ, не понимающихъ ничего, кромѣ полнаго мужицкаго равенства и приготовленныхъ сдѣлаться коммунистами, потому что живутъ въ общинномъ устройствѣ. Правительству народа мужиковъ очень естественно принять мужицкія идеи.

Вѣроятно такъ рекомендовалъ Соколовскій угрюмую статую, объясняя угрюмость ея, какъ чрезвычайную свирѣпость. А Волгинъ былъ угрюмъ потому, что имъ овладѣла грусть.

Онъ не былъ мастеръ наблюдать, и былъ близорукъ. Но развѣ слѣпой не видѣль бы, что такое на душѣ у этихъ людей; не за два десятка шаговъ—за полверсты можно было разгадать это хоть бы и не разбирая ихъ лицъ, по самымъ фигурамъ ихъ.

Безмысліе, безсиліе, безпомощность.

Такъ должны глядѣть, стоять, двигаться приговоренные къ смерти.

Нѣкоторые старались показывать, что они бодры, въ хорошемъ настроеніи. Говорили, шутили—были очень развязны. Волгинъ зналь эту развязность—она овладѣвала имъ самимъ, когда онъ, попирая всѣ препятствія, блисталъ своими свѣтскими талантами, желая себѣ провалиться сквозь землю.

Но огромное большинство было не въ силахъ и заботиться скрывать свое уныніе:—„мы агнцы, обреченные на закланіе;—что-жъ мы можемъ сдѣлать

противъ такого жестокосердаго рѣшенія? — Только идти на закланіе смирно, чтобъ хоть не колотили насъ прежде, нежели возложить насъ на алтарь отечества, — и не упираться, когда станутъ возлагать, чтобы хоть возложили безъ лишнихъ пинковъ“.

Волгинъ никогда не имѣлъ сношеній съ этими людьми. Онъ никогда не принадлежалъ и къ мелкому свѣтскому обществу, не только къ ихъ, высокому, важному. Но какой же городъ или городишко не гремѣлъ славою ихъ подвиговъ? Волгинъ съ дѣтства зналъ, что это люди буйные, наглые.

Волгинъ не интересовался толками о крестьянскомъ дѣлѣ. Но если-бы онъ жилъ и не въ Петербургѣ среди ярыхъ эмансипаторовъ, кипѣвшихъ негодованіемъ на упрямство помѣщиковъ, — если-бы онъ провелъ эти послѣдніе полтора, два года на самомъ далекомъ отъ помѣщицѣй Россіи, на самомъ пустомъ изъ Алеутскихъ острововъ, — и туда, вѣроятно, доносились бы до его ушей храбрые крики: „нами держится все! — Не позволимъ, не допустимъ! — Не хотимъ, и не посмѣютъ! — Пусть посмѣютъ, и увидятъ, что такое значить прогнѣвать русское дворянство!“

Теперь они присмирѣли, будто разбиты параличемъ. Смѣшно и отраднo демократамъ видѣть такое превращеніе.

Волгину было смѣшно: онъ привыкъ обращать все въ шутку — умную или глупую, какъ приведется, веселую или горькую, все равно, лишь бы въ шутку. Но ему не было отраднo.

Онъ выросъ не въ благородномъ обществѣ. Воспоминанія его относились къ жизни грубой, бѣдной. Ему вспоминались теперь сцены, отъ которыхъ недоумѣвалъ онъ въ дѣтствѣ, — потому что и въ дѣтствѣ онъ уже былъ глубоко-мысленъ.

Ему вспоминалось, какъ, бывало, идетъ по улицѣ его родного города толпа пьяныхъ бурлаковъ: шумъ, крикъ, удалыя пѣсни, разбойничьи пѣсни. Чужой подумалъ бы — городъ въ опасности, — вотъ, вотъ бросятся грабить лавки и дома, разнесутъ все по щепочкѣ. Немножко растворяется дверь будки, оттуда просовывается заспанное старческое лицо съ сѣдыми, на половину вылинявшими усами, раскрывается беззубый ротъ и не то кричить, не то стонеть дряхлымъ хрипомъ: — „Скоты, чего разорались? Вотъ я васъ!“ Удалая ватага притихла, передній за задняго прячется; еще бы такой окричь, и разбѣжались бы удалые молодцы, величавшіе себя „не ворами, не разбойничками. Стенки Разина работничками“, обѣщавшіе, „что, какъ они весломъ махнутъ“, то и „Москвой тряхнутъ“, разбѣжались бы, куда глаза глядятъ, куда ноги понесутъ, крикни еще разъ инвалидъ въ дверь будки; но старый будочникъ знаетъ, что передъ богомъ грѣхъ былъ бы слишкомъ пугать удалыхъ молодцовъ: лбы себѣ перебьютъ, ноги переломаютъ, навѣкъ бѣдные искалѣчатся, — будочникъ, понюхавъ табаку, говоритъ: „идите себѣ, ребята, съ богомъ, только не будите меня старика, не вводите въ сердце“. И затворяется въ будкѣ, — и ватага удалыхъ молодцовъ, Стенки Разина бывшихъ работничковъ, скромно идетъ дальше, перешептываясь, что будочникъ, на счастье имъ, видно добрый человекъ.

Въ дѣтствѣ Волгинъ приходилъ въ недоумѣніе отъ этихъ сценъ; зато теперь находилъ, что незачѣмъ было ему и видѣть живую картину, пред-

ставляемую гостями Илатонцева; незначѣмъ: впередъ было извѣстно какая это будетъ картина.

Но хоть впередъ было извѣстно, какая она будетъ, все-таки она произвела на него глубокое впечатлѣніе. Будучи основательнымъ мыслителемъ, онъ не винилъ себя за то, что взволновался отъ впечатлѣнія, къ которому былъ готовъ отъ самаго начала храбрыхъ воплей: „не позволимъ! не допустимъ!“ Онъ зналъ, что представляющееся глазамъ дѣйствуетъ сильнѣе воображаемого; потому и находилъ естественнымъ, что расчувствовался.

Расчувствовался невесело: хоть и не любилъ ни вообще дворянства, ни магнатовъ въ частности.

Жалкая нація, жалкая нація!—Нація рабовъ, — снизу до верху все сплошь рабы... думалъ онъ и хмурилъ брови.

Онъ не любилъ дворянства. Но бывали минуты, когда онъ не имѣлъ вражды къ нему. Можно ли ненавидѣть жалкихъ рабовъ?—И теперь на него нашло такое настроеніе.

И потому—ему мечталось теперь, что эти жалкіе люди не виноваты въ нищетѣ и страданіяхъ народа, и что не было-бы надобности уменьшать ихъ доходы ни на одну копѣйку, — пусть бы себѣ благоденствовали попрежнему, ни на одну минуту не прерывая своихъ возвышенныхъ наслажденій псами и новыми каретами, попойками и цыганками; зачѣмъ тревожить, зачѣмъ обижать? Они не виноваты ни въ чемъ и ничему не мѣшаютъ.

Они-ли могутъ мѣшать?—Они хотятъ только пить, мотать и бездѣльничать. Они-ли виноваты?—Кому-же не пріятно брать то, что ему даютъ?—Кому-же нравится терять доходы?

Какъ легко было-бы не огорчать ихъ! Стоило-бы только гарантировать имъ ихъ доходы. Подобная гарантія тяжела быть можетъ—неудобоисполнима у націй, гдѣ поземельный доходъ уже высокъ, и не можетъ подыматься быстро. А у насъ?—Въ пять лѣтъ удвоились-бы, въ десять—учетверились-бы средства націи, лишь-бы освобожденіе было полное и мгновенное, по мыслямъ народа, который говоритъ: „господа пусть уѣзжаютъ изъ деревень въ города и получаютъ тамъ жалованье“, нѣсколько лѣтъ, небольшіе займы, съ каждымъ годомъ меньше—и черезъ десять лѣтъ, что значило-бы государству выкупить эти нынѣшнія нищенскія ренты?

Когда Волгинъ бывалъ чувствителенъ, онъ фантазировалъ въ этомъ вкусѣ. — Правда, онъ не всегда бывалъ чувствителенъ.

Но теперь былъ. Потому фантазировалъ.

Правда и то, что когда фантазировалъ, онъ номнилъ, что только фантазируетъ по чувствительности своего сердца. Потому, онъ берегъ для собственнаго удовольствія свои буколическія соображенія, а въ разговорахъ рассуждалъ нѣсколько въ иномъ вкусѣ: онъ не забывалъ, что исторія—борьба, что въ борьбѣ нѣжность неумѣстна. Правда, онъ не считалъ себя борцомъ за народъ: у русскаго народа не могло быть борцовъ, по мнѣнію Волгина, оттого, что русскій народъ неспособенъ поддерживать вступающихъ за него; какому-же человѣку въ здоровомъ смыслѣ бываетъ охота пропадать задаромъ? Такъ или нѣтъ вообще, но о себѣ Волгинъ твердо зналъ, что не имѣетъ такого глупаго желанія, и никакъ не могъ считать себя защитникомъ народныхъ правъ.



Но тѣмъ меньше и могъ онъ дѣлать уступки за народъ, тѣмъ меньше могъ не выставять правъ народа во всей ихъ полнотѣ, когда приходилось говорить о нихъ.

Потому-то онъ и улыбался съ угрюмою пронию, размышляя о томъ, какую буколику строить онъ въ пользу помѣщиковъ, и какъ несходно съ нею то, что они не имѣютъ права ни на грошъ вознагражденія; а имѣютъ-ли право хоть на одинъ вершокъ земли въ русской странѣ, это должно быть рѣшено волею народа.

Должно—и, разумѣется, не будетъ. Тѣмъ смѣшнѣ вся эта штука.

Она была такъ смѣшна, что Волгинъ начиналъ злиться. У безсильнаго одно утѣшеніе—злиться. Ему противно становилось смотрѣть на этихъ людей, которые останутся безнаказанны и безубыточны; безубыточны во всѣхъ своихъ, заграбленныхъ у народа, доходахъ; безнаказанны за всѣ угнетенія и злодѣйства; противно, обидно за справедливость,—и онъ опускалъ, опускалъ нахмуренные глаза къ землѣ, чтобы не видѣть враговъ народа, вредить которымъ былъ бесиленъ...

— Monsieur Волгинъ...—сказалъ незнакомый, звучный и пріятный голосъ. Волгинъ поднялъ глаза: передъ нимъ стоялъ Савеловъ. Савеловъ сталъ говорить, что очень радъ встрѣчѣ съ нимъ.

Волгинъ отвѣчалъ, что тоже очень радъ. Будучи необыкновенно свѣтскимъ человѣкомъ, онъ всегда приходилъ въ экстазъ любезности, когда ему говорили, что очень рады встрѣчѣ съ нимъ.

Сказавъ еще нѣсколько обыкновенныхъ словъ, Савеловъ пошелъ въ слѣдующую комнату, представляться дамамъ. Волгинъ сталъ искать глазами, гдѣ Соколовскій—нашелъ—и двинулся къ нему.

— О Савеловѣ не было рѣчи,—сказалъ онъ, отошедши съ Соколовскимъ въ сторону.

Соколовскій съ досадою пожалъ плечами. — Что вы будете дѣлать съ этими невинными, какъ вы ихъ называете. Чуть остались безъ присмотра, тотчасъ впадаютъ въ наивность. Ошибка не очень важна, а все-таки—непростительная ошибка.

Какъ только переговоры Соколовскій и Илатонцевъ съ Рязанцевымъ. Рязанцевъ въ восторгѣ души поѣхалъ сообщить своему другу Савелову, какой обѣдъ устраивается у Илатонцева. Савеловъ похвалилъ и сказалъ, что ему самому было бы очень пріятно быть на этомъ обѣдѣ. Рязанцевъ примчался къ Илатонцеву въ новомъ восторгѣ и заразилъ имъ Илатонцева. И вотъ, пріѣхавъ сюда, Соколовскій былъ встрѣченъ пріятною новостью: приглашенъ также и Савеловъ. Его присутствіе и поддержка будутъ придавать уже совершенно неодолимую силу рѣчамъ и программѣ Рязанцева. Добрые люди упустили изъ виду, что приглашеніемъ Савелова они много испортили характеръ собранія. Оно должно было быть совершенно свободнымъ собраніемъ помѣщиковъ, семейнымъ образомъ устраивающихъ помѣщичье дѣло, при помощи двухъ совѣтниковъ и неважныхъ, и независимыхъ отъ правительства. Какъ люди просвѣщенные, помѣщики вздумали прислушаться къ мнѣніямъ ученыхъ. Мысли знаменитаго юриста Рязанцева, который самъ помѣщикъ, понравились имъ. Они сдѣлали его своимъ секретаремъ—только. Совѣщаніе было семейное, дво-

рянское; и программа, которая вышла из него — чистая дворянская. Такъ должно было быть. — А теперь? — Присутствіе Савелова даетъ дѣлу видъ принужденія. Будутъ говорить, что программа принята подъ вліяніемъ правительственнаго лица, и притомъ извѣстнаго враждою къ дворянству. Это сильно повредитъ ей во мнѣніи дворянъ. Рязанцевъ сдѣлалъ большую ошибку.

— Да, большую, — вяло повторилъ Волгинъ, помолчалъ и поплелся назадъ въ свою позицію, оставивъ Соколовскаго продолжать прерванный разговоръ съ высокимъ, прямымъ, худымъ и крѣпкимъ усатымъ старикомъ, по усамъ и осанкѣ — отставнымъ кавалеристомъ.

Конечно, не стоило говорить Соколовскому, что дѣло гораздо болѣе плохо, нежели онъ думаетъ: не то, что авторитетъ программы будетъ ослабленъ, сама программа будетъ испорчена. Конечно, не стоило говорить. Нельзя поправить; зачѣмъ же было огорчать Соколовскаго прежде времени? Не стоило говорить. Да и жалѣть не стоитъ. Съ самаго начала затѣя была пустая; стоитъ ли жалѣть о пустякахъ? — Не стоитъ.

Такъ размышлялъ Волгинъ — опять утвердившись въ своемъ уютномъ углу, и не могъ не согласиться самъ съ собою, что разсуждаетъ очень основательно; дѣло было пустое, не стоило толковать; не стоитъ и жалѣть, что оно испорчено... Такъ, не стоитъ жалѣть, — размышлялъ Волгинъ и злился, злился хуже прежняго, съ наслажденіемъ злился, пока встрепенулся отъ словъ Нивельзина:

— Идутъ обѣдать, Алексѣй Ивановичъ; а вы такъ углубились въ ваше занятіе, что и не слышите.

Волгинъ очнулся и увидѣлъ — чѣмъ занимался, и съ какимъ прекраснымъ успѣхомъ: на цѣлую четверть была ошипана бахрама съ занавѣса огня, дававшего ему твердую опору для основательныхъ размышленій. Мыслитель махнулъ рукою, въ справедливое осужденіе себѣ, и поспѣшилъ отъ мѣста преступленія, догонять послѣднихъ уходявшихъ.

— Погодите, такъ нельзя, — остановилъ его Нивельзинъ. — Взгляните на себя.

Волгинъ взглянулъ на себя и съ чувствомъ воскликнулъ: — „это удивительно!“

По настоящему было нисколько не удивительно, а, напротивъ, очень естественно; но было, дѣйствительно, очень недурно: фракъ, жилетъ, брюки — все было пріятно испещрено малиновымъ, синимъ и бѣлымъ шелковымъ пухомъ. — „Нѣтъ, увѣрю васъ, Павелъ Михайлычъ, — это удивительно, какія штуки я дѣлаю!“ — подтвердилъ мыслитель съ глубокимъ убѣжденіемъ и замочалъ головою въ сильнѣйшемъ негодованіи.

Подошелъ слуга со щеткою, и слѣды преступленія были благополучно счищены съ основательнаго мыслителя. — Нивельзинъ повелъ его въ обѣденный залъ.

Тамъ уже всѣ сидѣли за столомъ.

На ближайшемъ ко входу концѣ — хозяинъ, подлѣ него Рязанцевъ съ своимъ другомъ Савеловымъ. По назначенію Соколовскаго, тутъ слѣдовало сѣсть и Волгину, противъ Рязанцева, для удобства будущаго спора. Волгинъ

и сунулся туда, не разобравъ, что не оставлено тутъ свободнаго стула. Нивельзинъ оттянулъ его за рукавъ, и повелъ дальше, мимо всего стола на другой конецъ.

— Это куда же?—спросилъ мыслитель.

— Боже мой, да я говорилъ вамъ; пока шла очистка лохмотьевъ съ васъ,—вы пропустили мимо ушей?

А, точно,—быль разбѣянъ—не вслушался,—согласился мыслитель.

Илатонцева, узнавъ, что на обѣдѣ будетъ Волгинъ, выразила желаніе, чтобъ онъ сидѣлъ подлѣ нея. Соколовскій, подумавъ, уступилъ, и даже напелъ, что такъ будетъ еще лучше: пусть спорять черезъ всю длину стола: могутъ: у Рязанцева звучный голосъ; о способности Волгина кричать нечего и говорить; пусть же спорять черезъ весь столъ: будетъ слышнѣе цѣлому обществу.

Волгинъ былъ отъ души радъ этому перемѣщенію: ему было бы тошно сидѣть рядомъ съ Рязанцевымъ, разозлившимъ его своею глупою наивностью. А къ Илатонцевой онъ чувствовалъ такое расположеніе, что для разговора съ нею не имѣлъ нужды въ своей удивительной свѣтскости.

Добрая дѣвушка встрѣтила его будто родного. По возвращеніи изъ деревни она каждый день хотѣла поѣхать къ Лидіи Васильевнѣ; но все еще не могла: по утрамъ парадные визиты; съ обѣда до ночи гости. Она представила его своей тетускѣ, предсѣдательствовавшей на этомъ концѣ стола въ качествѣ хозяйки. Волгинъ боялся, что тетуска завоюетъ его, по его безпомощности въ подобныхъ случаяхъ. Но у тетуски уже былъ завоеванный, какой-то провинціалъ—очень смирный. Восхитившись въ нѣсколькихъ словахъ удовольствіемъ познакомиться съ Волгинымъ, она оставила его въ покоѣ, предпочитая свою прежнюю жертву, винмавшую ей съ увлеченіемъ.

Пристроивъ основательнаго мыслителя, Нивельзинъ пошелъ на свое мѣсто, около середины стола, по сосѣдству Соколовскаго. Тамъ, съ выгодныхъ пунктовъ для дѣйствія на обѣ стороны, Соколовскій и онъ дадутъ рѣшительный поворотъ обществу, когда прійдетъ время. Время было назначено, когда начнутъ пить шампанское. Обѣдъ, хоть и очень многолюдный, долженъ былъ имѣть видъ совершенно семейнаго. Потому положено было, что не будетъ ни тостовъ, ни спичей. Но Соколовскій съ Нивельзинымъ устроить, что гости пожелають услышать, какъ думаетъ объ освобожденіи крестьянъ Рязанцевъ; хозяинъ долженъ будетъ попросить его объ этомъ. Принципы Рязанцева возбуждаютъ свирѣпость Волгина, и гости увидятъ, что они хороши для дворянства.

Такъ предполагалось для подготовки общества къ принятію программы Рязанцева въ совѣщаніи послѣ обѣда. Но Волгинъ скоро сталъ видѣть, что лишь бы не оправдалось его подозрѣній, а то не будетъ особенной нужды въ его свирѣпости: программа Рязанцева и безъ этой приправы будетъ вкуснымъ блюдомъ.

Стульевъ черезъ пять наискось отъ Волгина сидѣлъ высочій, прямой, худой, крѣпкій, усатый старикъ, съ которымъ говорилъ Соколовскій около времени пріѣзда Савелова. Усатый старикъ быстро захватилъ диктатуру на этомъ концѣ стола. Кромѣ тупоумнаго помѣщика, оставшагося въ плѣну у

Тенищевой, всё слушали усатаго старика, и всё только поддакивали. Въ началѣ двое или трое помѣщиковъ, повидимому, имѣли охоту показать, что они тоже люди умные и могутъ имѣть свои мысли; но усатый старикъ предупредалъ возраженія, давилъ оппозицію въ самомъ зародышѣ и подавилъ ее такъ, что всё человѣкъ двадцать помѣщиковъ, слушавшіе его, въ одинъ годъ съ твердили:— „такъ, правда!“

Надобно понимать положеніе дѣлъ и не болтать попустому, — говорили усатый старикъ; — крѣпостное право держалось только штыками. Позвольте, господа, нечего вспоминать прежнее вранье, о патриархальныхъ отношеніяхъ: надобно признать правду, когда пропадешь, если не захочешь признать ее. Онъ не либераль какой-нибудь. Онъ старый гусарь. Онъ выросъ на томъ и умереть съ тѣмъ, что не могло быть ничего лучше крѣпостного права, не только для помѣщиковъ, но и для крестьянъ. Кромѣ немногихъ подлецовъ, помѣщики держали себя съ крестьянами превосходно, и крестьяне благоденствовали. Но крестьяне—грубые болваны, звѣри и потому никогда не могли понять, что крѣпостное право полезно для нихъ. Оно, по ихъ невѣжеству, лѣности, своеволію, всегда было ненавистно имъ и держалось только штыками. Теперь эта поддержка отнята у него и помѣщикамъ надобно понять положеніе дѣла. Рѣчь не о томъ, хорошо или дурно рѣшеніе правительства: толковать объ этомъ пустая болтовня, очень опасная. Сказано:— „освобождайте“ — баста!—торопитесь слушаться—и только. Почему?—Отняты штыки, въ этомъ весь резонъ.

Рѣчь только уже о томъ, что надобно торопиться, и надобно сдѣлать такъ, чтобы мужики остались довольны. Почему? Резонъ простой: бунтъ. — Будетъ промедленіе? — Мужикъ скажетъ: „помѣщики не хотятъ давать намъ воли, — бей помѣщиковъ, братцы!“ Дать мужикамъ не такія условія, какія нужны для ихъ довольства — тоже самое: „Братцы, помѣщики изобидѣли насъ, добромъ не получимъ добра отъ нихъ, бей ихъ, ребята!“ — Въ этомъ весь резонъ. Коротко и ясно, господа.— „Усмирять бунтъ?“ — Кто это сказалъ: „усмирять бунтъ?“ Подумали ли вы, милостивый государь, о томъ, что сказали? Въ серьезныхъ дѣлахъ не годится говорить, не понимая что такое говоришь. — „Усмирять бунтъ“ — сказали вы. Станутъ ли усмирять? Ой—бабушка на двое гадала! Но объ этомъ послѣ. Положимъ, станутъ усмирять. Но скоро ли усмиришь, когда они повсемѣстно поднимаются бунтовать? Усмирять, положимъ; но помѣщики-то ужъ будутъ перерѣзаны, перевѣшаны, прежде чѣмъ успѣютъ выручить ихъ. Помнятъ ли господа про Пугачевщину? — Онъ можетъ напоминать о ней: онъ не либераль. Мало того, онъ и не изъ трусовъ. Кто не знаетъ—можетъ спросить, изъ трусовъ ли онъ. Онъ не побѣжитъ отъ бунтовщиковъ. Ему висѣть или быть заживо изжарену, а не бѣжать. Кто мастеръ бѣгать, могутъ легче его разсуждать о бунтѣ. Но и такимъ людямъ онъ скажетъ: не велика радость будетъ имъ пережить бунтъ; пусть приготовятся положить зубы на полку. Онъ не ученый, но можетъ понимать, что Соколовскій, — вотъ тотъ драгунъ,—говорить правду: смуты въ государствѣ ни для кого не раззорительны въ такой степени, какъ для землевладѣльцевъ. Купецъ припряталъ свои деньги, или даже перевелъ за границу — и знать ничего не хочетъ. А помѣстья не перенесешь за границу, не спрячешь въ



карманъ. Что вы найдете, когда возстановлены будутъ ваши права на помѣстья, по усмирениі бунта?—У васъ былъ хлѣбъ?—онъ разграбленъ; у васъ былъ скотъ?—онъ уведенъ или перерѣзанъ; у васъ былъ лѣсъ?—онъ вырубленъ; о домъ и не спрашивайте: сожженъ, все чисто, хоть шаромъ покати, голая земля. И останется голая: нечѣмъ засѣять; да и некому пахать; мужики перебиты, сосланы; кто уцѣлѣлъ—разбѣжались; нѣтъ работниковъ. Дорогаго стоитъ ваше помѣстье! Но возстановятъ ли ваши права на эту землю? Съ того и начиналась рѣчь: Возвратятъ ли вамъ ее? Станутъ ли хлопотать изъ-за васъ? Захотятъ ли усмирять бунтъ? Дураки ли сидятъ въ правительствѣ? Не скажетъ ли правительство: „господа, вы сами виноваты вашею неуступчивостію; бунтъ противъ васъ, а не противъ правительства; вѣдайтесь, какъ знаете; наше дѣло сторона“, думаютъ ли господа, что правительство не можетъ сказать этого?—Усмирять повсемѣстный бунтъ, какихъ расходовъ будетъ это стоить! Что за радость правительству входить въ убытки? Не легче ли, не дешевле ли сказать: „претензіи мужиковъ справедливы; пусть все останется за ними; это и гораздо прибыльнѣе для казны; доходъ казнѣ отъ мужиковъ, а не отъ помѣщиковъ“, думаютъ ли господа, что невозможно ждать такого рѣшенія отъ разбойниковъ — усатый старикъ нѣсколько понизилъ голосъ и указалъ глазами на дальній конецъ стола,—отъ разбойниковъ, подобныхъ Савелову? Помѣщикамъ надобно удовлетворить мужиковъ, чтобы не дать вмѣшаться въ дѣло разбойникамъ, ненавидящимъ дворянство. Теперь мужики еще удовлетворяются условіями, неразорительными для помѣщиковъ. Но сдѣлайте промедленіе, и будетъ совсѣмъ другое. Тотъ драгунъ — Соколовскій, говоритъ правду: „спѣшите развязаться съ ними, пока они еще не наслушались демократическихъ рѣчей; если не поспѣшите, пойдутъ на васъ съ крикомъ: „вся земля мужицкая, выкупа никакого! — убирайся, помѣщики, пока живы!“ и правительство будетъ за нихъ. — Милостивый государь, — вдругъ обратился усатый старикъ къ Волгину: — Вы дружны съ Савеловымъ?

— Незнакомъ съ нимъ, — успокоилъ Волгинъ усатаго старика, подумавъ, что онъ сообразилъ неловкость своего отзыва о Савеловѣ при другѣ этого разбойника.

— А онъ подходилъ къ вамъ.

— Просто хотѣлъ показать любезность.

— Видите, господа, каково положеніе дѣлъ?—продолжалъ усатый старикъ:—господинъ Савеловъ заигрываетъ съ г. Волгинымъ, ищетъ его пріятельства!—А знаете ли вы, кто г. Волгинъ?—Извините, милостивый государь, что говорю о васъ при васъ; разговоръ идетъ о дѣлѣ, лишнія церемоніи не у мѣста,—замѣтилъ онъ, обращаясь къ Волгину, и продолжалъ:—г. Волгинъ, по словамъ Соколовскаго...

Вѣроятно, Волгинъ услышалъ бы о себѣ характеристику, совершенно сходную съ тою, какую сочинялъ себѣ, посмѣиваясь въ своемъ углу передъ пріѣздомъ Савелова, но слова усатаго старика были перерваны говоромъ: „тише, тише! Викторъ Петровичъ хочетъ сказать что-то“.

Илатонцевъ началъ все по плану, какъ нельзя лучше, — что нѣкоторые изъ его гостей, говорившіе передъ обѣдомъ съ Григоріемъ Сергѣичемъ Рязан-прологъ.

цевымъ, были очень заинтересованы мыслями Григорія Сергѣича о дѣлѣ, которое занимаетъ всѣхъ здѣсь; что другіе гости, услышавъ отъ этихъ за обѣдомъ о ихъ разговорахъ съ Григоріемъ Сергѣичемъ, тоже заинтересовались...

А Савеловъ, между тѣмъ, нагнулся къ уху своего пріятеля и шепнулъ что-то. Другъ пришелъ въ такое удовольствіе, что сталъ потирать свои пухленькія ручки, кивая головою другу.

— По общему желанію, — прошу васъ, Григорій Сергѣичъ — заключилъ хозяинъ, обращаясь къ Рязанцеву: — будьте такъ добры, пожалуйста развейте намъ мысли, которыми возбуждено наше любопытство.

Сія радостью, Рязанцевъ очень краснорѣчиво поблагодарилъ общество за честь, которую оно оказываетъ ему своимъ вниманіемъ, мило и съ достоинствомъ выразился о слабости своихъ силъ, ободряя себя тѣмъ, что общество будетъ снисходительно къ недостаткамъ, которые онъ сознаетъ въ себѣ, какъ ораторъ, и обѣщая, что если онъ не умѣетъ ослѣплять великолѣпными словами, то постарается изложить съ ясностью принципы, справедливость и практичность которыхъ открыта имъ посредствомъ добросовѣстнаго и долгаго изученія и размышленія. — Все это было, положимъ, совершенно лишнею реторикою, но меньшаго краснорѣчія и нельзя было ожидать отъ наивнаго добряка; Волгинъ зналъ его и былъ приготовленъ услышать множество пышно-скромныхъ фразъ; но при всемъ своемъ знакомствѣ съ простодушіемъ краснорѣчиваго прогрессиста, захолопалъ глазами отъ окончанія прекраснаго вступленія: „будучи увѣренъ въ сочувствіи общества, — продолжалъ Рязанцевъ, — онъ проситъ сначала почтить вниманіемъ тѣ немногія слова, которыя желаетъ сказать его другъ, Яковъ Кириллычъ Савеловъ“.

Волгинъ хлопалъ глазами. Быть дуракомъ — Волгинъ понималъ, что очень можно быть дуракомъ, и очень глупымъ дуракомъ, — онъ прекрасно зналъ это по себѣ, — но быть дуракомъ до такой степени — это было уже непозволительно, даже по мнѣнію Волгина: какъ не понималъ Рязанцевъ, что связываетъ себя по рукамъ и по ногамъ, прося благосклонное общество слушать Савелова? Какъ онъ не понималъ, что теперь его рѣчь должна будетъ быть только отголоскомъ словъ Савелова? Какъ отнимать у себя всякую свободу? Какъ выставять самого себя только прихвостникомъ своего друга?.. Конечно, понятно, слишкомъ понятно послѣ той глупости, какую онъ сдѣлалъ, устроивъ приглашеніе Савелову быть на этомъ обѣдѣ; послѣ такой глупости никакое тушоуміе не должно удивлять, разсудилъ Волгинъ и пересталъ хлопать глазами.

А Рязанцевъ, между тѣмъ, въ восторгѣ души, объяснилъ благосклонному обществу, что слова Якова Кириллыча будутъ наилучшимъ вступленіемъ къ его собственной рѣчи, просилъ общество обратить на слова Якова Кириллыча все то вниманіе, какого заслуживаютъ произносимыя публично, глубоко-обдуманная, строго-возвышенная слова государственнаго дѣятеля, изучившаго великій вопросъ во всей широтѣ и полнотѣ, — и, смѣетъ прибавить онъ, Рязанцевъ, государственнаго дѣятеля, коротко знающаго всѣ сокровеннѣйшія предначертанія правительства, и, — отваживается сказать онъ, Рязанцевъ, — государственнаго дѣятеля — талантамъ котораго ввѣрено важное участіе въ развитіи этихъ предначертаній, — онъ прибавляетъ это, не опасаясь быть обвиненъ въ пристрастіи къ Якову Кириллычу, дружбою котораго гордится.

Онъ замолкъ наконецъ—потирая руки въ восторгѣ.

Савеловъ отвѣчалъ на восторги своего друга комплиментомъ его учености и гению и, принесши этимъ необходимую дань пустословію, продолжалъ просто, коротко, дѣльно.

Онъ говоритъ собранію помѣщиковъ. Опъ слыветъ врагомъ, злодѣемъ дворянства. Онъ не будетъ оправдываться. Онъ предоставляетъ времени оправдать его. Онъ хочетъ говорить не о себѣ. Онъ хочетъ только объяснить мысли правительства, которыя, по справедливымъ словамъ его уважаемаго и ученаго друга, извѣстны ему. Правительство рѣшило уничтожить крѣпостное право. Это признано необходимою по двумъ причинамъ. Крѣпостное право противорѣчитъ духу вѣка; оно было пятномъ для Россіи во мнѣніи Европы. Другая причина состоитъ въ томъ, что оно несовмѣстно съ правильной администраціей, мѣшало государственному порядку. Естественно, что реформа столь важная возбуждаетъ много разныхъ толковъ. Нѣкоторые изъ нихъ совершенно ложны. Крѣпостное право будетъ уничтожено. Но право собственности останется священно. Правительство не можетъ хотѣть вреда никакому сословію. Невозможно выгнать десятки милліоновъ людей изъ домовъ, занимаемыхъ ими; но за всѣ неизбѣжныя уступки помѣщики должны быть вполнѣ вознаграждены крестьянами. Могутъ ли помѣщики опасаться, что вознагражденіе недостаточно будетъ, когда имъ самимъ поручается сдѣлать оцѣнку?—Точно также напрасны и всѣ другія опасенія ихъ,—напрасны по той же причинѣ: имъ самимъ поручается заняться осуществленіемъ реформы. Всѣ подробности новаго устройства будутъ опредѣлены ихъ собственными трудами. Порученіе, возлагаемое на нихъ, очень обширно и многосложно. И излишняя медленность была бы несогласна съ видами правительства. Но оно совершенно понимаетъ, что и торопливость въ такомъ трудномъ и запутанномъ дѣлѣ была бы вредна. Великая реформа, конечно, потребуетъ много времени для своего совершенія. Полагаясь на патриотизмъ дворянства, правительство будетъ терпѣливо. Пусть дворяне добросовѣстно изучаютъ, обдумываютъ великій вопросъ. Приготовившись къ основательному разрѣшенію его, они будутъ собираться по губерніямъ; въ каждой губерніи они выработаютъ уставъ, соотвѣтствующій мѣстнымъ интересамъ. При такомъ порядкѣ дѣла можно быть увѣреннымъ, что великая реформа не нарушитъ выгодъ помѣщиковъ. Есть еще опасеніе, которое также должно быть разсѣяно. Думаютъ, что общественный порядокъ можетъ подвергаться опасностямъ. Нѣтъ. Администрація не потерпитъ никакихъ беспорядковъ и уже приняты мѣры, чтобы она повсюду имѣла подъ рукой достаточныя силы для подавленія непокойныхъ движеній въ самомъ началѣ; для этого, по всѣмъ частямъ государства расположены войска.

Ожиданія Волгина были далеко превзойдены. Онъ понималъ, что Савеловъ пріѣхалъ разстроить дѣло Соколовскаго, что программа Рязанцева погибнетъ. Но Савеловъ сдѣлалъ гораздо больше. Онъ сказалъ помѣщикамъ, что они могутъ совершенно безопасно оттягивать освобожденіе крестьянъ, могутъ тянуть его такъ, что и конца не будетъ проволочкамъ.

Лица помѣщиковъ дѣлались веселѣе, по мѣрѣ того, какъ Савеловъ раскрывалъ имъ истину. Усталый старикъ, вытягиваясь къ Волгину, шепталъ: „мы ошибались, милостивый государь, вы сами видите, передъ нами виляютъ хво-



стомъ. Насъ бояться, милостивый государь,—понимаете, насъ бояться?—Что вы скажете? Ваши друзья, всё эти Рязанцевы и Соколовскіе, больше ничего какъ пустомели—не правда-ли?“

— Они честные люди; желая добра народу, они искренно желаютъ добра и дворянству. Я въ этомъ случаѣ хорошій свидѣтель, потому что не выставлю себя вашимъ другомъ. Я не говорю, что мнѣ было пріятно думать, что вы избѣгнете бѣды, принявъ ихъ совѣты, и не скажу, что огорченъ тѣмъ, что вы теперь отвергнете ихъ совѣты. Отвергайте, мнѣ все равно. Идите тою дорогою, которую вамъ отырываютъ слова Савелова. Идите ею. Я не буду плакать о васъ. Забывайте, что Савеловъ интриганъ, который заботится и о вашихъ головахъ столько же, сколько и о благосостояніи народа.

— Хорошо; грозите, милостивый государь: ваши угрозы не слишкомъ-то страшны; войско разгонитъ вашихъ милыхъ мужичковъ.

— Я знаю это, милостивый государь; будетъ разгонять, пока будетъ разгонять. И до той поры, пока будетъ разгонять, вамъ нечего бояться.

— Милостивый государь, о чемъ вы говорите, позвольте васъ спросить?

— О томъ, милостивый государь, что мужицкій бунтъ не важная опасность для васъ. Войско легко разгонитъ мужицкіе бунты.

— Вы грозите революціей, милостивый государь?

— Понимайте, какъ вамъ угодно, милостивый государь. И если вамъ угодно донести на меня, не могу запретить.

— Хорошо, милостивый государь. Теперь мы будемъ понимать ваши желанія,—сказалъ усатый старикъ и отвернулся слушать Савелова.

Объяснивъ помѣщикамъ истинное положеніе дѣлъ, Савеловъ перешелъ къ пустословію, требуемому дружбою. Правительство исполнить свою обязанность—охранять порядокъ. Конечно, и дворянство исполнить свою обязанность—добросовѣстно заняться освобожденіемъ крестьянъ. Для этого дворянству будетъ очень полезно познакомиться съ трудами специалистовъ, изучавшихъ великій вопросъ. Не дружба только, но и строгая истина заставляетъ его, Савелова, сказать, что самый ученый трудъ по великому вопросу принадлежитъ его другу, знаменитому нашему юристу, Григорію Сергѣичу Рязанцеву.—Полились великолѣпныя фразы въ честь друга и горячія убѣжденія, чтобъ дворянство приняло къ сердцу благородныя мысли знаменитаго юриста...

Волгинъ обдумывалъ, между тѣмъ, какъ ему поступить.—Знаменитый юристъ сіялъ, радуясь тому, какъ прекрасно внушаетъ его другъ, чтобы помѣщики полюбили его мысли. Опъ станетъ ораторствовать, какъ ни въ чемъ не бывало.

И пусть бы себѣ ораторствовалъ. Но Соколовскій подниметъ скандалъ, если не отнять возможности поднять скандалъ. Челюсти Соколовскаго были стиснуты; глаза горѣли; по легкому подергиванію костлявыхъ плечъ его было видно, что его бросаетъ въ лихорадку отъ негодованія.

— Надежда Викторовна, я уйду изъ-за стола. Будьте добры, скажите, что со мною дурно, но что беспокоиться обо мнѣ нечего,—скажите, что пройдетъ.—Волгинъ всталъ и пошелъ изъ обѣденнаго зала.

А Рязанцевъ продолжалъ сіять, въ близкомъ ожиданіи минуты, когда начнетъ краснорѣчиво излагать свои принципы, такъ сильно рекомендуемые его другомъ.



Выходя из обѣденнаго зала, Волгинъ услышалъ стукъ порывисто отодвинутаго стула и тяжелые, торопливые шаги. Соколовскій догонялъ его.—Пропедши до зала, въ которомъ совершалъ свое преступленіе надъ бахромою, Волгинъ остановился и обернулся.

Соколовскій былъ блѣденъ, какъ смерть; на дрожащихъ углахъ губъ у него выступала пѣна.

— Куда вы? Вы измѣняете?

— Измѣняю, Болеславъ Иванычъ. Вы сами видите, мы съ вами не могли бы сдѣлать ничего.—Вы стали бы принуждать меня говорить—что могъ бы я сказать?—Грозить революціей, какъ и погрозилъ вашему усатому старику?— Не говоря о самомъ себѣ—не говоря даже и о томъ, что это значило бы компрометировать хозяина, спрошу васъ: не было ли бы это и смѣшно? Кто же повѣрилъ бы? кто не расхохотался бы?—Да и не совсѣмъ честно грозить тѣмъ, во что самъ же первый вѣришь меньше всѣхъ.

Соколовскій опустился на диванъ, закрывъ лицо дрожащими руками.

— Идите, будемъ бороться съ ними!—воскликнулъ онъ черезъ минуту, вскакивая.

— Полноте, Болеславъ Иванычъ, какая тутъ борьба?

— Нѣтъ, я пойду!

— Не за чѣмъ, Болеславъ Иванычъ. Слушать Рязанцева они станутъ и безъ вашей протекціи: люди благовоспитанные; сами просили его говорить, надобно выслушать, хоть уже и не для чего. И послѣ обѣда прослушаютъ его программу и похвалятъ,—зачѣмъ быть невѣжливыми, нелюбезными?—Не хлопчите, обойдется безъ васъ. Лучше, поѣдемъ со мною. Хочу взглянуть, что съ Левицкимъ. Можетъ быть, уже пришелъ въ сознаніе. Поѣдемъ,—а то еще компрометируете себя.

— Нѣтъ, я пойду къ нимъ! Буду бороться.

Волгинъ покачалъ головою.—Скука съ такими несговорчивыми людьми, какъ вы, Болеславъ Иванычъ, скука, увѣряю васъ; очень основательно разсудилъ онъ.

— И можно ли было ждать отъ Савелова такой измѣны?

— Измѣны никакой нѣтъ,—совершенно справедливо объяснилъ Волгинъ:— Вы хотѣли выставить помѣщикамъ положеніе дѣлъ въ ложномъ свѣтѣ. Савеловъ исполнилъ свою прямую обязанность, опровергнувъ клеветы, которыя взводили вы на правительство.

— И неужели все погибло?

— Не могло не погибнуть, еслибы Савеловъ и не услышалъ во время о вашей затѣѣ. Она держалась только на недоразумѣніи, на одурѣніи отъ перваго впечатлѣнія. Все равно,—истина разъяснилась бы,—съ обыкновенною своею основательностью отвѣчалъ Волгинъ, и объяснилъ, что жалѣть не о чемъ. Пусть бы и удалось нынѣ заставить помѣщиковъ подписать программу Рязанцева, черезъ нѣсколько дней они отреклись бы отъ нея. И были бы правы: подписи ихъ получены обманомъ—стали-бы говорить они. И точно обманомъ. Все дѣло было совершенно пустое, и, правду сказать, недобросовѣстное. Нечего и жалѣть, что оно разстроилось. Объяснивши это, Волгинъ вздохнулъ, подумалъ, подтвердилъ:—Да, пустое дѣло, не стоитъ жалѣть,—и прибавилъ:—Ну, такъ что-же, поѣдемъ, Болеславъ Иванычъ?

— Нѣтъ, я пойду къ нимъ, буду бороться до послѣдней минуты!

Волгинъ покачалъ головою и былъ совершенно правъ.

— Измѣнить, струсить передъ дворянствомъ, кто-бы могъ ждать этого послѣ побѣды надъ Чаплинымъ!

— Эхъ, Болеславъ Иванычъ!—отдѣльную личность можно побѣдить,— а цѣлое дворянство,—помилуйте! Что такое Савеловъ, чтобъ смѣть ему и подумать о борьбѣ съ дворянствомъ?

— Такая слабость, такая трусость!—Между ними нѣтъ ни одного государственнаго человѣка!

— Эхъ, Болеславъ Иванычъ, —возразилъ Волгинъ, покачавши головою:— Я удивляюсь вамъ, какъ это приходитъ вамъ въ голову такое странное требованіе,—увѣряю васъ, это удивительно,—подтвердилъ онъ, подумавши еще, покачалъ головою и пошелъ въ переднюю, остановился, сказалъ:—Ну, что же, Болеславъ Иванычъ, поѣдемъ со мною—гораздо лучше—увѣряю; но не получивши никакого отвѣта отъ Соколовскаго, протянулъ руки вставить ихъ въ подаваемую слугою шубу, вздохнулъ, еще разъ покачалъ головою и надѣлъ фуражку, послѣ чего совершенно успокоился ото вѣхъ своихъ волненій.

Но болѣе сильное волненіе, и волненіе радостное, ждало его.

Онъ надѣялся, что найдетъ Левицкаго уже пришедшимъ въ сознаніе; почти съ полною увѣренностью въ этомъ онъ подходилъ къ той комнатѣ, въ которой провелъ столько мучительныхъ часовъ у постели больного, и все-таки онъ едва удержалъ крикъ восторга, услышавъ изъ этой комнаты голосъ жены: она говорить съ Левицкимъ, Левицкій пришелъ въ сознаніе, Левицкій внѣ опасности!

— Здравствуйте, Алексѣй Иванычъ,—хорошъ я?—проговорилъ Левицкій. Онъ былъ еще чрезвычайно слабъ и едва могъ протянуть худую, худую руку входившему.—Что тамъ у Илатонцевыхъ? Лидія Васильевна рассказала мнѣ, что вы были у нихъ.

— Хорошіе люди и отецъ и она—въ особенности, она. Съ какою милою привязанностью она говорила о васъ, Владиміръ Алексѣичъ!—Она и на меня смотрѣла будто на родного, изъ-за того, что мы съ вами любимъ другъ друга.

— Да, она очень добрая и милая дѣвушка,—отвѣчала Левицкій:—и я знаю, что она очень любитъ меня.

Эти слова совершенно сбили Волгина съ его мыслей. При своей сообразительности, онъ былъ совершенно увѣренъ, что Левицкій спѣшилъ уѣхать изъ деревни именнo для того только, чтобъ удалиться отъ Илатонцевой, что Левицкій влюбленъ въ нее, что любовь его была несчастна. Теперь, при помощи той же сообразительности, онъ былъ увѣренъ, что ровно ничего такого не должно было быть. Очевидно, чувства Левицкаго къ Илатонцевой были совершенно спокойныя, дружескія,—такія же точно, какъ и ея къ нему.

— Они оба будутъ чрезвычайно обрадованы, узнавъ, что вы стали говорить.

— Да, будутъ, я увѣренъ.

— Знаете ли что?—Я пошлю кого-нибудь къ нимъ, сказать.

— Пошлите; это хорошая мысль.

Волгинъ пошелъ искать хозяина—распорядился.

— Но скажите же, Владиміръ Алексѣичъ, почему вы уѣхали отъ нихъ такъ торопливо и сочинили предлогъ письмо отъ меня, чтобъ замаскировать причину отъѣзда?

— Другъ мой, онъ еще слабъ, ему вредно бы было много говорить; замѣтила Волгина:—расскажетъ когда-нибудь послѣ.

— Твоя правда, голубочка,—согласился мужъ, не замедливъ сообразить, что, дѣйствительно, правда.

— Расскажите вы, что тамъ было у васъ? Удалось, или, какъ вы ждали, не удалось?—сказалъ Левицкій.

Волгинъ не утаилъ ничего, хоть ему очень хотѣлось бы утаить отъ жены исторію о томъ, какъ онъ украсилъ себя разноцвѣтными шелками; при своей сообразительности, онъ разсудилъ, что утаивать было-бы напраснымъ трудомъ: все равно разсказалъ бы Нивельзинъ.

При всемъ желаніи побранить его, жена не могла не смѣяться. И Левицкій улыбнулся. Потомъ скоро сталъ дремать. Волгина увела остроумнаго разсказчика.

Чудакъ ты, мой другъ,—замѣтила ему она, когда сходили они съ лѣстницы:—человѣкъ только-что начинаетъ оправляться, а ты вздумалъ разспрашивать его.

— Это твоя правда, голубочка,—согласился основательный мыслитель:—но только, отчего онъ уѣхалъ изъ ихъ деревни?—Я вижу, вовсе не отъ Илатонцевой,—увѣряю тебя, голубочка, не отъ нея.

— Ты ужасный простякъ, мой другъ.

— Это твоя правда, голубочка,—не замедливъ согласиться основательный мыслитель.

— Но какъ я рада, мой другъ,—о, какъ я рада за него; и еще больше за саму себя: теперь я не буду беспокоиться, что ты убиваешь себя, теперь ты не будешь смѣть слишкомъ много работать.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ИЗЪ ДНЕВНИКА ЛЕВИЦКАГО  
ЗА 1857 ГОДЪ.

## М а й.

27. Нанялъ квартиру. Не хочу ни одного лишняго дня оставаться въ институтскихъ стѣнахъ.—Когда вернулся въ Институтъ, услышалъ, что конференція кончилась. Ликаонскій, Черкасовъ и всѣ наши — старшіе учителя. И я тоже, противъ ожиданія. Степка ораторствовалъ обо мнѣ часа два, и доходилъ въ своемъ неистовствѣ до откровеннѣйшаго безстыдства:— „Наконецъ, я долженъ сказать вамъ, господа, что имѣю несомнѣнныя доказательства тому, что Левицкій—авторъ той гнусной записки къ министру, по которой рѣшено закрыть нашъ Институтъ“. — Для многихъ профессоровъ это было новостью. Впечатлѣніе было поразительное. Одни изумлялись моею хитрости и злобѣ, другіе безстыдству Степки. — „Пусть онъ авторъ этой записки, я не могу осуждать его за правду“, сказалъ Рязанцевъ.— „Но, Григорій Сергѣичъ, мы лишаемся мѣстъ“, — продолжалъ Степка, нисколько не стѣняясь: „Вамъ хорошо говорить, у васъ есть каеэдра въ университетѣ, у васъ есть помѣстье. А я и многіе другіе, мы останемся безъ куска хлѣба“. — „О васъ, Степанъ Ивановичъ, я не могу судить, останетесь ли безъ куска хлѣба, а другіе въ теченіе двухъ лѣтъ успѣютъ пріискать себѣ должности“. — Нашлось еще два-три человѣка, въ которыхъ честность взяла верхъ надъ расчетомъ. Большинство, разумѣется, раздѣляло чувства Степки или не смѣло противорѣчить ему: еще два года, онъ остается ихъ начальникомъ. Рязанцевъ сказалъ, что если не выпустятъ меня старшимъ учителемъ, онъ поѣдетъ къ министру и объяснитъ причину вражды ко мнѣ. Степка струсилъ.—Черкасовъ не помнитъ себя отъ радости, что Степка не успѣлъ сдержать своего обѣщанія выпустить меня съ



дурнымъ аттестатомъ. Я говорилъ ему въ двадцатый разъ, что для меня было бы все равно: Илатонцевъ сдѣлаеть, что я останусь въ Петербургѣ, и хоть бы написали въ аттестатѣ, что я не умѣю читать, мнѣ было бы мало убытку. — „Но ты самъ говорилъ, что Степка погубить тебя, не давши старшаго учителя“. — „Когда я говорилъ это, Черкасовъ?—Зимою до знакомства съ Илатонцевымъ. — „Но все-таки“. — „Что же все-таки? Тогда, если бы я не кончилъ старшимъ учителемъ, я не могъ получить мѣста въ Петербургѣ. Не двадцать ли разъ я доказывалъ тебѣ, въ эти три недѣли, что аттестатъ потерялъ для меня всякую важность, когда Илатонцевъ предложилъ мнѣ оставаться учителемъ у него, и обѣщаль выхлопотать согласіе министра?“ — „Конечно, такъ. Но все-таки“. — Пройдетъ еще полгода, онъ совершенно убѣдится, и будетъ толковать объ Илатонцевѣ, — когда, быть можетъ, отношенія къ Илатонцеву уже перестанутъ имѣть важность для меня. Но сколько любви ко мнѣ въ немъ! Онъ совершенно забывалъ думать о себѣ, отъ радости за меня. Удастся ли ему получить мѣсто на родинѣ?

Вечеромъ мы съ Ликаонскимъ долго ходили по биржевому скверу. Ликаонскій, противъ обыкновенія расчувствовался. — „Что были бы мы безъ тебя, Левицкій?“ — „То же самое. Ты имѣлъ бы на товарищей то вліяніе, которое приписываешь мнѣ“. — „Нѣтъ, Левицкій“. — „Полно говорить вздоръ“, я доказалъ ему, что онъ могъ бы замѣнить меня, и просилъ замѣнить, пока они остаются жить вмѣстѣ. Я сказалъ ему, что не буду приходить въ эти залы, ненавистныя мнѣ. Онъ понимаетъ это чувство.

28. Прощай, Институтъ, убивавшій умственную жизнь въ сотняхъ молодыхъ людей, разсылавшій ихъ по всей Россіи омрачать умы, развращать сердца юношей, — прощай, Институтъ, голодомъ и деспотизмомъ отнимавшій навѣкъ здоровье у всѣхъ тѣхъ, которые не могли примириться съ твоими принципами раболѣпства и обскурантизма, — прощай, Институтъ, изъ котораго выносили на кладбище всѣхъ, отваживавшихся протестовать противъ твоей гнусности, — прощай! — Объявлено, что мы кончили курсъ, и черезъ полчаса затворятся за мною навсегда твои двери, въ которыя уже не будутъ входить новыя жертвы. — Половина двѣнадцатаго.

Черкасовъ плакалъ, какъ ребенокъ. Сталъ говорить прощальный спичъ, и зарыдалъ, — принимался продолжать спичъ, и не могъ докончить. Поѣхалъ со мною, помогать мнѣ разстановить книги. — Оставивъ его кончать это, съѣздила на урокъ къ Илатонцеву. — „Почему не остаесть обѣдать?“ — Просилъ познакомиться его съ Ликаонскимъ и Черкасовымъ. — Когда? — „Чего же лучше? Вы говорите, что они хотѣли обѣдать у васъ, привозите ихъ сюда“. — Ликаонскій уже пришелъ, когда я возвратился. Повезъ обоихъ къ Илатонцеву. Понравились другъ другу. — Проводивъ оттуда Ликаонскаго и Черкасова до Института, въ который не ступить нога моя, сдѣлалъ покупку на-завтра.

Пришедши домой, раздумывалъ нѣсколько времени, о чемъ написать для пробы Волгину. Рѣшилъ: воспользоваться хламомъ, который набиралъ въ періодъ своей охоты изучать развитіе русской мысли, — предметъ, достойный изученія, нечего сказать. Но пусть Волгинъ увидитъ, что я тоже былъ и ученымъ, въ самомъ пошломъ смыслѣ слова. Напишу о меценатствѣ Екатерины II. Хорошо по крайней мѣрѣ тѣмъ, что забавно будетъ видѣть, какъ стануть бѣситься

всѣ наши прогрессисты. Я думаю, и добрякъ Рязанцевъ осудить за непочтительность. О, прогрессисты! Неужели въ Лондонѣ серьезно принимаютъ ихъ за прогрессистовъ? не вѣрится.

29. Писаль, пока пришли товарищи. Хозяйка замѣтила, что тѣсно въ моей комнатѣ и залѣ, очень любезно уступила и свою комнату, запрятавшись въ кухню. Хорошая старушка. Я пригласилъ ее къ закускѣ. Не могла досыта надивиться тому, какіе прекрасные и деликатные стали нынѣ молодые люди: собрались пировать, и не поютъ кабацкихъ пѣсень, не сквернословить, не буйствуютъ, ни одинъ не напился до-пьяна. Правда, это еще новость. Въ Институтѣ, напримѣръ, нашъ курсъ былъ первый такой. Петровъ сталъ-было щеголять безсмыслицею, которую воображаетъ краснымъ республиканствомъ и даже коммунизмомъ. Надѣялся на то, что некому оборвать его, когда я, по обязанности хозяина, долженъ быть деликатенъ. Ликаонскій сказалъ: „Не удивляй насъ; мы знаемъ, что во всѣхъ партіяхъ есть пустозвонъ. А лучше скажи намъ, отъ кого Степка могъ узнать, что записка объ Институтѣ была написана Левицкимъ?“ — „Отъ князя Вяземскаго“, отвѣчалъ Петровъ: — „Ему была отдана Левицкимъ, онъ и сказалъ Степкѣ“. — „Ой, отъ него ли узналъ Степка? Не проболтался-ли кто другой?“ — „Изъ нашихъ, сколько мнѣ извѣстно, никто не бывалъ тайкомъ у Степки“, отвѣчалъ Петровъ. — „Можно было передать ему черезъ Антошку, — съ Антошкою кто-то чуть ли не перенюхивался“. — Петровъ обидѣлся. Но я до сихъ поръ не вѣрю подозрѣнію Ликаонскаго.

30. Писаль. — Обѣдалъ у Илатонцева. Онъ продалъ около половины своихъ акцій почти безъ убытка. — Возвратившись, нашель у себя Черкасова. Потомъ пріѣхалъ Ликаонскій и съ нимъ еще трое изъ нашего тѣснаго круга. — Проводивъ ихъ, продолжалъ статью.

31. Поутру пришла въ голову мальчишеская, но не дурная мысль доставить еще разъ удовольствіе Степкѣ. Поѣхалъ. Вхожу въ залъ, гдѣ имѣлъ столько схватокъ съ подлецомъ. Доложили. — Выбѣгаетъ изъ кабинета Антошка. Сладкимъ голосомъ: „что вамъ угодно, г. Левицкій? Не могу ли я передать Степану Иванычу?“ — „Нѣтъ. Не можете. Да что, онъ боится выйти?“ — „Но какія же ваши намѣренія, г. Левицкій?“ — „Да пусть выйдетъ, чего ему бояться? Не драться же съ нимъ я пришелъ“. — Антошка юркнулъ опять въ кабинетъ. Шептались, шептались, наконецъ выходитъ мой Степка въ сопровожденіи Антошки и письмоводителя. Я, совершенно серьезно: „Я слышалъ, какъ вы, Степанъ Иванычъ, защищали меня на конференціи противъ злобы нѣкоторыхъ профессоровъ, и пришелъ поблагодарить васъ“. — Степка зеленѣетъ и, прячась за Антошку: — „Г. Левицкій, между нами были непріятности, но я всегда желалъ вамъ добра.“ — „А я всегда понималъ пользу, приносимую вами русскому просвѣщенію, надѣюсь, что по закрытіи Института вамъ дадутъ болѣе высокое мѣсто, и почти увѣренъ, что васъ назначатъ попечителемъ округа, чего вы давно добивались“, говорю я, почтительно раскланиваясь, и оставляю Степку, падающаго въ конвульсіяхъ и подхватываемаго на-лету Антошкою. — Но что за живучесть въ губителѣ молодежи. — Лицо передергивалось такъ, что слѣдовало бы быть апоплексіею, — а не будетъ! — нѣтъ, къ вечеру старый воръ будетъ опять здоровъ, какъ ни въ чемъ не бывало.

Возвращаясь домой, натолкнулся на приключеніе, которое, кажется, будет имѣть серьезные послѣдствія.—Но какая рыба кровь во мнѣ! — ужасна эта апатичность въ мои лѣта.

Я всходилъ на свою лѣстницу, и только что ступилъ на площадку у квартиру этажемъ ниже моей, одна изъ дверей съ трескомъ расхлестнулась, и по площадкѣ промелькнула вверхъ женщина съ открытыми плечами, придерживающая на груди куски разорваннаго платья; — за нею выскочила массивная фигура мужчины съ поднятыми кулаками, — эту фигуру я схватилъ за шиворотъ, дернулъ, свалилъ и потащилъ назадъ въ растворенную квартиру; закричалъ, чтобы подали мнѣ веревку или что-нибудь такое связать буяна. Никто не отозвался. Я принужденъ былъ тащить дальше по полу эту массу, — негодай упрямился, потому надобно было давать ему довольно сильные пинки. Протащивъ черезъ двѣ комнаты, въ которыхъ нечѣмъ было связать его, достигъ я съ нимъ до кухни, тамъ нашлись веревки. Придавивъ негодая колѣномъ, я скрутилъ его по рукамъ и по ногамъ, привязалъ къ ножкѣ кухоннаго стола, и пошелъ искать женщину, убѣгавшую отъ мерзавца.

Она стояла на порогѣ, не смѣя войти, но закрываясь дверью со стороны лѣстницы, по стыдливости: ея костюмъ былъ въ беспорядкѣ. Лифъ платья висѣлъ кусками, и рубашка была разорвана, упала полосами на юбку. Увидѣвъ меня, бѣдная застыдилась, бросила держаться за дверь, торопливо подхватывала куски рубашки, платья, они ускользали изъ-подъ ея дрожащихъ рукъ. Въ передней, при затворившейся двери, было темно. Я, со свѣта, не могъ хорошо видѣть ея черты. Успокаивая, я повелъ ее въ залъ. Свѣтъ упалъ на ея лицо. Оно было очаровательно.

Да, каждый другой молодой человекъ вспыхнулъ бы огнемъ. Дивная, ослѣпительно-бѣлая грудь, то полу-прикрываясь, то вся открываясь моему восхищенному взгляду, трепетала, прижималась ко мнѣ, полная, нѣжная, упругая; — при каждомъ рычаніи животнаго, ворочавшаго столъ тамъ, въ кухнѣ, вся она, милая, бѣдная, вздрагивала, все выскользало изъ ея дрожащихъ рукъ, она вся трепетала и прижималась ко мнѣ. Я, бывало, не могъ наглядѣться на плечи Эммы, на грудь Мальвины, — нѣтъ, нѣтъ, то были увядшіе цвѣты, видѣлъ я теперь. О, какъ невообразимо прелестенъ можетъ быть станъ женщины! — А я не потерялъ разсудка, я думалъ о томъ, что не имѣю права расцѣловать эту милую грудь, я заботился только о томъ, чтобы успокоить бѣдняжку.

Онъ ея мужъ, говорила она прерывающимся голосомъ. Она повѣнчана съ нимъ насильно. Уже около года. Но онъ не смѣлъ близко подойти къ ней. Только недавно, — всего съ мѣсяць, она осталась беззащитною въ его власти... За что онъ бросился на нее? — Такъ. Онъ сидѣлъ и пилъ. Она одѣвалась, она молчала, и онъ молчалъ. Вдругъ онъ вскочилъ и кинулся на нее, бить. Она вырывалась, бѣжала; онъ ловилъ ее; она вырывалась отъ него, — могла вырываться, потому что онъ былъ очень пьянъ, — онъ догонялъ, ловилъ, — все съ нея летѣло кусками, — она вырывалась, — бѣжала...

Какая холодность! — Я слышалъ и понималъ, — я могъ слышать, когда передъ моимъ восхищеннымъ взглядомъ сиялъ ея дивный станъ, трепеталъ, прижимался ко мнѣ... Я сохранялъ столько разсудительности, что успокаивалъ ее.



Она поняла наконецъ, что мужъ ея не вырвется, не можетъ броситься на нее. Она пошла въ другую комнату, одѣлась.

Квартира была маленькая, только въ три комнаты, какъ я видѣлъ, тачивши мерзавца. Но порядочно мебелирована. Въ спальной была даже роскошь. Великолѣпная кровать, орѣховая, съ рѣзбою; подушки розовыя атласныя, съ кружевами.

Она возвратилась, одѣвшись. Я сталъ говорить, что лучше всего было бы ей бросить негодяя. Можетъ ли она?—Можетъ.

Пришла кухарка, тоже убѣжавшая въ страхѣ отъ ярости мерзавца. Я послалъ ее позвать дворника. Дворникъ боялся идти за полицію: связанное животное — самъ полиція, помощникъ квартальнаго надзирателя. Мерзавецъ рычалъ, что запретъ дворника. Нельзя было безъ жалости видѣть колебаніе мужика, размышлявшаго, кто имѣетъ больше власти исполосовать его спину: это всемогущее животное, или я, по спокойному тону приказаній кажущійся едва ли не еще болѣе всемогущимъ.

Чуть не со слезами дворникъ пошелъ за квартальнымъ. Прогивъ моего ожиданія не понадобилось ни дать денегъ, ни объяснять, что я могу черезъ Илатонцева дѣйствовать прямо на генераль-губернатора. Какъ вошелъ, квартальный надзиратель сталъ говорить, что былъ бы радъ спихнуть со своей шеи бездѣльника, — только не можетъ, потому что частный приставъ чувствуетъ преданность къ Лапшеву, который посадилъ мерзавца въ помощники ему, — частный приставъ хорошій человекъ и соблюдетъ желаніе своего благодѣтеля не прогонять бездѣльника. — Я сказалъ квартальному, что если жена разойдется съ бездѣльникомъ, то ни частному приставу, ни г. Лапшеву не будетъ никакой причины поддерживать пьяницу. Онъ согласился, что правда, и очень обрадовался.

Успѣхъ вѣренъ. А когда она дастъ рублей сто въ канцеляріи генераль-губернатора, то всѣ бумаги будутъ написаны въ два-три дня. Тогда, я могу высказать ей свои мысли.

Только тогда. Прежде всего она должна получить свободу. Говорить ей раньше, значило бы пользоваться тѣмъ, что ей нужна помощь. Потому, когда квартальный отправилъ мерзавца подъ арестъ, обѣщавшись не выпускать, пока не получитъ распоряженій отъ начальства, я разсудилъ, что и мнѣ не слѣдуетъ оставаться. Квартальный сталъ прощаться, и я вышелъ вмѣстѣ съ нимъ.

Конечно, слѣдовало уйти. Но могъ-ли бы такъ поступить человекъ моихъ лѣтъ, если-бъ имѣлъ живое сердце?—Страшная апатія.

Хозяйка знаетъ Аютю. Два раза давала убѣжище ей, какъ и теперь, она хотѣла скрыться въ нашу квартиру. — На всей нашей лѣстницѣ моя хозяйка одна отваживалась не выдавать бѣглянку мерзавцу, — потому что коллежская совѣтница и имѣетъ какого-то родственника вице-директора. — Разсвирѣпѣвшій пьяный разбойникъ отрезвляется и укрощается передъ высшимъ чиномъ. Небывалое, неземное совершенство общественной благоустроенности, напояющее буйныхъ сыновъ Россіи такою почительностью. Счастливая нація!

Я сказалъ Аютѣ, что напишу ей просьбу къ генераль-губернатору и часовъ въ семь приду растолковать, какъ и что она должна говорить при подачѣ



просьбы,—какъ и гдѣ просить потомъ, чтобы рѣшеніе генераль-губернатора было поскорѣе исполнено. — Возьму съ собою хозяйку. Не хочу говорить Анютъ о моемъ чувствѣ, пока дѣло не рѣшится. Потому и не хочу видѣть ее на-единѣ.—Благодару; можно даже сказать: хорошо. Но бездушно.

Просьба готова.—Любопытно, достанетъ ли у меня холодности продолжать послѣ обѣда статью, въ ожиданіи времени идти къ Анютъ? — Нисколько не удивлюсь, если буду очень дѣльно писать объ авторѣ комедіи „О, время.“

Семь часовъ. Думалъ, думалъ, и отчасти даже мечталъ. Не беру съ собою хозяйку. Не зачѣмъ: не увлекусь и на-единѣ съ Анютою. И гораздо лучше просидѣть вечеръ съ нею одному, безъ постороннихъ. Надобно давать ей узнать меня, потому что скоро понадобится ей рѣшаться. Да и неловко было бы при хозяйкѣ предлагать ей деньги на хлопоты по дѣлу. У нея самой, вѣроятно, нѣтъ денегъ.

Десять часовъ. За звонкимъ смѣхомъ Анюты, за моими шутками, за храпѣньемъ кухарки, мы съ Анютою довольно долго не слышали, что кто-то стучится.

Стоить-ли жить?—Работать напрасно,—зачѣмъ же и жить?

Я говорилъ веселый вздоръ, Анюта хохотала, кухарка храпѣла; довольно долго мы съ Анютою не замѣчали, что кто-то стучится въ дверь кухни. Стукъ сталъ сильнѣе. Я пошелъ открыть. Это была служанка моей хозяйки. У меня гость, Черкасовъ; говоритъ, что имѣетъ очень важное дѣло ко мнѣ. Я пошелъ домой. Вхожу,—Черкасовъ стоитъ, скрестивъ руки, — лицо унылое...

Апатичные люди доходятъ до самоубійства только отъ сплина, а не отъ потрясеній,—отъ скуки, а не отъ горя. Я увѣренъ, что во мнѣ только шалили мысли, когда стало вспоминаться, что у меня есть бутылочка съ морфіемъ.

Вхожу. Черкасовъ стоитъ съ лицомъ приговореннаго къ смерти, почернѣвшимъ, осунувшимся; но во взглядѣ...

Будто въ самомъ дѣлѣ не стоило умирать? — Впрочемъ, не трудно и безъ морфія,—четвертый этажъ. Пошлость. Но въ чемъ будетъ больше пошлости, если переживу, или если не переживу.

Черкасовъ стоялъ съ лицомъ, невыразимо печальнымъ. Но во взглядѣ горѣлъ какой-то будто лихорадочный огонь.

— Остановись, Левицкій. Прежде, нежели подойдешь ко мнѣ, отвѣчай на одинъ вопросъ...

Что за нелѣзная мелодрама? Не сдѣлалъ ли онъ чего-нибудь ужаснаго? Не думаетъ ли, что я могу отнять у него свою руку, узнавши? Какъ это странно.—Будто я не знаю его, будто не знаю, что онъ не можетъ сдѣлать ничего низкаго?

— Неужели правда, Левицкій, то, что говорятъ? — Меня прислали спросить, правда ли?..

Что за исторія? Допросъ, отъ людей, съ которыми я жилъ четыре года.—Я не былъ бы въ силахъ не быть холоденъ, какъ ледъ, если-бъ и хотѣлъ не быть холоденъ. Но я и не могъ хотѣть не быть холоденъ. Есть глупости, убивающія всякое чувство.

— О чемъ тебѣ угодно знать?

— Я не хотѣлъ вѣрить Петрову, что ты былъ у Степки. Но Антошка и письмоводитель Степки сказали намъ то же. Зачѣмъ ты былъ у Степки?

— Вѣроятно, ты уже знаешь,—нечего спрашивать, когда знаешь.

— Я не хотѣлъ вѣрить, что ты былъ у Степки, и все еще не хочу вѣрить тому, что они говорятъ.— Неужели ты искалъ его милости, благодарилъ его?

— Благодарилъ.

Онъ закрылъ лицо руками.—Каедрa тебѣ дороже нашего уваженія, дороже твоей чести.—Сквозь пальцевъ, капали слезы.

Онъ выпрямился, и скрестилъ руки на груди.— Левицкій, я любилъ тебя. Отца и мать не любилъ, жену и дѣтей не буду любить съ такою преданностью. Но съ этой минуты, все кончено между нами.

— Пусть, будетъ кончено.

— Прощай, Левицкій!

— Прощай, Черкасовъ.

Просумасбродствовавши часа два-три, я сталъ замѣчать, что кризисъ, кажется, прошелъ, и былъ очень доволенъ тѣмъ, что останусь живъ. И точно, сумасбродные порывы уже не возобновлялись; и волненіе стало утихать. А теперь, я совершенно спокоенъ; хладнокровно требую у себя отчета: зачѣмъ я пережилъ этотъ ударъ?—и равнодушно вижу справедливость своего мнѣнія о себѣ, какъ объ эгоистѣ. Если бы дѣйствительно привязывала меня къ жизни только надежда принести пользу своею дѣятельностью, я не выбросилъ бы за окно морфій, соблазнявшій меня, или послѣ того кинулся бы самъ разбиться о мостовую, нужды нѣтъ, что это было бы смѣшно. Пусть бы они воображали, что я убится именно изъ-за потери ихъ уваженія. Не все-ли равно для меня, что они думаютъ или подумали-бы? — Нѣтъ, если-бъ я не былъ бездушнымъ эгоистомъ, у меня не стало бы силы рѣшиться жить. Незачѣмъ жить. Невыносимо глупо жить. Нѣтъ надежды быть полезнымъ. Невозможно принести пользу людямъ. Они неспособны улучшить свою жалкую судьбу.

Я презиралъ злобу и подлость. И не ошибался, презирая. Ихъ сила не велика. Ее не трудно бы одолѣть. Масса людей — люди честные и добрые. Интересъ ея прямо противоположенъ всему дурному, совершенно совпадаетъ съ требованіями справедливости. Она можетъ понять ихъ, потому что они очень просты, а она не глупа. Она не можетъ не желать ихъ осуществленія, понявши ихъ, потому что безъ ихъ осуществленія она несчастна. Она можетъ смѣло ринуться въ борьбу за нихъ, и биться геройски, потому что она благородна. Въ этихъ мысляхъ я не ошибался. Но я слишкомъ надѣялся на разсудительность добрыхъ и честныхъ людей, составляющихъ ее. Я слишкомъ мало думалъ о томъ, какъ велико легковѣріе и легкомысліе громаднаго большинства ихъ. Съ этою силою невозможно успешная борьба. Урокъ, данный мнѣ товарищами, раскрылъ мнѣ глаза. Самъ по себѣ случай этотъ очень мелокъ, даже забавенъ. Но истина, которою онъ озарилъ меня, ужасна. Такого знанія не пережилъ бы человѣкъ съ живою любовью къ людямъ. Я эгоистъ; но и мнѣ тяжело оно... Тяжело...

Ихъ было двадцать восемь, изъ нихъ только Петровъ былъ низокъ, только двое пошлы. Остальные глубоко прониклись тѣми же стремленіями, которыя одушевляли и меня. Изъ этихъ двадцати пяти многіе были гораздо выше обыкновеннаго уровня по уму и сердцу; всѣ неизмѣримо выше по развитію.

Мы жили вмѣстѣ четыре года. Они должны были знать меня. Они знали меня. Они знали и то, каково стало мое положеніе, благодаря случаю, сдѣлавшему Илатонцева моимъ должникомъ,—по крайней мѣрѣ, по его мнѣнію, должникомъ. Самъ Черкасовъ видѣлъ, считаетъ ли онъ себя моимъ должникомъ. Прежде, они могли не знать этого; теперъ знали.

Какую голову надобно имѣть, чтобы сочетать съ фактами, которые они знали обо мнѣ, мысль о томъ, что я хочу получить кафедру, — въ Институтѣ или университетѣ, не знаю,—или, если бы хотѣлъ получить ее, имѣлъ бы надобность унижаться для ея полученія,—или, если бы имѣлъ надобность, то захотѣлъ бы,—или, если бы захотѣлъ, то избралъ бы предметомъ своихъ ухаживаній гадину, потерявшую всякое значеніе, гадину, которую втопталъ я въ грязь и предоставилъ на оплеваніе всѣмъ въ министерствѣ,—отъ министра до послѣдняго псаца.

Оказалось, что для принятія такой нелѣпности въ свою голову, не нужно быть ни глупымъ, ни пошлымъ человѣкомъ. Можно быть умнымъ,—почти всѣ они таковы, благороднымъ,—всѣ они таковы,—надобно только имѣть обыкновенную дозу человѣческаго легковѣрія и легкомыслія, — даже менѣе обыкновенной дозы, потому что они выше массы по привычкѣ думать, — и эта нескладница помѣстится въ головѣ.

Что-жь не можетъ влѣзть въ такія головы, послѣ этого? — въ такія, то-есть, даже гораздо болѣе развитыя, нежели головы, изъ какихъ состоитъ масса общества?

Самъ по себѣ случай не важенъ. Правда, я былъ расположенъ къ этимъ людямъ. Но школьное пріятельство не такая дружба, отъ разрыва которой разрывается сердце. Да и не все-ли равно, почти всѣ они стали бы очень скоро чужды мнѣ, я—имъ?—Почти всѣ скоро уѣдутъ изъ Петербурга. Переписываться мы не стали бы.

Правда, къ двумъ изъ нихъ эти слова не относятся. Съ двумя я былъ не школьный пріятель, а другъ. Жаль Черкасова. Но именно такъ: жаль его, жаль, что онъ огорченъ такъ сильно. Онъ любилъ меня. За это, я любилъ его. Вздумалось ему, что не долженъ любить меня,—ему огорченіе, не мнѣ. Нѣтъ, напрасно: мнѣ грустно отчасти и за себя. Никогда не перестану любить этого благороднаго человѣка. Онъ былъ готовъ каждую минуту умереть за меня. О такихъ друзьяхъ нельзя вспоминать безъ нѣжности. Но все-таки: болѣе грустно за него, нежели за себя самого. Жаль его, жаль. Одно отрадно, онъ поѣдетъ на родину. Въ кругу родныхъ его грусть смягчится. Да, онъ будетъ счастливъ любовью къ нимъ. Скоро, вѣроятно, и влюбится, — милый невинный юноша!—Онъ будетъ счастливъ, нечего много грустить о немъ.

А въ Ликаонскомъ я увѣренъ. Онъ не могъ поддаться ихъ сумасшествію. Вѣроятно, обругалъ ихъ и ушелъ, махнувъ рукою. Напрасно ушелъ, не слѣдовало уходить. Надобно было говорить, пока образумились бы, постыдились

бы такъ безчестить себя. Но и то сказать: у живого человѣка не достанетъ терпѣнія. Для этого, надобно было-бъ ему быть апатичнымъ, какъ я.

Конечно, окажется, что осталось еще двое или трое, которые не уронили себя въ моемъ мнѣніи. Лагуновъ или Благовѣщенскій, Борисовъ или Свинцовъ. Но двое, трое, много четверо. А остальные двадцать?

Нѣсколько дней осталось безъ ежеминутныхъ предостереженій, — и въ нѣсколько дней уже начали вѣрять мерзавцамъ, которыхъ сами знали за мерзавцевъ.

Общество людей, которые несравненно выше массы, стремились ко всему доброму, — и остались стремящимися ко всему доброму, остались прекрасны, чисты, безукоризненны, какими были; — одна переменна: стали игрушками негодяевъ, сами оставаясь благородны.

Вѣчная исторія. Случай ничтоженъ; но онъ обнаружилъ истину, которой я не хотѣлъ понимать... Я радъ: узналъ одною истиною больше; пригодится на будущее. Но тяжело. Подавляетъ. Нѣтъ силы на работу... Будто дряхлость...

И тьмой и холодомъ объята  
Душа усталая моя...

Вѣчная исторія: выходитъ работникъ, набираетъ помощниковъ. Зовутъ людей къ дружной работѣ на ихъ благо. Собралась масса, готова работать. Является плутъ, начинаетъ шарлатанить, интриговать, — разинули рты, слушаютъ, — и пошла толпа за нимъ. Онъ ведетъ ихъ въ болото, — они тонутъ въ грязи, восклицая: „сердца наши чисты!“ — Сердца ихъ чисты; жаль только, что они со своими чистыми сердцами потонутъ въ болотѣ.

А у работника осталось мало товарищей, — трудъ не подь силу немногимъ, они надрываются, стараясь замѣнить недостатокъ рукъ чрезмѣрными усиліями, — надорвутся и пропадутъ...

И не того жаль, что пропадутъ они, — а того, что дѣло останется не сдѣлано...

И хоть бы только осталось не сдѣлано. Нѣтъ, хуже того: стало компрометировано. Выходятъ мерзавцы, и кричатъ: „Вотъ, они хотѣли, но не могли; значить, нельзя“. — „Нельзя“, повторяетъ нація. — „Правда; очевидно: нельзя. Только пропадешь. Лучше же будемъ смиренны, останемся жить по прежнему, слушаясь людей, которые даютъ намъ такой благоразумный совѣтъ“. — И забираютъ власть люди хуже прежнихъ.

Отъ Граковъ до Бабѣфа, одна и та же исторія... И послѣ, все она же... Этотъ жалкій 1848 годъ...

Потому, не лучше ли было бѣ умереть? — Лучше, — для человѣка, проникнутаго живою любовью къ людямъ. Такому человѣку жизнь была бы невыносима. Видѣть страданіе, безъ надежды помочь — это слишкомъ мучительно для человѣка съ живымъ чувствомъ. Для меня — очень сносно. Потому я остался жить, и не буду раскаяваться. — Четыре часа ночи.

## Іюнь.

1. Проснулся въ два часа, надобно было торопиться на урокъ. Одѣваясь и потомъ на дорогѣ думалъ о томъ, какую новую и великую истину открылъ



вчера по поводу глупости товарищей, и какъ живо принялъ къ сердцу это диковинное открытіе. Не могъ не улыбаться, пожимая плечами. Такъ взволноваться отъ мелкой непріятности!—Выводить такія грандіозныя заключенія изъ пошловатой досады.—Безспорно, глупость ихъ велика, и я разсердился справедливо: безспорно и то, что былъ расположенъ къ нимъ, и могъ быть огорченъ ихъ пошлостью, не дѣлаясь смѣшнымъ. Въ особенности было не смѣшно огорчиться за Черкасова. Но взволноваться до сумазбродства—хвататься за бутылочку съ морфіемъ, потомъ подбѣгать къ окну— это глупо.

И какія великолѣпныя оправданія для пошлаго малодушія!— „Не за чѣмъ жить, потому что не для чего работать: люди глупы и легкомысленны.“— Конечно, не очень разсудительны, но потому то необходимо работать надъ улучшеніемъ ихъ судьбы. Если бы они были глупы и не легкомысленны, то и не о чемъ было бы хлопотать: давнымъ давно жизнь ихъ уже была бы устроена превосходно.

Однако, странно, что до сихъ поръ нѣтъ Ликаонскаго. Проснувшись, я думалъ, что онъ былъ и ушелъ, не захотѣлъ будить. Нѣтъ, не былъ, сказала служанка. И до сихъ поръ нѣтъ,—уже восемь часовъ. Не можетъ же онъ не интересоваться узнать, какъ я думаю о глупости товарищей; не могъ и не желать сообщить мнѣ поскорѣе, какъ и что происходило у нихъ.

Часть ночи. Все было приблизительно въ томъ родѣ, какъ я предполагалъ.—Вчера послѣ обѣда Петровъ уходилъ въ кондитерскую, какъ говорилъ, уходя. Возвратился съ новостью о примиреніи между мною и Степкою. Нѣкоторые повторили; большая часть,—разумѣется, и Черкасовъ,—не хотѣли слушать.— „Какъ же ты узналъ это? Ты ходилъ въ кондитерскую?“ замѣтилъ Ликаонскій, уже довольно давно подозрѣвавшій, что онъ сталъ перенюхиваться съ Антошкою.—Петровъ отвѣчалъ, что встрѣтился въ кондитерской съ писмоводителемъ Степки.— „Все ты врешь; навѣрное былъ Антошки и вмѣстѣ съ нимъ сочинилъ эту сплетню.“— „Что тутъ, сплетня!—Двое свидѣтелей—Антошка и писмоводитель. Спросите ихъ порознь. Если сплетня, то обнаружится.“—Товарищи рѣшили: отправить троихъ спросить писмоводителя; въ то же время пригласить въ собраніе Антошку и допросить. Сдѣлали. Возвратившіеся отъ писмоводителя принесли то самое, что собраніе слышало отъ Антошки. То самое, что говорилъ Петровъ. Я благодарилъ Степку за согласіе съ конференціею выпустить меня старшимъ учителемъ. Степка отвѣчалъ, что всегда желалъ мнѣ добра. Мы обнялись, поцѣловались. Степка обѣщалъ сдѣлать представленіе, чтобы мнѣ дали стипендію для приготовленія на магистра,—а это для полученія каѳедры.

Достовѣрно!—рѣшило большинство. Но многіе еще говорили, что все это очевидный вздоръ. Черкасовъ колебался. Нашлись умные люди, предложившіе ему и Ликаонскому съѣздить, спросить меня. Ликаонскій отказался. Бѣдняжка Черкасовъ имѣлъ умъ поѣхать.

— Зачѣмъ ты пустилъ его, Ликаонскій?

— Что ты станешь дѣлать? Сговоришь-ли съ дураками, когда начнутъ разсуждать?

— Такъ по крайней мѣрѣ не отпускалъ бы его одного. Поѣхалъ бы съ нимъ самъ.

— Въ этомъ, братецъ мой, точно, сдѣлалъ ошибку. Не предположилъ, что онъ заговорить съ тобою такъ умно. Когда онъ прѣхалъ и передалъ свой умный разговоръ съ тобою, я увидѣлъ, что дѣйствительно того и слѣдовало ждать: человекъ благородный, рыцарь, непорочная дѣвица; опять же былъ взволнованъ; долженъ былъ отлпчиться умомъ. Но отпуская, не воображалъ, что разыграетъ такого дурака.

Добрякъ возвратился съ искреннимъ убѣжденіемъ, что я признался.— Тутъ, разумѣется, всѣ увѣровали. Одинъ Борисовъ сохранилъ здравый смыслъ, плюнулъ и ушелъ. Ликаонскій долго спорилъ. Наконецъ, тоже плюнулъ и ушелъ.

Поутру взялъ Черкасова въ Биржевой садъ, началъ образумливать наединѣ.— „Не самъ ли ты видѣлъ отношенія Левицкаго къ Илатонцеву? Нужна ли протекція Степки? Не вызывалъ ли Илатонцевъ даже насъ съ тобою, которыхъ видѣлъ въ первый разъ, сказать ему, не можетъ ли онъ быть полезенъ намъ?— Почему вызывалъ? Не потому ли только, что мы пріятели Левицкаго? Не даль ли тебѣ слово устроить, что тебя назначать учителемъ на родину? Затруднился ли тѣмъ, что въ той гимназіи нѣтъ вакансій?—Что отвѣчалъ на это затрудненіе?—Переведутъ какогонибудь учителя инспекторомъ куданибудь, и будетъ вакансія для васъ, будьте спокойны,—такъ или нѣтъ?—Въ комъ же другомъ нуждался бы Левицкій?—Да нуждался ли бы онъ и въ Илатонцевѣ? Развѣ Рязанцевъ не авторитетъ въ университетскомъ совѣтѣ? Развѣ Рязанцевъ не сходитъ съ ума отъ Левицкаго? Развѣ не толковалъ ему постоянно, что ему слѣдуетъ быть профессоромъ?“

— Такъ; онъ самъ признался.

— Но ты самъ знаешь, онъ никогда не думалъ о каедрѣ; что онъ хочетъ быть журналистомъ, и что занять каедрю было бы и стѣснительно, и невыгодно ему?

— Такъ онъ говорилъ; но видно не такъ думалъ, или передумалъ. Да и я всегда возражалъ ему, что напрасно онъ такъ говорить, что хорошо бы ему быть профессоромъ. Должно быть, увидѣлъ, что такъ. Что спорить. Ликаонскій?—онъ самъ признался.

— Пойми, чудакъ, ему было обидно твое подозрѣніе. Пойми, что человекъ, уважающій себя, не оправдывается въ подобныхъ случаяхъ.

— Передъ другими, пожалуй, не захотѣлъ бы оправдываться. Но передо мною, который такъ любилъ его!

— Слушать глупость отъ тебя было ему оскорбительнѣе, нежели отъ когонибудь.

— Нѣтъ, Ликаонскій, напрасно ты воображаешь, будто можешь убѣдить меня, въ чемъ захочешь.—Онъ самъ признался.

Ликаонскій понималъ, что сдѣлалъ ошибку, отпустивъ ко мнѣ Черкасова одного, и не хотѣлъ видѣть меня пока не поправитъ дѣла. Цѣлый день ждалъ случая поймать Антошку и допросить, какъ слѣдуетъ, передъ товарищами. Поймалъ только уже подъ вечеръ. Конечно, сбиль. когда допрашивалъ одинъ, попросивъ другихъ слушать, молчать и не вмѣшиваться. Антошка признался, что не было рѣчи о каедрѣ, это лишь его предположеніе, что Степанъ Ивановичъ готовъ хлопотать за меня. Больше нельзя было добиться отъ Антошки.—

Ликаонскій взялъ съ собою свидѣтелей, зазвалъ писмоводителя Степка въ трактиръ, напойлъ, — они услышали всю правду. Степка принималъ успокоительныя капли послѣ того, какъ я ушелъ. — Но не могъ заниматься дѣлами, и отослалъ писмоводителя. Часа черезъ два, Антошка призвалъ писмоводителя къ себѣ, и научилъ его, какъ слѣдуетъ рассказывать о моемъ свиданіи со Степкою.

Когда свидѣтели возвратились къ товарищамъ, конечно, почти все сознались въ томъ, что были одурачены подлецами. Но добрякъ Черкасовъ и тутъ нашелся: „Ты, Ликаонскій, подкупилъ писмоводителя. Это нехорошо, Ликаонскій, унижаться до обмана, хоть бы даже изъ дружбы. Правда выше всякой дружбы. Левицкій самъ признался мнѣ“.

— Товарищи раскаялись. Помиришь съ ними, Левицкій.

— Нѣтъ, мой другъ. Это бесполезно.

— Ты сердисься на нихъ?

— Пересталъ сердиться. Но бесполезно возобновлять пріятельство съ людьми, которые могли хоть на минуту подумать обо мнѣ такъ дурно. Сердиться на нихъ — слишкомъ много чести для нихъ. И притомъ, ты знаешь, я флегматикъ. Но что глупо, то глупо. Пока я не зналъ, что они неспособны думать своимъ умомъ, а не чужимъ, я дорожилъ ихъ расположеніемъ. Теперь не вижу пользы возобновлять разорвавшіяся отношенія.

Для чего хорошо имѣть много пріятелей? Для того, чтобы имѣть наготовѣ людей, когда начнутся серьезныя дѣла. Но могутъ ли эти легковѣрные и легкомысленные быть агентами въ серьезныхъ дѣлахъ? — Потому, надобно даже радоваться, что мы во-время узнали, каковы они. Это предохранитъ насъ отъ ошибокъ, когда придется заниматься дѣломъ. Чѣмъ дальше отъ нихъ, тѣмъ лучше.

Ликаонскій согласился, что это правда. — Одного только Черкасова было мнѣ жаль. Правда, онъ не можетъ играть самостоятельной роли. Но его безграничная преданность убѣжденіямъ выкупаешь неумѣнье быстро понимать вещи. Онъ святой человѣкъ. — Противъ этого, Ликаонскій не спорилъ. Но убѣдилъ меня бросить намѣреніе писать ему. Каждое дружеское мое слово показалось бы ему раскаяніемъ, признаніемъ моей виновности. Онъ еще тверже убѣдился бы, что я въ самомъ дѣлѣ хотѣлъ дружитья со Степкою, и только всеобщее негодованіе заставило меня отказаться отъ подлаго замысла. Мнѣ нельзя дѣлать первый шагъ. Пусть онъ самъ образумится. Тогда, пусть я нѣжничая съ нимъ, какъ мнѣ угодно.

Гдѣ я былъ, когда Черкасовъ пришелъ ко мнѣ? Наша служанка сказала ему, что я у молодой сосѣдки, которая расходится съ мужемъ. Что, я уже влюбился? — Выслушавъ мой планъ, онъ сказалъ, что разумѣется, со стороны Анюты не будетъ затрудненій; но, по обыкновенію, сталъ разсуждать о моей влюбчивости, о моихъ сильныхъ чувствахъ, о томъ, что мой спокойный разговоръ и видъ могутъ обманывать другихъ, но не его, — и все тому подобное. Относительно влюбчивости, не спорю: вспыхиваю легко; но силою моихъ чувствъ онъ всегда смѣшитъ мѣня. — „Даю тебѣ честное слово, Ликаонскій, что пока ты не сталъ спрашивать объ Анютѣ, я во весь день ни разу не думалъ о ней, пяти минутъ сряду“.

Дѣйствительно, весь день почти вовсе не думалъ о ней, потому что хандрить.

2. Пошелъ къ ней поутру. — „Я вчера, отъ генераль-губернатора, приходила къ вамъ, вы еще спали“. — „Хозяйка говорила мнѣ, что ваша просьба принята хорошо; я очень радъ, что вы теперь можете располагать собою свободно. Что вы думаете дѣлать? — какъ думаете жить?“ — „Буду жить какъ-нибудь“. — Я сталъ говорить ей о своемъ чувствѣ. Она, милая, даже заплакала: „Господи, какъ вы говорите обо мнѣ, Владиміръ Алексѣвичъ? Я ни отъ кого не слышала такихъ словъ!“ — Мы поцѣловались и я поѣхалъ искать дачу.

Домикъ въ Екатерингофѣ понравился ей, по моему описанію. Понравится ли, когда увидитъ сама? — „Успѣю ли переѣхать завтра поутру? Много хлопотъ съ мебелью“. — Я сказалъ ей, что мебель надобно бросить здѣсь, пусть возьметъ ея мужъ. Она согласилась: „Но о кровати и постели онъ уже не можетъ сказать, что это не мое. Мнѣ подарено“. — Я сказалъ, что кровать и постель также надобно бросить. Она поняла, что это ревность: — „Ну, хорошо, не возьму съ собою. Значитъ, надобно продать“. — „И не продавай, брось“. — „Почему же, Володя?“ — Но и это поняла. — Поцѣловалъ ее и ушелъ. Не могъ оставаться, потому что не достало бы характера держать себя, какъ надобно. Она слишкомъ очаровательна. Тѣмъ очаровательнѣе, что застѣнчива. — Предложить хорошенькой женщинѣ, не согласится ли она жить со мною — это показываетъ, что я молодой человекъ. Въ этомъ нѣтъ ничего новаго для моей хозяйки и ея служанки: онѣ видѣли, что у меня растетъ борода. Но знать, что я страстно люблю женщину, съ которой хочу жить — знать и толковать объ этомъ совершенно лишнее для нихъ.

Милая Анята! Я сужу о ней безпристрастно. Я вижу въ ней недостатки. Но должно быть справедливымъ: не она виновата въ нихъ. Они скоро исчезнутъ. Она умна, и сердце у нея доброе. Деликатность чувства разовьется.

Одиннадцать часовъ вечера. Тянетъ къ ней. Чтобы не поддаться влеченію, буду писать. Пусть мои мысли будутъ заняты ея грустнымъ прошедшимъ. Фантазія успокоится.

Мать Аняты была мѣщанка. Отецъ — человекъ не бѣдный; служилъ; наживался. Матери она не помнитъ. Отецъ поступилъ лучше многихъ: не прогналъ побочную дочь. Хотѣлъ дать ей порядочное воспитаніе, помѣстилъ въ пансіонъ. Она еще помнитъ нѣсколько французскихъ фразъ. Когда ей было лѣтъ двѣнадцать, отецъ умеръ. Наслѣдницею была сестра его, жена довольно важнаго чиновника. Дурная женщина. Конечно не захотѣла платить въ пансіонъ. — „По крайней мѣрѣ, возьмите ее къ себѣ“, сказала содержательница пансіона: — „какъ бы то ни было, она отчасти родня вамъ. Нельзя же выгнать ребенка на улицу“. — Тетушка перевезла дѣвочку къ себѣ, отдала на попеченіе своей горничной: пусть горничная учитъ ее прислуживать. Горничная учила, Анята росла. Года черезъ два сама стала годиться въ самыя прекрасныя горничныя. Барыня отпустила старую горничную, — дѣйствительно, старую дѣвушку и рябую. Анята была прекрасною горничною. Вѣрю этому: она кроткая и терпѣливая. — Тетушка — барыня вообще была злая, но рѣдко оставалась недовольна горничною. — Анятѣ гошелъ шестнадцатый годъ. Мужъ тетушки, — безотвѣтнѣйшее существо передъ женою, сталъ заигрывать съ Анятою.



Она не знала, что ей дѣлать. Сказать барынѣ?—Барыня ревнива. Прогонятъ ее. Куда она пойдетъ?—Пока Анюта думала, баринъ подкрался къ ней ночью. Анюта проснулась,—не разобравши въ темнотѣ, кто хватаетъ ее, вообразила спросонковъ, что воръ, хочетъ удушить,—вскрикнула. Баринъ сталъ успокаивать. Она упрашивала его отстать. Баринъ отсталъ, убрался назадъ въ спальную, къ женѣ.—Анюта поняла, что невозможно молчать, надобно сказать барынѣ?—Но барыня поутру была очень злая. Сказать ей въ злую минуту, вспылить, избобетъ, не дослушавъ. Анюта стала ждать, пока барыня будетъ помягче. Да и то мѣшало, что безпрестанно вертѣлся тутъ баринъ. Пусть онъ уѣдетъ въ должность, не при немъ же. Но барыня уѣхала куда-то раньше мужа. Онъ сталъ просить Анюту молчать, общался не приставать къ ней. Она не могла повѣрить ему и не сказала, что будетъ молчать... Онъ уѣхалъ въ ужаснѣйшемъ страхѣ. Черезъ нѣсколько времени возвратилась барыня. Съ нею вошли полицейскіе. Старшій изъ полицейскихъ сказалъ Анютѣ: „иди съ нами“. Барыня повела ихъ къ сундучку Анюты. Старшій полицейскій сказалъ Анютѣ: „отопри“. Анюта отперла. Полицейскій сталъ перебирать вещи въ сундучкѣ и вынулъ оттуда брилліантовую брошку барыни:—„Это что такое, милая?“—Анюта окаменѣла.—„Берите ее“,—сказалъ полицейскій своимъ помощникамъ. Анюту взяли, повезли; привезли.—За столомъ сидѣлъ пожилой человекъ съ лицомъ звѣря:—„Признаешься, что украла брошку?“—„Нѣтъ; или сама барыня подкинула ее, — да барыня не могла, сундучекъ мой былъ запертъ, — или вотъ онъ вынулъ брошку изъ рукава. Онъ вынулъ изъ рукава, иначе быть не могло“.—Ахъ, ты, мерзавка, позволю я тебѣ говорить, что твоя барыня дала ему брошку всунуть въ твои вещи!—что онъ сдѣлалъ такой подлогъ! Признаешься ли, мерзавка, что украла?“—„Нѣтъ“.—„Не признаешься?—Съчь ее!“—Анюту высѣкли.—„Признаешься?“—„Нѣтъ“.—„Мало сѣкли тебя.—Берите ее, дайте ей еще“.—„Слаба, ваше высококорогодіе“, замѣтилъ одинъ изъ тѣхъ, которымъ онъ приказывалъ:—„А, когда слаба, то пусть отдохнетъ. До завтра подумай, милая; лучше признайся; отпираться не будетъ пользы“.—Ее увели и заперли. На другой день пришли, взяли, повели, привели;—высѣкли:—тоже безъ пользы. Увели, заперли. Послѣ того прошелъ день безъ сѣченія,—и другой,—и третій.—На четвертый опять пришли, взяли, привели.—„Надумалась-ли, милая? Сознаешься?“—„Нѣтъ, не крада“.—„Берите ее,—да хорошенько сѣчь!“—Положили на скамью, стали сѣчь. Вдругъ перестали, безъ приказанія. Анюта встала. Въ комнату входилъ новый полицейскій, — должно быть, старше всѣхъ: тотъ, прежній, самый старшій, со звѣрскимъ лицомъ, вытянулся въ струнку передъ новымъ.—„Дѣлаете допросъ ей?“—„Точно такъ ваше высококорогодіе“.—„Какое дѣло?“—„Горничная, украла брошку у барыни,—при обыскѣ нашли въ ея сундукѣ“.—„Что-жъ неужели, отпирается?“—„Отпирается, ваше высококорогодіе“.—„Э, да какая еще молоденькая, а такая мошенница!—Послушай, милая“.—Новый полицейскій подошелъ къ Анютѣ: „Совѣтую тебѣ, милая, признайся: ничего не выиграешь, отпираясь, улика ясная“.—Онъ говорилъ суровымъ тономъ, но лицо у него было человѣческое, а не звѣриное:—„Собственное признаніе, милая, облегчитъ твою вину, а если будешь запираться, только будутъ тебя сѣчь, и потомъ накажутъ строже. Совѣтую тебѣ, милая“.—Анюта упала на колѣни и

обняла его ноги: — „Пожалуйте меня! Я вамъ все скажу!“ — „Говори, милая. это хорошо.“ — „Позвольте мнѣ сказать вамъ одному, потому что мнѣ стыдно!“ — „Изволь, милая. Пойдемъ“. — Онъ пошелъ съ нею черезъ нѣсколько комнатъ, — сначала грязныхъ, потомъ чистыхъ, потомъ и хорошо меблированныхъ, — пришелъ съ нею въ кабинетъ, большой, прекрасный; сѣлъ: — „Говори, слушаю“.

„Знаешь ли, моя милая, — какъ зовутъ-то тебя? Анна. что ли? — знаешь ли, моя милая, очень можетъ быть, — очень и очень можетъ быть, что ты не краля. Но не знаю я, какъ мнѣ съ тобою быть. Дѣло твое плохое. А главное, твоя барыня — не кто нибудь, и повернуть твое дѣло противъ нея — трудно. Даже невозможно. Понимаешь ли ты, Аня, что если она не отстанетъ говорить свое, то нельзя оправдать тебя иначе, какъ обвинивъ ее. А этого никакъ не сдѣлаешь. Не могу, и не берусь. Право, не знаю, что мнѣ съ тобою дѣлать“. — Онъ сталъ думать. — „Право, не знаю“. — „Будьте моимъ ангеломъ-спасителемъ!“ — Аня цѣловала его ноги. — „Встань, милая“, — онъ поднялъ ее: — „Право, мнѣ жаль тебя, милая, только не знаю, что тутъ можно сдѣлать... Развѣ вотъ что: поѣду къ твоей барынѣ, не согласится ли она бросить это дѣло. Тогда бумаги изорвемъ, и кончено“. — Аня опять бросилась къ его ногамъ, уже со слезами радости, бѣдная. — Погоди быть увѣрена, милая: кто-жъ ее знаетъ, согласится ли? — Сама ты говоришь, баба злая; да и я такъ слышалъ. Но можетъ быть, и очень можетъ быть. Скажу, что ты остаешься у меня, — натурально, тогда ей не будетъ опасенья, что ея мужъ останется въ связи съ тобою. Молись только Богу, чтобы согласилась“. — Онъ позвонилъ. — „Скажи тамъ, что это подсудимая, Анна, — по кражѣ у барыни, — остается пока у меня. — Да ты что умѣешь дѣлать? Голландское бѣлье хорошо моешь?“ — „И блонду, и кружева мою хорошо, не только полотно“. — „И блонду моешь? Но въ этомъ нѣтъ надобности. А хорошая прачка — не лишнее“. — „Такъ оставайся покуда, милая. — Эй, отведите эту дѣвушку къ Степанидѣ“. — Слуга повелъ Аnię къ Степанидѣ. — Старуха Степанида тоже выслушала ея исторію съ участіемъ: другая служанка, молодая и красивая, прислушивалась тоже не безъ участія, и потомъ замѣтила: „Ну, что же, если бы ты и надолго осталась, то Богъ съ тобою: дѣвка ты, кажется, смиренная, авось не будемъ грызться. — Прибыль-то мнѣ не велика, слишкомъ то любить его не за что, Ивана-го Ильича“.

Передъ обѣдомъ, позвали Аnię къ Ивану Ильичу. — „Благодари Бога, милая. Барыня твоя бросаетъ дѣло“. — Аня не помнила себя отъ радости. — „А что спина-то у тебя еще болитъ, Аня“. — Степанида и другая служанка уже заботились о ея спинѣ. Теперь гораздо легче. — „И прекрасно. милая, желаю тебѣ скорого выздоровленія. Иди себѣ, до свиданья“.

Спина Ани очень скоро вылечилась. — „Ну, теперь ступай ты къ нему, на переѣмъ мнѣ“, сказала другая молодая служанка: — „Онъ спрашивалъ, я ему сказала, пришлю нынѣ тебя“. — „Да ты иди со мною, я одна-то не смѣю“. — „Ахъ, ты, дура, дура! — Ну, пожалуй, провожу“. — Проводила и сдала Ивану Ильичу съ рукъ на руки.

„Ахъ, ты милая моя Аняточка, да ты въ самомъ дѣлѣ была невинная“, — сказалъ Иванъ Ильичъ, въ удивленіи и восторгѣ, и принялся цѣло-

вать Анюту съ нѣжностью больше той, съ какою принялъ ее на свою постель.

„Смотри-ка ты, Степанида“, сказала на другое утро прежняя фаворитка Ивана Ильича:— „Вотъ тебѣ дѣвушка то, Анюта то! — Слышь Иванъ отъ Ильичъ говорить мнѣ: а вѣдь не вралъ, была невинная. А мы съ тобою не вѣрили. Ахъ, ты, Анюточка, моя милая! — То-то тебѣ и страшно было идти. А я смѣялась! — Ну, теперь останешься вовеки жить съ нами! Онъ полюбитъ тебя за это. И счастье мое, что ты добраго сердца, — хоть и войдешь ты въ милость къ нему, все мнѣ отъ тебя не будетъ притѣненія“.

Такъ и сбылось все. Скоро Анюта вошла въ очень большую милость у Ивана Ильича. Въ такую, что осмѣлилась даже исполнить желаніе прежней фаворитки: говорить Ивану Ильичу, чтобъ онъ выдалъ прежнюю фаворитку замужъ. Дѣло было щекотливое. Но Анюта не глупа, и устроила счастье своей пріятельницы.

Мимолетныя совѣстницы изъ подсудимыхъ мелькали нерѣдко. Но постоянною любовницею осталась одна Анюта. И не только сохранила безспорное обладаніе его сердцемъ, становилась все милѣе ему. — Года черезъ полтора онъ уже прекрасно одѣвалъ ее. Давно она не мыла бѣлья, не была служанкою, была исключительно любовницею. Но Иванъ Ильичъ былъ человѣкъ тугой на расходы. Только года черезъ полтора Анюта стала и по буднямъ ходить въ шелковыхъ платьяхъ. Потомъ она получила и право развѣзжать въ каретѣ Ивана Ильича. Это было счастливое время.

Степанида дивилась уму и умѣнью Анюты. Какъ это она такъ завладѣла Иваномъ Ильичемъ? — Степанида жила у него давно, много любовницъ, — то есть постоянныхъ любовницъ, — перебивало при ней. Всѣ жили съ нею, въ комнатахъ для женской прислуги, — всѣ такъ и оставались при своихъ занятіяхъ: кто прачкою, кто швею, кто помощницею повара. Одной Анютѣ удалось такъ выйти въ настоящія любовницы, какія бывають у добрыхъ людей въ хорошихъ домахъ, — въ барыни, можно сказать!

Это понятно: у Анюты не совѣмъ тѣ манеры, какъ у дѣвушекъ, выросшихъ безо всякаго воспитанія. Въ дѣтствѣ она была барышнею. Года четыре жила въ пансіонѣ для благородныхъ дѣвицъ. Замѣтные слѣды хорошаго тона остались и въ ея разговорѣ, и въ ея манерахъ. Много забылось, какъ забылся французскій языкъ. Но не совѣмъ потерялась граціозная деликатность въ движеніяхъ, осталось въ памяти довольно много французскихъ фразъ.

Милая Анюта, — ты будешь восстановлена. Всѣ будутъ уважать тебя. Я буду гордиться тобою. — Половина перваго. Ты уже спишь, моя милая. Моя чувственность должна покориться нѣжному чувству, которое запретитъ мнѣ нарушить твой сонъ. До завтра, Анюта. Въ тотъ вечеръ шалостей передъ пріѣздомъ Черкасова, я сказалъ ей, что подкуплю ея кухарку и приду посмотрѣть на нее, спящую, — зачѣмъ она строга, зачѣмъ не позволяетъ мнѣ взглянуть еще разъ на ея грудь? — Я видѣлъ, почему же нельзя мнѣ взглянуть еще? — Нельзя. — То я увижу, какъ она спитъ. — „Ахъ, Боже мой, какой стыдъ!“ — „Почему же стыдъ? Я видѣлъ многихъ дѣвушекъ, которыя спятъ очень мило, и не стыдятся, чтобы я видѣлъ, какъ онѣ спятъ“. — „Ахъ, значить, онѣ спятъ не такъ...“ — она остановилась, покраснѣла и засмѣялась: —

„Я не хочу говорить съ вами!“ — „Онѣ спать не такъ, какъ вы? — хотѣли вы сказать — онѣ спать не разметавшись. А вы разметавшись?“ — „Ахъ, какой вы, право!“ — Она потушила глазки. — „Я угадалъ?“ — „Нѣтъ“, сказала она, сквозь слезы, милая!

О, какъ бѣло должно быть ея прекрасное тѣло!

Я вижу ее, — я вижу ее. Она разметалась, ручки закинута на подушку, одна ножка протянута, другая нѣсколько согнута, — она вся передъ моими глазами, сіяющая бѣлизною.

Она вздохнула и повернулась; правое плечико приподнялось, лѣвое опустилось, — ручки легли вдоль корпуса, — она опять вздохнула и повернулась, — опять, грудь вверхъ, прямо, — обѣ ножки протягиваются, лѣвая тихо закидывается на правую, — опять опускается, обѣ ножки лежатъ протянутыя, — лѣвая остается протянута, правая сгибается подъ ея колѣно, — еще, еще, — правая ручка ложится на согнутое колѣно, лѣвая закинулась на подушку — правая поднимается выше по ножкамъ, скользитъ по корпусу и закрываетъ грудь, — милая моя, я не жалуясь на эту ручку, пусть она закрываетъ отъ меня грудь, ты вся прелестна, и я не могу рѣшить, которая изъ твоихъ ножекъ лежитъ милѣе, — правая ли, съ дивнымъ своимъ сгибомъ, лѣвая ли, выпрямленная, — милая, дивная! о, останься такъ! Ты вся мила, какъ нѣжная грудь твоя!

О, моя свѣтлая, — вся ослѣпительная бѣлая, — твой мирный сонъ распялетъ меня! И ты будешь горѣть, и ты затрепещешь страстью.

Я чувствую какъ будто юноша, еще не получавшій ласки отъ женщины. Да и не въ самомъ ли дѣлѣ, это будетъ первая женщина, которую обниму съ полнымъ упоеніемъ страсти?

Да, она первая будетъ наслаждаться такъ же страстно, какъ я, — тѣ не наслаждались, — ихъ утомленная вялость охлаждала и меня. Онѣ не были женщинами въ моихъ объятіяхъ.

Ты, милая, первая будешь наслаждаться вмѣстѣ со мною, — и съ тобою первую я испытаю всю упоительность самозабвенія страсти, — моей въ твоей, твоей въ моей. Я чувствовалъ, что еще не зналъ, какъ упоительны могутъ быть восторги наслажденія; — переживу ли я жгучую нѣгу твоихъ объятій...

Всходитъ солнце, моя милая, — всходитъ солнце дня, который соединитъ насъ. Милая, милая...

З. Да. Она милая, она моя милая.

Часъ ночи. Да, она вся такая, какъ я видѣлъ ее въ моихъ грезахъ на яву вчера.

Ослѣпительно бѣла. Дивная чистота формъ.

Она такъ мило, тихо спитъ. Безжалостно, безсовѣстно было бы снова будить ее. Хочу приковать себя къ мѣсту, пока сонъ станетъ одолевать и меня.

„Я женюсь, Анюта. Нельзя тебѣ оставаться здѣсь. Тебѣ надобно будетъ жить на особой квартирѣ. Надобно выдать тебя замужъ. Не печалься, Анюта. Я буду жить съ тобою по-прежнему. Жена у меня будетъ гораздо похуже тебя; да хоть бы и не хуже, все-таки ты не лишняя“.

При всей вѣрности этого утѣшенія, Анюта опечалилась. Не то, чтобъ



она слишком любила этого человѣка, — пожалуй, она была бы не больше, — даже меньше огорчена, еслибъ онъ не прибавлялъ утѣшенія, что будетъ жить съ нею по-прежнему. И опять, не то, чтобъ ей не нравился онъ: нравился, потому что ей было хорошо, очень хорошо быть его любовницею. Но хорошо было потому, что она жила при немъ, въ его хозяйствѣ. А жить на особой квартирѣ, — она знала, будетъ совсѣмъ не то; совсѣмъ не то, такъ что довольно мало будетъ радости оставаться его любовницею. Не могло много утѣшать ее это его обѣщаніе: она понимала, что ея счастливое время кончилось.

Изъ трехъ слишкомъ лѣтъ, которыя она прожила при немъ, послѣдніе два года были для нея счастливымъ временемъ. Чего ей недоставало? — Всего было у нея вдоволь, чего только желала ея душа, — и желать больше было нечего; надобно было только благодарить Бога.

Правда, Иванъ Ильичъ былъ не такой человѣкъ, чтобы бросать деньги по-пусту; а еще меньше того, чтобы какая угодно любовница могла имѣть хоть маленькую власть надъ его портмоне. Но онъ былъ вовсе не скрита; онъ былъ только расчетливъ, очень расчетливъ и тугого характера. Бросать деньги на чужія прихоти, это было не въ его характерѣ. Но самъ онъ любилъ жить хорошо, и передъ этимъ временемъ занялъ такую должность, что вовсе пересталъ скупиться на себя; — зачѣмъ было скупиться? — все-таки богатѣлъ. Чудесная была должность! Ахъ, какая должность! Что было скупиться? Да и не хорошо было бы: приличіе по должности требовало. Онъ не могъ допустить этого, чтобы стали говорить: должность занимаетъ, а жить не умѣетъ. Оттого-то всего больше и не поскупился онъ сдѣлать Анюту формальною своею любовницею: сталъ занимать такую должность, а самъ человѣкъ не женатый, — какъ это не видно было бы, какая у него любовница, — гдѣ она? — Неужели онъ, на такой должности, живетъ съ какою-нибудь прачкою или кухаркою? — Неприлично! — Потому, ему и нельзя было: необходимость того требовала; для общества было надобно.

Онъ жилъ съ комфортомъ, отчасти даже пышностью. А когда онъ возвелъ Анюту въ санъ формальной любовницы, то и ей пришлось пользоваться всѣми благами его жизни.

Его квартира была великолѣпная. На свои деньги онъ не захотѣлъ бы нанять такой, такъ отдѣлать и убрать: и величина, и меблировка, все было дороже, чѣмъ требовалось для комфорта и приличія. Но все было казенное и зависѣло отъ него же самого. Потому было великолѣпно. — Когда Анюта сдѣлалась формальною его любовницею, она получила верховный надзоръ за его квартирую, — и стала пользоваться всѣмъ этимъ пространствомъ, блескомъ, — какъ ей угодно расхаживать по всѣмъ этимъ прекраснымъ комнатамъ; — а ея комната была самая лучшая изъ всѣхъ.

Само собою, ея комната была лучше всѣхъ, потому что онъ былъ человѣкъ, умѣющій жить. Формальной любовницѣ, конечно, слѣдовало быть переселенной въ спальню. А гдѣ же, какъ не въ спальней и нужно все самое хорошее человѣку, который понимаетъ, что настоящая жизнь должна быть не для парада, а для собственнаго удовольствія? — Ахъ, какъ удивительно хорошо было все въ спальней! — Нельзя описать, невозможно вообразить, какъ прелестно и богато была убрана спальная! Напримѣръ, что за кровать! — просто,

заглядѣнье!—А постель!—это, просто, чудо!—Это онъ не пожалѣлъ сдѣлать на свой счетъ: неловко же поставить такія цѣны такимъ вещамъ въ казенный расходъ;—а что-же и должно быть хорошее, какъ не это?—Такъ онъ судилъ; и справедливо. Ахъ, что это была за постель!—Лучше всякаго описанія. Смотришь на нее, —и ложиться жаль: изомнешь;—ляжешь, —и вставать не хочется, такъ пышно, мягко, нѣжно и тепло, и не жарко! — прелесть, прелесть!

Но какъ же можно было, чтобы на такую постель ложились любовницы-служанки, отъ корыта съ бѣльемъ или отъ очага, вспотѣвшія, въ грубомъ бѣльѣ?—Ахъ, тогда у него еще не было такой постели, онъ завелъ ее уже послѣ. Но и прежде у него была хорошая постель, —та самая, которую онъ подарилъ Аняутѣ, отдавая замужъ, —хорошая, прекрасная!—Разумѣется, и на такую нельзя положить служанку въ такомъ видѣ, какъ ходитъ служанка, —хоть, впрочемъ, эти служанки не были вспотѣвшія, —потому что онѣ больше только для порядка были кто прачкою, кто на кухнѣ, чтобы не зазнавались, не имѣли лишннихъ претензій; —работы не требовалось, онъ не притѣснялъ; —но все же нельзя было положить ихъ въ такомъ видѣ и на прежнюю постель; а тѣмъ больше, нельзя было допустить подсудимыхъ въ такомъ видѣ, какъ онѣ приходили, —грязныя, ужасъ!—Но на это у Степаниды было и туалетное мыло и весь туалетъ. Передъ тѣмъ, какъ идти къ барину, изъ подсудимыхъ ли, служанка ли, все равно, каждый разъ надобно было позаботиться о себѣ, —Степанида наблюдала за этимъ. Изъ ванны, вспрыснутая лоделавандомъ, —Иванъ Ильичъ любить лоделавандъ больше всякихъ духовъ, —припомаженная, въ рубашечкѣ голландскаго полотна, въ батистовомъ пеньюарчикѣ, —не то, что служанка, и всякая подсудимая шла на постель, достойная такой постели, —иная изъ подсудимыхъ такая, что и Аняутѣ не жаль было даже и новой постели для такой воздушной душеньки; потому что при новой постели своихъ домашнихъ изъ прислуги уже не было, а только по временамъ, на короткое время, какая-нибудь подсудимая. —Даже и послѣ онѣ таки бывали?—и не возбуждали ревности?—Чего же тутъ ревновать, когда въ этомъ и не было ничего такого опаснаго?—Дня два, три, —недѣлю поживетъ, —и только. Этого нельзя было бояться, что потеряешь мѣсто, —нѣтъ; онъ правду говорилъ: „это у меня такой характеръ, для разнообразія; а ты не безпокойся объ этомъ, Аняута: я люблю тебя за то, что ты смирна; свяжись съ другою, надобно будетъ еще ругать ее, чтобы не надоѣдала просьбами, да еще пожалуй воровка попадется. А тобою я доволенъ: что дѣлаю тебѣ, тѣмъ ты и довольна, —умна и смирна“.

Это правда, что она не приставала къ нему съ просьбами потому, что была умна: понимала его характеръ; не выпросишь, а только услышишь: „молчать, ступай вонъ“, —а почаще надоѣдай, то и будешь прогнана. Надобно было понимать его характеръ и переносить. Но правду сказать, и нельзя было пожаловаться на него, —нѣтъ!—одѣвальный, одѣвальный!—Ахъ, наряжалъ, одѣвальный!—Конечно, и нельзя было ему скупиться на это: приличіе требуетъ!—Когда держишь любовницу, то ужъ и держи ее какъ слѣдуетъ любовницу!—Онъ понималъ это. Да и невозможно: кому же былъ бы стыдъ, какъ не ему же?—Съѣдутся сослуживцы, —иной разъ и начальники, —пообѣдать, или чаще на завтракъ, или вечеромъ поиграть въ карты, —она тутъ, хозяйкою. —или

кататься, иной разъ, беретъ ее съ собою,—какъ же иначе?—Не затѣмъ ли онъ назвалъ ее: „будь ты, какъ слѣдуетъ, настоящею любовницею“,—не затѣмъ ли, чтобъ она была на виду?

Потому, человѣкъ умный, онъ и наряжалъ ее, какъ слѣдуетъ. Нельзя было жаловаться. Ахъ, какое счастливое было это время!—Когда одѣнется вся въ кружевахъ, она была самая прекрасная барышня! Прелесть, какъ наряжена!—Да домашняго платья у нея не было ни одного, которое стоило бы меньше 25 рублей,—только само платье, безъ лентъ и кружевъ. У нея была соболья шубочка, у нея были и брилліанты. Онъ ей давалъ и свою коляску съ рысаками,—не всегда же коляска и рысаки были нужны ему самому; напротивъ, рѣдко ему самому; больше были свободны, для нея. Когда она неслась на этихъ рысакахъ по Невскому, никто не подумалъ бы, что она только любовница Ивана Ильича, который еще и не генералъ,—всѣ думали, что она любовница какого-нибудь откупщика. Такъ и говорили ей многіе.

Ахъ, это было счастливое время!—Я думаю, усну.

4. Не ѣздилъ на урокъ: не хочу ни на минуту отрываться отъ моей милой. Пусть вся эта недѣля будетъ однимъ непрерывнымъ праздникомъ.— Былъ Ликаонскій. Не могъ насмотрѣться на Анюту.— „Что, Ликаонскій, будешь называть меня влюбчивымъ?“ — „На этотъ разъ не могу смѣяться“. И онъ также очень понравился Анютѣ. Дѣйствительно, когда онъ бросаетъ свою вѣчную серьезность и сердитость, онъ становится мастеромъ болтать вздоръ.— „Останься въ Петербургѣ, Ликаонскій,—не для меня, то для нея. Видишь, она будетъ любить тебя больше, нежели я“.— „Если бы остаться, то остался бы не для какой-нибудь женщины, хотя бы даже и твоей любовницы или жены, а развѣ для тебя. И остался бы. Но съ сестрами-то что я буду дѣлать.“ — „Устроимъ такъ, что будетъ можно тебѣ привезти ихъ сюда“.— „Положимъ, при твоей помощи устроился бы такъ, что и здѣсь могъ бы кормить ихъ. Но кто здѣсь женится на дѣвушкахъ безъ приданого?—Нельзя, Левичій“.

Вотъ это человѣкъ,—это не я. Человѣкъ простого, прямого, близкаго долга. И съ тѣмъ вмѣстѣ, человѣкъ, всегда готовый хладнокровно погибнуть за убѣжденія. Завидую ему.

„Напиши, что я нуженъ тебѣ,—и приѣду, брошу сестеръ. Но теперь долженъ думать о нихъ“.

А я—презрѣнный эгоистъ, живу для себя. Правда, у меня нѣтъ обязанностей по родству. Мои маленькія сестры еще не нуждаются въ моихъ заботахъ. На это у меня можетъ быть и достанетъ совѣсти не быть дурнымъ братомъ. Но пока я свободенъ, я долженъ былъ бы тѣмъ безграничнѣе предаться дѣлу, дѣлу. А я забываю все для Анюты.

Забываю и хочу забывать. Пусть, я эгоистъ. Но хочу и буду наслаждаться жизнью.

Опять, надобно приковать себя къ мѣсту, пока станетъ овладѣвать сонъ и мною.

Анюта безъ конца описывала мнѣ свои тогдашніе наряды, въ тотъ вечеръ, передъ приходомъ Черкасова: похочетъ моимъ шуткамъ, сама пошутитъ,—и черезъ нѣсколько минутъ,—ни я, ни сама она, мы не знаемъ какъ,—опять наряды. Она была счастлива ими.



Теперь, мнѣ кажется, я въ самомъ дѣлѣ начинаю любить ее. Но тогда я только былъ раздраженъ привлекательностью ея милаго тѣла, прекраснымъ ея лицомъ, бѣлизною и очаровательною упругостью груди, справедливыми мечтами, что и всѣ формы ея такъ же восхитительны. О ея нравственныхъ достоинствахъ или недостаткахъ я судилъ совершенно равнодушно. Я не приходилъ въ умиленіе отъ ея страстныхъ воспоминаній о нарядахъ. И теперь, хоть сталъ любить ее, не могу сказать, что люблю въ ней эту страсть. Но и тогда я находилъ ея слабость извинительной. А теперь понимаю, что глупо было и думать „извинительная слабость“, потому что эта слабость вовсе не нуждается въ извиненіи. Она можетъ казаться мнѣ признакомъ недостаточнаго развитія, — только. Мнѣ можетъ не нравиться, если человѣкъ не знаетъ ариметики, географіи, не умѣетъ читать. Но можно ли говорить: „надобно извинить ему это, потому что никто не хотѣлъ учить его“ — что тутъ извинить? — Онъ кругомъ правъ. — Такъ и та недостаточность развитія, при которой наряды занимательнѣе всего на свѣтѣ. Можетъ ли человѣкъ не желать быть счастливымъ? Можетъ ли не дорожить тѣмъ, что дѣлаетъ его счастливымъ? — Ей не было не только доступно, — не было, хотя бы по-наслышкѣ, извѣстно какое другое счастье, кромѣ доставляемаго нарядами.

Вообще во мнѣ всегда возбуждало хохотъ, когда я читалъ упреки молодымъ женщинамъ за пристрастіе къ нарядамъ. Я видѣлъ пожилыхъ мужчинъ, мрачныхъ дѣловыхъ людей, которые были въ восторгѣ отъ того, что могли украсить себя игрушкой, гораздо менѣе красивою, нежели хорошенькій фермуаръ, — могли нарядиться въ костюмъ, несравненно менѣе красивый, нежели бальное платье съ кружевами. Я не видѣлъ пожилыхъ, дѣловыхъ людей, которые не гордились бы и не восхищались бы своими игрушками и нарядами больше, нежели какая бы то ни было молодая женщина своими брилліантами и платьями. Пока я не увижу, что пожилые, дѣловые люди стали менѣе смѣшными дѣтьми, нежели молоденькія женщины, я не могу думать, что страсть молоденькихъ женщинъ къ нарядамъ нуждается въ извиненіи. Молоденькія женщины могли бы отвѣчать своимъ порицателямъ:

Наши дѣды и отцы

Намъ примѣромъ служить.

Младшія, менѣе опытные, онѣ должны брать примѣръ со старшихъ, болѣе опытныхъ. Это нравственная необходимость. Это законъ природы.

Я могу думать, что отцы и дѣды подаютъ дурной примѣръ, стараются блистать, добиваясь всяческихъ удовлетвореній глупому своему властолюбію и тщеславію; усиливаясь всячески производить эффектъ, одерживать побѣды, затмѣвать соперниковъ. Я могу желать, чтобы они перестали подавать примѣръ служенія пустотѣ. Но пока онѣ подается, невозможно, чтобы не подражали ему, не старались ослѣплять и молоденькія женщины.

Мы мерзкіе фарисеи, нападающіе на пристрастіе женщинъ къ нарядамъ, — изъ этого ли пристрастія угнетаются народы и льется кровь? — изъ-за женскаго ли тщеславія? — Лекаръ, прежде вылечись самъ, — вынь бревно изъ твоего глаза, и тогда говори о щепкѣ въ глазу твоей дочери или внуки.



„Я женюсь. Я не перестану жить съ тобою. Но надобно выдать тебя замужъ“. — Анюта была опечалена этими словами. Но могла огорчаться и помимо пристрастія къ нарядамъ и роскоши. Она понимала, что у нея будетъ отнято больше, нежели то, безъ чего можно было-бъ и обойтись. Она должна была стать бѣдна. Такой большой, крутой упадокъ ломаетъ человѣка и помимо всякой суетности.

За кого онъ можетъ отдать ее? Кто женится на ней?

Ея предмѣстница была выдана за очень мелкаго полицейскаго и жила бѣдно. Но мужъ былъ обыкновенный маленькій чиновникъ, не хуже другихъ маленькихъ чиновниковъ; и жена его жила не хуже другихъ маленькихъ чиновницъ.

Анюта не могла надѣяться, что найдется ей хоть такой мужъ. Ея предмѣстница была отдана въ жены своему мужу. Анютѣ было сказано: „Не печалься, я буду жить съ тобою по-прежнему“, — какой найдется женихъ, чтобы жениться только для принятія чужой любовницы въ свою квартиру?

Разумѣется, нашелся бы хорошій, и очень хорошій человѣкъ, если бы за это было даваемо большое повышеніе по службѣ, или если бы давались порядочныя деньги. — Но подчиненные Ивана Ильича превосходно знали, что нѣтъ и не можетъ быть хорошаго расчета повѣнчаться съ его любовницею. Они видѣли примѣръ, какъ онъ награждаетъ за женитьбу на его фавориткѣ. Да хоть бы и не видѣли бы, знали бы, что нечего ждаты отъ него: извѣстно было, какой тугой человѣкъ. Пусть эта фаворитка идетъ не въ отставку, какъ та, а сохраняетъ его въ своихъ объятіяхъ, — все-таки. мало толку для мужа.

Какая надобность Ивану Ильичу, чтобы его любовница имѣла лишнее? — Никакой. Ему нужно только очень немного: нужно, чтобы у любовницы была чистая комната, въ чистой комнатѣ должна быть хорошая постель: сама любовница должна быть въ хорошемъ бѣльѣ, — только, больше ничего не нужно для Ивана Ильича. — И Анюта поняла, и подчиненные поймутъ, что не слѣдуетъ надѣяться, чтобъ у нея было больше.

Но онъ захотѣлъ быть щедръ. Онъ сказалъ, что кромѣ кровати, постели, бѣлья, даетъ ей полъ дюжины изъ платьевъ, которыя носила она въ его квартирѣ, дарить ей три перстенька и браслетъ изъ вещей, которыми она пользовалась. Это лишнее, даваемое безъ надобности, стоило рублей до пятисотъ. — Она была отчасти удивлена такимъ великодушіемъ. Она увидѣла, что онъ любитъ ее гораздо больше, нежели она могла думать.

Точно, онъ любилъ ее. Онъ сказалъ, что жена у него будетъ хоть не такая красивая, какъ Анюта, но за то окажется горячѣ Анюты, — такъ онъ думаетъ: чуть пугонетъ ее, у нея глаза масляные, — и притомъ не дурна, — вотъ какая будетъ у него жена, а все-таки, онъ будетъ пріѣзжать къ Анютѣ каждый день: такъ онъ привязался къ Анютѣ. — И не это одно доказательство его привязанности. Онъ объявитъ, что кто женится на ней, будетъ сдѣланъ помощникомъ квартальнаго надзирателя. Это много; можно бы обѣщать должность поменьше и было бы довольно. Но для Анюты, такъ и быть: пусть будетъ ей въ приданое должность помощника квартальнаго, и притомъ въ хорошемъ кварталѣ.

Мужъ будетъ отлично содержаться при женѣ. А у Аниюты будетъ гораздо больше, нежели необходимое. Пусть не беспокоится: мужъ будетъ все отдавать ей;—если что и утайтъ, то самую малость: доходы извѣстны; а доходы очень хорошіе.

Такъ онъ былъ заботливъ и щедръ. Онъ не пожалѣлъ бы назначить мужу должность и еще гораздо лучше; но думаетъ, не хорошо было бы для него самого. Могла бы пойти молва: „смотрите на какія мѣста онъ сажаетъ своихъ любовницъ“; пожалуй, оно и не велика бѣда, но все-таки нехорошо. Пусть же Аниута будетъ довольна.

Итакъ, было объявлено: кто женится на Аниутѣ, будетъ помощникомъ квартальнаго надзирателя.

Награда болѣе, нежели достаточная. Но и не такая, чтобы сбѣжались толпы охотниковъ изъ подчиненныхъ. Всякій, кто былъ не пьяница, не картежникъ, разсуждалъ: набью себѣ какъ-нибудь деньжонокъ, или увидать мое усердіе—куплю или дадутъ мнѣ должность помощника, — хоть не сейчасъ, хоть со временемъ, но лучше подожду: по крайней мѣрѣ, когда женюсь, то если буду самъ жить со своею женою, не надо будетъ содержать любовницу. А тутъ, женись,—и опять, держи постороннюю дѣвку,—нѣтъ расчета—жениться такъ. Двойной расходъ.

Нельзя было не ждать, что женихъ будетъ не горькій пьяница. Аниута плакала въ его ожиданіи. Даже стала худѣть. — Но не успѣла много похудѣть: не терпѣло время, Ивану Ильичу не долго оставалось до свадьбы.

Если бы время терпѣло, можетъ быть и прискался-бы, — положимъ, хоть и пьяница или какой-нибудь бездѣльникъ, но все же получше. Время не ждало: всего недѣля была крайній срокъ. — Пришелъ срокъ, а другого жениха не было, кромѣ одного. Тутъ то было слезъ, какъ пришлось вѣнчаться съ нимъ! — И Степанида плакала: „легче бы вамъ, Аниута, утопиться, чѣмъ повѣнчаться: смотрите-ко, у него, подлеца, и ко дню-то свадьбы рожа-то не зажила — вся разбитая. А мужичина здоровый, кулачище-то въ пудъ“.

Чего смотрѣть! — Аниута видѣла и сама, что лучше бы ей утопиться, чѣмъ повѣнчаться. Съ тѣмъ и повезли ее въ церковь, — но съ мыслями такими, а не со словами—въ церкви такъ не говорятъ.

Впрочемъ, она думала и о томъ, что Иванъ Ильичъ говоритъ отчасти правду: „А что тебѣ за надобность, какой онъ человекъ? Онъ имѣетъ дѣло со мною, а не съ тобою“. Такъ думала Аниута: — имѣетъ дѣло съ Иваномъ Ильичемъ; будетъ смиренъ. Надѣясь на это, и повѣнчалась.

И точно: пока онъ имѣлъ дѣло съ Иваномъ Ильичемъ—былъ хорошъ. Трезвый, сидитъ въ своемъ углу и не слышно его. Когда пьетъ, не смѣетъ оставаться дома. Противъ деньги, какія попадали ему въ карманъ, придетъ попросить рубля три: она пожалѣетъ бѣднаго, которому нечѣмъ опохмѣлиться, дастъ; и опять ушелъ. Они мало и видѣли его.

Можно было жить. Его жалованье отдавали ей; доходы, какіе шли на его долю по раздѣлу изъ общихъ, тоже ей. И жила, и одѣвалась прилично. Конечно, ужъ не прежнее. — Но не стыдно было показаться нигдѣ. Иванъ Ильичъ не запрещалъ ей бывать нигдѣ: былъ увѣренъ въ ея характеръ, что

она не позволить себѣ лишняго, и если ѣдетъ въ общество, то не повѣсничать, а только невиннымъ образомъ провести время. Можно было жить. Конечно, случалось иногда и поплакать, вспоминая прежнее счастье; особенно въ началѣ. Но какъ быть-то?—Пристроиться получше?—Конечно, она думала и объ этомъ. Но ея положеніе было не такое. Свободной женщиной, конечно, это было бы самое первое, искать хорошаго человѣка съ деньгами. Свободной женщиной нечего терять: ищетъ, покуда найдетъ. Но скоро ли находятъ, даже самыя лучшія и самыя мастерицы видѣть, хвалится ли человѣкъ, или же обманываетъ. Сто разъ, можетъ быть, обманется, прежде, нежели найдетъ хорошаго человѣка, — даже самая мастерица. Потому, если имѣешь, хоть и не Богъ знаетъ какое, но все же хорошее пристройство, то ужъ и удержишь. Погонись, — пока найдешь, давно все стало извѣстно содержателю. Когда онъ слабый человѣкъ, положимъ, еще можно. Но съ характеромъ Ивана Ильича плохія шутки. Чуть бы услышалъ что-нибудь, — осталась безъ куска хлѣба, таскайся по улицамъ въ протоптанныхъ башмакахъ. Страшно. Потому она и жила, какъ Богъ далъ, и за малое благодарила Бога. Конечно, не прежнее счастье; но все-таки, могла назвать себя довольно счастливою, пока тутъ былъ Иванъ Ильичъ. Уѣхалъ онъ, — тогда пришлось такъ, что хоть живая въ гробъ ложись.

Онъ уѣхалъ всего только съ мѣсяць тому. И не говорилъ, что уѣзжаетъ: конечно, зналъ, что предупреди онъ ее, она должна бы искать себѣ другого человѣка; а онъ хотѣлъ пользоваться до конца. Потому, сказалъ вдругъ, не предупредивъ нисколько. Она ужаснулась: „Возьмите меня съ собой, Иванъ Ильичъ.“ — „Нельзя. Анюта. Тамъ ты была бы на виду у цѣлаго города, и отъ жены нельзя было бы скрыть“. — Конечно, жену онъ выставилъ только для предлога. Главное, его расчетливость, потому что это онъ сказалъ правду: губернаторская любовница на виду у цѣлаго города; и приличіе требуетъ, чтобъ она жила, какъ слѣдуетъ губернаторской любовницѣ. А отъ живого мужа за другого не отдашь; этого бездѣльника взять съ собою?—Неловко дать ему такую должность, какая нужна для приличной жизни губернаторской любовницѣ, — потому что онъ бездѣльникъ, шумъ былъ бы великъ, нехорошо. Стало быть, приходилось бы Ивану Ильичу самому содержать ее; а во сколько это обходилось бы?—потому что онъ человѣкъ съ амбиціею, долженъ былъ бы содержать ее такъ, чтобы не стыдно было передъ людьми.—Всѣ эти расчеты она понимала, зная его характеръ. Потому и сама видѣла, что невозможно упротить его; только плакала безъ всякой надежды: такъ сами слезы лились, хоть и напрасныя.

Забылъ разспросить Ликаонскаго. Анюта молчить о своихъ надобностяхъ, а я забываю. Хорошъ любовникъ.

5. У Ликаонскаго дѣйствительно есть деньги. Показалъ мнѣ. Около 200 рублей. Стало быть всѣ мои деньги свободны.

Наши домашніе расходы до августа, положимъ, 150 рублей. Будетъ довольно съ тѣми 45 или 50 рублями, которые придется получить отъ Илатонцева.—Черкасову 100 рублей; тоже довольно. Остается 145 рублей, которыми можно располагать. Къ августу, навѣрное, начнутся доходы отъ журнальной работы.

Не было надежды упрощить его; только не могла удержать слезъ:— „Какъ я останусь безъ васъ? Вы говорили, все равно, какой будетъ мужъ. При васъ, и точно, было все равно. А теперь какая будетъ моя жизнь во власти этого злодѣя?—Да и прогнать его съ должности, когда вы уйдете: кто захочетъ терпѣть такого бездѣльника? Чѣмъ же я буду жить?“ — „Не прогнать: мнѣ дали слово, и сдержатъ, потому что я остаюсь въ самыхъ важныхъ сношеніяхъ съ ними по дѣламъ. Не тронуть его, пока ты живешь съ нимъ. А если онъ станетъ обижать тебя, то зачѣмъ же тебѣ терпѣть!—Твои лѣта еще не ушли; можно сказать, только входишь въ настоящія лѣта. Богъ не безъ милости, на свѣтѣ не безъ добрыхъ людей. Богъ дастъ, будешь, можетъ быть, жить еще лучше прежняго“.

Все правда. Но и мужъ Анюты понималъ эту правду. Только что стала Анюта собирать свои вещи, думалъ переѣхать на особую квартиру, скрыться отъ мужа, чтобъ искать своего счастья,—мужъ въ двери. Избилъ ее, отнялъ у нея все; пригрозилъ и кухаркѣ, и дворнику, что запереть ихъ до полусмерти, если упустятъ его жену, заперъ ее въ спальнѣ, отдалъ ключъ кухаркѣ и ушелъ пьянствовать. Ему нельзя было не дорожить женою: онъ зналъ, что только вмѣстѣ съ нею держится на должности. И всегда, когда уходилъ, онъ запиралъ ее.

Какъ уйти? Чѣмъ ей было подкупить кухарку и дворника, дрожавшихъ за ея сохранность,—въ особенности, дворника?—Нечѣмъ, все у нея отнято. А еще важнѣе: куда уйдешь, какъ будешь жить?—Ничего у нея не было подготовлено.—Что можно сдѣлать въ такихъ обстоятельствахъ? А если можно, то скоро ли? Съ кухаркою она уже стала сходитьяся. Но затруднялъ дворникъ. Такъ присматривалъ, что ужасъ. Конечно, еслибъ найденъ былъ хорошій человѣкъ, то можно бы; но скоро ли найдешь хорошаго человѣка, когда стѣснена до такой степени?.. Не унывала; имѣла нѣкоторыя надежды. Богъ поможетъ бы какънибудь. Но вѣрнаго, еще не было...

6. „Ахъ, Володя, какой ты добрый. Ничего не жалѣешь для меня!“ — Но довольно легко поняла, что сама должна разсчитывать, какими деньгами можетъ располагать.—Завезла меня къ Илатонцеву, сама отправилась покупать.

Когда я пріѣхалъ домой, ее еще не было. Поэтому вынулъ начатую работу. Пора приняться за нее. Надобно поскорѣе успокоить себя тѣмъ, что наша жизнь обезпечена. Писалъ, пока она пріѣхала. Она была смущена и робѣла: — „Володя, простишь ли ты меня? Я издержала больше; осталась должна 29 рублей“.—Обрадовалась, бѣдняжка, что я не сдѣлалъ ей выговора!—Послѣ повторилъ съ нею мои расчеты и сказалъ, что если она полагаетъ, что на домашніе расходы до августа будетъ надобно меньше 170 рублей, то пусть беретъ изъ этихъ денегъ еще на свои наряды. — „Нѣтъ, Володя, я сама разсчетливая и нехорошо, если взять, а потомъ недоставетъ. Буду брать на свои наряды только то, что будетъ оставаться лишнее“.

Были Благовѣщенскій, Борщовъ, Свинцовъ. Очарованы Анютою и сами понравились ей. Мы просили ихъ бывать у насъ хоть каждый день.

Илатонцевъ видѣлъ министра. Черкасовъ будетъ назначенъ на родину. Можетъ ѣхать, не сомнѣваясь.—Ликаонскій взялъ деньги для него. Боюсь, не догадается ли добрякъ, что онъ отъ меня.



Дочь написала Илатонцеву, что через три, четыре дня будетъ въ Петербургѣ. — „А у меня остается еще на 40 тысячъ акцій. Продамъ поскорѣе, хоть бы пожертвовать полторы, двѣ тысячи, лишь бы развязаться къ приѣзду Наденьки“. — Возобновлялъ свои убѣжденія, чтобъ я ѣхалъ въ деревню. Новое въ нихъ — дочь; „Я зову васъ не столько для себя самого, сколько для Наденьки; и ручаюсь вамъ, вы полюбите ее“. — „Съ Юренкою вовсе не нужно заниматься, пусть пользуется лѣтомъ и садомъ, пусть больше бѣгаетъ“ и т. д., прежде.

Работалъ, но очень мало.

7. „Володя, ты поступилъ бы служить въ полицію: тамъ очень выгодно служить“ — и начала разсказывать, сколько получалъ Иванъ Ильичъ, сколько получаютъ даже на такихъ должностяхъ, которыя даются съ перваго раза, лишь бы только понравиться начальству: — „Поступи въ полицію, Володя; ей Богу, поступи“. — Но когда я растолковалъ ей, поняла: — „разумѣется, Володя, это нехорошо. Я посоветовала тебѣ потому, что не думала, хорошо ли это“.

Добрякъ Черкасовъ очень далекъ отъ мысли, что деньги были мои. Онъ воображаетъ, что я столько же злобствую на него, какъ онъ презираетъ меня.

Работа идетъ плохо. Потому, вздумалъ было просить Ликаонскаго переселиться къ намъ. — „Это зачѣмъ?“ — „Я переселился бы на эти дни въ городъ. Приѣзжалъ бы къ вамъ только обѣдать. Бросить Анюту одну — жалко. Читать не привыкла; знакомыхъ здѣсь еще нѣтъ, и кажется, что кругомъ насъ все дрянъ, съ которою надобно знакомиться“. — „Вздумано, умно, Левицкій“. — „Почему жъ не умно?“ — „Будь у нея не такія привычки, моя добродѣтель, какъ ты называешь, не подвергалась бы опасности; но она имѣетъ привычки легкомысленнаго общества; безъ намѣренія, она взволнуетъ и сама увлечется“. — „Вздоръ, Ликаонскій“. — Но онъ остался при своемъ.

8. Черкасовъ уѣхалъ. — У Илатонцева остается только на 5 тысячъ акцій. Завтра надѣется продать и эти.

9. Еще дня три работать, какъ нынѣ, и статья будетъ кончена.

10. Тоже порядочно работалъ.

11. Ликаонскій начинаетъ убѣждаться, что Анюта разсудительна.

12. Переѣхалъ къ намъ на два дня, которые остаются до его отъѣзда.

13. Работалъ очень мало, также какъ и вчера. Почти все время былъ занятъ разговоромъ съ Ликаонскимъ. Этотъ человѣкъ не измѣнитъ дѣлу.

14. Мой добрый, мой милый другъ! Когда я обниму тебя вновь? Ни онъ, ни я, мы не ожидали отъ себя, что такъ расчувствуемся.

15. Илатонцевъ продалъ свои послѣднія акціи. Подвелъ итогъ. На 350 тысячахъ потерялъ около восьми съ половиною. Радъ, что отдѣлался такъ дешево: — „Безъ васъ, я до сихъ поръ оставался бы въ этомъ ослѣпленіи, и можетъ быть заложилъ бы другое помѣстье, чтобы пріобрѣсти еще побольше этихъ сокровищъ“ и т. д. „Въ самомъ дѣлѣ, я тогда только дивился, что человѣкъ неслухъ могъ быть обольщенъ подобными шарлатанствами! Но по крайней мѣрѣ, ваши намѣренія были благородныя“. — „И съ благородными своими намѣреніями я запутался бы такъ, что не только мнѣ съ дѣтьми, даже и крестьянамъ пришлось бы очень плохо“. — „Полноте; такъ или иначе.

вы усѣли бы во-время понять, что эти бумаги должны потерять всякую цѣну“. — „Богъ знаетъ, понялъ ли бы во-время“. — Не только благородный, но и скромный человѣкъ. Не скрывать отъ самого себя, какъ упорно было его заблужденіе. Это рѣдкое достоинство. Начинаетъ беспокоиться о томъ, что дочь долго не ѣдетъ.

„Скучаешь теперь, Аня? Всѣ мои пріятели уѣхали, — ты совершенно одна, когда я работаю“. — „Что же дѣлать, Володя, когда тебѣ надобно работать? Поскучаю, такъ и быть. А потомъ найду прежнихъ своихъ знакомыхъ; будутъ и новые“. — Надобно желать, чтобы новые были лучше прежнихъ. Когда я растолковала, она согласилась: — „Когда такъ. Володя, то я и не хочу искать прежнихъ своихъ знакомыхъ. Я не думала какіе они люди“. Съ каждымъ днемъ она больше радуется: легко понимаетъ все.

16. Три часа ночи. Кончилъ. Теперь опять весь принадлежитъ тебѣ, моя милая.

17. Волгинъ былъ въ городѣ и дома. Узналъ меня. Поэтому, тутъ же принялся просматривать статью. Прочелъ нѣсколько страницъ, перевернулъ, пробѣжалъ послѣднія страницы: — „Мнѣ было сказано однимъ человѣкомъ, который рѣдко ошибается въ людяхъ, что вы должны быть человѣкъ замѣчательнаго ума“ и т. д. — Потомъ я спросилъ, кто же это рекомендовалъ меня ему? — „А, это послѣ, когда побольше познакомимся“. — Просилъ посидѣть, поговорить. Самъ говорилъ мало; все заставлялъ говорить меня. Оставилъ обѣдать. Продержалъ до восьмого часа. — „Ну, теперь простимся, Владиміръ Алексѣичъ. Будутъ приходиться за корректурами, надобно читать. Съ другими я не говорю такъ. Но вы видите, что внушаете мнѣ расположеніе, стало быть, нечего церемониться. Завтра поутру приходите опять. Надобно получше узнать васъ. Писать можете, это видно было по первой же страницѣ статьи. Но надобно узнать васъ получше“.

Я былъ увѣренъ, что мы сойдемся. Но это превосходитъ мои ожиданія.

Милая Аня! Ты обезпечена отъ нужды! Никогда не обнималъ я ее съ такою страстью, какъ въ этомъ избыткѣ счастья.

18. Съ десяти часовъ до четырехъ сидѣлъ у Волгина. „Ну, теперь надобно мнѣ ѣхать на дачу. Поѣдемте“. — Я сказалъ, что долженъ былъ отправиться на урокъ. — „Ну, такъ отсюда пріѣзжайте къ намъ“. — Я сказалъ, что не могу. — „Ну, почему?“ Онъ смотритъ на жизнь такъ строго, что я не рѣшился сказать ему объ Анютѣ; я сказалъ, что одинъ изъ моихъ друзей, Ликаонскій уѣзжаетъ и я хочу побольше быть вмѣстѣ съ нимъ. — „Ну, такъ до послѣ завтра, Владиміръ Алексѣичъ. Послѣ завтра опять буду въ городѣ. Поговоримъ еще. А впрочемъ, могу сказать вамъ и теперь: пишите о чемъ хотите, сколько хотите, какъ сами знаете. Толковать съ вами нечего. Достаточно видѣлъ, что вы правильно понимаете вещи!“ — Послѣ вчерашняго я не могъ сомнѣваться, что кажусь ему хорошимъ сотрудникомъ. Но эти слова удивили меня: „Вы предоставляете мнѣ полную волю въ журналѣ?“ — „А развѣ были вы очень нужны мнѣ, еслибъ не такъ? — Сотрудниковъ, которыхъ надобно водить на помочахъ, можно имѣть пожалуй хоть сотню; да что въ нихъ пользы? Пересматривай, поправляй, — такая скука, что легче писать самому“. — „Вы не будете просматривать моихъ статей?“ — „А что будетъ въ

нихъ любовытнаго? Признаться вамъ сказать, не буду читать и напечатанныхъ, не только до напечатанія. И безъ того приходится читать слишкомъ много пустяковъ, — ха-ха-ха! — благодарите за комплиментъ“. — „Но я могу дѣлать ошибки“. — „А ну васъ и съ вашими ошибками! Только время теряю съ вами — ха-ха-ха! — Ну, прощайте. Приходите послѣ завтра. Поговоримъ еще, хоть не о чемъ“.

Илатонцевъ былъ отъ души радъ, узнавъ, что я буду имѣть постоянную работу: — „Жаль только, что теперь уже не утѣшишь васъ въ деревню“. — Сильно беспокоится, что дочь не ѣдетъ такъ долго. — „Но вѣроятно всего, что ея тетюшка зажилась гдѣ-нибудь дольше, нежели рассчитывала. — „Судя по вашимъ рассказамъ — извините за откровенность, — я думаю, что она женщина, которая не всегда знаетъ, что вздумается ей завтра“. — „Да, да“, — и сталъ говорить, что не слѣдовало бы отпускать эту Алину Александровну за Надеждою Викторовною: — не слѣдовало; зачѣмъ же отпускали? — „Ошибка, согласенъ“.

19. Этотъ весь день принадлежалъ Аниутѣ. Понимаю, что до сихъ поръ еще слишкомъ мало любилъ ее. Любовь моя къ ней вѣроятно будетъ сильна.

25. Неожиданный и странный поворотъ мыслей Волгина очень взволновалъ меня. Съ самаго начала вечера онъ былъ задумчивъ. Но я не предвидѣлъ ничего особеннаго: что могъ сказать онъ больше, послѣ тѣхъ словъ, полныхъ довѣрія и любви? — „Съ тѣхъ поръ, какъ я распоряжаюсь журналомъ, я искалъ человѣка, съ которымъ могъ бы раздѣлить работу“ и проч.; что могъ прибавить онъ къ этому? Я полагалъ, что онъ развлеченъ чѣмъ-нибудь постороннимъ вопросу обо мнѣ. Попрежнему, самъ онъ говорилъ мало, больше заставлялъ говорить меня. Мнѣ казалось, что послѣ тѣхъ словъ: „Вижу, что вы единственный человѣкъ, который правильно судить о положеніи нашего общества“ и проч., — казалось, что послѣ этихъ словъ продолжать экзамень уже не совсѣмъ нужно, или по крайней мѣрѣ, не совсѣмъ ловко. Но если хочеть, то пусть продолжаетъ экзамень, думалъ я: онъ расположенъ ко мнѣ, я уважаю его — пусть экзаменуеть.

Такъ прошло часа четыре. Было уже за полночь. „А знаете ли, станется уже довольно поздно“, началъ онъ: „а я вотъ все еще раздумываю, какъ бы это начать, потому что вамъ покажется нѣсколько странно, а мнѣ самому кажется какъ будто даже и очень глупо, но все это пустяки, глупо ли, странно ли, это пустяки. Такъ слѣдуетъ — значить и надобно такъ“.

Онъ вѣчно дѣлаетъ оговорки о глупости, о вздорѣ, такъ что безпрестанно самъ смѣется надъ своею манерою говорить. Такъ и тутъ, онъ расхохотался, пошутилъ надъ собою, потомъ замолчалъ, опять задумался. Я видѣлъ, что онъ хочеть сказать что-то не совсѣмъ обыкновенное. Что такое? — Помолчавъ, онъ сталъ говорить; сначала, по своей манерѣ, съ нѣкоторою вялостью, но скоро проникся большимъ одушевленіемъ. Изъ того, что онъ говорилъ, многое казалось мнѣ слишкомъ мрачно, слишкомъ безнадежно; но я не долженъ забывать разницу нашихъ лѣтъ и опытности, и не забывалъ; я теперь готовъ признавать, что его взглядъ быть можетъ справедливѣе моего и кажется мнѣ слишкомъ мрачнымъ только потому, что я еще слишкомъ молодъ. А въ то время, страстность его словъ увлекала и меня къ чувству, очень сходному съ

его глубокимъ презрѣніемъ къ настоящему и къ всякой дѣятельности въ настоящемъ.

Онъ началъ съ того, что вчера и въ особенности нынѣ онъ очень много думалъ обо мнѣ; что ему очень невыгодно говорить со мною откровенно—вотъ, я вѣроятно и самъ замѣтилъ, что онъ колебался. Но у него такой нелѣпый характеръ: всегда онъ говоритъ чортъ знаетъ что, впрочемъ, это не чортъ знаетъ что, а правда, и потому я долженъ не спорить, а послушаться. Онъ лучше меня можетъ судить о томъ, какъ надобно мнѣ держать себя.

Все это было длинною цѣпью вялыхъ и нерѣшительныхъ оговорокъ; круто онъ перешелъ въ горячій и рѣзкій тонъ. Да какъ бы тамъ ни было, какъ бы я ни думалъ о себѣ, какъ бы онъ ни думалъ обо мнѣ, а все таки, я еще очень молодой человѣкъ, если не по уму и не по знаніямъ, то по чувствамъ, по надеждамъ, я еще очень молодой человѣкъ, онъ сравнительно со мною старикъ,—*старики, положимъ, глупые молодыхъ людей*, но не въ умѣ дѣло, а въ томъ, что все вздоръ, мелочь, глупость, мерзость.

Все мелочь и вздоръ. Это не такъ живо чувствуетъ юноша, еще страстный къ жизни, какъ человѣкъ, для котораго,—если брать только его личныя надобности,—уже совершенно все равно, жить или не жить; у котораго могутъ быть обязанности, но уже нѣтъ привязанности къ жизни. Потому то онъ и долженъ думать, что его мысли довольно безпристрастны. Съ этой стороны онъ, вѣроятно, имѣетъ преимущество надо мною, и его слова будутъ заслуживать моего вниманія. Эти слова: не стоитъ горячиться, потому что все мелочь и вздоръ. Конечно, онъ говоритъ про нашу общественную жизнь. Свои личныя дѣла важны и должны быть важны для каждаго. Но общественныя—мелочь.

Да. Наше общество не занимается ничѣмъ, кромѣ пустяковъ. Теперь, напримѣръ, горячится исключительно изъ-за отчужденія крѣпостнаго права. Что такое крѣпостное право?—Мелочь. Въ Америкѣ—невольничество не мелочь. Разница между правами и благосостояніемъ чернаго работника въ южныхъ штатахъ и блага работника въ сѣверныхъ—неизмѣримо велика. Сравнить невольника съ сѣвернымъ работникомъ—великая польза. У насъ не то. Многимъ ли лучше крѣпостныхъ живутъ вольные мужики? Многимъ ли выше ихъ общественное значеніе?—Такъ мало лучше, что не стоитъ и говорить о такой микроскопической разницѣ. Потому, не великъ былъ бы выигрышъ для помещичьихъ мужиковъ, если бъ и сравняли ихъ съ вольными. Но этого не будетъ, потому что это невозможно; это невозможно, потому что не думаетъ объ этомъ; оно и не воображаетъ думать, что можно понимать вопросъ въ такомъ смыслѣ и что только въ этомъ смыслѣ онъ, хоть и неваженъ сравнительно съ важными, забываемыми, но хоть самъ по себѣ, безъ сравненія съ ними, не совершенно пустъ. Исключительно занимаясь мелкимъ вопросомъ, оно понимаетъ его исключительно въ пустомъ смыслѣ. Сущность дѣла въ томъ, что за право существовать и работать мужикъ обязанъ платить частному лицу—землевладельцу—подать—натурою или деньгами—барщину или оброкъ. За право работать, потому что земля сама по себѣ не имѣетъ никакой цѣнности; сами по себѣ цѣнность имѣютъ пшеница, лошадь, овца, золото, алмазь: эти предметы сами по себѣ годятся на что нибудь. Земля сама по себѣ не имѣетъ



цѣнности; кто платитъ за землю, платитъ только за право работать. Эта подать за право работать въ помѣщичьихъ имѣньяхъ велика; почти у всѣхъ помѣщиковъ велика до большой обременительности. Вотъ серьезная сторона дѣла. Перемены въ ней не будетъ, потому что общество не думаетъ объ этомъ. Обременительная подать въ пользу частнаго лица останется. Но вмѣстѣ съ правомъ брать эту подать, помѣщикъ имѣетъ административную власть. Исключительно этимъ обстоятельствомъ и занялось общество. Помѣщики дурные судьи, помѣщики деспоты, помѣщики злодѣи. Есть и такіе помѣщики. Есть дурные люди во всякомъ сословіи. Но во всякомъ сословіи ихъ очень мало. Изъ двадцати милліоновъ людей подъ управленіемъ помѣщиковъ двѣсти тысячъ, можетъ быть, имѣютъ помѣщиками дурныхъ капризниковъ или злодѣевъ. Эти двѣсти тысячъ выиграютъ отъ уничтоженія административной власти помѣщиковъ. Остальная масса крѣпостныхъ не выиграетъ, скорѣе можно полагать, что проиграетъ. Извѣстно изъ политической экономіи, что наилучшій администраторъ тотъ, кто имѣетъ прямую личную выгоду отъ благосостоянія управляемыхъ. Помѣщикъ имѣетъ. Никакой бюрократическій начальникъ не имѣетъ. Одна сотая доля крестьянъ выиграетъ; остальной можетъ быть только проигрышъ.

— Страшно, если такъ, сказалъ я.

— Ничего особенно страшнаго, мелочь. Характеръ администраціи зависитъ главнымъ образомъ отъ общаго характера національнаго устройства. Другія вліянія ничтожны передъ этимъ. Кому выгодно быть хорошимъ, тотъ немного, очень немного лучше; кому нѣтъ выгоды быть хорошимъ, немного похуже, очень немного. Дурные администраторы очень немногимъ хуже хорошихъ своихъ товарищей по времени и мѣсту. Въ сущности, все это мелочь и вздоръ. Все вздоръ передъ общимъ характеромъ національнаго устройства. Выгоды будетъ очень мало и убытокъ не великъ, такъ поставленъ вопросъ.

Пустое дѣло. Пустое. И сколько времени наше общество будетъ забывать обо всемъ другомъ изъ-за хлопотъ объ этомъ мелкомъ дѣлѣ, понимаемомъ только въ пустѣйшемъ его смыслѣ?—Но вотъ, положимъ, дохлопотались, устроили, и навосхищались до сыта, что бывшіе крѣпостные освобождены и возблагоденствуютъ. Можно обществу приняться за чтонибудь другое. Что дальше на очереди?—Судъ присяжныхъ. Тоже важная вещь, когда находится не подъ вліяніемъ такого общаго національнаго устройства, при которомъ никакія судебныя формы не могутъ дѣйствовать много хуже суда присяжныхъ! Великая важность онъ самъ по себѣ! Былъ ли онъ въ Англіи при Тюдорахъ и Стюартахъ? Чему онъ мѣшалъ?—Существуетъ ли во Франціи при Наполеонѣ I?—Чему мѣшалъ?—Былъ ли онъ во Франціи теперь? Чему мѣшаетъ? Какія судебныя формы могутъ имѣть какуюнибудь серьезную важность, пока общій характеръ національнаго устройства не охраняетъ правду и защитниковъ ея?—Все вздоръ.

Двѣ мелочи—вотъ вся программа хлопотъ и восторговъ русскаго общества на довольно долгое время, если не случится ничего особеннаго; а ничего особеннаго пока еще не предвидится. Пустота,—безсмысліе пустоты, безсиліе безсмыслія.

Общество не хочетъ думать ни о чемъ, кромѣ пустяковъ. Общество не можетъ допустить литературы, которая была бы противна его расположенію.

Оно не может допустить, чтобы литература занималась не пустяками, когда оно хочет заниматься только пустяками. Пока настроеніе общества не измѣнится, литература обречена оставаться пустою, мелочною, презрѣнною, какъ теперь. Онъ самъ пишетъ только вздоръ и я сталъ бы писать только о пустякахъ. А между тѣмъ, мой голосъ звучалъ бы диссонансомъ въ усладительномъ концертѣ русскихъ либераловъ. Общее мнѣніе нашло бы, что я мѣшаю концерту. Оно было бы совершенно право. Я мѣшалъ бы. Прочь того, кто мѣшаетъ! Я буду чужой, ненавистный; прочь негодяя! Эта перспектива, думаетъ онъ, не страшна мнѣ: молодые люди безразсудны и воображаютъ свое безразсудство гражданскою доблестью. Оно глупость, больше ничего.

— Какую пользу принесу я, начавъ писать? Что выскажу, что разъясню? Невозможно ясно писать о томъ, что ненавистно обществу. Всякая серьезная мысль ненавистна ему. Какъ я ни бейся, какъ ни изворачивайся, я буду писать только темныя мелочи о мелочахъ. Умно ли мнѣ губить себя изъ за такого вздора? Позволяетъ ли ему совѣсть допустить, чтобы я губилъ себя изъ такого вздора?

Нѣтъ. Если бъ я былъ не такой человѣкъ, пусть бы я губилъ себя, какъ мнѣ угодно: пьянствомъ ли, картежничествомъ ли, воровствомъ ли, все равно, чѣмъ мнѣ было бъ угодно. Онъ сказалъ бы: „а чортъ съ тобою, кому ты нуженъ, пропадай, когда нравится!“ Такъ онъ сказалъ бы, все равно, и про мое желаніе бить лбомъ въ стѣну: „чортъ съ тобою, пиши, когда тебѣ угодно предпочесть пьянству этотъ путь къ погибели“. Но онъ не можетъ сказать „чортъ съ тобой, пропадай“, потому что я не такой человѣкъ, погибель котораго не была бы особенною потерей для общества, или если мнѣ угодно думать: „а чортъ съ нимъ съ обществомъ“, то онъ можетъ выразиться правильнѣе: я пригожусь народу. О народѣ я не скажу, вѣроятно, „чортъ съ нимъ и съ его надобностями“.

Прійдетъ серьезное время. Когда?—Я молодъ, потому для вопроса обо мнѣ все равно, когда оно прійдетъ: во всякомъ случаѣ оно застанетъ меня еще въ полномъ цвѣтѣ силъ, если я сберегу себя. Какъ прійдетъ? Какъ пришла маленькая передряга Крымской войны; безъ нашихъ заботъ, пусть не хлопочу: никакими хлопотами не оттянешь, не ускоришь вскрытіе Невы. Какъ прійдетъ? Мы говоримъ о времени силы,—сила только сила природы:

По воздуху вихорь свободно шумить;  
Кто знаетъ, откуда и какъ онъ летитъ.

Шансы будущаго различны. Какой изъ нихъ осуществится? Не все ли равно? Угодно мнѣ слышать его личное предположеніе о томъ, какой шансъ вѣроятнѣе другихъ? Разочарованіе общества и отъ разочарованія новое либеральничанье въ новомъ вкусѣ, по прежнему мелкое, презрѣнное, отвратительное для всякаго умнаго человѣка съ какимъ бы то ни было образомъ мыслей; для умнаго радикала такое же отвратительное, какъ для умнаго консерватора, пустое, сплетническое, трусливое, подлое и глупое, и будетъ развиваться, развиваться, все подло и трусливо, пока гдѣ нибудь въ Европѣ—вѣроятнѣе всего во Франціи,—не подымется буря и не пойдетъ по остальной Европѣ, какъ было въ 1848 году.

Въ 1830 году буря прошумѣла только по Западной Германіи; въ 1848 году, захватила Вѣну и Берлинъ. Судя по этому, надобно думать, что въ слѣдующій разъ захватить Петербургъ и Москву.

Вѣрно ли это? Вѣрнаго тутъ ничего нѣтъ; только вѣроятно. Отрадна ли такая вѣроятность? По его мнѣнію, хорошаго тутъ нѣтъ ровно ничего. Чѣмъ ровнѣе и спокойнѣе ходъ улучшеній, тѣмъ лучше. Это общій законъ природы: данное количество силы производитъ наибольшее количество движенія, когда дѣйствуетъ ровно и постоянно; дѣйствіе толчками и скачками менѣе экономно. Политическая экономія раскрыла, что эта истина точно также непреложна и въ общественной жизни. Слѣдуетъ желать, чтобы все обошлось у насъ тихо, мирно. Чѣмъ спокойнѣе, тѣмъ лучше.

Но такъ или иначе, придетъ серьезное время. Почему это несомнѣнно? Потому, что связи наши съ Европою становятся все тѣснѣе, а мы слишкомъ отстали отъ нея. Такъ или иначе, она подтянетъ насъ впередъ къ себѣ.

Придетъ серьезное время. Пойдутъ вопросы о благѣ народа. Нужно будетъ кому-нибудь говорить во имя народа. Я долженъ буду приберечь себя къ тому времени.

Какъ я ушелъ отъ Волгина, какъ я доѣхалъ сюда, какъ прошло у меня время тутъ на дачѣ, я мало помню. Я былъ какъ пьяный. Слышать отъ него, что я могу понадобиться народу, — можно было опьянѣть... Пока я оставался на глазахъ у него, я имѣлъ смыслъ скрывать, что я опьянѣлъ. Но теперь замѣчаю, что не могу отдать отчета себѣ въ томъ, что было послѣ того, какъ онъ обнялъ меня и сказалъ: „Подумайте еще, мой упрямый, мой милый, подумайте. Я не отстану, пока не уговорю васъ. До завтра“. Какъ я сходилъ съ лѣстницы, долго ли шель, гдѣ сѣлъ на извожика, тихо ли ѣхалъ, или скоро? Не помню. Какъ вошелъ сюда, помню; потомъ опять не знаю: сидѣлъ ли я все это время неподвижно или вставалъ и ходилъ? Но должно быть какъ вошелъ, бросился на стулъ и сидѣлъ все въ томъ положеніи, въ какомъ сталъ образумливаться. Какъ слаба моя голова, какъ сильно во мнѣ тщеславіе!

И долго ли я оставался помѣшаннымъ? Теперь половина восьмого. Часа два пишу. Передъ тѣмъ, какъ мнѣ писать, вѣроятно съ полчаса просидѣлъ уже не сумасшедшимъ. Когда ушелъ отъ Волгина, всходило солнце, онъ сказалъ: „Э, да ужъ солнушко всходитъ. Ну, такъ пора спать“. Оно всходитъ нынѣ часа въ три, кажется. Справлюсь.

Такъ, въ три четверти третьяго. Сталъ образумливаться въ концѣ пятаго, вѣроятно. Пароксизмъ продолжался около двухъ часовъ. Порядочно измучился этимъ волненіемъ тщеславія.

Девять часовъ утра. Такъ и не спитя. Что за мелкая душонка! И умная голова.

Но должно отдать справедливость и Волгину.

Впрочемъ, какъ ни смѣшна его странная фантазія обо мнѣ, я завидую ему. Его заблужденіе показываетъ, какъ нѣжно полюбилъ меня. Ему уже двадцать девять лѣтъ, а мнѣ еще нѣтъ и двадцати одного года, и я уже неспособенъ къ такому увлеченію. Напримѣръ, хоть мое чувство къ нему. Я тоже полюбилъ его. Но я вижу его недостатки. Онъ не вѣритъ въ народъ.

По его мнѣнію, народъ также плохъ и пошлъ, какъ общество. Понятно, почему онъ такъ думаетъ: ему не хотѣлось бы террора; онъ и старается убѣдить себя, что терроръ невозможенъ. Онъ слишкомъ холодно совѣтуетъ терпѣть. Это явная логическая ошибка: „намъ съ вами очень можно терпѣть, потому что намъ недурно“ — совершенно согласенъ, но „потому, пусть и народъ потерпитъ“. Народу не такъ легко терпѣть, какъ намъ. Люблю Волгина, но вовсе не слѣпъ на его недостатки. Это дѣлаетъ честь мнѣ, какъ наблюдателю; но плохо рекомендуетъ меня, какъ человѣка.

Не знаю, какъ мы съ нимъ взглянемъ другъ на друга безъ хохота. Трудно рѣшить, кто изъ насъ былъ смѣшнѣе: онъ ли, говорившій, что я обязанъ беречь себя для блага народа, потому что я такой человѣкъ и т. д., или я, хоть и державшій себя хладнокровно, но слушавшій такія слова и возражавшій: „вы ошибаетесь, я не такая рѣдкость и драгоцѣнность“. Позволительно ли человѣку въ здоровомъ умѣ слушать подобныя вещи? Я долженъ былъ сдѣлать видъ, что принимаю его слова за шутку, разсмѣяться и уйти, даже дать замѣтить, что нѣсколько обидѣлся, что шутка слишкомъ насмѣшлива. Конечно, такъ; это было единственное средство не остаться смѣшнымъ въ его глазахъ, когда онъ станетъ судить похладнокровнѣе.

Нѣтъ, я еще болѣе нелѣпъ, нежели онъ! Подвергнуться такому головокруженію!

Въ двѣнадцать часовъ я долженъ быть у него. Какъ то мы поговоримъ еще? Это любопытно.

Половина пятаго. Половина пятаго. Половина пятаго. Солнце сіяетъ и вся природа дышитъ счастьемъ. Я былъ счастливѣе тебя, ты, голубь, воркующій на моемъ окнѣ своей милой о любви своей.

Милая моя! Гдѣ ты? Услышь меня!.. Нѣтъ въ моемъ стонѣ жалобы на тебя! Мнѣ больно, другъ мой, но благодарю, благодарю тебя за счастье, которое ты давала мнѣ!

Половина одиннадцатаго. Больно, это правда. Гораздо больнѣе, нежели то мученіе отъ разрыва съ товарищами. Но тогда чрезвычайно соблазняла мысль о самоубійствѣ. А теперь не было ни малѣйшаго желанія отказаться отъ жизни. Чѣмъ объяснить такое равнодушіе къ собственному страданію, казалось бы мучительному до невыносимости? Неужели совершенно притупилась и та маленькая чувствительность, какая была во мнѣ прежде?

Половина двѣнадцатаго. Запишу какъ-нибудь, — я думаю, что могу написать со смысломъ и въ порядкѣ, безъ лишней поэзіи.

Почту, совершенно образумившись отъ самолюбиваго волненія, произведеннаго слишкомъ добрыми ко мнѣ словами Волгина, я съѣлъ у кровати Анюты ждаты, когда она проснется. Мнѣ казалось, что съ каждымъ днемъ больше люблю ее. Вѣроятно, это и была правда. По крайней мѣрѣ, правда то, что въ эти послѣдніе дни я сдѣлался способнѣе обыкновеннаго чувствовать живо. Мои нервы были сильно раздражены счастьемъ, что наша жизнь обезпечена: потому все больше раздражались отъ добраго расположенія, которое съ каждымъ новымъ разговоромъ сильнѣе выказывалъ мнѣ Волгинъ. Это человѣкъ, преданный народу, и я не могъ оставаться равнодушнѣе видя, что приобретаю его горячую привязанность. А эту послѣднюю ночь я провелъ буквально



въ горячкѣ и отъ нея должна была оставаться очень сильная экзальтація. Да и Анюта, проснувшись, милая, приняла меня въ свои объятія съ чрезвычайною нѣжностью. Еще никогда не ласкала она меня съ такимъ увлеченіемъ, какъ будто мое сладострастіе разожгло и въ ней жгучую, ненасытимую жажду наслажденія. У нея захватывало духъ, она стонала, чего никогда не бывало; и это было также въ первый разъ, что не она утомилась моими ласками, а я вырвался изъ ея объятій. Я принималъ за порывы и слезы расливышагося сладострастія то, что было судорожнымъ плачемъ обо мнѣ; принималъ за жажду продлить наслажденіе желаніе отсрочить разлуку.

Милая, я не могу роптать: ты жалѣла меня. Нѣтъ, нѣтъ, моя милая! ни на одинъ мигъ не овладѣвало моимъ сердцемъ горькое чувство противъ тебя. Разлука съ тобою—страданіе, но я не переставалъ благословлять минуту нашей встрѣчи, о милая моя, давшая столько блаженства мнѣ.

Рѣзь въ глазахъ. Надобно погасить свѣчу и постараться заснуть.

22. Дѣла покончены. Будущій незамѣнимый защитникъ и руководитель народа спасень, прибереженъ для блага родины.

Смѣшно и стыдно. Добрый, честный человѣкъ воображаетъ, что я повинуюсь чувству долга. Требованіе Волгина можно понимать въ такомъ смыслѣ, что оно нисколько не смѣшно. Отбросимъ преувеличеніе, которое неизбѣжно при нѣжномъ личномъ расположеніи къ человѣку, его совѣтъ можетъ заслуживать вниманія. Такъ онъ и повернулъ вчера, когда я сталъ говорить, что намъ обоимъ должно быть совѣстно. „Ну, пусть будетъ совѣстно“, отвѣчалъ онъ съ обыкновенною своею вялостью: „А все-таки, если вы хотите писать, значитъ, думаете, что можете быть полезнымъ. Потому, все равно, остается вопросъ, въ какомъ случаѣ принесете вы пользу—большую ли или маленькую—какую способны принести: рискуя погибнуть раньше, нежели будутъ нужны серьезные писатели, или повременивъ до той поры, когда они понадобятся“. Такимъ образомъ, личныя мои качества оставались въ сторонѣ, споръ переходилъ къ тому, съ чего началъ Волгинъ наканунѣ и что было тогда пропущено мною безъ возраженій: дѣйствительно ли въ русскомъ обществѣ нѣтъ серьезныхъ стремленій и даже нельзя внушить ихъ ему. Волгинъ равнодушиѣ моего смотреть на вещи; я не могъ не проигрывать въ этой борьбѣ. Кто совершенно пересталъ ждать отъ людей чего-нибудь хорошаго, легко осмѣиваетъ противника, сколько-нибудь разсчитывавашаго на ихъ разсудокъ и твердость. Но въ одномъ я былъ правѣ Волгина: никакое положеніе дѣлъ не оправдываетъ бездѣйствія; всегда можно дѣлать что-нибудь не совершенно бесполезное: всегда надобно дѣлать все, что можно. Объ это разбивались всѣ его насмѣшки надъ его собственною дѣятельностью, которая кажется ему пустою, и надъ моими стремленіями хоть къ такой же работѣ, положимъ и дѣйствительно мелкой, жалкой. „Ну, подумайте еще; я не отстану“.—„Не отставайте пока надоѣсть; я останусь при своемъ: хочу работать“.

А нынѣ пошелъ сказать ему, что принимаю его совѣтъ. Онъ сталъ говорить, что совѣсть награждаетъ меня за самоотверженіе, съ которымъ я подавляю въ себѣ и честолюбіе и юношеское нетерпѣніе. Я принужденъ былъ смиренно слушать похвалы моей гражданской доблести. Какъ я сказалъ бы ему, что дѣло вовсе не въ томъ? Каждый честный человѣкъ сталъ бы презирать

меня, узнавъ истинную причину переменъ. Совершенно упасть духомъ отъ удара, который поразилъ только личное мое счастье! Каковъ гражданинъ? Пошлое существо, потерявшее всякую силу отъ огорченія за самого себя! Безсмысленный и безчувственный автоматъ, я безъ сопротивленія падаю, куда Волгинъ толкаетъ меня. Къ чему я годился бы теперь? И не все ли равно для меня?

Илатонцевъ, разумѣется, очень обрадовался. Я сказалъ, что Волгинъ поручилъ мнѣ большую работу, которою могу я заниматься и въ деревнѣ, взявъ туда сотню, другую книгу.—Что это такое? Неужели для меня стало все равно даже и то, лгать или не лгать. Не думаю. Вѣроятно, что въ самомъ дѣлѣ противно мнѣ говорить о себѣ. Какими словами можно скорѣе отдѣлаться отъ вопросовъ, — тѣ и лучше. Надобно прибавить и то: какъ было бы сказать, почему Волгинъ, обѣщавъ работу, вздумалъ отклонять отъ нея? Слишкомъ глупо и смѣшно.

Нѣтъ, можно было сказать: „Волгинъ находитъ, что мнѣ рано становиться писателемъ“. Естественно и ясно: пусть я и неглупый человѣкъ, но еще слишкомъ молодъ. Не пришло въ голову.

И охота думать о такомъ вздорѣ, хорошо ли сказалъ Илатонцеву и нельзя ли было сказать лучше.

23. Разговоръ съ хозяйкою. — „Она поступила съ вами нехорошо“. — „Почему вы знаете, какъ она поступила со мною, и почему думаете, что это нехорошо?“ — „Она сама говоритъ. Я сейчасъ отъ нея, она просила меня къ себѣ“. — „Хорошо устроилась?“ — „Очень хорошо. Онъ купецъ. Она знавала его прежде. И прежде былъ человѣкъ постоянный, а теперь хочетъ вовсе остепениться. Даже со стороны видно, что это мѣсто прочное. Можно думать, что если будутъ дѣти, то онъ и женится на ней. Она поступила въ домъ къ нему полною хозяйкою. Какая квартира! Какіе рысаки! Кромѣ другихъ подарковъ, вещами, онъ далъ ей 2.000 рублей на первое обзаведеніе гардеробомъ. Боюсь, не обидѣлись бы вы; она дала мнѣ порученіе: она считаетъ себя въ долгу у васъ. Она считаетъ такъ: 100 рублей получила на хлопоты по своему дѣлу; 145 рублей взяла на свои покупки; въ тотъ же день еще 30: потомъ 25, и еще 25. Всего 325. Такъ ли?“ — „Она могла бы и не считать себя въ долгу у меня, потому что я уговорилъ ее бросить мужу мебель, которая принадлежала ей, а не ему, и вѣроятно стоила этихъ денегъ. Но когда она не захотѣла принять это въ расчетъ, не стану спорить. Было бы слишкомъ глупо вломиться въ амбицію. А главное, если-бъ не взять деньги, Анюта подумала бы, что я сержусь на нее.

Пошелъ на Невскій, купилъ брошку. Пошлю съ письмомъ въ день отъѣзда, чтобы не было длинной исторіи. За брошку заплатилъ 335 рублей. Жаль, что не достало денегъ на ту, другую, которая дѣйствительно красива. У меня остается 83 рубля. Вѣроятно достанетъ до полученія жалованья. Въ дорогѣ расходы только до Москвы; дальше въ экипажѣ Илатонцева и нельзя же будетъ удивлять благородствомъ, считается прогонами. А въ деревнѣ какіе расходы? Надобно не забыть условиться съ нимъ о жалованьѣ, чтобы послѣ не вышло тоже борьбы благородства.

24. Ничего особеннаго. Написалъ Ликаонскому, куда долженъ адресовать мнѣ.

25. Тоже, ровно ничего.

26. Илатонцевъ получилъ письмо отъ дочери: онѣ съ тетушкою ѣдутъ въ деревню изъ Вѣны, Дунаемъ, Чернымъ моремъ. По его расчету должны были вчера быть уже въ Одессѣ. Мы ѣдемъ завтра. Быть можетъ, найдемъ ихъ уже въ деревнѣ.

27. Письмо къ Аниутѣ вышло хорошо: не холодное, и однако же спокойное. И то хорошо, что не очень длинно: остается время проститься съ Волгинымъ, онѣ въ городѣ.

28. Москва. Стоитъ на прежнемъ мѣстѣ. Еслибы всталъ Котошихинъ и взглянулъ, сказалъ бы: „Не стало въ тебѣ лучше, родимая“. Впрочемъ, и о Петербургѣ надобно сказать: все въ городѣ такъ же просвѣщенно и гуманно, какъ при Петрѣ.

29. Ѣдемъ. Ѣдимъ и пьемъ. Говоримъ и спимъ. Впрочемъ „говоримъ“ относится только къ намъ съ Илатонцевымъ и Юренкою. Федоръ Данилычъ только глядитъ. Глядитъ и глядитъ. Что любопытнаго въ Петербургѣ? Что любопытнаго во мнѣ? Но глядитъ и глядитъ. Клянусь моею гражданскою доблестью, о которой при прощаньи—не забылъ Волгинъ отозваться съ похвалою, возьму вилку и выткну глаза этому скромному и почтенному молодому человѣку. Давно я удивлялся охотѣ Илатонцева держать идиота секретаремъ. Но это даже и не идиотъ, это восковая кукла, модель идиота.

30. Потерялъ всякое терпѣніе и сказалъ: „Вы очень красивый мужчина, Федоръ Данилычъ“. Онѣ поправилъ галстухъ, приятно улыбнулся, и опять глядитъ и глядитъ. Снова лопнуло терпѣніе: „Я не видѣлъ Штрауса, который играетъ въ Павловскомъ вокзалѣ; говорятъ, красавецъ; похожъ на васъ, Федоръ Данилычъ“. Поправилъ галстухъ, улыбнулся: „Покорно васъ благодарю, Владиміръ Алексѣвичъ, за такое мнѣніе. Но точно, есть нѣкоторое сходство“.

## І ю л ь .

1. Федоръ Данилычъ проникся безграничною дружбою ко мнѣ. Почти вовсе не глядитъ ни на Илатонцева, ни на Юренку, все на меня.

2. Федоръ Данилычъ сообщилъ мнѣ: „Я смотрѣлъ въ зеркало, Владиміръ Алексѣвичъ: немножко я загорѣлъ“. — „Не огорчайтесь, Федоръ Данилычъ: есть какое-то умыванье отъ загара; вы пошлете въ Спмбирскъ, привезутъ“. — „У меня оно взято съ собой, Владиміръ Алексѣвичъ“. — „Очень радъ, Федоръ Данилычъ“.

3. Приѣхали. Домъ въ полуверстѣ отъ села, у подошвы холма. Деревянный, одноэтажный. Съ трехъ сторонъ садъ. Верхнимъ концомъ переходитъ въ паркъ. Выше парка, по хребту простой лѣсъ. Онѣ идетъ горами до самой Волги. Прямою тропинкою это верстъ пять. По дорогѣ верстъ пятнадцать. „Почему же село построилось не на самомъ берегу Волги?“ — „Видите, какіе дуга по рѣчкѣ; да и самыя лучшія поля тутъ же, повыше. А черезъ горы до нихъ и не доѣхалъ бы“. У впаденія рѣчки въ Волгу другое село.

Нашли домъ еще пустымъ. Тетушка вѣроятно загостилась гдѣ нибудь на дорогѣ.

4. Иду по саду—смотрю Федоръ Данилычъ сидитъ на дерновой скамѣ у ручья и плачетъ, приложивши платокъ къ лицу. „Соскучился по Алинѣ Константиновнѣ, Владиміръ Алексѣичъ; вы знаете наши отношенія“.—Такъ вотъ что! Не могу теперь осудить Илатонцева. Будь я богатый помѣщикъ, будь у меня родственница фрейлина солидныхъ лѣтъ, и мнѣ пришлось бы держать именно такого секретаря.—„Вы очень любите ее, это дѣлаетъ вамъ честь, Федоръ Данилычъ. Но зачѣмъ же плакать. Понимаю ваше разочарованіе; но теперь она уже скоро прѣдетъ“.—„Можетъ быть она и разлюбила меня“.—„Полноте, какъ можно это думать!“—„Нѣтъ, Владиміръ Алексѣичъ, это можетъ быть; развѣ я не понимаю, зачѣмъ она ѣздила?“—„Стыдно и думать это, Федоръ Данилычъ, помилуйте что вы!“—„Нѣтъ, Владиміръ Алексѣичъ, я уже давно сталъ догадываться, что она дѣлаетъ въ Парижѣ!“—„Если-бъ она и искала тамъ развлеченій, Федоръ Данилычъ, то неужели вы будете такъ безчеловѣчны, чтобы не забыть этого? Будьте великодушны и любите ее безъ напрасныхъ упрековъ“.—„Я и не ревную, Владиміръ Алексѣичъ, но только можетъ быть, что она сама охладѣла ко мнѣ. Тамъ она могла узнать сколько мужчинъ, можетъ быть иныхъ и лучше“.—„Вы слишкомъ скромно думаете о себѣ, Федоръ Данилычъ. Я напротивъ увѣренъ, она убѣдилась, что всѣ тѣ господа—самые пустые люди. Ручаюсь вамъ, она возвратится съ удвоенною привязанностью къ вамъ“.—Успокоилъ и утѣшилъ чело­вѣка. Сдѣлалъ доброе дѣло.

Илатонцевъ: „А мы съ вами еще не собрались поговорить, какія условія будутъ между нами“.—„Прекрасно, давайте говорить“.—Онъ: „Столько объяснанъ—запутался бы въ этихъ акціонерныхъ шарлатанствахъ; погубилъ бы, можетъ быть, сотни тысячъ“ и т. д. По этому „довольно шекотливое положеніе“ и т. д.—„Въ началѣ нашего знакомства вы говорили о 1.000 рубляхъ жалованья, если я по окончаніи курса буду гувернеромъ Юренки. Надѣюсь, не отступитесь отъ вашего слова“.—„Тогда я еще не получалъ отъ васъ такой важной услуги“.—„Да она ничего не стоила мнѣ; кромѣ того вы поквитались, выхлопотавъ мѣсто моему пріятелю Черкасову“.—„Помилуйте. При томъ же я тогда еще мало зналъ васъ“ и т. д. Словомъ, борьба взаимнаго благородства, чего и опасался я. Стало тошно; потому: „поговоримъ лучше о другомъ. Вы ждете вашу дочь? Судя по вашимъ рассказамъ о ея воспитательницѣ, я думаю, что она дѣвушка, достойная уваженія. А нынѣ поутру я утѣшалъ Федора Данилыча; какъ же это будетъ на ея глазахъ?“

Началъ объясняться. Исторія длинная. Скучно писать. Но по совѣту Madame Lençoir, которая тогда еще жила у него, всѣмъ въ домѣ сказано, что объ невинности повѣнчаны, что бракъ надобно скрывать, потому что Алина Константиновна фрейлина. Такъ знаетъ и его дочь, еще съ той поры.

5. Ничего особеннаго. Заходилъ въ библіотеку. Дѣйствительно, хорошая. По французской литературѣ время энциклопедистовъ даже очень полная. Дѣдъ Илатонцева былъ, какъ тогда слѣдовало, Волтеріанецъ.

6. Можно ли любить женщину, которая пассивно позволяетъ любовнику ласкаться, а сама думаетъ въ это время, какое платье сшить себѣ: глассе или барежевое? Можно. Но долго ли можно?—Смотри по тому, каковъ самъ тотъ, кто любитъ; иному можно и долго и всю жизнь. Понятно стало, по-



чему не было у меня мысли о самоубійствѣ: инстинктивно чувствовалось, что боль пройдетъ.

7. Письмо къ отцу отъ Надежды Викторовны — изъ Петербурга! Мы выѣхали въ субботу, а въ понедѣльникъ тетушка привезла ее туда. Тетушка передумала: вмѣсто Вѣны, поѣхала въ Женеву, оттуда по Рейну, изъ Кельна въ Берлинъ; и вмѣсто Одессы очутился на дорогѣ Петербургъ. Какъ ни добродушенъ Илатонцевъ, но вспылить: заставивъ его больше двухъ мѣсяцевъ дожидаться дочери въ Петербургѣ, Алина Константиновна умудрилась выпроводить его оттуда, чтобы черезъ два дня проѣхать съ Надеждою Викторовною туда.

8. Мысли о женщинѣ, которая пассивно и пр., совершенно вѣрны, очень умны. Но не совсѣмъ новы. Смотри басню „Лисица и виноградъ“.

Новость то, что обращаюсь въ любителя природы. Лежу на пригоркѣ надъ домомъ, въ травѣ, въ тѣни одинокой густой липы и смотрю: направо село, прямо внизу домъ, налѣво поле. Мимо всего этого, на второмъ планѣ течетъ широкая рѣчка, извивами, по обыкновенію рѣчекъ, нравящихся чувствительнымъ сердцамъ. Черезъ нее мостикъ. Тотъ берегъ поросъ густымъ кустарникомъ. Дальше опять луга и поля, которымъ не видно конца. Чѣмъ не живописный пейзажъ? Дѣло кончится тѣмъ, что куплю палитру и тогда буду жалѣть, что не учился рисовать: деньги на палитру пропали.

9. Была ли Анята способна къ развитію? Сомнительно. Не глупа, но только на житейскія дѣла. „Ея жизнь была пошлая и пустая“. Нѣтъ, я хотѣлъ забывать, что розги могли бы оставить впечатлѣніе. А она: „поступи, Володя, служить въ полицію“. Но добрая женщина. Терпѣливо позволяла мнѣ нѣжничать, хоть это и очень надоѣдало ей, какъ понимаю теперь.

10. Илатонцевъ за шахматами: „Начали фланировать, Владиміръ Алексѣичъ. Давно бы пора давать отдыхъ себѣ, а то совсѣмъ заработались“. По этому поводу я подумалъ: не пора ли приняться писать что-нибудь? Довольно времени бездѣльничалъ. Прекрасная мысль осталась безъ исполненія. Такова судьба прекрасныхъ мыслей.

11. Въ первый разъ послѣ четырехъ лѣтъ увидѣлъ Волгу. Мое сердце ошло. Опять я былъ радостенъ и добръ, любясь на нее. Не оторвался-бы отъ нея.

Въ тихомъ раздумьѣ о ней и о прежней свѣжести чувства, чистотѣ мыслей, шелъ я домой и не замѣтилъ, какъ дошелъ до послѣдняго холма, подъ которымъ домъ. Взглянулъ на часы: къ обѣду было еще рано. Я легъ на свое любимое мѣсто, подъ тѣнью одинокой липы, и лежалъ въ нѣжномъ и вмѣстѣ идеальномъ настроеніи, въ юношески-чистомъ настроеніи.

Изъ роши налѣво и довольно далеко отъ меня вышли двѣ молодыя, — по легкости походки видно было, что молодыя, — дѣвушки, въ соломенныхъ шляпахъ съ широкими полями, одна въ голубомъ платьѣ, другая въ розовомъ. Итакъ, Илатонцева пріѣхала! Потому что нѣтъ сомнѣній, одна изъ нихъ — она. Которая же? Я знаю ея лицо, отецъ показывалъ ея портреты: если-бы разсмотрѣть профили, узналъ бы которая. Но какъ ни прищуривался и ни поправлялъ очки, не могъ разсмотрѣть: далеко. Нужды нѣтъ, все равно: угадаю. Отецъ говорилъ, она средняго роста. Она не та, которая въ розо-

вомъ: въ розовомъ надобно назвать высокою. Она та, которая въ голубомъ; непремѣнно, потому что она должна быть кроткая и нѣжная. Такъ и рисуется характеръ той, которая въ голубомъ: свѣтлый, но скромный цвѣтъ платья; тихая поступь; это она. Въ розовомъ не можетъ быть она: въ розовомъ тоже граціозна, но должна быть горда и отважна; такъ она держитъ голову и очевидно сдерживаетъ шагъ только для подруги. Кто-жь эта, въ розовомъ? Тетушка не можетъ быть, тетушка толстая, пожилая женщина. Я зналъ, что Илатонцева ѣдетъ безъ гувернантки, безъ компаньонки. Я рѣшилъ, что уже успѣла явиться гостя изъ сосѣднихъ барышень. Время на это было: Илатонцева ходила гулять, значить, наговориалась, нацѣловалась съ отцомъ и Юреньюю; это должно было занять не одинъ часъ.

Онѣ шли тропинкою наискось черезъ поле, къ воротамъ сада, все очень далеко отъ меня.

Изъ деревни плелась на перерѣзъ имъ старушка и тащила въ охапкѣ два небольшіе хлѣба; тамъ, дальше за дѣвушками,halbvo отъ меня, было нѣсколько работавшихъ. Дѣвушка въ голубомъ, дошедши до перекрестка тропинокъ, повернула навстрѣчу старушкѣ. Та, высокая и гордая въ розовомъ, пошла одна по прежнему направленію. И такъ, въ розовой я немножко ошибся: характеръ я угадалъ, одна она пошла менѣ тихо, но ошибся въ томъ, кто она. Она не гостя: съ гостей хозяйка не разсталась бы. Она тутъ своя. Кто же? Чтобъ она была тетушка, не могу и не могу допустить. Лучше пусть она будетъ горничная — Марья Дмитріевна, какъ выражается Иванъ Антонычъ, опасаясь за то, какова будетъ съ нимъ племянница и впередъ хвалясь, что она будетъ еще умнѣ прежняго; Мама, о которой какъ-то упоминалъ Илатонцевъ, что его дочь очень любитъ эту дѣвушку и эта дѣвушка искренно привязана къ Наденькѣ. Я былъ глубоко убѣжденъ, что въ исправленномъ видѣ догадка о розовой непремѣнно окажется вѣрною. Но не могъ слишкомъ сильно гордиться этимъ моимъ будущимъ торжествомъ: не совсемъ угадалъ сразу, пришлось поправлять себя. Но Илатонцеву выбралъ сразу, безъ малѣйшей ошибки. Это было очень, очень пріятно. Хорошо становится ребенкомъ, и пишу это съ доброй улыбкой.

Илатонцева пошла со старушкою, взяла у нея одинъ изъ хлѣбовъ: хоть и небольшіе, два были вѣроятно тяжелы для старушки довольно дряхлой.

Та въ розовомъ, по моему непремѣнно и несомнѣнно Марья Дмитріевна или Маша, дошедши до воротъ сада, сѣла на скамью, опустила руку къ поясу, подняла и стала держать въ уровень съ глазами, — слѣдовательно, взяла лорнетъ и стала осматривать все кругомъ. Тутъ она увидѣла и меня въ травѣ и долго всматривалась. Я похвалилъ ея глаза, что они, хоть и съ лорнетомъ, могутъ разбирать пріятность моего прекраснаго лица на такомъ разстояніи; нашелъ безчеловѣчнымъ отнять у нея это удовольствіе, показавъ, что замѣчаю; да и бесполезно было бы искать такого же удовольствія въ смотрѣніи на нее безъ лорнета за полверсты. По всему этому я предпочелъ провозжать глазами Илатонцеву со старушкою.

Онѣ дошли до одной изъ грушъ работниковъ, съ версту отъ меня. Илатонцева постояла тамъ нѣсколько минутъ, потомъ пошла домой. Я смотрѣлъ

на нее съ самымъ нѣжнымъ расположеніемъ: былъ впередъ убѣжденъ, что она понравится мнѣ не меньше, нежели общалъ отецъ.

Когда она стала приближаться къ саду, Марья Дмитріевны или Маши уже не было на скамьѣ у воротъ. Я немножко осудилъ Машу или Марью Дмитріевну: чтожь бы ей не любоваться на меня подольше?

Повернувшись послѣ того на другой бокъ, продолжалъ думать, отчасти о будущей дружбѣ съ Илатонцевою, хорошею, какъ я былъ твердо убѣжденъ, очень хорошею дѣвушкою. Славно думать такъ ни о чемъ и почти ни о чемъ, въ прохладѣ подъ тѣнью липы, на густой свѣжей травѣ. Слишкомъ юношески, но хорошо летѣло мое время, пока, почти нехотя, надобно было встать: пора идти обѣдать...

Черты Надежды Викторовны были знакомы мнѣ прежде, нежели я вошелъ и былъ представленъ ей. Я зналъ, что увижу не дивную красавицу, а только милое лицо русой русской хорошенькой дѣвушки. Но она гораздо милѣе, нежели можно было думать по портретамъ, хотъ и очень вѣрнымъ: кротость, безыскусственность, чистота выраженія истинно привлекательныя. Прибавить, впрочемъ, и то, что на осьмнадцатомъ или девятнадцатомъ году дѣвушка съ чистою душою и русыми волосами все еще хорошеветъ. Отцу было замѣтнымъ удовольствіемъ видѣть, что она произвела на меня прекрасное впечатлѣніе.

Когда сошлись потомъ за чаемъ, я опять довольно долго оставался съ нимъ и съ нею: а ушедши, продолжалъ привлекшія меня послѣ обѣда идилліи Жоржа Занда, и чуть не плакалъ отъ умиленія тихою жизнью безъ желаній. Прежде я не могъ отдавать справедливость этимъ прелестнымъ пасторалямъ. Чтобъ онѣ не казались приторными, надобно быть спокойнымъ и добрымъ.

Почему бы не быть мнѣ такимъ навсегда?—Пусть бы моя жизнь шла безъ мысли, но свѣтла, какъ нынѣ.

12. Если здѣсь есть дѣвушка хорошаго тона, это не Надежда Викторовна, это ея горничная. Надежда Викторовна просто хорошая дѣвушка. Ея манеры благородны потому, что она не знаетъ притворства, потому что мысли ея чисты, потому, что вся она—доброта, нѣжность, скромность. Ея грація—отраженіе того, что ея душа прекрасна. Но у Мери—прекрасныя манеры.

Я былъ предубѣжденъ противъ Мери. Въ этомъ виноватъ Иванъ Антонычъ. Онъ восхищался, что его племянница пріѣдетъ изъ за-границы „настоящею барышнею“. Это возбудило во мнѣ мысль, что я увижу горничную съ неудачными претензіями на великосвѣтскость. Предубѣжденіе не разошлось и послѣ того, какъ я смотрѣлъ на нее издали, съ пригорка. Правда, я принужденъ былъ сознаться, что она шла граціозно. Но это еще ничего не значило: она думала, что некому смотрѣть на нее. Правильно сложенная дѣвушка не можетъ, не умѣетъ не быть граціозна, пока не думаетъ, что смотреть на нее. Ломаются и становятся отвратительны только при свидѣтеляхъ. Я оставался убѣжденъ, что Мери превратится въ кривляку лишь только увидитъ подлѣ себя мужчину—даже и такого непривлекательнаго, какъ я. Поэтому и не интересовался искать случая взглянуть на нее поближе.

О, какъ жестоко я ошибался! Она—воплощеніе хорошаго тона. Я еще не зналъ, усвоила ли она себѣ изящество и въ разговорѣ, но по манерамъ—она истинная аристократка. Окружите ее толпою самыхъ блестящихъ моло-

дыхъ людей, она останется проста, непринужденна, спокойна въ своей справедливой увѣренности, что ей не нужно заискивать ихъ вниманія: оно принадлежитъ ей по праву.

Мы встрѣтились нынѣ поутру, въ галлерее. Я шелъ въ библіотеку, Мери несла платье Надеждѣ Викторовнѣ. Я поклонился и прошелъ молча. Замѣтно было, что я пріобрѣлъ этимъ ея благосклонность; она поняла смыслъ моего молчанія: „я вижу свѣтскую дѣвушку и долженъ помнить, что было бы дерзостью заговорить съ нею, пока не представили меня ей“.

Она блондинка съ золотистыми волосами. У нея продолговатое лицо. Оно нѣсколько худощаво. Но на щекахъ довольно густой румянецъ; а бюстъ ея безукоризненно хорошъ. Красавица она или только очаровательна изяществомъ манеръ, выразительностью фізіономіи, умѣньемъ глядѣть смѣло и вмѣстѣ скромно?—Но что за прелесть превосходно развитой лобъ. Сколько ума въ свѣтло-карихъ глазахъ!

Она очень умна, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Но чрезвычайно добра она, или необыкновенно хитра?—Утромъ нынѣ, передъ нашею встрѣчею съ ней, Иванъ Антонычъ почелъ уже возможнымъ сказать, что боялся, не будетъ ли она держать себя съ нимъ высокомерно. Въ самомъ дѣлѣ, какой же онъ дядя ей, когда она выучилась говорить по французски, какъ настоящая барышня?—Онъ не зналъ, какъ встрѣтить ее: можно ли будетъ сунуться къ ней обниматься?—А она поцѣловала у него руку: „Дядя, могла ли я забыть, что вы замѣняли мнѣ отца и мать“.—Старикъ безъ ума отъ нея: „Прежде Машенька была гордая; а теперь стала такая образованная и такая умная, что вовсе не гордится“. Онъ уже забылъ называть ее „Марья Дмитріевна“ и говорить о ней „Машенька“. Однако, я замѣчаю, что сильно расположенъ одурачивать себя въ ея пользу. „Доброта или хитрость?“—нашелъ сомнѣніе. Но пусть, въ очаровательности ея съ Иваномъ Антонычемъ есть хоть искорка и родственнаго чувства. Мери обворожительна не съ дядею только, до непобѣдимости привѣтлива и мила ко всѣмъ. Это уже чистая хитрость, безъ всякой примѣси. По словамъ Ивана Антоныча, обѣ горничныя, захваченныя изъ Петербурга Алиною Константиновною, въ восторгѣ отъ ласковости Мери; и во всей здѣшней прислугѣ, взамѣнъ расположенія завидовать и порицать, съ которыми ждали Мери, распространяется восхищеніе ея простотою и добротою. А Юренька ворвался ко мнѣ съ увѣреніемъ, что „сестрица очень хороша, а Мери еще лучше сестрицы“. Это и подтверждалось его губами, носомъ, щеками, руками, измазанными въ синее. Мери вышла смотрѣть, какъ онъ играетъ съ пріятелями, и учила ихъ играть, и посылала собирать ягоды въ кустахъ у рѣки, и заплатила, кто сколько набралъ: кому три копѣйки, кому цѣлыхъ пять, и ему четыре, и дала имъ ѣсть эти ягоды; только не все, потому что до обѣда не годится ѣсть много ягодъ, и это ея правда, и остальное спрятала на другой разъ. И всѣ говорятъ—и Вася, и Степа, и всѣ,—что нѣтъ никого на свѣтѣ лучше ея. Одно не понравилось имъ: велить утирать носы. Но въ этомъ онъ больше согласенъ съ нею, чѣмъ съ ними: почему жъ не утирать носовъ? развѣ это трудно или долго, утереть носъ?—Но ему некогда: онъ забѣжалъ на перепутьѣ, онъ бѣжитъ умыться: Она послала его: пусть умоется самъ, она посмотритъ, какъ онъ любитъ ее; если любить, самъ умоется. Хорошо. И онъ умоется прекрасно. А умыться



надобно потому, что ей нельзя играть съ чумазымъ, потому что, когда тутъ были Вася, и всё, она только учила ихъ играть, а сама сидѣла, не играла; а теперь они ушли обѣдать, и съ нимъ однимъ она станетъ играть сама. Она ждетъ его, ему некогда...

Напрасно мое пристрастіе къ ней подговариваетъ видѣть во всемъ этомъ доброе сердце. Ясно какъ день: она притворщица. Но пусть и притворщица; все-таки, я очень радъ ей. Образованная ли дѣвушка она, я еще не знаю. Но она очень умна и способна понимать все. Найду ли въ ней искренняго друга, это слишкомъ сомнительно. Но хорошо и то, когда есть человѣкъ, съ которымъ можно говорить. А когда онъ—хорошенькая и граціозная дѣвушка, говорить съ нею, какъ съ умнымъ человѣкомъ, еще милѣе отъ маленькаго влеченія къ ней, какъ женщинѣ.

Тѣмъ больше чести дѣлаетъ мнѣ терпѣливость, съ которою я ждалъ нынѣ, чтобы самъ собою пришелъ случай и устроилъ наше знакомство. Судьба, при помощи Алины Константиновны, очень дурно злоупотребила моимъ терпѣніемъ. Прямо отъ завтрака Алина Константиновна вскочила, схватила Надежду Викторовну и поѣхала по сосѣдямъ и привезла Надежду Викторовну домой только уже позднимъ вечеромъ, когда я ушелъ въ свою комнату, бесполезно проигравъ часа три въ шахматы съ Владиміромъ Алексѣевичемъ, въ ожиданіи, не пріѣдетъ ли Надежда Викторовна, не сядетъ ли подлѣ насъ, не подойдетъ ли къ ней Мери, не отрекомендуетъ ли насъ другъ другу Надежда Викторовна. Нѣтъ, завтра не пройдетъ такъ. На судьбу нечего полагаться: она и сама по себѣ не очень догадлива, а въ союзѣ съ Алиною Константиновною глупа до невыносимости. Самъ позабочусь найти случай познакомиться съ милою и умною дѣвушкою.

О, несравненная Алина Константиновна! Вчера такъ и не показывалась: устала съ дороги. Не показывался и Федоръ Данилычъ, даже къ обѣду не выходилъ. Конечно, тоже усталъ. Милая простота Алины Константиновны!— Надежда Викторовна твердо знаетъ, что тетушка и Федоръ Данилычъ повѣнчаны. Пусть были-бъ и повѣнчаны. Все-таки, торопливость и продолжительность заключенія его въ свои объятія—слишкомъ отаитская наивность въ доброй Алины Константиновны. Хорошо, что Надежда Викторовна не замѣчаетъ наивностей тетушки, потому что не думаетъ ни о чемъ отаитскомъ. Милая дѣвушка Надежда Викторовна. Дѣвушка не названіемъ только, или не тѣломъ только, но и сердцемъ и мыслями.

13. Лучше бы поменьше хвалился Иванъ Антонычъ своею племянницею.

Разрушилъ, невинный злодѣй, мою идиллію. „И какъ же, Владиміръ Алексѣевичъ, не быть у Машеньки самымъ благороднымъ манерамъ. Два года жила въ Парижѣ“.— „Въ Парижѣ? А я думалъ, Иванъ Антонычъ, она все время жила съ Надеждою Викторовною въ Провансѣ, у m-me Lenoir“.— „Нѣтъ-съ. Она скоро уѣхала отъ Шарлотты Осиповны магазинщицею въ Парижъ. Польстилась большимъ жалованьемъ. Сама еще не понимала, какъ любить Надежду Викторовну. Но вотъ видите, кончилось таки тѣмъ, что бросила все: и жалованье, и такой городъ, какъ Парижъ. Жить не могла безъ Надежды Викторовны, такъ любить ее“.— „Очень сильная любовь и прекрасная, Иванъ Антонычъ“.— „Помилуйте, Владиміръ Алексѣевичъ:

какъ же не любить ей такъ Надежду Викторовну? Надежда Викторовна стоитъ того. И опять же, все наше семейство, еще съ дѣдовъ нашихъ, было всегда облагодѣтельствовано ихъ семействомъ, и не могло не чувствовать. И Машенька воспитана въ такихъ чувствахъ“.

Она не могла не имѣть усѣха въ Парижѣ. Блондинки въ модѣ тамъ. А она, къ тому же, умна, хитра,—не говоря о томъ, что красива. Зачѣмъ же она бросила свою карьеру и сдѣлалась опять горничною? — Но это все равно для меня. Важно—и немножко непріятно—только то, что моя идиллія погибла. Будь Мери скромная дѣвушка, мы могли бы стать близки и у меня все-таки не явилось низкихъ желаній. Но вести невинную дружбу съ дѣвушкою, которая два года повѣсничала — это было бы невозможно. А уваженіе къ Надеждѣ Викторовнѣ запрещаетъ заводить интригу въ ея домѣ. Жаль, что пришлось рѣшиться не сближаться съ Мери.

Съ утра начали съѣзжаться гости. За обѣдомъ было человѣкъ тридцать. Увидѣль, что не напрасно не хотѣлъ взглянуть на нихъ раньше этой необходимой поры. Пріятное общество!—Папеньки и маменьки—сволочь. Дочки—такія противныя кривляки, что приходится отворачиваться даже отъ тѣхъ, которыя родились хорошенькими. Для полноты моего удовольствія недоставало братцевъ этимъ сестрицамъ. Братцы, къ несчастью, далеко: служатъ гусарами, уланами. Нѣкоторые—чиновниками въ Петербургѣ; эти, я думаю, лучше даже гусаровъ и, навѣрное, еще полезнѣе отечеству. Какъ пообѣдалъ, обратился въ бѣгство. Два, три семейства такъ и заночевали. Ай-да Алина Константиновна! Молодецъ! Очевидно, что кагалъ пойдетъ безъ перерыва и конца.

Для меня это хорошо: меньше развлеченій. Когда придетъ охота работать, можно будетъ вволю.

14. Я думаю, что давно не былъ такимъ пошлымъ глупцомъ, какъ въ началѣ разговора съ Мери. Умная дѣвушка живетъ въ деревнѣ, безъ подругъ, съ которыми могло бы ей быть пріятно, безо всякаго общества, которое могло бы сколько нибудь занимать ее, должна искать единственнаго развлечения себѣ въ игрѣ съ маленькимъ ребенкомъ; а между тѣмъ, все время у нея съ утра до ночи свободно, потому что заботы о туалетѣ Надежды Викторовны берутъ едва ли полчаса времени; дѣвушка принимается за книги. Повидимому, слѣдовало бы найти это очень естественнымъ. Она чувствуетъ недостаточность своего образованія, она находитъ въ домѣ большую библіотеку, хочетъ воспользоваться этимъ, чтобы немножко поучиться. Но съ чего начать? Какія книги выбрать?—Она не знаетъ. Подлѣ живетъ ученый человѣкъ. Она обращается къ нему съ просьбою: „посоветуйте“. Казалось бы, нѣтъ и въ этомъ ничего непонятнаго. Но я отличился такимъ умомъ, что долго думалъ: „что жъ это значить? О, это не просто. Буду держать ухо востро. Не проведетъ она меня своею любознательностью!“—Это пошлость, которой можно бы постыдиться и круглому дураку. А я—такъ уменъ, что теперь опять выпадаю въ сомнѣнія: „Нѣтъ, это не просто“.

Когда Иванъ Антонычъ спросилъ: „не найдется у меня свободной минуты. Машенькѣ хотѣлось бы посоветоваться со мною на счетъ книгъ“, — моимъ первымъ желаніемъ было отказать старику; такъ быстро засѣло мнѣ въ голову подозрѣніе, что книги только предлогъ. Но отказать было слишкомъ

неловко. Я отвѣчалъ добряку съ величайшею любезностью и пошелъ съ нимъ въ гости къ нему—потому что она, къ новому восторгу дяди, устроила вчера такъ, что Надежда Викторовна перевела ее изъ своего сосѣдства жить вмѣстѣ съ Иваномъ Антонычемъ. У нихъ вдвоемъ теперь три комнаты. Одну изъ нихъ Мери уже пересоздала въ нѣчто подобное крошечной гостиной съ самою простенькою мебелью — „намъ нехорошо было бы брать столъ или диванъ изъ господской мебели: слишкомъ богато и другая прислуга стала бы завидовать“, пояснялъ мнѣ вчера добрякъ, не думая утаивать и того, что эти мысли принадлежатъ Машенькѣ. Я нашелъ ее въ этой скромной гостиной за шитьемъ кисейнаго платья. Она и сама такъ же чужда лишнихъ претензій, какъ скромна ея комната, подумалось мнѣ. Я былъ твердъ въ своемъ умномъ скептицизмѣ.

Дядя, познакомивъ насъ, ушелъ въ свою коморку. Что жъ ему, не книжному человѣку, мѣшать намъ.

Мнѣ слѣдовало бы не знать уже никакой границы своимъ умнымъ подозрѣнїямъ. Хорошо бы предположить, что моя добродѣтель подвергается страшному искушенію и что истиннымъ намѣреніемъ коварной дѣвушки было не иное что, какъ именно злоумышленіе на мою привлекательную персону. Этого я не придумалъ — но только этого и недоставало, чтобы мнѣ быть совершеннымъ идиотомъ. Человѣкъ съ искрою здраваго смысла въ головѣ бросилъ бы всякое сомнѣніе въ искренности Мери по одному взгляду на эту милую дѣвушку, такъ живо обрадовавшуюся тому, что я пришелъ, такъ безыскусственно и серьезно заговорившую, что теперь она видитъ, дядя не напрасно называлъ меня человѣкомъ добрымъ и обязательнымъ, что теперь она убѣждена, ея свободное время здѣсь не пропадетъ даромъ, что ей очень хочется учиться, что теперь она знаетъ: въ эти полтора, два мѣсяца она приобрѣтетъ больше, нежели во весь годъ, потому что она уже около года стала учиться. Долго ей было вовсе не съ кѣмъ совѣтоваться. Потомъ, когда она стала жить опять у *m-me Lenoir*, *m-me Lenoir* была такъ добра, что помогала ей. Но она боялась обременить *m-me Lenoir*, а сама еще вовсе не могла читать серьезныхъ книгъ: всѣ слова не въ томъ смыслѣ, какой она знала, все непонятно, будто писано на новомъ для нея языкѣ... Но дорогою она продолжала читать и немножко привыкла. Она не будетъ много обременять меня: теперь она сама нѣсколько можетъ понимать историческія и географическія книги и по-русски и по-французски, сама какъ-нибудь приучится понимать и другія, пусть я только указываю ей, что надобно читать. Она понимаетъ, что можно прочесть тысячу книгъ и получить меньше правильныхъ понятій, нежели изъ десяти хорошихъ. Не правда ли, это такъ? Не правда ли, можно довольно скоро и легко узнать, какъ думаютъ о вещахъ просвѣщенные люди?..

Все это говорилось такъ мило, живо, съ такою искренней радостью, что умный человѣкъ по первымъ же звукамъ ея неподдѣльно одушевленнаго тона отступилъ бы отъ всѣхъ сомнѣній. А я довольно долго оставался недоувѣрчивъ. Она замѣтила это, и мнѣ казалось, что она готова была заплакать: такъ огорчило ее, что ея искренность принимается за аффектацію, что ея серьезность считается комедїанствомъ. Но она дѣвушка съ тактомъ и съ большою силою воли. Она сохранила вѣру въ себя, въ то, что съумѣетъ наконецъ раскрыть мнѣ глаза. И они уже раскрывались: я видѣлъ неподдѣльность ея



огорченія. Я сталъ говорить довольно охотно, и скоро убѣдился въ ея любознательности.

Тогда нашъ разговоръ пошелъ хорошо. Увидѣвъ меня довѣрчивымъ, она дала волю своему нетерпѣнью услышать правду обо всемъ, что волнуетъ умы, что занимало и ее, повидимому, довольно давно. Вѣрить ли въ Провидѣніе? Въ будущую жизнь? Возможно ли равенство? И какимъ же образомъ произошелъ міръ? И отчего же въ немъ порядокъ? И что такое христіанство? И почему же вездѣ бѣдность и угнетеніе?.. Я не замѣтилъ, какъ пролетѣло время до самаго обѣда, часа три, и былъ бы не прочь продолжать послѣ обѣда эту беспорядочную лекцію обо всемъ на свѣтѣ. Но или ей дѣйствительно некогда или, вѣрнѣе, она посовѣстилась отнимать у меня слишкомъ много времени, она отложила продолженіе до вечера завтра, сказавши, смѣясь, что заслужить мою похвалу тѣмъ, сколько прочтеть изъ рекомендованныхъ мною книгъ, и сколько непонятнаго найдеть въ нихъ, и сколько объясненій будетъ просить у меня.

Она хитра, у нея могутъ быть свои замыслы. Но это нисколько не относится до связи, которая устанавливается между нами. Эта связь есть и останется совершенно благородна, безкорыстна, чиста съ ея стороны. Съ моею— не знаю, но хотѣлъ бы надѣяться, что и я буду видѣть въ Мери только умнаго и любознательнаго человѣка, какъ самъ я для нея только ученый человѣкъ.

Хочу надѣяться на себя—и вижу, что хочу обманывать себя. Я человѣкъ чувственный, если и не могу сказать, что я человѣкъ безъ стыда и совѣсти. Я всныхнулъ при видѣ плечъ и груди какой-нибудь Анюты. Я настолько опытенъ, что вижу и сквозь скромно закрывающее платье: формы Мери гораздо очаровательнѣе. Но пусть бы я и не думалъ о нихъ. Ея лицо привлекательно.

Я думаю, что мнѣ предстоитъ борьба съ собою. Зачѣмъ я знаю, что Мери не была бы обольщаема мною, если бы я сталъ ухаживать за нею? Быть соблазнителемъ—это такъ омерзительно, что я не опасался бы дружбы съ нею, будь она хоть въ тысячу разъ привлекательнѣе, если бы думалъ, что она скромная дѣвушка. Но теперь—я предвижу, это сближеніе надѣляетъ много мученій мнѣ.

Пусть. По крайней мѣрѣ испытаю и то, награждаетъ ли совѣсть за отказъ отъ наслажденія, запрещаемого обязанностью не дѣлать скандала въ домѣ невинной дѣвушки. По увѣреніямъ моралистовъ, должна наградить. Забавно было-бъ, еслибъ это оказалось не враньемъ.

Но скандала не будетъ, это вѣрно. Мери не прельстится мною. Это очень успокоительно. И, къ несчастію, такъ несомнѣнно, что я не выскажу своей будущей страсти ни однимъ словомъ, не выскажу ее ни однимъ взглядомъ. Быть глупцомъ въ глубинѣ души—на это я всегда готовъ. Но выставять себя на посмѣшище другимъ—до этого я не охотникъ.

Будемъ же друзья, Мери,—и пусть я буду влюбленъ въ васъ, это не бѣда: вы не будете и догадываться.

15. „Гдѣ же будетъ наша лекція, Владиміръ Алексѣичъ? Если для васъ все равно, то лучше перенесемъ аудиторію въ вашу комнату. Я немножко



боюсь: вы потеряете любовь моего дяди, когда онъ начнетъ вслушиваться: онъ у меня консерваторъ“. И такъ, нынѣ я жду Мери въ гости къ себѣ.—Раздумывая о своемъ характерѣ, нахожу въ немъ странную черту. Я флегматикъ. Что такое значитъ быть впечатлительнымъ, этого я даже и не понимаю. А между тѣмъ, новое положеніе, новое отношеніе заставляетъ мою фантазію разыгрываться до нелѣпости. Это какъ будто нѣкоторая живость. Можно бы думать: у апатическаго человѣка не должно быть подобныхъ увлеченій. Но разбирая дѣло внимательно, вижу, что въ сущности ихъ и нѣтъ во мнѣ. Я только отдаюсь комбинаціямъ мыслей, и самъ смѣюсь надъ ихъ пустотою. Это очень ясно высказывается, напримѣръ, послѣдними строками вчерашнихъ моихъ замѣтокъ: изъ нихъ очевидно, что я тогда же чувствовалъ нелѣпость мечты о влюбленности въ Мери.

Теперь вижу, что не только не буду вздыхать безнадежною страстью къ этой милой дѣвушкѣ, но и мысль, изъ которой возникло мое напрасное опасеніе, была очень пошлымъ софизмомъ, и даже низкимъ предразсудкомъ.

„Будь она скромная дѣвушка, я не сталъ бы соблазнять ее“. Такъ. Но какое же было мнѣ дѣло до того, какъ она жила въ Парижѣ, или гдѣ бы то ни было, годъ назадъ, или когда бы то ни было, хоть бы вчера, хоть бы на моихъ глазахъ она повѣсничала, не все ли равно, мнѣ нѣтъ дѣла до этого, когда я нынѣ вижу, что она держитъ себя, какъ скромная дѣвушка? Я обязанъ уважать ее, я не смѣю не уважать ее. Такъ должна была бы говорить совѣсть. А я чрезвычайно умно и благородно разсудилъ: „когда-то она увлеклась или дурачилась; слѣдовательно, я не сдѣлалъ бы ничего безчестнаго, компрометируя ее, разстраивая ея жизнь“.

Отвратительно видѣть, что, гнушаясь подлыми предразсудками, поддаешься ихъ вліянію. Вотъ что значитъ быть безхарактернымъ.

И что значитъ быть самолюбивымъ: вмѣсто того, чтобы совѣтиться, радуешься, когда замѣчаешь, что другіе думаютъ о тебѣ лучше, нежели кажимъ ты знаешь себя. „Я приду сидѣть къ вамъ“.—А моя комната—одна въ этомъ углу дома. И такъ Мери полагаетъ, что я честный человѣкъ, съ которымъ привлекательная дѣвушка—потому что она очень хорошо знаетъ, что она привлекательна—можетъ держать себя запросто, безъ всякихъ опасеній. И не ей одной кажется такъ: кромѣ дѣйствительной безопасности, она должна была подумать и о томъ, не скажутъ ли другіе чего нибудь дурного; значитъ, не скажутъ; значитъ, всѣ въ домѣ убѣждены, что я человѣкъ честный. Приятно для самолюбія. А заслужено ли?—Не было случая сдѣлать подлость; вѣроятно только.

Но заслужено или незаслужено это доброе мнѣніе, оно глубоко тронуло меня. Всѣ мои страстныя фантазіи разлетѣлись. Волею или неволею, а нельзя же не оправдывать довѣрія, когда оказываютъ полное довѣріе. Оправдывать его поступками, словами—этого мало. Надобно также умѣть управлять своими мыслями. Только тогда можешь считать себя достойнымъ довѣрія. Я хочу имѣть право съ чистою совѣстью глядѣть въ глаза Мери.

За чѣмъ она хочетъ видѣться со мною наединѣ, вдали отъ всякаго подслушанія? Говорить объ отвлеченныхъ вопросахъ было бы все равно и въ сѣдствѣ дяди, какъ вчера. Станетъ ли онъ вслушиваться въ подобный разго-

воръ? Если бъ и вздумалъ, черезъ пять минутъ, ничего не понявши, разсудилъ бы, что гораздо лучше вздремнуть. Кокетничать со мною она не думаетъ, это видно. Я увѣренъ, она хочетъ вызвать меня на объясненіе, почему я чуждался ея. Она должна была замѣтить, что я предубѣжденъ противъ нея. Вѣроятно, воображаетъ, что ей вредитъ въ моемъ мнѣніи ея парижская жизнь. Конечно, понимаетъ, что я не могъ быть обманутъ выдумкою, которая годилась для простодушнаго дяди. Вѣроятно, она приготовила для меня сказку въ другомъ родѣ, поэтическую и трагическую: чистая благородная страсть и т. д., все прекрасно, достойно горячей симпатіи, до самаго конца. Напрасно, Мери; вамъ не понадобится ваша сказка. Когда вы убѣдитесь, что по моему мнѣнію и для женщины не безчестно ничто, не безчестное для мужчины, вы, если вамъ будетъ угодно, расскажете мнѣ правду о вашихъ парижскихъ приключеніяхъ, въ которыхъ нѣтъ ничего дурного. Теперь когда вы думаете, что я могъ бы осудить ваши невинныя шалости, я не хочу допрашивать васъ о нихъ. Я предложилъ бы вамъ совершенно иной вопросъ: по какому побужденію сдѣлались вы снова горничною Надежды Викторовны.—Ахъ, Мери, оно не было такъ благородно, какъ потребность любить, такъ невинно, какъ влеченіе молодой и энергической натуры пошалить, поповѣсничать, хоть бы немножко и слишкомъ поповѣсничать, что за безчестье? Ахъ, Мери! Дурно не то; дурно—слишкомъ разсудительно разсчитывать выгоды... Зачѣмъ вы бросили вашу веселую—вѣроятно, очень нескромную, но все таки невинную парижскую жизнь? Она не такъ выгодна, Мери, какъ служба у Надежды Викторовны. Надежда Викторовна богата; любить васъ; сколько денегъ можно получать отъ нея! сколько подарковъ, какихъ богатыхъ!.. Нѣтъ, Мери: между нами не будетъ объясненія. Вы увидите, что вамъ не нужно оправдывать передо мною вашу парижскую жизнь. А въ томъ, за что я не довѣряю вамъ, вы не могли бы оправдаться; къ чему жъ бы я сталъ спрашивать? Исправить васъ я не надѣюсь; а приводить въ стыдъ безъ надежды исправить—напрасная жестокость.

Я не ошибся въ томъ, что Мери хотѣла объясненія. Ошибся въ томъ, что думалъ; уклонюсь отъ него. Какъ несправедливъ я былъ къ Мери! Энергическая, благородная дѣвушка, она можетъ имѣть свои недостатки, но она достойна полнаго уваженія. Будь я старикъ, или будь она дурна собою, я поцѣловалъ бы ее.

Мы долго говорили о тѣхъ же вопросахъ, какъ вчера. Она слушала съ интересомъ и замѣчанія, которыя она дѣлала, обнаруживали неутомимую внимательность къ моимъ словамъ. Но съ первыхъ минутъ стало замѣтно, что она ищетъ случая повернуть разговоръ на наши личныя отношенія. Увидѣвъ справедливость своей догадки о ея желаніи объясниться, я сталъ осторожно пользоваться своими отвлеченными темами, чтобы дать ей понять, какъ ошибочны ея опасенія, что увлеченія или дурачества могутъ ронять женщину въ моемъ мнѣніи. Она превосходно понимала съ какою цѣлью я высказываю мимоходомъ свое убѣжденіе о томъ, что передъ порядочнымъ челоуѣкомъ женщина не имѣетъ надобности оправдываться ни въ чемъ такомъ, что не безчестно для мужчины.

— Я не предполагала, что вы такъ думаете, замѣтила она.

— Почему вы предполагали, что я не думаю так? Впрочемъ, все равно, почему бы ни предполагали вы это, вы видите, что ошибались.

Она промолчала и предоставила мнѣ продолжать обо всемъ на свѣтѣ, отъ равноправности женщинъ съ мужчинами до безсмертія души, которое очень приятно было бѣ ей сберець, какъ она замѣчала полусерьезно, полупутя.

Пришло время кончать мою безконечную лекцію, потому что она предупредила, что въ одиннадцать она должна уйти спать: она должна вставать рано, потому что Надежда Викторовна встаетъ тоже довольно рано. „Одиннадцать часовъ, Марья Дмитриевна. Должень увольить васъ. До завтра. Тоже, вечеромъ?“

Она сидѣла, задумавшись.

— Благодарю васъ, что вы общаетесь и завтра дать урокъ мнѣ. Вы такъ добры, что я могла бы подумать: вы хорошо расположены ко мнѣ.

— Я думаю, вы не имѣете причины сомнѣваться въ этомъ.

— Но должна была-бъ имѣть. Она замолчала и опять думала. Дѣйствительно, я не могу теперь найти, почему бы вамъ быть нерасположену ко мнѣ. А между тѣмъ, это такъ: вы нерасположены ко мнѣ, Владиміръ Алексѣичъ. За что? скажите, прошу васъ.

Я не могъ солгать, сказать, что она ошибается. Я повторилъ свое прежнее: за что же я былъ бы нерасположенъ къ вамъ, когда вы сама находите, что не должны были бы думать этого?

— Вы отговариваетесь, — сказала она съ рѣшительностью. — Я колебалась, должна ли я настаивать? Должна. Это необходимо для моего спокойствія. Я не могу убѣдить себя, что я, ошибалась, нѣтъ, я видѣла, вы дурно думаете обо мнѣ.

Она видѣла это, пусть я не спорю. Замѣтилъ ли я вчера, какъ она обрадовалась мнѣ? Почему такъ обрадовалась? Она боялась, что я не захочу исполнить ея просьбу, не приду. Вотъ доказательство того, что она очень видѣла: я сильно предубѣжденъ противъ нея. Пусть же я не спорю, не отговариваюсь. При первой нашей встрѣчѣ этого еще не было: я смотрѣлъ на нее хорошо. Но потомъ у меня явилось какое то сомнѣніе, недоувѣріе. Она видѣла это. И сказать ли? Это и было главнымъ ея побужденіемъ поскорѣе познакомиться со мною. Вѣроятно, я убѣдился теперь, что она серьезно хочетъ быть образованною женщиной, что желаніе совѣтоваться со мною о выборѣ книгъ не было пустымъ предлогомъ. Но если бы одно это, она могла подождать пока я самъ предложилъ бы ей свою помощь. Недѣля или двѣ тутъ ничего не значатъ. Я услышалъ бы, что она усердно старается образовать себя, и самъ вызвался бы помогать ей своими совѣтами, хоть бы и былъ нерасположенъ къ ней. У нея достало бы терпѣнія, или можетъ быть гордости, подождать этого. Но она не могла терпѣливо переносить того, что я дурно думаю о ней. На чемъ основано мое предубѣжденіе. Теперь она совершенно не понимаетъ, и тѣмъ сильнѣе беспокоится. О, пусть я выскажу все, чтобъ она могла вполне оправдать себя. Она умоляетъ меня объ этомъ, потому что очень дорожитъ моимъ уваженіемъ.

Она говорила съ неподдѣльнымъ жаромъ, съ глубокою тревогою. Было бы недобросовѣстно не отвѣчать ей искренно.



Прежде всего, я попрошу нисколько не думать о томъ, о чемъ я не спрошу ее. О чемъ я не буду спрашивать, то не имѣетъ никакого вліянія на мои мысли. Если мы будемъ дружны, и она въ минуты экспансивности захочетъ подѣлиться со мною какими-нибудь воспоминаніями, я буду слушать и, вѣроятно, съ симпатією. Но это надобно отложить до той поры, когда мы будемъ дружны. Теперь я прошу ее отвѣчать только на одинъ вопросъ, который выскажу совершенно прямо. Я слышалъ, что она была конторщицею или магазинщицею; получала хорошее жалованье. Не знаю, такъ это или нѣтъ; но это рѣшительно все равно для меня, для вопроса о моемъ уваженіи къ ней. Я упоминаю объ этомъ только для того, чтобы показать, на чемъ основаны мои сомнѣнія, относящіяся не къ этому времени ея жизни, совершенно безукоризненному въ моихъ глазахъ, не нуждающемуся ни въ какихъ оправданіяхъ. Я думаю и желаю спросить ее только о настоящемъ ея положеніи. Она вела независимую жизнь въ довольствѣ, вѣроятно, въ изобиліи. Зачѣмъ же она сдѣлалась опять горничною. Иванъ Антоничъ объясняетъ это ея любовью къ Надеждѣ Викторовнѣ. Я не могу принять такого объясненія. Мѣсто горничной слишкомъ низко для нея. Прошу ее...

Пока я говорилъ о ея парижской жизни, она хорошо владѣла собою; но какъ только заговорилъ я о ея поступленіи въ горничныя, она стала смущаться—такъ понималъ я волненіе, которое стало обнаруживаться лихорадочнымъ сверканіемъ ея глазъ. Я продолжалъ спокойно и даже съ нѣкоторою радостью за нее: она смущается, слѣдовательно упреки могутъ быть небезполезны. Но вдругъ она поблѣднѣла такъ, что я перепугался. Я понялъ, что былъ слишкомъ неостороженъ въ выборѣ словъ и она увидѣла въ нихъ такой оскорбительный смыслъ, какого я не замѣчалъ въ своемъ усердіи прочесть мораль о рабствѣ и любви къ выгодамъ: ей должно было показаться, что я сомнѣваюсь въ ея честности. Я ужаснулся и бросился цѣловать ея руки, умоляя успокоиться, простить меня, потому что въ моихъ мысляхъ не было ничего оскорбительнаго. Я даже становился на колѣни. Если бы кто подсмотрѣлъ, почелъ бы это за любовную сцену. Я говорилъ ей, что она дурно поняла меня, что въ моихъ мысляхъ о ней не было ничего такого, чего бы я не примѣнялъ отчасти и къ себѣ самому. Если я порицалъ ее, я вижу и въ себѣ самомъ тѣ же самые расчеты, которые приписываю ей...

— Что такое вы говорите?—сказала она, оправляясь наконецъ отъ волненія, долго мѣшавшаго ей понимать:—я не знаю, что такое вы говорите? Какіе расчеты у васъ? Какъ вы порицаете себя за то же, въ чемъ подозреваете меня?

Я видѣлъ, что ея справедливое негодованіе проходитъ и сталъ говорить со смысломъ. Я служу гувернеромъ у Илатонцева; эта должность до нѣкоторой степени унизительна. Почему я занялъ ее? Потому что она выгодна. Я не думаю, что это безчестно. Но до нѣкоторой степени это показываетъ во мнѣ человѣка, дорожащаго денежными выгодами. Гувернеръ, дядька, нянька, горничная—не все-ли равно, это прислуга. Въ моемъ и въ ея положеніи есть очень много сходнаго. Но она согласится, что служить горничною—это еще менѣе почетно, нежели служить гувернеромъ. Если женщина не нуждается въ кускѣ хлѣба, она слишкомъ расчетлива, когда становится горничною... Мери слушала, слушала и разсмѣялась.



— Довольно; совершенно прощаю вамъ то, что вы приписывали мнѣ такое корыстолюбіе, какое находите въ себѣ самомъ...

Она стала весела какъ ребенокъ и стала шутить. О, пусть я буду спокоенъ: дѣйствительно ей не должно было видѣть ничего обиднаго въ моихъ словахъ. Она не догадалась, что ей нѣтъ никакой надобности, нѣтъ никакого расчета обворовывать Надежду Викторовну, гораздо выгоднѣе довольствоваться тѣмъ, что будетъ она честнымъ образомъ выманивать у неопытной, довѣрчивой, любящей ее Надежды Викторовны. Или я не думалъ и этого? О, конечно, не думалъ: зачѣмъ выманивать? и безъ уловокъ она будетъ подучать очень много...

Это была лихорадочная веселость. Какъ будто Мери и вѣрила, и не вѣрила тому, что она была не совсѣмъ права, обидѣвшись моими словами, въ которыхъ могла быть неловкость, но уже никакъ не могло быть оскорбительнаго, потому что ничего такого не было въ моихъ мысляхъ, будто ей и думалось и не думалось, что я отбросилъ теперь свою недовѣрчивость, что нѣтъ надобности отвѣчать на мой вопросъ, о которомъ я прошу ее забыть.

— Нѣтъ, сказала она, подумавши. Въ сущности вы были бы правы, если бы дѣло состояло въ томъ, что вы знаете. Я должна оправдаться передъ вами. Иначе вы опять стали бы думать обо мнѣ дурно, какъ только прошло бы ваше сожалѣніе о томъ, что вы неосторожно довели меня до очень горькаго чувства. Я расскажу вамъ правду, хоть вы и говорите, что она уже не нужна вамъ.

Нѣтъ, она ѣхала сюда не за тѣмъ, чтобы быть горничною. Она любитъ Надежду Викторовну, если хочу, пусть я не вѣрю, но я буду видѣть и раньше или позже перестану сомнѣваться въ томъ, что она очень нѣжно любитъ Надежду Викторовну. „Быть подлѣ нея, заботиться о ней — это удовольствіе для меня. И даю вамъ честное слово, я сама не знаю, не готова ли была бы я пожертвовать очень многимъ, быть можетъ, всѣмъ — если бы такъ понадобилось для счастья Надежды Викторовны. Можете называть это чувствомъ служанки, но я не могу забыть, что мои родные и я сама, мы обязаны быть признательны къ Илатонцевымъ. А Надежда Викторовна — Боже мой, можно ли не любить ее мнѣ, которая нѣсколько лѣтъ въ самомъ дѣлѣ была ея служанкою и лучше всѣхъ знаю, какой ангельскій характеръ у нея“. Но я совершенно правъ: быть горничною — это такая вещь, на которую нельзя рѣшиться по привязанности. У нея былъ расчетъ, я правъ. Но не совсѣмъ тотъ расчетъ, какъ я предположилъ. „Вы не хотите знать подробностей о моей жизни въ Парижѣ, и я очень благодарна вамъ за это. Я понимала ваши намеки о томъ, что мнѣ нѣтъ надобности оправдываться въ моей парижской жизни, что я могу отложить рассказъ о ней до той поры, когда мнѣ самой вздумается. Скажу вамъ теперь только то, что мнѣ было бы невыгодно бросить Парижъ изъ-за расчета на жалованье и подарки отъ Надежды Викторовны. У меня былъ другой расчетъ — я хотѣла занять въ обществѣ мѣсто, какого не могла бы добиться, оставаясь въ Парижѣ. Я честолюбива, вотъ моя слабость“.

Она стала чувствовать, что хорошо владѣетъ языкомъ и манерами, какихъ требуетъ свѣтъ. Она стала думать о Юренкѣ. Юренкѣ только еще

десять лѣтъ. Она знала, что онъ растетъ на свободѣ, все еще только подъ надзоромъ няньки. Но приходитъ пора, что надобно будетъ поручить его надзору образованнаго человѣка, гувернера или гувернантки, въ десять лѣтъ это еще все равно. Конечно, отецъ подумаетъ скорѣе о гувернерѣ. Но если онъ увидитъ въ домѣ дѣвушку, которая способна быть гувернанткою, которая очень расположена къ Юренкѣ, онъ разсудитъ, что на два, на три года Юренка можетъ быть порученъ гувернанткѣ. Два, три года—о, это довольно, чтобы заслужить въ обществѣ выгодную репутацію, приобрести множество знакомыхъ... Ея будущность была бы обезпечена. Какъ? Она не знаетъ, о какой возможности она больше думала: открыть пансіонъ, выйти замужъ; но такъ или иначе, она устроила бы себѣ хорошую будущность...

Но прямо высказать свое желаніе быть гувернанткою Юренкѣ — она слишкомъ хорошо понимала, что это невозможно. Какъ привыкъ думать о ней Викторъ Львовичъ? Онъ зналъ ее въ то время, когда она едва умѣла читать и по-русски. Она оставалась въ его мнѣніи дѣвушкою, которую нелѣпо и во снѣ увидѣть гувернанткою... Кромѣ того, что могъ онъ думать и о ея правилахъ? Онъ зналъ, что она уѣзжала въ Парижъ. Это не мѣшаетъ мнѣ уважать ее, потому что она теперь видитъ, мои предубѣжденія противъ нея разсѣялись, я уважаю ее, о, она не забудетъ этого! — она пожала мнѣ руку.—Но не всѣ такъ понимаютъ вещи, какъ я... Необходимо было, чтобы прежде увидѣли, каковъ ея характеръ, каковы ея правила. Только тогда могли бы не найти нелѣпостью, не называли бы наглостью ея желаніе, чтобы поручили ей Юренку. Она должна была скрывать эту мысль.

Какимъ же образомъ могла она возвратиться къ семейству Илатонцевыхъ, чтобы увидѣли, что могутъ поручить ей Юренку? Я могу осуждать. Она прибѣгла къ хитрости. Пусть я осуждаю... Но... но... Нѣтъ, я не буду осуждать ее слишкомъ строго... О, когда она найдетъ силу разсказать мнѣ все, я не буду осуждать ее. Она не моралистка. Она не имѣетъ права быть моралисткою. Но она не вполнѣ согласна съ моимъ взглядомъ на увлеченія женщины. Онъ благороденъ. Онъ былъ бы и вѣренъ при другомъ общественномъ устройствѣ. Но при нынѣшнемъ... Нѣтъ, нѣтъ! Не дай Богъ никакой женщинѣ пользоваться правомъ свободы, которое принадлежитъ ей, какъ человѣку... о, слишкомъ много страданій...

Пріѣхавши въ Петербургъ, она узнала, что мѣсто, для котораго рѣшилась она сдѣлаться на время горничной, уже занято. Это было тяжелымъ ударомъ. Но—она переносила разочарованія, гораздо болѣе страшныя, и не падала духомъ. Вообще, ея положеніе не таково, чтобъ ей можно было унывать. У нея есть нѣсколько денегъ. Есть вещи на нѣсколько сотъ рублей. Дядя, въ случаѣ надобности, подѣлится съ нею всѣмъ, что имѣетъ, — она увѣрена; да и я вижу, вѣроятно, что онъ добрый человѣкъ. Полгода, больше, годъ, она можетъ прожить безъ нужды. А въ это время успѣетъ найти себѣ уроки въ пансіонахъ. Она хорошо говоритъ по-французски. Поучиться немножко, будетъ годиться и въ преподавательницы географіи, исторіи, — въ Парижѣ такая преподавательница показалась бы не довольно подготовленною, а въ Петербургѣ требованія не такъ высоки, не правда-ли?—О, теперь она не погибнетъ!

Пока мы живемъ въ деревнѣ, ей нѣтъ особенной непріятности быть горничною. Съ такою милою дѣвушкою, какъ Надежда Викторовна, эта должность не имѣетъ сама по себѣ ничего тяжелаго или скучнаго, не имѣетъ даже ничего унижительнаго, — я могу найти, что это чувство служанки — пусть такъ; но она не чувствуетъ себя униженной тѣмъ, что она прислуживаетъ Надеждѣ Викторовнѣ. Непріятно было-бъ остаться горничною только потому, что общество смотритъ на прислугу съ пренебреженіемъ. Но презрѣніе или уваженіе общества, которое собирается у насъ здѣсь, очень мало интересуетъ ее. Въ Петербургѣ она едва-ли встрѣтитъ кого-нибудь изъ этихъ людей. И если встрѣтитъ, они сами не очень важны тамъ. Она останется горничною пока мы живемъ въ деревнѣ: это полтора, два мѣсяца, — можно потерпѣть и должно, потому что надобно-жѣ имѣть время списаться съ madame Lenoir. Madame Lenoir знала ея планъ — до сихъ поръ одна; я второй человѣкъ, съ которымъ она говоритъ откровенно. Другимъ нельзя говорить правду; да и не нужна имъ правда...

Я пожалъ ей руку. У васъ недостатокъ, Марья Дмитріевна, и очень важный: вы немножко слишкомъ хитры. Но я ото всей души полюбилъ васъ.

— Я хитра, — какъ же была бы я не хитра, Владиміръ Алексѣвичъ? — грустно сказала она. — Я женщина; это значитъ, по вашимъ же словамъ, рабыня...

И въ самомъ дѣлѣ, возможно ли осуждать ее за то, что она немножко интриганка, что она постаралась очаровать всѣхъ здѣсь? — Ее ждали съ готовностью завидовать, осуждать, вредить. Она молода, хороша собою. Ея прошедшее даетъ прекраснѣйшій матеріалъ для сплетенъ. Кто же, кому только угодно было бы подумать о ней со злобою, не догадался бы сообразить: „На два года уѣзжала жить одна — ого! — понимаемъ-съ! Ты мерзавка, моя душенька“, — и всѣ ослы и ослицы съ восхищеніемъ и негодованіемъ ревутъ: „мерзавка!“ — и лягаются. А слава Богу, кромѣ ословъ и ослицъ, почти нѣтъ людей: тѣмъ и держится общественное благоустройство. Если бы на тысячу людей съ ослиными головами приходилось хоть по одному съ человѣческой, все погибло бы не болѣе какъ въ теченіе двадцати четырехъ часовъ.

Я сталъ говорить Мери, чтобъ она не видѣла во мнѣ препятствія своему плану. Когда она пріобрѣтетъ такую репутацію, что будутъ готовы согласиться поручить ей Юреньку, я уступлю ей свое мѣсто. Для меня оно такъ неважно и ненужно, что я долго отказывался взять его; и не взялъ бы, если бы не случилось такъ, что для меня было все равно, гдѣ бы ни провести лѣто.

Она была удивлена, тронута; но твердо сказала, что не можетъ согласиться. Какое же сравненіе между нею и мною? Замѣна была бы во вредъ Юренькѣ. Она хочетъ пользы себѣ, но не со вредомъ для другихъ. Я сталъ говорить, что Юренька не потеряетъ, а выиграетъ. Для гувернантства нужна не ученость, а терпѣливость, внимательность и т. д. Она и теперь была бы недурною гувернанткою, а въ полтора, два мѣсяца приготовится быть очень хорошею, я ручаюсь ей въ этомъ. Она будетъ гораздо больше меня заботиться о Юренькѣ; это слишкомъ вознаградитъ за то, что у нея меньше знаній, чѣмъ у меня. Мы поспорили и разстались большими друзьями, — она, прося меня не



возобновлять разговора о Юренькѣ, я, обѣщаясь не возобновлять, пока она не убѣдится, что, уступая ей мѣсто, я не приношу никакой жертвы.

Конечно, она скоро увидитъ это. Тогда согласится. Она не можетъ не понимать, что Юренька не будетъ въ проигрышѣ. Она отказывается только изъ деликатности относительно меня; это ясно.

16. „Дайте мнѣ слово, что будете говорить отъ своего имени и не впускаете меня; тогда я скажу вамъ, что надобно устроить одно хорошее—или, лучше сказать, разстроить одно глупое и скучное“.—„Даю вамъ какое вамъ угодно слово“.—„Прекрасно. Думаю ли я, что эти безвыходные гости не надѣли Надеждѣ Викторовнѣ“.—„Я не думалъ объ этомъ, Марья Дмитриевна. По веселому лицу Надежды Викторовны мнѣ казалось, что ей пріятно“.—Нѣтъ, навѣрное я ошибаюсь. Надежда Викторовна одолеваетъ свою скуку, потому что думаетъ—гости пріятны ея отцу. А онъ воображаетъ, что ей весело съ ними. Его и моя ошибка естественна: молоденькая дѣвушка, еще не бывавшая въ свѣтѣ, какъ же не было весело ей. Но Надежда Викторовна не глупа и хоть неопытна, но имѣетъ хорошія привычки и врожденное отвращеніе отъ пошлости. День, два это общество могло занимать ее; теперь навѣрное наскучило. Она очень добра, потому вѣроятно еще не дала себѣ яснаго отчета о причинахъ своей скуки съ этими людьми; ея чистому сердцу мудрено сознавать дурныхъ дурными. Но она инстинктивно тяготеетъ ими. Пусть же я намекну Виктору Львовичу, чтобъ онъ спросилъ у дочери, пріятна ли ей эта толкотня.—„Хорошо, я скажу ему, и думаю, что вы правы. Но почему вы не хотите сказать ему сама?“—„Вы забываете щекотливость моего положенія въ этомъ домѣ. Мнѣ неловко напрашиваться на вниманіе“.—Въ этомъ она совершенно права.

17. Мери была очень довольна, что ея догадка о скукѣ Надежды Викторовны оказалась вѣрною. Ободренная удачею, пустилась въ строеніе маленькихъ плановъ о томъ, какъ и чѣмъ Викторъ Львовичъ можетъ доставить удовольствіе Надеждѣ Викторовнѣ. Все это мелочи, но очень милыя, и кромѣ наблюдательности обнаруживаютъ въ Мери искреннюю заботливость о Надеждѣ Викторовнѣ. Мнѣ кажется, что особенно милъ проектъ Мери убрать одну изъ бесѣдокъ въ саду такъ, чтобъ она по возможности походила на комнату, въ которой Надежда Викторовна жила у Madame Lenoir. Главное тутъ—плющъ и виноградъ. Мери разсчитывала: въ залахъ довольно плюща; въ оранжереѣ есть всѣ другія растенія, какія нужно. Викторъ Львовичъ былъ у m-me Lenoir, долженъ помнить комнату дочери, слѣдуетъ убрать бесѣдку.

За обѣдомъ оставались только Дедушины. Вечеромъ и они убрались.

Алина Константиновна не замедлила почувствовать огорченіе, близкое къ отчаянію. Въ домѣ остались только Викторъ Львовичъ, Надежда Викторовна, Юренька, Алина Константиновна съ Федоромъ Данилычемъ, я, Мери, Иванъ Антонычъ, двѣ горничныхъ Алины Константиновны,—десять человѣкъ на такой домъ! Пустыня! Ужасно! Одно спасеніе бѣдняжкѣ: принятъ развѣзжать по сосѣдямъ. И то плохая перспектива: на пятьдесятъ верстѣ кругомъ или небогаты или скупы: гдѣ найдешь веселье, т.-е. толпу.

18. Надежда Викторовна пошла гулять; Викторъ Львовичъ, набравъ народу, сталъ устраивать изъ бесѣдки провансальскую комнату. Но увидѣвъ,



что слишком понадѣялся на свою память. Пришлось нести плющъ и все на прежнія мѣста, чтобы Надежда Викторовна не догадалась, чтобы не испортить сюрприза.—Я оставилъ своею собственностью мысль объ этомъ сюрпризѣ; Мери было неприятно, что ей пришлось помогать мнѣ въ осуществленіи „моего“ проекта. Но она понимала, что невозможно отказаться, потому и не отговаривалась. Потомъ, когда мы съ нею остались одни, видно было, что еслибъ она предполагала эту развязку, она и не стала бы говорить о провансальской комнатѣ. Немножко побранивъ меня, созналась, впрочемъ, что я не виноватъ.

19. Викторъ Львовичъ увезъ Надежду Викторовну кататься. Къ возвращенію ихъ провансальская комната была готова. Надежда Викторовна была въ восторгѣ отъ сюрприза. Въ самомъ дѣлѣ, эта комната напоминаетъ ей беззаботные годы полудѣтской жизни, полные счастья.

20. Пріѣзжалъ Дедюхинъ—звать Виктора Львовича въ гости! О, восхитительная твердость характера, свойственная только русскимъ людямъ. Иностраннымъ подлецамъ далеко до нашихъ: не имѣютъ такой непоколебимой наглости, очаровательной своею безъискусственностью. Въ Европѣ подлець выучивается быть подлецомъ: у насъ—родится.

Хорошо, что милая Надежда Викторовна не можетъ понимать этихъ мошенничествъ. Она совершенно спокойно спрашивала отца о томъ, какъ онъ провелъ время у Дедюхиныхъ. Онъ, чтобы отдѣлаться отъ разговора о нихъ, попросилъ меня сѣсть играть въ шахматы и былъ такъ разсѣянъ, что проигралъ всѣ партіи. Это немножко примирило меня съ нимъ: по крайней мѣрѣ стыдится.

21. Мери спросила, слышалъ ли я о Власовыхъ. — Нѣтъ, кто это?— Небогатые помѣщики, живутъ верстахъ въ двадцати отъ насъ; жена и мужъ; недавно повѣнчались; ей лѣтъ девятнадцать; „сколько я могу судить по слухамъ, это очень хорошіе люди, Владиміръ Алексѣичъ“. Изъ этого, конечно, слѣдовало, что я долженъ посоветовать Виктору Львовичу познакомиться съ ними, для Надежды Викторовны; „по всей вѣроятности, она и Власова понравилась бы другъ другу“. Имѣтъ толпу дрянныхъ гостей—это скучно. Но не имѣтъ хорошихъ знакомыхъ, не видѣтъ никого, кромѣ своихъ домашнихъ—это монотонно. Надежда Викторовна не соскучится съ отцомъ и братомъ, съ музыкою, книгами и прогулками. Но и добрая подруга—не лишнее для нея, милой;—„я слышала, Владиміръ Алексѣичъ, что Власова бойкая, живая, веселая, — это очень нравится мнѣ за Надежду Викторовну“. — „Въ самомъ дѣлѣ, у васъ доброе сердце, Марья Дмитріевна, и сильна привязанность къ Надеждѣ Викторовнѣ“. — „Какъ судить о моемъ сердцѣ, я иногда сама не знаю, Владиміръ Алексѣичъ“, сказала она задумчиво. „Я очень много думаю о томъ, чтобы хорошо устроить свою жизнь; но безъ необходимости не хочу дѣлать вреда никому; мнѣ гораздо пріятнѣе пріобрѣтать расположеніе людей, нежели заслуживать ихъ вражду... До сихъ поръ, кажется, я и не дѣлала зла никому... Думаю и впередъ съумѣю избѣгать этого... Въ Парижѣ, мой путь былъ очень скользокъ въ этомъ отношеніи: легкомысліе, мотовство—эти дурныя качества слишкомъ легко развиваются, когда дѣвушка пренебрегаетъ тѣмъ, что вы называете предразсудкомъ... А изъ этого возникаютъ интриги, обманы... Сорять деньгами и алчны до нихъ... Разоряютъ глупцовъ... Что

вы ни говорите о предрасудкахъ, я слишкомъ испытала, что опасно пренебрегать ими... Но я имѣла разсудокъ — или можетъ быть доброе сердце — удерживаться отъ слишкомъ дурного... Я увлекалась, потомъ дурачилась, — но я не разорила никого, и кажется не была вредна никому, кромѣ самой себя... Думаю, что теперь для меня будетъ еще меньше искушеній быть вредною кому-нибудь... Я думаю, этого еще мало, чтобы сказать обо мнѣ, что у меня доброе сердце. У кого оно доброе, у тѣхъ мало эгоизма... Вы слишкомъ расположены ко мнѣ, Владиміръ Алексѣвичъ; ахъ, если бы вы всегда сохранили ваше нынѣшнее мнѣніе... Не знаю, сохраните ли вы его. Но въ томъ, что я люблю Надежду Викторовну, вы не ошибаетесь, это я смѣло говорю по чистой совѣсти...“ — „Въ вашихъ порицаніяхъ своему характеру есть правда, Марья Дмитриевна; но все равно, я люблю васъ“. — Она засмѣялась: „Я знаю это и по совѣсти не нахожу это незаслуженнымъ; вамъ и слѣдуетъ любить меня: съ вами я очень чистосердечна“, она засмѣялась: „очень чистосердечна“. Это значить еще не совѣмъ. Но погодите, я раскрою вамъ всю свою душу, и я думаю, это будетъ довольно скоро“. — „И я думаю такъ, Марья Дмитриевна. Мы дружимся не на шутку. А кстати, о дружбѣ и чистосердечіи: убѣдились ли вы, что съ моей стороны не очень велика дружба уступать вамъ свое мѣсто при Юренькѣ? Что я былъ совершенно чистосердеченъ, говоря вамъ: пожертвованіе неважное для меня?“ — „Почти убѣдилась“. — „И будете гувернанткою Юреньки?“ — „Не отказываюсь, но и не говорю: да. Посмотримъ. Вы согласитесь, время еще терпѣть. Посмотримъ, что будетъ“. — „Это значить, вы уклоняетесь отъ разговора? Это значить, вы еще не совѣмъ увѣрены въ искренности моего расположенія?“ — „Въ искренности, совершенно; въ прочности — нѣтъ. Мы еще такъ недавно знакомы“, отвѣчала она, смѣясь, и ушла.

22. Викторъ Львовичъ поѣхалъ съ визитомъ къ Власовымъ и возвратился вмѣстѣ съ ними. Они обѣдали у насъ и уѣхали уже позднимъ вечеромъ. Дѣйствительно, очень порядочные люди. Онъ не блистательнаго ума, но не глупъ; честнаго образа мыслей. Она не красавица, вовсе не красавица. За то, проста, безъ малѣйшей мысли интересничать. Искренно любятъ другъ друга. Завтра Надежда Викторовна поѣдетъ къ нимъ.

23. Алина Константиновна объявила, что завтра ѣдетъ въ Петербургъ. Рыскала, рыскала по сосѣдямъ — всѣ прекраснѣйшіе люди, потому что у нея всѣ люди одинаково прекрасны, а все-таки не можетъ дальше выносить своего отчаянія. Нигдѣ нѣтъ столько шума и толкотни, сколько нужно ей. Федоръ Данилычъ также сталъ укладываться въ дорогу. Не предвидятъ они, какой ударъ поразитъ ихъ. Сказать имъ заранѣе, Алина Константиновна успѣла бы пролить столько слезъ, что всѣ мы промочили бы ноги, оправдываетъ свое коварное молчаніе Викторъ Львовичъ.

24. Алина Константиновна вѣжала къ Виктору Львовичу въ слезахъ: „Братецъ! Вы не отпускаете Федора Данилыча со мною! Братецъ, отпустите!“ — „Нельзя, Алина Константиновна; пусть подождетъ до послѣ завтра; всего только два дня; принесите эту жертву“. — „Это выйдетъ не два дня, братецъ, а всю дорогу врозь, это цѣлая недѣля“. — „Нельзя иначе, Алина Константиновна“. — „Почему же нельзя братецъ? Почему вы не позволяете

ему ѣхать со мною? — „Потому что вы дѣвушка, сестрица. Вы заботитесь о вашей репутаціи, никому не говорите, какъ любите Федора Данилыча, не правда ли? — „Правда, братецъ, я знаю, что надобно молчать, потому что я дѣвушка“. — „А если бы вы ѣхали вмѣстѣ съ нимъ, всё стали бы видѣть, какъ вы его любите, не правда ли? — „Правда, братецъ“. — „Теперь видите сама, что не годится вамъ ѣхать вмѣстѣ? — „Понимаю, братецъ; ну такъ и быть, поѣдемъ врозь“. — И о такой женщинѣ всё говорятъ и самъ я думалъ: „дура“ — какая несправедливость. Ахъ, если бы всё были такъ понятливы и такъ разсудительны!

25. Странно, почему я лѣнюсь. Пока не хотѣлось приниматься за работу были прекрасные резоны лѣниться: сначала все гореваль по Анятѣ; потомъ раздумываль, стоитъ ли горевать, какая тутъ охота работать, когда человѣкъ занятъ такими ужасными страданіями, размышленіями? Едва началъ постигать, что не стоитъ и раздумывать о томъ, стоило ли горевать, пріѣхали новые люди, надобно было всмотрѣться, съ кѣмъ приходится жить, въ этомъ прошло дня два, три; потомъ заинтересовала дружба Мери, и за эти дни нечего претендовать на себя, что не работалъ. Но вотъ уже съ недѣлю, отношенія мои къ Мери установились, и я не ломаю головы надъ разгадываніемъ ея характера. На сердцѣ легко, мысли не заняты ничѣмъ, можно бы работать, кажется. И работаю, но такъ вяло, что во всю эту недѣлю не написалъ столько, сколько можно бы въ одинъ день. И добро бы нравилось лѣниться; нѣтъ, скучаю тѣмъ, что лѣнюсь; а нѣтъ одушевленія работать. Скучно — сажусь писать; черезъ четверть часа — скучно писать, бросаю и ложусь или ухожу гулять, или зову Виктора Львовича играть въ шахматы. Нельзя играть въ шахматы цѣлый день, нельзя гулять цѣлый день; и лежать слишкомъ долго — бока болятъ; опять думаешь: „скучно, примусь за работу“, и опять та же исторія! Что за нелѣпая исторія? Пробоваль взглядывать на нее съ такой точки зрѣнія: „да ужъ не влюбленъ-ли я въ своего друга, Мери?“ самое хорошее объясненіе, при немъ все понятно. Но нѣтъ, какъ ни избочичаю себя, не могу найти въ себѣ ничего, кромѣ дружбы къ этой милой и благородной дѣвушкѣ: сижу съ нею, хорошо; разошлись — забылъ о ней: въ головѣ Петербургъ, журналистика, наши либералы — и Волгинъ, съ вялою насмѣшкою говорящій: „Эхъ вы! — ну какое пиво сварить съ этою сволочью?“ и возражаешь Волгину: „гдѣ же, когда же общество не было толпою сволочи? А между тѣмъ порядочные люди всегда и вездѣ работали“. — „Натурально, по глупости; всегда и вездѣ умные люди были глупы, Владиміръ Алексѣичъ: что за радость толочь воду?“ продолжалъ Волгинъ свои вялые сарказмы. „Исторія движется не тѣмъ, не мыслями и работою умныхъ людей, а глупостями дураковъ и невѣждъ. Умнымъ людямъ не для чего тутъ мѣшаться; глупо мѣшаться не въ свое дѣло, повѣрьте“. Отвѣчаешь ему и на это: „Вопросъ не въ томъ, умно-ли мѣшаться, а въ томъ, можешь-ли не мѣшаться? Умно-ли моему тѣлу дрожать отъ холода, умно-ли моей груди чувствовать стѣсеніе въ удущающемъ газѣ? — Глупо: лучше бы для меня, еслибъ иначе; но такова моя природа: дрожу отъ холода, негодую на подлость и если нечѣмъ пробить стѣну душной тюрьмы, буду биться въ нее лбомъ, — пусть она не пошатнется, такъ хоть онъ разобьется — все-таки, я въ выигрышѣ“.



Вижу вялую улыбку, вижу покачиваніе головы: „Эхъ, Владиміръ Алексѣвичъ, натурально въ этомъ смыслѣ вы говорите справедливо; но повѣрьте, не стоитъ имѣть такіа чувства“. — „Не въ томъ дѣло, стоитъ-ли имѣть, а въ томъ, что имѣешь ихъ“.

И въ такихъ размышленіяхъ проходитъ время, не безъ скуки, это правда, но и не безъ удовольствія бранишь себя за то, что проводишь время такъ бессмысленно.

26. Нечего записать, кромѣ того, что Федоръ Данилычъ уѣхалъ соединиться съ Алиною Константиновною.

27. Сидѣлъ и читалъ. Слышу, крадется, конечно Мери, некому кромѣ: въ домѣ осталось только два человѣка въ башмакахъ: она и Надежда Викторовна; съ Надеждой Викторовною мы не такъ дружны, да и характеръ у нея не такой, чтобы она вздумала шалить. Но что это вздумалось Мери? До сихъ поръ она держала себя со мною такъ же солидно, какъ я съ нею. Пусть однако удастся ей шалость, если пришла фантазія. Я притворился, будто не слышу. Она подкралась и закрыла мнѣ глаза руками. — „Не могу отгадать, кто: вы, Марья Дмитріевна, или вы, Надежда Викторовна... Вы Марья Дмитріевна?“ — Она засмѣялась. — „Знаете ли почему я закрыла вамъ глаза? Потому, что они бесполезны вамъ: вы и съ открытыми глазами слѣпой“. — „Будто?“ — „Совершенно слѣпой“. Я взялъ ея руки: „Вотъ, вамъ урокъ не быть впередъ такую безстрашной“, я поцѣловалъ миленькія, нѣжныя ручки. „Пожалуй, цѣлуйте, теперь мнѣ это не страшно“. — „А прежде, было бы страшно?“ — „Я не такъ сказала, было бы опасно“. — „Вотъ что!“ — „Не шутя“. — „Вы боялись, что если не будете гасить моихъ страстей вашею холодною, то и сама можете вспыхнуть?“ — „Не вспыхнуть, а стать не совсѣмъ холодною“. — „О, это было бы страшное несчастье!“ — „Не страшное несчастье, а лишнее, хотя и маленькое страданіе“. — „Но теперь опасность миновала!“ — „Миновала“. — „Радуюсь и поздравляю“. — „Ахъ, не радуйтесь и не поздравляйте! Въмѣсто прежней опасности, намъ грозитъ другая, гораздо болѣе вѣрная, неизбѣжная“. — „Какая же, если не слишкомъ ужасно сказать?“ — „Мы поссоримся, — или не такъ: я не разлюблю васъ, но вы разлюбите меня“. — Мнѣ показалось, будто она сказала это не совсѣмъ шутя. Что могла она думать при этомъ? Одно: я стану ухаживать за нею, она принуждена будетъ сказать, что я милъ ей, какъ другъ, но не какъ поклонникъ; я огорчусь и обижусь. Но если она думала это, зачѣмъ же она позволила себѣ ласковую шалость, которая могла бы заставить мою кровь волноваться, если бы я дѣйствительно былъ расположенъ волочиться? Развѣ для того именно, чтобы увидѣть, расположенъ ли я къ этому; чтобы видѣть, въ самомъ ли дѣлѣ ей надобно отходить подальше отъ меня? Или, быть можетъ, она подумала, что держать себя холодно со мною — это можетъ казаться мнѣ осторожностью, опасеніемъ съ ея стороны, и быть можетъ опасеніемъ съ ея стороны не за мои только чувства, но и за свой? Можно было и это вывести изъ ея же словъ; она шалить со мною, я долженъ понять изъ этого, что она совершенно равнодушна ко мнѣ.

Такъ я понялъ и сказалъ на ея, будто бы, шутливое предвѣщаніе ссоры: „Ваше дурное предсказаніе не сбудется. Я всегда буду любить васъ точно такъ же, какъ теперь“. — „Это было бы очень хорошо“, проговорила она за-



думчиво и чрезвычайно серьезно. — „Мнѣ кажется, что я понимаю ваши мысли, Марья Дмитріевна; и ручаюсь вамъ: никогда не подамъ вамъ повода къ ссорѣ“. — „Я увѣрена въ этомъ“, отвѣчала она и стала говорить о томъ, что она прочла нынѣ и что было не совсѣмъ понятно для нея въ прочтенномъ.

28. Нѣтъ сомнѣнія, что я хорошо отгадалъ смыслъ вчерашней шутки Мери. Она стала держать себя со мною опять безъ всякой шаловливости. Искренность и серьезность моего увѣренія успокоила ее за мой разсудокъ.

29. Въ эти четыре дня прошелъ, вѣроятно, больше сорока верстъ, сыгралъ безъ сомнѣнія больше сорока партій въ шахматы, прочиталъ больше сорока глупыхъ статей въ журналахъ и написалъ меньше четырехъ страницъ статьи, которая не будетъ отличаться живостью, если вся будетъ похожа на эти страницы,

30. Утро началось разсвѣтомъ; потомъ взошло солнце, я не видѣлъ этого, но думаю, что было такъ. Прощедши по небу, какъ слѣдуетъ, солнце закатилось; послѣ того стало смеркаться; послѣ того наступила ночь; это положительные факты, я былъ очевидцемъ.

31. Развязка вчерашняго ряда достопримѣчательныхъ событій—въ привычное время захотѣлось мнѣ спать; я легъ и заснулъ. Проснувшись нынѣ, увидѣлъ, что уже день и по всѣмъ примѣтамъ давно день. Послѣ того достопримѣчательныя событія повторялись во вчерашнемъ порядкѣ.—Однако же, какимъ юмористомъ становлюсь я. Тонко, умно, ѣдко. Счастлива публика, у которой будетъ такой писатель.

## А в г у с т ь .

1. Дѣйствительно, глупѣю очень успѣшно.

2. Ъздилъ съ Викторомъ Львовичемъ и Надеждой Викторовною къ Власовымъ. Власова сказала мнѣ, что не можетъ довольно нарадоваться на то, какой добрый и внимательный отецъ Викторъ Львовичъ. Это правда: со времени отъѣзда Алины Константиновны онъ почти не разстается съ дочерью. — „Я вполне уважала бы его, если бы не связь его съ Дедюхиною“. — Эта связь роняетъ его и въ моихъ глазахъ; но онъ держитъ себя лучше прежняго. Вотъ уже съ недѣлю, или больше, Дедюхина не показывается къ намъ и не присылаетъ мужа за Викторомъ Львовичемъ. — „Не можетъ быть!“ — Такъ. — „Неужели такъ?“ — Такъ. Вѣроятно, онъ запретилъ ей дѣлать скандалъ. — „О, если бы такъ! Я почти простила бы ему! Пусть Дедюхина грабитъ его—это не такая важная потеря для дѣтей, какъ то, что она своимъ нахальствомъ унижала его въ глазахъ Надежды Викторовны!“ — Вы думаете, что Надежда Викторовна понимала ея отношенія къ нему? — „Не знаю, Владиміръ Алексѣичъ; это очень трудно сказать. Наглость этой госпожи была такъ велика, что я думала, невозможно, чтобы Надина не понимала. Но кажется, нѣтъ“. — И я думаю, что Надежда Викторовна не понимала: ея мысли такъ далеки отъ всего подобнаго, что ей трудно понимать что-нибудь дурное.

3. Болтовня и дѣльные разговоры съ Мери, шахматы и прогрессивная болтовня съ Викторомъ Львовичемъ. Тутъ же перекинемся словомъ, другимъ съ прологъ.

Надеждой Викторовною,—читаешь, гуляешь,—между этих дѣльных занятій прибавишь къ начатой статьѣ два, три десятка строкъ: чѣмъ же это не жизнь, достойная человѣка?

4. Но въ самомъ дѣлѣ, странно то, что нѣтъ недостатка въ охотѣ работать, а работа идетъ вяло.

5. Получилъ записку—отъ Дедюхиной! Она проситъ меня къ себѣ! Что за притча?—Викторъ Львовичъ уѣхалъ кататься съ Надеждой Викторовною. Надобно ждать, пока пріѣдетъ—нельзя отвѣчать, не зная, въ чемъ дѣло: можетъ быть и надобно поѣхать. А гораздо менѣе непріятности было бы перепачкаться въ навозѣ. Велѣлъ сказать, что пришлю отвѣтъ послѣ обѣда, если не пріѣду самъ.

Не отказалъ ли онъ ей отъ должности?—Это одно объясняло бы ея записку: она приписывала бы разрывъ моему влиянію и разсудила бы, что надобно дать мнѣ взятку. Но нѣтъ, не вѣрится, чтобъ у него достало силы оторваться отъ этой красивой и наглой женщины.

Достало: разрывъ, полный, безвозвратный. Совѣстливость дала ему силу.

Онъ чрезвычайно совѣстливъ, это я зналъ. Но онъ удивилъ меня тѣмъ, какъ стыдился во время нашего разговора объ этомъ. Другой думалъ бы, что ему ужъ нечего стыдиться, когда онъ превозмогъ свою слабость. Кто, побѣдивъ пошлую страсть, продолжаетъ стыдиться за прошлое, тотъ принуждаетъ своею скромностью прощать ему это прошлое.

— Взгляните, Викторъ Львовичъ, и скажите, зачѣмъ я понадобился Зинаидѣ Никаноровнѣ Дедюхиной!

Онъ страшно смутился; торопливо пробѣжалъ записку, прочелъ ее въ другой разъ, медленно. Нѣсколько времени молчалъ.

— Я написалъ ей, что наши отношенія не могутъ продолжаться—вы знаете почему.

— Я очень радъ за Надежду Викторовну. Вы хорошій отецъ Викторъ Львовичъ.

Онъ опять довольно долго молчалъ.

— Хорошій, говорите вы?—Не знаю... Но я люблю Наденьку.

Послѣ того онъ сталъ говорить легче, смѣлѣе.—Дедюхина писала ему. Онъ пересталъ принимать письма. Она подсылала шпионовъ, шпионокъ, разузнавать отъ нашей прислуги о причинѣ разрыва. Вѣроятно, она узнала теперь все, что ей нужно—или убѣдилась, что не можетъ узнать уже ничего, кромѣ того, что знаетъ. Она полагаетъ, что она увидѣла невозможность занять свою прежнюю должность при немъ, но ей не хочется отказаться отъ надежды,—она зоветъ меня затѣмъ, чтобы посмотрѣть, не найдетъ ли въ моихъ словахъ чего-нибудь въ подкрѣпленіе своимъ планамъ—вѣроятно, у нея есть какіе нибудь планы...

— Проще сказать, Викторъ Львовичъ, она хочетъ подкупить меня.

— Да, да! Это такъ!—подхватилъ онъ. Она думаетъ подкупить васъ! Но прошу васъ, побъжайте къ ней: разговоръ съ вами скорѣе всего можетъ убѣдить ее, что ей надобно оставить меня въ покоѣ, что я не поддамся никакимъ ея хлопотамъ, не хочу и не могу поддаться!

Это показалось мнѣ справедливымъ. Я сказалъ, что поѣду.

Часть ночи. Благородная, великодушная дѣвушка, дѣвушка съ безтрепетною душою, но подружившаяся съ человѣкомъ, недостойнымъ ея отважной самоотверженности. Я былъ непростительно безпеченъ. Въ нашемъ домѣ всѣ знаютъ меня за честнаго человѣка; правда; не извинительно мнѣ было не думать о томъ, что не всѣ кругомъ насъ могутъ или захотятъ руководиться мнѣніемъ живущихъ съ нами. Чѣмъ благороднѣе и отважнѣе дѣвушка, тѣмъ заботливѣе должно оберегать ее отъ злословія. Я не помнилъ этой обязанности.

Она помнила о постороннихъ. Она знала, какъ думаютъ они о нашихъ отношеніяхъ. Она давно предсказала мнѣ то, что я услышалъ теперь. Когда былъ этотъ разговоръ? Еще 27 числа. — „Вы разлюбите меня, Владиміръ Алексѣичъ“. Я не понималъ тогда, я перетолковалъ тогда эти слова нелѣпнымъ образомъ. Теперь они ясны. Она не хотѣла сказать мнѣ ясное, потому что безстрашно рѣшила отдавать себя на жертву злословію, лишь бы не отнимать у меня и у себя чистаго наслажденія нашею дружбою, не отдалять меня отъ себя, пока я самъ не пойму, что долженъ отдалиться отъ нея. Она хотѣла, чтобъ я не понималъ ея тогда, но чтобы сказаны были слова, на которыя могла бы она сослаться, когда я скажу ей: „отдалимся другъ отъ друга“, — я знаю ее, я знаю, какой отвѣтъ она дастъ мнѣ; „это не новость для меня, Владиміръ Алексѣичъ; вспомните—я предсказывала, что вы услышите, если я теперь отвѣчаю вамъ, что не надобно измѣнять нашихъ отношеній, это не порывъ экзальтаціи, это давнишнее, хладнокровное мое мнѣніе. Вспомните, я говорила тогда: „вы разлюбите меня, а я не разлюблю васъ“. — Вы разлюбите меня — это значитъ: вы захотите отдалиться отъ меня. А я не разлюблю васъ—это значило тогда и теперь значитъ: я не считаю нужнымъ, чтобы отдалились отъ меня. Останемся близки попрежнему“. Я знаю, она скажетъ мнѣ это. Добрая, нѣжная, безстрашная! Какъ я люблю ее за это!

И когда она увидѣла, что пришло мнѣ время услышать, какъ думаютъ о насъ, и рѣшить, что я долженъ отдалиться отъ нея, съ какимъ безграничнымъ довѣріемъ она хотѣла показать мнѣ всю нѣжность своей дружбы! Съ какимъ великодушіемъ она рѣшилась приласкать меня на прощанье, чтобы обратить прощанье въ залогъ продолженія нашей близости, чтобы силою ласки крѣпче прежняго приковать насъ другъ къ другу, чтобъ у меня не достало воли оторваться отъ нея!

Но нѣтъ, мы простились—не съ нашимъ чувствомъ: съ нимъ намъ нѣтъ надобности прощаться, но съ нашими прежними отношеніями.

Иванъ Антонычъ вошелъ ко мнѣ сказать, что лошади готовы; я взялъ фуражку; вошла Мери.

— Я хочу сказать вамъ нѣсколько словъ, Владиміръ Алексѣичъ. Дядя, вы увидите: это секретъ.

— Охъ, ты, шутница, секретница!—сказалъ добрякъ, лукаво покачавъ головою, и ушелъ, довольный тѣмъ, что и онъ умѣетъ подшутить. Но я видѣлъ, что она печальна.

— Вы говорили поутру, что не хотите ѣхать къ Дедюхиной, а теперь, дядя сказалъ мнѣ, вы ѣдете къ ней?

— Да, Марья Дмитріевна: а не хотѣлось бы.

— Не хотѣлось бы и мнѣ, чтобъ вы ѣхали,—грустно, грустно мнѣ. Владиміръ Алексѣвичъ... Но раньше или позже, вы должны были узнать то, чтѣ услышите отъ нея... Помните, я будто шуткою сказала вамъ, что боюсь, вы разлюбите меня? Это время пришло, вы вернетесь уже разлюбивши меня. Но я хочу,—она взяла меня за руку, улыбаясь грустно:—я хочу, чтобы вы узнали прежде, какъ нѣжна моя привязанность къ вамъ, какъ опечалить меня, когда вы разлюбите меня, и можетъ быть это отниметъ у васъ силу разлюбить меня,—ея голосъ перерывался,—я обниму васъ на прощанье, мой добрый другъ, и пусть оно не будетъ прощаньемъ!—Она тихо обняла и поцѣловала. Но обнимите жъ и вы меня, пока я еще такъ же мила вамъ, какъ вы мнѣ.

Ея слезы катились по моимъ щекамъ; и я плакалъ: такъ печальна была ея нѣжная ласка.

— Марья Дмитріевна, вы напрасно огорчаете меня вашимъ сомнѣніемъ: я знаю васъ, я не могу услышать ничего, чтѣ имѣло бы силу измѣнить мое чувство къ вамъ, все равно, что ни услышалъ бы я, я буду попрежнему уважать и любить васъ.

— Хорошо,—сказала она съ грустною шутливостью.—Вы дали мнѣ слово, что не разлюбите меня—я спокойна и отпускаю васъ. Идите, я провою васъ.

Я шелъ по комнатамъ, сошелъ—уже одинъ—съ крыльца, сѣлъ въ экипажъ, все какъ будто въ просонкахъ; она стояла на крыльцѣ, провожала меня глазами, пока экипажъ повернулъ за уголъ сада... и я все смотрѣлъ на нее и во мнѣ было такое чувство, будто я уѣзжаю отъ нея далеко, надолго...

Мыслей сначала не было: тяжелая, смутная грусть подавляла, туманила ихъ. Она смѣнилась досадою на Мери, когда я очнулся: еще досаднѣе было мнѣ на самого себя. Какъ не совѣстно ей послѣ столькихъ разговоровъ со мною все еще опасаться, что какое-нибудь злословіе о какомъ нибудь—можетъ быть и очень легкомысленномъ или нескромномъ ея приключеніи въ Парижѣ—можетъ ослабить мое уваженіе къ ней? И какъ неделикатно и глупо я сдѣлалъ, что, расчувствовавшись, серьезно возражалъ, вмѣсто того, чтобы строго сказать: „Вамъ стыдно такъ думать обо мнѣ, а мнѣ обидно, что вы такъ думаете обо мнѣ“. Выговоръ былъ бы гораздо умнѣ патетическаго возраженія.

Но если я поступилъ глупо, давъ разыгаться этому патетическому прощанію, то опасеніе Мери было очень естественно: очень легко говорить „и выше предразсѣдковъ и ничто не безчестное для мужчинъ не можетъ уронить въ мое мнѣніи женщину“,—предразсѣдокъ очень силенъ и нельзя мнѣ сердиться на Мери за то, что она еще не совершенно убѣждена въ моей неподвластности ему. Викторъ Львовичъ долженъ знать, что Мери была авантюристой—онъ могъ проговориться—невѣроятно, чтобъ онъ не проговорился Дедюхиной; Дедюхина будетъ озлоблена, будетъ язвить всѣхъ въ нашемъ домѣ, всѣхъ до послѣдняго поваренка, и Мери будетъ подвергиваться на языкъ ей, и на кого же не производитъ впечатлѣнія искусная клевета, основанная на правдѣ, которая сама по себѣ уже не очень выгодна? Я не могъ долго сердиться на Мери за ея опасеніе и сцена нашего прощанія снова стала очаровывать меня. Какъ мила, какъ нѣжна наша дружба съ Мери... Какъ мы оба плакали...



Если бы кто подсмотрѣлъ, какъ мы обнялись и плакали, подумалъ бы, что это любовная сцена.

Какъ блеснула у меня эта мысль, она освѣтила все. Вотъ о чемъ говорила Мери. Такъ, наша дружба должна казаться любовною связью глазамъ всѣхъ, не знающихъ насъ хорошо, или желающихъ думать или сказать что нибудь во вредъ намъ. Безпечный, непростительно безпечный, я не хотѣлъ понимать этого! Я воображалъ, что Мери опасается, не уменьшится ли мое расположеніе и уваженіе къ ней отъ злословія о ея парижской вѣтренности, а она думала о томъ, что я отдалюсь отъ нея, когда услышу, что папа короткость подастъ поводъ къ злословію...

Это опасеніе вѣрное—оно оправдается...

Я сталъ жалѣть о томъ, что долженъ держать себя далеко отъ Мери; сталъ злиться на предразсудки, пошлость, подлость людей, которые не способны понимать ничего сколько-нибудь честнаго, и благодаря неистощимости этой темы для размышленій не замѣтилъ, какъ доѣхалъ до резиденціи госпожи Дедюхиной.

Черезъ дворъ отъ дома къ службамъ бѣжала баба съ вѣникомъ подъ мышкою, она догоняла мужчину въ халатѣ. Мужчина оглянулся на стукъ экипажа и оказался г. Дедюхинымъ. Впрочемъ, пора спать.

6. Окончаніе вчерашняго. „Владиміръ Алексѣичъ, вы? Жена заждалась васъ“, крикнулъ Дедюхинъ и повернулъ къ моему экипажу. Кучеръ остановился. „Меня вы извините, иду въ баню“, кричалъ Дедюхинъ, и увидѣвши бабу съ вѣникомъ, объяснился съ нею, на походъ ко мнѣ: „А Настя?“— „Нейдегъ, Петръ Кириллычъ“, отвѣчала баба. „Ахъ, она бестія“, воскликнулъ баринъ: „Что жъ она нейдегъ? Что жъ она говорить?“— „Не хочу, говорить; некогда, говорить“, отвѣчала баба.— „Бестія! совсѣмъ отъ рукъ отбилась“, съ негодованіемъ произнесъ баринъ и, укрощаясь отъ гнѣва, промолвилъ бабѣ: „Ну, иди себѣ, а я вотъ минутку поговорю съ гостемъ“.— „Мое почтеніе, Викторъ Алексѣичъ“, возобновилъ онъ разговоръ со мною, подходя къ экипажу и облокачиваясь: „Вы къ женѣ, а не ко мнѣ собственно, такъ, можетъ быть, извините меня, что пойду, помоюсь“.— „Сдѣлайте одолженіе, не стѣсняйтесь“.— „А, каково мое положеніе въ домѣ?“ началъ онъ, снова проникаясь негодованіемъ: „это называется баринъ, это называется мужъ! Просто, стыдъ! Слышали, какъ уважаются мои приказанія? И кѣмъ же? Моею любовницею! Она любовница моя! Хороша любовница! Въ недѣлю дай Богъ разъ залучить ее къ себѣ! Некогда—вотъ тебѣ и весь сказъ! И не смѣю ничего сдѣлать съ нею! Попробуй ударить—по щекамъ отхлещетъ, шельма—это барина-то! и взыску съ нея не будетъ!— „Некогда“, — „не хочу“, — слышали самъ, не я выдумалъ. Да она еще не то сказала, я знаю. Только ужъ бабѣ то было стыдно передавать мнѣ, барину, такія слова при постороннемъ гостѣ! Я знаю, что она сказала. „Мыть-то его пойду? Много чести. Я не Сашка или не Дунька какая-нибудь, чтобы мнѣ его мыть. Пусть-ко онъ меня моетъ—ну, такъ пойду“. Вотъ видите, и принужденъ переколачиваться кѣмъ Богъ дастъ!—Сашенька, душенька, иди въ баню-то, пожалуйста! А?“—закричалъ онъ дѣвушкѣ въ старенькомъ, дрянномъ ситцевомъ платьѣ, показавшейся на крыльцѣ. „Видите, иду, Петръ Кириллычъ“, отвѣчала дѣвушка,

сходя съ крыльца, и направилась къ банѣ.— „Ну, и прекрасно. А то некому-бъ и помытъ“.— „Но та женщина, съ вѣникомъ уже тамъ,—было бы кому помытъ и безъ этой“, замѣтилъ я.— „Нѣтъ, та только парить,—а мастерица!—а мытъ не годится: женщина немолодая. Ну, пойдемъ съ тобою, душенька моя, Сашенька. Прошу извиненія, Владиміръ Алексѣвичъ, что задержалъ васъ. Да, но что же, скажите сами, Владиміръ Алексѣвичъ: хорошо это со стороны Виктора Львовича: прислалъ Зинаидѣ Никаноровнѣ въ утѣшеніе 500 рублей! Откровенно скажу вамъ, не ожидалъ я отъ него такого скряжничества. Положимъ, если не хочешь жить съ жепщиною, не живи—въ этомъ человѣкъ волеень, допускаю; но и награди же ее, какъ слѣдуетъ—не правда ли?“— „Васъ тамъ ждуть въ банѣ“, отвѣчалъ я.— „Конечно, для васъ такой разговоръ непріятенъ, потому что вы съ его стороны,—прошу извиненія, что не могъ смолчать. Но увѣренъ, вы сами въ душѣ согласны со мною: неблагородно; 500 рублей—неблагородно!“— „Я не знаю этихъ подробностей. но не думалъ, что онъ прислалъ только 500 рублей,—вы какъ это знаете?“— „Ахъ, я дуракъ! Не пришло мнѣ это въ голову!“ воскликнулъ онъ: „Письмо-то его не показано! Обманула, шельма! Ну, да что возьмешь, хоть и раскрыли вы мнѣ глаза? Видите мое положеніе: Настька и та меня въ грошъ не ставитъ! А почему? Все черезъ то же самое! Повѣрите ли: какіе нибудь 25 рублей недѣлю у жены вымаливаю! Что же Настькѣ-то за радость, и то надобно сказать: говори на-волка, говори и по-волку. Не Настька тутъ виновата, жена!“— „Впрочемъ, вы напрасно такъ убиваетесь: вотъ эта дѣвушка шла съ удовольствіемъ, что же вамъ горевать?“— „Разница большая, Владиміръ Алексѣвичъ; Настя и собою-то не чета этимъ, да и разбитная же, бестія, если захочетъ сдѣлать удовольствіе: о, умѣетъ привлечь къ себѣ! Дупка, одно слово! По моему откровенно вамъ скажу: не хуже самой Зинаиды Никаноровны,—потому что, откровенно скажу вамъ, не всегда же по-напрасну назывался мужемъ, знаю и Зинаиду Никаноровну, но вотъ вамъ, какъ передъ Богомъ: Настя даже гораздо пріятнѣе“.— „Идите же, тамъ ждуть васъ“.— „Точно, заговорился; прошу извиненія, Владиміръ Алексѣвичъ“.

Онъ пошелъ въ баню, я подѣхалъ къ дому.

Въ передней дремалъ слуга. Изъ зала слышался молодой и бойкій женскій голосъ: „Я сказала вамъ, три цѣлковыхъ, меньше ни за что не возьму: цѣну ронять. Съ васъ возьми два, другой скажетъ: вонъ, вы и по два берете. Да берите Сашу: она и цѣлковому будетъ рада“.— Снаружи мужчина отвѣчалъ: „Что мнѣ Саша! Саша мнѣ не въ диковинку. Я прошу вашей любви. Извольте, три цѣлковыхъ, что съ вами дѣлать! Когда же вы выйдете?“— Войдя въ залъ, я увидѣлъ женскую фигуру въ коротенькомъ шелковомъ зеленомъ платицѣ: она высунулась въ окно и, уравнившись на немъ, болтала въ воздухъ ножками въ красныхъ туфелькахъ съ золотыми блестками, въ тонкихъ и чистыхъ узорныхъ чулкахъ; бѣлымъ полнымъ икрамъ, маленькимъ ножкамъ было свободно болтаться, платье не запутывалось въ нихъ, не мѣшало: зеленая шелковая юбочка была такая коротенькая, что золотой позументъ, шедшій по подолу, едва падалъ до подколънокъ и въ своихъ легкихъ колебаніяхъ давалъ мелькать полоскамъ тѣла повыше чулокъ. Спенсеръ, очень низко сръзанный, съ рукавичками въ вершокъ длиною, давалъ волю любо-

ваться милою верхнею частью спины, круглыми плечиками, прекрасными ручками, ладони которых опирались на подоконникъ, помогая балансу тѣла, локти приподнялись; даже и на локтяхъ кожа была гладка и нѣжна. Я пошелъ къ этой не очень скромной, но милой фигурѣ. Она, услышавъ шаги, заговорила къ подходившему, не обарачиваясь и продолжая болтать ножками, „Хорошо, Федя? Это я плаваю“.—„Очень хорошо“, сказала я.—„Ахъ, чужой“, вскрикнула, вскакивая отъ окна и повертываясь на лету лицомъ ко мнѣ. Передо мною стояла прехорошенькая дѣвушка лѣтъ семнадцати, похлопывая ножкой о ножку, засунувъ руки въ обшитыя галуномъ карманчики своего платица балетной швейцарской пастушки, расшитого по переду спенсера множествомъ золотыхъ шнурковъ и безчисленными блестящими,—нисколько не сконфуженная, напротивъ, какъ нельзя болѣе веселая и улыбающаяся съ самою дерзкою привѣтливостью, наполовину наглая торговка собою, дерзкая до безстыдства, рѣдкаго и между уличными дѣвушками, наполовину наивный и невинный ребенокъ, не по росту и тѣлу ребенокъ: она была высокая, съ формами, развитыми какъ въ двадцать лѣтъ,—но по дѣтски-любопытному и беспечному взгляду, по простодушію своей наглости, будто совершенно чуждой мысли о неприличіи.—„Чужой, чужой!“ весело повторяла она, а сама била ножкой о ножку, точно подмывало ее схватить меня и пуститься въ плясъ.

„Чужой, чужой! Да кто же вы? Должно быть, Владиміръ Алексѣичъ Левицкій, котораго ждала, ждала и ждать перестала Зинаида Никаноровна?“—

„Да, я Левицкій а вы Настя?“—„А вы почему знаете?“—„Да я все знаю, знаю съ кѣмъ вы уславливались—съ Ефимовымъ, писаремъ станowego“.—

„Ахъ, врете!—она повернулась на одной ножкѣ:—вовсе я не уславливалась съ нимъ, а только хотѣла посмѣяться“.—

„И надо мною тоже только посмѣтесь, или нѣтъ?“—

„Ахъ, какъ вы врете!“—она подняла руки къ груди и, подбрасывая ими длинный борокъ крупныхъ янтарей, на которомъ висѣлъ золотой крестикъ, дѣлала полуобороты то на той, то на другой ножкѣ, покачиваясь корпусомъ съ боку на бокъ: „Ахъ, какъ врете! Ахъ, какъ врете!“—

„Почему жъ я вру? Будто вы не знаете, какая вы хорошенькая!“—

„Все таки врете: у васъ есть и безъ меня“.—

„Вотъ какъ! Я ждалъ услышать это отъ Зинаиды Никаноровны,—услышалъ еще не добравшись до нея самой—тѣмъ лучше, что Настя, на мое счастье, такая хорошенькая! Можно и приятно идти въ опроверженіе слетни и на такіе аргументы, о какихъ я не думалъ. Впрочемъ, и безо всякой нравственной цѣли я соблазнился бы, я думаю, милою куколкою: человекъ становится очень слабъ, когда мѣсяца полтора пропустить безъ подкрѣпленія себя въ добродѣтели прикосновеніемъ къ пороку. Я смотрѣлъ на швейцарскую пастушку какъ голодный волкъ: „У меня есть и безъ васъ! Кто же это есть у меня“.—

„А француженка-то“.—

„А, француженка-то! Француженка-то у меня есть, да не такая какъ вы,—сама-то она ничего бы, да лапищи больно грязны, носъ утираетъ рукавомъ“.—

„Это кто же?“ спросила Настя, вытаращивъ сѣрые глазенки.

„Да, вотъ какже! скажу вамъ, чтобы вы посмѣялись надо мною, увидѣвши ее! Да что же мнѣ было дѣлать - то, — всѣ онѣ такія, чумазыя“.—

„Да она, значитъ, простая муличка?“—

„А вы найдите мнѣ не мужичку, я подарю вамъ платице еще короче этого,—поѣдемъ со мною искать,—вотъ переговорю съ Зинаидою Никаноровной“.—



норовною, и поѣдемъ искать не мужичку, а?“ — Настя таращила, таращила глазенки и вдругъ, подкинувъ обѣими руками тяжелые янтари съ крестикомъ, подскочила ко мнѣ и прошептала: „Да вы не врете, въ самомъ дѣлѣ зовете меня?“ — „Да ножки ваши расцѣлю, если поѣдете со мною“. — „А конфекты у васъ будутъ хорошія? Мнѣ самое главное фрукты въ сахарѣ — побольше, побольше!“ — „Достанетъ и фруктовъ въ сахарѣ, и ананасовъ подарю вамъ цѣлый пятакъ“. — „Ахъ, ахъ“ — она запрыгала и захлопала въ ладоши. „Пятакъ ананасовъ! Пятакъ ананасовъ!“, подскочила совсѣмъ ко мнѣ, схватила меня одной рукой, а другую приложила къ груди себѣ, и откачнувшись на той рукѣ корпусомъ, чтобы поднялось личико, глаза въ глаза мнѣ зашептала умоляющимъ голосомъ и задыхаясь отъ радости: „Пожалуйста же, миленькій, возьмите меня въ гости къ себѣ! Для васъ Зинаида Никаноровна отпустить меня на денечекъ! Только упрасивайте ее хорошенько!“ и мгновенно впала въ отчаяніе и закрыла лицо руками: „Господи, боюсь не отпустить! Вы не знаете, мнѣ нельзя и на два часа уйти изъ дому! За всѣми должна смотрѣть, — гдѣ же самой Зинаидѣ Никаноровнѣ? Ей неприлично вездѣ бѣгать, за всѣми смотрѣть! вѣдь у насъ всѣ воры, и самъ-то Петръ Кириллычъ — ей Богу! Чего? Не больше, третьяго дня: смотрю, цѣлой головы сахару нѣтъ! Какъ это? Кто это? Ключей не выпускала изъ кармана, а это онъ ночью подтибрилъ у меня ключи и опять въ карманѣ — вотъ вамъ, и подпускай его къ себѣ. Умоляль-то какъ, игралъ, игралъ, расшевелилъ меня, ну и положила его съ собою какъ добраго человѣка, а онъ вотъ что! продалъ этому самому Ефимову, я дозналась, за два съ полтиною, для Саши съ Дунечкою, по платочку имъ купилъ! Ей-Богу, вотъ какой у насъ народъ. Федя хоть и получше его и другихъ, но тоже невозможно положиться — стащитъ! Господи, вотъ какая моя доля! И въ гости-то съѣздить нельзя!“ — „Не плачьте, Настенька: я упрошу Зинаиду Никаноровну, отпустить“. — „Ахъ, не отпустить! Нельзя отпустить!“ — „Отпустить, будьте увѣрепа“. — Она утѣшилась. — „По проводите же меня къ ней“. — „Подождите здѣсь минуточку, Владиміръ Алексѣичъ: надо еще доложить ей“. — Манера держать себя и тонъ Насти быстро измѣнились: изъ молоденькой дѣвушки, не столько безстыдной, сколько не стыдливой въ своемъ простодушіи, она сдѣлалась камеристкою подлой женщины, существомъ лживымъ, существомъ, которое было бы дѣйствительно развратно, хоть бы оно и безукоризненно соблюдало ту добродѣтель, объ отступленіи отъ которой забывалъ я мѣсяца полтора въ огорченіи отъ бѣгства Анюты, въ наслажденіи дружбою женщины, болѣе милой. Настя сдѣлалась солидной и говорила заученнымъ тономъ: „Надо доложить Зинаидѣ Никаноровнѣ; она больна, въ постели“, и пошла степенною походкою, чрезвычайномѣшной при ея слишкомъ коротенькой юбочкѣ и кукольномъ характерѣ. Я начиналъ было чувствовать нѣжность къ вертушкѣ, ребячески торгующей собою по невинному подражанію правамъ старшихъ, — превращеніе наивной безстыдницы въ солидную лицемѣрку прогнало нѣжныя чувства, и я опять видѣлъ въ балетной пастушкѣ только охотницу щеголять икрами, дѣйствительно соблазнительными: чопорная походка идущей съ докладомъ Насти была забавна, но икры свѣтились сквозь узорные чулки очень мило. Я былъ неправъ: но такъ я чувствовалъ тогда.

Она пропала довольно долго. Наконецъ, пререцермонно явилась въ две-



ряхъ, постная, совершенно убитая видомъ страданій Зинаиды Никаноровны. „Пожалуйте, Владиміръ Алексѣвичъ; Зинаида Никаноровна просятъ“, проговорила она на унылый распѣвъ. — „А долго же возились вы съ Зинаидою Никаноровною: видно, узлы у корсета затянулись, трудно было расшнуровать? Да она легла бы въ корсетъ, ее я не сталъ бы шупать, что тамъ у нея подъ блузою, есть шнуровка или нѣтъ, зачѣмъ было столько хлопотъ. Лишь скинуть бы платье, да надѣть блузу“. — „Какъ вамъ не стыдно говорить это, когда Зинаида Никаноровна и въ самомъ дѣлѣ больна!“ — процѣдила сквозь зубы моя жеманная куклолка, чрезвычайно обижаясь за свою больную.

Больная лежала, какъ слѣдуетъ, въ бѣлой блузѣ, прикрытая легкимъ одѣяломъ. На столикѣ у кровати стояли микстуры, стаканъ не полный, съ водою, отъ которой пахло гофманскими каплями: вонъ какъ не на шутку она больна! долженъ былъ понимать я: стаканъ не полный, она пила изъ него. Между этихъ медикаментовъ—вижу: сафьяновая коробочка—это лекарство ужъ не ей, а мнѣ, для исцѣленія меня отъ дурныхъ чувствъ къ ней. Но что такое? перстень? велика коробочка; булавка для галстуха? все-таки не подходитъ: широка коробочка. Но что бы тамъ ни было, это деликатно: не деньгами, а вещичкою—вылечусь я: это гораздо благороднѣе.

А Зинаида Никаноровна была очень больна: едва могла говорить, чуть чуть шевелилась, когда не забывалась; а когда заговаривалась до забытія болѣзни, ораторствовала и жестикулировала съ энергіею, которая сдѣлала бы честь самой здоровенной женщинѣ въ цѣлой губерніи; да и мудро было-бы ей не забывать своихъ физическихъ страданій: душевные боли слишкомъ мучительны. Вспоминая, что больна, она опять изнемогала до слабости, близкой къ обмороку: тише, тише—и закрыла глаза, молчать... „Ахъ, Боже мой! — кажется я забывалась, такъ ослабѣвала“. — „Да, Зинаида Никаноровна, вы забывались“.

Какъ она любила его. Чѣмъ она пожертвовала для него! Я не безъ интереса узналъ, что, кромѣ всего, чѣмъ женщины обыкновенно жертвуютъ для любимаго человѣка, она пожертвовала для Виктора Львовича губернскимъ предводителемъ, вотъ это, точно, рѣдкое доказательство любви: многія ли жены мелкопомѣстныхъ дворянъ могутъ похвалиться, что бросали губернскихъ предводителей для другихъ, еще болѣе возвышенныхъ привязанностей? Мнѣ слѣдовало бы плакать отъ умиленія съ разинутымъ ртомъ отъ удивленія, тѣмъ больше слѣдовало, что губернский предводитель былъ очень благороденъ: въ два года онъ прикупилъ къ ея родовымъ 30 душамъ еще 50 въ этой же деревнѣ, и сосѣднюю деревню въ 70 слишкомъ душъ, и она вполне убѣждена, что черезъ годъ, много черезъ полтора, онъ купилъ бы ей еще Енотаевку—она уговорила владѣльца, оставалось только дѣйствовать на губернского предводителя; а въ Енотаевкѣ больше полутораста душъ и сколько луговъ! 860 десятинъ превосходныхъ луговъ! въ здѣшнихъ мѣстахъ это кладъ, это золотой рудникъ...

Дѣйствительно, она принесла Виктору Львовичу очень большую жертву; я понимаю, и жалѣю; но что я могу сдѣлать? Ничего къ несчастью.

О, пусть я не говорю этого! Она знаетъ силу мою надъ мыслями Виктора Львовича, она горько испытала эту силу—потому что до сихъ поръ мое

влияніе на него было во вредъ ей,—пусть я не отпираюсь, она говоритъ это не для того, чтобы упрекать меня, — она даже понимаетъ мое заблужденіе, которое принесло ей такое горе: я смотрѣлъ на нее, какъ на женщину, которая измѣняетъ мужу, —противъ такихъ женщинъ всѣ вооружены, но—охъ, ахъ и проч.,—но не всегда можно порицать ихъ, иногда онѣ заслуживаютъ болѣе состраданія, нежели порицанія, — потому что сами мужья заставляютъ ихъ жаждать другой любви. Таково было и ея положеніе. Ея мужъ женился на ней не для того, чтобы любить ее, а потому, у нея было 80 душъ...

— Вы увлекаетесь, Зинаида Никаноровна, это вредно вамъ,—замѣтилъ я, рассчитывая, въ какое время у нея составилось 80 душъ приданого, когда родовыхъ было 30, первое благородство губернскаго предводителя имѣло 50 душъ и проч.

— Это правда, я увлекаюсь, согласилась она и стала впадать въ изнеможеніе.

Но когда я услышу о жизни ея мужа, я вполне оправдаю ее. Онъ живеть на ея счетъ, онъ не имѣлъ ничего и теперь не имѣетъ, онъ служилъ въ дворянскомъ собраніи ничтожнымъ чиновникомъ, и чѣмъ же онъ благодарить ее за свое содержаніе, за то, что она была готова любить его, любила его?..

— Вамъ вредно увлекаться, Зинаида Никаноровна,—замѣтилъ я, видя, что подтверждаются слова достопочтеннаго мужа, увѣрявшаго, что онъ бывалъ мужемъ своей жены не по названію только, и рассчитывая, что когда такъ, былъ промежутокъ отъ губернскаго предводителя до Виктора Львовича и пожертвованіе Енотаевскими дугами для Виктора Львовича становится сомнительно; или промежутка не было?—Не могло не быть: она не изъ тѣхъ женщинъ, которымъ нужно двухъ мужчинъ: и одинъ-то рѣдко нуженъ, это пустое занятіе,—для Енотаевки можно трудиться; безъ цѣли, что за охота? Изрѣдка—можетъ найти и такой стихъ — конечно; но изрѣдка, потому что дѣльной головѣ некогда много фантазировать.

— Даю вамъ честное слово, Зинаида Никаноровна, что не считаю васъ женщиною, которая увлекалась бы чувственностью. Физическое наслажденіе любовью не въ вашемъ темпераментѣ, и скажу болѣе: ничтожно для васъ сравнительно съ другими—высшими—побужденіями привязываться къ человѣку.

— Вы понимаете меня, томно—сказала, изнемогая, и въ величайшемъ удовольствіи.

Противная тварь, неспособная находить наслажденіе въ томъ, что заставляетъ даже животныхъ забывать о пищѣ,—тебѣ Енотаевскіе дуга милѣе потребностей твоей человѣческой природы; въ тебѣ и нервныя конвульсіи возбуждаются только подлымъ угодничествомъ, корова и овца не унижаются до того, чтобы впадать въ нихъ по раболѣпству.

Но она была въ восхищеніи — по ея мнѣнію, я назвалъ ее ангеломъ. Эфирное существо закрыло глаза въ изнеможеніи.

Раскрыла ихъ и начала говорить, что у меня не безчувственное сердце: я люблю и счастливъ, я могу понимать, какъ должна страдать она, лишившись любви... Ахъ, что можетъ быть выше чистой любви?

Она изнемогла; открывши глаза, начала хвалить Мери: какая умная дѣ-

вушка Мери, какія прекрасныя манеры у нея, но, главное, какая красивая дѣвушка Мери...

Я началъ вѣрнѣе прежняго судить о сафьянной коробочкѣ. Это еще деликатнѣе, нежели я воображалъ: не только то благородство, что подкупъ не деньгами, а подаркомъ, но и подаркомъ не мнѣ, а моей любовницѣ.

Я съ нетерпѣніемъ ждалъ посмотрѣть, какъ достанетъ у нея наглости вручить мнѣ взятку, но она изнемогла.

Любопытно, какъ она исполнить подвигъ — думаю я, и увидѣлъ, что ошибался: никакого подвига нѣтъ, дѣло самое легкое для нея.

Она раскрыла глаза, взяла и раскрыла коробочку, — я увидѣлъ, что тамъ серьги съ камнями не цвѣтными, крупнѣе брилліантовъ, которые были въ брошкѣ, купленной мною для Анюты, но это брилліанты ли или стразы, подумалъ я, и умъ мой, подозрительный до крайней низости, полагаетъ, что это стразы.

Она повертываетъ открытую коробочку, чтобы камнями сверкали, спрашиваетъ, хороши ли серьги, — я говорю, что очень хороши; она подаетъ мнѣ коробочку, чувствительно произнося: „Ваше сердце говоритъ вамъ, кому я дарю ихъ черезъ васъ, — отъ васъ онѣ будутъ ей еще вдвое милѣе, нежели сами по себѣ“.

— Очень благодаренъ вамъ, Зинаида Никаноровна; серьги чрезвычайно нравятся мнѣ, — позвольте, я сейчасъ скажу, могу ли я взять; если это — я взялъ стаканъ, вынулъ одну изъ серегъ, — если это стразы — „брилліанты“! — воскликнула она, а я черчу главнымъ камнемъ серьги стаканъ: камень рѣжетъ стекло — въ самомъ дѣлѣ, это брилліанты: ахъ, я низкій человекъ! какъ несправедливо было мое гнусное сомнѣніе въ благородствѣ этой женщины.

— Если это стразы, хотѣлъ я сказать, Зинаида Никаноровна, то я возьму ихъ съ большимъ удовольствіемъ. Но это брилліанты — не возьму, простите меня. Я говорилъ вамъ, что вы преувеличиваете мое вліяніе на Виктора Львовича, но это бы еще ничего: я принялъ бы вашъ подарокъ въ награду, если не за пользу, какую принесу, то за желаніе, усердіе служить вамъ. Дѣло не въ пустой щекотливости, я чуждъ подобной мелочности. Но откровенно скажу вамъ, что этотъ подарокъ былъ бы совершенно бесполезенъ для меня. Будь это стразы, я осчастливилъ бы ими дѣвушку, которая беретъ отъ меня, кромѣ денегъ, и перстеньки, и сержки. Но брилліанты — это совершенно нейдетъ къ ея другимъ нарядамъ, къ ея манерамъ, къ ея семейному положенію, ко всему. Она могла бы только продать ихъ, — и конечно, за поль-цѣны. Жаль такой большой потери. Лучше бы прямо дать ей деньгами. А это, вы согласитесь, неловко: вы не предложите мнѣ триста, четыреста рублей, для подарка моей любовницѣ. Скажу вамъ больше: несмотря на всѣ эти затрудненія, взялъ бы я у васъ эти серьги, или, пожалуй, хоть и деньги ей, еслибъ имѣлъ желаніе дѣлать ей большіе подарки. Но у меня нѣтъ этой охоты. Дѣвушка не стоитъ того. Лицомъ не особенно хороша; флегматична — и тѣломъ и душою: безъ огня и безъ нѣжности; рыба кровь въ жилахъ, привязанностей въ сердцѣ нѣтъ ни къ кому и никогда не было. А между тѣмъ, довольно жадная — правда и то, что подобная любовница не можетъ выманить много денегъ, но почти жаль и тѣхъ не очень большихъ, которыя даешь ей.

Живу съ нею потому, что связался разъ, но и только. Итакъ, не беру серегъ, чтобы не терять попусту дорогой нарядъ.

Безподобная идеалистка слушала въ изумленіи и конфузъ; но изумленіе прошло, а конфузъ и того скорѣе:

— Я была убѣждена, что... она замолчала.

— Вы мало знаете меня: я не любитель трудныхъ побѣдъ и хлопотливыхъ интимностей. Если хотите, это цинизмъ, стыжусь; но держусь правила: не употреблять на волокитство болѣе пяти минутъ, на шестой, если еще не обнять, говорю: „она можетъ быть очень хороша, но не въ моемъ вкусѣ. Для меня нѣтъ ничего противнѣе мысли объ отношеніяхъ, въ которыхъ объясненія не ограничивались бы словами: „иди сюда“, — „теперь можешь уйти, больше не нужна мнѣ“. Это не галантерейно, зато очень удобно.

— Но вы циникъ, — воскликнула она съ ужасомъ, естественнымъ въ идеалисткѣ.

— Я говорилъ вамъ это, — отвѣчала я съ тѣмъ достоинствомъ, съ которымъ наши либералы, обвиняемые въ демократизмъ, отвѣчаютъ: „да, мы не скрываемъ своей любви къ народу; если она преступленіе, мы готовы погибнуть“.

Зинаида Никаноровна впала въ изнеможеніе. Серьги не годились. Надобно было придумать, какъ теперь быть.

— И неужели вы совершенно равнодушны къ этой дѣвушкѣ?

— Нѣтъ. Я не всегда равнодушенъ къ ней. Почти каждый день, иногда и не одинъ разъ въ день я бываю неравнодушенъ къ ней, въ продолженіе четверти часа. Какъ только почувствую аппетитъ быть неравнодушнымъ къ ней, иду въ село, въ ея избу; изба превращается при моемъ приближеніи въ небесный чертогъ, потому что впереди меня летитъ туда Амуръ, превосходнѣйшій изъ архитекторовъ, декораторовъ и парфюмеровъ. Амуръ улетаетъ, и я спѣшу уйти, потому что изба грязна, зловонна — немножко, то же начинаетъ быть замѣтно мнѣ и относительно моей возлюбленной, которая не привыкла быть особенно опрятною, когда не бываетъ превращаема Амуромъ въ богиню. Этому еще можно бы пособить: свести ее въ рѣчку, велѣть выкупаться, — тогда и безъ Амура она была бы пріятною собесѣдницею, если бы не была чрезвычайно глупа, чему уже нельзя пособить никакимъ мытьемъ, — и если бы была покрасивѣе... Безъ особенныхъ усилій фантазіи я очень подробно описалъ мою любовницу, съ точностью пользуясь для этого портрета чертами Анюты, какъ представляется мнѣ эта свѣжая и довольно красивая, но бессмысленная и аляповатая женщина теперь, когда я сравниваю ее не съ изношенными уличными дѣвушками, а съ Надеждою Викторовною, Мери, Настею и самой Зинаидою Никаноровною, которыя, при всей разницѣ, сходны тѣмъ, что въ самомъ дѣлѣ красивы, очень красивы.

— Но когда вы такъ равнодушны къ этой Анютѣ...

— Къ Анютѣ?! Неужели я даже назвалъ имя этой дѣвушки? О, какъ досадно! Но я полагаюсь на скромность Зинаиды Никаноровны; умоляю Зинаиду Никаноровну сохранить эту тайну: мать Анюты покровительствуетъ намъ, но отецъ избилъ бы ихъ обѣихъ. Зинаида Никаноровна успокоила меня. Еще успокоительнѣе то, что въ нашемъ селѣ вѣрно наберется до сотни Анютъ и, навѣрное, съ десятокъ изъ нихъ — красавицы въ родѣ моей Анюты: сдѣлайте



одолженіе, разыскивайте, Зинаида Никаноровна, если вамъ еще угодно будетъ наводить справки.— Нѣтъ, Зинаида Никаноровна была уже вполне убѣждена.

— Когда вы такъ равнодушны къ этой дѣвушкѣ, мой подарокъ, дѣйствительно, не имѣетъ смысла. Я не настаиваю. Но мы еще увидимся, не правда ли? Я найду что-нибудь другое, для васъ самого... Судя по вашему описанію, эта Анята и не особенно красива; при вашемъ равнодушіи къ ней, вы могли бы бросить ее. Неужели нѣтъ дѣвушекъ лучше?

— Есть. Но онѣ не подвертываются сами подъ руку. А ловить я не охотникъ—это я уже говорилъ,—да и не мастеръ, если сказать всю правду. Мой обѣдъ не особенно хорошъ, но сытенъ; отказаться отъ него, чтобы остаться голоднымъ—благодарю за совѣтъ!

— О, циникъ!—съ новымъ ужасомъ воскликнула идеалистка.—Но хорошо то, что вы упомянули объ обѣдѣ. У меня вовсе нѣтъ аппетита, я забыла, что пора пить чай,—вѣроятно, вы будете не прочь и закусить. Постарайтесь дернуть сонетку.

Я позвонилъ. Вошла дѣвушка въ дрянномъ ситцевомъ платьѣ—обыкновенная горничная, и некрасивая.

— Авдотья, я не буду пить чаю. Скажи Настѣ, чтобы приготовила тамъ,—и закуску для гостя. Или пусть сама придетъ сюда, я скажу ей, какое вино подать къ закускѣ, ты перевернешь.—Некрасивая и ненарядная горничная ушла.—Вы извините меня, Владиміръ Алексѣвичъ, что я распоряжаюсь такъ. Я чувствую себя гораздо лучше прежняго, но все еще очень слаба, и разговоръ утомилъ меня; а намъ надобно говорить много, много... Пока вы будете тамъ пить чай и закусывать, я отдохну. Я заставлю васъ поскучать: вы будете одинъ, я не смѣю и не хочу предлагать вамъ, чтобы вы позвали къ себѣ моего мужа: съ нимъ вамъ было бы еще скучнѣе, нежели одному: онъ глупъ и пошлъ. Вы будете одинъ и вамъ будетъ скучно, но вы извините мою смѣлость распоряжаться вами такъ деспотически: больная не можетъ не быть эгоисткою и деспоткою. Зинаида Никаноровна улыбулась.

Степенною поступью вошла Настя, съ постнымъ лицомъ; какъ же иначе?—Зинаида Никаноровна страдаетъ.

— Не печалься, Настя: мнѣ гораздо лучше.—Настя перестала печалиться, сохраняя, однако же, самую важную степенность. Зинаида Никаноровна рассказала ей, какія бутылки надобно подать къ закускѣ. Пожалуйста же, чтобы все это было поскорѣе: я и такъ виновата передъ Владиміромъ Алексѣвичемъ, давно было надобно подумать объ этомъ, я все забывала. Настя повернулась — не на одной ножкѣ, а съ образцовой солидностью.—Постой, постой, Настя: я должна была сказать тебѣ еще о чемъ-то, не помню... Настя оставалась, полуобернувшись опять къ ней.—Дай вспомнить, Настя,—ахъ, Боже мой!—сейчасъ думала объ этомъ и не могу вспомнить... Настя подогла опять къ постели, и стала, опершись ручкой о спинку кровати, у ногъ выздоравливающей. Выздоровливающая закрыла глаза, какъ и принято дѣлать для пособія памяти, особенно, когда чувствуешь слабость... Настя стояла, немножко опираясь локоткомъ о спинку кровати, — закинула ножку за ножку, начала улыбаться мнѣ и поигрывать по ковру носкомъ ножки, закинутой за ножку, поигрывать свободной ручкою по шнуркамъ снелсера, подбрасывать свое

янтарное ожерелье съ крестикомъ: Зинаида Никаноровна не видитъ, и мало того, что не видитъ: оставила ее здѣсь, а должна знать ея характеръ; стало быть, не разсердится, если и увидитъ... Такъ понимали мы съ Настей, потому она все живѣе кокетничала шаловливыми жестами, а я взглядами ободрялъ ее. Играя ожерельемъ, Настя начала покачиваться на локоткѣ всѣмъ корпусомъ,—Зинаида Никаноровна раскрыла глаза и съ ласковою строгостью сказала: „Перестань дурачиться, Настя“. Настя перестала покачиваться корпусомъ и бросать мнѣ улыбки, обратила внимательный взглядъ на Зинаиду Никаноровну, но продолжала, хоть потише прежняго, играть ожерельемъ и стоять на одной ножкѣ, опершись на локотокъ.—Вотъ что, Настя,—начала Зинаида Никаноровна, вспомнивъ наконецъ:—Владиміръ Алексѣичъ останется здѣсь еще довольно долго, поэтому распорядись, чтобы покормили его лошадей и чтобы кучеръ поужиналъ. Боже мой, какъ слаба память! Столько времени не могла вспомнить такой обыкновенной вещи!—замѣтила она мнѣ,—и продолжала опять Настѣ:—„Не забудь же, и не повѣсничай. Да, еще: пойди сюда, нагнись ко мнѣ“.—Настя подошла, стала между постелью и моимъ кресломъ, нагнулась ухомъ къ Зинаидѣ Никаноровнѣ; юбченка оттопырилась сзади, голыя полоски около подошвонокъ засвѣтились подлѣ моихъ колѣнъ; юбченка закрывала мои руки отъ Зинаиды Никаноровны: я разсудилъ, что было бы невѣжливостью не погладить эти голыя полоски и погладилъ ихъ съ величайшею скромностью, не касаясь рукою выше вершка, много двухъ, отъ колѣнъ: больше того уже не было бы соблюденіемъ вѣжливости, было бы неделикатностью; кожа была гладка и нѣжна, какъ ни у одной изъ прежнихъ моихъ пріятельницъ, не исключая и Анюты. А Зинаида Никаноровна между тѣмъ шептала: „Я очень утомлена и быть можетъ задремлю, пока гость будетъ пить чай; нужды нѣтъ, Настя, разбуди меня, когда онъ покушаетъ; тотчасъ разбуди, не жалѣй меня и не сказывай ему“.

Къ счастью для выздоравливающей я слышалъ каждое слово этого шепота. Я протестовалъ. Какъ же можно будить, если она заснетъ? Сонъ—это самое цѣлебное лекарство. Будить. Никакъ! Зинаида Никаноровна поспорила, но принуждена была уступить: я былъ непоколебимъ и, главное, очевиднѣйшимъ образомъ правъ. Настя слушала споръ, выпрямившись, и юбченка ея теперь лежала позументомъ подола на моей рукѣ, остававшейся попрежнему совершенно скромною въ необходимой вѣжливости. Зинаида Никаноровна уступила моему протесту, я подобралъ руку, и Настя, повернувшись на одной ножкѣ, выпорхнула, немножко пританцовывая. Когда она скрылась, Зинаида Никаноровна взяла платокъ и поднесла его къ глазамъ.

— Боже мой, Боже мой!—Вы видѣли эту дѣвушку—она моя любимица, потому что... она моя родственница, она... она... дочь моей матери... Я не могу безъ слезъ думать о Настѣ... Она моя сестра, я такъ люблю ее, но этотъ бездушный человѣкъ—мой мужъ—не знаетъ никакихъ чувствъ и не можетъ уважать ихъ въ другихъ... Онъ подлъ и безжалостенъ въ своемъ развратѣ... Но Настю я не разлюбила... и она меня любитъ попрежнему—одну меня... Я лишилась надежды удержатъ ее отъ шалостей, но она любитъ одну меня...

Мать Зинаиды Никаноровны рано осталась вдовою. Отецъ Насти не за-

хотѣлъ ни жениться, ни даже заботиться о дочери. У матери не было средствъ отослать дочь на воспитаніе куда нибудь, а была надежда встрѣтить другого человѣка, болѣе благороднаго чѣмъ отецъ Насти. Надобно было скрыть связь съ отцомъ Насти. Малютка была записана дочерью крестьянки; это семейство было отдано въ приданое Зинаидѣ Никаноровнѣ. Настѣ было тогда лѣтъ десять. Зинаида Никаноровна взяла сестру къ себѣ. Могла держать ее какъ любимицу, но не какъ сестру: мать была вновь замужемъ, надобно было по-прежнему скрывать происхожденіе Насти. Но мужъ Зинаиды Никаноровны зналъ, что эта дѣвочка—ея сестра... Ничто не остановило его... Настѣ было тогда только четырнадцать лѣтъ. Настю нельзя было винить...

Настю нельзя. Но можно винить тебя, безстыдная интриганка. Ты знала, что твой мужъ—мерзавецъ; ты знала, что ты своимъ примѣромъ и потворствомъ распутству твоего мужа развратила всѣхъ своихъ служанокъ. Ты могла не желать—и я вѣрю, ты не желала, чтобы твоя сестра стала похожа на нихъ и на тебя. Я вѣрю этому. Но ты должна была понимать, что твой домъ—вертепъ разврата—не годится быть мѣстомъ воспитанія. У тебя были средства помѣстить ребенка въ образованное и честное семейство. Ты говоришь, ты любишь ее; вѣрю, но твоя любовь къ ней только любовь забавляться ею. Тебѣ нравилось имѣть куклу, ты... но не велика будетъ бѣда бросить этотъ вздоръ, чтобъ идти обѣдать, когда зовутъ обѣдать. Не буду имѣть времени докончить?—И въ этомъ не будетъ особеннаго убытка. Впрочемъ, очень доволенъ тѣмъ, что съ пера шли такія безконечныя подробности: это помогло мнѣ терпѣливо ждать возвращенія Мери.

Черезъ полчаса пора будетъ ѣхать къ милой куколкѣ. Полчаса на описаніе всего того, предисловіе къ чему писалось цѣлыхъ шесть часовъ! Живописная и драматическая обстоятельность разсказа должны замѣниться сжатостью, энергіею, философскимъ глубокомысліемъ, — изъ Макколея надобно мнѣ стать Тацитомъ.

Зинаида Никаноровна говорила о Настѣ съ аффектаціею, сквозь которую едва-едва можно было видѣть слабенькіе проблески любви къ побочной сестрѣ. Но и того было уже довольно, чтобъ удивить меня: я не предполагалъ, чтобъ эта интриганка могла имѣть къ сестрѣ хоть столько добраго чувства, сколько обыкновенно человѣкъ имѣетъ къ каждому изъ людей, мимо которыхъ идетъ на улицѣ. Вбѣжала Настя: чай и закуска готовы; мы пошли съ Настею и провели десять минутъ за чаемъ, двѣ минуты за закускою, остальное время отъ половины девятаго до десяти въ занятіяхъ, возможность которыхъ конечно не предвидѣла Зинаида Никаноровна, безъ сомнѣнія дремавшая все это время. Наконецъ, Настя объявила, что я долженъ идти къ Зинаидѣ Никаноровнѣ и прогнала меня. Дѣйствительно, милая куколка измучилась, кувиркалась, влѣзая на плечи ко мнѣ и повѣсничая всяческими безстыдничествами. Черезъ полчаса она придетъ за мною къ Зинаидѣ Никаноровнѣ. Мы поѣдемъ; у крыльца нашего дома я выйду изъ экипажа, она останется спрятанная въ немъ. Я возьму денегъ, бѣлье себѣ, то есть, переговорю съ Викторомъ Львовичемъ, который безъ сомнѣнія ждетъ меня, выйду, сяду и мы ѣдемъ въ Симбухино, садимся тамъ на пароходъ, который отходитъ на разсвѣтъ, и ѣдемъ дня на три въ Симбирскъ, гдѣ она будетъ обѣдаться ананасами. Я могъ быть впередъ увѣ-



ренъ, что не понадобится больше ни Зинаидѣ Никаноровнѣ, ни Виктору Львовичу; когда я такъ полюбилъ подарокъ Зинаиды Никаноровны, она не будетъ сомнѣваться въ искренности моихъ совѣтовъ и Викторъ Львовичъ можетъ забыть о ея существованіи.

Такъ и сбылось. Зинаида Никаноровна видѣла во мнѣ преданнаго друга, да и безъ того, я думаю, согласилась бы съ моими совѣтами: независимо отъ моей дружбы или недружбы къ ней, въ нихъ не было ни слова лжи, а разсудительность ихъ не могла не быть очевидна умной и хладнокровной женщиной. Викторъ Львовичъ разорвалъ связь съ нею изъ уваженія къ своимъ отцовскимъ обязанностямъ. Надобно примириться съ этимъ фактомъ. Остатокъ лѣтняго сезона пусть будетъ пропавшимъ для Зинаиды Никаноровны. Надежда Викторевна выйдетъ замужъ—вѣроятно нынѣшнею же зимою: невѣсты съ такимъ приданымъ не засиживаются. На слѣдующее лѣто Викторъ Львовичъ, по всей вѣроятности, пріѣдетъ въ деревню опять совершенно свободнымъ, и не затруднится снова осчастливить своею любовью Зинаиду Никаноровну, если она станетъ ждать слѣдующаго лѣта смирно, великодушно, какъ слѣдуетъ благородной женщиной съ растерзаннымъ сердцемъ.—„Я сама была близка къ этимъ мыслямъ“, сказала Зинаида Никаноровна: „Какъ ни странно то, что онъ непоколебимъ, но мнѣ самой начинало казаться, что онъ рѣшительно пожертвовалъ мною для своихъ отношеній къ дочери... Мнѣ уже казалось, что я могла бы только мстить ему... Но дѣйствительно, слѣдуетъ не вооружать его,—онъ возвратится ко мнѣ, оцѣнитъ мое великодушіе, молчаливость моего страданія“.—Мы были уже безъ всякихъ церемоній съ Зинаидой Никаноровною. Черезъ Настю мы были, въ нѣкоторомъ смыслѣ родственники; притомъ же Зинаида Никаноровна соснула часа полтора, это возстановило ея силы, какъ она и предвидѣла. Она была теперь совершенно здорова, она проводила меня до комнаты Насти и тутъ покинула меня, очень мило сказавъ, что не хочетъ ободрять повѣсничество Насти своею улыбкою, а Настя пожалуй и при ней прыгнула бы на плечи мнѣ,—Настя избалована ея любовью и она проситъ меня стараться хоть немножко исправить эту наивную проказницу: мои слова, быть можетъ, будутъ дѣйствовать на шалунью больше, нежели замѣчанія сестры, слишкомънисходительной. Я вошелъ въ комнату Насти и увидѣлъ, что она... Иванъ Антонычъ говорить, что лошади готовы.—„А Марья Дмитріевна все еще не возвратилась отъ Власовыхъ?“—„Все еще нѣтъ“.—„Я подожду, не вернется ли: я уѣзжаю дня на три, на четыре, можетъ быть больше, и мнѣ не хотѣлось бы уѣхать не простившись съ нею“.—„Господи, какой вы добрый человекъ, Владиміръ Алексѣичъ! Не знаю, какъ мнѣ и благодарить васъ за любовь къ моей Машенькѣ! Какъ вы любите ее, въ самомъ дѣлѣ!“—Въ самомъ дѣлѣ, я люблю ее, ты не ошибаешься, добрякъ: если бы твоя Машенька была родная сестра, я не могъ бы любить ее нѣжнѣе.

Нѣтъ, я не уѣду, не простившись съ моею милою Мери. Проститься—не то слово: мы уже простились. Но я долженъ переговорить съ нею: письмо не замѣняетъ живого слова. Пусть она видитъ, что если я люблю ее не меньше прежняго, что она, другъ, милѣе любовницы мнѣ.

Но я думаю, что я сильно привяжусь и къ Настѣ. Я никакъ не предполагалъ этого, входя къ ней, чтобы увести ее. Не ожидалъ я, что безстыд-



ница, которую ласкалъ я съ бездушнымъ сладострастіемъ, пробудить во мнѣ чувство, болѣе нѣжное.—Она спала. Когда я ушелъ, она стала собираться въ дорогу, приготовила узелокъ съ бѣльемъ и платьями, положила его на стулъ у кровати, стала одѣваться, надѣла чулки, взяла платье и задремала, повалилась; платье лежало на ея рукѣ—такъ она и заснула. Она спала крѣпко, не слышала, какъ я подошелъ. Я дотронулся до ея плеча: „Вставайте, Настя, поѣдемъ“.—Она полуоткрыла глаза и жалобно: „Миленкій, не троньте меня: я хочу спать“, лѣниво повернулась и въ ту же секунду опять спала. Сонъ-ея былъ крѣпокъ и спокоенъ, какъ у ребенка; я сталъ всматриваться въ ея лицо: его выраженіе было спокойно и невинно, какъ у ребенка. Я взялъ платье съ ея руки, взялъ одѣяло—она спала вся открытая—я закрылъ ее и сталъ опять смотрѣть на ея спокойное, невинное личико. Но она была такъ мила, что я не могъ рѣшиться разстаться съ нею—я опять дотронулся до ея плеча и сказалъ: „Вставайте, Настя, одѣвайтесь и поѣдемъ“. Она приподнялась на локтѣ и заплакала, лѣнясь хорошенько проснуться: „Миленкій пожалуйста! Завтра! Я хочу спать“, упала и опять уже спала. Я стоялъ и смотрѣлъ на ея спокойное личико. Умиленіе овладѣвало мною. Я нагнулся и тихо, крѣпко поцѣловалъ ее. Она жалобно проговорила сквозь сонъ, не открывая глазъ: „Миленкій, пожалуйста, не надобно: я хочу спать“. Это былъ голосъ невиннаго ребенка. Слезы нѣжной любви наворачивались у меня на глазахъ. Я довольно долго, смотрѣлъ на нее и ушелъ, чтобы не расплакаться: такъ мила сдѣлалась мнѣ она своимъ тихимъ, крѣпкимъ, невиннымъ сномъ.

Дверь комнаты Зинаиды Никаноровны была отворена; я зашелъ сказать ей, что поѣздка отложена до слѣдующаго вечера. Зинаида Никаноровна засмѣялась: „Но я вижу, вы не на шутку влюбились въ мою Настю: пожалѣли разбудить ее; рѣшительно влюбленный!“—„Нѣтъ, я не думаю, что я серьезно полюбилъ ее! но я сталъ чувствовать серьезное расположеніе къ ней“. Зинаида Никаноровна очень рада, что Настя показалась мнѣ заслуживающею расположенія; куда я спѣшу? еще не такъ поздно; ей не хочется спать, поговоримъ.—Поговоримъ, но завтра; я не могу допустить, что Зинаида Никаноровна пренебрегала своимъ здоровьемъ изъ любезности ко мнѣ.—Я не могъ условливаться съ нею, не поговоривъ съ Настею.

Умно ли мое рѣшеніе взять на содержаніе такую избалованную дѣвушку? Не въ томъ дѣло, очень ли умно это; дѣло въ томъ, что невозможно сдѣлать ничего, болѣе умнаго. Пять лѣтъ назадъ слѣдовало бы отдать Настю въ честное семейство, гдѣ была бы образованная женщина. Теперь нечего и думать объ этомъ. Гдѣ найти порядочную женщину, которая согласилась бы взять къ себѣ такую наглую безстыдницу? И если бы нашлась такая женщина, Настя убѣждала бы отъ нея. Какое честное семейство потерпѣло бы, чтобы Настя вела торгъ съ прохожими, высунувшись въ окно и болтая въ воздухѣ заголяющимися ногами? А Настя не можетъ вдругъ отстать отъ подобныхъ привычекъ. Поневоля приходится мнѣ взять ее на содержаніе. Нѣтъ иной возможности перевоспитать ее. Хорошо, что я впередъ готовъ находить, что чуть я отвернусь, она безстыдничаетъ съ кѣмъ попало. Но это пройдетъ; и вѣроятно я довольно скоро привяжусь къ ней. Тогда не будетъ скучна трудная обязанность. И какъ бы то ни было, рѣшеніе принято, больше, нежели на

половину, высказано Зинаидѣ Никаноровнѣ. Жалѣть поздно, когда уже не годится отступаться. Надобно только воспользоваться этимъ урокомъ, чтобы впередъ быть разсудительнѣе. А можетъ быть мы съ Настею и полюбимъ другъ друга. Почему-жъ бы мнѣ не полюбить ее? Она очень красива. Когда отвыкнетъ отъ безстыдства, будетъ мила. Годъ, полтора—и намъ будетъ видно, идти ли намъ повѣнчаться, или разойтись.

Раздумывая такъ на дорогѣ, я скоро задремалъ, благодаря экипажу, тихо покачивавшемуся, какъ люлька, а главное тому, что Настя, сама измучившись ребяческимъ повѣсничествомъ, расположила и мою фантазію къ полному спокойствію на нѣсколько часовъ.

Еслибъ эта безстыдница была менѣе рѣзва, можно бы подумать, что она уже очень сладострастна. Безмятежный сонъ добродѣтельнаго труженика прервался только тогда, какъ экипажъ остановился у нашего крыльца.

Викторъ Львовичъ ждалъ меня, расхаживая по первому залу. Мы пошли въ его кабинетъ.— „Что скажете, Владиміръ Алексѣичъ?“ спросилъ онъ съ очевиднымъ безпокойствомъ. Какая боязливость! Чѣмъ могла быть страшна ему Зинаида Никаноровна? Я и прежде не хотѣлъ пускаться въ лишнія подробности. Теперь видѣлъ, что и о томъ, что нужно ему знать, надобно будетъ поговорить когда-нибудь послѣ, когда онъ будетъ поспокойнѣе.— „Что скажете, Владиміръ Алексѣичъ? Какъ объясняетъ себѣ Дедюхина мой разрывъ съ нею?“

Она понимаетъ вещи очень правильно. Убѣждена, что вы останетесь тверды, что она ничего не выиграетъ никакими хлопотами или интригами. Она рѣшила молча быть великодушною страдальцею.

Онъ помолчалъ.—Зачѣмъ же она приглашала васъ?

— Чтобы предложить мнѣ взятку—взятка не годилась для меня; тогда она предложила мнѣ подарокъ болѣе милый: Настю, вы знаете? Этимъ подаркомъ я остался очень доволенъ. Послѣ того Зинаида Никаноровна могла положиться на искренность моихъ совѣтовъ, и вотъ, какъ я говорилъ вамъ, мы рѣшили, что ей надобно быть молчаливою страдальцею. Мы теперь величайшіе друзья. Завтра я поѣду послѣ обѣда за Настею, поѣдемъ съ нею въ Симбирскъ, на долго ли—не умѣю сказать вамъ; вѣроятно, вернемся раньше недѣли.

— Настя красивая дѣвушка. Но что же новаго узнали вы отъ нея или Дедюхиной?

— Отъ Насти то, что она будетъ очень любить меня, если я буду дарить ей фрукты въ сахарѣ. Отъ Зинаиды Никаноровны я услышалъ вещи болѣе занимательныя, на примѣръ, о благородствѣ губернскаго предводителя, о Енотаевкѣ, которую она принесла въ жертву своей любви къ вамъ, вообще, очень много любопытнаго мнѣ, какъ новость, но не составляющаго новости для васъ. Оставимъ это до другого времени; теперь мнѣ хочется спать. Спокойной ночи.

Онъ хотѣлъ что то сказать, но молчалъ: вѣроятно, хотѣлось, чтобъ я еще разъ и поподробнѣе увѣрилъ его, что ему нечего бояться, и вѣроятно, онъ самъ понималъ, что смѣшно и совѣстно обнаруживать безпокойство повтореніемъ вопросовъ, на которые уже данъ отвѣтъ.— „Только еще половина перваго“, сказалъ онъ. „Еще рано спать, съиграемъ въ шахматы“.

— Еще не поздно, это правда, но я устала. Я спала всю дорогу. Спокойной ночи. Онъ не сталъ удерживать.

Иванъ Антонычъ сказалъ мнѣ на мой вопросъ о Мери, что ея нѣтъ дома: Викторъ Львовичъ хотѣлъ дожидаться меня, поэтому не могъ ѣхать къ Власовымъ за Надеждою Викторовною. Пришлось ѣхать ему, Ивану Антонычу; Мери попросила дядю, чтобъ онъ взялъ и ее съ собою прокатиться. Власовы не пустили Надежду Викторовну, оставили ночевать и Мери. Милая моя Мери! ей было грустно, она искала развлечься гдѣ-нибудь, хоть поѣздкою съ дядею.

Исправно выспавшись, будущій руководитель русскаго общества проснулся нынѣ въ одиннадцать часовъ и услышалъ отъ Ивана Антоныча, что съ часъ тому назадъ Викторъ Львовичъ входилъ ко мнѣ, постоялъ, посмотрѣлъ, какъ усердно я сплю, сѣлъ къ столу, написалъ записку, и уѣхалъ за Надеждою Викторовною.

Я взялъ записку—въ нее было вложено 200 рублей: онъ не знаетъ, много ли у меня денегъ; Настя избалованная дѣвушка, вѣроятно, недѣля поѣздки съ нею будетъ стоить мнѣ дорого. Это очень мило, и я боюсь, что Настя заставитъ меня промотать и всѣ эти деньги, кромѣ тѣхъ, которыя были сбережены. Это счастье мое, что онъ не оставилъ больше. Въ post-scriptum онъ говорилъ, что не знаетъ, вернется ли до моего отъѣзда къ Дедюхиной за Настей, можетъ быть Наденька захочетъ прокатиться въ Симбухино. Вчера она говорила, что это было бы приятною прогулкою въ особенности вмѣстѣ съ Власовыми.

Но онъ вернулся: поѣздка въ Симбухино отложена; некогда. Власова хочетъ быть персiанкою—милая молодая дама, она сама любитъ шутить надъ тѣмъ, что она некрасива, и давно увѣряла меня, что ей необходимо стать персiанкою, для сохраненiя любви мужа: она убѣждена, что въ персидскомъ костюмѣ она будетъ красавица. Она заставила Мери скроить костюмъ для нея и всѣ три съ Надеждою Викторовною онѣ шьютъ, шьютъ, поклявшись не вставать съ мѣста, пока не дошьютъ. Какъ дошьютъ, прiѣдутъ сюда: Власова хочетъ, чтобы я увидѣлъ ее красавицею. Но и охота же мнѣ писать такой вздоръ! и если трудно убивать время въ ожиданiи возвращенiя Мери иначе, какъ писаньемъ, самымъ радикальнымъ средствомъ противъ скуки, то нельзя ли спросить мнѣ у самого себя: умно ли то самое, что я дожидаюсь возвращенiя Мери? Я хочу удалиться отъ нея; она предвидѣла это, предсказала, мы даже простились; къ чему же еще новое объясненiе, еще прощанье? Рука устала писать, это много помогло просвѣтленiю моего ума: бросаю писать и думаю, что не буду ждать Мери, уѣду, если не сяду играть въ шахматы съ Викторомъ Львовичемъ.

Три часа ночи. Чудо, что за умница Настя! Но можно отложить до утра описанiе ума ея; а теперь лучше будетъ лечь и уснуть.

7. Проснувшись, иду къ Ивану Антонычу: „Гдѣ Марья Дмитрiевна? Въ своей комнатѣ?“ — „У Надежды Викторовны“. — „Что жъ она дѣлаетъ у Надежды Викторовны?“ — „Всѣ шьютъ“. Что за швейный народъ! — „Что-жъ онѣ шьютъ, Иванъ Антонычъ? Тоже персидскiй нарядъ? Кому еще?“ — „Не персидскiй, Владимiръ Алексѣичъ, а сарафанъ для Надежды Викторовны.“



Власова говоритъ, Владиміръ Алексѣичъ: сарафанъ будетъ очень идти къ Надеждѣ Викторовнѣ. А что вы думаете, Владиміръ Алексѣичъ: Власова-то, какая красивая въ персидскомъ нарядѣ. Просто узнать нельзя. Ей Богу, такъ это скрасило! можно сказать, чудо! Да вотъ увидите. Она и жалѣла вчера, что онѣ не застали васъ, вы ужъ уѣхали; больше всего хотѣла показаться вамъ. И какъ обрадовалась, когда поутру услышала, что вы воротились, а не уѣхали! — „Прекрасно; скажите же ей, что я всталъ, жду, пусть выйдетъ, покажется, похвалю“. А въ самомъ дѣлѣ, пусть она выйдетъ,—тогда и Надежда Викторовна съ Марьей Дмитріевною бросятъ шить, а мнѣ хотѣлось бы поскорѣ увидѣть Марью Дмитріевну.— „Нѣтъ, Владиміръ Алексѣичъ: шутница опять сказала, не будемъ вставать, пока не дошьемъ. Экая веселая, эта Власова! Люблю такихъ, Владиміръ Алексѣичъ!“ Такихъ нельзя не любить. Иванъ Антонычъ правъ. Пусть забавляется, развлекаетъ и другихъ, и мою добрую Мери. Могу подождать, пока будетъ готовъ сарафанъ. Успѣю поговорить съ Мери, тѣмъ больше успѣю, что и не о чемъ, все уже было сказано ею въ томъ миломъ прощаньѣ.

Признаться, не стоило-бъ, да и не слѣдовало бы писать о Настѣ, когда любишь такую славную молодую даму, какъ Власова, такую дѣвушку какъ Надежда Викторовна, и когда друженъ съ такимъ благороднымъ человѣкомъ, какъ моя милая Мери. Подумавши о нихъ, стыдно вспоминать о своихъ нѣжностяхъ съ этой безстыдницей. Но—долгъ выше; надобно быть добродѣтельнымъ; Настя—это драгоценность для подкрѣпленія молодого человѣка въ добродѣтели.

Добродѣтель не можетъ огорчаться, встрѣчая неожиданное сопротивленіе со стороны порока. Я былъ огорченъ Настею. Но огорченія добродѣтельныхъ людей не могутъ быть продолжительны: Провидѣніе бодрствуетъ и утѣшаетъ; то самое, что сначала показалось огорчительнымъ, обращается въ пользу добродѣтельному и радуется его. Это сбылось и надо мною: принялъ Настю въ свои объятія съ огорченіемъ, а черезъ полчаса уже самъ гонялся за нею съ большимъ удовольствіемъ. Умная куколка, въ тысячу разъ умнѣ меня!

Уставши вчера писать, разсудилъ, что если не удастся сѣсть убивать время за шахматами, не стану скучать безъ дѣла, не буду ждать Надежду Викторовну и Мери, поѣду похищать прекрасное дитя съ формами двадцатилѣтней дѣвушки и невиннымъ сердцемъ. Оказалось, что Викторъ Львовичъ ушелъ гулять. Я поѣхалъ принять на себя заботу о нравственномъ возрожденіи дѣвицы, по простодушію задирающей ножки выше, нежели одобряется обществомъ. Солнце было еще не совсѣмъ близко, когда будущій воспитатель завидѣлъ деревню Дедюхиной.

По дорогѣ отъ дома, навстрѣчу мнѣ шла—я узналъ по ногамъ, до колѣнъ обрисовывавшимся изъ подъ юбочки, прежде чѣмъ можно было разсмотрѣть даже хоть цвѣтъ платья,—шла Настя; завидѣвши экипажъ, нуждающаяся въ нравственномъ возрожденіи бросилась бѣжать къ приближающемуся возродителю, хорошенькая и невинная моя!—она ждала меня и съ какимъ рвеніемъ стремится она къ общаннымъ ананасамъ, хоть еще и не предчувствуетъ, что они болѣе, нежели ананасы: они залогомъ ея возрожденія! На разстояніи, соразмѣрнымъ способности моихъ глазъ при помощи очковъ, сталъ я видѣть, какъ



развѣвается юбочка ея, мелькають изъ подъ юбочки колѣни, разгорѣлось лицо, еще мигъ, она вспрыгнула въ коляску и прямо, со всего маха, накинута — не на корзиночку съ ананасами, а на самого меня, — я успѣлъ покачнуться впередъ, опершись руками о подушку, чтобы она не опрокинула меня и не хлопнулась лицомъ о задъ коляски, а она, стиснувши меня, рыдала скороговоркою: „миленькій, что вы хотите сдѣлать со мною? Вы хотите просить — она говорила мнѣ — вы хотите просить Зинаиду Никаноровну, чтобы она отдала меня вамъ! Миленькій, пожалуйста, не просите! Вы убьете меня, миленькій, если возьмете меня къ себѣ! Я, миленькій, всегда готова съ удовольствіемъ дѣлать съ вами все, что только хотите, и безъ ананасовъ, съ удовольствіемъ, миленькій, потому что я очень полюбила васъ, миленькій, только вы убьете меня, миленькій, если станете просить ее, чтобы она отдала меня вамъ, потому что она отдастъ — отдастъ, охъ, отдастъ! — а я ни за что не хочу жить съ вами, миленькій, только не просите меня у нея, тогда и безъ ананасовъ, миленькій, я такъ люблю васъ, что никому, кромѣ васъ, не дамъ и дотронуться до себя, если вамъ это не нравится! Ей-Богу никому — и Федѣ не дамъ даже и пощупать меня, не то, чтобы другое что, неприятнѣе для васъ, — а васъ, пожалуй, и въ банѣ буду мыть и хоть среди самаго сна будите меня, буду просыпаться для васъ“.—Цѣлый дождь слезъ лился мнѣ на лицо, а тискала она меня изо всей силы, такъ, что иной разъ трудно было перевести духъ. Непонятная связь мыслей, но общій смыслъ ясенъ: она не хочетъ быть моею любовницею.

Я обнялъ ее и сталъ успокаивать, велѣвъ кучеру ѣхать шагомъ: видно, что разговоръ пойдетъ интимный, который надобно кончать подальше отъ ушей Зинаиды Никаноровны: нѣтъ, не для ананасовъ она ждала меня на двѣ версты передъ домомъ! — „Не плачьте, Настенька, я не буду просить Зинаиду Никаноровну, не бойтесь, я не хочу ничего такого, на что несогласны вы сами“.—Она понемножку увѣрилась и успокоилась.

— Вы совсѣмъ перестали бояться, что я буду просить васъ себѣ у Зинаиды Никаноровны? — Да, да, совсѣмъ перестала бояться, — она прыгала въ коляскѣ такъ, что мнѣ надо было держать ее, чтобы она не вывалилась; она хлопала въ ладоши и накидывалась на меня целоваться. — Хорошо, Настенька; но скажите же мнѣ, я не могу понять: почему вы не хотите, чтобы я выпросилъ васъ себѣ у Зинаиды Никаноровны, когда вы такъ рады любить меня даже безъ ананасовъ? Да усадитесь, а то упадете; я усадилъ ее, поднялъ корзиночку, поставилъ ей на колѣни, чтобы ей нельзя было вспрыгнуть. Берите ананасъ, кушайте и растолкуйте, почему мнѣ не просить васъ себѣ у Зинаиды Никаноровны?

Она схватила ананасъ. — Самая важная причина, душенька, — она откусила — самая важная; безъ самой важной — она зачавкала — причины я ничему на свѣтѣ не была бы такъ рада, какъ тому, чтобы вы выпросили меня себѣ — она опять почавкала, — душенька моя, потому что я ужасно полюбила васъ.

Кусая, чавкая, кусая и чавкая, она объяснила мнѣ „важную причину“ — причина, дѣйствительно, важная; какъ ни суди, какъ ни огорчайся, а нельзя не признаться: умница моя куклолка, очень благоразумная куклолка.

Зинаида Никаноровна очень любить ее; Зинаида Никаноровна давно говорить ей, что она еще глупа, надобно ей быть умнѣе; но Зинаида Никаноровна только такъ называетъ ее глупою, а сама-же говорить и то, что она хоть и глупа, но все же не такая глупая, чтобъ нельзя было ужъ и положиться на нее, что она будетъ становиться умнѣе. Она и теперь ужъ довольно умная, и сама Зинаида Никаноровна видитъ это. Да, разумѣется, видить, а то не стала бы думать, что можно будетъ отпустить ее жить своимъ умомъ, не стала бы думать и общать, потому что любить ее. А Зинаида Никаноровна общала ей: вотъ, со дня на день Зинаида Никаноровна ждетъ Ивана Кириллыча, — Иванъ Кириллычъ братъ Петра Кириллыча, только не такой: Петръ Кириллычъ дуракъ и только умѣетъ бездѣльничать, да воровать головы сахару, да выпрашивать деньги — вчера онъ выпросилъ у Зинаиды Никаноровны 15 рублей — ахъ, какаѧ добрая эта Зинаида Никаноровна — вовсе и не нужно бы давать: пусть не крадетъ, урокъ бы ему, — но Иванъ Кириллычъ не такой: онъ умный и сколько получаетъ! Онъ дослужился до полковника и командовалъ полкомъ и сколько онъ получалъ! А теперь онъ будетъ полицейстеромъ — гдѣ-то, Богъ знаетъ гдѣ-то, не вспомнить, только въ самомъ большомъ и хорошемъ городѣ, тамъ и хлѣбомъ торгуютъ и ужасно богатые тамъ купцы! и онъ будетъ получать много, много — ужасъ сколько! И онъ теперь въ Петербургѣ, по этимъ хлопотамъ, и ужъ опредѣленъ и скоро выѣдетъ на свою должность и заѣдетъ въ Симбирскъ, тамъ у него мать; чтобъ она посмотрѣла на него, порадовалась, и оттуда проѣдетъ къ Зинаидѣ Никаноровнѣ, — непременно, онъ общался; и Зинаида Никаноровна не пропуститъ его, пошлетъ Петра Кириллыча въ Симбирскъ взять его, привезти, если-бъ онъ самъ сталъ забывать, что общался прѣхать и къ брату, да и не забудетъ самъ! онъ переписывается съ Зинаидою Никаноровною и ужасно любить ее! и Зинаида Никаноровна общалась ей отдать ее ему: онъ возьметъ, непременно! Зинаида Никаноровна говорить: „онъ возьметъ тебя, Настя, я устрою это“, говорить Зинаида Никаноровна. И какъ хорошо говорить ей Зинаида Никаноровна. „Я и не подумала бы, Настя, что надобно устроить это, потому что ты еще слишкомъ глупа, но такой хорошій случай, Настя, нельзя пропустить“, и все говорить, какъ надобно быть умною... Настя стала рассказывать мнѣ, какъ надобно ей быть умною...

Она понимаетъ очень удовлетворительно. Я не могъ не успокоиваться за ея будущность, слушая, какъ прекрасно понимаетъ она. Конечно, нельзя надѣяться, чтобы на первое время не дѣлала она ошибокъ. Но первое время проведетъ она подъ глазами Зинаиды Никаноровны: Зинаида Никаноровна будетъ тогда внимательно надзирать за нею, не пропуститъ безъ замѣчанія ни одной ошибки, въ родѣ болтанья ногами кому-нибудь постороннему, и Настя, умница, скоро пріучится заголять ноги осмотрительнѣе. Я убѣжденъ, полицейстеръ не увидитъ никакихъ ошибокъ, а если-бъ и случилось ему замѣтить и разсердиться, при Зинаидѣ Никаноровнѣ не возникнетъ серьезнаго недоразумѣнія... А черезъ какой-нибудь мѣсяць можно будетъ и отпустить его съ Настею, Настя уже будетъ умѣть совершенно избѣгать ошибокъ: умная дѣвушка очень скоро отвыкнетъ отъ легкомыслія, а Настя умница.

Такъ смѣюсь я теперь; но тогда, мнѣ было грустно за Настю... Я даже

стала говорить ей, что Зинаида Никаноровна любитъ ее, конечно, но дурная женщина и много учить дурному.

Съ минуту Настя слушала, вытаращивъ глазенки. Потомъ расхохоталась: ахъ, душенька, какую глупость вы говорите!

Въ самомъ дѣлѣ, глупость. Проживъ со мною полгода, Настя могла бы, вѣроятно, безъ смѣха слышать, что плутовать — нехорошо, что люди, которые учатъ плутовать — нехорошіе люди. Начинать внушать ей такія дикія для нея понятія на второй день знакомства было слишкомъ рано. И слишкомъ поздно, когда узнано, какое счастье обѣщано ей Зинаидой Никаноровною. Слѣдовало бы понять это и не начинать. Я и понималъ, а все-таки не только началъ, но даже и послѣ основательнаго ея замѣчанія продолжалъ... Задушевный, неумолкаемый, неудержимый хохоть ея скоро парализовалъ мой языкъ. Побѣдоносная Настя съ искреннимъ сожалѣніемъ сказала: „Душенька, если вы будете думать такъ смѣшно, вы будете самый несчастный человѣкъ“, развалилась, откинувшись на спинку коляски, разинула ротъ какъ можно шире, запихала въ него, напирая обѣими руками, ананасъ какъ можно больше, разложила руки вдоль боковъ и осталась такъ, съ раскорченной мордочкою, съ торчащимъ изъ нея ананасомъ. Ъсть больше было, должно быть, приторно, а выпустить сласть изо рта было жаль; а, главное, очень нравилось, что удалось разодрать ротъ такъ широко: удовольствіе удивительнымъ уснѣхомъ свѣтилось въ глазахъ. Бѣдная побѣдоносная Настя! она не знала, сколькихъ ананасовъ лишила себя своимъ простодушнымъ справедливымъ смѣхомъ! А во мнѣ, хоть и омраченномъ благородною скорбью о паденіи моего умнаго плана, уже зрѣла мысль, что когда такъ, это мой послѣдній визитъ къ ней. Она красива, это правда; но въ нашемъ селѣ найдутся десятки куколокъ, не уступающихъ ей ни въ чемъ, ни даже въ безстыдствѣ, если оно нужно. Теперь я уже пріѣхалъ къ ней и пусть не пронадеетъ вечеръ. Но больше не видать тебѣ меня, милая куколка! двадцать верстъ, большой расходъ и, хуже всего, мерзкая Зинаида Никаноровна! Буду находить свое ближе, дешевле и безъ непріятнаго общества...

Я велѣлъ кучеру пустить лошадей рысью. Мы прокатили по деревнѣ, представляя великолѣпное зрѣлище публикѣ: я прямой, скрестивши руки на груди, смотрящій прямо впередъ, какъ разъ въ локоть кучеру, — Настя, развалившись, задравши вверхъ мордочку, раскорченную торчащимъ ананасомъ...

Вчера я сказалъ Зинаидѣ Никаноровнѣ, что буду серьезно говорить съ ней о Настѣ. И надобно было говорить. И стала говорить — хоть не совсемъ то, что предполагалъ вчера. Настя очень нравится мнѣ; чрезвычайно жалѣю, что не могу взять ее на содержаніе: она въ одинъ мѣсяцъ запутала бы меня въ долги на цѣлые годы. Но хочу сдѣлать для нея, что могу. Связь между нею и Зинаидою Никаноровною, конечно, не ослабѣетъ, если получить вольную. Я желалъ бы знать... Зинаида Никаноровна перебила меня, покраснѣвши. — Зинаида Никаноровна покраснѣла! — я не вѣрилъ своимъ глазамъ! — и не вѣрилъ своимъ ушамъ: Зинаида Никаноровна безъ аффектаціи говорила, что выкупъ не нуженъ, что она благодарна мнѣ за то, что я напомнилъ ей; давно, давно слѣдовало перечислить Настю изъ крѣпостныхъ въ мѣщанки, ей стыдно, что она все забывала объ этомъ... Это были искреннія слова, простые,



человѣческія. Я былъ изумленъ, почти растроганъ. Конечно, черезъ минуту привычка къ мерзкому комедіантству взяла свое: пошли идеальности, эфирности, жеманство.

Я писалъ это въ половинѣ или концѣ перваго, мало думая о пустякахъ, которые записывалъ только отъ скуки, чтобы убить время въ ожиданіи, когда наконецъ будетъ шить сарафанъ, Мери будетъ выпущена Власовой изъ-подъ ареста, потому что и персидскій нарядъ самой Власовой и сарафанъ Надежды Викторовны я считалъ дѣломъ этой милой, веселой молодой дамы, тѣмъ больше считалъ ея изобрѣтеніемъ клятву шить не вставая, пока не дошьютъ. Вошелъ Иванъ Антонычъ и сказалъ, что Надежда Викторовна послала его взглянуть, занятъ ли я или нѣтъ; если занятъ, пусть онъ ничего не говоритъ, если и не занятъ, пусть онъ попроситъ меня выйти къ ней: она въ библіотекѣ. Онъ разсудилъ: когда же дождешься, что я не занятъ? Я всталъ и пошелъ.

Милая, добрая дѣвушка извинилась, что будетъ просить меня объ услугѣ: она не такъ дружна со мною, чтобы имѣла право; но услуга, о которой она попроситъ, не будетъ, конечно, тягостью для меня. Вчера, еще у Власовыхъ, она замѣтила, что глаза у Мери нѣсколько красны. Мери сказала: „Не знаю; должно быть отъ вѣтру и пыли по дорогѣ“. Она повѣрила. Нынѣ за шитьемъ сарафана опять видитъ: глаза у Мери нѣсколько красны. Мери сказала: „Не знаю; развѣ остается отъ вчерашняго“. Она все повѣрила, но сказала, что не слѣдуетъ утомлять такихъ глазъ шитьемъ. Мери говорила: „Это ничего“ и не слушалась—она и Власова взяли у Мери и велѣли ей уйти, чтобы она не усаживалась опять шить. Когда Мери ушла, Власовой скоро надоѣло шить и она легла читать. И Надежда Викторовна пошла взять книгу,—книга, которую она читала, осталась у нея въ провансальской бесѣдкѣ. Она входитъ туда и видитъ: Мери сидитъ за столомъ и плачетъ, по столу разсыпаны цвѣты. „О чемъ вы плачете, Мери?“—Но у Мери уже спокойное, даже веселое лицо, и въ рукахъ цвѣты: „Я и не думала плакать; развѣ отъ рѣзи въ глазахъ навернулись слезинки“.—„Вы плакали, Мери“.—„Да вовсе нѣтъ, видите, плела гирляндочки на сарафанъ и сплету вѣнокъ, это тоже надобно для русскаго наряда. Хорошо я выбрала цвѣты?“—„Вы плакали, Мери. Чѣмъ огорчены вы?“—„Да что это вы, Надежда Викторовна?“—„Чѣмъ огорчены вы?“—(Конечно, Надежда Викторовна выражала ей участіе гораздо нѣжнѣе, нежели передавала мнѣ свои слова). „Кѣмъ огорчены вы? Вы не хотите сказать. Я подумаю, что я сама чѣмъ-нибудь огорчила васъ“.—„Вы, меня?“ съ порывомъ воскликнула Мери и схватила поцѣловать руку Надежды Викторовны; Надежда Викторовна едва успѣла отдернуть руку. „Вы совсѣмъ разстроены, Мери“.—„Нѣтъ, Надежда Викторовна, я была спокойна и весела, но ваша доброта растрогала меня. Я люблю васъ, Надежда Викторовна; только; я очень люблю васъ. Но оставьте меня, Надежда Викторовна; перестаньте ласкать меня, или я вовсе расплачусь“. Что такое съ Мери? Я другъ ей, мнѣ она скажетъ, вѣроятно. Она, вѣроятно, еще тамъ въ провансальской бесѣдкѣ. Она опять съѣла плести уборы для русскаго наряда, который выдумала Надеждѣ Викторовнѣ Власова съ ея же словъ.

Я былъ радъ, что Мери, наконецъ, одна, что я могу переговорить съ нею. Я думалъ, что знаю, о чемъ она плакала: о томъ, что я увидѣлъ на-



добнось держать себя далеко отъ нея; быть можетъ, немножко и о томъ, что я слишкомъ легко подчинился этой обязанности: съ нашего прощанья передъ моимъ первымъ визитомъ Зинаидѣ Никаноровнѣ прошло два дня, и пусть еще не было минуты, когда бы я могъ поговорить съ Мери, но два дня! я могъ бы написать, если не находилось минуты видѣть ее наединѣ. Я думалъ, что она огорчена и моею связью съ Настею; она еще не могла узнать, что я не хочу видѣть больше эту жалкую дѣвушку; она должна опасаться, что Настя разоритъ меня, будетъ вводить въ безразсудства. Да и обидно ей, думалъ я, что ея другъ могъ связаться съ такою пошлою дѣвушкой. О ревности нечего думать: Мери такъ же мало, какъ Власова, расположена ревновать меня; но и Власовой, если Власова знаетъ, должно быть непріятно это: женщина не можетъ не чувствовать себя оскорбленною, когда ея знакомый съ удовольствіемъ переходитъ изъ ея честнаго общества къ пошлости, которую унижаетъ достоинство женщины. Мери дружнѣе со мною, чѣмъ Власова, потому должна и чувствовать обиду болѣе горько. Такъ понималъ я.

Я отворилъ дверь бесѣдки. На столѣ лежали гирлянды. Мери сидѣла и плела вѣнокъ. Онъ выпалъ изъ ея рукъ, краска бросилась въ щеки ей, но это былъ только мигъ смущенія; я еще не переступилъ порога, Мери уже владѣла собою: хоть вся вспыхнувшая, спокойнымъ движеніемъ нагибалась поднять вѣнокъ, подняла и, держа его обѣими руками, будто хотѣла продолжать плестъ, подняла на меня смѣлый взглядъ, твердо сказала: А, это вы, Владиміръ Алексѣичъ!

Я остановился; такъ холоденъ былъ взглядъ, и такъ странно звучалъ твердый голосъ, будто вызовомъ на борьбу, будто она встрѣчаетъ врага,—что это такое? Развѣ то, что она оскорблена моею связью съ Настею еще гораздо сильнѣе, нежели думалъ я! Ревности не можетъ быть въ ней; но она стала презирать меня! Такъ я понялъ. И точно: въ ея взглядѣ я читалъ: „что вамъ угодно, милостивый государь? Зачѣмъ вы изволили пожаловать сюда? Вы должны были понимать, что я не хочу видѣть васъ“. И точно, изъ словъ Надежды Викторовны о шитьѣ сарафана я понималъ: эта поѣздка къ Власовой, это шитье персидскаго наряда для Власовой, какъ и этотъ сарафанъ— все только для того, чтобъ уклоняться отъ свиданія со мною,—такъ чуждъ я сталъ ей! Болѣе, нежели чуждъ, поясняя мнѣ ея взглядъ: она встрѣчаетъ меня будто врага! Сердце мое тоскливо сжалось.

— Марья Дмитріевна, вы не подаете мнѣ руки!

Лицо ея мгновенно измѣнилось: просвѣтлѣло радостью, прежняя нѣжная дружба свѣтилась въ ея взглядѣ.

— Вы хотите, чтобъ я подала вамъ руку? Она спокойно встала и шла ко мнѣ. Вы остаетесь моимъ другомъ? Благодарю васъ! Она обняла тихо и крѣпко и безъ поцѣлуя, какъ обнимались мы съ Ликаонскимъ, когда онъ уѣзжалъ, какъ обнимаются друзья, когда хотять показать: эта сила чувства— не порывъ, это сила моего постоянного расположенія къ тебѣ. Вы не усомнились во мнѣ, Владиміръ Алексѣичъ? Благодарю васъ! Она крѣпко прижала меня къ своей груди и спокойно сѣла.

Я и шелъ къ ней, уже предрасположенный быть глубоко взволнованъ. Я былъ теперь нѣжно, нѣжно растроганъ; понималъ, что если я сяду и дамъ

себѣ волю разговориться, то расчувствуюсь до слезъ. А слезы—плохое свидѣтельство непоколебимости. Я понималъ, что не долженъ садиться. Надобно покороче, поскорѣе сказать, что надобно сказать, и уйти, пока еще не хлынутъ слезы.

— Нѣтъ, Марья Дмитріевна, я не могъ усомниться въ васъ. Когда я послѣ вашего великодушнаго прощанья со мною понялъ, что долженъ держать себя далеко отъ васъ, въ тотъ же мигъ я понялъ, что вы давно знали все, чего я не предполагалъ, что вы давно пренебрегли молвою о нашихъ отношеніяхъ и впередъ хотите пренебрегать ею, удерживать меня въ прежней близости къ вамъ. Но я не соглашусь уступить. Я слишкомъ люблю васъ. Моя небрежность о вашемъ добромъ имени происходила именно отъ того, что я чрезвычайно искренно люблю васъ. Не знаю, почему, но я не думалъ о себѣ, какъ о вашемъ мужѣ,—нѣтъ, знаю почему: потому, что видѣлъ, мнѣ нельзя думать о себѣ, какъ о вашемъ мужѣ. Поэтому я не могъ помнить, что вы женщина. Вы видѣли это; вы видѣли, я не помнилъ, что вы молода, что вы хороша собою. Такъ сильно уваженіе къ вамъ даже надъ моими мыслями. Какъ же могу я позволить себѣ продолжать быть вреднымъ для васъ? Нѣтъ, я не могу согласиться на ваше великодушное безстрашіе, чтобы продолжалась наша близость, чтобы возобновлялись поводы къ молвѣ, будто бы я вашъ любовникъ. Нѣтъ, мы должны стать чужды другъ другу, и будемъ чужды.

Я чувствовалъ, что надобно высказать все, пока еще не расплакался, и договорилъ, не останавливаясь, хоть видѣлъ, что мои слова производили на нее впечатлѣніе вовсе не такое, какъ бы слѣдовало по моимъ ожиданіямъ. Я предполагалъ, что она болѣе или менѣе знала впередъ мои мысли. Но она слушала, будто совершенно неожиданныя новости: ея лицо выражало удивленіе, ея руки сложились на поясѣ, рука объ руку, пальцы ихъ сжимались, плечи приподнимались, будто она изумляется, не знаетъ, что и думать о томъ, что слышитъ, такъ это несообразно съ ея предположеніями.

— Что такое вы говорите, Владиміръ Алексѣичъ? Такъ ли я поняла васъ? Васъ называютъ моимъ любовникомъ? Кто?

— Зинаида Никаноровна Дедюхина.

— Неужели она сказала вамъ, что я ваша любовница? Я вижу, что не ошиблась въ смыслѣ вашихъ словъ, но не ошиблись ли вы въ смыслѣ ея словъ? Но нѣтъ, что же я спрашиваю! Вы сами не могли хотѣть того, что я, по ея мнѣнію, ваша любовница! Вы не могли приписывать ей такой мысли! Я не понимаю, рѣшительно не понимаю! Я ослышалась, вы сказали не то,—или вы ослышались и отвѣчали не на тотъ вопросъ, который я сдѣлала!

Мери говорила съ недоумѣніемъ, съ изумленіемъ, но была далека отъ всякаго патетическаго настроенія,—гнѣвнаго ли, сантиментальнаго ли; потому и я уже не могъ опасаться, что дѣло у меня дойдетъ до слезъ. А видно было, что разговоръ затягивается. Я сѣлъ.

— Я совершенно ясно понялъ вашъ вопросъ, Марья Дмитріевна, и вы совершенно ясно поняли мой отвѣтъ.

— Но это странно, Владиміръ Алексѣичъ!—Она пожала руками и плечами.—Зинаида Никаноровна Дедюхина сказала вамъ, что я ваша любовница? И вы пришли сюда затѣмъ, чтобы сказать мнѣ, что вы сохраняете прежнія

чувства ко мнѣ, не хотите избѣгать меня, чтобы не продолжать компрометировать меня? Такъ?

— Совершенно такъ, Марья Дмитріевна.

— Значить, такъ. Но воля ваша, это странно.

— Марья Дмитріевна, вы держали себя со мною не такъ, чтобы я могъ думать, что я сколько-нибудь нравлюсь вамъ или успѣлъ бы понравиться. Я и теперь вижу все то же. Вы любите меня, какъ Надежда Викторовну.

— Конечно такъ; если бы вы не видѣли этого, между нами не могло бы быть такихъ спокойныхъ и пѣжныхъ отношеній. Но я и спрашиваю васъ вовсе не о томъ, почему вы, услышавъ, что я ваша любовница, не дѣлаете мнѣ предложенія. Я спрашиваю васъ: какъ мнѣ понять, что вы пришли передать мнѣ это мнѣніе Зинаиды Никаноровны Дедюхиной, — ваше рѣшеніе избѣгать меня и кончили тѣмъ? Неужели это все, что вы хотѣли сказать мнѣ? Я ждала совершенно иного разговора, вовсе не о Дедюхиной и не о томъ, что я ваша любовница.

— Марья Дмитріевна, я въ свою очередь не знаю, что такое вы говорите мнѣ? Какого другого разговора вы могли ждать отъ меня? Скажите мнѣ—я ничего не понимаю.

Она задумалась. Пристально посмотрѣла на меня. Но на моемъ лицѣ не было ничего, кромѣ полнѣйшаго недоумѣнія. Я видѣлъ, она очень хорошо понимаетъ, почему я никогда не воображалъ ее ни своей женой, ни своею любовницею и продолжаетъ попрежнему не желать, чтобы я увлекся такими фантазіями. Чего-жъ она хочетъ отъ меня, когда не хочетъ предложенія? Я не понималъ и терпѣливо ждалъ, пусть же она скажетъ. Она пристально всматривалась въ это смирное и бессмысленное, какъ у овцы, выраженіе моихъ глазъ и опять задумалась.

— Неужели я была введена въ ошибку?—сказала она опять, пристально смотря на меня. — Прошу васъ, расскажите мнѣ все, что слышали, узнали, все, что вы говорили, все, что вы думаете. Вы получили записку отъ Дедюхиной, не хотѣли, но потомъ рѣшились ѣхать, — узнавъ, что вы ѣдете, я простилась съ вами. Какъ вы понимаете это прощанье?

— Вы предвидѣли, что я услышу отъ Дедюхиной, будто бы я вашъ любовникъ и увижу, что обязанъ держать себя далеко отъ васъ. Я сейчасъ говорилъ вамъ это. Вы сказали, что не предвидѣли этого. Стало быть, ваше прощанье со мною имѣло другой смыслъ. Какой? Не тотъ ли, что вы предугадывали какими пошлостями я увлекусь?

— Вы говорите объ этой жалкой дѣвушкѣ? Да, я не считала невозможнымъ этого. Но это не казалось мнѣ важнымъ. Пусть у васъ пропадетъ нѣсколько денегъ на ея прихоти: бѣда не очень велика, вы скоро образумитесь: вы не можете оставаться очарованъ такимъ ничтожнымъ существомъ. Я не боюсь за васъ. Я не думала объ этомъ, прощаясь съ вами. О чемъ же я думала? Нѣтъ, я вижу, вы не знаете. Я вижу, я ошиблась, подумавъ, что ваша дружба ко мнѣ одолѣла всѣ тѣ сомнѣнія, которыхъ я боялась. Я вижу, я ошиблась, обнявъ теперь васъ, какъ друга, который не покинетъ меня въ тяжелыхъ страданіяхъ, которыя ждутъ меня. Можетъ сбыться то, чего я опасалась: изъ друга вы можете стать моимъ врагомъ, преслѣдователемъ. Но пока

вы еще не разлюбили меня и я прошу васъ отвѣчать всю правду на мои вопросы; вы общаетесь?

Она говорила это съ такою глубокою печалью, что я опять былъ взволнованъ.

— Вы предвидите страданія, Марья Дмитріевна, какія?

— Вражду и преслѣдованіе отъ людей, которыхъ я искренно и очень сильно люблю. Въ томъ числѣ—это я уже и сказала—отъ васъ.

— Пусть всѣ будутъ противъ васъ, но во мнѣ вы не должны сомнѣваться! Моя дружба къ вамъ останется неизмѣнна!—горячо сказалъ я. Мнѣ казалось, что теперь я понимаю все: она влюблена въ кого-нибудь! Въ кого? Неужели во Власова? Онъ любить жену, онъ не могъ завлекать Мери и если бы завлекалъ, онъ не лучше меня: слишкомъ неопасный соблазнитель!—Но чего не бываетъ на свѣтѣ? Или, гораздо вѣроятнѣе, какая-нибудь совершенно нелѣпая страсть, напримѣръ, къ какому-нибудь деревенскому парню, — чего не бываетъ на свѣтѣ? Такъ выходило изъ ея словъ. За что, кромѣ такого увлеченія, могли бы возстать на нее люди, которые такъ искренно расположены къ ней, какъ я?—Пусть всѣ будутъ противъ васъ, я останусь вашимъ другомъ! Говорите же, что такое? Вы увлеклись, влюблена?

— Нѣтъ, Владиміръ Алексѣичъ. Я столько страдала отъ увлеченій, что уже довольно, довольно, довольно! — Я давно сказала себѣ: не хочу, не буду—и не буду!—Она сказала это горячо, грустно улыбнулась и спокойно прибавила:—Теперь слишкомъ поздно и жалѣть объ этомъ рѣшеніи, если бы даже была охота жалѣть. Но я просила васъ общаться, что будете отвѣчать всю правду на мои вопросы.

— Буду, Марья Дмитріевна.

— Хорошо. Вы говорите, что Дедюхина считала меня вашею любовницею? Правда это,—и вся правда?

— Да.

— А теперь? Что думаетъ она обо мнѣ теперь?

— Вѣроятно, забыла о вашемъ существованіи.

— Забыла о моемъ существованіи? Убѣдившись, что я не любовница ваша, забыла о моемъ существованіи!

— По всей вѣроятности.

— Вы такъ думаете? Это правда, вся правда?

— Да.

— Я была обманута. Вы не говорили того, что я предполагала, — должно быть такъ. Я вижу по вашимъ глазамъ, вы ничего не знаете. Но нѣтъ, мнѣ все еще не вѣрится.—Послѣдній вопросъ: онъ рѣшитъ все: каковы мои отношенія къ Надеждѣ Викторовнѣ?

— Неужели она подала вамъ поводъ жалѣть, что вы искренно любили ее?—Она, такая добрая и деликатная?

— Нѣтъ. Я хотѣла сказать не то. Я хотѣла сказать, что Викторъ Львовичъ гораздо меньше любитъ ее, нежели слѣдовало бы. Онъ дурной отецъ.

— Вы несправедливы къ нему, Марья Дмитріевна.

— Я справедлива къ нему. Я надѣюсь, что она не будетъ несчастна. Я надѣюсь, что все будетъ къ лучшему для нея. Но—но онъ слишкомъ мало



думаль о дочери. Хорошо, что я могу... хорошо, что я могу—но нѣтъ, довольно! Я не хочу говорить больше.

Мери замолчала и стала плести вѣнокъ. До сихъ поръ мнѣ казалось, что она довольно спокойна. Тутъ я увидѣлъ, что ей стоило большого усилія сохранить спокойный видъ: ея руки дрожали.

— Вы слишкомъ любите Надежду Викторовну, — она заслуживаетъ того. Но это дѣлаетъ васъ несправедливою къ ея отцу. Можно ли сказать, что онъ мало думаетъ о дочери, когда чувство отцовской обязанности дало ему силу разорвать связь съ Дедюхиною?

Мери промолчала и усиливалась плести вѣнокъ. Но руки ея дрожали.

— О, какъ мнѣ тяжело, Владиміръ Алексѣичъ? Прошу васъ, уйдите, или я не знаю, что будетъ со мною—мнѣ кажется, со мною будетъ истерика.

Лицо ея становилось блѣдно, грудь волновалась; я не зналъ, что мнѣ дѣлать: уйти, какъ она велитъ, и послать къ ней кого-нибудь, — Надежду Викторовну или Власову, — но до дома далеко, это пройдетъ минутъ десять. Я боялся оставить ее одну. Я не зналъ хорошенько, что такое истерика, но я зналъ, что это какіе-то ужасные пароксизмы, какія-то конвульсії съ хохотомъ и рыданьемъ. Какъ оставить ее одну на столько времени?—До дома полъ версты.

— Я боюсь оставить васъ одну, Марья Дмитриевна.

— Не бойтесь, это ничего. Уйдите! А уже слышалось, что ей очень трудно говорить ровнымъ голосомъ.

— Боюсь уйти, Марья Дмитриевна.

— Такъ я уйду, пока могу. Она встала и пошла твердымъ шагомъ.

— Это хорошо, пойдемъ вмѣстѣ, тамъ въ домѣ съумѣли бы ухаживать за вами, если бы что случилось.

Она казалась спокойною, только блѣдна, и грудь ея волновалась. Такъ прошли мы шаговъ двадцать, — она шла твердою поступью, я начиналъ успокоиваться, — вдругъ она зарыдала съ хохотомъ и упала. Я подхватилъ ее за руку.

— Назадъ, въ бесѣдку! Пусть не слышать! — Она опять шла, шатаясь: Назадъ! въ бесѣдку! — Она хохотала: Никто не долженъ слышать! Нѣтъ силъ молчать, — вы мой другъ! — Скрывать отъ васъ! — Нѣтъ силы скрывать дольше! Слишкомъ тяжело! Я все скажу! О, какъ вы любите меня! Вы не понимаете потому, что любите меня! — Неужели вы перестанете уважать меня? Скажите, что вы не будете презирать меня! Нѣтъ силы, стыдно! О, зачѣмъ вы такъ уважали меня? — Я не стыдилась бы! — Скажите же, вы не презираете меня? Я скажу вамъ все! Не могу — душитъ! — Нѣтъ силы молчать, нѣтъ силы сказать! — Идите къ нему, скажите ему, онъ расскажетъ все! Онъ не знаетъ, онъ не долженъ знать! Но вамъ я скажу! — Она рыдала и хохотала, опустившись на мои руки, въ безсиліи. Не могу! Идите къ нему, онъ скажетъ? Не вѣрьте ему, онъ не знаетъ! — Не вѣрьте ему, что онъ обольстилъ меня, — я соблазнила его! — съ конвульсивною силою она рванулась и побѣжала, — сдѣлавъ десять шаговъ — упала.

Я взялъ ее на руки, — она отталкивала ихъ, но слабая, какъ маленькій ребенокъ, — я понесъ ее въ бесѣдку, она лежала на моихъ рукахъ, будто въ

летаргіи. Я положилъ ее на диванъ, нѣсколько времени она оставалась безъ движенія и почти не дышала. „Не бойтесь“,—проговорила она—слабо, чуть слышно:—„Все прошло; все сказано и все прошло. Уйдите, безъ васъ мнѣ будетъ легче; мнѣ стыдно васъ—мнѣ стыдно!“

Не знаю—жалость ли или остатокъ прежней вѣры въ благородство ея сердца—или просто то, что я самъ не зналъ, что дѣлаю и говорю—я цѣловаль ея руку и говорилъ: „Марья Дмитріевна, я вѣрю въ васъ, Марья Дмитріевна, вы не можете быть дурною, Марья Дмитріевна, я знаю васъ, у васъ благородное сердце!“

— Нѣтъ, нѣтъ, уйдите, отвѣчала она слабымъ голосомъ:—При васъ я презираю себя, уйдите, или мнѣ будетъ опять дурно.

Я вышелъ и сѣлъ подлѣ бесѣдки, ждать, пока она оправится.

Черезъ полчаса она вышла; все еще нѣсколько блѣдная, но не такая блѣдная, чтобъ это могло показаться поразительнымъ кому-нибудь незнающему,—возбудить подозрѣнія, разговоры: устала или болитъ голова, только. Я пропустилъ ее, молча, потупивши взглядъ. И она прошла, не имѣя силы взглянуть.

Такъ дорожить уваженіемъ честнаго друга, такъ мучиться чувствомъ стыда передъ нимъ—и этотъ благородный стонъ, которымъ она принимала на одну себя всю вину: „онъ не обольщалъ меня, я соблазнила его“—какъ прекрасна могла бѣ она быть, если бы не захотѣла быть дурною!

Я разсудилъ, что Надежда Викторовна, конечно, гораздо больше меня способна вѣрить хорошему, не предполагать дурного. Она ли не повѣритъ тому, въ чемъ былъ убѣжденъ я, когда шелъ на этотъ разговоръ? И она ли усомнится въ чистотѣ моей дружбы къ Мери, когда я былъ способенъ имѣть такое чистое чувство? Думать не хотѣлось, голова была безъ мыслей, будто я толкнулся лбомъ объ стѣну,—я радъ былъ, что у меня есть готовый отвѣтъ для Надежды Викторовны. Онъ былъ хорошъ и тѣмъ, что прекрасно объяснялъ мои будущія отношенія къ Мери.

Надежда Викторовна вышла ко мнѣ въ бібліотеку. „О чемъ же плакала Мери“?—Вы видѣли, Надежда Викторовна, какъ дружны были мы съ нею? Мы забывали, что это можетъ подать поводъ къ сплетнямъ. Я услышалъ ихъ. Я долженъ держать себя дальше отъ Мери. Она плакала объ этомъ.

Милая, добрая дѣвушка,—ее можно называть невинною дѣвушкою не смѣясь. Какъ она была огорчена за Мери!

— Я ставлю себя на ея мѣсто и понимаю, что ей нельзя не плакать. Вы—все общество, которое имѣла, которое можетъ имѣть она здѣсь. Я люблю ее, это правда; но отношенія между нами не могутъ не быть стѣснительны для нея; тѣмъ болѣе, что она горда. Съ Власовыми она держитъ себя свободнѣе, но хоть они очень хорошіе люди, все-таки они помнятъ, что Мери—горничная. Ахъ, это положеніе горничной вовсе не годится для такой гордой, развитой дѣвушки! Какъ не привязана я къ Мери, я желала бы лучше вовсе не видѣть ее, чѣмъ видѣть ее своею горничною! Надобно найти ей другое положеніе, не правда ли? И m-me Lenoir говорила, чтобы я позаботилась объ этомъ. M-me Lenoir говорила, что она можетъ быть гувернанткою; можетъ, не правда ли? Тогда она могла бы опять быть дружна съ нами и никто не говорилъ бы объ этомъ дурно. Вы будете жить у насъ, она

могла бы ѣздить къ намъ каждый день, тогда она могла бы ѣздить въ гости ко мнѣ, не такъ ли? и кто могъ бы говорить дурно? Вы думаете такъ, не правда ли? Потому что и вы тоже очень любите ее, какъ она васъ — не правда ли?

Я сказалъ, что очень люблю Мери и поэтому давно написалъ своимъ знакомымъ въ Петербургѣ, чтобъ они постарались найти для нея мѣсто гувернантки. Я еще не говорилъ ей объ этомъ, чтобъ не заводить спора прежде времени: она такъ любитъ Надежду Викторовну! — Мы оба стали радоваться, что одинаково думаемъ о Мери и о томъ, что надобно сдѣлать для Мери.

Я ушелъ въ свою комнату и поплакалъ о бѣдной Мери: зачѣмъ она захотѣла быть такою дурною?

Но я не хочу отказаться отъ мысли, съ которою я цѣловалъ руку моей бѣдной Мери, говорилъ ей, что не могу считать ее дурною. Нѣтъ, Мери согласится уѣхать отсюда! Она согласится, я знаю: тогда я не буду ненавидѣть ее, осуждать, буду плакать о ней, буду; но буду плакать безъ негодованія, только съ сожалѣніемъ и осуждать ее буду снисходительно. Пусть она уѣдетъ въ Петербургъ. Мы можемъ пріѣхать черезъ нѣсколько дней. Пусть она будетъ любовницей Виктора Львовича, если ей такъ надобно: въ Петербургѣ это можетъ оставаться неизвѣстно, не будетъ вредить отношеніямъ Надежды Викторовны къ отцу. Тогда мнѣ будетъ только жаль мою милую Мери, что она не захотѣла быть такою прекрасною, какою могла быть. Никому, кромѣ нея самой, не будетъ несчастія отъ того, что она захотѣла быть дурною... бѣдная Мери! Такое униженіе, такое великое, добровольное уни...

Я писалъ это — вошелъ Иванъ Антонычъ. „Въ другой разъ нынѣ я отрываю васъ отъ работы, Владиміръ Алексѣичъ“. — „Ничего, Иванъ Антонычъ; моя работа не снѣжная. Что скажете? Опять прислала Надежда Викторовна?“ — „Нѣтъ, Владиміръ Алексѣичъ, я пришель поговорить съ вами“. — Я угадалъ его. — „Что такое, Иванъ Антонычъ?“ — „Да вотъ, о Машенькѣ. Владиміръ Алексѣичъ“. Поутру — еще задолго до обѣда — Машенька пришла изъ саду, онъ видитъ, она будто блѣдная; здорова ли? Она сказала, здорова, только болитъ голова, она ляжетъ, пройдетъ; онъ говорилъ ей, не послать ли за лекаремъ, она говоритъ — не надобно, пройдетъ. Теперь встала, но сидитъ, молчитъ, — онъ боится, не сдѣлается ли къ ночи опять худо? Съ больными такъ бываетъ: пока день, становится легче, а ночью и разболѣются. Какъ я думаю? или онъ попросилъ бы меня пойти взглянуть на нее. Какъ я думаю? — „Она не больна, Иванъ Антонычъ, а только огорчена“. — „Чѣмъ же?“ — Я повторилъ ему то же самое, что говорилъ Надеждѣ Викторовнѣ. Онъ всплеснулъ руками: — „Ахъ, ты Боже мой! Какіе люди есть на свѣтѣ! Да у кого же нѣтъ глазъ видѣть, похожа ли на что-нибудь дурное ваша съ нею дружба? И неужели кто-нибудь изъ нашихъ дома выдумалъ такую глупость, такую подлость?“ — Нѣтъ, не изъ нашего дома, а Зинаида Никаноровна Дедюхина. — „Ну вотъ, это такъ, — отъ нея можно ждать всего!“ — „Но это вы вздумали хорошо, Иванъ Антонычъ: если бы мнѣ поговорить еще разъ съ Марьею Дмитріевною, можетъ быть это было полезно“. Старикъ пошелъ сказать ей.

Умно ли я сдѣлалъ, что сообщилъ и ему идиллическое мнѣніе, которымъ

недавно ослѣплялъ себя? Что, если Мери вздумаетъ воспользоваться этимъ? Если я прослышу ея любовникомъ? Это было бы очень выгодно для нея. А я усердно подготовилъ ей возможность играть моимъ именемъ для прикрытія правды. Мое положеніе будетъ необыкновенно глупо. Пусть, все равно. Лишь бы отвратить серьезныя семейныя неприятности, пусть буду я посмѣшищемъ для нея и для себя самого. Такъ разсудилъ я. А пока разсуждалъ, Иванъ Антонычъ возвратился: Машенька еще не хочетъ говорить со мною, боится опять разстроить себя.

Я подумалъ, не уловка ли это, не отлагаетъ ли она разговоръ, чтобы прежде переговорить съ Викторомъ Львовичемъ, и пошелъ къ нему — по какому побужденію, самъ не знаю. Неужели только по мелочному самолюбію, чтобы думать: „о, нѣтъ, когда разъ понялъ, что хитрятъ со мною, я не дамъ перехитрить себя? Вѣроятно, вы будете говорить, Марья Дмитриевна, что еще не видѣлись съ Викторомъ Львовичемъ послѣ нашего объясненія, — я буду знать, правда ли это“. Или въ самомъ дѣлѣ мнѣ казалось, что для разговора съ нею мнѣ надобно хорошенько всмотрѣться въ Виктора Львовича, знать, до какой степени велика ея власть надъ нимъ? — Мнѣ казалось, что меня ведетъ къ нему эта серьезная надобность. Такъ, или нѣтъ, но я пошелъ къ нему. Онъ читалъ газеты. „Не хотите ли сыграть въ шахматы, Викторъ Львовичъ!“ — „Я никогда не прочь отъ шахматовъ, но я не ожидалъ, что вы захотите, а то самъ позвалъ бы. Я думалъ, вы сильно заняты, вы не выходили обѣдать, велѣлъ подать къ вамъ въ комнату“. — „Онъ былъ въ хорошемъ и разговорчивомъ духѣ, онъ уже и вчера былъ въ такомъ духѣ со мною, не боялся меня, не конфузился. — Я только сказалъ слугѣ, что я занятъ; я былъ не занятъ, а разстроены. Сильно разстроены, огорченъ, тѣмъ, что узналъ нынѣ по утру отъ Марьи Дмитриевны“. — Онъ осовѣлъ, раскрылъ ротъ, закрылъ, не сказавши ничего. Покраснѣлъ. „Вы думали, кажется, что я узналъ это еще третьяго дня вечеромъ отъ Зинаиды Никаноровны Дедюхиной, и должно быть вы такъ передали Марьѣ Дмитриевнѣ, потому-то, вѣроятно, она и избѣгала меня, потому-то, когда я наконецъ нашелъ ее нынѣ по утру, мы съ нею очень долго не могли понять другъ друга“. — „Но неужели вы не знали до сихъ поръ? Какъ же, мнѣ показалось, когда вы говорили со мною по пріѣздѣ отъ Дедюхиной, вы намекали на это?“ — „Не могъ намекать. Вы полагали, что она узнала и сказала мнѣ, потому вы и находили въ моихъ словахъ смыслъ, котораго не было у меня въ мысляхъ“. — „Да, теперь вспоминаю, вы не сказали ничего объ этомъ и вы казались сердитымъ, ушли, сказавши коротко, что Дедюхина оставитъ меня въ покоѣ; вы казались такой сердитый, я не могъ сомнѣваться, что вы узнали все. Такъ я и сказалъ ей“. — А на другой день вы увидѣли, что я нисколько не угрюмъ съ вами и подумали, что послѣ первой досады я примирился съ этимъ? — „Да. Но она была увѣрена, что не примирились; и еще не примирились?“ — „Не умѣю ничего сказать вамъ. Прежде я долженъ поговорить съ Марьею Дмитриевною“. — „Но вы говорите, что нынѣ утромъ у васъ уже былъ разговоръ съ нею?“ — „Да. Но она полагала, что я знаю, чего еще не зналъ и долго не могли понять другъ друга; отъ этого разговоръ вышелъ чрезвычайно тяжелый для меня, — для нея еще болѣе мучительный — съ нею сдѣлалась исте-



рика, она убѣждала и должна была лечь "... — „Она больна?“ — Онъ поблѣднѣлъ, вскочилъ, засуетился. Я долженъ былъ схватить его, чтобъ удержатъ: „Если не пускаете меня — и въ самомъ дѣлѣ, я долженъ сидѣть смиренно, не показывать виду, что она дорога мнѣ, — если не пускаете меня, идите къ ней, узнайте, скажите мнѣ, успокойте меня“. Я насилу растолковалъ ему, по всей вѣроятности это было только изнеможеніе и пройдетъ, если еще не прошло. Но онъ все-таки вытребовалъ, чтобы я сейчасъ пошелъ къ ней, узналъ, сказалъ ему.

„А Машенька моя уже встала, пошла въ садъ и говоритъ, что напрасно не хотѣла говорить съ вами, что для нея лучше будетъ поговорить; но только еще не велѣла звать васъ, сказала, что зайдетъ ко мнѣ, скажетъ, когда позвать васъ, должно быть, прежде хочетъ хорошенько освѣжиться воздухомъ“, сказалъ Иванъ Антоничъ. Я пошелъ въ аллею, которая извиается по берегу большого ручья, — въ ея любимую аллею: я угадывалъ, что она тамъ. Она была тамъ: она шла, опустивъ голову, она была все еще нѣсколько блѣдна. Увидѣвши меня, она покраснѣла и гордо выпрямилась и подняла на меня смѣлый взглядъ.

— Я разсудила, что напрасно отказалась говорить съ вами — это слабость; мнѣ нечего стыдиться. Но я не хотѣла, чтобы вы пришли сюда такъ рано: я видѣла въ зеркало, что я все еще немножко блѣдна, я не хотѣла, чтобы это располагало васъ къ состраданію, я не хотѣла эффекта — и я опасалась, что я покраснѣю, какъ и покраснѣла, — я не хотѣла, чтобы вы видѣли и это, потому что это слабость, которой я стыжусь: не должно краснѣть ничего взгляда, когда чувствуешь, что не сдѣлано ничего дурного, какъ бы ни судили другіе. Я хотѣла подождать сумерекъ, чтобы вы не видѣли ни блѣдности моей, ни напраснаго стыда. Но вы пришли раньше и увидѣли. Все равно. Или тѣмъ лучше. Я хотѣла, чтобы вы не видѣли, какъ я слаба. Но пусть вы видите меня такой, какова я. Тѣмъ лучше: передъ вами мнѣ тяжело притворяться. Вы видѣли Виктора Львовича? Что сказали вы ему? На что онъ согласился?

— Я видѣлъ его, но ничего не говорилъ съ нимъ, кромѣ того, что сказалъ о нашемъ разговорѣ поутру. Я самъ не знаю, зачѣмъ я пошелъ къ нему: затѣмъ ли, что, думалъ, вы хотите условиться съ нимъ, и за этимъ откладываете разговоръ, или затѣмъ, чтобы видѣть, какъ велика ваша власть надъ нимъ. Но я...

— Условливаться съ нимъ? — Нѣтъ, моя власть надъ нимъ была бы слишкомъ мала, еслибъ мнѣ надобно было условливаться съ нимъ, въ чемъ я должна уступить или на что онъ не долженъ соглашаться, я не захотѣла бы такихъ отношеній, я не сдѣлала бы его моимъ любовникомъ. Я и не поѣхала бы сюда, если бы не была убѣждена, что приобрѣту очень сильную его привязанность. Не подумайте, что я хочу хвалиться, вводить васъ въ ошибку, отнимать у васъ бодрость, — нѣтъ, я только хочу сказать вамъ, какъ я понимаю свои отношенія къ нему: я думаю, что я не могу не бояться ничего вліянія на него. Но ошибаюсь ли я въ этомъ или нѣтъ, — я могу и ошибиться въ этомъ, потому что мнѣ еще не было случая испытать мою силу надъ нимъ, — ошибаюсь ли я, или нѣтъ, въ томъ, что я сильнѣе васъ надъ нимъ, во всякомъ случаѣ, я благодарна вамъ за то, что вы не хотѣли гово-

рить съ Викторомъ Львовичемъ прежде, нежели успѣете поговорить со мною. Я вижу въ этомъ остатокъ вашего прежняго расположенія, прежняго довѣрія ко мнѣ. Чего же вы потребуете отъ меня? Я не знаю, на что я не согласусь, кромѣ одного: кромѣ того, чтобы разорвать мои отношенія къ Виктору Львовичу. Это невозможно! Невозможно! я столько работала надъ собою, подвергала себя столькимъ лишеніямъ, перенесла столько неприятностей для осуществленія этой мысли! По прїѣздѣ сюда успѣхъ былъ быстръ, быстрѣе, нежели сама я желала. Но какъ долго, тяжело подготавливалась возможность прїѣхать сюда! Отказаться отъ свободы, подавлять всѣ страсти, отъ чувственности до гордости—нѣтъ, я не могла бы выдержать такого долгаго, тяжелаго стѣсненія изъ-за мысли, отказаться отъ которой была бы способна! Если бъ я могла отказаться отъ нея, давно отказалась бы: путь къ ея осуществленію былъ труденъ, слишкомъ труденъ! Но я не могла отказаться, это было выше силъ моихъ! Не требуйте жъ отъ меня того, чего я не могу! На всѣ другія уступки я готова.

— Я думаю, что можно сдѣлать такъ. Вы уѣдете въ Петербургъ, положимъ, тамъ наплись бы уроки французскаго языка. Вы поселитесь гдѣ-нибудь далеко отъ дома Виктора Львовича. Черезъ недѣлю, черезъ полторы, прїѣдемъ и мы. Въ Петербургъ, если только захотите вы, отношенія ваши къ Виктору Львовичу будутъ оставаться никому неизвѣстны; это необходимо для того, чтобы сохранялось довѣріе дочери къ отцу: она въ такихъ лѣтахъ, что это чрезвычайно важно.

— Совершенная правда. Для хорошаго выбора между женихами очень важно.

— Конечно, для того, чтобы ваши отношенія къ Виктору Львовичу оставались неизвѣстны, вы должны будете подвергать себя большому стѣсненію: роскошная жизнь возбудила бы догадки, обнаружила бы все. Пока Надежда Викторовна выйдетъ замужъ, вы должны будете жить довольно скромно. Прошу васъ, рѣшитесь на это для Надежды Викторовны.

— Я рѣшилась на это. Я буду жить скромнѣе, нежели вы думали бы требовать. Я дѣвушка, живущая уроками, я буду жить довольно бѣдно, я не могла бы жить иначе, не возбуждая злословія. Но это не жертва для пользы Надежды Викторовны, такъ надобно мнѣ самой. Я сама, не для нея, для самой себя, давно рѣшила такъ, съ той минуты, какъ рѣшила бросить Парижъ. Будьте спокоенъ. Ваше требованіе — мое собственное желаніе.

— Когда же вы уѣдете отсюда?

— Когда вамъ угодно, я была бы рада хоть сейчасъ, для меня самой чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, и это уже нѣсколько дней. Я не могла бы уѣхать въ тотъ день, когда—помните?—закрыла вамъ глаза и назвала васъ слѣпымъ; не могла бы уѣхать еще съ недѣлю. Но вотъ уже нѣсколько дней я могу и желала бы уѣхать: моя власть надъ Викторомъ Львовичемъ достаточно упрочена. А когда такъ, вы понимаете, я не могу не желать поскорѣе уѣхать. Быть горничною—это непріятно; но это еще не такъ сильно тяготитъ меня. Я люблю Надежду Викторовну, у насъ не бываетъ гостей, кромѣ Власовыхъ, или, если и бываютъ, другіе не видятъ меня въ роли горничной. А Власовы порядочные люди и обращаются со мною довольно деликатно; не совѣмъ умѣютъ,

это правда, но и невозможно обижаться, когда помѣщики, родовые дворяне, не умѣютъ быть совершенно порядочными людьми; это невозможно для нихъ; довольно того, что желаютъ быть, видишь это и не обижаешься ихъ неловкостями. Оставаться горничною при такомъ нашемъ одиночествѣ, это еще ничего бы. Но ужасно то, что съ каждымъ днемъ ждешь: вотъ сдѣлана какая-нибудь неосторожность Викторомъ Львовичемъ,— вырвалось неумѣстное слово, подмѣченъ взглядъ—и все открыто. Вы видѣли, какъ боялась я, не узнано ли все Дедухиною? Я была почти совершенно убѣждена, она все узнала! Это было страшно неприятное ожиданіе. Это неимоверное счастье, что она еще не дозналась, не догадалась. Но съ каждымъ часомъ, пока я здѣсь, все можетъ открыться! Мнѣ страшно жить здѣсь. Чѣмъ скорѣе уѣхать, тѣмъ лучше для меня! Вы понимаете, Владиміръ Алексѣичъ, что это говорится искренно?

— Ваша власть надъ нимъ упрочена, я вижу это. Вы хотите, чтобы ваши отношенія къ Виктору Львовичу оставались неизвѣстны, я понимаю это, и потому...

— Вы понимаете почему я не хочу чтобы меня знали какъ любовницу Виктора Львовича? — живо сказала она, не давъ мнѣ договорить, — и поблѣднѣла:—О, какъ я увлекаюсь, когда говорю съ вами. Да, это страшная опасность имѣть полное довѣріе къ честному и скромному человѣку! Едва взволнуешься и проговоришься ему. Сколько разъ я проговаривалась вамъ, что я хочу быть, что я стала любовницею Виктора Львовича! Вы не понимали самыхъ неосторожныхъ полу-признаній, вы придумывали самыя натянутыя объясненія, потому что уваженіе ко мнѣ не давало вамъ понимать ихъ; о, какъ вы любили меня! О, какъ горько мнѣ, что я потеряла эту любовь! Но я потеряла ее и я не могу надѣяться, что теперь мои неосторожности могутъ оставаться непоняты. Я увлеклась, я перебила ваши слова, поздно отпираться, или хоть молчать! вы поймете, если еще не поняли. Лучше же полное признаніе, когда поздно молчать. Да, Владиміръ Алексѣичъ: я не желала бы, чтобы Викторъ Львовичъ былъ моимъ любовникомъ. Если бы можно было обойтись безъ этого, было бы гораздо лучше. И бывали минуты, когда я мечтала, что можно обойтись безъ этого. И если-бъ не эта мечта, конечно, безразсудная,—то я почти убѣждена въ томъ, что я не бросила бы Парижъ. Но теперь поздно жалѣть о Парижѣ, съ его свободою и, если не очень уважаемою, то все-таки въ сущности честною моею жизнью. Свобода, веселье, общество—всему я сказала: „прости, прости надолго“—я не совсѣмъ хорошо понимала, какъ тяжело то, на что я рѣшалась. Но теперь поздно!—и давно поздно! — потому что очень давно и съ самаго начала я имѣла и свѣтлыя минуты хладнокровнаго раздумья, когда понимала, что невозможно обойтись безъ этого. О, Владиміръ Алексѣичъ, это трудная жизнь, на которую я обрекла себя! — быть горничною — тяжело, но все-таки это сносно! Подлѣ меня люди, которыхъ я люблю: они всѣ трое—потому что я люблю и его—меньше, нежели Юренку и въ особенности Надежду Викторовну, но люблю и его—вѣрьте, люблю и его: почему-жъ не любить? Онъ добръ, я выросла среди родныхъ, которые учили меня любить его, я всегда была очень хорошо расположена къ нему,—а теперь онъ мой любовникъ; онъ еще не старикъ, онъ еще красивъ, я начинаю привязываться къ нему совершенно искренно, да это

и надобно такъ: онъ такъ безгранично любить меня! — всѣ трое они милы мнѣ, и вы—прежде вы были мой другъ — я искренно люблю и дядю; такъ хорошо жить, даже и будучи горничною, пока я здѣсь, пока я горничная, я еще очень счастлива сравнительно съ тѣмъ, что ждетъ меня въ Петербургѣ: одна, одна и одна... страшно, страшно!—ни друзей, ни подругъ, ни знакомыхъ,—почти не будетъ и развлеченій—жизнь затворницы—ахъ!—я не создана быть затворницей! Но что дѣлать? Такъ необходимо! Перенесу все! Перенесу, но ужасна жизнь, на которую я обрекла себя! Она замолчала и плакала; она давно плакала:—О, какая безотрадная жизнь ждетъ меня!

— У васъ будетъ отрада,—сказаль я, лишь бы сказать что-нибудь, потому что ея ужасъ передъ этою мрачною жизнью тяготѣлъ и надо мною: мнѣ не было жаль ее, потому что она сама избрала для себя всѣ эти лишеныя, но лишеныя были тяжелы, и мысль о такой жизни для нея тяготила меня:—у васъ будетъ отрада, вы забываете...

— Свиданья съ Викторомъ Львовичемъ? Да, они одни будутъ перерывать эту пустую, мрачную монотонность одиночества, но они будутъ визитами въ тюрьму; какъ ни долги, слишкомъ коротки, какъ ни часты, слишкомъ рѣдки, чтобы жизнь въ тюремной кельѣ не была жизнью въ тюремной кельѣ—одинокою, пустою, мрачною...

— У васъ будетъ другая отрада. Я говорилъ о дѣтяхъ.

— У меня не будетъ дѣтей, не будетъ... никогда... Я не должна имѣть дѣтей... никогда! Нѣтъ, его дѣти не будутъ имѣть жалобы противъ меня, что я отниму у нихъ что-нибудь... ни любви его, ни даже части наследства послѣ него... Я не имѣю права, они могли бы тогда справедливо чуждаться меня,—я не хочу этого, они должны любить меня, и пусть они будутъ мнѣ вмѣсто родныхъ дѣтей... Она зарыдала, вскочила и ушла быстрыми шагами.

Я сидѣлъ въ уныніи, горькомъ почти до злобы; какъ прекрасна могла бы она быть, если бы въ ней было поменьше честолюбія! Мнѣ было жаль ее до того, что я негодовалъ на нее: зачѣмъ она захотѣла быть такою, чтобы мнѣ было жаль ее...

— Владиміръ Алексѣичъ, вы еще здѣсь? — раздался ея голосъ, — я услышалъ и легкую, твердую поступь ея по песку дорожки за изгибомъ аллеи: она шла назадъ.

— Еще здѣсь, Марья Дмитріевна.—Я всталъ и пошелъ навстрѣчу.

— Я увлеклась и наговорила много лишняго и ушла, забывши договорить о томъ, что надобно. Я сказала, что мнѣ хотѣлось бы уѣхать и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше для меня. Но вы понимаете, мой отъѣздъ поведетъ къ тому, что и онъ съ дѣтьми скоро поѣдетъ за мною въ Петербургъ. Я вовсе не потребовала бы этого. Я убѣждена, что и два и три мѣсяца разлуки не были бы страшны мнѣ, а лѣтняго сезона остается только мѣсяцъ; тѣмъ меньше для меня надобности опасаться; конечно, я предполагаю, что вы не воспользовались бы моимъ отсутствіемъ, чтобы дѣйствовать противъ меня, такъ?

— Вы сказали, что хотите, чтобы очень долго — вѣроятно, до замужества Надежды Викторовны—никто въ Петербургѣ не зналъ о васъ?

— Да, до замужества Надежды Викторовны.



— Когда вы так рѣшили, что жъ я могу имѣть противъ васъ? Его связь съ вами не будетъ вредить хорошимъ отношеніямъ Надежды Викторовны къ отцу, пока для ея счастья важно, чтобы она оставалась расположена до-вѣрять его совѣтамъ. За него, за Юреньку и въ особенности за Надежду Викторовну я буду даже радъ тому, что онъ привязанъ къ вамъ, а не къ какой-нибудь другой женщинѣ. Онъ не можетъ не имѣть любовницы. И уже не говоря о женщинахъ въ родѣ Зинаиды Никаноровны Дедухиной, даже какая-нибудь танцовщица въ Петербургѣ, пусть сама по себѣ и хорошая, добрая женщина, все-таки будетъ, разумѣется, только отвлекать его отъ дѣтей. А при васъ онъ думаетъ о нихъ больше, чѣмъ безъ васъ. За него и за нихъ я радъ вашей связи, мнѣ жаль только самихъ васъ, Марья Дмитріевна. Ахъ, зачѣмъ вы не такая прекрасная, какую слѣдовало бы вамъ быть!..

— И мнѣ самой жаль, что я не такая прекрасная, какъ правилось бы вамъ, сказала она, засмѣявшись. Но объ этомъ мы всегда успѣемъ говорить, а я устала отъ этихъ волненій, до которыхъ опять довелъ меня вашъ идеализмъ: еще была слаба отъ истерики поутру, и расплакалась! Я очень утомилась, надобно идти лечь. Я вернулась только сказать: какъ ни хочется мнѣ уѣхать, я не говорила и не хочу говорить объ этомъ Виктору Львовичу. Я не знаю пріятно ли было бъ это для Надежды Викторовны. Или, лучше сказать, я почти увѣрена, что это огорчило бы ее. Вы понимаете, хотя я и посовѣтую ему оставаться безъ меня здѣсь, сколько будетъ хотѣться Надеждѣ Викторовнѣ, но въ этомъ дѣлѣ моя слова ничего не значили бы: онъ не выдержалъ бы недѣли. Пожалуйста же, поговорите прежде съ Надеждою Викторовною, какъ понравилось бы ей ѣхать въ Петербургъ черезъ полторы, двѣ недѣли? я не такъ коротка съ нею, чтобы могла судить навѣрное, я опасалась, что это было бъ очень непріятно ей, но могла ошибаться. Поговорите съ нею вы и послѣ того вы сдѣлаете, какъ сами разсудите: сказать Виктору Львовичу, чтобы я уѣхала или не говорить.

— Я увѣренъ, Марья Дмитріевна, что Надеждѣ Викторовнѣ будетъ не совсѣмъ пріятно разставаться съ деревнею: эта школа для дѣвочекъ, эти посѣщенія больныхъ, да и то, что здѣсь свобода, приволье.—Эти Власовы,— все это мило, жаль разстаться; но такое огорченіе не стоитъ брать въ расчетъ.

— Всего этого не стоило бы брать въ расчетъ, Владиміръ Алексѣичъ, и я не приняла бы—давно бы уѣхала, и вы теперь уже собирались бы ѣхать. Но мнѣ кажется, что огорченіе Надежды Викторовны было бы глубже и болѣе достойно уваженія.

— Что же еще, кромѣ этихъ милыхъ, но не важныхъ чувствъ, могло бы привязывать ее къ деревнѣ?

— Поговорите съ нею, какъ покажется вамъ: я не хочу говорить, чтобы вамъ, подъ вліяніемъ моихъ мыслей, не показалось то, чего, можетъ быть, и нѣтъ.

— Что жъ это? Секретъ, любовь?

— Будто вы не знаете ее!

Столько нѣжности было въ ея словахъ, столько нѣжной заботливости въ ея желаніи, чтобы я не говорилъ съ отцомъ, не узнавъ чувствъ дочери! Она

не говорила, не хочет говорить ему, что она хочет уѣхать, потому что ея желаніе—его законъ, а для дочери, быть можетъ, лучше оставаться въ деревнѣ! Дочь кроткая дѣвушка, уступчивая, скроетъ, согласится, скажетъ „и мнѣ пріятно уѣхать“, когда онъ скажетъ „я соскучился здѣсь“...

— А если Надежда Викторовна будетъ говорить, что ей очень пріятно остаться здѣсь подольше?

— Какъ вы разсудите. Я вамъ сказала, что лучше для меня, но рѣшайте вы. Вы лучше меня увидите, хорошо ли это для Надежды Викторовны. Я говорю вамъ, быть можетъ, я и ошибалась: я горничная и не могу быть интимна съ нею, въ особенности теперь. Съ Власовою я еще осторожнѣе, хоть и кажусь свободнѣе. Узнавать черезъ него я не хотѣла: онъ могъ бы не съумѣть говорить такъ, чтобъ она не замѣтила, что пріятнѣе ему, — и я узнала бы отъ него не ея мысли, а то, на что согласна она изъ любви къ нему. Трудно заботиться о счастья такой дѣвушки, въ которой такъ мало эгоизма, такъ много кротости, уступчивости, любви!

— Какъ вы хороша, Марья Дмитріевна, когда вы говорите о ней! Зачѣмъ же вы захотѣли... я не договорилъ, голосъ у меня перервался отъ слезъ, отъ слезъ волненія безумною надеждою, что Мери могла бы принести свое честолюбіе въ жертву своей любви къ Надеждѣ Викторовнѣ: она такъ искренно и сильно любитъ эту кроткую, милую дѣвушку... Она могла бы чувствовать, что такая побѣда надъ собою милѣе всего, къ чему стремится она... И какъ прекрасна была бы она тогда!.. Марья Дмитріевна, Марья Дмитріевна, мнѣ жаль васъ!.. только и могъ я говорить, а самъ плакалъ.

— Вы опять плачете о томъ, зачѣмъ я не такъ хороша, какъ бы надобно по-вашему? Юноша, это невозможно, такъ нельзя жить на свѣтѣ, — сказала она съ грустною шутливостью. Но за то, что вы самъ еще такой хорошій юноша и такой добрый другъ, поцѣлуйте меня.

— Не хочу, Марья Дмитріевна, я не люблю васъ, — проговорилъ я, а самъ плакалъ хуже прежняго. — Мое сердце ноетъ за васъ, ноетъ, Марья Дмитріевна!..

— Я не такъ хороша, чтобы можно было поцѣловать меня — правда, сказала она, засмѣявшись: — Поцѣлуйте же, по крайней мѣрѣ, мою руку, она приложила руку къ моимъ губамъ, поцѣловала меня въ лобъ и ушла.

А я такъ и остался тутъ, на нашей любимой скамьѣ у ручья, плакать, и сидѣлъ въ слезахъ, пока совсѣмъ смерклось; съ полчаса, я думаю, сидѣлъ я такъ... Въ самомъ дѣлѣ, я бываю иногда похожъ на ребенка.

Это было писано съ одиннадцати часовъ вечера, — потому что, вернувшись въ свою комнату, я все хандрить и лежалъ, и просто лежалъ, раздумывая, сѣлъ писать въ одиннадцать часовъ, писалъ до трехъ, послѣ того повалился спать, спалъ какъ убитый, измучившись своими страданіями за Мери; проснувшись, услышалъ, что Власовы уже уѣхали, а Надежда Викторовна ушла гулять; сѣлъ и дописалъ вчерашнія свои приключенія уже нынѣ поутру, то есть —

8. Кончивъ, посмотрѣлъ на часы, и увидѣлъ, къ своему удивленію, что уже скоро будетъ обѣдъ. Потому разговоръ съ Надеждою Викторовною отлагается до послѣ обѣда.

Я сказалъ безъ подготовки, чтобы яснѣ видѣть эффектъ, и пожалѣлъ, что сказалъ безъ подготовки,—такъ силенъ вышелъ онъ.

Я оказалъ ей маленькую услугу: мнѣ кажется, что ей скучно въ деревнѣ, и я вотъ только-что говорилъ объ этомъ съ Викторомъ Львовичемъ, онъ сказалъ: „А тѣмъ лучше, если ей скучно; мнѣ самому надобно быть въ Петербургѣ, поговорю съ нею и поѣдемъ“.

Она поблѣднѣла. Даже губы поблѣзли.

— Вы испугались, Надежда Викторовна? Простите мою ошибку. Я не могъ не думать, что вамъ скучно здѣсь: кромѣ Власовыхъ, у васъ никто не бываетъ, да и некому бывать, потому что кругомъ нѣтъ порядочныхъ людей и т. д., а Викторъ Львовичъ говорилъ не такъ, что ему необходимо ѣхать, можетъ быть, и отложить, если вамъ и т. д.,—но почему вы и т. д...

Она испугалась потому, что отъѣздъ все еще представлялся ей такимъ отдаленнымъ, она совсѣмъ забывала, что уже скоро осень. Ей не хотѣлось думать объ этомъ, а время летѣло такъ быстро, ей вовсе забывалось, что скоро надобно будетъ разставаться съ деревнею. Еслибъ ея воля, она долго, долго не разсталась бы съ деревнею, она не знаетъ, когда она захотѣла бы ѣхать въ Петербургъ, кажется, никогда... Это потому, что здѣсь она совершенно счастлива... И *madame Lenoir* говорила ей, чтобы она какъ можно дольше удерживала отца въ деревнѣ: въ деревнѣ ихъ расходы ничтожны сравнительно съ тѣмъ, какіе будутъ въ Петербургѣ; пусть она помнитъ, что каждая недѣля, проведенная въ деревнѣ, сберегаетъ ея отцу двѣ тысячи рублей и что въ Россіи готовится освобожденіе крестьянъ: чѣмъ лучше будетъ положеніе дѣлъ ея отца къ тому времени, тѣмъ легче ему будетъ сдѣлать въ пользу своихъ крестьянъ при ихъ освобожденіи все то хорошее, чего онъ желаетъ. Для хорошаго освобожденія своихъ крестьянъ ему нужно будетъ очень много денегъ. Она не умѣетъ пересказать мнѣ такъ хорошо, какъ говорила ей это *m-me Lenoir*, но, конечно, я самъ знаю все это лучше: такъ говорилъ ей отецъ, что я знаю все, какъ надобно освободить крестьянъ...

Я въ эти дни совершенно забывалъ о денежныхъ дѣлахъ Виктора Львовича, забывалъ и взглянуть съ этой точки зрѣнія на вопросъ объ отъѣздѣ Мери въ Петербургъ и о неизбѣжномъ слѣдствіи ея отъѣзда—ускореніи нашего переселенія туда. Слова Надежды Викторовны поразили меня, будто новость, и я сильно поколебался.

Но очевидно было, что, кромѣ пользы крестьянъ, Надежда Викторовна думаетъ еще о чемъ-то, чего не можетъ высказать мнѣ. Она очень хорошая дѣвушка и желаніе пособить отцу при освобожденіи крестьянъ, конечно, такъ же близко ея сердцу, какъ моему. Но она не можетъ не понимать, что какія-нибудь десять, пятнадцать тысячъ небольшой расчетъ въ дѣлахъ ея отца. Такая мелочь не можетъ имѣть вліянія на то, какія уступки въ состояніи онъ сдѣлать при освобожденіи. Надежда Викторовна могла бы огорчиться, что что разрушается ея проектъ этой маленькой экономіи, но тутъ еще не отъ чего, было ей ужаснуться до того, что поблѣзли губы. Тутъ личное чувство.

— Конечно, такъ,—сказала Мери:—она ужаснулась за самоё себя. Она справедливо боится Петербурга. *M-me Lenoir* воспитывала ее такъ, что она серьезно понимаетъ жизнь. Ей было говорено, что любовь—это не ребяческое



веселье, а страшное чувство, тяжелая душевная болѣзнь, и очень рѣдко имѣетъ счастливый конецъ, почти всегда ведетъ къ долговому страданію; что если это и неизбѣжная болѣзнь, то чѣмъ позже подвергнуться ей, тѣмъ лучше: пусть укрѣпится разумъ, пусть пріобрѣтется хоть немножко побольше умѣнья различать людей. Ей было говорено, какъ ты явишься въ свѣтъ, за тобой будутъ ухаживать всѣ знатные женихи,—ты такая богатая невѣста. Между ними очень мало хорошихъ людей, а очень много такихъ, которые умѣютъ превосходно притворяться хорошими. Горе тебѣ, если ты ошибешься въ выборѣ. Она дѣвушка не огненного темперамента, ея воображеніе чисто. Потребность страсти еще не пробудилась въ ней, и она трепещетъ при мысли о Петербургѣ съ его женихами...

— И не напрасно трепещетъ. Будь она не очень богатая невѣста, она вошла бы въ такое общество, гдѣ встрѣчаются люди, достойные дѣвушекъ съ чистымъ сердцемъ и нѣжнымъ характеромъ. А съ ея приданнымъ навѣрное она погибнетъ.

— Кажется, вы жалѣете уже не меня,—вчера, помните, вы плакали отъ жалости обо мнѣ, а теперь, пожалуй, расплачетесь о ней, и забудете жалость ко—мнѣ, сказала Мери, смѣясь, но очень грустно, будто сама понимаетъ, что приняла дурное рѣшеніе: а я видѣлъ, что она уже приняла какое-то рѣшеніе. Она не была похожа на вчерашнюю Мери, больную, плачущую, колеблющуюся между робостью и отвагой, стыдомъ и гордостью. Она была спокойна и румянецъ ея былъ ровный, нѣжный, здоровый, улыбка весела, взглядъ смѣлъ. Кажется, вы такъ жалѣете о ней, что готовы посоветовать мнѣ оставаться здѣсь, чтобъ она также подольше оставалась здѣсь, безопасная и счастливая?

— Да, Марья Дмитріевна. Лучше оставайтесь здѣсь. Пусть продлится, на сколько возможно, тихое счастье этой милой дѣвушки.

— А какъ же, Владиміръ Алексѣичъ, я погублю то ее, если не уѣду поскорѣе? Вы забыли: обнаружится, что я любовница ея отца, она потеряетъ довѣріе къ отцу, все погибло,—сказала Мери съ горькою насмѣшкою.

— Не смѣйтесь надо мною, Марья Дмитріевна, хоть я и заслуживаю того. Пусть моя вчерашняя печаль была глупа, но она происходила отъ искренней любви къ вамъ,—не вамъ смѣяться надъ нею. Пусть мои вчерашнія мысли были экзальтированы, но экзальтація была отъ разстройства головы страданіемъ, котораго я не стыжусь. Она добрая дѣвушка и защищать ее—хорошее дѣло. Я слишкомъ перепугался и доходилъ до нелѣпости, но я такъ любилъ васъ и какъ же мнѣ было не потерять разумъ?

— Но теперь вы разлюбили меня и ваша голова пришла въ порядокъ. Вы можете давать хладнокровные, умные совѣты. Жду.

— Прошу васъ, будьте добрая и не смѣйтесь надо мною. Будемъ говорить серьезно.

— Будемъ. По вашему мнѣнію, я должна остаться здѣсь. Но пока я здѣсь, каждую минуту можетъ обнаружиться, что Викторъ Львовичъ мой любовникъ. Какъ быть мнѣ съ этимъ опасеніемъ?

— Забудьте о немъ. Дѣло вовсе не такъ важно. Когда обнаружатся ваши отношенія къ Виктору Львовичу, тогда вы и уѣдете. Тогда будетъ: онъ



пожертвовалъ любовницею для дочери. Это не поколеблетъ, а напротивъ, даже укрѣпитъ ея довѣріе къ его отцовской любви.

— Я и сама такъ думала, пока думала одна. Теперь не могу. Если я не уѣду, вамъ будетъ казаться, что я лицефрила вчера, говоря о своемъ желаніи уѣхать. А я хочу сохранить ваше уваженіе, насколько это возможно. Впрочемъ, это не главное. Гораздо важнѣе то, что очень неблагоприятно мнѣ оставаться здѣсь. Пока я раздумывала одна, я увлекалась энтузіазмомъ, онъ давалъ мнѣ силу и пренебрегать опасностью и забывать, что чѣмъ меньше привычка думать обо мнѣ, какъ о горничной, тѣмъ выгоднѣе для меня. Разговоръ лучше раздумья, потому что охлаждаетъ, принуждаетъ образумиться. Я не могу оставаться здѣсь, Владиміръ Алексѣичъ.

— А интересы Надежды Викторовны?

— Что же дѣлать, Владиміръ Алексѣичъ. Не присудимъ же мы ей вѣкъ оставаться здѣсь. Не идти же ей въ монахини. Раньше или позже надобно же ей вступить въ жизнь, быть окруженной искательствами, дѣлать выборъ. Разсуждая по вашему, слѣдовало бы отнять у нея приданое, да и того мало—сдѣлать, чтобы женихи не могли рассчитывать и на наслѣдство послѣ Виктора Львовича.

— Почти что такъ, Марья Дмитріевна.

— Идите же и скажите Виктору Львовичу, что я уѣзжаю. Послѣ завтра. Хотѣлось бы завтра, но уже пропущено время дня, когда привозятъ намъ почту. Завтра вы получаете письмо, въ которомъ говорится, что мѣсто гувернантки для меня найдено. Торопиться такъ, чтобы собраться ѣхать въ тотъ же день, это было бы неловко. Такъ и быть, до утра послѣ завтра. Идите же и скажите ему. Я не просила бы васъ, но сама не могу увидѣть его скоро.

Я отговаривалъ. Но она была слишкомъ счастлива тѣмъ, что рѣшилась.—„Здѣсь каждую минуту можетъ поразить меня ударъ, отъ котораго мнѣ трудно будетъ оправиться. Для Надежды Викторовны не велика бѣда, если бы я оставалась дожидаться, пока онъ разразится. Но я не могу пренебрегать своими интересами“.—Она ушла, не дослушавъ моихъ убѣжденій. Правда и то, не стоило слушать ихъ: что резоннаго могъ я возразить на ея рѣшеніе? Невозможно безконечно отсрочивать вступленіе Надежды Викторовны въ свѣтъ. Не въ монахини же идти ей, въ самомъ дѣлѣ! Два, три мѣсяца отсрочки уменьшать ли для нея опасность полюбить негодяя, или хоть и не негодяя, а все-таки человѣка, неспособнаго составить счастье дѣвушки съ нѣжнымъ и благороднымъ сердцемъ? Первая любовь всегда любовь простодушнаго ребенка, отсрочивай ее хоть и до тридцати лѣтъ.

Я пошелъ къ Виктору Львовичу; услышалъ тамъ у него голосъ Надежды Викторовны; вернулся въ голубой залъ, взялъ газету и сѣлъ ждать, пока Надежда Викторовна пройдетъ мимо меня. Такъ просидѣлъ, можетъ быть, съ полчаса. Быстро вошла Мери. Глаза ея горѣли.

— Сказали ему?

— Нѣтъ еще.

— Слава Богу! Я передумала. Я останусь. Не могу отнимать у нея счастья,—кто знаетъ, что ждетъ ее въ Петербургѣ? Пусть остается счастлива пока можетъ. А мнѣ,—мнѣ все равно! Думайте обо мнѣ, что хотите!

— Что жъ я скажу ему? онъ будетъ ждять моего мнѣнія.

— Говорите, что хотите. Только не говорите, что я хотѣла уѣхать. Я не уѣду. Не могу поступать во вредъ ей.

— Какой же вредъ ей, Марья Дмитриевна? Ничтожный! А для васъ оставаться здѣсь очень тяжело.

— Все равно. Она прошла нѣсколько разъ по залу.—въ сильномъ волненіи. Остановилась, потерла лобъ:—Да, но какъ же это, что я еще здѣсь? Мнѣ кажется, прошло минутъ пять, или его нѣтъ дома? Ушелъ гулять?

— У него Надежда Викторовна.

— Она у него? Вы понимаете, зачѣмъ она у него?—Мери улыбнулась грустно, сострадательно.

— Я думаю, она спрашивала его, дѣйствительно ли ему необходимо ѣхать на дняхъ въ Петербургъ. Вѣроятно, онъ догадался, что это моя мысль, что онъ отвѣчалъ—не знаю.

— Онъ отвѣчалъ, что не умѣетъ сказать,—скажетъ завтра. Ему надобно узнать, чья это мысль, ваша или моя. Хорошо, что онъ еще не знаетъ, что и я поддавалась этой мысли. Тогда мнѣ было бы много хлопотъ съ нимъ, Владиміръ Алексѣичъ: онъ добрый человекъ и я начинаю привязываться къ нему, но онъ дурной отецъ. Ахъ, бѣдная! Что могло бы быть съ нею? Какъ онъ помогъ бы ей выбрать мужа? Вы видите, я для него занимательнѣе дочери! я—кто такая для него?—любовница!—и я имѣю больше занимательности для него, чѣмъ дочь! и если-бъ я захотѣла, я могла бы вредить ей. Но этого не будетъ! Этого не будетъ!—У меня разгорѣлась голова. Я пойду гулять. Если долго не вернусь, скажите дядѣ, а главное ему: онъ въ состояніи поднять тревогу, — скажите имъ, чтобъ не беспокоились. Я здорова, но мнѣ надобно освѣжиться чистымъ воздухомъ и не хочется ни на кого смотрѣть. Я думаю, что я уйду въ рошу, и буду ходить долго.

Я смотрѣлъ въ окно, какъ она шла по саду къ рошѣ, пока скрылась. Я не сталъ ждять въ голубомъ залѣ, я ушелъ въ свою комнату, попросивъ Ивана Антоныча сказать, когда Надежда Викторовна уйдетъ. Мнѣ больше нечего было сторожить въ голубомъ залѣ—стыжусь вспомнить, что я сидѣлъ тамъ на караулѣ: не хитритъ ли Мери, не хочетъ ли предупредить Виктора Львовича о томъ, съ чѣмъ я приду къ нему и какъ ему надобно держать себя. Но когда она скрылась вдали, за изгибомъ аллеи, ведущей въ рошу, мнѣ стало совѣстно, не столько за свою подозрительность, сколько за свою глупость: надобно было быть слѣпымъ, чтобы не видѣть, что ей не до хитростей.

Не прошло, я думаю, десяти минутъ, Иванъ Антонычъ пришелъ сказать, что Надежда Викторовна идетъ черезъ голубой залъ.

Все было такъ, какъ угадывали мы съ Мери. Надежда Викторовна спрашивала отца, необходимо ли ему ѣхать въ Петербургъ. Онъ догадался, съ какою мыслью я говорилъ ей это, но не зналъ, моя ли это мысль, или Мери также находить это нужнымъ. Потому отвѣчалъ нерѣшительно: „Правда, въ Петербургъ есть важныя дѣла, по которымъ надобно было поѣхать туда поскорѣе. Но вижу, тебѣ хотѣлось бы, Наденька, чтобы мы остались здѣсь подольше. Да и прежде, помню, ты говорила это. Позволь мнѣ подумать до

завтра“. Дочь стала очень живо говорить, что она боится Петербурга, боится большого свѣта. Она не высказывала свою мысль такъ ясно, какъ растолковала мнѣ Мери, не знаю, стыдилась ли, или сама не умѣла отчетливо понимать свое чувство? Только твердила, что боится, очень боится большого свѣта. Отецъ понималъ это только въ смыслѣ робости скромной дѣвушки, которая не воображаетъ себя красавицею и опасается быть неловка, смѣшна. Такъ онъ и отвѣчалъ ей, что ея боязливость очень нравится ему и что онъ уважить ея желаніе, если увидитъ, сообразивъ хорошенько, что это возможно. Онъ очень нѣжно ласкалъ ее. Но все-таки съ тѣмъ и отпустилъ ее, что дѣла, которыя призываютъ его въ Петербургъ, очень важны, и онъ подумаетъ, нельзя ли какъ-нибудь устроить ихъ безъ его личнаго присутствія,—но не знаетъ, можно ли это. Ему было жаль говорить такъ, но какъ быть иначе? Надобно пожалѣть и Мери; здѣсь ихъ отношенія не могутъ долго укрыться, въ особенности при шпионствѣ Дедюхиной... Да и для добраго согласія между нимъ и дочерью скандалъ былъ бы вреденъ. Онъ хотъ и не былъ увѣренъ, что моя мысль одобрена Мери, но сомнѣваться въ этомъ было трудно: Мери такъ умна и благородна.

— Да, она очень умная и добрая дѣвушка, поэтому она не согласилась на мою мысль. Здѣсь всѣмъ хорошо,—она не хочетъ разстраивать эту тихую жизнь. Когда будетъ молва, тогда она уѣдетъ; раньше не считаетъ нужнымъ.

Онъ и удивился, и обрадовался, и перепугался; обрадовался за дочь, перепугался за всѣхъ трехъ — и за нее, и за Мери и за себя. Но радость угодить дочери скоро взяла верхъ. Съ восторгомъ онъ пошелъ сказать ей, что просмотрѣлъ бумаги, убѣдился, можно не ѣхать. Скоро вернулся ко мнѣ и сталъ тосковать, что Мери подвергается слишкомъ большой опасности. Глупое или умное, дурное или хорошее, дѣло было сдѣлано—къмъ изъ насъ больше—мною или Мери, я и не умѣю разобрать; если оно глупо и дурно, раскаяваться было поздно; мнѣ оставалось только успокоивать Виктора Львовича. Я началъ говорить, что опасность для Мери дѣйствительно велика, но уже гораздо меньше, нежели была въ первые дни связи, когда страсть Виктора Львовича была, конечно, гораздо порывистѣе; теперь онъ съ каждымъ днемъ будетъ лучше владѣть собою и отношенія его къ Мери очень долго могутъ оставаться незамѣченными. Онъ слушалъ съ отрадою, вдругъ задумался, взглянулъ на часы, сказалъ: „еще не поздно“—была половина девятого—„извините, что я располагаюсь у васъ написать нѣсколько словъ“, позвонилъ и сѣлъ къ моему столу, принялся писать. Вошелъ Иванъ Антонычъ. Викторъ Львовичъ сказалъ, чтобъ онъ велѣлъ поскорѣе запретъ лошадей въ легкой экипажъ, а самъ былъ бы готовъ ѣхать, и продолжалъ писать. Иванъ Антонычъ доложилъ, что лошади поданы, Викторъ Львовичъ торопливо дописалъ двѣ-три строки, запечаталъ, отдалъ Иванъ Антонычу со словами: „отвезите къ Зинаидѣ Никаноровнѣ Дедюхиной и не жалѣйте лошадей. Спросите, дожидаться ли вамъ отвѣта или она пришлетъ послѣ“. Иванъ Антонычъ ушелъ. Онъ обернулся ко мнѣ: „Написалъ ей, что переносить разлуку вблизи мучительнѣе, нежели вдали, и перемѣна мѣста развлекаетъ. Не угодно ли ей отправиться путешествовать для облегченія страданій. Я далъ бы 500 рублей



на подъемъ и по 300 р. въ мѣсяцъ. Пусть уѣдетъ, тогда не остается никого съ охотою шпионить, и Мери болѣе безопасна“. Я согласилась, что это умно.

Онъ сидѣлъ, рассказывая исторію своего сближенія съ Мери. Но рассказъ еще не кончился, когда возвратился Иванъ Антонычъ. Дедухина очень чувствительно пишетъ, что подумаетъ и рѣшительный отвѣтъ пришлетъ завтра поутру (Викторъ Львовичъ вставилъ, что черезъ два дня не будетъ имѣть денегъ, и это умно, а то не убралась бы скоро, безъ конца торговалась бы. Поднять плату себѣ успѣетъ и въ два дня, но скорѣе уберется со своимъ шпионствомъ). Викторъ Львовичъ ушелъ спать. Это было въ концѣ перваго. Я сѣлъ записывать. Часа въ два вошла ко мнѣ Мери. „Дядя уже спитъ, я заглянула, и Викторъ Львовичъ вѣроятно“.— „Вѣроятно“.— „Кажется, кто-то пріѣзжалъ. Мнѣ слышалось въ просонкахъ, или такъ показалось?“— „Иванъ Антонычъ ѣздилъ съ письмомъ Виктора Львовича къ Дедухиной: пусть она ѣдетъ путешествовать“.— „Вы посоветовали ему?“— „Нѣтъ, онъ самъ вздумалъ“.— „Когда такъ, это очень радуетъ меня: это умно и мило, что онъ самъ догадался. Только съ этой стороны это пріятно мнѣ. Я думала, и дремала, стала совершенно спокойна: все равно пусть будетъ узвано хоть завтра же. Для меня все равно“.— „Если я правильно понимаю ваше намѣреніе, котораго вы не высказали прямо...“— „Вы правильно поняли его и я высказывала его очень ясно: видите, какъ я полагаюсь на васъ, хоть вы уже и не любите меня. Я вѣрю вамъ такую тайну, что однимъ намекомъ на нее Виктору Львовичу вы можете погубить меня“.— „Я хотѣлъ сказать, что когда вашъ планъ таковъ, то для васъ не все равно, будутъ ли или не будутъ знать, что Викторъ Львовичъ былъ вашимъ любовникомъ“...— „Все равно, Владиміръ Алексѣичъ. Будь я знатная и богатая, мнѣ не повредило бы то, что я была въ связи съ нимъ. И будь вся моя жизнь такъ же безукоризненна, какъ жизнь Надежды Викторовны, этимъ не облегчалось бы порицаніе, когда нельзя не знать, что мои родные были его слугами, я сама—служанкою его дочери. Я буду заслуживать порицаніе и негодованіе только за мое происхожденіе и бѣдность. Все остальное ничего не значить“.— „И то правда, чистая правда!—согласился я.— „Гдѣ же были вы до сихъ поръ, Марья Дмитріевна? Я уже начиналъ беспокоиться за васъ“.— „Ходила по рошцѣ, устала, сѣла къ дереву и дремала; потомъ опять ходила. Все думала: рано, не улеглись они. Не хотѣлось смотрѣть ни на кого. Грустно, Владиміръ Алексѣичъ“.— „Я промолчалъ. Не хотѣлось сказать: „Да, грустно идти по дурной дорогѣ, имѣя недурное сердце“.— „Грустно, Владиміръ Алексѣичъ, хоть и не о чемъ бы жалѣть, потому что все вышло хорошо, такъ хорошо, какъ нельзя было и надѣяться. Вы видѣли, я не могла вѣрить, что все это остается неизвѣстно, а остается: по вашимъ словамъ объ отвѣтъ, сейчасъ присланномъ Дедухиною, тамъ нѣтъ ни тѣни намека“.— „Нѣтъ. Это положительно, она и не подозрѣваетъ. Все идетъ хорошо. Вамъ не о чемъ грустить. Только мнѣ грустно“.— „На этотъ разъ она промолчала. „Спокойной ночи, Владиміръ Алексѣичъ“.— „Одну минуту Марья Дмитріевна; онъ рассказывалъ мнѣ; помните, вы воскликнули тогда, чтобъ я не принималъ его взгляда на исторію вашего сближенія съ нимъ, потому что онъ не знаетъ,—это правда, о многомъ онъ не догадывается. Но вы прибавили тогда, что вы соблазнили—этого я не нахожу, что



вы соблазнили его. Какъ же это? — „Это было сказано мною слишкомъ рѣзко, я была въ страшномъ волненіи, хохотала и кричала, и упала въ конвульсіяхъ; болѣзненное восклицаніе болѣзненнаго чувства. Если хотите, можете назвать такъ. Но въ сущности, конечно, это такъ. Правда, я не соблазнила его, въ обыкновенномъ значеніи слова. Я не навязывалась ему грубыми уловками. Я не при- манывала и такъ называемымъ невиннымъ искусствомъ. Я была съ нимъ серьезна и скромна. И не только скромна, — была искренна. Такъ было необходимо, — вы понимаете, что это было необходимо: вы знаете, я хочу не обогреть его и бросить, я хочу непоколебимыхъ отношеній. Обрекать себя лицемѣрить на всю жизнь — слишкомъ тяжело. Я не могла обрекать себя на такое стѣсненіе, и если бы могла захотѣть, я знаю, я не выдержала бы долго, скоро онъ увидѣлъ бы меня не такою, какою представлялась я вначалѣ, онъ разочаровался бы и охладѣлъ, онъ понялъ бы, что я обманывала его и потерялъ бы уваженіе ко мнѣ. А я хочу, чтобъ онъ вѣрилъ въ меня всю жизнь. Я должна была держать себя съ нимъ честно: ни обольстительнаго взгляда, потому что я не хочу играть роль влюбленной, ни фальшиваго слова, потому что прочное уваженіе приобретается только полною искренностью. Мои поступки, мои разговоры — все было безукоризненно. Не тѣмъ, что завлекала его, я привлекла его; нѣтъ, сама я и не привлекала его: вы все вели его ко мнѣ, все вы, кто говорилъ съ нимъ. Я удалялась свиданій съ нимъ, я мало говорила съ нимъ и при другихъ. Вы все говорили съ нимъ за меня. Обольщала ли я, обманывала ли я кого нибудь изъ васъ? Вы знаете теперь мое расположеніе ко всемъ вамъ — отъ Надежды Викторовны до Власовой — непритворно. Вотъ было мое средство овладѣть его мыслями и я овладѣла ими, когда онъ подошелъ ко мнѣ, приведенный вами всеми. Вы привели его ко мнѣ раньше, нежели я хотѣла, я хотѣла, чтобъ это было передъ отъѣздомъ въ Петербургъ, по приѣздѣ въ Петербургъ: здѣсь, вы видите, мнѣ слишкомъ тяжелы и опасны эти отношенія. Я была не готова къ разговору съ нимъ, я была застигнута врасплохъ, и не остереглась отъ увлеченія, вы знаете, или онъ еще не сказалъ вамъ, какимъ порывомъ увлеклась я? Это были необдуманная слова, но вы самъ имѣли такое же чувство, все раздѣляли это чувство, отъ Власовой до моего дяди, я не остереглась и высказала. Онъ ушелъ, не сказавъ ни слова, и только тогда я поняла, что все рѣшено. Я не хотѣла этого такъ рано, и я не думала, что онъ уже такъ сильно привлеченъ ко мнѣ. Я была очень недовольна, что это пришло къ рѣшенію такъ рано. Но уже невозможно было вернуть неосторожныхъ упрековъ и что могла я отвѣчать ему, когда онъ сказалъ, что послалъ ей письмо? Я хотѣла удержать его отъ объясненій, но возможно ли было это? Я просила его быть благоразумнымъ, но возможно ли долго настаивать, когда каждую минуту могутъ замѣтить наши разговоры, и вы все безпрестанно тутъ же гдѣ нибудь подлѣ, то одинъ, то другой, и она, конечно, завела шпіонство... Надобно было прекратить эти тревожныя отношенія... Тревожныя и для меня — я и сама иногда забывала казаться спокойною — потому что я человекъ — я не имѣю пылкой страсти къ нему, но мое расположеніе къ нему довольно сильно, и я человекъ. Надобно было прекратить это неосторожное исканіе разговоровъ со мною, надобно было прекратить эти разговоры, въ которыхъ и я забывала иногда осматриваться, не проходитъ ли мимо кто изъ васъ, — на-

добно было отвѣчать ему. Честно ли я отвѣчала ему?—вы знаете—честно ли?.. Я сказала ему все, чего требовала совѣсть, и не сказала ничего, кромѣ того, что дѣйствительно чувствовала... Все было серьезно и честно—все было хорошо; только замысль мой—быть дурень, по вашему мнѣнію,—и я хочу дурного. На самомъ ли дѣлѣ я хочу дурного?—Нѣтъ, Владиміръ Алексѣичъ, не хочу и не сдѣлаю, не допущу ничего дурного. Судите, какъ хотите, о моемъ замыслѣ, но воля моя чиста и тверда, я не сдѣлаю ничего дурного. Былъ ли дурень и мой замысль? прежде и о немъ я думала: нѣтъ; не только поступки мои, не только средства мои къ его исполненію будутъ, какъ были, честны, но и самъ онъ не заслуживаетъ осужденія. Такъ я думала, когда ѣхала сюда. А теперь?—и теперь думаю тоже: въ моемъ замыслѣ нѣтъ ничего дурного. Да, я и теперь сузу такъ, наперекоръ вашему влиянію на мои понятія. Да, Владиміръ Алексѣичъ, какое смятеніе ни овладѣваетъ мною отъ мысли, что вы, человѣкъ честный и любившій меня, порицаете меня, я тверда въ томъ, что я права. Но я грустна и вы скажете: это оттого, что я чувствую себя не совсѣмъ правою. Но однимъ ли виноватымъ бываетъ тяжело на душѣ? Не можетъ ли бывать очень горько и правымъ? Не бываютъ ли тяжелы и незаслужены огорченія? Быть можетъ, Владиміръ Алексѣичъ, моя грусть только оттого, что вы, котораго я искренно полюбила, считаете меня недостойною вашего расположенія, что, я предвижу, могутъ также отшатнуться отъ меня, разлюбить, возненавидѣть меня и другіе, которыхъ я люблю также искренно, какъ васъ, и еще сильнѣе, нежели васъ: мой дядя—еще больше Надежда Викторовна, — и это будетъ, вѣроятно, скоро, со временемъ, быть можетъ, и Юренька. За что, Владиміръ Алексѣичъ? Вы видите, буду ли я когда-нибудь пренебрегать моимъ дядею. Чѣмъ, до сихъ поръ я была вредна Надеждѣ Викторовнѣ? и не буду никогда, ничѣмъ! Не употребляю ли я все свое влияніе на него въ ея пользу? Такъ будетъ и всегда! Я такъ хочу, и у меня достанетъ воли, во что бы ни стало. За что же ей будетъ не любить меня? А я предвижу это и отъ нея: и она будетъ несправедлива ко мнѣ, какъ вы. За что вы считаете меня дурною, почему вы не вѣрите чистотѣ моихъ намѣреній, чѣмъ я виновата въ вашихъ глазахъ? Только тѣмъ, что я не аристократка. Будь я знатна и будь у меня хорошее состояніе, я могла бы стремиться къ тому, къ чему стремлюсь, и вы могли бы видѣть во мнѣ гораздо меньше заботливости о Надеждѣ Викторовнѣ и Юренькѣ, и все таки, вы не думали бы, что я хочу быть вредна имъ, не считали бы меня дурною, не находили бы ничего унизительнаго для меня или неискренняго въ моемъ желаніи владѣть его сердцемъ. Вы понимали бы, что мое расположеніе къ нему можетъ быть искренно, и сотою доли того, что вы знаете обо мнѣ, о моемъ характерѣ, о благородствѣ моего характера, какъ вы называли это еще недавно, сотою доли того, чѣмъ заслужила я ваше довѣріе, —сотою доли было бы достаточно, чтобы вы не могли усомниться въ искренности моего влеченія къ нему, въ непоколебимости моей любви къ его дѣтямъ. Почему-жъ бы я не могла—не только любить его дѣтей, не могла бы чувствовать искренняго влеченія и къ нему? Онъ добрый, благородный, чрезвычайно деликатный человѣкъ, онъ еще не старъ, онъ еще красивый мужчина; я не говорю, что я влюблена въ него, не только вамъ, и ему не говорю этого: онъ не такъ молодъ, чтобы влюб-

ляться въ него, и еще важнѣе: мое сердце изношено; нѣтъ, я не способна вспыхивать, у меня нѣтъ иллюзій, я не могла бы никого полюбить страстно: но почему женщина, пресыщенная тревожными наслажденіями, съ сердцемъ, утомленнымъ, измученнымъ страстями, не можетъ искать отдыха въ спокойной привязанности? Будь я равная ему, я могла бы выйти замужъ за него, и вы не подумали бы обо мнѣ дурно. Но я мѣщанка и бѣдна, вотъ почему я лгу, и не могу имѣть чувства женщины и буду злою совѣтницею ему, врагомъ его дѣтей. Такъ, Владиміръ Алексѣичъ: я не аристократка, вотъ моя вина, вотъ мой порокъ въ вашихъ глазахъ! Вы говорили: надобно стереть съ лица земли разницу сословій и состояній,—сладьте же ее хоть въ вашихъ собственныхъ мысляхъ. Судите меня по моимъ поступкамъ, а не по тому, что я мѣщанка и бѣдна,—судите меня по тому, какъ я пользуюсь своею властью надъ нимъ: буду ли обирать его или буду честнымъ другомъ ему,—буду ли вредить его дѣтямъ, или честно—до самопожертвованія—заботиться о ихъ счастья. Жду справедливости отъ васъ и дождусь ея, эта увѣренность утѣшаетъ меня“. — Она пожала мнѣ руку и ушла, не давши мнѣ времени отвѣчать.

Но я и не знаю, что могъ бы я отвѣчать. Я былъ разстроенъ. Съ полчаса, я думаю, я оставался очень разстроенъ. Въ моихъ ушахъ все звучали ея слова: „Вы говорили: надобно стереть съ лица земли разницу сословій и состояній—сладьте же хоть въ вашихъ собственныхъ мысляхъ“...—демократу, социалисту, революціонеру не могло быть особенно пріятно, что онъ услышалъ, и едва ли не заслужилъ услышать такія слова... Едва ли не заслужилъ—потому что во всемъ, что она говорила, не было ни одного фальшиваго звука, все правда, и все искренно... „Я мѣщанка и бѣдна, вотъ моя вина въ вашихъ глазахъ!“ Кромѣ, дѣйствительно нѣтъ... Начавъ оправляться отъ тяжелаго удара, я увидѣлъ, что все еще слишкомъ взволнованъ и не могу продолжать свое записыванье въ дневникъ. Легъ спать и долго ворочался съ боку на бокъ, раздумывая о томъ, какой прекрасный я демократъ и проч. въ теоріи, и какъ умны и хороши оказываются иногда на практикѣ люди, превосходно умѣющіе сочувствовать всяческимъ демократизмамъ, пока не требуется отъ нихъ смысла и совѣсти, чтобы примѣнить эти чувства къ дѣлу. Поутру, нынѣ, то есть...

9. Проснувшись поздно, дописалъ эти замѣтки о вчерашнемъ. Кончивъ, пошелъ бродить, потому что хандрить и не хотѣлъ ни работать, ни даже читать. Нацатавшись по роцѣ и лѣсу, пришелъ назадъ съ усталыми ногами, но съ прежнею энергіею прекраснаго чувства. Легъ и продолжалъ хандрить. Думалъ не выходить къ обѣду, сказать, чтобы принесли въ мою комнату. Но разсудилъ, что Мери непременно, а вѣроятно, и Викторъ Львовичъ догадались бы: это вздоръ, будто мнѣ некогда, будто работаю, просто напросто, демократъ, социалистъ и революціонеръ нѣсколько оплошалъ духомъ. Потому вышелъ обѣдать. Оказалось, что у насъ Власовы. Милая m-me Власова была весела и говорлива, какъ всегда. Я развлекся, слушая добрую и живую болтовню ея. Подъ конецъ обѣда и самъ сталъ шутить. Изъ-за стола всѣ пошли въ голубой заль, и я туда же, за своею партнеркою въ пустомельствѣ. Славная молодая дама, отъ всей души люблю ее,—какъ сойдешься съ нею, перестаешь быть дуракомъ, а еще лучше то, что дѣйствительно, пріятно смотрѣть на нее: сама счастлива и дѣлаетъ мужа однимъ изъ самыхъ счастливыхъ людей



на свѣтъ. Съѣлъ за шахматы съ Викторомъ Львовичемъ, успокоивъ ее обѣщаніемъ, что не перестану ни слушать, ни болтать, и сдержалъ обѣщаніе. Она ужасно приставала, чтобъ я шелъ съ ними, — съ нею, ея мужемъ и Надеждою Викторовною, — кататься на лодкѣ по озеру. Викторъ Львовичъ противился: пусть я не поддаюсь на хитрость Катерины Федоровны, она зоветъ меня не по любви, а потому, что жалѣетъ мужа: хочетъ засадить меня въ весла, а мужъ будетъ себѣ посиживать. Я видѣлъ, что ему хочется продолжать вчерашнюю исповѣдь и остался. Они ушли. Точно, скоро онъ бросилъ игру, сталъ толковать. Такъ просидѣли мы довольно долго. Я слушалъ и спрашивалъ. Вошла Мери. „Они гуляли по саду, теперь пошли на озеро, хотятъ плыть на тотъ берегъ, взяли съ собою отъ меня Юреньку и двухъ его пріятелей, на которыхъ поменьше грязи, — не могу пріучить ихъ умываться“, сказала она и сѣла съ нами. Въ домѣ оставались мы трое, одни, — ея дядя повезъ деньги Дедюхиной; мы могли сидѣть втроемъ. Викторъ Львовичъ перемѣстился къ окну, поглядывать временами на подъѣздъ и дворъ, чтобы не застали насъ невзначай. Такъ мы сидѣли втроемъ и толковали часа два, я думаю. Она была съ нимъ непринужденна и серьезна, безъ нѣжностей и безъ заботы показывать, что сколько-нибудь думаетъ или не думаетъ о немъ, — когда приходилось, смотрѣла съ расположеніемъ, — когда не приходилось, не смотрѣла, будто онъ мужъ ей, или, еще болѣе похоже, будто старшій братъ или дядя, что-нибудь такъ, просто родной, близкій, котораго она очень любить, и о которомъ ей нечего думать, такъ вообще; но иногда смотрѣла на него и съ тѣмъ расположеніемъ, какъ добрая, скромная женщина смотритъ на мужа, съ которымъ живетъ не первый годъ: тихая любовь и больше признательность за то, что онъ любитъ ее, что ея сердце спокойно. Со мною она была совершенно попрежнему, будто мы дружны, какъ было. Она, впрочемъ, и дѣйствительно любить меня, это было видно; теперь мои глаза очень зорки и замѣтили бы малѣйшую искусственность. Но такая простая и свободная была она, что и я по временамъ забывалъ все, и думалъ о ней попрежнему. — Мы говорили обо всемъ, о чемъ случится, какъ бывало я говорилъ съ нею одною, какъ онъ, бывало, говорилъ со мною, когда намъ не о чемъ было говорить: такъ подѣйствовали ея спокойствіе, непринужденность, тактъ на меня и на него, что мы сидѣли и говорили будто сживали такъ втроемъ каждый день съ полгода... Она говорила со мною о книгахъ — и онъ говорилъ; — онъ говорилъ со мною о томъ, что дѣйствительно, я правъ: надобно устроить пристань въ Симбухинѣ, — и она сказала, что это было бы выгодно и что кромѣ этого можно сдѣлать много другого: у Виктора Львовича теперь столько свободныхъ денегъ; ей вспомнилось, она слышитъ, что глина, та, которая вверхъ по рѣчкѣ, очень хороша; пригласить бы техника взглянуть: не годится ли эта глина для фарфора? Это было бы тоже выгодно... Такъ мы говорили обо всемъ, — не избѣгали говорить даже и объ ихъ отношеніяхъ, какъ будто мы забыли, что это новость и будто и мнѣ не приходило въ голову, что еще неизвѣстно, хорошая ли это новость, — такъ она говорила, и о томъ говорила, что будто не помнилось мнѣ, что это новость: она замѣтила, что Викторъ Львовичъ уже немолодой человѣкъ и напрасно ложился поутру на траву — она видѣла — это нехорошо, и я сказалъ, что это нехо-



рошо, если это было рано, когда трава еще въ росѣ. и онъ сказалъ, что это было неосторожно, потому что трава была еще сыра, и спросилъ, когда же она встала, что увидѣла это. Она встала въ восемь часовъ, хоть легла въ половинѣ третьяго; такая привычка. Переѣдемъ въ Петербургъ, тогда она привыкнетъ вставать поздно. А не забылъ онъ ея просьбу поговорить съ отцомъ Андрюши? Я спросилъ: что-жъ это? о чемъ поговорить съ отцомъ Андрюши? И какого Андрюши?—Это мальчикъ, который приходитъ иногда въ кухню,—умный, его слѣдовало бы отправить въ училище; чему учать въ сельской школѣ, онъ уже всему выучился, и т. д. Я замѣтилъ, что не вижу на рукѣ у нея перстенька съ яхонтомъ. Юренька изломалъ его и даже оцарапалъ ей руку этимъ.—„Зажила ваша рука, Мери?“ спросилъ онъ.—„Да и вчера уже не было замѣтно, я показывала вамъ“.—„Нѣтъ, вчера была еще видна царапинка“... Такъ разговоръ касался ихъ отношеній,—конечно, иного и нечего было говорить о ихъ отношеніяхъ: это такая не новость. и все такъ опредѣлилось, установилось, ничего интереснаго имъ другъ о другѣ, кромѣ обыденныхъ мелочей, и, мнѣ казалось, будто такъ, и онъ такъ чувствовалъ, когда она тутъ, непринужденная, спокойная,—и ему было совершенно легко и свободно передо мной... Мы говорили и о Надеждѣ Викторовнѣ. Онъ спросилъ, кажется ли мнѣ,—ему кажется—что Наденька хорошеетъ съ каждымъ днемъ. Она замѣтила, что это такъ должно быть: Надеждѣ Викторовнѣ осьмнадцать лѣтъ, и спросила, замѣчаю ли я, что Надежда Викторовна стала больше любить музыку? Я сказалъ, что этого я не замѣтилъ,—Викторъ Львовичъ сказалъ, что я слишкомъ много работаю, лучше бы почаще выходить слушать; что же я теперь пишу? И разговоръ пошелъ о моей работѣ, болѣе воображаемой, нежели дѣйствительной. Такъ было каждый разъ, когда разговоръ касался Надежды Викторовны: Мери говорила о ней, пока говорили онъ или я, раза два или три и сама упоминала о ней, какъ случилось вспомнить, что-то сказать.—но не искала случая заговаривать или тянуть разговоръ о ней, тѣмъ меньше старалась показать свою любовь къ ней: при немъ это уже лишнее; это я еще могу думать такъ и иначе; а съ нимъ ей нечего толковать о ея любви или нелюбви къ его дѣтямъ... По временамъ, и мнѣ казалось несомнѣнно, что она будетъ не вредна, а полезна имъ, какъ она увѣряетъ, и хочетъ, конечно: въ ея желаніе я вѣрю и теперь... Готовъ думать, что ей и удастся держать себя относительно ихъ такъ, какъ она хочетъ. У нея такая сильная воля. И нѣтъ надобности вредить имъ. Изъ-за чего было бы вредить?—изъ-за денегъ?—Она не жадна, она умна; можетъ не пожалѣть и огромнѣйшаго приданнаго Надеждѣ Викторовнѣ, какое бы ни понадобилось: все-таки останется довольно для нея самой... По временамъ я былъ убѣжденъ, что изъ ея замысла не будетъ никакого вреда его дѣтямъ... Такъ свободна и безпритворна была она, будто въ самомъ дѣлѣ совершенно правая... Онъ сказалъ: „Они идутъ“. Она встала, спокойно, и пошла изъ комнаты, вовсе не какъ любовница, скрывающаяся, чтобы не застали ее съ любовникомъ,—нѣтъ, будто хозяйка идетъ взглянуть, все ли готово, распорядиться, чтобы подавали чай и закуску, потому что они нагулялись и устали, хотять ѣсть... Если бы все они увидѣли ее, такъ уходящую изъ голубого зала, все видѣли бы, что она только шла черезъ комнату, гдѣ мы сидимъ, и едва ли замѣтила, что мы сидимъ

туть: такъ спокойно шла она... „Правду говоритъ она, — сказалъ Викторъ Львовичъ, подходя опять къ шахматамъ, когда она ушла: „она вовсе не любовница моя, а другъ мой“; онъ вопросительно взглянулъ на меня, говоря это: безъ нея, у него опять не было увѣренности, что все это должно казаться мнѣ хорошо... „Такъ она говорила и мнѣ“, сказалъ я... Они вопли; съ ними Юренька—облачилъ меня отъ удовольствія, что мы не видѣлись, кажется, сутокъ двое: „Впрочемъ, право я люблю васъ, Владиміръ Алексѣвичъ, но только, право, Мери лучше васъ“. — „Не только лучше, а умнѣе, Юренька“, сказала я: во мнѣ опять было горькое чувство противъ нея. Викторъ Львовичъ, заговорившись съ дочерью и Власовыми, не разлышалъ этой глупой и нечестной выходки, о которой пожалѣлъ я, едва сорвалась она у меня съ языка. Отвязавшись отъ объятій Юреньки, я пошелъ въ свою комнату. Во мнѣ кипѣла желчь. Зачѣмъ она, такая прекрасная, захотѣла унижать себя?... На креслѣ у моего письменнаго стола сидѣла Мери, опустивъ голову, задумчиво играя какою то ленточкою. „Я ждала васъ. Я знала, вы скоро уйдете отсюда“. — „Знаете-ли, что я сказала тамъ сейчасъ? Вотъ какъ отвѣчала я Юренькѣ...“ — „Что же за бѣда была бы, еслибъ и слышала Викторъ Львовичъ? Вашъ намекъ не былъ бы для него неожиданностью. Я не спрашивала его, но это замѣтно: онъ понимаетъ, что я должна казаться вамъ обманщицею. Я думаю, и у него самого были сначала такія же сомнѣнія, хоть по временамъ. Какъ мы ни суди о немъ, онъ не глупъ и помялъ на свѣтѣ, и достаточно много видѣлъ обмана“. — „Такъ, Марья Дмитриевна; но я и говорю не о томъ, что моя неосторожная выходка могла бы имѣть вліяніе на ваши отношенія, а только о томъ, какъ это было дурно съ моей стороны дѣлать намекъ, когда совершенно не знаю самъ, какъ мнѣ думать“. — „Ахъ, Владиміръ Алексѣвичъ, не то больно мнѣ, что иногда вырвалось бы у васъ злое слово въ припадкѣ жолчи; это еще ничего бы; вы ошибались въ моемъ характерѣ, я не могла бы жаловаться на то, что вы поддаетесь негодованію. Есть чувство, переносить которое тяжеле, нежели порывы раздраженія. Взгляните на эту ленточку: она моя. Я подняла ее на полу... Пусть бы выбросили вы ее за окно, но она оставалась тутъ, подъ глазами у васъ. Порывъ прошелъ, и въ успокоившейся душѣ осталось холодное пренебреженіе“, у нея набѣгали слезы. „Я шла сюда не грустная, Владиміръ Алексѣвичъ...“ На счастье, у меня была не одна эта ленточка отъ нея, еще двѣ. Я вынулъ дневникъ и показалъ, что онъ лежать въ немъ. Тогда она повѣрила, что это была случайность. Я вспомнилъ, что точно, тетрадь ушла, я взялъ ее съ пола и не замѣтилъ, что одна изъ ленточекъ выпала подъ стулъ. Мы стали толковать. Но скоро пришелъ Юренька и никакими средствами нельзя было выпроводить его. Она ушла съ нимъ. Впрочемъ, и все равно. Напрасно было толковать. Она упряма. Да и не совершенное ли сумасбродство, надежда уговорить? Только въ моей нелѣпой головѣ могла родиться такая мысль. Отъ такихъ замысловъ люди не отказываются. По крайней мѣрѣ, когда понимаютъ, что такое они хотятъ сдѣлать надъ собою. Она давно поняла. Съ первыхъ дней нашей дружбы. Пусть прежде она думала, что она павшая дѣвушка и т. п., что это не униженіе для нея. Но онъ еще и не воображалъ, что можетъ сдѣлаться ея любовникомъ, а она уже знала, что въ ея жизни до той поры не было ничего дурного, кромѣ этого

намѣренія, знала, что идетъ еще на первое свое безчестье, и продолжала идти. И дошла, и не ужаснулась, обезчестивши себя, нѣтъ, имѣла силу оставаться весела, радовалась своему первому успѣху, такъ радовалась, что даже не могла иногда владѣть собою отъ восхищенія. Та сцена со мною: подбѣжала, закрыла глаза мнѣ, и шутить въ весельѣ, стала рѣзвою дѣвочкою отъ избытка радости. И когда пришло время, что я долженъ былъ узнать о ея униженіи, постыдилась два-три дня, и потомъ упрямо твердить: „я давно упала такъ низко, что вы напрасно огорчаетесь! Нѣтъ, какая же тутъ надежда, чтобъ она пожалѣла себя? бить воздухъ словами, упрашивать зажмурившую глаза, чтобъ она раскрыла ихъ? „Я слѣпа, ничего не вижу“. — „Вы надѣли грязные башмаки, сбросьте ихъ“. — „Я не вижу, я думаю, что я всегда ходила въ такихъ башмакахъ; должно быть это вы только называете такъ—грязь, а это должно быть та самая пыль, которая всегда была на башмакахъ у меня, у женщинъ, которыя росли и живутъ не подъ стекляннымъ колпакомъ, часто башмаки пылятся, и у меня тоже, а гризи я не вижу: вы напрасно огорчаетесь...“ Какая тутъ надежда, чтобъ она пощадила себя, не довершала своего униженія? Нѣтъ, я не могу сохранить симпатіи къ ней. На первое время, конечно, поддаешься грусти. Но нельзя долго грустить о человѣкѣ счастливомъ...

Впрочемъ, нисколько не смѣшно, что я огорченъ. Упрашивать ее—это была нелѣпая фантазія. Но въ томъ, что я чувствую состраданіе, я совершенно правъ. Ей самой грустно, какъ ни безжалостна она къ себѣ. Ей не слѣдовало становиться дурною. Въ ней такъ много прекраснаго, и такъ мало дурнаго. Ничего дурнаго, кромѣ честолюбія. Оно одно.

Власова прислала звать меня, чтобъ я вышелъ къ ужину; я пошелъ безъ малѣйшей неохоты. И не будь рѣшено у нихъ встать завтра пораньше для какой-то надобности видѣть восхожденіе солнца съ горы, потому и залечь спать съ одиннадцати часовъ, я радъ былъ бы сидѣть и болтать съ ними безъ конца. Такая разница между настроеніемъ моимъ до этого послѣдняго разговора съ Мери и послѣ него. Такъ упряма и безжалостна, что поневолѣ охладѣлъ къ ней. Завтра, я думаю, исчезнетъ и послѣдній, уже и теперь очень слабый, остатокъ состраданія къ ней. Буду совершенно равнодушно смотрѣть на ея униженіе.

Но теперь пока все еще немножко жаль. Пока еще не стало лѣнь думать о ней, надобно записать, какъ я сужу о ея психической исторіи. Какъ бы то ни было, она замѣчательное лицо.

Ношена матерью во чревѣ, рождена и выкормлена грудью въ чувствахъ непоколебимой и чистой преданности господамъ, благодѣтелямъ и болѣе богамъ, нежели людямъ. Три или четыре поколѣнія безфамиліальныхъ предковъ и по материнской и по отцовской линіи служили вѣрою и правдою знаменитому роду Илатонцевыхъ и зато были достойно награждаемы всеми земными благами и почестями какія только доступны желаніямъ вѣрныхъ слугъ. Владиміръ Львовичъ, какъ принялъ верховную власть, даже пожаловалъ волю (впрочемъ, и не имъ однимъ, а всей прислугѣ). По этому случаю безфамиліальное семейство, въ которомъ кормилась молокомъ преданности изъ материнской груди малютка Машенька, приняло фамилію Антоновыхъ—по имени дѣда Мери, по отчеству записывавшихся въ мѣщане: Дмитрій Антонычъ Антоновъ съ женою и дочерью, —

младшій братъ его, холостой, Иванъ Антонычъ Антоновъ. Господинъ и освободитель женился, сталъ собираться жить за границую.— „Поѣдете ли вы съ нами?“ — „Если вамъ такъ будетъ угодно. Но сами мы думали бы, куда же намъ. Позвольте остаться“. — „Извольте; какъ для васъ лучше. Васъ два брата, вотъ вамъ двѣ должности: домъ въ Петербургѣ, домъ въ Илатонѣ. Гдѣ кому, какъ сами рѣшите. Но мой совѣтъ: у Дмитрія Антоныча есть дочка. Для дѣтей деревенскій воздухъ здоровѣе петербургскаго; лучше бы именно вамъ, Дмитрій Антонычъ, ѣхать въ Илатонъ“. — Братья разсудили: правда. Иванъ Антонычъ остался завѣдывать домомъ въ Петербургѣ, Дмитрій Антонычъ переселился завѣдывать домомъ въ Илатонѣ.

Извѣстіе о рожденіи Надежды Викторовны было передано четырехлѣтней дѣвочкѣ такими словами: „Ну вотъ, Машенька, родилась твоя барышня“. Когда Илатонцевы пріѣзжали изъ Парижа погостить въ деревнѣ, Машеньку водили смотрѣть на ея барышню. Машенька была такъ приготовлена видѣть въ барышнѣ свое божество, что еслибъ Надежда Викторовна и не была миленькою малюткою, все-таки, вѣроятно, казалась бы своей будущей горничной по крайней мѣрѣ ангельчикомъ, если не лучше всякаго ангельчика. Маленькій ангельчикъ былъ нѣженъ, тихъ; будущая горничная была бойкая, смѣлая дѣвочка, и въ восемь, девять лѣтъ уже разыгрывала роль няньки своей будущей госпожи, въ ожиданіи, пока будетъ ея горничною. Отецъ Машеньки умеръ на службѣ барину, отъ усердія къ службѣ: простудился, наблюдая за какой-то перестройкою. Мать зачахла съ горя, и недолго пережила мужа. Дядя выписалъ сиротку къ себѣ. Машенькѣ было тогда лѣтъ одиннадцать.

Года черезъ три, Викторъ Львовичъ возвратился жить въ Россіи съ малюткою Юренькою и десятилѣтнею Наденькою. Еще рано было опредѣлять къ барышнѣ горничную. Да и сама будущая горничная была еще на половину ребенокъ. М-me Lenoir сказала Ивану Антонычу на просьбу о взятіи племянницы къ должности при барышнѣ: „Пусть ваша Машенька растетъ, да играетъ; еще успѣетъ наслужиться“. — Машенька росла и играла — еще въ куклы, но стала больше любить приходитъ играть со своею будущей барышней: четырнадцатилѣтней немножко уже стыдно играть въ куклы, а все еще нравится. Лучше же всего ходить играть въ куклы съ барышней, тогда никто не можетъ пристыдить: „экая большая, а играетъ въ куклы!“ — „Это я не сама играю, я забавляю Надежду Викторовну“. Такъ и стала идти жизнь Машеньки, все больше и больше въ комнатѣ маленькой барышни. „Перестало мнѣ нравиться играть въ куклы, я взяла куколкою себѣ Надежду Викторовну“, рассказывала Мери. „Ахъ, если бы вы посмотрѣли тогда на нее, какая она была у меня миленькая, веселенькая! Съ утра до ночи все наряжала бы и причесывала ее! — и терпѣливая была дѣвочка, сидѣла смирно, сколько я ни причесываю, ни охораниваю ее, пока уже М-me Lenoir велитъ перестать мучить ребенка. Невозможно было не привязаться къ такому миленькому кроткому ребенку...“ И m-me Lenoir видѣла, что Мери души не чае въ своей будущей барышнѣ; видѣла, что четырнадцати-пятнадцати-лѣтняя нянька или горничная очень разсудительная, скромная дѣвушка, полюбила ее, совершенно полагалась на ея умъ, осторожность, заботливость. „Когда Наденька съ вами, Мери, я спокойна“, говорила m-me Lenoir; „могу уйти, играйте себѣ“ и



уходила распоряжаться по хозяйству, разбирать дѣла прислуги, давать совѣты, поправлять ошибки старшихъ... „Конечно, это жаль, что она такъ мало занималась мною въ тѣ первые два года“, говорила Мери. „Еслибъ она по-строже всматривалась въ меня тогда, то, можетъ быть, я и не сдѣлалась бы послѣ такую дурною. Тогда, я думаю, еще можно было предотвратить развитіе моихъ дурныхъ наклонностей. Но у меня было слишкомъ много хлопотъ: Алина Константиновна со своими наивностями, да и самъ Викторъ Львовичъ съ излишнею своею довѣрчивостію и щедростію къ интриганткамъ, — пятьдесятъ человѣкъ прислуги, со своими ссорами, жалобами, всяческими дрязгами и съ серьезными надобностями въ совѣтъ, помощи, — хозяйство въ такомъ большомъ роскошномъ домѣ... эти хлопоты поглощали все время, какое оставалось у нея отъ материнскихъ заботъ о Надеждѣ Викторовнѣ и Юренкѣ. Иногда по цѣлымъ недѣлямъ не выбиралось у нея полчаса свободы, отдохнуть за книгою... Конечно, еслибъ она замѣтила, что надобно удерживать меня отъ дурного, не пожалѣла бы труда и нашла бы время, потому что очень любила меня. Но нельзя мнѣ винить ее за то, что она не видѣла тогда этой надобности. Я казалась такою прекрасною, что и родная мать, у которой только и дѣла было бы, чтобы думать обо мнѣ, не подозрѣвала бы ничего дурного во мнѣ, только радовалась бы на такую умную и скромную дѣвушку. Что жь могла m-me Lepoir? — Только хвалить и ласкать меня“. — Мери говорила это, думая объ увлеченіяхъ, которымъ отдалась года черезъ три, въ Парижѣ. Не знаю, какъ пошла бы ея жизнь — хуже или лучше, — если бы можно было предохранить ее отъ свободнаго и чистаго наслажденія. Правда, для дѣвушки соединено съ этимъ много огорченій, которыхъ не испытываетъ молодой человѣкъ: его не оскорбляютъ за то, что онъ честно — или даже не совсѣмъ честно ищетъ наслажденія; дѣвушку безсовѣстно порицаютъ и за самое безукоризненное увлеченіе: какъ она смѣетъ имѣть человѣческія чувства, пока не переименована въ замужнюю женщину? — Но я все таки не знаю, что легче и лучше для дѣвушки: переносить упреки за повиновеніе непреодолимому влеченію сердца и тѣла, или стараться подавлять его аскетическими, полу-аскетическими и вовсе неаскетическими средствами, которыя всѣ одинаково безсильны подавить его и одинаково вредны для здоровья.

Мери говорила объ этомъ очень рѣшительно: она испытала слишкомъ много огорченій и страданій; поэтому слишкомъ строго судить о своихъ увлеченіяхъ и жалѣть, что не были замѣчены первыя проявленія ея чувственности, когда еще можно было бы запугать, удержать. Пусть она и права, не смѣю рѣшать. Но она до несправедливости горько выражалась о себѣ, когда говорила, что на пятнадцатомъ, на шестнадцатомъ году „казалась“ скромною. Когда она разсказывала объ этомъ времени своей жизни безъ раздумья о болѣе позднихъ увлеченіяхъ, то можно было видѣть, что она не только казалась, но и была очень скромною дѣвушкою до того самаго времени, когда овладѣли ею мечты о лошадахъ въ серебряной сбруѣ, кружевахъ и брилліантахъ. А это было съ небольшимъ за годъ до отъѣзда за границу: когда онѣ уѣхали за границу, ей былъ девятнадцатый годъ. Однако, пора спать. Доишу завтра.

Не только на шестнадцатомъ году она была, но и на семнадцатомъ оставалась очень скромною дѣвушкою. Отъ природы умная и серьезная, она была

рѣзвою и бойкою, но не могла быть легкомысленною, а ей было внушено, что вѣтренничать—это гибель. Организмъ еще не разгорался самъ собою до сильныхъ сладострастныхъ ощущеній, а возбуждать ихъ искусственнымъ образомъ она не умѣла; нервы были здоровы, голова занята дѣломъ или веселостями, сердце было спокойно. Сердце оставалось спокойно благодаря ея аристократическому положенію. Она была слишкомъ много выше остальной прислуги по своему родству, да и по своей должности. До отъѣзда Илатонцева за границу отецъ Мери былъ дворецкимъ, мать—ключницею, дядя—каммердинеромъ, или, лучше сказать, оберъ-каммердинеромъ. Здѣсь мы живемъ запросто, и онъ просто каммердинеръ; въ Петербургѣ у Ивана Антоныча два помощника, онъ начальствуетъ по каммердинерскому вѣдомству, а самъ прислуживаетъ барину лишь настолько, насколько находитъ нужнымъ для собственной важности: нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, допустить молокососа до подаванія сюртука Виктору Львовичу, зазнается молокососъ,—такъ объяснялъ мнѣ Иванъ Антонычъ. Когда господа переселились жить за границу, отецъ и дядя Мери стали управляющими домами. По возвращеніи Виктора Львовича, дядя пожелалъ снова стать оберъ-каммердинеромъ; мѣста дворецкаго и ключницы оставались не заняты послѣ отца и матери Мери: *m-me Lenoir* сама завѣдывала хозяйствомъ, и не было между прислугою чиновъ, равныхъ Ивану Антонычу, кромѣ чина самой Мери. Горничная молодой барышни, она была неизмѣримо выше какихъ-нибудь прислужницъ Алины Константиновны. За ними могли волочиться молодые люди придворнаго штата, за Мери не могли посмѣть безъ ея собственнаго ободренія, а его не было: проводя цѣлый день около *m-me Lenoir*, она привыкла къ простотѣ, къ деликатности,—уже и сама умѣла довольно хорошо соблюдать въ разговорѣ и въ движеніяхъ непринужденность, а еще лучше умѣла понимать эти условія истинно хорошаго тона. Молодые слуги ихъ домашняго штата и такіе же гости, бывавшіе у ея дяди, не могли нравиться ей: и грубы, и слишкомъ ломаются. А гости Виктора Львовича не имѣли случаевъ приволочнуться за нею; *m-me Lenoir* не позволяла ей соваться въ ту парадную половину дома, когда собираются гости. И нельзя было ослушаться: тамъ дядя. И не было большой охоты ослушаться: дѣвушка была и гордая и серьезная. Она знала, какъ любезничаютъ господа со служанками: слишкомъ свысока; потреплетъ по щекѣ, это милостивое вниманіе. Мери нимало не желала, чтобы гости обращались къ ней съ такими милостивыми вниманіями, какія нравились горничнымъ Алины Константиновны.

Не было любезничанья, отъ котораго разгорячался бы организмъ; самъ собою онъ еще не разгорался; раздражать его она не умѣла. Нервы были крѣпки, характеръ серьезенъ, въ головѣ не было вѣтренныхъ мыслей. Не могло быть сильныхъ сладострастныхъ томленій; не отъ чего было быть имъ. Правда, Мери съ дѣтства слышала много грубаго, много скандальнаго, и рано стала довольно отчетливо понимать то, что слышала. Не только понимала, и видывала. Алина Константиновна, по разсѣянности, нѣкоторыя служанки, тоже по простотѣ нравовъ и по большой привычкѣ, дѣлывали разныя наивности, не осмотрѣвшия хорошенько. Дядя Мери, его друзья и жены друзей были люди строгой нравственности и говорили всегда скромными словами, съ прекрасною морализаціею, но говорили очень много скандальнаго. Конечно, не по любви

къ соблазнительнымъ темамъ, а по необходимости разсуждать о характерахъ и отношеніяхъ лицъ, отъ которыхъ зависѣли. Подвластные не могутъ не заниматься жизнью и дѣлами своихъ высшихъ. Иногда Мери случалось слышать и вѣтренные разговоры горничныхъ Алины Константиновны, другихъ шаловливыхъ молодыхъ женщинъ изъ прислуги. Столько насмотрѣвшись и наслушавшись, дѣвушка на семнадцатомъ году не могла не воображать иногда сладострастныхъ приключеній. Но эти мечты не доводили организма до сильныхъ волненій. Онъ былъ здоровъ и еще слишкомъ молодъ, чтобы возбуждаться отъ однихъ мыслей. Должно быть, и мысли эти очень мало занимали ее. Это видно изъ того, что она засыпала, какъ ляжетъ, вскакивала съ постели, какъ проснется,—это попадалось въ ея разсказахъ. Помню, ей даже случилось какъ-то сказать: „до той поры, какъ влюбилась, я не знала, что такое бессонница“. Такъ оно видно и по фактамъ ея первой влюбленности. Изъ нихъ ясно, что Мери до той поры еще не испытывала сладострастныхъ ощущеній,—иначе не таково было бы начало ея первой страсти.

Прошло время дѣтской беззаботности. Умъ созрѣвалъ, мысли о будущемъ стали идти дальше завтрашняго дня. Дѣвушка стала думать о томъ, какая судьба ожидаетъ ее. Нельзя было не думать объ этомъ: дядя говорилъ, что она уже невѣста. Жениховъ еще не было: изъ тѣхъ молодыхъ людей, которые могли бы дѣлать предложенія, ни у кого не могло быть сомнѣнія въ томъ, что получать отказъ; такъ держала себя съ ними Мери. А дядя не будетъ ни сватомъ, ни заступникомъ,—напротивъ, одобритъ отказъ. Всѣмъ было извѣстно, какія предположенія у него на счетъ того, что всего умнѣе и лучше для племянницы: ей слѣдуетъ располагать свою жизнь по жизни своей барышни. Пока Надежда Викторовна не выйдетъ замужъ, Машенькѣ тоже надобно оставаться въ дѣвушкахъ; такая должность ея при барышнѣ, горничная. Барышня выйдетъ замужъ, тогда горничной время выбирать жениха и надобно будетъ постараться выбрать такого человѣка, который уже былъ бы самъ по себѣ или могъ бы черезъ женитбу на ней стать тѣмъ же при молодомъ баринѣ, чѣмъ находится она при барынѣ: первымъ лицомъ, довѣреннымъ лицомъ, какъ была судьба матери Машеньки, такъ надобно желать и для Машеньки: быть ключницею, женою дворецкаго. Выходить замужъ раньше барышни—дѣло неразумительное. Положимъ даже, что Машенька и не проиграла бы черезъ это ничего, пока Надежда Викторовна остается въ дѣвушкахъ. Но кто же знаетъ, какой будетъ мужъ у Надежды Викторовны? Годится ли ему въ довѣренное лицо мужъ Машеньки? Не понравился—разстроилась вся жизнь Машеньки. Не жить же Машенькѣ врозь съ мужемъ, или не жить же мужу при Машенькѣ дармождомъ, или не быть же мужу Машеньки каплмъ-нибудь лакеемъ или швейцаромъ? Значить, и Машенькѣ черезъ мужа пришлось бы отойти отъ Надежды Викторовны, другими словами, потерять свое счастье. Не годится дѣлать иначе, какъ такъ: пусть прежде выйдетъ замужъ Надежда Викторовна, тогда и выбирай себѣ мужа Машенька, такого мужа, который уже пользовался бы расположеніемъ молодого барина или могъ бы получить его расположение. Такъ разсуждалъ Иванъ Антонычъ и мнѣніе его было такъ справедливо, что никто не могъ не согласиться: точно, такъ оно и слѣдуетъ судить; умный человѣкъ. Иванъ Антонычъ, объ этомъ нечего и говорить: умный человѣкъ, основательный.



Такъ думала и племянница. Съ дѣтства ей было внушено, что ей предназначается такая судьба и что такъ будетъ умнѣе всего, и что лучше этого не можетъ быть ничего.

Мери оставалась убѣждена, что ничего не можетъ быть лучше этого, пока не умѣла думать своимъ умомъ. Потому-то и не могла она думать о женихахъ: еще рано. Потому-то и не было жениховъ: она еще не хочетъ идти замужъ и дядя не желаетъ отдавать; нечего и соваться сватать. Мери была дѣвушка умная и держала себя такъ, чтобы ни у кого не было мысли посватать ее. Дядя, какъ человѣкъ умный, видѣлъ, что она держитъ и хочетъ держать себя такъ. Но, тоже какъ человѣкъ умный, находилъ, что не мѣшаетъ теперь все-таки почаще и посильнѣе внушать Машенькѣ, что именно такъ и слѣдуетъ ей держать себя. Надобно почаще толковать ей это: ея лѣта стали такія, что надобно подтверже помнитъ, какъ ей держать себя. „Твои лѣта, Машенька, такія, отъ которыхъ у женщины зависитъ счастье на всю жизнь; какъ въ эти лѣта сдумѣетъ дѣвушка позаботиться о своемъ счастьѣ, такъ оно и пойдетъ“ и т. д. Иванъ Антонычъ говорилъ очень умно. При такихъ разговорахъ нельзя было дѣвучкѣ не начать серьезно думать о своемъ счастьѣ. Быть можетъ, стала бы она думать о немъ и безъ внушеній дяди. Вѣроятно, и безъ нихъ начала бы; уже съ полгода она перестала сама для собственнаго удовольствія тянуть подольше игру съ Надеждою Викторовною въ куклы. Надобно же думать о чемъ-нибудь. А у нея стало и гораздо больше досуга думать: Надеждѣ Викторовнѣ было двѣнадцать лѣтъ, ученье пошло серьезнѣе, стало занимать довольно много времени, — въ эти часы Мери нечего было дѣлать, она думала и понемножку стала даже находить занимательнымъ читать. Читеніемъ ея, конечно, были романы, и, конечно, романы или экзальтированные, или скандальные, или сказочные, вообще, только плохіе и пустыя. И, конечно, она воображала себя героинею всѣхъ самыхъ удивительныхъ приключеній. Но пока это была только забава: дѣвушка была умная, съ положительнымъ характеромъ и книги не могли оторвать ее отъ дѣйствительной жизни. Она была такъ положительна и разсудительна, что даже и не пристрастилась къ чтенію; она не барышня, ей нельзя приучать себя сидѣть по цѣлымъ днямъ или не спать по ночамъ за книгою. Здравый смыслъ всегда былъ очень силенъ въ Мери. Какъ теперь онъ не допустилъ ее пристраститься къ романамъ, такъ прежде, и теперь, и послѣ, почти до самаго конца ея парижской жизни, онъ не давалъ развиваться въ ней любознательности. Ребенка выучили читать и немножко писать; по мнѣнію дяди, этого было довольно. Ребенокъ былъ и радъ. Съ тѣмъ и оставался, когда пріѣхала m-me Lenoir. Она полюбила дѣвочку. Дѣвочка была очень даровита. Дѣвочкѣ былъ еще только четырнадцатый годъ. „Еще не поздно“, подумала m-me Lenoir, сказала дядѣ, что приготовитъ Машеньку быть гувернанткою, стала учить. Дядя приходилъ въ восторгъ; гувернантка — это уже барышня: его Машенька будетъ барышнею! Но Мери оказалась лѣнницею, разсѣянною. Не только бросала книгу, какъ отвернется m-me Lenoir, пропускала мимо ушей и то, что рассказывалось ей. Всѣ труды m-me Lenoir пропадали понапрасну. „Какъ же ты не понимаешь, Машенька, что Шарлотта Осиповна хочетъ сдѣлать тебѣ добро?“ — укорялъ дядя. „На что мнѣ, дяденька?“ — возражала дѣвочка:



„это барышнямъ надобно учиться, а мнѣ вовсе не нужно“. — „Да, если ты выучишься, ты сама будешь барышнею“. — „Какою-жь это барышнею, дяденька? Вы самъ говорите, что настоящія барышни только богатя, а бѣдныя хуже насъ. Вы сами говорили, при Надеждѣ Викторовнѣ я буду жить прекрасно, что и барышни будутъ завидовать мнѣ“. — Воспитанница была тверда въ понятяхъ, внушенныхъ ей, тверже самого воспитателя съ его помощниками и помощницами, такими же умными людьми и вѣрными слугами и служанками, тверже ихъ въ ихъ образѣ мыслей, потому что сильнѣе ихъ характеромъ и умнѣ. Дядя сбился съ толку, обольстившись пустымъ титуломъ барышни. Мери помнила, что лучше жить служанкою въ изобиліи, даже роскоши, и въ великомъ почетѣ, нежели барышнею безъ денегъ. Такъ и отбилась отъ ученія, ненужнаго ей.

Быть первымъ лицомъ при такой богатой, знатной и вдобавокъ доброй госпожѣ, какою будетъ Надежда Викторовна! какое счастливое предназначеніе! — Мери была въ очарованіи отъ своего предназначенія, пока была беззаботнымъ ребенкомъ, день за день, не вдумываясь ни во что, ни даже въ то, чѣмъ была очарована. Такъ жила она не только на четырнадцатомъ и на шестнадцатомъ году, продолжала такъ жить, когда пошелъ ей и семнадцатый годъ. Но умный и заботливый о нравственности дядя чаще и чаще толковалъ ей, какъ вообще толкуютъ со взрослыми дѣвушками умные и заботливые о нравственности родные. А еще важнѣе того, праздновались свадьба за свадьбой знакомыхъ ей дѣвушекъ, подобныхъ ей аристократокъ прислуги аристократическаго міра, — дѣвушекъ немногимъ старше ея или почти вовсе ровесницъ. У нихъ женихи, мужья. Пришлось и ей думать о своемъ женихѣ, мужѣ; и счастливая по наслѣдству испугалась своего счастья.

Служить Надеждѣ Викторовнѣ — это прекрасно, и ничего не могло бы быть лучше, если бы только это. Но надобно будетъ не только служить Надеждѣ Викторовнѣ, надобно будетъ и выйти замужъ. Кто же будетъ ея мужъ? Каммердинеръ мужа Надежды Викторовны. Какой же будетъ онъ? Такой же, какъ вотъ всѣ эти, за которыхъ выходятъ ея пріятельницы, какъ эти молодые люди, на которыхъ ей не хотѣлось и смотрѣть. Такъ вотъ какой онъ будетъ! „Нѣтъ, я не буду любить такого мужа. Лучше бы пусть и не было у меня такого мужа. Пусть и не будетъ его. Не пойду замужъ. Вовсе не нужно“.

Правда, вовсе не нужно! Можно оставаться при Надеждѣ Викторовнѣ и не выходя замужъ за каммердинера ея мужа. Надежда Викторовна не будетъ требовать этого. Для Надежды Викторовны все равно. Такъ. Но легко подумать это „не пойду замужъ“, а что-жь это значить, не пойти замужъ? Это значить: остаться въ дѣвушкахъ. Ахъ, какой смѣхъ! Ахъ, какой стыдъ! Остаться въ дѣвушкахъ, сдѣлаться старою дѣвкою! Да это хуже всего на свѣтѣ! И Мери уже видѣла себя, какая стала она старая дѣвка: вотъ она идетъ или сидитъ, худая, какъ щепка, желтая и подбородокъ загнулся вострымъ крючкомъ! и всѣ переглядываются, перешептываются: „хороша, старая то дѣвка!“ Нѣтъ ужъ лучше пойти замужъ!

Но какъ же идти за такого мужа? и мужъ рисовался передъ нею. Какое лицо у него, нечего смотрѣть; до того ли тутъ, чтобы разбирать лицо, когда

онъ такъ выступаетъ. Точно журавль! И какъ онъ держитъ локти! Господи, какъ онъ топиритъ ихъ! Онъ думаетъ, это по модному, по господаки! И доволенъ собою, что онъ такъ ловокъ!—ухмыляется; Господи, да и лицо-то у него такое же! Какъ онъ корчитъ его по господаки! — Обезьяна, настоящая обезьяна!..

Господи, какая судьба! или старая дѣвка, или такой мужъ!.. И Мери готова была плакать. Господи, неужели нельзя, чтобы мужъ былъ не такой? Нельзя, или, пожалуй, иди за такого, который и не обезьяна, да ужъ и не то, что просто обезьяна, а негодяй, мучитель. Нѣкоторые дуры захотѣли выйти за чиновниковъ—и вышли—или даже за офицеровъ. Какъ всѣ онѣ живутъ? Вѣдно, и хуже того, чѣмъ бѣдно: мужья пьяницы, мерзавцы, бьютъ ихъ! Конечно, какой же хорошій человѣкъ, кромѣ слуги, захочетъ жениться на служанкѣ? Тѣ хорошіе люди, которые не похожи на обезьянъ, не женятся на служанкахъ, а только волочатся за ними, берутъ въ любовницы. Да, служанка не можетъ найти себѣ мужа и хорошаго человѣка и не обезьяну, а любовниковъ такихъ нѣкоторые находятъ. И если любовникъ богатый, дѣвушка живетъ счастливо, даже очень счастливо. Гораздо лучше, нежели самая важная и любимая служанка у самой богатой и знатной госпожи. Какое же сравненіе? Всѣ завидуютъ такимъ счастливицамъ! И Раиса Петровна, и Лиза, и Наташа, и Прасковья Семеновна и даже сама Анна Федоровна, и всѣ, всѣ говорятъ: „помилуйте, это совсѣмъ не то, что наша жизнь!“ — Но только, всѣ говорятъ, что это дурно. И женщины, и мужчины, и дядя, и всѣ: это дурно! Господи, какая бѣда! Одно только и есть хорошее для служанки, и то дурно!

Господи, зачѣмъ же это такъ? Да такъ ли, въ самомъ дѣлѣ?

Плохо дѣло наслѣдственныхъ принциповъ морали, какъ дошло до вопроса: да такъ ли на самомъ дѣлѣ? Лишь вздумалъ взглянуть съ перваго взгляда, видишь: не такъ. Эта мораль — нескладница и ложь. Такая нелѣпая нескладница, такая явная ложь, что съ пяти лѣтъ у каждаго неглупаго ребенка уже набралось довольно наблюдений, чтобы захотать надъ этою нескладницею, презрѣть эту ложь, какъ только вздумается подумать о ней. Съ ранняго дѣтства, въ каждой неглупой головѣ уже сложился отвѣтъ, незамѣтно сложился, такъ легко и просто слагается онъ, и незамѣченный лежитъ совершенно готовый въ дремлющемъ умѣ, и какъ явилась надобность—чуть встрепенулась мысль—онъ и тутъ, готовъ, ясенъ, рѣшительнъ. Помню, точно такая же исторія была и со мною: все вѣриль, вѣриль въ эту мораль, пришлось подумать о ней и вижу: да, какое же, будто я вѣриль въ нее. — Можетъ быть и вѣриль, когда мнѣ было два года отъ роду, но съ той поры, какъ помню себя, всегда видѣль, что люди чувствуютъ не по этой морали, всегда слышалъ, что и живутъ по ней лишь тѣ, кому не представляется надобности жить не по ней, съ тѣхъ поръ, какъ помню себя, не вѣриль въ нее, а только воображалъ, будто вѣрю, потому что не вздумалось подумать: да точно ли вѣрно?

Такъ было и съ Мери. До сихъ поръ она воображала, что вѣритъ въ мораль, пропоѣдуемую дядею и его сотрудниками и сотрудницами въ дѣлѣ ея нравственнаго воспитанія, всѣми этими Аннами Федоровнами съ мужьями,

отцами и сестрами, нравственными людьми, это бесспорно, воображала, что вѣрить въ нее, уважаетъ ее, слѣдуетъ ей; до сихъ поръ ей такъ воображалось, потому что не было нужды всматриваться въ то, много ли смысла и правды въ этой нравственности. Ей говорили: „не бери чужого“ — она и не родилась воровкою, ни алчною, у нея не было охоты брать чужого; ей говорили: „не лги“ — она была горда и отважна, ложь не по натурѣ такимъ людямъ; ей говорили: „будь скромна“ — она была горда и разсудительна, страсти еще не пробуждались въ ней, у нея не могло быть охоты унижать себя вѣтренностью. Ея собственныя влеченія были согласны съ тѣмъ, что требовалось отъ нея во имя морали; и она, слѣдую своимъ влеченіямъ, воображала, что уважаетъ внушенную ей мораль... А какъ только вздумалось ей спросить себя: „да такъ ли?“ — она съ удивленіемъ увидѣла, что давно, давно знала все, нужное для рѣшительнаго отвѣта: „это глупость, это глупая ложь!“

„Это дурно“, — почему же это дурно? — „Всѣ они говорятъ, что это дурно“. — Кто это они? Что за люди? Напримѣръ, ея дядя. Добрѣйшій и честнѣйшій человѣкъ, это правда. Но недалекъ и робокъ, хуже маленькаго ребенка. И всѣ они такіе, его пріятели и пріятелиницы, которые искренно говорятъ то, что говорятъ. Какъ же полагаться на мнѣнія людей, которыхъ нельзя не любить за ихъ доброту и честность, и надъ которыми нельзя не смѣяться, такъ они легковѣрны и недогадливы. Какъ полагаться на мнѣнія людей, которые ничего не понимаютъ? Кто ни захочетъ, всѣ обманываютъ ихъ во всемъ, въ чемъ захочетъ. И это не обманъ ли, придуманный хитрыми, чтобъ они не пускались соперничать, были бы смиренны и можно было бы осѣдлать ихъ и ѣздить на нихъ. — Они осѣдланы, и на нихъ ѣздятъ: должно быть, это для того и придумано. „Это дурно пойти на содержаніе къ богатому человѣку“. Да почему же это дурно? Но кажется и Шарлотта Осиповна думаетъ, что это дурно? Да, и она такъ думаетъ. А она умная, и не обманщица. Значитъ, это въ самомъ дѣлѣ дурно. Господи, какая бѣда, что и она такъ и думаетъ и что значить — это дурно!.. Но что-жъ такое, что она и думаетъ такъ? Это ничего не значить. Она не можетъ судить объ этомъ. Она барыня; положимъ, не русская, и говорить, что у нихъ нѣтъ барынь; но это все равно, она барыня, хоть у нихъ тамъ и не называютъ такъ. Положимъ тоже, она и небогатая. Но все же барыня, а не служанка. Это совсѣмъ не то. Ей хорошо такъ думать, а попробовала-бъ она родиться служанкою, да и идти замужъ, тогда-бъ она и увидѣла, каково это. Тогда-бъ она и не захотѣла такъ думать.

Да почему же это дурно, въ самомъ дѣлѣ? Они всѣ говорятъ: „Всѣ пренебрегаютъ такую дѣвушкою“ — вотъ это и неправда. Если дѣвушка пойдетъ въ любовницы къ бѣдному, точно всѣ пренебрегаютъ ею. Такъ чтожъ, развѣ это оттого? Это вовсе не оттого, а потому, что вообще пренебрегаютъ всякими бѣдными людьми. А когда любовникъ богатъ и дѣвушка живетъ пышно, любопытно бы посмотрѣть, кто-жъ это пренебрегаетъ ею? Не они ли пренебрегаютъ — дядя съ Райсою Петровною и съ Анною Федоровною и съ ними со всѣми? Да не всѣ ли они вздыхаютъ и говорятъ: „какое же сравненіе съ нашею жизнью“ и кланяются... Просто, они сами не понимаютъ, что они твер-

дять одно, а дѣлають и чувствуютъ совѣмъ другое. Они наслушались пустяковъ и твердятъ безъ всякаго смысла...

Такъ начались мечты дѣвушки — дѣвушки еще совершенно скромной — не только не имѣвшей вѣтренныхъ отношеній, еще не чувствовавшей и влеченія къ любви. Мечты были чужды всякаго сладострастнаго волненія, она еще и не испытывала ничего такого, что могло бы назваться похожимъ на нѣгу страстнаго томленія. Самъ любовникъ вовсе не былъ занимателенъ для ея фантазій. Она думала только о томъ, что имѣтъ богатаго любовника—это счастье, а еще важнѣе: только тѣмъ, чтобъ найти себѣ богатаго любовника, она можетъ избѣжать ужасной судьбы—старая дѣвка или мужъ обезьяна.

Сначала она помнила, что эти мысли о богатомъ любовникѣ только игра ея огорченнаго воображенія, и что само огорченіе пока еще только воображаемое. До старыхъ дѣвокъ ей еще очень далеко. Далекое и до той поры, когда надобно будетъ дѣлать выборъ идти ли замужъ или оставаться въ дѣвушкахъ. Рѣшать это надобно будетъ послѣ замужества Надежды Викторовны, — пожалуй, хотя и не скоро послѣ того. А Надежда Викторовна развѣ года черезъ четыре будетъ невѣстою. Когда-то еще будетъ это горе, идти за камердинера мужа Надежды Викторовны. Да и почему же знать, что этотъ неизвѣстный камердинеръ будущаго неизвѣстнаго барина непременно похожъ на обезьяну? Вотъ, сама она — горничная и, однакоже, не похожа на горничную; а камердинеръ можетъ не быть кривлякою дурного тона. Словомъ, нѣтъ ничего глупѣе вздора, который представился ей. „Говорятъ, я умная дѣвушка, думала Мери, опомниваясь отъ своихъ мечтаній. А еслибъ я сказала имъ, какіе глупые пустяки занимають меня! Не повѣрили бы!“

Но мечты, хотя и глупыя, были пріятны. Какое же сравненіе въ самомъ дѣлѣ быть служанкою или имѣтъ своихъ лошадей въ серебряной сбруѣ? Глупое мечтанье возвращалось и стало привычнымъ. И тогда Мери стала находить, что въ немъ нѣтъ ничего глупаго, кромѣ того, что оно несбыточно. Имѣтъ богатаго любовника — да какъ же это ей найти его? Ей, которая вѣчно на глазахъ у прислуги и у дяди, и — еще хуже того — у *madame Lenoir*. Какъ тутъ искать себѣ любовника? Если бы кто самъ вздумалъ пробираться до нея, предложить ей себя въ любовники, и то не добрался бы до нея. Конечно, такъ. Нечего и думать о несбыточномъ. Но какъ хорошо оно! Лошади въ серебряной сбруѣ, а сама вся въ брилліантахъ! И какія прелестныя бываютъ кружевные платья!.. Такъ однажды рассказывала Мери, смѣясь, и остановилась.

— Бѣдственное положеніе. Непременно нуженъ любовникъ и негдѣ взять его. Но я имѣю надежду: вы нашли его?

— Нашла, но не могу сказать вамъ ничего больше. Вы не можете вообразить, какъ мнѣ хотѣлось бы досказать вамъ этотъ эпизодъ моей жизни. Мое сердце было бы облегчено. Но я не имѣю силы продолжать. Послѣ. Теперь не могу.

Конечно, не могла. Конечно, не доставало силы. Конечно, и было нельзя. Итакъ она уже высказала больше, нежели позволяла осторожность. Это шутовское описаніе того, что нельзя было искать — и затѣмъ отвѣтъ: „нашла“ — это было слишкомъ много, слишкомъ неосторожно. Но желаніе облегчить сердце заставляло ее говорить и, конечно, она досказала бы, если бы достало силы



признаться въ своемъ замыслѣ. Впрочемъ, вольно же было мнѣ не понимать, когда все было досказываемо мнѣ до послѣдняго слова, выговорить которое не было силы у нея...

Если бы молодые аристократическіе гости могли волочиться за нею, по всей вѣроятности она стала бы думать о комъ-нибудь изъ нихъ. Но волокиты не проникали въ ту часть дома, гдѣ она проводила почти все время, подлѣ Надежды Викторовны, на глазахъ у m-me Lenoir. Когда собирались гости, Мери не выходила въ парадныя комнаты: m-me Lenoir давно установила это правило. Мери строго соблюдала его, потому что оно было согласно съ ея гордостью. Было бы слишкомъ рѣзкою новизною нарушить теперь эту привычку. M-me Lenoir тотчасъ догадалась бы. „Мери, неужели ты хочешь вѣтренничать?“ Мери вовсе не хотѣла вѣтренничать. Ей только быть нуженъ богатый любовникъ. Да и онъ, если разсудить хорошенько, вовсе не нуженъ. Въ серьезныхъ своихъ мысляхъ Мери продолжала находить, что ея наслѣдственное счастье — быть любимую служанкою Надежды Викторовны — очень хорошее счастье. Желать лучшаго — только пустая фантазія. Мечты о любовникѣ — только забава. Для забавы нельзя ронять себя во мнѣніи m-me Lenoir. Конечно, изъ этого не могло бы выйти ничего умнаго. Пройти мимо гостей, услышать любезность — этимъ еще не приобретаешь себѣ любовника. Больше — было бы невозможно: вездѣ прислуга; остановись отвѣчать на комплиментъ — черезъ пять минутъ извѣстно дядѣ, и дядя идетъ жаловаться m-me Lenoir: „Машенька шепчется съ молодыми людьми, Шарлотта Осиповна, остановите ее, глупую этакую“...

Никакъ нельзя было искать любовника. А нельзя же быть любовницею безъ любовника? Пришлось назначить въ любовники единственнаго человѣка, который тутъ, на глазахъ. Чѣмъ же не любовникъ Викторъ Львовичъ?

Впрочемъ, если-бъ и можно было выбирать, Мери, можетъ быть, выбрала бы думами все-таки о немъ. Съ дѣтства всѣ ея мысли о себѣ самой вертѣлись около зависимости отъ него: въ его расположеніи, въ его милости все ея счастье. Пришлось думать о новомъ счастьѣ — естественно было подумать, не можетъ ли и оно быть найдено все въ немъ же? Конечно, можетъ. Нужна же ему любовница. Онъ содержать любовницу. И какъ она живетъ! Мало любовницъ, которыя живутъ такъ прекрасно! Ни одна, можетъ быть. Для круга, воспитавшаго Мери, любовница Виктора Львовича была занимательнѣйшимъ лицомъ на свѣтѣ, послѣ самого Виктора Львовича. Ея роскошь, то есть, ея счастье, это былъ самый главный предметъ удивленія, поклоненія, зависти. О томъ, какъ счастливъ самъ Викторъ Львовичъ, уже нечего разсуждать: Илатонцевы — это люди совершенно особой породы, имъ уже по природѣ должно быть такими счастливыми, съ ихъ судьбою нечего сравнивать свою. Но любовница Виктора Львовича — другое дѣло. Еще недавно сама бѣгала въ лавочку попросить въ долгъ два фунтика сахару. Выросла въ бѣдности, не то что выше — куда! — была гораздо хуже ихъ самихъ, разсуждающихъ теперь о ней... Съ ея счастьемъ можно было сравнивать свою долю; ея счастью слѣдовало удивляться, завидовать... Всѣ — и самъ дядя — указывали ее Мери: „Гляди-ко, Машенька, это вотъ она ѣдетъ въ коляскѣ-то“... А о ея квартирѣ, сервизахъ, о нарядахъ, въ какихъ она ѣздитъ на маскарады,

по театрамъ, Мери знала едва ли не точнѣе, нежели она сама. И давно ли она любовницею Виктора Львовича? Всего-то года полтора. Прежде была другая, такая же счастливая; та сама виновата: стала слишкомъ открыто ку-тить съ другими. И эта надолго ли? Тоже дура, выведетъ изъ терпѣнія Виктора Львовича. Онъ уже и слышитъ о ней кое-что; но пока еще снисходить, потому что имѣетъ слишкомъ доброе сердце, и она заговариваетъ его, оправдывается, или хоть и не оправдывается, выпросить прощеніе. Ну да не на долго же...

Такимъ образомъ все было готовое даваемо Мери отъ ея воспитателей и воспитательницъ, нравственныхъ людей: внушенъ идеаль счастья, указано и гдѣ найти его: вотъ вакансія,—онъ уже или ищетъ или скоро будетъ искать новую любовницу... „Почему-жь бы не взять ему меня?“ А подумала Мери и стала засматриваться на себя въ зеркало. Можно взять ее. Она не хуже — даже лучше этой его любовницы.

Да онъ и самъ думаетъ такъ. Онъ самъ говоритъ ея дядѣ: „А какая прелесть становится ваша Машенька, Иванъ Антонычъ“.—Дядя всегда сообщалъ объ этомъ всѣмъ и всѣ послѣ того сообщали Мери, которой уже было сообщено и прямо самимъ дядею.

„Надобно только захотѣть и онъ сейчасъ же промѣняетъ ее на меня“, думала Мери. Только захотѣть... И какъ же не захотѣть? Жить такъ счастливо!—Да и самъ онъ такой, что нельзя не признаться: это чудо, что за любовникъ!.. Весь кружокъ, воспитавшій Мери, находилъ, что нѣтъ на свѣтѣ человѣка, котораго было бы можно сравнить съ Викторомъ Львовичемъ въ какомъ бы то ни было отношеніи: по уму ли, по манерамъ ли, по походкѣ ли, по разговору ли, по всему, первый между всѣми, и лицомъ то же самое: чудо, да и только!.. Это было лакейское обожаніе. Но дѣйствительно, Викторъ Львовичъ и теперь по лицу еще довольно молодой мужчина и красивый. Тогда было ему тридцать пять, тридцать шесть лѣтъ.

„Только захотѣть и онъ промѣняетъ ее на меня“, думала Мери. Какъ это сдѣлать? Надобно начать кокетничать съ нимъ. Надобно. Мери рѣшилась.

Во всемъ этомъ еще не было ровно ничего своего,—не только отъ своего сердца, даже изъ своей головы. Все это были чужія мысли, чужія стремленія, вбитыя въ голову Мери разговорами и вздохами нравственныхъ людей, ея дяди съ его кружкомъ. Они вздыхали отъ любви къ богатству и оставались бѣдны,—поклонялись всякому пошлomu успѣху и оставались честны въ поступкахъ,—потому что отъ природы были слабы умомъ, робки сердцемъ, вялы волею; неспособные ни рисковать, ни даже пожелать энергически, они оправдывали свою апатію и трусость безмысленнымъ наборомъ словъ, и не умѣли понимать, что лгутъ сами передъ собою. Мери разобрала ихъ истинныя убѣжденія сквозь пустыя фразы, которыми они возвеличивали свое безсиліе. Идеаль счастья былъ вложенъ въ ея мысли готовый. Дорога къ счастью указана. Все было чужое внушеніе. Своего было только умѣнье понять и отвага идти.

Она была отважна. Но она была скромна по привычкѣ и совершенно неопытна въ кокетствѣ. Она превосходно знала его по наслышкѣ, отчасти по наблюденію. Но и не умѣла, и стыдилась, и робѣла. Каждое утро она ду-

мала: „Нынѣ, какъ придетъ Викторъ Львовичъ играть съ Наденькою, и если тутъ не будетъ Шарлотты Осиповны,—начну кокетничать съ нимъ“. — Онъ приходилъ и Шарлотты Осиповны вовсе не было тутъ, или она выходила распорядиться по хозяйству;—и онъ уходилъ и она могла только досадовать на свою трусость; онъ не замѣтилъ ничего и нечего было ему замѣтить... Тѣмъ больше она мечтала и тѣмъ живѣе рисовалось все въ ея мечтахъ; вотъ, она кокетничаетъ съ нимъ; вотъ, онъ завлеченъ и она говоритъ: „о, пощадите меня!“ — а сама надаетъ въ его объятія. Голова разгоралась и сердце стало трепетать и его трепетъ былъ такъ пріятенъ... Дѣвушка обольстилась кружевными платьями, а теперь становились привлекательны ей сами любовныя сцены. Милѣе, нежели о бриллантахъ, стало мечтать ей о самомъ любовникѣ. Прижаться грудью къ его груди — какое, должно быть, это наслажденье, когда и отъ мыслей такъ пріятно бьется сердце! О, какое будетъ это блаженство обнимать его!.. Но достижимо ли оно? Что, если онъ отвергнетъ ее? Захочетъ ли онъ промѣнять на нее свою любовницу?—Мери начинала мечтать съ увѣренностью въ успѣхѣхъ и черезъ полчаса доходила до отчаянія: его любовница такъ умѣетъ нравиться, а она такъ робка!.. День за днемъ проходилъ въ колебаніи между самонадѣянностью и сомнѣніемъ, въ смѣлыхъ планахъ и застѣнчивомъ бездѣйствіи. — И вдругъ, новость, такая, что и побѣда вѣрна, и нельзя медлить: нѣтъ соперницы!—Любовница Виктора Львовича давно пробовала заводить у себя карточные вечера. Онъ запрещалъ. Она все-таки окончательно вошла въ компанію съ шайкою шуллеровъ и превратила свою квартиру въ игорный домъ. — „Я не могу жить съ женщиною, которая участвуетъ въ грабежѣ“, сказалъ онъ. — „Какъ тебѣ угодно“, отвѣчала она. Онъ бросилъ ее. Онъ сталъ ѣздить къ актрисѣ, которая не хочетъ стѣснять своей свободы, каждый вечеръ дѣлаетъ выборъ между своими поклонниками, кто изъ нихъ привлечетъ ея капризъ. Эта актриса не соперница. Его сердце свободно. Но онъ не умѣетъ долго сохранять его свободнымъ. Надобно спѣшить, пока у него еще нѣтъ новой привязанности. Завтра же она улыбнется ему скромно и заманчиво, взглянетъ на него томно, и завтра же онъ будетъ принадлежать ей!.. Пришло завтра и прошло — и день шелъ за днемъ и она видѣла его и робѣла взглянуть на него, и вечеръ за вечеромъ пролеталъ все только въ мечтахъ, что это будетъ завтра. Теперь вечера летѣли въ мечтахъ, часы, какъ минуты: успѣхъ былъ такъ вѣренъ, страстныя сцены такъ близки — и сердце билось сильнѣе, сильнѣе, и отъ его трепетанія начинала волноваться кровь и ея волненіе стала усиливаться до того, что по всему тѣлу распространялась теплота. Мечты уже переходили въ грезы и мысли мутились. — „Завтра же, завтра же“ — и опять завтра приходило и проходило, и она не кокетничала съ нимъ... конечно, еслибъ она и умѣла, она уже не имѣла бы силъ кокетничать, когда уже было такъ, не прежнія мечты, а грезы. Она могла только броситься обнимать его.

Теперь, его рассказъ, давшій мнѣ возможность вырвать у нея это признаніе, признаніе въ томъ, что она не только хотѣла тогда сдѣлаться его любовницею, но и прониклась живымъ влеченіемъ къ нему, что, начавши, по чужому внушенію, мыслями объ экипажахъ, кружевахъ, она стала мечтать о любви.

Онъ замѣчалъ, что Мери, прежде всегда свободная, бойкая съ нимъ, — часто и рѣзвая при немъ, совсѣмъ пережѣнилась: взойдетъ онъ въ комнату дочери и Мери играла съ нею, Мери покраснѣетъ и броситъ игру; протянетъ онъ руку, поздороваться, Мери принимаетъ его руку тихо, робко. Пока онъ сидитъ тутъ, съ дочерью, Мери держится въ сторонѣ. Пережѣна, какой и слѣдовало ожидать отъ умной, скромной дѣвушки въ ея лѣта: стала поминать, что она уже взрослая дѣвушка, что бойкость была бы теперь нескромностью, рѣзвость — вѣтренностью.

Однажды, вернувшись домой на разсвѣтъ, — вѣроятно, отъ актрисы, принявшей его въ число своихъ поклонниковъ, — онъ проснулся очень поздно. Ушла Шарлотта Осиповна гулять? — спросилъ онъ Ивана Антоныча, когда тотъ принесъ ему чай. Madame Lenoir уходила около этого времени — часу во второмъ — гулять съ Надеждою Викторовною. Но дѣлъ по хозяйству было много, она не могла соблюдать большой правильности во времени этой прогулки: раньше, позже, какъ удастся. — „Не знаю, а кажется еще не ушла. Пойду, взгляну“, — отвѣчалъ Иванъ Антонычъ. — „Не трудитесь; пойду, увижу самъ, не великъ трудъ. Я только такъ спросилъ, думалъ, что знаете“, — сказалъ Викторъ Львовичъ; Иванъ Антонычъ занялся осмотромъ платья, приготовленнаго барину къ выѣзду, хорошо ли вычищено; а онъ выпилъ чашку и пошелъ къ дочери. — „При m-me Lenoir я былъ хорошимъ отцомъ“, — замѣтилъ онъ, — „помнилъ о дѣтяхъ“. Дочери не было въ комнатѣ, сидѣла одна Мери и шила что-то; конечно, встала при его входѣ. — „Здравствуйте, Мери. А Шарлотта Осиповна съ Наденькою, должно быть, ушли гулять?“ — „Ушли, Викторъ Львовичъ“ — отвѣчала она — ему показалось, — будто, нѣсколько задыхаясь. Онъ взглянулъ на нее хорошенько: она стояла блѣдная, и ему показалось, будто ея губы и руки дрожали. — „Да вы нездорова, Мери?“ — „Да, Викторъ Львовичъ“. — „Что съ вами, лихорадка?“ — „Да, Викторъ Львовичъ“. — „Идите же въ свою комнату и прилягте, и попросите, чтобы сѣздили за медикомъ“. — „Очень хорошо, Викторъ Львовичъ“, — сказала она и пошла — сдѣлала шагъ и пошатнулась. Онъ подхватилъ ее подъ руку, чтобъ не упала. Рука была ни холодна, ни горяча: что за чудо, нѣтъ ни ознобу, ни жару, а вся дрожить и пошатнулась, — какая-жъ это лихорадка? — „Да это не лихорадка, Мери. Что вы чувствуете?“ — „Я ничего не чувствую, Викторъ Львовичъ; покорно благодарю; я сама дойду, не ведите меня“. — А сама дрожала больше и больше. — „И голова не болитъ, Мери?“ — „Не болитъ, Вик...“ и не договорила, ноги подкосились. Онъ подвелъ ее къ постелькѣ Надежды Викторовны — это было ближе всего, — усадилъ: „Да чтожь это съ вами, Мери?“ — „Ничего, Викторъ Львовичъ; не беспокойтесь. Это ничего. Я только испугалась.“ — „Чего-жъ вамъ было пугаться? Нечего. Вы были, должно быть, разстроена чѣмъ-нибудь?“ — „Нѣтъ, Викторъ Львовичъ; я ничего, это такъ.“ — „Нѣтъ, я вижу, вы чѣмъ-то разстроена, Мери. Я скажу Шарлоттѣ Осиповнѣ, она поговоритъ съ вами“. — „Не надобно!“ — воскликнула она. — „Вы боитесь Шарлотты Осиповны? Чтожь это такое, Мери? Хорошо, я не буду говорить ей. А меня не боитесь?“ — Она молчала, вся дрожала, сердце билось подъ корсетомъ, будто хотѣло разорвать его. — „Посидите же тутъ, Мери, отдохните, постарайтесь успокоиться“, — сказалъ онъ и пошелъ, рассу-



дивъ, что тутъ не мѣсто исповѣдывать ее: каждую минуту можетъ войти какая-нибудь служанка въ комнату Madame Lenoir, — это рядомъ, — за какою-нибудь вещью, приготовленною по хозяйству, за какимъ-нибудь столовымъ бѣльемъ, или мало-ли тамъ у нихъ этакихъ надобностей и вещей? Онъ вернулся въ свои комнаты и отправилъ Ивана Антоныча изъ дому съ порученіемъ, какое первое вздумалось. Теперь здѣсь никто не помѣшаетъ: другіе слуги не суются безъ надобности, когда имъ сказано: „я занять, не входить; кто прійдетъ, меня нѣтъ дома“, — у одного Ивана Антоныча привилегія входить въ его спальную и кабинетъ, какъ взбредетъ фантазія взглянуть въ десятый разъ, все-ли въ порядкѣ и нельзя-ли еще прибрать что-нибудь, не найдется ли гдѣ пылинка.

Викторъ Львовичъ разсудилъ, что долженъ поговорить съ Мери. Съ нею что-то странное: опасеніе, огорченіе, — что-нибудь такое, какая-то внутренняя борьба. Чтобъ она затѣяла какую-нибудь шалость, этого не можетъ быть: очень умная и совершенно скромная дѣвушка. Но увлеченіе — это очень можетъ быть. Такія лѣта. Конечно, лучше бы попросить m-me Lenoir поговорить съ нею. Но когда она такъ воскликнула „не надобно!“ — И правда. У женщинъ всегда готовы выговоры. И при томъ же, хоть Мери и привыкла къ Шарлоттѣ Осиповнѣ, и любить ее, но все-таки Шарлотта Осиповна чужая. Онъ — свой. Лучше поговорить съ нею ему.

Это была его обязанность. Онъ всегда, со всѣми, служившими у него, честно исполнялъ, насколько видѣлъ и могъ, — честно исполнялъ обязанность быть опекуномъ, совѣтникомъ, другомъ людей, служившихъ ему. Онъ не могъ не исполнять этого долга: таковы издавна были чувства Илатонцевыхъ. Онъ не хотѣлъ быть недостойнымъ своего отца, дѣда. И еслибъ могъ забывать свою обязанность, то не относительно Мери. Ея семейство десятки лѣтъ съ полною преданностью служило роду Илатонцевыхъ. Ея бабушка была его нянька; ея отецъ и мать, умирая, просили передать ему, что оставляютъ сироту на его попеченіе, и имѣли полное право требовать отъ него заботливости о ней. И она сама такъ ухаживаетъ за его дочерью, радуется не нарадуется на его дочь. И такая умная, милая, хорошая дѣвушка.

Она сидѣла, какъ онъ оставилъ ее, на постелькѣ Наденьки; видно, что совсѣмъ забылась въ своихъ мысляхъ, — еслибъ не забыла въ нихъ обо всемъ, не осталась бы такъ сидѣть, оправивъ постель своей барышни; сидѣла, отшатнувшись на спинку кровати, сложивъ руки на груди, закрывъ глаза, — будто дремала. Блѣдность еще не совсѣмъ прошла; но дрожи уже не было: сложенные на груди руки тихо приподнимались и опускались отъ глубокаго, но ровнаго дыханія. Можно было подумать, что она уснула; но она не спала: его шаги по ковру не были слышны, и онъ былъ еще далеко отъ нея, а она открыла глаза и встала, и по лицу разлилась краска. — „Я пришелъ за вами, Мери“, — сказалъ онъ ласково, но не подходя къ ней ближе, чтобы не испугать ея застѣнчивости, взявъ за руку или приласкавши, а если бы подойти, онъ приласкалъ бы ее, такая милая была она въ своей застѣнчивости: „Я пришелъ за вами, Мери. Идите ко мнѣ“, — онъ повернулся и пошелъ изъ комнаты. Онъ прошелъ нѣсколько комнатъ и ему замѣтилось, что не слышно ея шаговъ, а имъ уже должно было быть слышнымъ въ этихъ комнатахъ, на

паркетъ безъ ковровъ; онъ оглянулся; такъ, она не идетъ за нимъ. Онъ пришелъ опять въ комнату дочери. Мери стояла на прежнемъ мѣстѣ, какъ стояла, будто приросла къ нему, а лицо то блѣднѣло, то краснѣло. Онъ взялъ ее за руку: „Пойдемъ-те же, Мери“. — „Нѣтъ“, — прошептала она. — „Идите“, онъ подвинулъ ее за руку, она и не сопротивлялась и не двигалась сама, она машинально уступала его рукѣ, которая подвигала ее. — „Вотъ такъ, Мери; идите же впередъ, а я за вами“. Онъ провелъ ее нѣсколько шаговъ за руку, подвинулъ впередъ, а самъ остался сзади. Она шла, сначала нетвердыми шагами, какъ будто все противъ воли, и плечи ея были опущены, стапъ не выпрямленъ, будто пригнетался, но постепенно онъ выпрямился и поступь стала тверда, стала легка; онъ шелъ сзади. Она вопля въ его кабинетъ. — „Сядьте на этотъ диванъ, Мери“, — сказалъ онъ, затворяя за собою дверь. Она остановилась на его голосъ, но какъ шла черезъ комнату, посрединѣ, и обернулась. Лицо ея казалось спокойнымъ, но горѣло, и грудь дышала ровно, но глубокими дыханіями и корсетъ бился, такъ стучало въ него сердце: такъ она стала и смотрѣла на него, какъ онъ подходилъ къ ней; — глаза ея были широко раскрыты, блестя, но блескъ ихъ быстро померкалъ. Онъ подошелъ, взялъ ее за руку, подвести къ дивану, усадить. — „Сядемъ, Мери“, — глаза ея померкли и губы раскрывались — онъ повелъ ее; она сдѣлала нѣсколько шаговъ и остановилась: она не могла ступить, и качалась, какъ опьянѣлая; ему все еще не казалось тутъ ничего особеннаго, онъ думалъ, это волненіе робости, робости передъ признаніемъ въ какомъ-нибудь неосторожномъ поступкѣ, — можетъ быть, даже и тайномъ ожиданіи: взрослая дѣвушка, и не кокетничала; тѣмъ легче могла увлечься. Онъ обнялъ ее талію одною рукою — не дать ей упасть. — „Не бойтесь, Мери. Я защищу васъ“, — сказалъ онъ. Она быстро ослабѣвала, опускалась на его руку, глаза ея закрылись, на лицѣ явилось выраженіе томнаго блаженства — теперь уже нельзя было долѣе ошибаться въ характеръ ея волненія; но онъ не могъ покинуть ее, хотъ уже и понималъ, что его прикосновеніе распалаетъ ее: она не держалась на ногахъ, она падала. Онъ долженъ былъ взять ее на руки. Она трепетала на его рукахъ, она вся обвилась вокругъ него и вся трепетала и стонала: „Что со мною?.. умираю!.. умираю, люблю...“ По залу могъ пройти кто-нибудь, услышалъ бы. Онъ понесъ ее въ слѣдующую комнату — въ свою спальную, положилъ ее на свою постель, — кромѣ, было некуда: ни дивана, ни большого кресла, — опустилъ ее на свою постель, она продолжала конвульсивно биться, стискивая его; онъ боялся оторваться отъ нея, чтобы пароксизмъ не перешелъ въ раздраженіе отчаянія. Онъ оставался, нагнувшись, не выпуская ее изъ рукъ, она цѣловала его, онъ долженъ былъ принимать ея поцѣлуи, самъ поцѣловать ее, — „неужели я обезчещу ее?“ подумалось ему, потому что онъ чувствовалъ, что его мысли начинаютъ путаться. Но она стала изнемогать, успокоиваться и шептала: „Ахъ, какое блаженство! Я думала, что я умру! Какое наслажденіе! Я не предчувствовала! Но и прежде я уже полюбила! Не думала о подаркахъ, о нарядахъ, только о любви! Ахъ, я еще не знала, какое это блаженство!“ — Она цѣловала его уже только ласково, ея руки оцускались, онъ могъ теперь уложить ее и осторожно высвободиться, и сѣлъ подлѣ постели. Какъ ему теперь говорить съ нею? Какъ разочаровывать ее? Но она

лежала, закрывъ глаза, въ совершенномъ утомленіи. Онъ былъ радъ, что ему есть время собраться съ мыслями. Но что, если она тутъ уснетъ?—и возвратится дядя, — это еще ничего: сѣсть въ кабинетъ и запереть эту дверь, — Иванъ Антонычъ привыкъ не требовать объясненій и не подумаетъ искать племянницу: она тамъ, въ той половинѣ дома, по обыкновенію, ему не о чемъ думать. Но возвратятся m-me Lenoir и Наденька; у обѣихъ первый вопросъ: а гдѣ же наша Мери? — А Мери, кажется, уже задремала... Она дремала, но вдругъ вскочила; подошла къ зеркалу, оправила волоса.

— Я должна уйти. Ахъ, если бы вы знали, какъ я счастлива, что вы позволяете мнѣ любить васъ!—она покраснѣла, застыдилась.

— Я еще не любовникъ вашъ, моя милая, добрая Мери. — Онъ чувствовалъ, что можетъ влюбиться въ нее, если отложить объясненіе до другого времени. Когда онъ сидѣлъ подлѣ ея постели и думалъ о томъ, какъ легче для нея разочаровать ее, онъ больше думалъ не объ этомъ, а о томъ, какъ хороша она и о томъ, что ея любовь къ нему — не продажная, и у него мелькала мысль: „если заснула, пусть спитъ—и еслибъ madame Lenoir вернулась и еслибъ догадались, что Мери здѣсь,—тогда уже надобно было бы мнѣ быть ея любовникомъ“. Онъ понималъ, что долженъ спѣшить, пока еще можетъ разочаровать — не ее только, а также и самого себя. — Милая моя Мери, мы съ вами любимъ другъ друга, но мы еще не любовникъ и любовница.

— Я знаю это, Викторъ Львовичъ, — сказала она и покраснѣла еще сильнѣе. Я отдаю себя вамъ первому, Викторъ Львовичъ, но я не барышня, — простите меня, Викторъ Львовичъ, за то, что я наслушалась всего и въ мысляхъ моихъ уже не было невинности; для васъ я хотѣла бы быть невинною... Простите меня, что я не барышня.—Она говорила это со слезами. Противъ ея пароксизма онъ успѣлъ сохранить хладнокровіе, — теперь вскочилъ обнять ее, но сдѣлалъ надъ собою усиліе и пошелъ къ двери кабинета:—Перейдемъ туда, Мери; тамъ, если и увидятъ васъ, не бѣда.

Она приложила руку ко лбу, закрыла лицо руками. — Викторъ Львовичъ, что вы сказали? — Тамъ, если увидятъ меня, не бѣда? Такъ надобно, чтобъ они и не знали, что я люблю васъ? Я не должна любить васъ? Боже мой, Боже мой!—Вотъ почему я еще не любовница ваша! А я думала, это потому, что я была слаба, что вы побоялись, чтобъ я въ самомъ дѣлѣ не умерла, когда я и безъ того умирала! Боже мой, Боже мой!—едва слышно шептала она. Взвизгнула она, какъ будто разорвалась ея грудь: „Боже мой!“ — и убѣжала.

Онъ пожалѣлъ, что разочарованіе вышло такъ рѣзко, что ему не удалось растолковать ей, почему ей слѣдуетъ оставаться скромною дѣвушкою: тогда его отказъ не показался бы ей обиденъ; вѣроятно, не былъ бы и очень огорчителенъ, потому что, конечно, это ребяческое увлеченіе, и было бы довольно легко образумить ее. Но все-таки онъ былъ радъ, что это кончилось такъ скоро, что миновала опасность забыть свою обязанность. Это была бы низость отплатить за вѣрную службу родныхъ тѣмъ, чтобы обезчестить дѣвушку, дѣвушку, которой онъ долженъ быть опекуномъ. При первомъ случаѣ онъ поговорить съ нею, растолкуетъ ей, что онъ не захотѣлъ быть ея любовникомъ только потому, что желаетъ ей добра.

За обѣдомъ онъ услышалъ отъ madame Lenoir, что Мери нездорова; медикъ былъ и говорить, что болѣзнь не важна, но что онъ предписалъ больной спокойствіе. Больная ушла лежать въ свою комнату. У нея была особенная комната подлѣ дяиной. Какъ идти туда?—подумалъ Викторъ Львовичъ. Нашелъ предлогъ самъ увидѣть медика, нашелъ случай вставить вопросъ о Мери—и самъ услышалъ, что болѣзнь не важна. И потомъ продолжалъ слышать это. Не для чего было нарушать осторожность. Пусть найдется удобный случай.

Случай нашелся дней черезъ пять, шесть. И раньше, всегда можно бы найти такой же, потому что Иванъ Антонычъ безусловно довѣрчивъ къ честности своего господина. Но раньше удерживала мысль, что еще рано: Мери, можетъ быть, еще слишкомъ разстроена. Но теперь, вѣроятно, она въ состояніи понимать. Онъ вошелъ къ Ивану Антонычу, сказалъ, что хочетъ взглянуть на больную, посидѣть съ нею. Иванъ Антонычъ проникся благодарностью за такое расположеніе, проводилъ Виктора Львовича къ больной. Мери сидѣла—дядя замѣтилъ, что она уже ходитъ, не только сидитъ; она сказала, что она лежала, но услышала голосъ Виктора Львовича и встала, но что, впрочемъ, это нисколько не утомитъ: она вовсе не такъ слаба. Дядя не приминувъ замѣтить, что теперь у нея румянца, кажется больше, нежели было. Викторъ Львовичъ сталъ спрашивать о здоровьѣ, о лекарствахъ, она отвѣчала, хорошо владѣя собою. Дядя присѣлъ по примѣру Виктора Львовича, посидѣлъ минутъ пять; увидѣлъ, что Викторъ Львовичъ разговорился и, должно быть, засидится тутъ, поэтому отправился исполнять порученіе, которое заблаговременно придумалъ Викторъ Львовичъ дать ему:—„Вы говорили, Викторъ Львовичъ, чтобы я ѣхалъ въ двѣнадцатомъ часу, такъ вы меня извините, я поѣду, а то будетъ поздно“,—и преспокойно ушелъ.

— Вы не сердитесь на меня, Мери?—сказалъ Викторъ Львовичъ.

— Нѣтъ, Викторъ Львовичъ; я теперь понимаю, что вы поступили благородно,—сказала она, не безъ смущенія, но твердо:—Мнѣ только стыдно за саму себя.

— Это были неблагоразумныя мысли, Мери, но вы, какъ были скромною дѣвушкою, такъ и оставались. Вы не кокетничали. Вамъ нечего стыдиться. Но теперь вы понимаете, что вы хотѣли своей погибели?

— Понимаю, Викторъ Львовичъ.

Она была теперь такъ умна, какъ онъ и не надѣялся бы. Онъ сталъ говорить ей, что доля, которая ждетъ ее, несравненно лучше, нежели судьба дѣвушекъ, которыя не остаются разсудительны: онъ, за недолгое веселье, расплачиваются горемъ на всю жизнь. Она выйдетъ замужъ за человѣка, который будетъ искренно всю жизнь любить ее, и т. д., и т. д., въ такой жизни, какъ будетъ ея, и гораздо больше наслажденій: правда, не будетъ роскоши, но будетъ полное изобиліе, и она будетъ пользоваться всеобщимъ уваженіемъ.

— Я понимаю это, Викторъ Львовичъ. И мнѣ стыдно, что я могла забыть объ этомъ. Мнѣ стыдно смотрѣть на васъ. Господи, какъ я могла имѣть такія дурныя мысли!—Она плакала.—Ахъ, какую дурною дѣвушкою хотѣла я быть!



— Это не были такія мысли, чтобъ слѣдовало назвать васъ за нихъ дурною дѣвушкою. Только это было неразумительно, какъ вы видите теперь сама.

— Нѣтъ, Викторъ Львовичъ, это было не по неразумительности, и тѣмъ хуже...—и заливаясь слезами, она стала признаваться ему, что она была соблазнена богатствомъ, что она думала все только о роскоши. Онъ очень хорошо понималъ, что эти дѣйствительно дурныя мысли могли быть только началомъ, что послѣ, разгорѣлось искреннее, безкорыстное влеченіе и все дурное сгорѣло въ немъ, осталась чистая любовь,—но высказывать такія возрженія было бы неумѣстно; онъ сказалъ только, что теперь, когда она понимаетъ все такъ умно, лучше всего ей и не вспоминать объ этомъ.

— Это я забуду, Викторъ Львовичъ; но какими глазами я буду теперь смотрѣть на васъ? Я думаю, мнѣ нельзя оставаться у васъ: какъ я буду смотрѣть на васъ? Я и сказала больною только поэтому. Я вовсе не была больна. Я такъ и сказала медику, что я здорова, что я только хочу не выходить изъ своей комнаты. Это потому, чтобы не видѣть васъ, чтобы не ходить туда, къ Надеждѣ Викторовнѣ, чтобы не видѣть васъ. Боже мой, какой стыдъ, какой это былъ припадокъ со мною! Что я такое въ вашихъ глазахъ, когда я была въ такомъ припадкѣ?

Онъ сказалъ, что онъ уже немолодой человѣкъ и что ей нечего стыдиться передъ нимъ, немолодымъ человѣкомъ, который обо всемъ, что видѣлъ, думаетъ только одно: кокетки не держатъ себя такъ и съ вѣтренницею не могло бы быть ничего подобнаго. Онъ всегда зналъ, что она очень скромная дѣвушка; теперь знаетъ, она такая скромная, какихъ чрезвычайно мало. Такъ онъ смотритъ на нее; пусть же она перестанетъ прятаться отъ его взгляда. Ей нечего стыдиться. Когда же она начнетъ опять играть съ Наденькою?

— Не знаю, Викторъ Львовичъ,—отвѣчала она. Все время, какъ они остались одни, она не подымала глазъ. Ему было понятно: эта застычивость не отъ стыда только; столько же, или больше, оттого, что еще не совсѣмъ заглухла любовь, которую она должна заглушить въ себѣ. Тѣмъ тверже онъ помнилъ, что ему не слѣдуетъ ни говорить ласковѣе, ни засиживаться долѣе, нежели необходимо. Онъ ушелъ, сказавъ, что увѣренъ, это скоро пройдетъ и онъ будетъ видѣть ее попрежнему веселую подлѣ Наденьки.

Тѣмъ и кончился тогда для него этотъ маленькій романъ. Онъ зашелъ къ madame Lenoir, чтобъ она услышала объ этомъ посѣщеніи отъ него же самого, а не черезъ словоохотливость Ивана Антоныча; чтобы видѣла: ему не о чемъ молчать, это лишь его всегдашнее доброе расположеніе къ ея любимицѣ.—Я думаю, и безъ этой предосторожности madame Lenoir ничего не подумала бы. Она, вѣроятно, считаетъ Виктора Львовича человѣкомъ слабымъ, но должна была знать, что онъ человѣкъ совершенно честный и не позволить себѣ волочиться за дѣвушкою, которая живетъ подъ его защитою. Еще меньше могла она сомнѣваться въ скромности и благоразуміи Мери. Такъ и все въ домѣ. Докторъ говорилъ „она больна“. Она и дѣйствительно блѣднѣла, худѣла. Ея болѣзнь не возбуждала никакихъ подозрѣній.

Если въ ней и оставалась хоть маленькая надежда, это посѣщеніе должно было окончательно разсѣять мечты.—Спустя нѣсколько времени Викторъ Львовичъ сталъ приучать ее смотрѣть на него: когда madame Lenoir при немъ говорила: „пойду взглянуть на Мери“, онъ говорилъ: „пойду и я“, и шелъ съ madame Lenoir. Понемножку Мери привыкла видѣть его, и тогда бросила свое затворничество. Таковъ былъ рассказъ Виктора Львовича, сдѣлавшій на меня глубокое впечатлѣніе, хоть новаго въ немъ было для меня только то, что эта первая страсть Мери была страстью къ человѣку, котораго она сдѣлала теперь своимъ любовникомъ. Правда, въ этомъ и заключается вся важность этой исторіи; это сильное оправданіе для моей бѣдной Мери. Разумѣется, новыя были и подробности этого приключенія, которыхъ не могла она рассказать, не давая мнѣ, въ какой обстановкѣ происходило все это, въ чьихъ комнатахъ и, слѣдовательно, кто былъ этотъ человѣкъ; эти подробности также имѣютъ значеніе: какая трогательная чистота сердца бѣдненькой дѣвушки!—мечтала и горѣла—и не рѣшилась сказать увлекающаго слова, бросить кокетливаго взгляда; и упала въ его объятія съ лепетомъ „умираю“ и потомъ: „я понимаю, Викторъ Львовичъ“,—понимаю, что не должна смѣть любить... однако, пора спать. Снова продолженіе до завтра. А думалъ, что допишу нынѣ. Допишу ли хоть завтра? Отчего пишу съ такою охотою, такъ подробно? — Кромѣ того, что развитіе характера Мери представляетъ большой психологическій интересъ, мнѣ пріятно, что мои мысли заняты моимъ жалкимъ, но все-таки хорошимъ, благороднымъ другомъ. А почему жъ я гораздо меньше писалъ о ней, когда въ тысячу разъ нѣжнѣе любилъ ее?—Тогда думалось о ней и безъ помощи пера; а теперь тянетъ къ перу, потому что безъ него труднѣе удерживать мысли на лицѣ, хоть все еще миломъ, но уже слишкомъ мало милымъ.

Изъ давняго разговора съ нею:—„Вы говорили, Марья Дмитриевна, что ваша первая любовь была отвергнута?“—„Что жъ изъ этого?“—„Изъ этого—ничего; но это само по себѣ странно“.—Она засмѣялась.—„Вы находите, что я должна была быть очень привлекательна въ то давнее время?—Была. Но слишкомъ молодыя дѣвушки не умѣютъ заставлять любить себя. Я была дѣвчонка и оробѣла. Большая ошибка. Я была совершенно неопытна. Я не понимала, что онъ колебался, отвергая меня; что одинъ мой взглядъ и онъ былъ бы у моихъ ногъ“.—„Я спрашиваю: какъ же онъ могъ отвергнуть васъ?“—„Онъ былъ честный человѣкъ. Кажется, я уже рассказывала вамъ, что стала думать о любовникѣ вовсе не по влеченію къ любви, а по желанію жить въ блескѣ, въ роскоши. Размечтавшись, я влюбилась. Влюбившись, позабыла думать о бронзѣ и экипажахъ. Но любовникъ былъ выбранъ по моимъ прежнимъ надобностямъ, по бездушнымъ ребяческимъ мыслямъ о кружевахъ и брилліантахъ. Онъ былъ очень богатый человѣкъ. И, я говорю вамъ, совершенно честный. Вотъ почему и отвергъ мою любовь“.—Она задумалась.—„Долго я не могла оправиться отъ этого удара. Но довольно скоро я поняла, что онъ не пренебрегъ мною, а пощадилъ меня по искреннему расположенію ко мнѣ, что онъ поступилъ со мною благородно, великодушно. Я должна была заглушить мою страсть, но нѣжность къ нему долго оставалась во мнѣ,—это было что-то вродѣ благоговѣнія; это была какая-то экзальти-

рованная признагельность; это была потребность отплатить ему за его великодушіе. Моя нѣжность къ нему распространялась и на всѣхъ близкихъ къ нему. Ихъ мнѣ не запрещалось любить. Я полюбила ихъ съ безграничною преданностію“.—Она говорила мнѣ все, до послѣдняго слова; у нея только не доставало силы произнести его. Я видѣлъ послѣ, что было съ нею, когда стало неизбѣжно произнести его. Она не хотѣла скрывать отъ меня своего замысла; она столько разъ начинала говорить, чтобы сдѣлать это тяжелое признаніе,—и всегда, какъ въ этомъ разговорѣ, изнемогала подъ тяжестью стыда за себя, безжалостная губительница своей чести...

Изъ вчерашняго разговора съ нею: „Мнѣ поздно жалѣть себя, Владиміръ Алексѣичъ. Судьба была слишкомъ безжалостна ко мнѣ. Она не оставила во мнѣ ничего, къ чему я могла бы имѣть жалость. Зачѣмъ судьба обратила на униженіе мнѣ все, чѣмъ могла бы заслуживать уваженіе? Зачѣмъ она вложила въ меня столько скромности, что я не могла вѣтренничать? Будь я хоть немножко кокетка, я поняла бы, что Викторъ Львовичъ готовъ былъ тогда принять мою любовь. Одно слово, одинъ взглядъ,—когда онъ пришелъ утѣшать меня, и онъ забылъ бы вразумлять и утѣшать. Зачѣмъ я не понимала? И потомъ, когда, раздумывая, я поняла, зачѣмъ я была такъ робка, зачѣмъ во мнѣ было столько стыда?—Потому что долго, я думаю, до самой разлуки нашей,—онъ оставался въ моей власти. Одинъ взглядъ и онъ упалъ бы въ мои объятія, и я была бы счастлива навѣкъ и могла бы уважать себя: отдалась человѣку, котораго полюбила всею душою; и когда бредъ страсти прошелъ, осталась вѣрна ему, искренно расположена къ нему.—Или, если судьба хотѣла, чтобы моя первая любовь была отвергнута, зачѣмъ она дала мнѣ столько силы и разсудительности, что я, наконецъ, подавила въ себѣ это чувство, и мое растерзанное сердце зажило и возродились въ немъ мечты о любви? И если судьба хотѣла, чтобы не сбылись онѣ, и возрождаясь, возрождаясь, все никогда не сбывались, зачѣмъ она дала смѣлость искать счастья въ наслажденіяхъ безъ любви?—Или, если она хотѣла такъ унижить меня, зачѣмъ она вложила въ меня такое живое чувство чести? Зачѣмъ оно безпрестанно пробуждалось и мучило и мучить меня за мой позоръ?—Дѣвушкѣ, которая была обманута нѣсколькими любовниками, и почти всѣми ими была оскорбляема,—дѣвушкѣ, которая въ отчаяніи бросалась забываться въ повѣсничествахъ и понимаетъ, какое это безчестье,—такой дѣвушкѣ нечего жалѣть себя“.—Эти приключенія, на которыя такъ несправедливо и такъ упрямо ссылается она, записаны у меня.

Изъ разговора съ нею нынѣ утромъ. „Этотъ замыселъ — ужасный, по вашему мнѣнію—пріобрѣлъ свои ужасныя черты постепенно, одну за другою. Первая мысль была проста и такъ согласна съ тѣмъ, чего требуете вы теперь, что мнѣ отрадно отвѣчать на вашъ вопросъ. Вы знаете, я очень много веселилась; и еслибъ только это, разумѣется, я не вздумала бы отказаться отъ свободы. Но глупое сердце продолжало хотѣть привязанности, да еще какой! — сантиментальной, чуть не платонической! Что вы прикажете дѣлать?—Какъ разгону свое огорченіе повѣсничествомъ, смотришь — опять люблю. Искренно любить—это плохо для всякой женщины, тѣмъ больше для беззащитной, хоть и смѣлой,—для небезукоризненной, хоть по вашему мнѣнію



и бывшей тогда благородною, — но вашему только, ни по чьему больше. Я говорю объ искреннемъ мнѣнїи. На словахъ, пожалуй, многіе согласны съ тѣмъ, что вы говорите. Но чувствуютъ не такъ. Дѣвушка, которая отдается мужчинѣ безъ свадьбы, безчестная дѣвушка въ глазахъ самого этого человѣка. Такъ онъ и обращается съ нею. Она легкомысленна или безстыдна, по его мнѣнїю. На ея слово нельзя положиться. Она обманщица или готова стать обманщицею. Чуть не воровка. Такъ онъ и обращается съ нею. Можетъ цѣловать ея руки и ноги, — но можетъ обманывать этой экзальтаціей развѣ самъ себя, будто бы не презираетъ ее. Она, какъ только пройдетъ первый пылъ, сей часъ видитъ, если не совсѣмъ глупа и пуста: онъ не вѣритъ ей, не уважаетъ ее. Она слышитъ отъ него оскорбительныя слова пошлыхъ сомнѣнїи. Потомъ начинаются всяческія обиды. Повѣрьте, Владиміръ Алексѣвичъ, вы проповѣдуете свободу любви для женщинъ только потому, что мало знаете, каковы мужчины, когда не связаны формальною обязанностью уважать женщину... Я была горда; я не могла выдерживать такихъ отношенїи, разрывала ихъ, а сердце терзалось. И, наконецъ, стало надоѣдать это. „Брошу эту бурную жизнь. Лучше пусть уже безъ любви, лишь бы поспокойнѣе. Безъ любви, конечно, можно жить съ любовникомъ, не имѣя горя и не подвергаясь обидамъ: держать его въ рукахъ, это очень легко, когда не любишь его. Я стала думать объ этомъ. Внѣшняго блеска, для парада передъ другими, мнѣ уже не было надобно въ это время. Въ семнадцать лѣтъ я была дѣвчонка, не знала цѣны себѣ и вкусъ у меня еще не развился. Но теперь я уже давнымъ давно презирала всю лишнюю мишуру, не желала брилліантовъ, которые, право, ничѣмъ не лучше грошевыхъ стразъ и гораздо хуже ленточки, которая почти ничего не стоитъ, — цвѣточка, листочка, который и вовсе ничего не стоитъ. Если бы вы видѣли меня такую, какъ я наряжалась бывало для загороднаго гулянья, вы не подумали бы, какъ можетъ быть думаете теперь, что я только хвалюсь, будто бы не желала брилліантовъ. Вы увидѣли бы, нужны ли они хорошенькой жевцинѣ! О, я умѣла наряжаться, Владиміръ Алексѣвичъ! — Ахъ, теперь не то! — Сердце состарилось! Какъ-то не приходило въ голову принарядиться и для васъ, хоть я очень любила васъ; или, если приходило, то или недосугъ, или забудешь, или полѣнишься. А тогда, для кого я наряжалась? — Ни для кого, разумѣется. Когда, бывало, бываешь влюблена, конечно, скучно проводить по цѣлому часу передъ зеркаломъ. Но когда не о чемъ и не о комъ было думать, — о, я умѣла наряжаться! — ни для кого, потому что для всѣхъ, это значить ни для кого, для себя самой; да, саму это тѣшило.

И это было всего два года назадъ. Вы видите, и въ двадцать лѣтъ я была еще довольно пустою дѣвчонкою. Но уже знала цѣну себѣ и не желала мишурной роскоши. А разсудительна была я съ дѣтства. Если не любить, то можно держать любовника въ рукахъ; пусть, это правда;.....

*(На этомъ рукопись прерывается).*

1947 г.

Р. АНТ № С-395/2